

А.Ф. ПИСЕМСКИЙ

Scan Kreyder - 07.02.2018 - STERLITAMAK

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

А.Ф. ПИСЕМСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ

В ТРЕХ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

А.Ф. ПИСЕМСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ

2

A decorative flourish consisting of two symmetrical, swirling lines that meet at the bottom and curve upwards to frame the number 2.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Подготовка текста и примечания

М. П. ЕРЕМИНА

КОМИК

Рассказ

I

СОБРАНИЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ

Нижеследующая сцена происходила в небольшом уездном городке Ж. Аполлос Михайлыч Дилетаев, сидя в своей прекрасной и даже богато меблированной гостиной, говорил долго, и говорил с увлечением. Убедительные слова его были по преимуществу направлены на сидевшего против высокого, худого и косоного господина, который ему возражал. Прочие слушатели были: молодая девица, чрезвычайно мило причесанная, — она слушала очень внимательно; помещавшийся невдалеке от нее толстый и плешивый мужчина, который тоже старался слушать, хоть и зевал по временам; наконец, четвертый — это был очень приятный и очень искренний слушатель; с самою одобрительною улыбкою он внимал то Аполлосу Михайлычу, то косому господину, смотря по тому, кто из них говорил. Были, впрочем, еще двое собеседников, но они совершенно не прислушивались к общему разговору, сидели вдали от прочих и, должно быть, пересмеивали тех. Это были: молодая дама, стройная и нарядная, и молодой человек, тоже стройный и одетый с большими претензиями на франтовство.

Толстый мужчина был местный судья — Осип Касьяныч Ковычевский, человек, говорят, необыкновенно прак-

тически-умный и великий мастер играть в коммерческие игры; приятный слушатель — Юлий Карлыч Вейсбор. Он был очень любим всем обществом, но, к несчастью, имел огромное семейство и притом больную жену, которая собственно родинами и истощена была: у них живых было семь сыновей и семь дочерей; но что более всего жалко, так это то, что Юлий Карлыч, по доброте своего характера, никогда и ничего не успел приобрести для своего семейства и потому очень нуждался в средствах. Нарядная дама приехала в город лечиться. Это была прелестная женщина, — немного, конечно, важничала и все бредила столицей, в которой была всего один раз, и то семи лет, но, вероятно, это проистекало оттого, что она имела значительное состояние. Сидевший рядом с нею молодой человек приходился хозяину племянником и служил в Петербурге в каком-то департаменте писцом, а теперь приехал на три месяца в отпуск. Он тоже очень восхищался столичною жизнью. Молодая девица была его родная сестра; она воспитывалась и постоянно жила у Аполлоса Михайлыча. Что касается до сего последнего, то все его знакомые о нем говорили, что он был человек большого ума, чрезвычайной начитанности, высшего образования и весьма приятного обращения. Имея значительное состояние, он жил всегда в обществе, но не сходился с ним в главных интересах; то есть решительно не играл в карты, смеялся над танцевальными вечерами, а занимался более искусствами и сочинял комедии. Ко всему этому я должен прибавить, что, несмотря на свой пятидесятилетний возраст, Дилетаев был еще очень любезен с дамами и имел кой-какие виды на одну вдову, Матрену Матвевну Рыжову. Косой господин был тоже любитель театра, но только собственно трагедии и драмы. Он слыл в обществе за чудака, но, впрочем, имел порядочное состояние, держал музыку и был холостяк, — имя его Никон Семеныч Рагузов.

Спор между хозяином и косым господином зашел очень далеко: оба они начали даже кричать.

— Дикая и варварская мысль! — произнес косой гость.

— Я с вами уже более не спорю, вы неизлечимы, — отвечал хозяин, — а спрошу вашего мнения, господа.

— Я совершенно с вами согласен, — отвечал приятный слушатель.

— А вы? — спросил Аполлос Михайлыч, обращаясь к плешивому мужчине.

— Вы говорите насчет комедии? — спросил тот.

— Да, насчет комедии. Я говорю, что это тоже высший сорт искусства.

— Ваша правда, действительно высший сорт.

Косой господин вскочил.

— Драму-то вы, милостивые государи, — воскликнул он, — куда деваете? Как вы драму-то уничтожаете с вашей комедией?

— Опять вы не понимаете того, что вам говорят, — возразил хозяин. — Никто и не думает уничтожать вашей драмы. Мы сами очень любим и уважаем драматические таланты; но в то же время понимаем и комедию, говорим, что и комедия есть тоже высокое искусство.

— Да, искусство, но только балаганное, — заметил насмешливо косой господин.

Хозяин покатился со смеху.

— Ну, Никон Семеныч! — сказал он, махнув рукою, — вы говорите такие уморительные вещи, что вам даже и возражать нечего, а надобно только смеяться.

Никон Семеныч побледнел.

— Смеяться я сам умею громче вашего, но не смеюсь, хотя ваши мнения и дерут мне уши, — возразил он.

— Мои мнения не могут драть ничьих ушей, — перебил хозяин, — я их высказывал в столицах и высказывал людям, понимающим театр. И наконец: я мои мнения, Никон Семеныч, печатал и даже советовал бы вам их прочесть — они во многом могут исправить ваши понятия.

— Я уж стар учиться, особенно по вашим печатным мнениям.

— Учиться никогда не поздно... Вот это мне в вас и неприятно: вместо того, чтобы хладнокровно рассуждать о нашем деле, вы припутываете вашу личность и говорите потом дерзости! Я, конечно, вам извиняю, потому что вы человек энергический, с пылкими страстями и воображением, одним словом — бог вам судья — вы трагик, но, во всяком случае, не мешайте дела с бездельем.

— Кто ж вам мешает? Что вы хотите этим сказать? — перебил косой господин. — Вам самим было угодно пригласить меня сегодня на вечер, и я, кажется, сейчас же могу освободить вас от моего присутствия.

— То-то вот и есть, что вы всё сердитесь, а хорошенько не хотите выслушать, — возразил Аполлос Михайлыч. — Дело наше очень просто и не головоломно: мы затеваем благородный спектакль — во-первых, для собственного удовольствия, во-вторых, для удовольствия наших знакомых и, наконец, чтобы благородным образом сблизить общество и дать возможность некоторым талантам показать себя; но мы прежде всего должны вспомнить, что у нас очень бедны материальные средства: у нас нет залы, мало денег, очень неполон оркестр. Приняв все это в расчет, мы и говорим, что должны играть какую-нибудь хорошую, но немногосложную комедию. Справедливо ли я, господа, говорю? — заключил хозяин, обращаясь к слушателям.

Господа, за исключением косоного, кивнули в знак согласия головою.

— Играйте бессмысленные водевили, кто вам мешает! — произнес Никон Семеныч.

— Нет-с, мы не водевили будем играть, но, как люди образованные, можем сыграть пиесы из хорошего круга. Я предлагаю мою комедию, которую все вы знаете и которая некоторым образом одобрена вами, а в заключение спектакля мы дадим несколько явлений из «Женитьбы» Гоголя — пресмешной фарс, я видел его в Москве и хотел до упаду.

— Я не могу участвовать, — сказал трагик.

— Отчего же не можете? Для вас именно в этом-то фарсе и есть прекрасная роль, которую вы отлично сыграете. Это роль Кочкарева — этакое живого, смешного чудака. В вас самих много живости и развязности: говорите вы вообще громко и резко.

— Благодарю вас за определение моего ампула, — перебил обиженно-насмешливым голосом трагик, — но только я не принимаю на себя этой чести. Дураков я никогда не играл и не понимаю их, да и не знаю, стоит ли труда заниматься этими ролями.

— Я одного только не понимаю, — начал хозяин, — о чем вы беспокоитесь. Я прежде вам говорил и теперь еще повторяю, что собственно для вас мы согласны поставить сцену или две из «Гамлета», например — сцену его с матерью: комната простая и небольшая; стоит только к нашей голубой декорации приделать занавес, за которым

должен будет кто-нибудь лежать Полонием. Дарья Ивановна сыграет мать; вы — Гамлета — и прекрасно!

— Что вы такое говорите, Аполлос Михайлыч, я сыграю? — спросила сидевшая вдали дама.

— Я говорю, что вы сыграете, в сцене с Никоном Семенычем, Гертруду, мать Гамлета.

— Помилуйте, я ничего не умею играть! Клянусь вам честью, я с первого же слова расхожусь до истерики.

— Вы будете смеяться, а этот господин плакать, — это будет удивительно эффектно, — заметил шепотом сидевший около нее молодой человек.

— Нет, вы уж не извольте отказываться! Вы сыграете, и сыграете отлично, — возразил хозяин. — Ваша наружность, ваши манеры — все это как нельзя лучше идет к этой роли.

Трагик, слушавший эти переговоры с нахмуренным лицом, встал и взялся за шляпу.

— Куда же вы? — спросил хозяин.

— Нужно-с домой, — отвечал гость.

— Вы все сердитесь, но за что же? для вас уж есть пьеса, где вы можете себя показать.

— Я не хочу себя показывать в какой-нибудь выдержанной сцене, в которой я должен буду плакать, а на мои слезы станут отвечать смехом.

— Но согласитесь, любезный Никон Семеныч, по крайней мере с тем, что не можем же мы поставить целую драму.

— Я против этого и не спорю. Нельзя поставить драму, а я не могу играть; потому что мое амплуа чисто драматическое и потому что я с вами никогда не соглашусь, чтобы ваша комедия была высший сорт искусства.

— Об этом я уже с вами говорить не хочу. В этом отношении, как я и прежде сказал, вы неизлечимы; но будемте рассуждать собственно о нашем предмете. Целой драмы мы не можем поставить, потому что очень бедны наши материальные средства, — сцены одной вы не хотите. В таком случае составимте дивертисман, и вы прочтете что-нибудь в дивертисмане драматическое, например, «Братья разбойники» или что-нибудь подобное.

— Кто же будет играть других разбойников? — спросил трагик, которому, видно, понравилась эта мысль.

— В разбойниках мы не затруднимся. Разбойниками могут быть и Юлий Карлыч, — произнес хозяин, указывая

на приятного слушателя, — и Осип Касьяныч, — прибавил он, обращаясь к толстому господину, — наконец, ваш покорный слуга и Мишель, — заключил Аполлос Михайлыч, кивнув головой на племянника.

— Эта роль без слов, *top oncle*?¹ — спросил тот.

— Конечно, без слов, — отвечал хозяин.

— Всякую бессловесную роль я принимаю на себя с величайшим удовольствием, и даже отлично сыграю, — отнесся молодой человек к молодой даме и захохотал.

— Вот вам и целая коллекция разбойников, — продолжал с удовольствием хозяин. — В задние ряды мы даже можем поставить людей, чтобы толпа была помногочисленнее.

— Дело не в том, — возразил Никон Семеныч. — Мне кажется, что эффекту мало будет; неотчего ожидать этих прекрасных драматических вспышек.

— Что это вы говорите, — воскликнул Аполлос Михайлыч, — как нет драматических вспышек, когда вся пьеса есть превосходная драматическая вспышка! Сумейте только, почтеннейший, как говорит Фамусов, прочесть ее с чувством, с толком, с расстановкой...

— За этим дело не станет. Прочитать мы прочитаем, — отвечал Рагузов, — но я боюсь еще, как публика поймет. Кто у нас будет публика?

— Публика поймет, — отвечал хозяин, — потому что публика в этом деле всегда и везде самый справедливый судья. Эту мысль я высказал даже в моей статье о В.....м театре. Сверх того, у нас будут люди и понимающие нечто, например: Александр Александрыч с семейством, Веснушкин, чудак Котаев. Эти люди, Никон Семеныч, видят далеко! В дивертисмане вашем Дарья Ивановна пропоет своим небесным голоском свой *chef d'oeuvre*² — «Оседлаю коня»; Фани протанцует качучу.

— Я ее, *top oncle*, совсем забыла, — проговорила молодая девушка.

— Ты не могла ее, моя милая, забыть, — возразил Аполлос Михайлыч, — потому что ты только прошлого года изучила ее в Москве. Впрочем, застенчивость в этом отношении, *top ange*³, даже смешна.

¹ дядюшка? (франц.)

² образцовое произведение (франц.).

³ мой ангел, (франц.)

— Но, топ опсе, я не балетчица, а актриса.

— Все это я очень хорошо знаю, *chèге Fany*¹; но все-таки тебе стоит только вспомнить то соло, которое ты танцевала в Москве в благородном балете, то и этого уже будет весьма достаточно, а кроме того, ты не должна уже отказываться и потому, что это необходимо для полноты спектакля.

Трагик, все еще остававшийся в дурном расположении духа, встал.

— Доброй ночи, — сказал он.

Хозяин начал было его спрашивать досидеть артистический вечер, но гость уехал.

— Удивительно, какого несносного характера! — сказал Аполлос Михайлыч, пожав плечами, по уходе трагика. — Не глупый бы человек, но с самыми неприятными странностями — всегда и везде хочет, чтобы делалось по его. По способностям своим — комический актер, и даже актер недурной, а воображает себя трагиком, и трагиком вроде Мочалова. Когда ему начнешь что-нибудь говорить или читать, он никогда и ничего не слушает, а требует только, чтоб его чтением восхищались. Недели две тому, кажется, назад явился ко мне с своим Шекспиром — эти-кие маленькие синенькие книжки — и начал читать — просто сделал пытку! Вообразите себе — слушать двенадцать часов прозу, произносимую самым неприятным проносом и сопровождаемую самыми резкими движениями!

— Я говорила вам, топ опсе, чтобы вы его не приглашали, — заметила племянница.

— Нельзя, мой друг! Во-первых, его музыканты: не пригласи — осердится и не даст оркестра, а без музыки, ты сама знаешь, спектакля не бывает; а во-вторых, он и актер порядочный. Впрочем, господа, лучше потолкуемте о деле; позвольте мне представить вам маленький ярлычок. — Проговоря эти слова, Аполлос Михайлыч вынул из кармана небольшую бумагу и продолжал: — В пьесе моей роль виконта играю я; гризетку — Фани, — она эту роль прекрасно изучила; нечего конфузиться!.. я в этом деле строг: дурно, так дурно, а хорошо, так хорошо; на роль маркизы я приглашу Матрену Матвевну — немного чересчур полна, но это ничего: она довольно

¹ дорогая Фани; (*франц.*)

ловка! Потом-с: некоторые сцены «Женитьбы». Вот тут маленькая заковычка: действующих лиц много — нынешние писатели вообще любят толпу, которая только в больших труппах возможна. Между нами сказать, я бы этой пьесы никогда не поставил: какой-то тривиальный¹ фарс... смешна и больше ничего; но мне хочется это сделать для столицы — в Москве она очень всех сместила; придется, может быть, своим знакомым написать, что у нас был спектакль, давали «Женитьбу», там этого и довольно: все восхитятся! В этой шутке я думаю раздать роли таким образом: невесту будет играть Фани, сваху — Матрена Матвевна, она будет чуднейшая сваха! — экзекутора сыграете вы, Осип Касьяныч.

— Нет уж, Аполлос Михайлыч, меня, сделайте милость, освободите: я, право, никогда не игрывал на театрах и вовсе никакого желанья не имею-с, — отвечал тот.

— Полноте пустяки говорить, мой почтеннейший, — возразил хозяин. — Роль маленькая: на каких-нибудь трех страницах. Моряка сыграет Юлий Карлыч. — Эта роль очень добрая: лицо надобно иметь веселое, с приятной этакой улыбкой. Она очень будет вам по характеру. Кочкарева сыграет наш великий трагик, а Мишель — Анушкина.

— А тут, топ опсе, надо будет говорить? — спросил племянник.

— Разумеется.

— В таком случае, слуга покорный, я решительно отказываюсь от всех словесных ролей, — отвечал Мишель.

— Нет, ты не можешь отказаться, если я этого хочу.

— Помилуйте, топ опсе! Вы захотите, чтобы я на канате плясал, — возразил племянник, — так и должен я лезть на канат и сломать себе голову.

— И очень бы хорошо сделал, если бы в самом деле сломал и достал бы где-нибудь поисправнее!.. Как ты можешь не хотеть участвовать в том деле, в котором участвует все общество, в котором, наконец, участвуют твоя сестра и дядя?

— Что ж такое сестра и дядя? — возразил Мишель.

— Как что такое сестра и дядя?.. Ах, ты, бессмысленный повеса! Для него ничего не значат сестра и дядя; да сам ты что за великий человек? Не потому ли разве, что

¹ Пошлый (франц.).

в департаменте бумаги подшивать выучился, невежа глупый?

— Вы можете сердиться, сколько вам угодно, а я не буду играть, — сказал молодой человек и ушел в залу.

— Дело в том, господа, — начал, поуспокоившись, хозяин, — нам недостает актера на главную роль — на Подколесина. Я вот третью ночь не сплю и все думаю об этом; намекнул было сначала на Харитонову, по наружности бы очень шел: толст, неуклюж, лицо такое дряблкое — очень был бы хорош; нарочно даже в деревню к нему ездил, но неудача: третью неделю в водяной умирает. Хотел было напасть на учителя арифметики — тоже был бы приличен, — смиренный, тихий, но отказывается, — говорит, что ничего не может сыграть, особенно в дамском обществе. Хотел было завербовать аптекаря, наружностью тоже подходит к роли и играть бы согласился с удовольствием, но, к несчастью, по-русски ужасно дурно говорит, да и от природы картав.

— Я знаю одного актера, — заговорил Юлий Карлыч, — только угодно ли будет вам его принять?

— Сделайте милость!.. почему же не принять? — возразил Аполлос Михайлыч.

— Слабость имеет большую: пьяница, говорят, и пьяница-то запойная.

— Что же он по крайней мере за человек? — спросил хозяин.

— Человек он не важный, здесь в питейной конторе служит.

— Каким же образом вы узнали, что он хороший актер?

— Нынче летом у меня Саша из гимназии приезжал, так сказывал, что он где-то на вечере, подгуляв, что ли, читал им какое-то сочинение: так, говорит, уморил всех со смеху. Саша даже мне все его передразнивал.

— Нельзя ли мне как-нибудь показать его? Я бы испытал его на Подколесине.

— В этом-то и трудность, Аполлос Михайлыч, он ведет очень странную жизнь: или сидит дома около жены, которой, говорят, ужасно боится, или безобразно пьян.

— Господи боже мой, какое несчастье! По крайней мере можно ли его каким-нибудь образом вызвать из дому трезвого? Не целый же день он пьян.

— Вы напрасно, Юлий Карлыч, — вмешался в разговор Осип Касьяныч, — даете Аполлосу Михайлычу такой совет. Вы, вероятно, говорите о Рымове? Помилуйте, я его знаю: он человек совершенно потерянный; я полагаю, что это даже будет неприлично и, вероятно, дамам неприятно.

— Как это сказать, Осип Касьяныч, — возразил хозяин, — что будет неприлично и неприятно дамам? В искусстве не должно существовать личностей.

— Как вам угодно, Аполлос Михайлыч, я сказал только мое мнение.

— Очень вам благодарен; но мы теперь рассуждаем не о том, что это за человек, а какой он актер.

— Актер превосходный, мне Сашенька сказывал, — подхватил Юлий Карлыч.

— Много ваш Сашенька понимает, — перебил Осип Касьяныч.

— Да я ничего и не говорю и сказал только свое мнение. Моего Сашеньку тут вам трогать нечего.

— Вас никто с вашим Сашенькой и не трогает, а говорят о Рымове да о дамах, которые не захотят с ним играть.

— Нет, Осип Касьяныч! При всем моем уважении к вам, я должен сказать, что вы говорите не дело. Наши дамы выше этих мелочей, — перебил хозяин.

— Как вам угодно, — отвечал судья, — ваше дело.

В залу, куда ушел молодой человек, вскоре за ним вышла и молодая дама.

— О чем вы мечтаете? — спросила она, подходя к нему.

— Я не мечтаю, но взбешен на этого старого хрыча.

— Не сердитесь на него, он вас любит.

— *Sacré Dieu!*¹ Что мне в его любви?.. Помешался сам на театре и хочет всех сделать актерами. Очень весело учить какую-нибудь дрянь наизусть, пачкать лицо и тому подобные делать глупости.

— Что ж такое? — ничего, зато все общество будет вместе. На репетициях будет очень приятно: мы с вами будем сидеть, разговаривать, смеяться.

— Да, конечно, в таком случае это будет очень приятно, но я думал, что вы не захотите играть.

¹ Проклятие! (франц.)

— Нет, отчего же не играть? Съезжаемся же на вечера. Роли, конечно, я не стану учить, а выйду да постою.

— Вам можно это делать, Дарья Ивановна; но меня он будет заставлять учить и ломаться.

— А вы не учите, выйдите, постойте, да и уйдите.

— Я с ним сделаю штуку. На репетициях буду, а как надобно будет играть, и притворюсь больным. Ах, только как я посмотрю, какая у вас здесь, против Петербурга, ужасная жизнь: ни воксалов, ни собраний, ни гуляньев, а только затевают какие-то дурацкие театры.

— Что делать! — провинция. Что нынче больше танцуют в Петербурге?

— Перед моим отъездом вошла в моду полька tremblante.

После этого разговора дама скоро уехала, а молодой человек ушел к себе в комнату.

Два собеседника Аполлоса Михайлыча, судья и Юлий Карлыч, несмотря на происшедшую между ними маленькую размолвку, вместе простились с хозяином, вместе вышли и даже сели в один экипаж.

— Ну, оттерпелся! — произнес Осип Касьяныч, — дает же бог таким скотам состояние, — продолжал он; — вместо того чтобы тешить общество приличным образом, давать бы, при таких средствах, обеды, вечера картежные, так нет, точно белены объелся: театр играть вздумал; эких актеров нашел; а поди откажись, так еще неприятность какую-нибудь сделает. Вот сегодня надо было у Алмазова партию составить, — вот тебе и партия, просидел на дурацком вечере, да и только... Обоих бы их с Рагузовым на одну осину, проклятых, повесить; тот хоть по крайней мере сам благует, а этот еще других ломаться заставляет на его потеху. Удивительно, какое скотство!

— Уж не говорите лучше, Осип Касьяныч, — произнес Юлий Карлыч, — вон у меня жена больна; письмо надобно было писать, а что делать — просидел вечер.

— Ну, уж и вы-то хороши с вашим смешным характером: актера там ему приискали — какого-то пьяницу. Я молил бога, чтобы и те-то разбежались, а вы еще новых отыскиваете.

— Нельзя, почтеннейший, ей-богу, нельзя! Войдите вы в мое положение! на прошлой неделе занял у него

триста рублей: вы сами вот говорите, что нельзя отказаться, потому что неприятности станет делать.

Фани более всех сочувствовала дяде; она, еще при гостях, ушла в наугольную комнату и при лунном свете начала повторять качучу, которую должна была танцевать в дивертисмане.

Никон Семеныч, приехав домой, тотчас же взялся за поэму Пушкина «Братья разбойники». Сначала он читал ее про себя; потом, одушевившись, принялся произносить вслух и затем, вскочив, воскликнул:

О юность, юность удалая!
Житье в то время было нам,
Когда, опасность презирая,
Мы все делили пополам.

Единственный зритель его декламации, огромная легавая собака, смотревшая сначала на господина своего какими-то ласковыми глазами, на этом месте, будто бы вместо аплодисмана, начала на него лаять; но трагик не обратил внимания, продолжал и закончил всю поэму вслух.

II

КОМИК И АНТРЕПРЕНЕР

Рымов, о комическом таланте которого так выгодно отзывался Юлий Карлыч, был такое незначительное в городе лицо, что о нем никто и нигде почти не говорил, а если кто и знал его, то с весьма невыгодной стороны: его разумели запойным пьяницей. В контору и обратно он ходил почти всегда в сопровождении жены, которая будто бы дома держала его на привязи; но если уж он являлся на улице один, то это прямо значило, что загулял, и в это время был совершенно сумасшедший: он всходил на городской вал, говорил что-то к озеру, обращался к заходящему солнцу и к виднеющимся вдали лугам, потом садился, плакал, заходил в трактир и снова пил невероятное количество всякой хмельной дряни; врвался иногда насильно в дом к Нестору Егорычу, одному именитому и почтенному купцу, торгующему кожами, и начинал говорить ему, что он мошенник, подлец и тому подобное. Его, разумеется, выталкивали, и таким

образом он шлялся весь день, жалкий и безобразный, до тех пор покуда не ловила его Анна Сидоровна (его жена) и не уводила с помощью добрых людей домой. Что она потом предпринимала, неизвестно, но только Рымов исправлялся и начинал ходить опять в контору. В трезвом состоянии он был очень молчалив и отчасти суров; с товарищами и подчиненными почти не говорил ни слова и даже главному управляющему и самому откупщику отвечал только на вопросы.

На другой день после собрания любителей в самом отдаленном конце города, в маленьком флигельке, во второй его комнате, на двухспальной кровати лежал вниз лицом мужчина, и тут же сидела очень толстая женщина и гладила мужчину по спине. Это была чета Рымовых.

— Витя, а Витя! опять с тобою, мамочка, тоска; разве не проходит от глаженья? У тебя прежде от этого проходило, — говорила Анна Сидоровна.

— Прошло... лучше... поди, Анюта, — проговорил Витя.

— А ты пойдешь со мной? — спросила та.

— Нет, я полежу, устал что-то.

— Ну, так и я здесь посижу.

— Нет, ступай! мне жарко от тебя.

— Завтра я, мамочка, непременно схожу к лекарю и попрошу у него чего-нибудь для тебя. Как тебе не стыдно так запускать болезнь?

— Ну, ладно, ступай!.. поди, пожалуйста, сделай мне к обеду крошки.

— Да как же ты, мамочка, останешься один? тебе будет скучно!

— Ничего... я полежу... поди, Анюта!

— Да, Витя, мне самой-то не хочется от тебя отойти.

— После насидишься — ступай, пожалуйста.

Анюта нехотя встала, чмокнула Витю в затылок и вышла. Тотчас же по уходе ее Рымов встал, потянулся и сел. Наружность его в самом деле была комическая: на широком, довольном, впрочем, выразительном и подвижном лице сидел какой-то кривой нос; глаза слабые, улыбка только на одной половине, устройство головы угловатое и развитое на верхней части затылка.

— Еще год такой жизни, и я совсем сблагую: черт знает, что такое эти женщины! Для мужчин хоть время, хоть возраст существует, а для них и того нет! Бабе давно

за сорок, а она все нежничает — да еще и ревнует! Не глядел бы ни на что, право. Что я теперь за человек? — Пьяница и больше ничего: трезвый тоскую, а пьяный глупости творю... Опять разве на театр махнуть?.. Нет, черт возьми!.. нет!.. — воскликнул уже вслух Рымов, махнув рукою, как бы желая отогнать от себя дьявольское наваждение. — Каково было у Григорьева-то в труппе? — продолжал он рассуждать сам с собой. — Да и публика-то хороша, нечего сказать: мерзавке Завьяловой хлопают да цветы кидают, а над тобой только смеются, да еще говорят, что мало играешь! Играй вот им в каждом дурацком водевиле, паясничай — так и хорошо. Что там ни говори, а старуха моя, право, лучше всех для меня: влюблена даже в мою физиономию — вот этого, признаюсь, я никак не понимаю. Ну, да, вправду, и она не красива лицом, а привык, удивительно привык!

Анюта возвратилась и с самою приятною улыбкою разостлала салфетку и поставила окрошку. Все это она исполняла проворно, потому что, несмотря на полноту, была очень поворотлива и имела известную частоступчатую походку, с небольшим развальцем, как обыкновенно ходят ожиревшие сангвиники.

— Кушай, мамочка, я после пообедаю, — проговорила она.

Витя нехотя начал болтать в тарелке ложкою. Анна Сидоровна встала около него; одною рукою она подперлась в бок, а другою обняла шею мужа, — таким образом импровизированная живая картина была очень интересна. Представьте себе сидящего Рымова, с описанною мною физиономиею, и физиономиею, имеющею самое мрачное выражение, в засаленном и полуизорванном кашемировом халате, и обнимающую его — полную даму, с засученными рукавами. В положении Анюты было даже несколько кокетства; по крайней мере она как-то чрезвычайно странно свернула голову набок и очень нежно смотрела своими маленькими заплывшими глазами на мужа. Рымов съел несколько ложек, потом взглянул в висящее против него зеркало, улыбнулся, махнул рукою и встал.

— Что же ты, Витя, встал?

— Не хочу больше ничего.

— А чему ты, мамочка, смеешься?

— Так, ничему... Славные мы с тобой фигуры, — отвечал тот.

— Что же такое, мамочка! Ты хорош... право, хорош! Вон у тебя, душка, какой носик! Дай я тебе его поцелую...—И Аня поцеловала носик. Рымов сделал гримасу.

— Странная ты баба, — проговорил он, качая головой и ложась опять на постель.

— Вот уж у тебя сейчас и странная: сам странный!

— Странен я, только не в том.

— А зачем же, когда я ездила в Кузмищево, так ты по мне тосковал?

— Ты почему знаешь?

— Мне один человечек сказывал.

— Соврал тебе человечек!

Аня села опять на кровать, схватила Рымова за подбородок и вдруг поцеловала его.

— Перестань, сумасшедшая, выдумала с поцелуями... — проговорил тот с досадою, вставая с постели.

— Куда же ты, мамочка?

— Да так... все лижешься... молоденькая какая! Пусти... я ходить хочу.

Рымов встал и начал ходить по комнате. Анна Сидоровна, сложив руки, следовала за ним глазами.

— Одного у нас, Витя, с тобою нет, право! Как бы это было, ты бы меньше скучал.

— Что такое?

— Детей, мамочка! Хоть бы одного в целую жизнь бог дал на радость!

Рымов усмехнулся.

— Ты бы, мамочка, очень его любил?

Рымов не отвечал.

— Вдруг, Витя, у нас родится что-нибудь?

— Перестань, пожалуйста, болтать — мелешь бог знает что. Бабе за сорок, а думает еще родить.

— Где же, Витечка, за сорок?

— Сколько же?

— Тридцать два года всего, — отвечала, потупившись, Анна Сидоровна.

— Ах ты, сумасшедшая! сто лет замужем, и все ей тридцать два.

— Как же сто? Всего пятнадцать.

— Ну, пятнадцать! Да замуж вышла двадцати пяти.

— Это кто вам сказал, что двадцати пяти! Всего семнадцати лет.

— Ну ладно: отвяжись!

— Ты все, мамочка, меня обижаешь; как над какой-нибудь душой все смеешься. Изменял несколько раз, так уж, конечно, жена не может нравиться. Не скучайте, Виктор Павлыч! Может быть, нынешнюю зиму бог и приберет меня, будете свободны — женитесь, пожалуй! Возьмете молоденькую, а я буду лежать в сырой земле.

При последних словах Анна Сидоровна заплакала.

— Тыфу ты, дурацкая баба, — проговорил Рымов и плюнул.

— Плюйте, Виктор Павлыч! бог с вами, плюйте! Я давно уже вами оплеванная живу.

— Да ты хоть кого выведешь из терпенья: или целуется, как девчонка какая, или жапрится. Ревность съела!.. К кому, матушка? И людей-то никого не вижу, — весь всегда перед тобой.

— А прежде-то что ты делал на этом мерзком театре? Прежде-то как изменял, — это забыл?

— Ну да, как же! очень всем нужно было меня. Тебе еще мало, что меня душит целые дни тоска, — мало этого, что бывают минуты хоть резаться, — произнес Рымов и бросился на кровать.

Несколько минут продолжалось молчание.

— Мамочка! что это ты говоришь, — начала Анна Сидоровна, вставая и подходя к мужу. — Зачем ты это говоришь? Я думаю, страшно.

— Страшно? Нет, моя милая, не умереть, а жить, как я живу, страшно.

Анна Сидоровна опять села на постель.

— Витечка! что это такое? я лучше сама за тебя умру!

Комик отворотился к стене и начал чрезвычайно впечатлительным голосом:

— «Умереть!.. уснуть!.. но, может, станешь грезить в том чудном сне; откуда нет возврата, нет пришлецов!..»

Анна Сидоровна сидела, подгорюнившись.

Послышался в сенях сильный стук.

— Кто-то, должно быть, приехал, — воскликнула Анна Сидоровна, вскочив.

— О, черт бы драл! — проговорил Рымов и захлопнул дверь.

В первой комнате кто-то кашлял.

— Поди, мамочка, какой-то мужчина, — сказала Анна Сидоровна, заглянув в щелку.

Рымов с досадою надел пальто и вышел.

Перед ним стоял Аполлос Михайлыч.

Разговор несколько минут не начинался.

Дилетаев был поражен наружным видом комика, который действительно был очень растрепан; стоявшие торчками во все стороны волосы были покрыты пухом; из-под изношенного пальто, застегнутого на две только пуговицы, выбивалась грязная рубашка; галстука совсем не было; брюки вздернулись и тоже все были перепачканы в пуху.

— Честь имею кланяться, — заговорил, наконец, Аполлос Михайлыч, — не беспокоил ли я вас; вероятно, вы отдыхали после обеда?

— Да-с, — отвечал Рымов.

— Не знаю, нужно ли мне рекомендоваться вам, но, впрочем... Аполлос Михайлыч Дилетаев.

Хозяин поклонился, гость сел и, опершись на свою палку, начал следующим образом:

— Первоначально позвольте узнать ваше имя и отчество?

— Виктор Павлыч.

— Вчерашний день, Виктор Павлыч, я имел удовольствие слышать о вас чрезвычайно лестные отзывы; но предварительно считаю нужным сообщить вам нечто о самом себе; я немного поэт, поэт в душе. Поэт, так сказать, по призванию. Не служа уже лет пять и живя в деревенской свободе, — я беседую с музами. Все это вам потому сообщаю, что и вы, как я слышал, тоже поэт, и поэт в душе.

— Я ничего не пишу.

— Да... но это все равно — вы актер!

Рымов покраснел.

— Я это хорошо знаю и поэтому решил обратиться к вам с предложением: не угодно ли вам принять участие в благородном спектакле, который будет у меня в доме?

Рымова подернуло.

— Я давно уж отстал и отвык, — произнес он.

— Не беспокойтесь, — я эти вещи очень хорошо понимаю, — художник до самой смерти остается художником.

— Я не знаю-с, могу ли теперь за себя ручаться.

— Опять повторяю: не беспокойтесь! Мы имеем для вас превосходную роль. Это, знаете, этакого дикого, застенчивого мужчину в пьесе «Женитьба», из которой

дано будет несколько явлений. Сколько я могу вас понимать, то эта роль будет вам очень по характеру, и вы отлично ее выполните.

Рымов бледнел и краснел, как будто бы в эту минуту решалась участь его жизни. Он ничего не находил сказать и только перебирал дрожащими руками петли своего пальто.

— Я очень люблю театр, — сказал, наконец, он.

— Это я вижу по вашему лицу, — заметил Аполлос Михайлыч, — вы даже теперь взволнованы.

— Большой будет спектакль? — спросил хозяин, утирая катившийся с лица пот.

— Спектакль будет довольно большой и прекрасно составленный: в первую голову моя комедия: «Виконт и гризетка, или исправленный повеса», необыкновенно живая пьеска, из французских нравов. В ней всего три действующие лица: молодой виконт, которого я сам буду играть и который есть чистый тип шалуна-парижанина, и еще две женщины — одна из них гризетка, а другая маркиза. В первом действии он влюблен в гризетку и ненавидит маркизу, а во втором влюбляется уже в нее. Гризетка это узнает, застаёт его у маркизы, укоряет его; сама маркиза над ним смеется. Он сначала теряется, потом раскаивается и предлагает гризетке руку, а маркизе объявляет, что это ее побочная дочь. Пьеса эта, я, не хвастаясь, могу сказать, неоцененная вещь для благородных спектаклей, потому что актеры не могут иметь тех манер, которые нужны для сен-жерменских баричей. Потом «Женитьба», — об этой комедии, если хотите, я ничего не скажу особенного: написана она в очень тривиальном духе; я видел ее в Москве и, конечно, как знаток и судья строгий в этом деле, нашел в ней много недостатков, но при всем том хохотал до невероятности. Мы ее дадим для райка; у меня хоть и домашний спектакль, но публика будет всех сортов, потому что я это приятное удовольствие хочу разделить со всем городом, для которого оно может служить эрою воспоминаний.

— Я знаю-с эту пьесу.

— Знаете? И прекрасно!

— Это гениальная комедия.

— Ну уж и гениальная, — высоко взяли, Виктор Павлыч! Впрочем, сейчас видно артиста в душе. Мне очень приятно это от вас слышать, хотя я и не согласен с вами;

я классик, и гениальными творениями называю только классические пьесы.

— Она классическая.

— Ну что ж в ней классического? Классического-то в ней ничего нет. Во-первых, главного правила классицизма — единства содержания, в ней не существует; а без этого, батюшка, всякая комедия, как тело без души. Сведено несколько смешных, уродливых лиц, которые говорят между собою и, конечно, заставляют смеяться, но и только; эта пьеса решительно не для знатоков. Вы, впрочем, пожалуйста, не принимайте этого никак на свой счет, потому что, хоть и будете играть в этой комедии, но и в ней можете показать свой талант — золото видно и в грязи.

— Я очень рад играть в этой пьесе.

— А я более вашего.

На этом месте вышла Анна Сидоровна. Она все подслушивала. Лицо ее покрылось багровыми пятнами; кашемировый платок был надет как-то совсем уж накось. Гостью она присела, а на мужа взглянула: тот потупился.

— Итак, — проговорил Дилетаев, вставая, — когда же мы увидимся? Не могу ли я вас просить пожаловать ко мне сегодня вечером. У меня будет маленькое испытательное чтение: мы потолкуем, продекламируем наши пьесы и прочее. Вы не поверите, как хлопотливы эти театры! Его даже по одному этому можно назвать великим делом. Я про себя, например, могу сказать, что с молодых лет был поклонником Мельпомены — знаток и опытен в этом; но признаюсь, иногда голова идет кругом, особенно трудно ладить с участвующими; всем хочется сделать по-своему, а сделать-то никто ничего не умеет. Есть у меня сосед и приятель, Никон Семеныч Рагузов, страстный театрал; но, к несчастью, помешан на трагедиях. Вчера даже сделал мне сцену: требует всё драмы; успокоили только тем, что ставим на сцену «Братья-разбойники». Однако до свиданья, — проговорил гость, раскланиваясь и пожимая у комика руку. — Надеюсь, сударыня, — прибавил он, обращаясь к хозяйке, — что и вы пожалуете посмотреть на наш спектакль и полюбоваться вашим супругом.

Анна Сидоровна ничего не отвечала; полная грудь ее колыхалась, или, лучше сказать, она вся была в сильном волнении.

Дилетаев заехал от Рымовых к Юлию Карлычу. Хозяин выбежал его встречать на крыльцо и, поддерживая гостя под руку, ввел на лестницу и провел в гостиную.

— Я отыскал вашего комика, — начал Дилетаев.

— Изволили отыскать? — воскликнул хозяин. — Простите меня великодушно, — продолжал он умоляющим голосом, — я сейчас было хотел, по вашему приказанию, ехать к нему, да лекаря прождал. Клеопатра Григорьевна у меня очень нехороша.

— Ничего, я уж съездил. Какая, однако, странная семья: в доме грязь... сырость... бедность... жена какой-то совершенный урод, да и сам-то: настоящий уж комик... этаким уморительной физиономии я и не видывал: обрванный, нечесаный, а неглупый человек и буф должен быть отличнейший.

— Я докладывал ведь вам: необыкновенный, говорят, актер.

— Это видно даже по любви его к искусству. Представьте себе, только что я намекнул о театре, побледнел даже весь как полотно, глаза разгорелись и говорить уж ничего не может.

— Скажите, пожалуйста! Ну, да, впрочем, и честь для него велика — из каких-нибудь писарей быть приглашену в благородное общество — и это не безделица.

— Конечно. Приезжайте обедать.

— Клеопатра Григорьевна очень больна.

— Ну, что же такое? Вы не поможете.

— Конечно, Аполлос Михайлыч, — приеду-с.

От Вейсбора Дилетаев проехал к Матрене Матвевне, о которой я уже упоминал и с которой у него, говорят, что-то начиналось. По его назначению, она должна была играть в его комедии маркизу, а в «Женитьбе» сваху.

При всех своих свиданиях Аполлос Михайлыч с Матреной Матвевной имели всегда очень одушевленную беседу, потому что оба они любили поговорить и даже часто, не слушая друг друга, торопились только высказать свои собственные мысли.

Едва только гость появился в зале, где сидела Матрена Матвевна, сейчас же оба вместе заговорили.

— Вхожу в храм волшебницы, с преклоненными коленами, с мольбою и просьбою, — произнес Аполлос Михайлыч.

— Это я знаю... все знаю... согласна и рада!.. извиняюсь только, что вчера не могла приехать, потому что была в домашнем маскараде.

— Вы еще похорошели, Матрена Матвевна.

— А вы еще более стали льстец!

— Нет, какой я льстец — старик... хилый... слабый... я могу только в душе восхищаться юными розами и впивать их дыхание.

— Не старик, а волокита, льстец и повеса.

— Не верю, не верю обетам коварным, а буду умолять вас принять на себя роли, которые вы, конечно, превосходно сыграете, потому что отлично играете стариками. Я их сам для вас перепишу.

— Давайте, я все выучу и сыграю. Когда вы составитесь?

— Я уж и теперь старик!

Матрена Матвевна покатила со смеху.

— Ха, ха, ха... Он старик! Актер... поэт... он старик! Совсем всё устроили?

— Почти совсем.

— Дарья Ивановна была?

— Да, — вчера была.

— Она играет?

— Должна.

— Она влюблена в вашего Мишеля.

— Она замужем.

— Что ж такое! Ах, каким постником притворяется, а сами что делаете?

— Я вдовый.

— Ну да, конечно, это оправдание. Отчего Фанечку не выдаете замуж?

— Женихов нет!

— Ну, что это вы говорите, — выдавайте!.. Право, грешно так девушку держать.

— Я, с своей стороны, согласен хоть сейчас; но никого в виду нет.

— А Рагузов! она вам, право, связывает руки.

— Конечно, но он не сватается, да и чужды они как-то очень друг друга; может быть, теперь сблизятся. Он будет читать «Братья-разбойники», — пресмешной человек... О чем вы задумались?

— Так, что-то грустно... Что моя жизнь? Хожу, ем, сплю и больше ничего.

— От вас зависит...

Матрена Матвевна усмехнулась.

— Отчего ж от меня?

— Вы не любите стариков.

— Напротив, я только и люблю мужчин пожилых лет.

— Приезжайте-ка к нам обедать.

— Обедать?.. Хорошо.

Дилетаев начал прощаться. Хозяйка подала ему свою белую и полную ручку, которую тот поцеловал и, расшаркавшись, вышел молодцом. Отсюда он завернул к Никону Семенычу, которого застал в довольно странном костюме, а именно: в пунцовых шелковых шальварах, в полурасстегнутой сорочке и в какой-то греческой шапочке. На талии был обернут, несколько раз, яхонтового цвета широкий кушак, за которым был заткнут кинжал. При входе Аполлоса Михайлыча он что-то декламировал.

— Разбойник! совершенный разбойник! — проговорил тот.

— Я всю ночь все обдумывал: надобно большое искусство, чтобы вышло что-нибудь эффектное, — говорил хозяин, протягивая руку.

— А костюм-то разве не эффектен? Да вы, мой милый, поразите всех одною наружностью.

— Мне хочется кое-что к поэме прибавить.

— Прибавляйте, пожалуй.

— Именно, прибавить в том месте, где говорится:

Бывало, в ночь глухую
Заложим тройку удалую,
Поем и свищем, и стрелой
Летим над снежной глубиной.

Я переделал так:

Бывало, в ночь глухую,
Тая в груди отвагу злую,
Летим на тройке вороных,
Потешно сердцу удалых!
Мы, мразный ветер в себя вдыхая,
О прошлом вовсе забывая,
Поем и свищем, и стрелой
Летим над снежной глубиной.

Это будет сильнее.

— Чудесно! Право, чудесно!.. Какого, батюшка, сейчас актера достал я, — чудо! Приезжайте обедать.

— Не знаю, поутру можно ли. Я думаю много переменить в пьесе.

— Ну, хоть вечером.

— Вечером буду.

Аполлос Михайлыч завернул также и к судье и здесь было получил неприятное известие: Осип Касьяныч решительно отказывался играть, говоря, что он совершенно неспособен и даже в театре во всю свою жизнь только два раза был; но Дилетаев и слышать не хотел.

— Что вы там, почтеннейший Осип Касьяныч, ни говорите, как вы ни отказывайтесь, мы вам не поверим: вы будете играть и прекрасно сыграете, потому что вы человек умный, это знают все, и сегодняшний вечер пожалуйте ко мне.

У судьи вытянулось лицо.

— Хоть на сегодняшний вечер увольте меня, Аполлос Михайлыч, — проговорил он, — право, я даже все мои обязанности нарушаю с этим театром.

— Вы ваших обязанностей никогда не нарушали, — этого никто о вас не смеет и подумать, — решил Дилетаев и, снова попросив хозяина не расстраивать отказом общее дело, уехал.

— Провалился бы ты с своими вечерами! Совсем сблаговал, дурак этакой, — проговорил ему вслед судья.

Дома Аполлос Михайлыч имел еще неприятную сцену с племянником, который тоже отказывался играть и на которого он так рассердился, что назвал его безмозглым дураком и почти выгнал из кабинета.

По отъезде Дилетаева Рымовы несколько времени не говорили между собою ни слова. Комик сел и, схватив себя за голову обеими руками, задумался. Приглашение Аполлоса Михайлыча его очень взволновало; но еще более оно, кажется, встревожило Анну Сидоровну. Она первоначально начала утирать глаза, на которых уже показались слезы, и потом принялась потихоньку всхлипывать.

— Это что еще такое? — сказал Рымов с досадою.

— Так... ничего... — отвечала Анна Сидоровна, — опять!.. — произнесла она и начала всхлипывать громко.

— Что опять?

— Опять!.. — отвечала она и заревела.

— Ах ты, дура... дура! — произнес, качая головой, Рымов, который, видно, догадывался, на что метит жена.

Анна Сидоровна продолжала плакать.

— Разбойник... душегуб! — говорила она рыдая, — точно бес-соблазнитель приехал подмывать. Чтобы ни дна ни покрышки ему, окаянному, — только бы им, проклятым, человека погубить.

Рымов усмехнулся.

— Чем же он погубит?

— Всем он вас, Виктор Павлыч, погубит, решительно всем; навек не человеком сделает, каким уж вы и были: припомните хорошенько, так, может быть, и самим со-вестно будет! Что смеетесь-то, как над дурой! Вам ве-село, я это знаю, — целоваться, я думаю, будете по ва-шим закоулкам с этими погаными актрисами. По три дня без куска хлеба сидела от вашего поведения. Никогда прежде не думала получить этого. — Бабы деревенские, и те этаких неприятностей не имеют!

— Все промолоча? — спросил Рымов.

— Нечего мне молоть! Давно я такая... давно уж вы в эти дела-то вдались, так уж мне и бог велел разум-то растерять.

— Именно, давно уж ты из ума выжила; прежде — проста была, а теперь уж ничего не понимаешь. Вразу-мишь ли тебя, что театр мое призвание... моя душа... моя жизнь! Чувствуешь ли ты, понимаешь ли ты это, безум-ная женщина?

— У вас все душа! Кто вас ни позови, — вам всякий будет душа, только жена не нравится.

Рымов махнул рукою.

— В пять лет бог дает удовольствие, так и то хочет отнять, — начал он.

Анна Сидоровна горько улыбнулась.

— Великое удовольствие: как над дураком будут смеяться! Видела я вас, Виктор Павлыч, своими глазами видела — и на человека-то не были похожи. Обманывать меня нечего, другого вам хочется.

— Чего же другого-то?

— Известно, чего все мужчины хотят.

— Ну да, конечно: красавец какой, — так и кинутся все!

— Кидались же ведь прежде.

— Ах ты, жалкое создание, в тебе целый дьявол рев-ности сидит, ты ничего не видишь, ничего не понимаешь.

Это благородный спектакль, — вбей хоть ты это-то в свою голову: тут благородные дамы и девицы. Неужели же они и повесятся мне на шею? Они, я думаю, и говорить-то не станут со мной.

— Не хитрите, сделайте милость, не хитрите, Виктор Павлыч! Все я очень хорошо понимаю, и понимаю, почему это вам так хочется.

— Почему мне хочется? Вот этого-то ты, я думаю, уж совсем не понимаешь. Мне хочется потому, что хотелось этого Шекспиру и Шиллеру, — потому, что один убежал из отцовского дома, а другой не умел лечить — вот почему мне хочется!

— Что вы мне приятелей-то приводите в пример. В Москве еще я это от вас слыхала. Такие же пьяницы, как вы.

— Молчи, дура! не говори по крайней мере об этих людях своим мерзким языком.

— Ругайтесь, ругайтесь! Прибейте еще: — убить, я думаю, рады меня... Пьяница... бездомовщик, — уморил бы с голоду, кабы не мои же родные дали место.

Анна Сидоровна начала опять реветь.

— Ну да, — проговорил Рымов, — я хочу играть, буду играть, хоть бы тебя на семь частей разорвало.

Последние слова он произнес в сильном ожесточении. Анна Сидоровна хотела было что-то возражать.

— Молчи! — вскрикнул Рымов, ударив кулаком по столу.

III

ВЕЧЕР ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

Художественный вечер Аполлоса Михайлыча, назначенный собственно для испытания талантов, начался часов в семь. Все уже были почти налицо. Хозяин готовился начать чтение.

— Рымов! — доложил слуга.

— А!.. — произнес хозяин, — проси.

— Я чрезвычайно боюсь, не пьян ли он? — заметил Юлий Карлыч судье.

— Не без того, я думаю; заварите уж вы кашу с вашими актерами, — проговорил тот и взглянул в угол.

К удивлению многих, комик явился во фраке, в белой манишке, с причесанными волосами и совершенно уж не пьяный.

— Милости прошу! — проговорил хозяин, вставая. — Здесь вы видите все поклонников Мельпомены, и потому знакомиться нечего; достаточно сказать этого слова — и, стало быть, все мы братья. Господин Рымов! — прибавил Аполлос Михайлыч прочим гостям, из коих некоторые кивнули гостю головой, а Юлий Карлыч подал ему руку.

— Прошу присесть, — продолжал Дилетаев, указывая на ближайший стул. — Между нами нет только нашего великого трагика, Никона Семеныча. Он, вероятно, переделывает свою поэму; но мы все-таки начнем маленькую репетицию по ролям, в том порядке, как будет у нас спектакль. Сначала моя комедия — «Исправленный повеса», потом вы прочтете нам несколько сцен из «Женитьбы», и, наконец, Никон Семеныч продекламирует своим громовым голосом «Братья-разбойники»; Фани протанцует качучу, а Дарья Ивановна пропоет.

На такое распоряжение хозяина никто не отвечал. Дарья Ивановна пересмеялась с Мишеlem, судья сделал гримасу, Юлий Карлыч потупился, комик отошел и сел на дальний стул. Аполлос Михайлыч роздал по экземпляру своей комедии Матрене Матвевне и Фани.

— Пожалуйста, Матрена Матвевна, не сбивайтесь в репликах, то есть: это последние слова каждого лица, к которым надобно очень прислушиваться. Это главное правило сценического искусства. «Театр представляет богатый павильон на одной из парижских дач». Вам начинать, Матрена Матвевна!

Вдова начала:

— Действие первое. Явление первое.

— Позвольте, почтеннейшая! Зачем уж это читать? — перебил хозяин. — Это все знают. Начинайте с слова: «ах, да!»

— Сейчас, сейчас, отвечала Матрена Матвевна и снова начала:

Ах, да! Все говорят о вас, виконт,
Что вы от света стали отставать
И бродите день целый под окном
Какой-то Дульциней...

— Вы читаете недурно; но надобно более обращаться ко мне, — заметил хозяин и начал самым развязным тоном:

Я брожу?
Налгали вам, маркиза, на меня;
Я провожу весь день в Пале-Рояле!
Играю, ем, курю и пью вино,
Затем, чтоб, нагрешивши вдоволь,
Исправиться на ваших балах вновь.

— Подхватывайте скорее, Матрена Матвевна!
Вдова торопливо взглянула в книгу и зачитала:

Смешно вам,
Смейтесь, маркиза, ваша воля!
Но если б в самом деле...

— Attendez, madame ¹, — воскликнул Аполлос Михайлыч, — вы читаете мой монолог, — как вы торопливы!

— Виновата! — сказала Матрена Матвевна, немного вспыхнув, и снова начала:

Нет, нет, позвольте вам не верить!
Вы страстно влюблены в какую-то
Кухарочку, гризетку или прачку.
Смешно, виконт, мне это. —

Смешно вам? —

подхватил хозяин.

Смейтесь, маркиза, ваша воля!
Но если б в самом деле я хотел
Кого-нибудь когда-нибудь любить,
Так не влюбился бы в вас, светских дам,
А сердце отдал бы простой крестьянке.

Матрена Матвевна подхватила:

Затем, что обмануть несчастных легче.

— Вы хорошо произносите, но немного скоро и однообразно: нет перелива в голосе... — заметил Аполлос Михайлыч.

— Я теперь еще не знаю наизусть, а я выучу.

— Уверен, уверен, моя почтеннейшая, что выучите и будете превосходны. Как вы, Виктор Павлыч, находите наше чтение и комедию, — а?

— Стихи произносить очень трудно, — отвечал тот.

¹ Подождите, сударыня (франц.).

— Совершенно согласен: тут надобно, особенно в комедии, — высшее классическое искусство. Я думаю, вы могли заметить, что я в своем чтении много заимствовал у Катенина, которого несколько раз слышал и прилежно изучал.

Затем снова началось чтение. Матрена Матвевна часто мешалась в репликах, но зато сам хозяин необыкновенно одушевлялся, и в том месте, где виконт высказывает маркизе, что он ее не любит, Аполлос Михайлыч встал и декламировал наизусть.

— Как отлично Аполлос Михайлыч читают! — отнесся Юлий Карлыч к судье.

Тот только почесал затылок; комик сидел насупившись; Мишель что-то шептал на ухо Дарье Ивановне, которая, чтоб удержаться от смеха, зажала рот платком. Фани вся превратилась в слух и зрение и, кажется, с большим нетерпением ожидала, когда очередь дойдет до нее; наконец, пришла эта очередь. По ходу пьесы она сидит одна, в небольшой комнате, шьет себе новое платье и говорит:

Виконт! о милый мой виконт!
Я для тебя спешу скорей надеть
Тобою подаренный мне наряд!
Ты, может, будешь, друг бесценный,
Любить меня еще сильнее в нем.

Так читала девушка и читала с большим чувством. Затем является виконт, сначала страстный, потом задумчивый; гризетка испугалась: она думает, что он ее разлюбил; но он только вспомнил о маркизе, вспомнил, как она смеялась над его любовью, и еще более возненавидел эту женщину. Он рассказал своей возлюбленной; но она ему не верит и начинает его ревновать.

Вся эта сцена очень удалась, может быть, более потому, что два действующие лица не сбивались в репликах и читали все на память. Дилетаев вставал, ходил, садился около Фани и целовал ее руки; под конец явления Юлий Карлыч и Матрена Матвевна захлопали в ладоши, и последняя поклялась к завтрашнему же дню так же твердо выучить роль, как Фани, и просила Аполлоса Михайлыча приехать поутру поучить ее. Второе и последнее действие было также прочитано с большим одушевлением со стороны Аполлоса Михайлыча и Фани и с большим старанием Матреною Матвевною, которая была уже не

так однообразна, но по торопливости характера все-таки ошибалась иногда в репликах и не совсем верно выражала акцентом голоса мысль монолога, но Дилетаев следил внимательно и очень часто делал вдове дельные замечания.

— Мы со сцены сходим, — произнес он, — теперь, Виктор Павлыч, ваша очередь — потешьте вы нас вашим чтением. Мне бы очень желалось, чтобы каждое действующее лицо читало за себя; но у меня книжка одна, и роли еще не списаны. Прочтите уж вы одни то, что я отметил для нашего представления, да еще вас прошу пропускать те места, которые зачеркнуты карандашом. Они могут произвести на наших дам неприятное впечатление.

Комик, слушавший чтение всей комедии Дилетаева с грустным лицом, встал.

— Посмотрите, как у него руки дрожат, должно быть, он пьян, — заметил Мишель.

— Какой он странный, неприятно даже видеть: что он — лакей, что ли, чей-нибудь? — спросила его Дарья Ивановна.

— Должно быть, побочный сын Мельпомены.

— Перестанете ли вы меня смешить! Я, право, уеду.

— Бога ради, не погубите меня... Я не буду, честное слово, не буду, — отвечал молодой человек и закурил папиросу.

Комик подошел к столу и сел.

— Не любите ли вы пить воду с сахаром при чтении? — спросил хозяин.

— Нет-с, ничего; я и так прочту, — отвечал тот.

— Ему бы стакан водки, для смелости, закатить, — проговорил тихонько судья Юлию Карлычу.

— Ай, сохрани господи! Он нас всех приколотит, — отвечал тот.

— И хорошо бы сделал, чтобы глупостями-то не занимались.

Комик, наконец, начал чтение, по назначению Аполлоса Михайлыча, с того явления, где невеста рассуждает с теткою о женихах и потом является сваха. С первого почти его слова Матрена Матвевна фыркнула, Аполлос Михайлыч усмехнулся, Вейсбор закачал головой, Фани с удивлением уставила на Рымова свои глаза; даже Осип Касьяныч заглянул ему в лицо. Смех и любопытство заметно начали овладевать всеми. Вдова, Юлий Карлыч и

Фани хохотали уже совершенно, Дилетаев слушал внимательно и по временам улыбался. Судья тоже улыбался. Мишель и Дарья Ивановна перестали говорить между собою. Чтение Рымова было действительно чрезвычайно смешно и натурально: с монологом каждого действующего лица, не только менялся его голос, но как будто бы перекраивалось и самое лицо, виделись: и грубоватая физиономия тетки, и сладкое выражение двадцатипятилетней девицы, и, наконец, звонко ораторствовала сваха. С появлением женихов все уже хохотали, и в том месте, где Жевакин рассказывает, как солдаты говорили по-итальянски, Аполлос Михайлыч остановил Рымова.

— Нет, Виктор Павлыч, пощадите, — воскликнул он, отнимая у комика книгу. — О господи, даже колика сделалась... Матрена Матвевна! не прикажете ли истерических капель?

— Я не знаю, что такое со мною, — отвечала вдова, — я просто сумасшедшая.

— Как вы находите, Дарья Ивановна? — отнесся хозяин к молодой даме.

— Très drôle¹, Аполлос Михайлыч, — отвечала та.

— Живокини не уступит — ужасный урод! — шепнул ей на ухо Мишель.

— Я, mon opcle, никогда так не смеялась... Отчего это? — сказала Фани.

— Это, душа моя, значит высшее искусство смешить. О чем плачете, Юлий Карлыч?

— От смеха, Аполлос Михайлыч, ей-богу, от смеха.

— Вижу, что от смеха, даже наш великий судья, и тот улыбается. Короче сказать: вы, Виктор Павлыч, великий актер.

Все эти похвалы комик слушал потупившись.

— Но вот, ведь, господа, в чем главное дело, — начал рассуждать Дилетаев, — что смеялись мы, — это не удивительно: фарс всякой смешон; но, главное, — разнообразие таланта Виктора Павлыча. Он, например, может сыграть все почти лица: и сваху, и невесту, и тетку — это удивительно!.. Что бы вы теперь могли сделать в классической комедии? — продолжал он, обращаясь к комику, — это выше слов: конечно, тут бы смеяться не стали; но зато на изящный-то вкус как бы подействовало,

¹ Очень забавен (франц.).

особенно в этих живых пассивных сценах, на которые с умыслом автор рассчитывает.

— Что вы изволите, Аполлос Михайлыч, разуместь под классической комедией? — спросил скромно комик.

— Как что такое я разумею под именем классической комедии? — возразил хозяин. — Я разумею под этим именем все классические комедии, которые написаны по правилам искусства.

— Всякая комедия, если она выражает что-нибудь смешное ярко и естественно, — классическая комедия, — возразил скромно комик.

— Ах, нет: это совершенно ложная мысль! — перебил хозяин, — смешного много написано: смешон водевиль, смешон фарс, но это не то... классическая комедия пишется по строгим и особенным правилам.

— Какие же особенные правила, mon oncle? Теперь в Петербурге даются водевили, которые гораздо лучше всех ваших классических комедий, — вмешался в разговор Мишель.

— Ну, mon cher ¹, ты еще не можешь судить об этом; то, что я хочу сказать, ты не совсем и поймешь.

— Да почему же вы одни только можете понимать? — возразил племянник.

— Молчи, пожалуйста! Твое дело галстуки повязывать да воротнички выставлять — и только. Я заговорил об особых правилах классического искусства — известны ли они вам, Виктор Павлыч?

— Когда-то учил-с, но теперь уж совсем забыл.

— Ну, поэтому слегка их припомню вам; я сам тоже давно учил, но как-то врезалось в память. Первое правило: единство содержания, второе, да... второе, я полагаю, то, чтобы пьеса была написана стихами — это необходимо для классицизма, и, наконец, третье уж совершенно как-то не помню: кажется, чтобы все кончилось благополучно... например: свадьбою или чем-нибудь другим; но я, с своей стороны, кладу еще четвертое условие для того, чтобы комедия действовала на вкус людей образованных: надобно, чтобы она взята была из образованного класса; а то, помилуйте! Что такое нынче пишут? На сцене фигурируют пьяные мужики, хохлы, лакеи, какие-то уроды-помещики. Такая сволочь что не

¹ Мой дорогой (франц.).

глядел бы, да и в натуре их совсем нет. Возьмите вы комедии Шаховского — букет изящного, ароматом пахнет... Я очень бы желал, Виктор Павлыч, чтобы вы прочитали мою комедию; конечно, это не ваш род, но все-таки полагаю, что вы бы произнесли ее верно и с артистическим одушевлением.

Комик, прислушивавшийся сначала к рассуждениям Аполлоса Михайлыча с какою-то горькою улыбкою, под конец ничего уж не слышал и все посматривал на закрытую книжку «Женитьбы». Ему, кажется, очень хотелось еще почитать ее.

— Прочитайте-ка, Виктор Павлыч, мою комедию, — повторил хозяин.

— Чего-с? — отозвался комик.

— Мою комедию продекламируйте.

Рымов немного смешался.

— Я не умею читать белых стихов, — проговорил он.

— Жаль, очень жаль, — начал хозяин, — невероятно жаль, что вы не получили строгого сценического воспитания! Вы бы были великий художник — природа ваша бесценна; но в настоящее время для вас существует только известный род пьес, комедии райка; конечно, и в них много смешного, но уж чрезвычайно вульгарно. Высший класс тоже смеется; но смеяться ведь можно всему: мы смеемся, например, когда пьяный мужик пляшет под балалайку, но все-таки в этом нет истинного комизма. Так ли я, господа, говорю? — отнесся Аполлос Михайлыч к мужчинам, — что вы, mesdames¹, скажете? — прибавил он, обращаясь к дамам. — Виктор Павлыч, я замечаю, не совсем соглашается с моими мнениями.

— Мы, дамы, должны соглашаться с вами, вы профессор наш, мы все считаем вас нашим профессором, — подхватила Матрена Матвевна.

Из мужчин судья только поднял брови и молчал; Мишель сделал гримасу и что-то шепнул на ухо Дарье Ивановне, которая ударила его по руке перчаткой и опять зажала рот платком.

— Я согласен с Матреной Матвевной, — произнес Юлий Карлыч. — Вы очень много читали, Аполлос Михайлыч, да и от природы имеете большое соображение.

¹ Сударыни (франц.).

— И таким образом, стало быть, один Виктор Павлыч не согласен.

— Я ничего, Аполлос Михайлыч... — начал было Рымов.

— Ну, однако, как там в сердце, в уме-то своем: не убеждены, что я прав? — перебил хозяин.

— Я ничего-с, только насчет райка... он иногда очень правильно судит.

— Вы думаете?..

— Да-с, Мольер обыкновенно читал свои комедии кухарке, и если она смеялась, он был доволен.

Аполлос Михайлыч покачал головою.

— Во-первых, это анекдот, а во-вторых, что такое Мольер? — «Классик! классик!» — кричат французы, но и только!.. Немцы и англичане не хотят и смотреть Мольера; я, с своей стороны, тоже не признаю его классиком... А!.. Никон Семеныч, великий трагик! Вас только и недоставало, — опоздали, *mon cher!* и лишили себя удовольствия прослушать большую часть нашего спектакля.

Но Никону Семенычу было не до кого и не до чего: он приехал в очень тревожном состоянии духа; волосы его были растрепаны, руки и даже лицо перепачканы в чернилах.

— Я приехал читать, — проговорил он, не кланяясь почти ни с кем.

— Да, теперь очередь за вами, — ответил хозяин, подмигнув судьбе и Юлию Карлычу, отчего последний потупился.

— Я много переделал и прибавил, — начал Никон Семеныч, садясь. — Могу? — спросил он.

— Сделайте милость, — сказал хозяин.

Рагузов начал:

— «Театр представляет равнину на волжском берегу. Рассыпана толпа разбойников в различных костюмах; близ одного, одетого наряднее других, сидит, опершись на его плечо, молодая женщина».

— Позвольте, *mon cher*, я вас перебыю: это, стало быть, совершенно новое лицо? — возразил Аполлос Михайлыч.

— Новое, — оно необходимо, — отвечал торопливо Рагузов и продолжал уже наизусть:

Нас было двое: брат и я!
Росли мы вместе, нашу младость
Вскормила чуждая семья...

На том месте, где говорится:

...Решились меж собой
Мы жребий испытать иной, —

он остановился и сказал:

— Тут говорит его любовница, — и продолжал:

Е л е н а

Благословляю этот миг,
Он отдал мне, мой друг, тебя!
Ты не преступник, ты велик.
Ты мой навек, а я твоя!

— Позвольте, Никон Семеныч, я вас опять перебью: кто же будет играть эту роль? Надобно прежде это решить.

— Я не знаю-с, это ваше дело.

— Но как же все мое дело; не могу же я придумать все, что придет вам в голову. Дарья Ивановна, это ваша роль.

Дарья Ивановна насмешливо покачала головой:

— Почему же вы думаете, что моя? Неужели же вы находите, что я похожа на любовницу разбойника? Мне это досадно!

Матрена Матвевна взглянула на Аполлоса Михайлыча многозначительно.

— Фанечка, эту роль ты должна играть, — отнесся он к племяннице.

Но та, несмотря на любовь к искусству, на этот раз что-то сконфузилась.

— Я не сыграю, топ опсе, — произнесла она.

— Неправда, та bonne amie¹, неправда!.. Матрена Матвевна, она ведь должна играть?

— Она, непременно она... она молоденькая, хорошенькая, а мы все старухи, — решила вдова.

— Я, топ опсе, не умею играть драматических ролей.

— Никон Семеныч тебя научит, и я тебе слова два три скажу.

— Я у вас буду учиться, топ опсе, — отвечала девушка.

Рагузов начал читать и прервал этот разговор. Наконец, он кончил.

¹ Мой добрый друг (франц.).

— Стало быть, поэма ваша, Никон Семеныч, должна будет идти отдельно от дивертисмана?

— Непременно!

— В таком случае надобно назвать ее драматической фантазией, — произнес Аполлос Михайлыч.

— Пожалуй, — отвечал трагик и встал.

— Ну-с, — отнесся Дилетаев к Дарье Ивановне, — теперь ваша очередь; во-первых — пропеть, а во-вторых — сыграть качучу для Фани на фортепьянах.

— У меня горло болит, Аполлос Михайлыч, — возразила она.

— Все равно-с, болит ли оно у вас, или нет, мы этого не знаем; но просим, чтобы вы нам пропели.

— Спойте, Дарья Ивановна, дайте отдохнуть душе, — шепнул ей на ухо Мишель.

Дарья Ивановна встала и села за фортепьяно; голос ее был чрезвычайно звучен и довольно мягок: он поразили всех; один только Рымов, кажется, остался недоволен полученным впечатлением.

— Каково соловей-то наш заливаётся? — отнесся к нему Юлий Карлыч.

— Она не понимает, что поет, — отвечал тот и отошел.

Никон Семеныч прослушал весь романс с необыкновенным восторгом.

— Madame, je vous supplie, faites moi l'honneur d'accepter un rôle dans ma pièce. Vous avez tant de sentiments... J'arrangerai un petit air tout exprès pour votre voix...¹ — отнесся он, от полноты чувств, к Дарье Ивановне на французском языке.

— Je n'ai jamais parlé et chanté sur la scène², — отвечала та небрежно и отвернувшись от трагика.

— Прелесть! чудо! — говорил Аполлос Михайлыч, качая головою.

— Попросите, пожалуйста, чтобы Дарья Ивановна играла в моей пиесе; я напишу для них романс. Это будет очень эффектно, — обратился к хозяину трагик.

— Вряд ли станет она играть! Дай бог, чтобы что-нибудь пропела, — отвечал Дилетаев. — Мишель! поди

¹ Сударыня, я вас умоляю оказать мне честь и взять роль в моей пиесе. В вас столько чувства... Я напишу небольшую арию специально для вашего голоса (франц.).

² Я никогда не играла и не пела на сцене (франц.).

сюда, — кликнул он племянника. — Будет ли у нас Дарья Ивановна играть?

— Я почему знаю, спросите ее.

— Попроси ее, мой друг, участвовать.

— Что ж мне ее просить... Я ничего у вас не понимаю, — проговорил Мишель и, отошед от дяди, опять заговорил с Дарьей Ивановной.

— Фанечка! — начал хозяин, — что же твоя качуча?

— Сейчас начну, топ опсе, — ответила девушка и убежала в свою комнату за кастаньетами.

Дарья Ивановна, по просьбе Аполлоса Михайлыча, заиграла качучу; Фани начала танцевать. Нельзя сказать, чтобы все па ее были вполне отчетливы и грациозны; но зато во всех пассивных скачках, которыми исполнен этот танец, она была чрезвычайно энергична, Аполлос Михайлыч, Никон Семеныч, Матрена Матвевна и Юлий Карлыч хлопали ей беспрестанно; оставались равнодушными зрителями только комик, который сидел в углу и, казалось, ничего не видал, и судья, которому, должно быть, тоже не понравился испанский танец.

«Этакое нахальство: для девицы, кажется, и неприлично бы было; простая мужичка не согласится этак ломаться!» — сказал он про себя.

Качучею заключился вечер испытательного чтения. Общество снова возвратилось в гостиную; Аполлос Михайлыч еще долго рассуждал о театральном искусстве, и у него опять начался жаркий спор с Рагузовым, который до того забылся, что даже собственную комедию Дилетаева назвал пустяками. Аполлос Михайлыч после этого перестал с ним говорить. Комик раньше всех простился с хозяином, который обещался на другой же день прислать ему роль. Трагик уехал вскоре за ним. Дарью Ивановну поехал провожать Мишель. Фани принялась читать «Женитьбу»; Матрена Матвевна очень долго сидела с хозяином в гостиной и о чем-то потихоньку разговаривала с ним. Все гости отправились, конечно, в экипажах: один только Рымов пошел пешком повеся голову.

«Что это такое: где я был? точно сумасшедший дом, — рассуждал он сам с собою, — что такое говорил этот господин: классическая комедия, Мольер не классик,

единство содержания, «Женитьба» — фарс, черт знает что такое? Столпотворение какое-то вавилонское!.. Хорош же у них будет спектакль... и комедия хороша, нечего сказать. Вместо стихов — рубленая солома, но главное: каков виконт-то — волокита, — тьфу ты, проклятые! ничего подобного и не слыхивал! Видно, в самом деле старуха моя права; все это глупости, и глупости-то страшные! Или уж я очень одичал, так не понимаю ничего, — черт знает что такое?»

Пришед домой, он застал жену в постеле, с повязанной головой. Рымов посмотрел на нее. Анна Сидоровна отвернулась.

— Аннушка! Что с тобой? — спросил он, раздеваясь; но она не отвечала.

— За что ты сердишься? что такое я сделал? Больна, что ли, ты?

— Да, — отвечала она.

— Что такое у тебя болит?

— Да вам зачем? Играйте там, дайте хоть умереть спокойно.

— Опять старые песни!

— Лучше бы к какой-нибудь поганой актрисе вашей отправились ночевать. Зачем меня пришли мучить?

— Тьфу ты, дура этакая! Лежи же, валяйся... терпенья нет никакого!

— Что ж вы, подлец этакой, ругаетесь? Ступайте вон! Квартира моя — разбойник! Еще убьете ночью, пожалуй.

Рымов плюнул и ушел в другую комнату, погасил свечу и лег на голом диване. Прошло часа два, но ни муж, ни жена не спали; по крайней мере так можно было заключить из того, что один кашлял, а другая потихоньку всхлипывала. Наконец, Анна Сидоровна встала и подошла к дверям комнаты, где лежал муж.

— Витя, ты спишь? — начала она ласковым голосом.

— Нет, а что?

— Поди ко мне, мамочка, тебе там жестко.

— Ругаться станешь.

— Нет, мамочка, я виновата.

Рымов встал и перешел к жене на кровать.

— Не играй, Витя! пожалуйста, не играй: погубишь ты себя и меня!

— Чем же я погублю тебя?

— Избалуешься, мамочка, опять избалуешься, еще, пожалуй, влюбишься... вы ведь при всех, без стыда, целуетесь, это уж какое дело семейному человеку.

— Отвяжись, пожалуйста; я спать хочу.

— Спи, ангел мой, авось тебя бог образумит.

Анна Сидоровна поцеловала и перекрестила мужа.

IV

ПЕРВАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Дня через два Дилетаев разослал ко всем роли; но, кроме того, он заехал к каждому из действующих лиц и сделал им, сообразуясь с характером, наставления и убеждения.

Осип Касьяныч, получив роль, пришел в совершенный азарт: он бросил ее на пол и начал топтать ногами, произведя при этом случае такой шум, что проживавшая с ним сестра подумала, бог знает что случилось, и в большом испуге прибежала к нему.

— Батюшка, Осип Касьяныч! Что это такое с вами? — спросила она.

— Черт, дьявол, бес плешивый, — кричал судья, толкая пинками роль, — ишь как вздумал дурачить людей.

— Голубчик, братец, расскажите, что такое случилось?

— Вам еще что надобно от меня? Ступайте к себе. Ну что вам надобно? Лучше бы рожу умыли, — проговорил он, обращаясь к сестре, и, совершенно расстроенный, уехал к откупщику, где играл целый день в карты и сверх обыкновения проиграл пятьсот рублей, бледнея и теряясь каждый раз, когда его спрашивали, какую он будет играть роль. После такого рода неприятностей почтенный судья о театре, конечно, забыл и думать, а пустился в закавказский преферанс и выиграл тьму денег, ограничась в отношении своей роли только тем, что, когда при его глазах лакей, метя комнату, задел щеткой тетрадку и хотел было ее вымести вместе с прочею дрянью, он сказал: «Не тронь этого, пусть тут валяется»; но тем и кончилось.

Гораздо добросовестнее исполнял поручение Дилетаева Юлий Карлыч. Несмотря на то, что жене его сде-

лалось в тот день еще хуже, что около него шумел и кричал целый пяток различного возраста детей, он тотчас же начал учить роль; но, к несчастью, память совсем отказывалась. Пробившись без всякого успеха часа три, Вейсбор решил ехать за советом к учителю истории в уездном училище, который, по общей молве, отличался необыкновенною памятью и который действительно дал ему несколько спасительных советов: он предложил заучивать вечером, но не поутру, потому что по утрам разум скоро воспринимает, но скоро и утрачивает; в местах, которые не запоминаются, советовал замечать некоторые, соседственные им, видимые признаки, так, например: пятнышко чернильное, черточку, а если ничего этого не было, так можно и нарочно делать, то есть, мазнуть по бумаге пальцем, капнуть салом и тому подобное, доказывая достоинство этого способа тем, что посредством его он выучил со всею хронологиею историю Карамзина. По его словам, метода самого Ланкастера противу изобретенной им методы никуда не годится. Способ действительно, надо полагать, был хорош. Дня через два, после тщательного упражнения, Юлий Карлыч знал уже четыре явления очень порядочно.

Немалоги Аполлосу Михайлычу стоило труда уговорить и Дарью Ивановну принять на себя роль тетки в «Женитьбе». Несмотря на то, что эта роль была очень маленькая, молодая дама решительно отказывалась, говоря попрежнему, что она расхохочется на первом слове; но Аполлос Михайлыч уверял, что если она только выйдет на сцену и постоит, так и то будет прелестно.

Трагика тоже было трудно уломать взять роль Кочкарева. Аполлос Михайлыч употребил для этого лесть, говоря, что Никону Семенычу всякая роль по плечу и что он из грязи сделает брильянт. Тот, наконец, согласился и, пробегаая роль, восклицал: «Этакая гадость, сальность! Что-то такое мужицкое, бурлацкое» — и снова начал отказываться, но Дилетаев снова польстил, и трагикокончательно согласился и очень скоро выучил роль, хотя и была она ему не по сердцу. Про «Братьев-разбойников» и говорить нечего, — он эту поэму почти всю сам пересоздал и все это время походил совершенно на сумасшедшего человека: никого не принимал, никуда не ездил, а все занимался по этому предмету, и в конце недели уже прислал Фани роль Елены — любовницы, совсем

отделанную и переписанную. Фанечка тоже действовала от души. Роль гризетки она уже знала превосходно наизусть. Роль невесты выучила в два дня и, наконец, хотя и не с большим желанием, принялась за роль Елены. Качучу она уже танцевала очень мило.

В племяннике своем Дилетаев встретил опять большое затруднение: Мишель никак не хотел играть и даже нагрубил ему в такой мере, что он принужден был выгнать его из дому и решил было написать записку к аптекарю и просить того, несмотря на картавый выговор и совершенное незнание русского языка, сыграть Анучкина; но, впрочем, молодой человек, сходя к Дарье Ивановне, опомнился: взял роль и начал ее изучать вместе с нею. Не знаю, действительно ли они учили свои роли, но только говорили беспрестанно и даже устроили какую-то странную между собой игру: «Перестаньте, Мишель, я уйду», — говорила вдруг Дарья Ивановна и уходила в темный коридор, но Мишель следовал за ней и в коридор. «Ну, так я в мезонин», — говорила она. Мишель шел за ней и в мезонин. «Ну, будет... довольню... Я хочу сидеть в гостиной», — говорила Дарья Ивановна и шла в гостиную. Мишель тоже следовал за нею.

Что касается до комика, то предчувствие Анны Сидоровны, что театр опять собьет его с панталыку, отчасти начало оправдываться. В тот же день он не пошел в контору, а ушел во вторую комнату, затворил дверь, заставил ее комодом и принялся что-то бормотать. Не осушая глаз, бедная женщина готовила в этот день кушанье; но есть ничего не могла. Браниться и говорить мужу тоже не хотела: она по опыту знала, что от этого не будет никакой пользы. Вечером она отправилась ко всеобщей и со слезами молилась, чтобы отвратился ее Витя от этой, словно с ветра напущенной на него, блажи.

Когда она пришла домой, Рымов вышел уже из своей засады. Ему, видно, стало жаль жены, и он хотел было вразумить ее, но тщетно: она заткнула себе уши и не хотела ничего слушать. Комик рассердился и попрежнему лег на диван. На этот раз Анна Сидоровна не звала уже его к себе, и таким образом должен с грустью я сказать, что после пятилетней спокойной жизни супруги снова провели всю ночь на одиноких ложах, как это и часто случалось, когда Виктор Павлыч был в труппе. На другой день Рымов, впрочем, пошел в контору. Анна Си-

доровна решила без него употребить последнее средство: она подсмотрела, куда муж спрятал свою тетрадку, нашла ее, изорвала на мелкие кусочки и сожгла. Пришед домой, комик сейчас же хватился своей роли, но не нашел и, вероятно, догадался о постигшей ее участи; но это для него ничего не значило: он тотчас же написал всю роль на память и, как бы в досаду, показал ее Анне Сидоровне; но та уже и отвечать ничего не могла, а только вздохнула и, чтобы отплатить неверному, ушла на целый вечер к одной соседке и там, насколько доставало у ней силы, играла равнодушно в свои козыри; но, возвратясь домой, опять впала в тоску и легла. Несмотря на все эти отчаянные поступки жены, Рымов, кажется, решил поставить на своем и не обращал никакого внимания на нее, что, конечно, еще более убивало Анну Сидоровну.

Семнадцатого февраля была назначена, по распоряжению Аполлоса Михайлыча, первая репетиция. Дилетаев, как человек строгий и опытный в театральном деле, настаивал, чтобы репетировали в костюмах, и весьма сожалел, что сцена, по многим местным неудобствам, не была еще окончательно готова. Перед началом репетиции Аполлос Михайлыч сидел в своем кабинете, погруженный в тихое раздумье: «Я и Фани будем отличны, — рассуждал он про себя, — Рагузов будет эффектен; Рымов одной своей физиономией насмешит всех; Матрена Матвевна будет тверда в своей роли; ну, а если прочие сыграют и посредственно, то все-таки спектакль сойдет хорошо. Главное, надобно, чтобы все позаботились о костюмах и твердо бы знали свои роли, а там уж музыкой и освещением можно будет пыль в глаза бросить».

Стулья в зале, в котором должна была происходить репетиция, еще с утра были расставлены в том порядке, как следует, то есть: часть их отделена для зрителей, а два кресла были поставлены на место, назначенное для сцены; выходить должны были из кабинета и из коридора. Действующие лица собрались в шесть часов. Аполлос Михайлыч, Матрена Матвевна и Фанечка пошли одеваться. Зрителями первой пиесы были: Рымов, Рагузов, Дарья Ивановна с Мишелем и Юлий Карлыч с судьей: последний был, заметно, в состоянии полного ожесточения и глядел совершенным медведем на всех и на все. Кроме этих зрителей не было никого: несмотря на

убедительные просьбы некоторых чиновников и помещиков посмотреть репетицию, Аполлос Михайлыч отказывал всем и каждому наотрез, имея в виду, что от этого потеряет много эффекту самый спектакль. Чрез час из коридора вышла Матрена Матвевна в напудренной прическе маркизы времен Людовика XIV и в бальном платье; вскоре за ней явился и виконт в бархатном кафтане, золотом камзоле, весь в кружевах, в парике, с маленькой шляпой, в белых коротеньких и узеньких брюках, в шелковых чулках и башмаках. В этом костюме Аполлосу Михайлычу никто бы не дал пятидесяти лет; но сверх того самые манеры его как будто бы изменились: он был жив, резов, вертляв и ловок — так, что своею особою невольно бросал весьма невыгодный оттенок на маркизу, которая, сравнительно с ним, далеко не выражала ловкой парижанки. Никон Семеныч, как знаток театра, заметил это с первого раза. Репетиция началась и продолжалась в полном порядке, и только Матрена Матвевна, несмотря на твердое и прилежное изучение роли, все еще сбивалась; в этом виноват был отчасти суфлер, в которые Аполлос Михайлыч выбрал своего управляющего, человека хорошо читающего и очень аккуратного; но аккуратность-то эта именно и вредила тут. Матрена Матвевна, как мы уже знаем, говорила очень скоро и кой-что пропускала, а суфлер, никак не успевавший за нею следить, когда она останавливалась на конце фразы, не желая, по своей аккуратности, ничего пропускать, подсказывал ей проговоренный монолог, отчего и выходила путаница, которая до того рассердила Аполлоса Михайлыча, что он назвал суфлера дураком. Впрочем, явление с гризеткою выкупило все. Юлий Карлыч пришел в восторг, даже Рагузов похвалил; хлопали и Мишель с Дарьей Ивановной; но они, я полагаю, делали это с насмешкою. «Исправленный повеса», наконец, был прорепетирован. Матрена Матвевна просила Аполлоса Михайлыча еще поучить ее; он, конечно, обещался и тут же сделал замечание насчет туалета, говоря, что, хотя бальное платье ее прелестно, но несогласно с модою того времени, и сбещался привезти ей рисунок, по которому она и должна будет сшить себе платье, вполне приличное маркизе.

За этой пьесой следовала «Женитьба»; но она вовсе не так была удачна, как первая. Сцены тетки с невестой и, наконец, со свахой были очень слабы. Дарья Ива-

новна, никак не хотевшая надеть настоящего костюма, только стояла на сцене, и когда суфлер обращался к ней, говоря: «Вам», она отвечала: «Скажи за меня, — я еще не выучила». Фани была лучше всех, хотя, конечно, походила более на барышню, нежели на купчиху; но по крайней мере она знала свою роль. Матрена Матвевна, успевшая уже переодеться, тоже знала свою роль, но и здесь у ней проявлялся прежний ее недостаток: она то говорила очень твердо, то останавливалась и, по неискусству суфлера, не могла уже скоро поправиться. Сцена женихов решительно никуда не годилась; судья и Мишель были без костюмов. Первый, вставая, объявил, что он еще и не учил своей роли, и потом стал, с трудом разбирая, читать ее по тетрадке таким тоном, каким обыкновенно читаются деловые бумаги. Мишель был несносен: он, подобно Дарье Ивановне, вздумал было заставлять суфлера читать за себя, но Аполлос Михайлыч вышел из терпения, крикнул на него и требовал, чтобы он непременно играл настоящим манером. Мишель, надувшись, начал читать, но без всякого одушевления. Юлий Карлыч, несмотря на все свое усердие, был тоже не совсем удовлетворителен, потому что он более старался, нежели играл. Аполлос Михайлыч качал головой, Рагузов тоже качал головой, но только с насмешкою. Рымов бледнел и краснел. Перед тем явлением, в котором Подколесин должен был выйти с Кочкаревым, комик подошел к Дилетаеву.

— Пьеса эта не может идти, Аполлос Михайлыч, — сказал он печальным голосом.

— Это отчего?

— Она очень сложна, вы лучше замените ее другою: мы только будем путать.

— Ах, мой почтенный, как вы мало это дело знаете! Отчего теперь путают? Оттого, что не знают своих ролей, а когда выучат, то пойдет прекрасно.

— Нет, вообще ее играют неверно.

— Согласен: но что же такое? Да и кроме того: чего же вы хотите от фарса; его только надобно твердо выучить, а там и будет смешно. Выходите, мой милый, играйте, смешите нас, а о прочем не беспокойтесь, это мое дело привести все в порядок. Конечно, она не может идти так, как идет моя комедия, но никто этого и не

требует: достаточно, если мы будем смеяться. Выходите, почтеннейший Никон Семеныч, вам следует!

Никон Семеныч нехотя встал и пошел вместе с комиком на сцену; но, несмотря на то, что трагик был тверд в своей роли, что Рымов скроил пресмешную физиономию, первое действие кончилось очень слабо.

Комик не выдержал: махнул рукою, отошел и встал к окну. Рагузов смеялся. Мишель с Дарьей Ивановной тоже смеялись. Аполлос Михайлыч был в беспокойстве.

— Не конфузьтесь, господа, сделайте милость, не конфузьтесь: в таком деле по началу судить нельзя. Извольте начинать второе действие. Фанечка! Тебе, мой друг, — говорил он.

— Mon oncle, да что, я не знаю; у нас что-то нехорошо идет, — отвечала Фани.

— Ничего, моя милая, начинай!

— Что вам за охота, Аполлос Михайлыч, заставлять нас ломаться? — заметил трагик.

— Не ломаться, Никон Семеныч! поверьте, что не ломаться: выйдет недурно; для полноты спектакля эта пьеса необходима: что не удастся в ней, то наши с вами вывезут. Начинай же, Фани!

Фанечка начала. Явился потом Кочкарев, и сверх ожидания, это явление сошло очень недурно; но при появлении прочих женихов опять пошла путаница, и они кое-как были прогнаны невестой. С уходом их пьеса пошла даже отлично. Рымов в сцене с невестой превзошел все ожидания. Все разразились смехом; даже Фанечка не удержалась и захохотала. Последующие явления его с Кочкаревым были хороши, а последний монолог, после которого он выскакивает в окно, неподражаем. Аполлос Михайлыч хлопал, как сумасшедший, и говорил, что все и всё отлично. Но я должен сказать, что не все было отлично: трагик редко попадал в настоящий тон; Фанечка тоже; Аполлос Михайлыч, впрочем, уверял, что это происходило оттого, что она была слишком молода для этой роли. Комик, с нахмуренным и сердитым лицом, сел на дальний стул и задумался.

— Вы извините меня, Аполлос Михайлыч, — сказал Юлий Карлыч, подходя к хозяину, — что я не так твердо знаю. Право, я совершенно не имею памяти.

— Ничего, Юлий Карлыч! Терпение все преодолевает; вы еще удовлетворительнее прочих.

Судья, подобно комику, уселся в углу и ни с кем не говорил ни слова. Трагик и Фанечка скрылись. По окончании «Женитьбы» следовала, как переименовал Рагузов, драматическая фантазия «Братья-разбойники». Через полчаса из кабинета хозяина вышел Никон Семеныч в известном уже нам костюме, то есть в красных широких шальварах, перетянутый шелковым, изумрудного цвета, кушаком, в каком-то легоньком казакине, в ухарской шапочке, с усами, набеленный и наарумяненный.

— Где же другие разбойники? — спросил он.

— Будут, будут, не беспокойтесь, — отвечал хозяин, — сегодня, конечно, не в костюмах, но это ничего.

— Отчего же в вашей пьесе все были костюмированы? — проговорил с досадою Рагузов.

— Как же вы, Никон Семеныч, сравниваете мою пьесу: там только три лица, а у вас их десять; кроме того, моя комедия уже три года, как готова; а ваша только еще вчера сочинилась.

— Извините: она постарше вашей; о себе-то вы все придумали, а о других только нет.

— Я думаю обо всех и обдумывал уже все; костюмы ваши несложны, они в два дня поспеют.

Явилась Фани в костюме любовницы разбойника, и можно сказать, что наряд ее был очень хорош. На голове ее была тоже какая-то шапочка, стан обхватывался коротеньким с корсажем платьицем, сшитым наподобие швейцарских.

— Этот костюм не верен, mademoiselle, — сказал трагик, осматривая ее.

— Мне дяденька его сочинил, — отвечала Фани.

— Как вы, Никон Семеныч, говорите — не верен, — воскликнул Дилетаев, — сами назвали поэму драматической фантазией, а недовольны фантастическим костюмом. На вас самих костюм очень необыкновенный.

— У меня-то уж вовсе обыкновенный и самый национальный.

— Ну и прекрасно, будь по-вашему; я уже себе дал слово с вами не спорить: Фани будет играть в этом костюме. Это решено.

Трагик насмешливо улыбнулся.

— А где же разбойники? — повторил он.

— Сейчас... Юлий Карлыч, Мишель, Осип Касьяныч, пойдете в разбойники, — произнес хозяин, приподымаясь. — Виктор Павлыч! потрудитесь и вы; мы вас оденем старым подьячим, которые всегда присутствовали в разбойничьих шайках.

На этот призыв хозяина поднялся только один Юлий Карлыч.

— Сделайте милость, господа, — повторил настоятельно хозяин, — Мишель, ступай, кинь папиросу, точно не накуришься! Осип Касьяныч, пожалуйста! Полно вам там сидеть в углу. Виктор Павлыч, пойдете, — прибавил хозяин, беря комика за руку.

Гости нехотя вышли на сцену.

— Только-то? — спросил Никон Семеныч.

— Покуда только, а на представление я приготовлю лакеев. Размещайте картину сообразно вашему плану.

Трагик начал: на авансцену он посадил самого хозяина в позе кровожадного эсаула. Судью, как он ни отнекивался, Никон Семеныч положил на землю плашмя и велел ему дремать; Мишель был тоже положен, но с лицом, обращенным к самому трагику. Комик посажен был на корточки; актерская натура его и тут не выдержала: он скорчил такую уморительную физиономию, что все разбойники и дамы захохотали. Фани посажена была около самого Никона Семеныча и должна была опираться на его плечо; она исполнила это с большим над собою усилием.

Твердо, с одушевлением и с большою драматическою аффектациею начал Никон Семеныч свою роль, обращая попеременно то к тому, то к другому разбойнику, которые слушали его; но он по преимуществу остался доволен самим хозяином и комиком. Первый, действительно, делал чрезвычайно зверскую физиономию, когда трагик рассказывал об убогом и о богатом жидеях, которых он резал на дороге; второй же выражал другого рода чувства: робость, подлость и вместе с тем тоже кровожадность и был так смешон, что бывшие зрительницами Матрена Матвевна и Дарья Ивановна, несмотря на серьезное содержание пьесы, хохотали. Фани, в роли любовницы, была хороша, только очень мало обращалась к своему любовнику, впрочем, произносила стихи с чув-

ством. Драматическая фантазия сошла очень удовлетворительно, так что Аполлос Михайлыч сказал:

— Я не ожидал, чтобы все это сошло так недурно. Вы очень хороши, Никон Семеныч, в драматической поэзии.

Затем следовала песня «Оседлаю коня» Дарьи Ивановны и качуча — Фани. Хозяин настоял, чтоб и они пропетировали, и привел по этому случаю известную поговорку: *Repetitio est mater studiorum*¹. Дарья Ивановна, аккомпанируя себе, пропела свой *chef d'oeuvre* и привела снова в восторг Никона Семеныча, который приблизился было к ней с похвалою, но в то же время подошел к молодой даме Мишель, и она, отвернувшись от трагика, заговорила с тем. Фанечка подседа к комику.

— Как вы хорошо играете, — сказала она, — лучше всех нас; вы поучите меня играть?

— Наша пьеса не пойдет, — отвечал тот.

— Отчего же?

— Она очень дурно выполняется.

— Но вы хорошо играете.

— Я один ничего не значу.

— Фанечка, тебе танцевать качучу; переоденься, моя милая, в другой костюм, — произнес Аполлос Михайлыч.

Фани убежала в свою комнату и когда явилась, то была уже одета совершенно по-балетному, даже в трико, которое нарочно купил для нее Аполлос Михайлыч в Москве. Дарья Ивановна села играть за фортепьяно. Впечатление, произведенное танцами Фани, было таково же, как и прежде. Трагик качал от удовольствия головою; Матрена Матвевна делала ей ручкой; комик смотрел на девушку гораздо внимательнее, чем в первый раз.

Актеры разошлись очень поздно, оставив хозяина в совершенном утомлении. Пришед в свой кабинет, Аполлос Михайлыч бросился в свои покойные кресла.

«Ох, творец небесный, как я устал! — вот поговорка говорится: охота пуще неволи; ах, как все они мало искусство-то понимают: просто никто ничего не смыслит!» — произнес он сам с собою и, будучи уже более не в состоянии ничего ни думать, ни делать, разделся и бросился в постель.

¹ Повторение — мать учения (*лат.*).

ХЛОПОТЫ АНТРЕПРЕНЕРА

На другой день Дилетаев лежал еще в постеле, когда подали ему письмо от Рымова, в котором тот, отказываясь играть и писал, что у него больна жена и что комедия, в которой он участвует, так дурно идет, что ее непременно следует исключить.

— Вот тебе на! — проговорил Аполлос Михайлыч, совершенно пораженный. — На кого была надежда, тот и лопнул. Завидно вот, почему моя пиеса идет лучше всего. Какое это дьявольское артистическое самолюбие! С простыми людьми, право, легче составлять спектакли; те по крайней мере не умничают, а исполняют, что велют. Велика фигура — мещанин какой-то, и тот важничает!

Но и простые люди вышли не лучше комика: судья тоже прислал записку, в которой напрямик отказывался и уведомлял, что он завтра же отбудет в отпуск в губернию.

Дилетаев не выдержал и, разорвав обе записки на мелкие куски, бросил их на пол.

— Вот вам люди! — продолжал он, обращаясь к окну, из которого виднелась городская площадь, усыпанная, по случаю базара, народом. — Позови обедать, — так пешком прибегут! Покровительство нужно, — на колени, подлец, встанет, в грязи в ноги поклонится! А затей что-нибудь поблагороднее, так и жена больна и в отпуск надобно ехать... Погодите, мои милые, дайте мне только дело это кончить: в калитку мою вы не заглянете...

Размыслив хорошенько, Аполлос Михайлыч о судьбе уже не жалел, потому что тот и по характеру был большой невежа, да и играть совершенно не умел; но комика Дилетаев поклялся не выпускать из рук, вследствие чего тотчас же спросил себе одеваться, велел закладывать лошадей и проехал прямо к Рымову. Здесь он увидел довольно странную сцену: на стуле у окна сидел совсем растрепанный комик, с лицом мрачным и невымытым; тут же на маленькой скамейке, прикинув головой к коленям мужа, сидела Анна Сидоровна, оставив на него свои ма-

ленькие глаза, исполненные нежности. Кроме того, она целовала его руку. Читатель, вероятно, догадывается, что подобное семейное счастье возникло вследствие отказа Рымова участвовать в спектакле.

— Виноват... — проговорил Аполлос Михайлыч, попятившись назад.

Комик вскочил и толкнул жену ногою. Та вскрикнула и убежала.

— Сделайте милость, не беспокойтесь. Я приехал на два слова: побраню вас и уеду, — проговорил гость, между тем как сконфуженный хозяин решительно не находил, как бы поправить свой туалет.

— Позвольте, — произнес он, хватаясь за пальто и натягивая на себя.

— Опять повторяю, не беспокойтесь, — проговорил гость, — артистам друг с другом нечего церемониться. Во-первых, супруга ваша не больна; во-вторых, комедия идет бесподобно; стало быть, все препятствия разбиты мною в прах, и, следовательно, вы не скроете и не закопаете вашего таланта, а блеснете им во всей красе.

— Нет-с, я не могу играть, Аполлос Михайлыч, — возразил комик.

— Вы можете, и вы будете играть.

— Помилуйте, сделайте милость, не беспокойтесь: мой муж не так здоров... зачем же ему себя изнурять, — произнесла, выходя, Анна Сидоровна, в сильном волнении.

— Муж ваш, сударыня, здоров, вы тоже; все обстоит благополучно, поэтому они будут играть, а вы будете любоваться. Мне очень совестно, что вы не пожаловали на нашу первую репетицию. Я, в моих хлопотах, совершенно забыл послать за вами экипаж; но вперед этого уж не будет.

— Благодарю вас; я не охотница, — произнесла она отрывисто. — Вы, кажется, Виктор Павлыч, сами говорили, что больны, и, кажется, не молоденький ломаться. Что же это такое? Кто вас ни позовет, вы сейчас соглашаетесь, — прибавила она, обращаясь к мужу.

Комик стоял нахмурившись; Дилетаев вышел из терпенья и пожал плечами.

— Я имею, сударыня, дело не с вами, а с вашим мужем, — заметил он. — Не угодно ли вам, Виктор Павлыч,

по крайней мере объяснить мне, почему вы не желаете участвовать в нашем спектакле. Общество у меня собрано приличное и вас никоим образом не может компрометировать. Если вы недовольны пьесой, то и это опять несправедливо. Вы сами ее очень хвалили. Я, с своей стороны, готов бы даже был уступить вам свою роль из моей комедии, которая действительно идет очень хорошо. Но сами согласитесь: я автор и писал ее нарочно для себя. Кроме того, Виктор Павлыч, я позволяю себе вам заметить, что у меня играют люди благородные, которые и не сродны к этому делу и заняты другими обязанностями; но они, желая доставить мне удовольствие, играют. Я должен прямо вам сказать, что в последствии времени мог бы быть полезен для вас.

— Нам, бедным людям, не след мешаться между благородными, — возразила Анна Сидоровна.

Но Аполлос Михайлыч не обратил никакого внимания на ее слова.

— Сделайте милость, господин Рымов, решите мое сомнение, — отнесся он к комику.

— Я отказываюсь потому, что эта пьеса не может идти, — отвечал тот.

— Отчего же не может?

— Оттого, что никто не играет.

— Вовсе нет-с, напротив: все играют, а ролей только еще не знают. Разве Фани не играет? Разве Никон Семеныч не отчетливо хорош в Кочкареве?

— Они знают роли.

— И с этим я не согласен. Они выполняют роли, а прочие тоже выучат, — это уж мое дело!

— Прочие даже и стоять на сцене не умеют.

— Вы очень строго судите, милый мой, — возразил Аполлос Михайлыч. — Не знаю, участвовали ли вы когда-нибудь в благородных спектаклях, но только я скажу, что это совсем другое дело, чем публичный театр. На нас будут смотреть, как на любителей, которые, для собственного удовольствия, разучили несколько сцен — и только. Вы сказали, что Осип Касьяныч, Юлий Карлыч и Мишель не умеют стоять на сцене. Это совершенно справедливо, и поверьте: я, имея это в виду, сегодня ночью придумал превосходный оборот. Мы выкинем из пьесы все сцены, где участвуют экзекутор, моряк, офицер этот и, наконец, сваха и тетка.

— Как же вы это выкинете? — спросил комик с некоторым удивлением.

— Так просто, как обыкновенно выкидывают.

— Тогда выйдет чушь, которой нельзя будет и понять, — возразил комик.

— Из фарса, господин Рымов, что ни делай, никогда чушь не выйдет, потому что он сам по себе чушь. Но эта пьеска переработается даже прекрасно, так что перещеголяет, я думаю, подлинник, потому что будет иметь единство.

— Нет-с, этого нельзя.

— Нет-с, можно! Извольте слушать; первое явление: вы со слугой. Слугу буду играть я сам. Угодно вам? Хотя это и не моя роль и не моего вкуса, но для театра я готов пожертвовать всем. Свахи нет. Является Кочкарев и с ним вся сцена. Потом зачеркивается все и начинается с того места, где невеста рассуждает о женихах. Приходит Кочкарев, советует ей брать Подколесина и приводит его, а тут опять может идти все сплошь. Таким образом пьеса прекрасно начнется и отлично кончится.

Комик все еще недоумевал, но было заметно, что остроумная выходка Аполлоса Михайлыча сильно его колебала.

— Полноте, мой любезнейший Виктор Павлыч, нечего думать и рассуждать. Поедемте сейчас же ко мне и примемся за переделку комедии. Не хуже же, черт возьми, Рагузова мы справимся с этим делом: он прибавляет, а мы будем убавлять. Я мастер на эти дела. Если бы охота пришла, так бы этаких фарсов по десятку в ночь писал. Ну-с — по рукам!.. — прибавил Дилетаев.

— Я таким образом согласен-с, — проговорил комик.

Анна Сидоровна побледнела и задрожала. Она взглянула на мужа, но тот отвернулся.

— Итак!.. — произнес с восторгом Аполлос Михайлыч.

— Сейчас буду готов, — отвечал Рымов и ушел в соседнюю комнату.

Анна Сидоровна кинулась было за ним, но дверь была заперта.

— Как я рад, что уговорил вашего супруга, — отнесся к ней гость, но она ничего ему не ответила и тотчас же вышла из комнаты, прошла в кухню, села на лавку и горько заплакала.

Рымов уехал с Дилетаевым.

«Женитьба» в один день была переделана как нельзя удобнее для сцены. В дальнейшее затем время Аполлос Михайлыч работал неутомимо. Он пригласил городских жителей всех классов и разослал несколько пригласительных билетов к помещикам в усадьбы. Репетиции шли довольно уж твердо. Костюмы для разбойников были приготовлены. Матрена Матвевна менее и менее ошибалась в репликах. Рымов смешил всех до истерики; одним словом, все это было хорошо, и Дилетаева беспокоила одна только механическая часть. Представление должно было произойти на фабрике у купца Яблочкина, производящего полотно, который, по просьбе Дилетаева и по старинному с ним знакомству, дал для театра огромную залу в своем заведении; но все-таки он был купец и поэтому имел большие предрассудки, так, например: залу дал, — даже фабричное производство на всю масленицу остановил, но требовал, чтобы ни одного гвоздя ни в пол, ни в стены не было вколочено. Прошу при таких условиях поместить всю театральную обстановку! Одна только гениальная изобретательность и необыкновенное знание дела Аполлоса Михайлыча могли все это сделать. В зале, предназначенной для публики, было поставлено несколько рядов кресел и сверх того взади возвышался амфитеатром раек для купцов и мещан. Сцена была возвышенная; подзоры, очень затейливо нарисованные под пунцовые бархатные драпри, повесились. Декорации, то есть голубая комната, а на другой стороне желтая, и лес, были привезены из усадьбы Дилетаева и поставлены. Наконец, опустился и передний занавес, — он был вновь изготовлен. Антрепренер показал и здесь неподражаемую свою изобретательность: у него были очень старинные, но прелестные французские обои, которые представляли маленьких летящих амурчиков, и еще, тоже старинной, но прекрасной работы, эстамп, изображающий Талию. Эта-то Талия и сотни три амурчиков были вырезаны из своих мест и наклеены на голубой коленкор. Талия, конечно, поместилась в середине, и к ней со всех сторон слетались амурчики; вид был прелестный, особенно при вечернем освещении. Аполлос Михайлыч водил всех своих актеров полюбоваться своим изобретением. Уборные для мужчин и дам были тоже пригото-

лены: кавалерам в холодном чулане, для согревания которого Дилетаев предполагал в день представления поставить три самовара; а для дам — в соседней сторожке, которую по этому случаю оклеили обоями, а находящуюся в ней русскую печь заставили ширмами.

Более всего Аполлос Михайлыч хлопотал с оркестром. При первом испытании оказалось, что Никон Семеныч вовсе не занимался музыкой и неизвестно для чего содержал всю эту сволочь. Капельмейстер, державший первую скрипку, был ленивейшее в мире животное: вместо того, чтобы упражнять оркестр и совершенствоваться самому в музыке, он или спал, или удил рыбу, или, наконец, играл с барской собакой на дворе; про прочую братию и говорить нечего: мальчишка-волторнист был такой шалун, что его следовало бы непременно раз по семи в день сечь: в волторну свою он насыпал песку, наливал щей и даже засовывал в широкое отверстие ее маленьких котят. Вторая скрипка только еще другой месяц начала учиться. На флейте играл старичишка — глухой, вялый; он обыкновенно отставал от прочих по крайней мере на две или на три связки, которые и доигрывал после; другие и того были хуже: на виолончеле бы играл порядочный музыкант, но был страшный пьяница, и у него чрезвычайно дрожали руки, в барабан колотил кто придется, вследствие чего Аполлос Михайлыч и принужден был барабан совсем выкинуть. Кадрили они играли еще сносно, конечно, флейта делала грубые ошибки, а волторнист отпускал какую-нибудь шалость; но по крайней мере сам капельмейстер и крепко запивающая виолончель делали свое дело, однако при всем том — не кадрили же играть на спектакле?

Дилетаев пришел в ужас, когда рассмотрел их репертуар: музыканты играли всего только две французские кадрили, мазурку Хлопицкого, симфонию из «Калифа Багдадского» и какую-то старую увертюру из «Русалки», да несколько русских песен. — Что прикажете при такой бедности избрать на четыре антракта? А главное: под какую музыку будет танцевать Фани? Он дал было им для разучения фортепьянные ноты качучи, но капельмейстер решительно отказался, говоря, что он не умеет переложить, потому что не знает генерал-баса. Дилетаев сказал в глаза Никону Семенычу, что ему приличнее держать лошадиный завод, чем музыкантов: но тот этим не

обиделся, потому что в это время был занят своим делом: он сочинял еще новый монолог в своей драматической фантазии.

Покорившись необходимости, Дилетаев с музыкой распорядился таким образом: перед представлением, для съезда, он назначил французскую кадрили, между первым и вторым актом — мазурку, которую они лучше всего исполняли; перед «Женитьбой» — «Лучинушку» и «Не белы-то ли снежки»; перед драматической фантазией — симфонию из «Калифа Багдадского» и, наконец, перед дивертисманом — увертюру из «Русалки». Фани свою качучу должна была танцевать под игру Дарьи Ивановны на фортепьяно.

Афишки написал сам Аполлос Михайлыч.

Они были таковы:

184... года.

Ж
Спектакль любителей, составленный Аполлосом
Михайлычем Дилетаевым.

1

ВИКОНТ И ГРИЗЕТКА,
ИЛИ
ИСПРАВЛЕННЫЙ ПОВЕСА.

*ОРИГИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ.
СОЧИНЕНИЯ АПОЛЛОСА ДИЛЕТАЕВА.*

Действующие лица:

Маркиза Мон-Блан М. М. Рыжова.
Виконт Де-Сусье А. М. Дилетаев.
Роза-гризетка Ф. П. Дилетаева.

Действие происходит в Париже, в царствование
Людовика XIV, на даче близ оного.

2

СЦЕНЫ ИЗ «ЖЕНИТЬБЫ»,

комедии, соч. Гоголя, переделанные и поставленные на
сцену В. П. Рымовым.

Действующие лица:

Подколесин В. П. Рымов.
Кочкарев, его друг Н. С. Рагузов.
Невеста Ф. П. Дилетаева.
Степан, слуга Подколесина А. М. Дилетаев.

БРАТЬЯ-РАЗБОЙНИКИ.

Драматическая фантазия, переделанная из поэмы Пушкина, того же наименования, Н. С. Рагузовым, со вновь изобретенными костюмами и декорациями.

Действующие лица:

Атаман-разбойник	Н. С. Рагузов.
Елена, его любовница.	Ф. П. Дилетаева.
Разбойники { А. М. Дилетаев.
 М. П. Дилетаев.
 В. К. Вейсбор.
 } и другие.

Старинный подьячий В. П. Рымов.

В заключение дан будет:

ДИВЕРТИСМАН,

в коем Ф. П. Дилетаева будет плясать качучу, в национальном костюме; а Д. И. Здруева будет петь романс: «Оседлаю коня!»

Начало в семь часов. Представление произойдет на фабричном заведении г. Яблочкина. Билеты, без платы, могут получаться от самого г. Дилетаева. Дети никаким образом не могут быть приводимы. Вход на сцену публике запрещается.

Захлопотавшись по театру, Аполлос Михайлыч чрезвычайно много наделал ошибок в приглашении гостей и сбился в раздаче билетов: людям почтенным и уважаемым досталось в задних рядах, а на передние насажал дрянь; другим, тоже очень значительным семействам, вовсе не достало места, и, наконец, хуже всего, по общему говору, было то, что он взади устроил раек для черни, которая, по всем соображениям, должна была произвести неприятный для другого общества воздух.

Рымов очень много помогал Аполлосу Михайлычу и учил потихоньку Фани, которая, надобно сказать, оказала большие успехи. Он сделал из нее совсем купеческую невесту, так что на одной репетиции Аполлос Михайлыч удивился.

— Вот что значит, — говорил он, — классическое сценическое воспитание, которое я дал Фани: она сыграет всякую роль!

Таким образом одушевился комик от двух причин: во-первых, «Женитьба» пошла очень твердо, а во-вторых, Анна Сидоровна отбыла из города. Каким образом это случилось, мы увидим дальше.

VI

РЫМОВЫ И ИХ ПРОШЕДШЕЕ

Анна Сидоровна, которую мы оставили в слезах, несмотря на страстную любовь к мужу, пришла против него в сильное ожесточение: она первоначально заперла ворота, вероятно, с целию не пускать его домой, потом открыла комод и выбросила весь гардероб супруга на двор. Вспомнив, что у нее есть подаренная Витею чашка, она тотчас же разбила ее вдребезги и, наконец, утомленная и истерзанная, села. В воротах послышался стук. Анна Сидоровна все забыла. Ей представилось, что это стучится воротившийся муж, который, может быть, рассорился с злодеем Дилетаевым, отказался от проклятого театра и возвращается к ней. При всей своей полноте она скачками пробежала сени, двор и отворила калитку. Перед ней стоял лакей в ливрее. Анна Сидоровна попятилась.

— Чей ты, батюшка? — проговорила она.

— Дилетаевский. Здесь Виктор Павлыч живет? — спросил тот.

— Никакого нет здесь для вас Виктора Павлыча. Убирайтесь, откуда пришли.

— Им письмо барышня прислала, — говорил лакей.

— Какая барышня?

— Наша барышня.

— Дай сюда, — вскрикнула Анна Сидоровна и, вырвав проворно из рук лакея записку, захлопнула калитку; ничего не понимая, ничего не размышляя, она, тут же на улице, начала читать письмо; это была записка от Фани, которая писала:

«Приходите, Виктор Павлыч, сегодня вечером к нам; но только потихоньку, чтоб дяденька не видал; он не любит, чтобы меня другие учили: вы все роли прочитаете. Вы мне очень понравились; как вы славно играете. Пройдите задним крыльцом и спросите меня».

Бедная женщина, прочитав эти роковые строки, сделалась совершенно сумасшедшей. Бросилась было к городничему с намерением пожаловаться на мужа, но там ее дежурный солдат не пустил, потому что градоначальник в то время спал, и сказал ей, чтоб она пришла вечером в полицию. Возвратившись в свою квартиру, она схватила мужнин фрак, изрезала его вдоль и поперек, кинула сапоги его в колодец и, написав какую-то записку, положила ее на стол, собрала потом несколько своих платьев, перебила затем все горшки в кухне и пошла сначала по улице, а потом и за город. Пройдя около двух верст, она начала нанимать ехавшего с базара мужика отвезти ее в Кузьмищево, сторговалась с ним и поехала. В Кузьмищеве проживали две благородные старые девушки-помещицы, которые принимали в Анне Сидоровне большое участие и просили ее приезжать к ним погостить всякий раз, как закутит ее пьянчужка.

Рымов возвратился домой от Аполлоса Михайлыча часу в пятом. Увидев разбросанное на дворе свое платье, он, кажется, не удивился и вошел в квартиру. Здесь открылось еще более: на полу валялась разбитая чашка, самовар был опрокинут, и, наконец, на стуле лежал изрезанный фрак. Рымов побледнел.

— Этакая дура! — воскликнул он, — этакой урод безобразный! — продолжал комик и, сжав кулаки, пошел искать Анны Сидоровны; но, конечно, не нашел.

— Ну, скажите, пожалуйста, — продолжал он, с горькою улыбкою рассматривая свой фрак, — не совсем ли это сумасшедшая женщина! Ну, голубушка, погоди! Ты у меня месяца два просидишь на одном хлебе. Я фрак себе сошью, а ты у меня поголодаешь..

Проговоря эти слова, комик вздохнул и начал подбирать разбросанные вещи. Тут ему попала на глаза записка Анны Сидоровны. Он ее прочитал и усмехнулся.

Анна Сидоровна писала так:

«Беспреренно, вы не увидите меня, я уехала к моим благодетельницам. Оставайтесь с вашими записочками. Дай бог вам нажать другую такую; но я скажу, ни одна не будет переносить столько от вашего пьянства и безобразия, подлый! этакой человек

Анна Рымова»,

По самому почерку и подписи фамилии заметно было, что последние слова были написаны в сильном ожесточении.

Для разъяснения и отчасти оправдания странного предубеждения, которое имела Анна Сидоровна против театра, я намерен здесь сказать несколько слов о прошедшем Рымовых: происхождение Виктора Павлыча было очень темное, и я знаю только то, что на семнадцатом году у него не было ни отца, ни матери, ни родных, и он с третьего класса гимназии содержал себя сам, учив, за стол, квартиру и вицмундир, маленького, но богатого гимназистика из первого класса, у которого и оставался ментором до самого выпуска. Большим рвением к наукам Рымов не отличался, но замечателен был способностью передразнивать: он неподражаемо копировал учителей, трактирных половых, купцов, помещиков на станциях; но, кроме того, представлял даже, как собаки лают, жеребца на выводке, гром с молнией, и все это весьма искусно, чему, может быть, много способствовало его необыкновенно подвижное лицо. В местный театр он ходил всякой раз, как заводился в кармане трехгривенный, и все почти комедии знал наизусть. Звание домашнего учителя, по беспечности характера, ему очень нравилось, и потому, кончив курс гимназии, он продолжал заниматься частными уроками, перебивал по крайней мере в пятнадцати губерниях, попал, наконец, в Москву и поступил к одной старухе, для образования ее внука. У старухи, кроме того, была еще воспитанница, девица лет около двадцати пяти, румяная, полная и очень живая и веселая. С первого же раза она начала с молодым учителем заигрывать: то обольет его водой из окна, то пришьет к простыне, когда он спит после обеда, раскидает по полу все его книги, запрет его в комнате и унесет с собою ключ. Рымову было тогда двадцать два года; он начал шалунье отвечать тем же: напугает ночью в коридоре, кинет ей нечаянно из сада в окно мячом или забьется к ней под кровать, когда она идет спать. Наконец, игрушки их зашли очень далеко. Старуха узнала и обоих прогнала. Бедные любовники поселились вместе. Рымов первый опомнился в своей необдуманности. Бедность была страшная; надежды впереди — никакой, но этого еще мало: приглядевшись к Аннушке, он сильно в ней разочаровался; она была заметно простовата, совершенно необра-

зованна и, наконец, связывала его что называется по рукам и по ногам. Но не то было с Анной Сидоровной: страсть ее день ото дня разгоралась: прямо и вкось, слезами, просьбою и бранью она требовала, чтобы он женился на ней. Рымов долго не сдавался и, между прочим, начал попивать, ничего не делал, а только кутил и буянил. Все сносила Анна Сидоровна и настояла, наконец, на своем, то есть сделалась его женою. С этих пор судьба Рымова и даже сам он — изменились к лучшему: он нашел, по рекомендации своего старого товарища, несколько уроков, перестал пить, тосковать, и все пошло как нельзя лучше. Маленькие семейные сцены выходили только из того, что Рымов, как сам он выражался, ненавидел лизанья, а Анна Сидоровна была очень нежна и страстна. В это блаженное время она с каждым днем полнела и развилась до того значительного размера, в котором мы ее встретили. Однажды затеялся в одном доме, где Виктор Павлыч давал уроки, театр; его пригласили; сначала Анна Сидоровна — ничего: была даже рада и очень смеялась, когда ее Витя играл какого-то старика; одно только ей не понравилось, что он, по ходу пьесы, поцеловался с одной дамой, игравшей его племянницу. Но горько бедная женщина после оплакала эту дьявольскую затею. С другого же почти дня Рымов закутил; начали ходить к нему какие-то приятели, пили, читали, один из них даже беспрестанно падал на пол и представлял, как будто бы умирает; не меньше других ломался и сам хозяин: мало того, что читал что-то наизусть, размахивал, как сумасшедший, руками; но мяукал даже по-кошачьи и визжал, как свинья, когда ту режут; на жену уже никакого не обращал внимания и только бранился, когда она начинала ему выговаривать; уроки все утратил; явилась опять бедность. Все это Анна Сидоровна имела еще силы перенести, бранилась, конечно, иногда, и бранилась очень, но ей готовилось новое несчастье: Рымов подрядился в театральную труппу. Анна Сидоровна сначала и понять не могла хорошенько, что это такое, но потом поняла, когда они переехали в один губернский город, и поняла очень хорошо. Дня по два она сидела без обеда, даже не зная, где муж обретается; наконец, до нее дошли слухи, что он завел любовь с одной актрисой, и этого уж Анна Сидоровна не в состоянии

была перенести и занемогла горячкой. Безрассудные деяния Рымова и его служба на провинциальном театре продолжались только одну зиму. В великий пост он опомнился и начал сидеть дома, хотя дома едва только был насущный хлеб. Оправившаяся Анюта взяла с него клятву, чтобы он никогда и не думал играть на театре.

Рымов поклялся. Один из родственников ее приискал ему место в питейной конторе. Не соображая того, что Виктору Павлычу уже сорок пятый год, Анна Сидоровна ревновала его к встречной и поперечной и даже, для этой цели, не держала ни одной женщины в доме и сама готовила кушанье.

VII

СПЕКТАКЛЬ

Вождеденный день представления наступил. Аполлос Михайлыч, Рымов и Юлий Карлыч отправились в театр, часа в два пополудни, для должных приготовлений. Декорациями и мебелью Дилетаев поручил распоряжаться Вейсбору, дав ему, конечно, подробную записку, что и когда нужно. Еще прежде того он настоял, чтобы Никон Семеныч сделал своим музыкантам новые синие куртки и хорошенько бы намылил голову капельмейстеру за лень. Прочие актеры съехались часу в пятом, и приведены были лакеи, за костюмированные в разбойников. В чулане-уборной, нагреваемой тремя самоварами, делалось чрезвычайно тесно, и потому Аполлос Михайлыч распорядился, чтобы Юлий Карлыч и Мишель в разбойничьи костюмы оделись заранее; первый, конечно, беспрекословно повиновался, а второй по обыкновению поспорил; но, впрочем, за костюмировался и даже сделал себе обожженную пробкою усы, которые к нему, по словам Дарьи Ивановны, очень шли. Наконец все более или менее, было приведено в окончательный порядок. Аполлос Михайлыч причесался и напудрился. Матрена Матвевна тоже причесалась, напудрилась и оделась в богатый, составленный по особому рисунку, костюм маркизы. Фани давно уже была готова.

Роковые семь часов приближались. Актеры начали испытывать волнение, даже сам Аполлос Михайлыч был как-то встревожен. Матрена Матвевна очень боялась. С Фани была лихорадка. Комик сидел задумавшись. Тра-

гик ходил по сцене мрачный. Один только Мишель любезничал с Дарьей Ивановной. Засветили свечи и кенкеты. Публика начала съезжаться, но, боже мой! эта публика — неблагоприятная публика, особенно в провинциях: затевает ли кто для публики бал даже из последних средств своих, — и все у него, кажется, напильсь, наелись, натанцевались, — и вы думаете, что все довольны? ничуть не бывало... непременно что-нибудь найдут: одни скажут — очень было жарко, а другие — холодно; одним показалась сыра рыба, другие недовольны, что вина мало, третьи скучали, что их хозяин заставлял танцевать, четвертые жаловались на монотонность, — и очень немного осталось нынче на свете таких простодушных людей, которые были бы довольны предлагаемым им от своего брата удовольствием; но театр уже по преимуществу подпадает, как говорят, критике. Я не знаю, что в этом случае руководствует людей: зависть ли, желание ли выказать себя, или просто склонность к юмору, но только смертные очень склонны пересмеять самые прекрасные, самые бескорыстные затеи другого смертного, который и сам, в свою очередь, оплачивает тем же другим смертным, и все эти смертные поступают, надобно сказать, в этом деле чрезвычайно нелогически: сухо поклонится, например, на бале какому-нибудь Алексею Иванычу некий Дмитрий Николаич, которого он безмерно уважает, а он — Алексей Иваныч — нападает на хозяина и говорит, что у него был черт знает кто и черт знает как все были приняты.

В описываемом мною спектакле только первые два или три ряда кресел приехали в миротворном расположении духа, и то потому только, что они некоторым образом были почтены хозяином; но зато задние ряды, с первого шагу, начали делать насмешливые замечания. Одни говорили, что, вероятно, на сцене будут ткать; другие, что Матрена Матвевна станет целоваться с Аполлосом Михайлычем и, наконец, третьи, будто бы Фани протанцует качучу для легости босиком.

Раек для купечества и мещанства был гораздо простодушнее: все почти его народонаселение с величайшим любопытством смотрело на колыхающийся занавес, испещренный амурчиками.

— Что это, Дмитрий Андреич, на ситце-то за зверьки? — спросила одна купчиха у мужа.

— Это модный-с рисунок. Особь-статьей, должно быть, такая материя вышла, — отвечал тот.

— Привел, сударь ты мой, меня бог нынешней зимой в Москве видеть настоящий театр. Махина, я вам объясню, необразимая: вся наша, може сказать, площадь устави́тся в него. Одного лампового масла выходит на триста рублей в день. А дров то есть отпускается на несколько тысяч, — говорил толстый купец сидевшему с ним рядом, тоже купцу.

В отрицательном состоянии духа были, впрочем, и в райке.

Это пьяный столоначальник.

— Ничего... ладно-с... видали-с... скверно... нехорошо, оставь... молчать... — говорил он тихонько про себя.

Были также миротворные лица и в задних рядах дворянского круга, а именно Прасковья Федуловна, ближайшая по деревне соседка Аполлоса Михайлыча. Она получила от него, по короткому знакомству, тоже билет на одну свою особу; но, не поняв хорошенько или надеясь на расположение хозяина, приехала с двумя дочерьми и тремя маленькими внучатами и всех их преспокойно рассадила около себя. Дочери, конечно, модничали, однако сидели смирно; но внучата тотчас же начали что-то болтать, указывать на все пальцами, и, наконец, один из них, самый младший, заревел. Все это, может быть, не было бы и замечено, но дело в том, что на занятые этою семьею кресла приехали лица, имеющие на них законные билеты. Произошел шум: Прасковье Федуловне никак не могли втолковать незаконность ее поступка. Обстоятельство это было доведено до Аполлоса Михайлыча, который совсем уже оделся в костюм виконта. Как ни неприятно было Дилетаеву выйти одетому на глаза публики, но делать было нечего. Прикрыв себя совершенно наглухо плащом, он вышел и урезонил, наконец, свою соседку, которая, впрочем, обиделась и, оставив одну из своих дочерей, сама уехала домой с прочими домочадцами.

Музыка заиграла французскую кадрили и проиграла ее хотя с известными недостатками, но недурно. Раек захопал, вероятно потому, что всякого рода музыкальные звуки, худы ли они, или хороши, но на людей неизбалованных, то есть почти никогда не слышавших музыки, производят некоторое раздражение в нервах, а этого и довольно...

«Уши хоть дерут, но хмельного в рот не берут!» — пропел басом, довольно громко, столоначальник и покачнулся. Занавес взвился. Первое впечатление было превосходно. Представьте себе голубую комнату, устланную коврами, украшенную драпировкою, прекрасною мебелью, с двумя серебряными канделябрами и с попугаем в клетке. На одном из кресел сидела маркиза в своем пышном костюме. Невдалеке от нее, полуразвалясь, помещался виконт, в бархате, в золоте и кружевах.

— Прелесть, бесподобно, — проговорили в первых рядах.

— Важно наряжены! — слышалось в амфитеатре.

Матрена Матвевна, впрочем, очень сконфузилась, хотя перед представлением, по совету Аполлоса Михайлыча, и выпила целую рюмку мадеры.

— Ах, да, все говорят о вас, виконт... — начала и смешалась.

Аполлос Михайлыч побледнел; но вдова поправилась и, потупив совершенно глаза, очень тихо dokonчила монолог.

Отчетливо и бойко проговорил свои слова виконт. Маркиза опять немного смешалась, но проговорила. Таким образом, все явление прошло не совсем живо, и надобно сказать, что виной всему была одна Матрена Матвевна. Аполлос Михайлыч употребил, с своей стороны, все и в некоторых местах был необыкновенно эффектен. Для перемены декорации занавес был на несколько времени опущен, и по поднятии его на сцене сидела уже Фани, в своей бедной комнатке. Она тоже немного сконфузилась, но явился виконт, и все пошло бесподобно. По окончании первого действия передние ряды захлопали. К ним подстал по-своему раек, то есть захопал, закричал и застучал ногами; музыканты проиграли мазурку Хлопицкого, и проиграли бы ее довольно хорошо, если бы повеса-волторнист не раскашлялся, и, вместо того чтобы отвернуться, он кашлял в волторну, отчего та, конечно, и издала какие-то странные звуки. В продолжение антракта Аполлос Михайлыч сделал несколько замечаний Матрене Матвевне, и та поклялась не конфузиться больше и не сбиваться. Второе действие сошло тоже хорошо. Правда, что хлопали мало: в райке слышалось сморканье и кашлянье, и в неприязненных задних рядах некто сказал, что Аполлос Михайлыч похож на оципан-

ного павлина, а Матрена Матвевна на толстую индюшку, и что вся комедия, как сонные порошки, усыпляет. Под конец пьесы, когда виконт упал на колени перед гризеткою и начал умолять ее о прощении, передние ряды кресел захлопали, и к ним опять подстал раек. Но удивительнее всех штуку выкинул столоначальник, которого хмель в жару еще более разобрал. Он вскочил на лавку и закричал: «Браво, господин виконт, браво! поди сюда, я тебе манжеты-то оборву». Сидевший в креслах городничий тотчас же велел его вывести. Занавес опустился. В передних рядах произошло маленькое волнение, и один из посетителей отправился на сцену. Это был депутат, командированный просить у актеров позволения их вызвать. Аполлос Михайлыч изъявил полное согласие. По возвращении посланного тотчас же раздался крик: «Дилетаев!», а потом: «Всех!» — «Половину!» — прокричал кто-то басом. Аполлос Михайлыч вывел за руки Матрену Матвевну и Фанечку и раскланялся. Это приветствие публики значительно ободрило Дилетаева, который оставался не совсем доволен ходом своей комедии. Затем следовали, как мы знаем, сцены из «Женитьбы». Музыка заиграла «Не белы-то ли снежки». Явно, что эта песня была по душе музыкантам, потому что они ее играли гораздо громче прочих пьес. Райку, должно быть, тоже она понравилась, и он единодушно захопал, но в задних рядах зашикали, и сидевший на самом последнем месте мужчина, обернувшись, сказал: «Музыке не хлопают-с».

Между тем Дилетаев успел уже переодеться из виконта в лакея. Он зачесал себе все волосы наперед, перемарал все лицо в сажу, заправил брюки в сапоги и ко всем обращался, говоря: «чово, тово, Ванюха», желая, конечно, подделаться к тону простолюдинов. Дарья Ивановна сидела с Мишелем за самой задней декорацией, в темном углу. Трагик для Кочкарева давно уже был готов. Он приделал себе усы и завил в мелкие кольца волосы, утверждая, что Кочкарев непременно должен быть кудрявый. Наконец, все было готово, занавес поднялся. Подколесин, как, может быть, неизвестно читателю, лежит один на диване. Удивительное дело, что за смешной актер был Рымов. Едва только проговорил он начальные слова: «Вот как подумаешь этак сам-то с собою, так и увидишь, что действительно надобно жениться... а то живешь, живешь, да такая, наконец, скверность становит-

ся...» — едва только произнес он эти слова, как все разразилось хохотом. Не то, чтобы эти самые слова его были очень смешны, но он сам-то весь, физиономия-то его была очень уморительна. Появился лакей. Аполлос Михайлыч, видимо, старался смешить. Вошел он каким-то совсем дураком, начал почесываться, покачиваться; конечно, тоже засмеялись, но и перестали, и все больше глядели на Рымова. Многие, в переднем ряду, решительно не в состоянии были видеть его лица, хотя в этом лице не было ни одной гримасы; даже он не переменял выражения, а так лежал, как обыкновенно лежат ленивые люди, и от безделья переговаривал с лакеем, не посоветует ли тот чего-нибудь ему насчет женитьбы. Вбежал Кочкарев; и он тоже, подобно лакею, старался играть: горячился, бегал, тормошил Подколесина, но не был смешон. Смех, конечно, не прерывался, но я должен прямо сказать, что производил его один только Рымов. Задние ряды кресел хлопали ему на каждом слове. Сидевший в числе их один офицер отнесся к своему соседу-помещику:

— Лучше бы этих старых дураков совсем не пускали на сцену, а заставить бы играть одного этого хвата из питейной конторы. Кто он? Целовальник, что ли?

— Да, должно быть, опытный малый — настоящий актер, — отвечал тот. — Посмотрите, *mon cher*, какое у него лицо смешное, а всдь нельзя сказать, чтобы фарсил.

— Совершенно не фарсит, — произнес офицер.

После перемены декорации явилась невеста. Она была тоже очень хороша и премило выбирала женихов. Вбежал Кочкарев, и тут уж все заметили, что Никон Семенович чересчур утрирует, и над ним уж никто не смеялся; но появился Подколесин, и опять все захохотали. В сцене с невестой он, если можно так выразиться, положил всех в лоск; даже музыканты хохотали, и даже Дарья Ивановна и Мишель, выставившись из своего потаенного уголка, смеялись. Аполлос Михайлыч, стоявший за декорацию, беспрестанно хлопал комику. Затаив в себе всякое чувство самолюбия, он говорил, что эти сцены у них идут лучше, чем на Московском театре, и тотчас же проектировал в изобретательной голове своей — почтить талант Рымова; но каким образом — мы увидим впоследствии. Раздались крики: «Рымов!» Занавес, по приказанию Аполлоса Михайлыча, был поднят. Публика хлопала, но других никого не вызывала. Трагик был взбешен.

— Я вам говорил, что я не умею играть ваших дурацких фарсов. Очень весело дурачиться, — сказал он Аполлосу Михайлычу, проходя в уборную.

Фанечка с каким-то благоговением начала смотреть на Рымова, Дилетаев с чувством сжал ему обе руки.

— У сердца моего вы, батюшка, вот тут, у сердца! — говорил он, колотя рукою по груди. — Мы оценим ваш талант. Может быть, сегодня же чем-нибудь его почтим.

Комик по обыкновению конфузился и сел в самый дальний угол. Аполлос Михайлыч вышел к публике. Его, конечно, сейчас окружили и начали приветствовать и хвалить.

— Каков комик? вот что я хочу спросить вас, господа! — сказал он.

— Отличнейший, — произнес белокурый господин, — он, надо полагать, из настоящих актеров.

— Что актеры!.. Все актеры ему в подметки не годятся, — возразил Аполлос Михайлыч. — Я к вам, господа, с небольшим проектом. Вы — наши ценители и судьи, и вы должны почтить талант. Не угодно ли будет вам, как делается это в Москве, презентовать нашему Рымову какой-нибудь подарок. Я сам с своей стороны, сделал бы это сейчас же; но я один — не публика.

— То есть как подарок? — спросил один помещик.

— А вот как-с! Есть у меня целковых в сорок накладного серебра ваза. Не угодно ли вам будет сделать подписку по безделице — по рублю или по полтиннику. Чего не достанет, я беру на себя, и потом сегодня за ужином, к которому я имею честь вас пригласить, поднесемте ее нашему таланту — Рымову. Ему это будет очень лестно. Он человек весьма небогатый.

— Это очень возможно, — проговорили многие.

— Так не угодно ли вам взять вот эту бумажку и этот карандашик и написать каждому, кто сколько жертвует. В раек пускать нечего, а пусть подпишутся одни кресла. Если будет больше сорока рублей, это положим в вазу, да и я еще прибавлю, и завтрашний же день, даю вам честное слово, написать об этом в Москву. Пусть тамошние меценаты смакуют да думают, увидав, что и среди нас есть таланты, которые мы тоже уважаем.

Проговоря эти слова, Аполлос Михайлыч передал бумажку с карандашиком и скрылся. Он торопился одеваться в костюм разбойничьего эсаула. Подписка тотчас

же началась. С удовольствием, кажется, подписались немногие. Иные смеялись, другие не понимали, в чем тут дело, и спрашивали, что это такое значит, и, наконец, третьи подписались так, не зная, что это такое и для чего; впрочем, к концу задних рядов подписка простиралась уже до ста целковых: один откупщик подмахнул пятнадцать рублей серебром.

Между тем музыка начала играть симфонию из «Калифа Багдадского». Печально завывал капельмейстер; вторила ему, хотя немного отставая, флейта, играла с душою виолончель; но и только, вторая скрипка, волторна и там еще два какие-то инструмента были ниже всякой посредственности, но, впрочем, проиграли. Никон Семенович был весьма недоволен: во-первых, он полагал, что разбойников в задних рядах будет гораздо больше; во-вторых, они были одеты вовсе не по-разбойничьи, а в какие-то охотничьи казакины. Мишель, тоже очень небрежно замаскированный, никак не хотел, по назначению трагика, лежать, а говорил, что он будет стоять. Комик тоже долго отговаривался одеваться старинным подъячим, но Аполлос Михайлыч его уговорил. Более же всего взбесило трагика то, что у лесной декорации не было голубых подзоров, а висели те же белые. Какова же будет картина волжского берега; вместо неба — потолок, тогда как именно на эффектность картины он и рассчитывал. По случаю этих упущений Никон Семенович много наговорил колкостей Аполлосу Михайлычу, который ему ничего не ответил, а только махнул рукой. Как бы то ни было, только картина составила в прежнем порядке, с тою только разницею, что вместо судьи, в позе спящего разбойника, положен был всеисполняющий Юлий Карлыч. Актеры, набранные из людей Дилетаева, были поставлены группою взади сцены. Для большего эффекта Рагузов потребовал, чтобы при поднятии занавеса слышалась симфония, и потому музыкантам снова повелено было играть. В половине симфонии занавес поднялся. Картина была, кажется, довольно хороша: в райке послышалось несколько аплодисментов. Музыка проиграла. Никон Семенович начал; все шло очень твердо, таким образом и кончилось, по временам только смеялись, но над Рымовым ли, который сидел молча и не шевелясь, или даже над самим трагиком, я не могу решить. По закрытии занавеса несколько человек негромко захлопали — кто-то

прокричал: «всех», но скоро все смолкло. Аполлос Михайлыч начал спешить; он велел музыкантам скорее играть увертюру из «Русалки»; торопил, чтобы вносили на сцену фортепьяно, и, наконец, упробив Дарью Ивановну сестру за инструмент, сам поднял занавес. Выскочила Фани в трико и воздушном костюме. Все захлопали.

— Важно барышня откалывает, — произнес купец в райке.

Фани протанцевала, поклонившись всем с улыбкою, как обыкновенно кланяются балетчицы, и убежала. С Дарьею Ивановной Аполлосу Михайлычу опять были хлопоты. Проиграв, она встала и ушла со сцены. Он едва умолил ее опять выйти и пропеть свой романс. Модная дама нехотя вышла, сделала гримасу и запела: раек буквально разинул рот, кресла слушали внимательно. Дарья Ивановна, с прежнею миною, встала и, не поклонясь публике, ушла. Таким образом кончился спектакль, так давно задуманный и с таким трудом составленный.

VIII

УЖИН АРТИСТОВ

Все кресла, приглашенные Аполлосом Михайлычем на ужин, отправились к нему, — актеры должны были выйти к прочему обществу из задних комнат. Таким образом, действующие лица и зрители соединились: публика приветствовала и хвалила то того, то другого из игравших. Матрене Матвевне одна пожилая дама сказала, что она вовсе не узнала ее в старинной прическе, и очень лестно отозвалась о ее прекрасном платье на фижмах. Офицер благодарил Дарью Ивановну за доставленное ему наслаждение своим небесным голосом, которым она с таким чувством пропела свою превосходную арию, и сравнил ее с Асандри. Трагика расхвалил за его декламацию чудак Котаев. Даже Юлию Карлычу кто-то сказал, что он очень натурально представлял спящего разбойника. С комиком немногие говорили, потому что его никто почти лично не знал; откупщик, впрочем, потрепал его по плечу, проговоря: «Вы недурно комедии разыгрываете, — право: я никак этого не предполагал!» Перед Фани все рассыпались в комплиментах. Аполлос Михайлыч вызвал неко-

торых поважнее мужчин в кабинет и что-то долго с ними совещался. Наконец, они вышли; впереди их шел лакей с подносом, на котором поставлена была накладного серебра ваза. Вся эта процессия прошла в гостиную, в которой вместе с прочими сидел комик. Поднос с вазой поставлен был на стол.

— Согласно вашему желанию, господа, — начал хозяин торжественным голосом, — я вызываю нашего великого комика... Виктор Павлыч! Не угодно ли вам подойти сюда, — отнесся он к Рымову.

Тот встал.

— Наша публика, — продолжал Аполлос Михайлыч, — питая уважение к вашему таланту, который всем нам доставил столько удовольствия, желает презентовать вам этот маленький подарочек. Ваши товарищи тоже желали иметь участие в этом деле. Примите, мой милейший! Тут есть мое, Фани, Никона Семеныча, Юлия Карлыча и, наконец, от всей почтенной публики.

Проговора эти слова, Аполлос Михайлыч опрокинул вазу, из которой посыпалось около сотни целковых; потом, опять поставив ее на поднос, поднял все это и своими руками подал Рымову.

— Примите, мой бесценный, в память нашего приятного удовольствия, которое в сердцах любителей останется навсегда запечатленным, — произнес Дилетаев и поцеловал комика, который стоял как ошеломленный. Сначала он покраснел, потом побледнел; руки, ноги и даже губы его дрожали, по щекам текли слезы.

— Господа! помилуйте... я не стою-с... может быть, вы желаете мне, как бедному человеку... я и так благодарен... к чему это... — бормотал он себе под нос.

— Сделайте милость, примите, — проговорили многие из мужчин.

— Пожалуйста... мы все желаем, — сказали некоторые дамы.

— Вы всех нас богаче, — заговорил опять хозяин, — у вас на миллион таланту. Все наше — это лепта, которую мы хотим принести на алтарь искусства.

Рымов, наконец, взял, но решительно не находился, что ему делать с подарком.

— Позвольте, я вам помогу, — подхватил хозяин и, проворно уложив в вазу все деньги, велел Юлию Кар-

лычу отнести ее в залу и поставить на накрытый для ужина стол.

— Пусть она, — произнес он, — за нашим артистическим ужином будет напоминать Виктору Павлычу наше уважение к его таланту.

Руководствуясь правдивостью автора, я должен здесь сказать, что, при всем видимом единодушии, с которым была поднесена комику эта ваза, при всем том, что каждый из гостей пожертвовал по крайней мере рубль серебром, а некоторые даже до десяти и более целковых, но при всем этом произнесено было много насмешливых и колких по этому случаю замечаний: «Он бы лучше его самого послал с тарелочкой собирать», — говорил один. «Даст же он завтра себя знать в трактире на эти денежки», — заметил другой. «Желательно знать, что будет он делать с этой вазой? — спрашивал третий. — Должно быть, ерофеич настаивать или пунш варить», — отвечал он сам себе. «Что это за глупые выдумки — дарить вазу какому-то чудаку. Аполлос Михайлыч совсем из ума выжил; я, как подписывался, так и не понял ничего», — говорил один помещик, разводя в недоумении руками. Но нет, мне грустно передавать то, что было еще произнесено, и скажу только, что более всех восстал Никон Семеныч. Он увел даже хозяина в кабинет и имел там с ним очень крупный разговор. Многие гости слышали, как Рагузов восклицал: «Как вы позволили назвать меня? Я ваш не мальчик и не лакей — вы прежде должны были об этом мне сказать». Слышавшие все это гости догадались, что Никон Семеныч не желал, по своему самолюбию, подносить вазы Рымову и что Аполлос Михайлыч наименовал его от себя, без спросу. Трагик и хозяин вышли из кабинета очень красны: первый был в совершенном волнении и во всеуслышание сказал, что вазы он не подносил и никогда бы не поднес, потому что Аполлос Михайлыч скоро заставит кучерам своим дарить вазы. Эти слова трагик говорил так громко, что комик, хотя и сидел в гостиной, но, вероятно, их слышал, потому что, разговаривая в это время с Фани, которая уселась уже около него, он вдруг, при восклицании Рагузова, побледнел и остановился. Никон Семеныч, расстроенный и взбешенный, сел к столу и начал играть ножом.

— Вероятно, ему самому хотелось вазы, — заметил один господин.

— Должно быть! — отвечал разговаривающий с ним. — Горяч — косою заяц, — прибавил он.

Перед ужином, как водится, была подана водка. Лакей поднес ее, между прочим, и к Рымову. Комик смотрел несколько времени на судок с нерешительностью; наконец, проворно налил себе самую большую рюмку и залпом выпил ее. Сели за стол. Рымов очутился против Никона Семеныча. Ужин до половины шел как следует и был довольно молчалив. Хозяин первый заговорил во всеуслышание:

— Я думаю написать и напечатать о нашем спектакле подробный критический разбор. Это необходимо: мне по преимуществу хочется это сделать для вас, Виктор Павлыч! Я полагаю, что после моей статьи вас непременно вызовут на столичную сцену, потому что я прямо напишу, что у нас есть европейский талант, которому необходимо дать ход.

Но Виктор Павлыч на эти лестные слова хозяина не обратил должного внимания, а занят был в это время довольно странным делом: он беспрестанно пил мадеру и выпил уже целую бутылку. Хозяин заметил, переглянулся с Юлием Карлычем, который очень сконфузился.

— Вдруг мы слышим, — продолжал Аполлос Михайлыч, снова обращаясь к комику, — что наш господин Рымов дебютировал и что аплодисменам не было конца. Недурно бы было, а?

— На шутовские роли и без того там много, — проговорил вполголоса трагик.

— На какие шутовские роли? — заговорил вдруг Рымов, обращаясь к нему.

Лицо комика уже совершенно изменилось: он был красен, и глаза его налились кровью.

— На ваши роли, — отвечал Никон Семеныч, не поднимая головы.

Комик посмотрел на него свирепо.

— Вы, что ли, играете нешутовские? — произнес он, доставая себе новую бутылку мадеры.

— Пейте лучше мадеру, — сказал насмешливо трагик.

— Конечно, выпью-с, — ответил комик и, налив себе стакан, вдруг встал. — За здоровье нашего бездарного трагика, — произнес он и залпом выпил.

Аполлос Михайлыч побледнел, некоторые фыркнули. Трагик вскочил.

— Милостивый государь! — проговорил он, сжимая столовый нож в руке.

Комик откинулся на задок стула.

— Испугать меня хотите своим тупым ножом. Махай, махай, великий Тальма, мечом кардонным! — продекларировал Рымов и захохотал.

— Виктор Павлыч, сделайте милость, что вы такое позволяете себе говорить, — заговорил, наконец, хозяин. — Никон Семеныч, будьте хоть вы благоразумны, — отнесся он к трагику.

Никон Семеныч пришел несколько в себя и сел. Но Виктор Павлыч не унимался. Он еще выпил стакан и продолжал как бы сам с собою рассуждать:

— Актеры!.. театр... комедии пишут, драмы сочиняют, а ни уха ни рыла никто не понимают. Тут вон есть одна — богом меченная, вон она! — произнес он, указывая пальцем на Фани.

Хозяин только пожимал плечами. Он решительно потерялся. Трагик старался улыбнуться. Некоторые из гостей, подобно хозяину, пожимали плечами, а другие потихоньку смеялись. Мишель, в досаду дяде, хохотал во все горло. Юлий Карлыч чуть не плакал.

— Господин Рымов, замолчите! — вмешался, наконец, откупщик. — Вы забываете, в каком обществе сидите; здесь не трактир.

— А вам что угодно? — произнес Рымов совершенно уже пьяным голосом. — И вам, может быть, угодно сочинять комедии, драмы... пасторали... ничего, мой позелитель, я вас ободряю, ничего! Классицизм, черт возьми, единство содержания, любовница в драме!.. Валяйте! Грамоте только надобно знать подтверже. Грамоте-то, канальство, только подписывать фамилию умеем; трух, трух, и подписал! — проговорил он и провел зигзагами рукою по тарелке, вероятно, представляя, как откупщик подписывается.

Тот, конечно, вышел из себя.

— Извольте идти сейчас же вон! — сказал он. — Аполлос Михайлыч, извините меня: он мой подчиненный, я его сейчас велю вывести.

— Господа, помилуйте, сделайте милость, — начал Аполлос Михайлыч плачевным голосом. — Господин Ры-

мов, образумьтесь, почувствуйте хоть по крайней мере благодарность к обществу, которое вас так почтило. Это ни на что не похоже. Юлий Карлыч, уговорите его: вы его нам рекомендовали.

Но Юлий Карлыч, обращаясь то к тому, то к другому, ничего уже не в состоянии был и говорить.

— Что? благодарность? за вазу, что ли? — заболтал онять комик. — Ох, вы, богачи! что вы мне милостинку, что ли, подали? Хвалят туда же. Меня Михайло Семенович хвалил, меня сам гений хвалил, понимаете ли вы это? али только умеете дурацкие комедии да драмы сочинять?

На этом месте Дилетаев не выдержал. Он встал из-за стола, подошел к откупщику и, переговорив с ним несколько слов, ушел в кабинет. Через несколько минут двое лакеев подошли к Рымову и начали его брать под руки.

— Вам что надобно, скоты! — проговорил он, совершенно уж пьяный; но лакеи проворно подняли его со стула. — Прочь! — кричал он, толкаясь. — Актеры! Писатели! Всех я вас, свинопасов, презираю... Прочь!.. — Но лакеи тащили, и далее затем слов его уже не было более слышно, потому что он был выведен на улицу. Такое неприятное и непредвидимое обстоятельство до того расстроило хозяина, что он более получаса не в состоянии был выйти из своего кабинета. На гостей оно подействовало различно: одни смеялись, другие жалели Аполлоса Михайлыча и, наконец, третьи обвиняли его самого и даже оскорблялись, как он позволил себе пригласить подобного человека в их общество. Последние выговаривали даже Юлию Карлычу, который первый рекомендовал комика. Трагик смеялся над хозяином злобным смехом. Ужин кончился кое-как. Аполлос Михайлыч, наконец, вышел к гостям и начал просить извинения в случившейся неприятности, которой, конечно, он никак не мог ожидать, и вместе с тем предложил на обсуждение общества вопрос: что делать с вазой? По последнему своему поступку Рымов, как человек, не только не стоил подобного внимания, но даже должен быть презрен, а с другой стороны, как актер, он заслужил ее, и она ему была уже подарена. Некоторые говорили, чтобы пренебречь и отдать ему вазу, которая была уж его собственность,

другие же отрицали, говоря, что этим унижится общество. Аполлос Михайлыч обратился к откупщику. Тот объявил, что ему все равно, но что он сам накажет Рымова тем, что выгонит его из службы.

— Итак, господа, как человек, он будет наказан, а как актеру, пошлем ему вазу, — решил хозяин и тотчас же велел нести вазу с деньгами к Рымову.

Трагик во всем этом не принимал никакого участия, потому что все это было, как он выражался, гадко и глупо. Одна только Фани жалела Рымова: она даже потихоньку вышла спросить к лакеям, как они его довели. Те объявили, что они довели его хорошо и сдали жене, которая его заперла в чулан. Анна Сидоровна действительно была уже в городе и, мучимая ревностью, весь вечер стояла у театра и потом у дома Аполлоса Михайлыча. Увидев, что из ворот вывели человека, который барахтался и ругался, она тотчас догадалась, кто это, и побежала вслед за ним. Дома она действительно его заперла в чулан. Это был единственный способ вытрезвлять Рымова.

IX

Не знаю, заинтересовал ли я читателя выведенными мною лицами настолько, чтобы он пожелал знать дальнейшую судьбу их, но все-таки решаюсь объяснить, что чрез несколько месяцев после описанного спектакля Аполлос Михайлыч женился на Матрене Матвевне и после этого, как рассказывают, совершенно утратил любовь к театру, потому что супруга его неожиданно обнаружила, подобно Анне Сидоровне, отвращение от этого благородного занятия, и даже будто бы в настоящем театре она участвовала из одного только кокетства, с целью завлечь старика, который, в свою очередь, женившись, сделался как-то задумчивей и угрюмей; переехал совсем в деревню, начал заниматься агрономиею и писать в этом роде статьи. Матрена Матвевна видимым образом осталась тою же, то есть бойкою, веселою дамою и большою говоруньею. По замечанию всех, она была очень нежна к мужу и даже ревнива, потому что прогнала всех молоденьких горничных, а набрала вместо них старых, безобразных и совершенно непривычных. На Фанечке женился Никон Семеныч, и это дело устроила Матрена

Матвевна, которая очень ловко умела влюбить Рагузова в племянницу и заставила ту согласиться. Фанечка, вышед замуж, тоже разлюбила театральное искусство: она даже всякий раз бледнела и краснела, когда муж ее начинал читать что-нибудь драматическое. Дарья Ивановна, после спектакля, очень уж подружилась с Мишелем, так что за нею приезжал муж и увез ее с собою в деревню. У Юлия Карлыча, несмотря на слабое здоровье жены, родился еще сын, и он еще более начал нуждаться в средствах. А комик мой... Бог его знает, что и сказать о нем... выгнанный за последний свой поступок откупщиком из службы, он, говорят, был опять некоторое время на провинциальном театре, потом служил у станового пристава писарем и, наконец, теперь уже несколько лет содержится в сумасшедшем доме.

ПИТЕРЩИК

Рассказ

I

Чухломский уезд резко отличается, например, от Нерехтского, Кинешемского, Юрьевецкого и других¹, — это вы заметите, въехавши в первую его деревню. Положительно можно сказать, что в каждой из них вам кинется в глаза большой дом, изукрашенный разными разностями: узорными размалеванными карнизами, узорными подоконниками, какими-то маленькими балкончиками, бог весть для чего устроенными, потому что на них ниоткуда нет выхода, разрисованными ставнями и воротами, на которых иногда попадаются довольно странные предметы, именно: летящая слава с трубой; счастье, вертящееся на колесе, с завязанными глазами; амур какого-то особенного темного цвета, и проч. Если таких домов два или три, то прихоти в украшениях еще более усиливаются, как будто домохозяева стараются перещеголять в этом случае один другого; и когда вы, проезжая летом деревню, спросите попавшуюся вам навстречу бабу: «Чей это, голубушка, дом?», — она вам сначала учтиво поклонится и наверно скажет: «Богачей, сударь». — «А этот другой чей?» — «А это других богачей». Произношение женщины, без сомнения, обратит на себя ваше внимание: представьте себе московское наречие не-

¹ Костромской губернии. (*Прим. автора.*)

сколько на *a* и усильте его до невероятной степени, так что, говоря на нем, надобно как и для английского языка, делать гримасу. Я сказал, что вы встретите женщину, на том основании, что летом вы уж, конечно, не увидите ни одного мужика, а если и протащится по перегородке какой-нибудь, в нитяной поневе, нечесаный и в разбитых лаптях, то вы, вероятно, догадаетесь, что это работник, — и это действительно работник и непременно *леменец*¹.

Зима другое дело; зимой мужиков много появляется. У Богоявления, что на горе, с которой видно на тридцать верст кругом, в крещение храмовой праздник: с раннего еще утра стоят кругом всей ограды лошади в пошевнях. Такой нарядной сбруи я в других местах нигде и не видывал. На узде, например, навязано по крайней мере с десяток бубенцов, на шлее медный набор сплошь — весом в полпуда, а дуга, по золотому фону, расписана розанами. Войдите в церковь: народ стоит удивительно чистый, лица умные, благообразные, на всех почти синие кафтаны; а вон наперед стоят одна лисья и две енотовые шубы — это-то и есть самые богачи: они из Терентьева, да их и много; вон в синем кафтане, рублей по восемнадцати сукно, — это из Овсянова; заезжайте к нему в гости: уверяю, что без цымлянского не уедете! В серой поддевке, рыжая борода, тоже богач из Маслова, одним словом, очень много, всех и не перечесть!

Дело в том, что весь тамошний народ ходит на чужую сторону, то есть в Москву или в Петербург; а есть и такие, которые забираются и в Гельсингфорс и даже в Одессу и промышленяют там: по столярному, стекольному, слесарному мастерству. Очень трудной работы — каменной, плотничной, кузнечной — чухломец не любит.

Жизнь почти каждого из них проходит одним обычным порядком: приходит к барину крестьянка — полустаруха.

— Что скажешь, Михайловна? — спрашивает тот.

— К вам, сударь, — парнишку с анофревским Веденеем Иванычем сговорила.

— А по какой это части?

— По стекольной, батюшка, части.

— Что это у вас всё стекольщики?.. Хоть бы кто-нибудь из вас в колесники в Макарово отдал? А то по деревне колеса некому сделать.

¹ Вологодской губернии волость. (Прим. автора.)

— Где уж, батюшка, мне это затевать, дело вдове, непривычное, а тут всё на знакомстве-с.

— На сколько же лет?

— На пять-с лет, а по выходе от хозяина сто рублей да синий кафтан-с с обувкой.

— Ну что же? Хорошо, с богом!

И отправляют парнишку с Веденеем Иванычем, и бежит он по Петербургу или по Москве, с ног до головы перепачканный: щелчками да тасканьем не обходят — нечего сказать — уму-разуму учат. Но вот прошло пять лет: парень из ученья вышел, подрос совсем, получил от хозяина синий кафтан с обувкой и сто рублей денег и сходит в деревню. Матка первое время, как посмотрит на него, так и заревет от радости на всю избу, а потом идут к барину.

— Кто там? — кричит тот из кабинета.

— Афимья с своим питерцем пришла, — отвечают ему из девичьей, с любопытством оглядывая новичка.

— А, хорошо! Войдите.

Входит питерец; волосы приглажены, кафтан подпоясан с форсом, сапоги светятся и скрипят, кланяется барину и кладет ему на стол рыбу, или яблоков, или просто полтинник.

— Полно, братец, не надобно, — замечает барин.

— Пожалуйте¹, — отвечает питерец, встряхнув головой.

— Молодец вырос, а мастерству выучился ли?

— Про себя, сударь, говорить нельзя, а все могим сделать, что от хозяина было показано.

— Это хорошо: жениться теперь пора, да и в тягло.

Парень, слегка покраснев, улыбается.

— Не оставьте уж, батюшка, — отвечает за него мать и при этом случае опять прослезится.

— А у кого же думаете взять? — спрашивает помещик.

— У кого ваше приказанье будет, а мы, по нашему сирочеству, никого не обегаем, — отвечает мать.

— Какое же мое приказанье: вы знаете, я в этом случае не приказываю... сходитесь по себе, полюбовно.

¹ Это значит — примите. (Прим. автора.)

— На том благодарим, батюшка, покорно, — отвечает все мать, — коли милость ваша будет, так у Ефья Петровича девушку желаем взять.

— У Ефья, так у Ефья, ваше дело, — только чтобы с той стороны не было сопротивления.

— Сопротивленья не полагаем, разговор уж об этом был.

— А тебе она нравится ли? — относится барин к парню.

— Нравится, сударь, — девушку похулить нечем, как быть следует.

И женят таким образом парня в мясоед, между рождеством и масленицей. Но как пришел великий пост, так и начали молодого в Питер собирать: прибрали попутчиков, привязал он к спине котомку и пошел, а там, месяца через два, и поотпишет что-нибудь, вроде того:

«Милостивеющая государыня матушка Афимья Михайловна и дражайшая сожительница Катерина Ефьевна, просим вашего родительского благословения и навеки нерушимо; о себе уведомляю, что проживаю по тепериче у Веденя Иваныча за триста рублей в лето, и при сем прилагаю десять целковых на подушную, чего и вам желаю.

Крестьянин ваш сын такой-то».

На Петров день и барину оброк выслал, а к Новому году и остальную половину, и сам сошел в деревню. Так он ходит каждый год, а там, как бог посчастливит, так и хозяйство заведет: смотришь — и дом с белендрясами вытянул... Все это хорошо, когда хорошо идет, а бываст и другое.

Летом, в 184..., приехал я в чухломскую деревню Наволоки и, зная хорошо местность, вовсе не удивился, когда на крик моего ямщика: «Эй, десяткой, подь сюда!» — вышла молоденькая и прехорошенькая собой баба.

— Ты, голубушка, десяткой? — спросил я ее.

Она улыбнулась.

— Я, сударь.

— А как тебя зовут?

— Марьей.

— А строга ли ты?

— Да с чего мне строгой-то быть? Что за строгость такая, я и не знаю.

— Можно ли мне остановиться в этом большом доме?

— Для чего не остановиться... Погодите, я поспрошаю, — отвечала десятской — Марья и начала стучать в окошко большого дома.

— Клементий Матвейч, а Клементий Матвейч! Вона барин приехал, на фатеру к тебе позывается!

В окно выставилось мужское лицо.

— Позволь мне, мужичок, остановиться в твоём доме, я приехал по службе, — сказал я.

— Сделайте милость, батюшка, — отвечал тот проворно. — Не больно приглядно у нас... Дарья Михайловна, уберите там в горнице, что не надо, — услышал я его голос в избе, а через несколько минут он и сам показался на улице.

Это был лет тридцати пяти видный собой мужик, волосы русые, борода клином; на лбу несколько морщин, взгляд умный, лицо истощенное.

— Пожалуйте сюда на лесенку, — отнесся он ко мне, — уж извините на этот случай, что в таком наряде вас принимаем, дело деревенское... — На нем была наскоро накинутая, значительно поношенная купеческая сибирка. — Ты, любезный, возьми кругом, там под навесом и поставишь, — прибавил он извозчику, а то тут в ворота не пройдешь; наш экипаж — телега, не громоздка, в калитку продернуть можно.

В сенях, у окошка, сидела худая сгорбленная старуха и что-то ворчала, замахиваясь клюкой на пятилетнего мальчишку, который к ней то подскакивал, то отскакивал.

— Федька! перестань баушку дразнить! Что ты? — крикнул на него Клементий.

— Она сама начинает.

— Я тебе дам: сама начинает!.. Вот уж пословица справедлива: старый, что малый, целый день у них этикие баталии идут... В горенку пожалуйста, сюда налево, — говорил хозяин, провожая меня.

Я вошел и, осмотревшись, тотчас же догадался, что я у питерщика. Комната вся была оклеена сборными обоями: несколько полосок французских атласных, несколько хороших русских и, наконец, несколько дешевеньких; штукатурный потолок был весь расписан букетами, так что глазам было больно смотреть на него; в переднем углу стояла красного дерева кюта с образами и стол, на котором были нарисованы тарелки, а на

них — разрезанные фрукты, а около — серебряные ножи и вилки; лавок не было, их заменяли деревянные стулья, выкрашенные как будто бы под орех. В заднем углу стояла кровать с ситцевыми занавесками, к которой Клементий бросился тотчас, как мы вошли, и начал выкидывать оттуда различную дрянь, говоря: «Эк у них тут навалено! что это за баба необрядная, все ей не в заметку!..»

— Извините уж, батюшка, — прибавил он, обращаясь ко мне, — в чем застали, в том и судите, не чаяли вашей милости.

Я просил его не хлопотать, а велеть, если у него есть, согреть мне самовар.

— Как, сударь, не быть этого заведенья: не те нынче времена и не такие здесь места, чтобы не быть... Дарья Михайловна! — крикнул он в дверь, — поживее самовар, да приготовьте там чайник и чашки — все, как следует, — главная причина, перемойте почище.

— Славный у тебя дом, — сказал я.

— Живет, батюшка, по деревне.

— Сам строил или еще старик?

— Нет, уж сам выводил; лес как-то нынче не против старины: крепости и ядерности никакой не имеет.

— А эти цветы на потолке не сам ли рисовал?

— Никак нет-с: чужие по найму мазали.

— Да ты питерщик?

— Питерщик был-с.

— А по какому мастерству?

— Да тоже вот по этой, по малярной части.

— В домах, что ли, расписывал?

— Всяко-с: и по наружности занимались и внутри отделку брали.

— То есть как же?

— Да, то есть стены и потолки по трафарету расписывали, и асторическую живопись тоже немного маракуют.

— Все тоже по трафарету?

— Все по трафарету, нечего хвастать: от руки все как-то не доходим. Хватались было некоторые из наших, да не выходит, по тому случаю, что мужику против ахадемика не быть, ученья такого мы не имеем. Наше сударь, доложу вам, мастерство такое, что и конца ему нет: крыши, да заборы, да стены красить — особ статья; а,

например, полы под паркет выводить или там дверь и косяки под слоновую кость отделать, — это выходит вторая статья; экипажная часть тоже по себе, мебельное дело другого требует, а комнатная живопись настоящая опять другое, а название у всех одно: маляр, да и баста, а кто дело разберет, так маляр маляру рознь — кто до чего дошел.

Понятно, что Клементий был мужик оборотливый и немного резонер, потому что, как видно, любил обо всем порассудить и потолковать.

— Какое ремесло самое выгодное? — спросил я, желая снова вызвать его на разговор.

— Как вам, сударь, сказать, все это в зависимости от самого человека. Конечно, по хозяйской части, как и в купеческом деле, много и глупого счастья бывает, а если насчет работников взять, так все едино — единственно зависит от того, кто как ремесло в толк взял, а другая главная пружина состоит и в том: каков ты и в поведении, особенно нонече, потому что народ год от году стал баловатее: иной парень бывает по мастерству и не так расторопен, да поведения смиренного, так он для хозяина нужней первейшего работника. Материалу, например, временем нужно закупить, за рабочими присмотреть, артель там где-нибудь за глаза разделить, — он его сейчас в это дело и употребит — и у нас эдакие люди рублей по семисот в лето получают.

— Не по всем же мастерствам дается жалованье равное?

— Жалованье идет разное, про это кто говорит, только в кармане выходит одно и то же. На что уж, кажись, по жалованью лучше кузнечного дела! Последний работник получает четыреста, а который поискуснее и холодную там подковку знает, так и четыреста на серебро хватит, а много ли богачей? Ни одного! От малого до большого, что в неделю заработал, то на праздник в харчевне и спустил; а тепериче, если взять и другую линию: портной, сапожник и гравировщик, — у нас считается на что есть хуже из всех: у них, с позволения сказать, зимой, в субботу, в баню надобно сходить, так старший подмастерье выпросит у дворника рукавицы, наденет их, вместо сапог, на ноги да так и отваляет, а и по этому делу выходят в люди... Недалеко взять: у нашего барина дворовой человек сначала тоже в Москве поучился порт-

няжничать, тут вернулся в губернию и теперь первый стал во всем городе портной, — и значит, что все человеком выходит.

— Неужели же портные менее прочих получают жалованья?

— Жалованье жалованьем... им точно и жалованья меньше идет против прочих, но главная вещь: присмотрю за ним никакого нет. Проживают они больше по немцам, а немцу что?.. Платит он ему поштучно, спрашивает в работе чистоты — и только: рассчитают, что следует, а там и распорядись жалованьем своим, как знаешь: хочешь, оброк высылай, а нет, так и пропей, пожалуй; у них хозяину еще барыш, как работник загуляет: он ему в глухую пору каждый день в рубль серебра поставит, а нам, хозяевам, этого делать нельзя: у нас, если парень загулял, так его надобно остановить, чтобы было чем барина в оброке удовлетворить да и в дом тоже выслать, потому что здесь все дело соседское, все на знати; а немец ничего этого во внимание не берет...

Вошла хозяйка с самоваром — женщина еще молодая, но очень неприятной наружности, рыжеватая, в веснушках, с приплюснутым носом, узенькими глазами и вообще с выражением лица ничего не выражающим. Сарафан на ней был хоть и ситцевый, но полинялый, рубашка грязная. Недаром Клементий говорит: «эка баба необрядная...» — «Это, должно быть, не чухломка, — подумал я. — Чухломка к постороннему человеку, а тем более к барину, никогда бы в таком наряде не пришла...» Хозяйка между тем, поставив самовар, сходила за чашками. Клементий смотрел на нее, как мне показалось, с каким-то затаенным чувством досады...

— Хоть бы ты, Дарья Михайловна, для гостей-то умылась, — произнес он и покачал головой.

— Ну, батюшка, — проговорила баба, поклонилась и ушла.

Я пригласил Клементия выпить с собою чаю и сесть; то и другое он принял с большим удовольствием. Разговор между нами опять завязался, именно: об табаке, потому что я закурил в это время трубку.

— Вы трубку изволите курить? — спросил меня Клементий.

— Да, трубку, а что же?

— Так, сударь: нынче господа к сигарам больше при- страстия имеют, и как еще эти — проклятые — вот и на- званье-то забыл — тоненькие такие...

— Папиросы?

— Именно папиросы: на удивленье ведь по первоначалу было: бумагу вздумали курить, бедность такая при- шла, точно вот как иные мужики у нас по деревне: ку- рить-то охотник, а табаку нет, денег тоже не бывало, так он моху этого лесного насушит, накладет в трубку и запалит, точно настоящий табак, и поодурманит себя немножко, будто как и курил.

— А сам ты куришь или нет?

— Нет-с, сударь, по здешним местам отстал, а в Пи- тере всего было: пуда с три пережег этого добра... и здесь было, правду сказать, начинал, да старуха бранится, так и бросил... Не стакан ли для чаю-то прикажете подать?

— Нет; а что же?

— Да мы, вот тоже, по чужой стороне видали, что господа нынче больше в стаканах употребляют.

— Мне все равно... У вас здесь по чужой стороне про- мышляют?

— Все-с. По нашим местам, мужику проживать в де- ревне все равно, что черту ладан.

— Отчего же это?

— Выгод, сударь, здесь нет никаких: мужику копейки здесь не на чем заработать: земля все иляк, и след- ственно хлебопашество самое скудное; сплавов лесных, как примерно по Макарьеву, Ветлуге и другим прочим местам, не бывало, фабрик по близости тоже нет, — чем мужику промыслить?.. За неволю пойдет на чужую сто- рону.

— И давно это промеж вас завелось?

— Давно или нет, я уж не знаю-с, а только был, су- дарь, у меня дед, помер он на сто седьмом году, я еще тогда был почти малый ребенок; однакоже помню, как он рассказывал, что еще при Петре-государе первые хо- доки отседова пошли: вот когда еще это началось! А те- перь уж нас, прямо сказать, от этого промысла не оту- чишь. С малого будем говорить: там мы все, не то что хозяева или приказчики, а даже артельные, — все содер- жание имеем отличное, по тому самому, что хоть бы взять в нашем ремесле: отпусти-ка в артельную кашу мало масла, так он тебе, красимши, на одну половицу

масла за целый год выльет, и мы в этом, хозяйева, никогда не стоим, кормим на убой, только чтобы в работе не зевали да проворили; а здесь не очень раскуражишься: швыряй, пожалуй, молоко, а мы, признаться сказать, не очень к нему привычны. Мне так вот даром его не надобно!.. когда даже бабы едят, так просто моторит¹, а насчет того же чаю, мы — питерцы — к нему большое пристрастие имеем... Там какой-нибудь, с позволения доложить, лядащий мальчишка, завелся у него гривенник, и бежит в трактир, и сидит барином, и туда же еще командует, а в деревне самоваров не наставишься, прокладки уж этой и нет.

— А главное, я думаю, вам не правится полевая работа.

— Есть и это... отвыкаем очень... невелика, кажется, хитрость орать, а меня хоть зарежь, так косули по-настоящему не уставишь... косить тоже неловок: машу, машу, а дело не прибывает... руки выломаешь, голову тебе распечет на солнце, словно дурак какой-нибудь... и все бы это ничего, и к этому мы бы делу попривыкли, потому что здесь народ все расторопный, старательный, да тут есть, пожалуй, другая штука...

— Какая же это?

— А вот какая-с: здесь, я вам доложу, мы все бахвалы, именно, так сказать, бахвалы наголо — сойдет мужик из Питера или из Москвы и начнет гнуть штуки: я-да-я, мы-да-мы, а бабы да девки сидят да слушают разиня рот, а нам это и повадно, и куражимся... А как по деревне-то живешь, так нечего прибавить: всё на виду... Не дальше, как в этой комнате, было у меня эдакое дело, на никольщине: есть здесь мужичок, верстах в трех отсюда живет, старик простой, смиренный, а денежный; на чужую сторону он не ходит, а занимается около дома торговлей: салом, солью, мясом и прочим эдаким товаром перебивает; сидит он у меня в гостях, и другие тоже кое-кто был, народ всё хороший, — вдруг приходит нашей деревни мужичонка — Гришка, питерец коренной, но человек то есть никуда не годный. Невзираючи ни на кого и ни на что, *шасть* прямо в передний угол, сел и почал хвастать: и денег, говорит, у него много, и анара-

¹ Тошнит. (Прим. автора.)

лов там всех знает, и во дворце бывал, то есть, я вам скажу, такую понес околесную, хоть святых выноси вон. Деревенский этот мужичок слушал, слушал, да и говорит: «Полно, говорит, Гриша, не высоко ли берешь?..» Что же, сударь, как вы думаете?.. Этот шельма — Гришка — оборвал старика на чем свет стоит! «И толоконное, говорит, ты брюхо! и лесная кочерга!..» Просто сказать, раскостил, а тот только смолчал, делать нечего, на чужой стороне не бывал, рассуждать об этом много не может... Вот ведь у нас какая здесь практика заведена, так и не больно манит проживать около дома! а все лестно, нельзя ли как-нибудь в Питер или Москву... Это, батюшка, полагаю, и в вашем звании бывает: вот молодые господа из Питера съезжают, так большой тоже форс держат. К нашему барину приезжал оттедова двоюродный брат: мы, как его по Питеру знаем, так господин очень непыратый: на службе нигде не состоит, капиталов за собой никаких не имеет, а только что, примерно, по-питерски сказать, тортуары там гранит; а подите-ка: как приехал сюда, какой тон повел! у нашего помещика в усадьбе все расхаял: и дом без скусу, и скотные дворы выстроены не по плану... Я тут невдалеке слушал, как они об этом разговаривали, и только сам с собой подумал: «У тебя-то, думаю, выжига питерская, какие там палаты расстроены!»

Клементий остановился.

— Отчего же ты сам нынче не в Питере? — спросил я его вдруг.

Клементий весь вспыхнул.

— Как вам сказать, сударь, — начал он после минутного молчания, почесав в голове и вздохнув слегка, — линия уж такая вышла, что пенья копать дома пришлось.

— Покутил, видно?

— То-то и есть, прогорел маленько: пожару не было, а дымом вышло... мужик глуп: как бы нам не деревня, так бы мы и бога забыли.

— Барин, что ли, тебя не пускает?

— Да оно и барин, видно, повыдержат немного хочет... А другой случай, что на чужой стороне мне почесть, так сказать, и быть не у чего... в работники идти как-то зазорно, а хозяйством обзавестись могуты не хватает.

— А ты сам хозяйствовал?

— Тридцать человек одной артели держал-с, дела большие имел; кабы не своя глупость, так деньги бы теперь лопатой загребал...

— Отчего же? попивать, видно, начал?

— Не без того... у нас без этого не бывает; хотя и то сказать: выпивка рабочему человеку ничего, она ему по времени еще в пользу идет... а то худо, когда мужик с горя начинает опрокидывать, когда у него на сердце болит.

— А у тебя болело тоже сердце?

— А так, сударь, болело, что вот я теперича не жи-рен, а напредь сего был кожа да кости!.. История моя длинная, опечатать ее стоит... вот такая моя история!

В это время дверь приотворилась.

— Клементий Матвейч?.. — произнес женский голос. Это была хозяйка.

— Что тебе? — отвечал с досадою питерщик.

— Подь сюда: работник вопит, запахивать неча... Подь, батько, засеи загончиков хоть пяток!

— Ну, ладно; изготовь там жито-то... Извините, сударь, в поле требуют... На угощенье благодарим покорно.

— Ты зайди ко мне после.

— С большим нашим удовольствием, если вам будет не в тягость... Затем наше почтение-с, — проговорил Клементий и ушел.

II

Оставшись один, от нечего делать я пошел в избу. Хозяйка парила крынки, Федька сидел на лавке и что есть силы колотил по столу косарем; бабушка-старуха переправилась из сеней на голбец... На меня из них никто не обратил внимания.

— Вона, худы валенки-то, — во что обуешься теперь, — ворчала старуха, простанывая по временам. — Немало толстолобому говорила: купи да купи, так на базаре нет... эка, брат, и валенок про нас на базаре не стало... а сивку... да... продали... не сам еще заводил... ловок больно... да... а не говори им — и не говорю... Успенье на дворе, а еще и пар не запарили... жди, паря, хлеба... то-то... порядки какие... ой, батюшки, тошнехонько! Ой-ой, тошнехонько!..

— Чем мать больна? — спросил я невестку.

— Не знаю: давно уж она мозгнет, — отвечала та нехотя.

— Что у тебя, старушка, болит?— отнесся я к больной.

— Что болит?.. все болит, во всей болезь ходит.. рученьки, ноженьки ломит, у сердца тошно; с печи падала не один раз, пора бока отбить.. Не так было прежде, жили.. да.. что станешь делать.. не больно нынче маток слушают: хоть говори, хоть нет.. третий год в Питере не бывал, какое уж это дело!.. О-о-ой, тошнехонько!..

И мне сделалось тошно от болезненных стонов старухи, а сверх того Дарья ввалила в крынку огромный, раскаленный камень и всю избу наполнила паром.

«Плохо же житье питерцу, — подумал я, — понятно, что в семье у него было не очень ладно: жена какая-то рабочая полудиотка, мать больная и, должно быть, старуха блажная. Отчего это он, по его выражению, прогорел и почему не в Питере?..»

С такого рода размышлениями пошел я по деревне. Картины увидел обыкновенные: на самой середине улицы стояло целое стадо овец, из которых одна, при моем приближении, фыркнула и понеслась марш-маршем в поле, а за ней и все прочие; с одного двора съехала верхом на лошади лет четырнадцати девочка, на ободворке пахала баба, по крепкому сложению которой и по тому, с какой ловкостью управлялась она с сохой и заворачивала лошадь, можно было заключить об ее не совсем женской силе; несколько подальше, у ворот, стояла другая женщина и во все горло кричала: «Тёл, тёл, тёл! тёлонька, тёлонька, тёл!..» По дороге, навстречу мне, шла десятский Марья с ималом¹ и уздой в руках.

— Что это баба кричит? — спросил я ее.

— Корову, сударь, выкликает: коровка, должно быть, отстала, — отвечала она.

— Разве у вас не за пастухами?..

— Нет, не за пастухами: у нас пастуху нечего делать. Скотина гуляет не па чистаполью, а па лесам, что тут пастух сделает? разбредется па кустам, так и он ничего не увидит..

— А если украдут?

¹ *Имало* — овес в какой-нибудь чашке или плетушке, которым, поднося к морде лошади, приманивают ее и таким образом ловят. (Прим. автора.)

— Николи у нас не крадут, зверь так обижает, а воровства здесь не чуть.

— Волк, что ли?

— Нет, не волк, медведь: нынешнее лето из нашей деревни, проклятой, двух коровок изломал.

— Вы бы стреляли его?

— Кому у нас стрелять? Был в Терентьеве один стрелок, да и тот перед заговеньем помер... Тоже вот эдак по весне сел на лабаз; медведь-то пришел, падалину только обнюхал, а его стряс с елки и почал ломать, всю шабалку своротил; тем и помер, никак залечить не могли.

— Ты сама куда ходила?

— Лошадь ловить ходила, да не дается, пес ее драл,

— А разве в доме у вас нет мужика?

— Нет, сударь, ни одного нет-с: батюшка-тесть и мой-то муж — оба в Питере.

— Отчего же мой хозяин дома проживает?

— Клементий Матвееч?

— Ну да.

— Видно, не больно умно жил на чужой стороне, так теперь заделье и правит.

— Загулял, что ли, он?

— Не без тово, чай.

— Мне жена его очень не понравилась.

— Она нездешняя, от Макарья взята.

— Я это догадался: она ему не пара.

— Известно, что против него не будет; эдакому мужику надобно бабу покрасивее.

— Вот бы тебя, например.

— Да что ему меня, у меня свой не хуже его.

— Будто и не хуже?

— А чем хуже? только еще человек молодой, а не хуже.

— Не волочится ли за тобой Клементий? — спросил я ее вдруг.

Она вся вспыхнула, потом посмотрела на меня пристально и улыбнулась.

— Что за волоченье? он здесь смирно живет, — произнесла она и потупилась.

— А прежде?

— Прежде я не знаю: мало ли чего у них в Питере бывает? Человек был богатый, так уж, вестимо, без тово жить не станет.

Разговаривая таким образом, мы подходили к моей квартире. Нас нагнал Клементий, который уже возвращался с поля.

— Хоть бы вы, сударь, нашего хожалого постращали, а то он ничего своей должности не сполняет, — сказал Клементий, указав головою на Марью.

— Что меня страшать: не мне бы, а тебе, длинноносому, надобно эту должность исправлять, — отвечала та с улыбкой.

— Нет, уж я, тетка, в сотские буду проситься, чтобы ты у меня под началом была.

— Что же тебе такое в подначальстве моем?

— Известно что... Ах ты, голубка: ноги тонкие, бока звонкие! — проговорил Клементий, ударив ее слегка по плечу.

— Перестань болтать-то: мало тебе в Питере бока на-звонили.

Этот быстрый разговор и несколько взглядов, которыми перебросились Клементий с Марьей, показались мне подозрительными.

Я вошел в свою комнату: питерщик не замедлил явиться. Мы уселись на прежних местах, и разговор между нами тотчас же начался.

— Ты говорил, что с тобой была история; расскажи мне ее, пожалуйста! — сказал я.

Клементий сначала призадумался немного, потом усмехнулся.

— Рассказать, судырь, пожалуй, наше дело: слабы на язык-то; только то, чтобы не наскучить вам: похождения мои длинные.

— Вовсе нет, я тебя прошу об этом.

Клементий поправил бороду.

— Похождения мои, — начал он, — хоть бы взять с того, что я вдовец и тепериче женат на другой: первая моя хозяйка, всякий вам скажет, была эдакая красавица, что другой, ей подобной, может быть, по всей империи из простого званья не найти. Восемь лет мы с ней прожили, наперекор слова не бывало, а не токмо что брани или, там, драки эдакие, как промеж другими бывает. И я, сударь, не хвастаясь сказать, в полтора года из простых мальчиков в приказчики попал, а через два года и сам хозяйством обзавелся, и такое у меня об доме старание было: спать лежучи, об доме думаешь, поутру встанешь,

лба еще не перекрестишь, а все на уме, как бы денег спроворить да в дом послать? А в пятый год так раздышался, что и бабу в Питер выписал, еще у меня спорей пошло: она была, надо сказать, окромя красоты из лица, женщина умная, расторопная, чистоту любила на всяком месте. Пойдешь, бывало, ранним утром по делам, воротиться домой: в фатере любо поглядеть: прибрано, примыто, сама сидит лучше другой барыни, и так мне все это было по нраву, что иной раз всплачешь потихоньку... Господи боже мой, думаешь, за чьи ты молитвы меня эдаким счастьем поискал?..

Проговоря это, Клементий приостановился.

— Далее! — сказал я.

— А дальше, судырь, только два годочка я покрасовался с ней в Питере, и сам не понимаю, что такое приключилось: вряд ли уж тут не было чьего-нибудь дурного глаза. Больно мне многие из своей братьи в зависть брать начали, а может быть, и понапрасну клеплю, может быть, и от простуды!.. Пришла она у меня, — дело это было по осени, — от всенощной и прямо на постель. «Что это, — говорю я, — Машенька, ты спозаранку спать забираешься?» — «Так, говорит, мне все что-то не по себе». — «Так полно, говорю, дурочка, валяться-то, напейся чайку с мадеркой, лучше испарина прошибет». — «Хорошо», говорит, и встала, и надо полагать, что, через принужденье, выпила одну чашку, а больше уж и не могла, и опять легла. Поутру еще хуже: я к доктору, тот приехал, осмотрел ее: «Горячка, говорит, у нее начинается». А за тем самым горячка да горячка... Лечили, кажись, всяким, — легче нет. Неделю помаялась, а в восьмой день и богу душу отдала.

Клементий опять остановился; на глазах его навернулись слезы.

— Позвольте, судырь, трубочки покурить! — сказал он, смигивая слезы.

Я подал ему свою трубку.

— Вот эдак-то лучше, пораскуражит маленько, — сказал он, вытянув сразу всю трубку, и продолжал: — Как случилось со мной эдакое несчастье, я впал первоначально в какое-то бесчувствие: как там эти похороны и все эдакое срядили да обрядили, ничего не помню... Всё, говорят, смеялся эдаким смехом нехорошим... Так полагали, что совсем с ума спятил, — однакоже попомнился.

Сам чувствую, что в разум вхожу, а на сердце час от часу становится тяжелее, — только и говорю работникам: не оставляйте, говорю, братцы, меня одного, я грех сделаю, руки на себя наложу!.. Недели в две меня сломило совсем: ни аппетита, ни силы, ничего не стало!.. Провалился я так до Нового года почесть... Надобно было расчеты сделать, долги тоже кой-какие получить, — ничто не мило, все бросил и в деревню съехал, — думал хоть этим облегченье получить, — не тут-то было... Видючи, как я умираю, стали мне хорошие люди советовать в Тотьму к чудотворцу сходить. Мне это очень пришлось по душе, и как только я это, батюшка, задумал, — сразу легче стало. Никогда, прежде живучи, больше пятнадцати верст не хаживал, а тут прибегло такое желание, чтобы пешком идти. Согласился я с одним старичком, — тронулись. На первых порах отошел я двадцать пять верст и такую усталость почувствовал, что хоть подводчиков нанимать. Однакоже пересилил себя и дошел на другой день до Солигалича, — верст тридцать, примерно, сделал, не отдыхая, — усталости уж такой не было. В самом Солигаличе зашел я с моим товарищем к одному юродивому — Андрюшке: как я к нему пришел, — подал калачик, — он вдруг запел: «Со святыми упокой». Пропемши несколько раз, водочки попросил. Я по глупости подумал, что он и в самом деле водки желает: сходил сейчас в питейный и принес ему. Взял он у меня полштоф, да как швыркнет в угол, и запел: «Исаия ликуй». Как его потом ни спрашивал, ничего больше не сказал... И таким манером я в Тотьму сходил благополучно. Воротился домой. Барин у нас тогда дом отстраивал. «Возьми, говорит, Клементий, внутреннюю отделку на себя». Я не поперечил, взял: так все лето и почти что всю осень и проработал у него; и это меня заняло очень много. Отделать тоже хотелось для барина получше. В первую пору, думал, и не перенести горя; а тут пришло, что и о другой свадьбе задумал.

— О другой?

— Да-с, и сам уж не знаю, как это и вышло! Вам, сударь, может быть, не безызвестно наше обноковенье, что молодому мужику вдовым жить не приходится. У меня есть тоже старуха мать — кажись, видели ее: начала она мне говорить разные там, то есть этакие наши крестьянские резоны представлять, а тут и браниться, пожалуй.

За глаза меня, сударь, сговорили да помолвили на девушке из макарьевского именья; я и не рассмотрел хорошенько, накануне только свадьбы и в рожу-то увидал невесту. По чужим речам все дело-то произошло; наговорили да натолковали: девушка-де смиренная, из дому идет хорошего. Ну, думаю, что будет, то будет, не проживешь целый век без бабы.

— А с той стороны, видно, было большое желанье?

— Еще бы им не желать: дело их было небогатое, а я, не хвастаясь, по тогдашнему времени был первый крестьянин из всего именья. Во всю свадьбу поили меня на убой, чтобы многого не рассмотрел. Опомнился от ихнего угощенья, как домой приехал, и только всплеснул руками! Женщина действительно вышла тихая, да для нас — питерцев — не годится! Теперь-то плоха, а первое время и говорить по-нашему не умела: ты ей толкуешь одно, а она понимает другое. Затаил я, сударь, все на сердце и через неделю же после свадьбы в Питер махнул. Прежде, бывало, из дома едешь, станции две слезами обливаешься, а в тот раз словно вольным воздухом вздохнул, как из деревни вывалился. Приехавши, прямо на дела кинулся. В год с небольшим нажил деньги большие, а о деревне и думушку думать забыл. Выплатишь оброк, вышлешь малую тѣлику на подушную, рассчитаешь работника — и только. А чтобы, там этак, в дом к украшенью что-нибудь, или подарки какие-нибудь — и на разум не приходило. Матушке так еще угождал кое-чем по времени, а благоверной двадцатикопеечного платка не присылывал: словно как ее совсем на свете не бывало. Этого мало, сударь: описывают, что парнишко родился: никакого чувства не было, словно как у чужих сделалось. А кабы, кажись, первая, Машенька, родила, так сблаговал бы от радости!..

Воспоминания эти привели Клементия в какое-то возбужденное состояние. Глаза у него разгорелись, на лбу выступил градом пот, по бледному лицу появились красные пятна.

— Прожил я, судырь, таким делом, — начал он снова, — не сходя, в Питере три года и, всю правду вам скажу, прожил смиренно и начал было уже в деревню сбираться. Вдруг вышел мне такой случай: был у меня один знакомец, и дядей еще как-то мне приходится, с баькиной стороны, тоже, эдак, подрядчик из здешних мест;

в Питере проживает безвыездно, вдовый, человек умный, в капитале хорошо, по делам ловкий, только, временем, любил закачивать. Если уж раскутится, так ему все ни по чем: рублей сто, двести серебром в два часа просадит. Встретимши меня, раз поутру, — «пойдем, говорит, Клементий, в трактир, чайку напиться». Пошли — и сначала ничего, все шло как следует: напильсь чаю, прошлись потом по водочке, по мадерке, в голову-то и попало ма-ленько. Он спросил бутылочку судацкого; я тоже, с своей стороны, откупорил, стало быть, две, а тут получилась третья, четвертая... Раскутился мой дядя!..

— Клементий, — говорит, — поедем со мной к Аннушке.

— Какая, — говорю, — дядя, Аннушка?

— Есть уж, — говорит, — такая!.. только молчи, и тебе будет хорошо...

Ладно... поехали... подвез он меня к большущему дому... извозчика разделали... «Иди, говорит, за мной», и ввел на самый верхний этаж, отворил двери, вошли: вижу, комната хорошая, хоть бы у господ такая. Вдруг из-за перегородки выскакивает мамзелька в платье, ловкая такая, собой красивая, и прямо чмок дядю в лоб. «Ах ты, суконное рыло!» — подумал я. — Какое ему счастье выходит!» Поцеловавшись с моим благоприятелем, и мне ножкой шаркнула...

— Чем прикажете, — говорит, — дорогих гостей угощать?

— Судацкого, — требует дядя, и сейчас же выкинул на стол двадцатипятирублевую серебром.

Хозяюшка подхватила ее ловко на лету и сейчас же распоряженье сделала, и потом закурила сама нам трубочки. Сидим, покуриваем. Посидемши так немного, дядя отозвал ее в сторону и шепнул ей что-то...

— Сейчас, — говорит, — и убежала.

— Погоди, Клема, — говорит мне дядя, — сейчас другая штучка будет, на гитарке нам сыграет и споет, — и только покончил он эти слова, как точно входит уж не одна, а две, прежняя и другая с гитаркой; и так мне сударь, эта вторая с первого же раза из лица понравилась, что, кажись, не хуже моей покойной Машеньки показалась. Принесли судацкое, и началось у нас угощенье. Хозяйка тянет с нами очередную, а гостья все в отказку, — почесть что поневоле принудили бакальчик один

принять. Однакоже ничего: пооглядевшись немного, и на гитарке заиграла, и песенку запела, и такой голос показала, что я отродясь не слыхивал, даже в жар меня кинуло, в голове-то блажи уж много было. Видемши, что дядя препровождает время с хозяйкой, я к гитарщице подсел.

— Как, — говорю, — вас, сударыня, по имени и отчеству звать?

— Палагея, — говорит, — Ивановна.

«Ладно-с, думаю, имя хорошее».

— Что это, господа купцы, хоть бы вы нас в театр свозили, — говорит Аннушка.

— Что ж такое? В театр, так в театр, — говорю я.

— Идет, — порешил дядя.

Хозяйка принимает это в большое удовольствие, а Палагея Ивановна отказ делает, — и тетенька какая-то гневаться будет, и сама не так здорова. Мы эти слова ее во вниманье не берем, упрощаем, — я пуще всех. Уламывали ее с полчаса, насилиу согласилась. Поехали: мы с дядей по себе, а для них особый извозчик. Старик мой совсем раскутился: не хочу, говорит, наверху, в тесноте и жаре, сидеть. Взял в пять целковых ложу. Я до театру, еще в мальчишках, был непомерной охотник. Эту, например, «Аскольдову могилу», танцы там разные, или этакие, где иностранные принцы в светлой одежде выходят, каждую штуку раз по семнадцати видал; а в тот раз какое представленье шло, и не знаю: всем своим взором пристрастился к Палагее Ивановне. Она тоже, надо полагать, никакого удовольствия не имела: сидит этакая печальная, голову опустимши, глаза потупимши...

Сделав им уваженье насчет театру, дядя ладил, чтобы опять к ним в гости ехать. Однакоже эта самая Аннушка сказала наотрез, что нельзя: время, говорит, теперь позднее, а милости просим в другую пору. Делать нечего, отпустили их, а сами поехали к овсим местам. Но мне целую ночь и сна нет: все на уме Палагея Ивановна. На другой день — тоже, а на третий так пришло, что к дому ее раз семь подходил, а войти не смею. Маялся я так с неделю. Вдруг мне приходит в голову такая мысль, словно дьявол ее подшепнул: жила на одном со мной дворе старушонка, обзывала себя торговкой, а почти что нищая была. Купит каких-нибудь копеек на двадцать печенки, изжарит, с моего позволенья, в артельной

да целый день с этим товаром и шляется по Питеру. Призываю я ее к себе, угощаю чаем, водкой и делаю ей всю откровенность. Видел, говорю, в таком-то месте девушку, оченно она мне понравилась, так нельзя ли, говорю, узнать, как и что с ее стороны. Старушонка разом смекнула, в чем дело: тем же часом свилась — собралась и полетела. Прождал я ее до вечера: нетерпенье такое было, что все стоял у ворот да выглядывал: наконец, катит... «Что?» — спрашиваю. «Да то, говорит, была и видела, девушка отличная и не такая, как вы, может быть, полагаете». От этих слов старухи у меня еще больше сердце разгорелось... Выставил я ей бутылку мадеры, стал ее ублажать всякими словами, — этого мало: дарю ей пятнадцать рублей. «Вот, говорю, старушка, возьмите на первой раз, а на предбудущий случай и ничего не пожалею, только научите, как лучше сделать». Принявши от меня деньги и выпимши всю мадеру, старушонка поразговорилась и делает мне такое признание: «Я, Клементий Матвеич, желая вам услужить и понимаючи, как надобно вести себя, пригала им, на всяк случай, и объяснила так, что вы купец, человек вдовый, и желаете пожениться, а иначе тут об вас и говорить нельзя. Ихнее дело скромное, живет она при тетке, по имени Наталье Аброшимовне; занимаются они обе золотошвейным мастерством и звание имеют обер-офицерское, — как хотите, так и поступайте, а я вас на путь направила, — прозеваете, себя вините». Взяло меня, сударь мой, раздумье: солгать, вижу, надобно много, и, может быть, тем бы самым все и кончилось; но начала эта самая старушонка шляться ко мне каждый день и все про одно толкует. То ей в удивленье, что я, бывши молодым еще человеком, проживаю в такой скуке, то будто бы с той стороны принесет поклон. Больше недели не давал ей никакого ответа. Не вытерпел, однакоже, и покончил тем, что, призвавши ее раз вечером, «делай, говорю, как знаешь, а мне не жить, не быть — видеть Палагею Ивановну желается». На такое мое распоряженье ответ получаю в тот же день, — просят-де вечером чаю напиться. Пошли у меня сборы; франтился я часа четыре: одежда у меня всегда была отличная, а тут стала не нравиться. Бороду подстриг, волосы распомадил, взял первого с биржи лихача. Прикатил: вхожу, куда было сказано, и только что не ахнул, словно в мурью какую попал: помещенье такое — хуже

курной деревенской избы. Стоит на трех ногах столишка, огарок шестериковой свечи, самоваришко какой-то; по одну сторону столика сидит, как я догадался, эта тетенька, женщина из лица красная и собой этакая обрюзглая, а на другую сторону — и сама Палагея Ивановна. Сделаемши им, как умел, рекомендацию о себе, сажусь. Тетенька, сейчас, в разговор вступила и с первого же слова начала меня выведывать: кто я такой, какую торговлю веду, давно ли вдов. Вру я ей, что в голову придет, и, по наученью старухи, такой тон держу, что будто бы жениться желаю. Просидел я у них часа три. Поленька хоть бы слово сказала, так что мне стало и досадно. Однакоже виду не даю и начинаю прощаться, — и тут, как-то к слову, и не помню хорошенько, фатеру ихнюю похаял. «Фатера, говорю, оченно черна». — «Черна, — говорит мне на это тетенька, — большое бы желанье имели куда-нибудь переехать. Здоровье Поленьки слабое, а в этакой сырости еще больше пропадает». — «Что ж такое? — говорю я, — можно и переменить: в Питере фатеры есть всякие». Эти мои слова, надо полагать, они на ус и замотали. На другой день старушонка моя чуть свет ко мне стучится. Объяснимши, что я там слишком понравился, вдруг мне открывает, что приказали-де просить, что не могу ли я, на свой счет фатеру для них приискать, так как я человек богатый и для меня это большого расчета не сделает. «Ладно, говорю, мы в этом не постоим», — и в тот же день приискал две комнаты с кухней, по-моему, слишком порядочные, и сейчас же им весть даю. Приезжает ко мне сама тетка на извозчике, благодарность говорит мне большую и просит, чтобы я позволил ей посмотреть. Свез я ее, оглядела, не нравится, и то нехорошо, и то ненарядно, и окна на двор. «Ах ты, боже мой! — думаю я про себя. — Сами жили в мурье — ничего, а тут этакое помещенье хулят». Поехали мы с ней назад. Она уж прямо говорит, что у меня или капитала нет, или мне жалко. И так, сударь, расконфузила она меня этими последними словами — на чем свет стоит. Мы — питерцы — народ форсистый: лучше чем-нибудь другим-прочим обидь, а насчет денег не затрогивай. У нас в кармане сотня, а манеру мы держим на тысячи. Ну, думаю, душа моя, я себя в грязь лицом не ударю, предоставляю вам такую фатеру, что тебе в нос кинется, ты, может быть, в этаких сроду и не бывала, а уж

наверняк никогда не жила, даром что обер-офицерского звания. Как задумал, так и сделал. Было в нашем доме совсем черное отделение, комнат в пять, — прежде была отличнейшая фатера на улицу, да запустили. Сговорился я об нем с хозяином, послал своих молодцов и в две недели отделал на самую лучшую ногу: паркет подклеил, отчистил, дубовые двери отшлифовал, лучше новых стали; на окна занавески шелковые повесил, мебель купил настоящую ореховую, обивки первостатейной; денег просадил много, однако не жалею. Спровоцировавши все это, приглашение им делаю, чтобы пожаловали на новую фатеру чаю откусать. Приезжают, смотрят и только посмеиваются от радости. Проводим мы вечер в большом удовольствии, угощение я им даю отличное: чай, сладкие закуски разные, ужин идет из лучшей ресторации. Мадера, портвейн, красненькое, чего угодно, все есть. Тетенька выпила сильно, так что едва на стуле сидит; Палагея Ивановна отпила стаканчика два легонького винца и начала со мной поговаривать, — и даже по моей просьбе послала к себе извозчика за гитарой, сыграла и спела мне по крайней мере песен двадцать. Слушаю я ее разиня рот, точно соловья какого, и то очень еще мне нравится в ней, что держит себя она благородно. Шутки мои, например, принимает от меня, а сама ничего не говорит и только тупится. После этого нашего вечера они на другой день переезжают: имущество свое свезли в один раз на ломовом извозчике, да сами приехали на подрессорках, и все тут. Начинаем потом жить, я их посещаю, как следует. Содержанье — чай, сахар, запас к столу — все идет от меня. Старушонка торговка все продолжает мной руководствоваться и такое мне понятие дает, что они желают мной одолжиться временно, и что вскорости сами получают большие деньги, и что, если я ее — старуху — отведу от нашего дела, так все сразу кончится. Даже по сей день, сударь, я самому себе удивляюсь: кажись, такими пустыми словами, как рассуждать со стороны, так малого ребенка провести нельзя, а тут всему веру давал. Денег у меня в ту пору было много: тысячи три серебром в кармане, да в получке с лишком тысяча, — кути — валяй, — словно им и конца не будет. Хожу я к ним, моим соседкам, два раза в день и без подарков не являюсь: то материи принесешь на платье, то платочек, то мантильку целковых в двадцать.

а вечерком мадеркой да ромком забавляешься. Палагея Ивановна тоже привыкает потягивать: первую начнет, как будто бы поневоле, вторую тоже робко, и сейчас же возьмет гитару и запоет. Чудное дело, сударь: по сю пору все ее песни у меня в памяти. Ничем бы, кажись, другим она столько не понравилась, как своим пеньем! Словно за сердце хватала, как она пела, — и сама в такое чувство приходила, что я и не привидывал. Ни на кого из нас не смотрит, а слезы так градом и сыплют. Как напоеется досыта, — вдруг сама без всякого приглашения полный стакан выпьет; но особеннее всего мне то было удивительно, что как она этак выпьет, сейчас же у ней на тетку злость нападает. Та, сам вижу, угрождает ей сильно, а она все фыркает. Проводя таким манером все мое время, о делах не думаю, к хмельному получил пристрастие большое. Встанешь поутру, и вместо того чтобы, как прежде бывало, чаю напиться, — не могу, матуриг: с самим собой тоска, раздумье о том, о другом — но все еще ничего, живем, и вдруг мне, сударь, через ту же прежнюю старушонку передают, что Палагеей Ивановне экипаж свой завести желается. Надобно сказать, что желанье это у меня у самого было и прежде того; но когда мне это еще подсказали, — охота припала сильнее прежнего. Мы хоть и не купцы, а насчет выезда не только в Питере, а даже по здешним местам, большие щеголи. Приобрел я серого рысака, заплатил за него триста на серебро, и то по случаю; санки — тоже полтора-раста, сбруя накладного серебра. Сядем мы с Палагеей Ивановной, медвежьей полостью перекинемся. Салоп на ней бесподобный, шляпка от французинки; я тоже в дорогой лисице, и делаем мы, сударь, таким манером прогулку, что твои купцы первой гильдии, а между тем в кармане — становится больно тонко. Выпал было для меня сподручный в казне подряд, надобно было взять беспременно, а в залог представить нечего. Толкнулся было к другим, третьим подрядчикам насчет обеспечения, — но те, видючи, как я шибко начал жить, поприостереглись — не дали. Стало меня за виски забирать: сам понимаю, что делаю глупо, и пересилил бы, кажись, себя на тех же порах, кабы на свете этого окаянного вина не было. Вот в эдаких-то случаях, как мой, оно подлейшая штука для нашего брата мужика, по тем причинам, что больно делает человека беззаботным; пьешь больше для

куражу, а как проспишься, так хуже прежнего. Рожу у меня раздуло, руки начали трястись, хороших людей стало мне совестно, о деревне подумать страшно, — а прежнего все не оставляю. С Палагеей Ивановной тоже нехорошее творится: худеет и кашляет день ото дня больше, пищи никакой не имеет, а без мадеры уже и жить не может. Кутим мы таким манером ровно год. Артель свою я нарушил, из капитала осталась самая малость. Подарков делать не на что; прием, замечаю, начинают мне делать другой, — ко всему этому начал к ним ходить какой-то будто бы двоюродный братец, чиновник. Мне это не понравилось; стал я спрашивать, как и что такое за гость? Сначала отшучивались, а тут в серьезное говорят: «Не попрекайте, говорят, нас этим человеком, он у нас из всей нашей родни остался один и теперь хлопочет по нашим делам». Этими словами, однако, они меня не успокоили, стала меня ревность мучить; молчу покуда, а на сердце досада непомерная, и выжидаю только случая; наконец, выходит между нами такое дело. Встаю я раз утром, вдруг подают мне записку оттедова. Пишет тетка, что так и так, им, по ихним делам, нужно триста целковых, и просит, чтобы не отказал в ихней нужде, а что после они заплатят. И какая, батюшка, бывает с человеком глупость! Сколько я ни был досаден на них, все понимаючи очень хорошо и бымши сам в самых расстроенных обстоятельствах, вдруг мне стыдно сделалось, что денег не имею. Думаю, хоть умру, да добуду, по крайней мере после покуражусь, сколько душе угодно. Сказавши посланной, что к вечеру доставлю, пошел по всем своим прежним приятелям занимать; заверяю их, что будто бы на дело хорошее беру и что завтра же по долгам должен получить две тысячи, но всеми этими словами тешил только сам себя: все мы, подрядчики, друг друга знаем по пальцам. Прошлялся я целое утро, доверия никто не сделал. Задумал я тогда другу увертку: пришло мне в голову в картах счастья попробовать. Есть там, в железном ряду, купец — картежник записной, мне немного человек знакомый. Захожу я будто бы случайно к нему в лавку, слово за слово, и, наконец, прямо говорю: «Нельзя ли, говорю, у вас вечерком в карты поиграть?» Делов моих, надо полагать, он не знал хорошо, потому что тотчас же делает приглашение. Разменял свои пятьдесят целковеньких, что было в кармане, на мелкие,

и отправился. Между нами, мужиками и купечеством попростее, идет игра под названием: *в горку*; игра, так сказать, нехитрая, но презадорливая, главная в ней пружина выжидать хорошей карты — она тебе одним коном вертит все убытки. Прежде, когда я был при деньгах, всегда так и делал и всегда почти был в барышах, но по теперешним обстоятельствам вышло не то. Сдали карты, взял я их в руки, руки дрожат. Пришла ко мне какая-то шушера. Подрушный товарищ пошел целковым, я помирил этот целковый, да два под другого товарища, тот тоже, и выставил уж пять, так у нас и пошла круговая. Накидали мы в кон целковых до пятидесяти, я не отступаюсь, все хочется на пустую сбить, — не тут-то было! Проставил я целковых двадцать, а взял подрушный, потому что имел на руках сильный хлюст. Идет у нас игра потом дальше. Мне счастья нет: выпиваю я с досады графина два водки, — и хмель не берет... Просадивши все свои пятьдесят целковеньких, стал я хозяина упрашивать еще играть на рысака с упряжкой. «Поставьте, говорю, во что хотите, только игры не останавливайте». Убедил я их, начали: опять мне же досталось по бокам. Покончивши лошадку со всеми экипажами, за одежду принялся и к утру остался в одной только поддевке, так что хозяйна жалость взяла. Платья не хотел и брать: после, говорит, как-нибудь сосчитаемся, но я не согласился, предоставил им все дочиста. Прихожу домой, почти что так, полуумный: первый человек встречает меня прежняя старушонка с новой запиской. Пишет мне эта тетка разные выговоры, или просто, так сказать, называет прямо подлецом, и что, если-де я так желаю себя вести, так она и принимать меня не станет, и что Палагея Ивановна от горести даже больна очень сделалась. Злости и тоски было у меня и без того много на сердце. Выгнал я эту старушонку в шею от себя и сам пошел к ним. Встречает меня тетка, и говорю я ей, как понимать вашу записку?

— А так и понимайте... Вы теперь, как мы это видим и слышим, идете в разоренье, на всех словах ваших нас обманули: сказали вы нам, что вы купец, человек вдовый, а в самом деле вы не что иное, как серый мужик и человек женатый, — и потому, извините, знакомство ваше нам зазорно.

Так мне сделалось от этих ее слов горько и стыдно, что я чуть не всплакал.

— Ну, — говорю, — Наталья Абросимовна, не вам бы мне это поученье делать!.. Конечно, много я виноват перед богом, перед моим господином и перед семейством, но не перед Палагеей Ивановной. Про вас я молчу, вы тут дело стороннее, — бог знает, как и вмешались тут; а если вы попускаете, что я вас некоторыми моими словами обманул, так уж это — извините — вы говорите пустые слова. Вы живете на одном со мной дворе: здесь вам малый мальчишка скажет, кто я и что я такое; но вы до сего дня слова со мной об этом не говорили, а если я теперь в такое расстройство пришел, так только единственно для вашего удовольствия. Капитал у меня был прежде настоящий, как следует подрядчику. В эти полтора года я рюмки вина не выпил, куска хлеба без вас не съел, на себя сапогов новых не сделал, — так где же мои деньги, как не в ваших сундуках?.. Поступать вам со мной так стыдно!.. По несчастному моему положению, поддержать бы меня следовало, а не то что, как паршивую собаку, отгонять от себя!..

— Сделайте милость, у нас ничего вашего нет, — отвечает она мне.

— Как, — говорю, — сударыня, нет?.. Да эта самая фатера — и та моя.

— Про фатеру, — говорит, — не беспокойтесь, мы завтра же очистим ее.

— Нет-с, — говорю, — позвольте, я вас не спущу. Надобно еще прежде маленькой расчетец сделать, — и не с вами: вас я и знать не хочу, хоть вы и ставите себя очень высоко, а собственно — с Палагеей Ивановной.

— Палагея Ивановна, — говорит, — никакого с вами расчета делать не будет, а страшать вы нас не можете, мы вас не боимся. Наш чиновник-родственник хорошо знаком с частным приставом. Если вы станете много грубиянить, так вас за нас в острог посадят.

— В острог меня посадить не за что. Ваш чиновник и частный пристав, может быть, люди и хорошие и сильные, но и я тоже в обиду не дамся: найду начальство и выше, представлю дело, как оно есть, — они нас рассудят лучше.

После этих моих слов начала тетка, без всякого зазрения, браниться, я тоже не уступаю... Чем бы между нами кончилось — не ведаю... Только вдруг выходит сама Палагея Ивановна, худая этакая, слабая.

— Какой, — говорит она мне, — угодно вам со мной счет иметь?

— А такой, — говорю, — что тетенька обнесла меня на письме и словами, но для меня все это самое ничего не значит, и я хочу только знать, как вы меня понимаете.

— Я, — говорит, — тоже вам скажу, чтобы вы оставили меня в покое. Я, говорит, и наперед сего все делала через силу, а теперь имею другого жениха и пойду за него замуж.

— Это, — говорю, — сударыня, дело доброе, но чем же я-то виноват? За что мне-то пришлось для вас приданое давать?

— Не корите меня вашим добром, — сказала она мне на это, — я ничего вашего за собой не оставляю, — и тотчас же подскочила к шкафу, отмахнула его и начала выкидывать все платья.

Как тетка ни отговаривала, — не слушает, из лица побледнела, губы дрожат, на глазах слезы, начал кашель ее бить, и вдруг, сударь, — я такого страха и не ожидал, — вдруг кровь горлом пошла. Стало мне ее жаль непомерно, забыл я всю свою досаду!..

— Не горячитесь, — говорю, — Палагея Ивановна, ничего я из этого не возьму, по пословице: дарят, так не корят... Сказал я вам не по злобе, а от своего собственного горя. Прощайте, говорю, не поминайте меня лихом, а добром, может быть, и не за что.

— Ну, Клементий Матвееч, — отвечает она мне, — бог нас рассудит: кто из нас против кого виноватее: вы много на меня денег потратили, а я из-за вас здоровье потеряла.

— Тем наше свиданье и кончилось. Как пришел я в свою фатеру, ничего не помню, и тут же слег, — сразу весь пожелтел, точно шафраном всего выкрасили. Стащили меня в больницу, провалялся я там два месяца, и когда на третий выписался: ни крова, ни пищи, ни денег, ничего нет. Иду я к дяде, с которого вся и история началась. Принял он меня, дай ему бог здоровья, невзираючи на все мое убожество, ласково. Рассказал я ему все мои похождения. «Ничего, говорит, Клементий: со мной в молодых годах бывало то же самое, два раза из Питера в одной рубахе сходил. Совет мой тебе такой: иди ты теперь в деревню, там ты почувствуешься». — «Нет, говорю, дядя, ни за какие тысячи не пойду в деревню в таком безобразии; помоги ты мне здесь, дай ты мне здесь

поправиться». Как меня старик ни отклонял, я стою в одном; он видит, делать нечего: принял меня к себе, жалованья положил пятнадцать целковых в месяц, только никуда не отпускал и с артелью работать заставил. Проку выходит мало: руки на дело не поднимаются, почесть половина работников к нему от меня отошло, прежде под началом были, а тут стали подтрунивать; я же был всегда большой гордец. Для меня это показалось пуще вострого ножа. Сказамши, что будто бы думаю в деревню сойти, отошел; жалованье, какое пришлось, пропил и поступил к мяснику, говядину таскать на лотке. Дело непривычное: первый день проторговал целый рубль, на другой день поостерегся, так ничего не продал, — и затем, сударь, начались мои разные похождения: был я дворником, был водовозом. Отрада была только в том, что, как появится в кармане хоть гривенник, сейчас его в кабак. Дня по два совсем не емши был, одежда — словно рубище, сапоги — только одно звание... Стыдно признаться, а грех потаить: бывали такие случаи, что Христа ради просил.

— А Палагеи Ивановны ты больше уж не видал?

— Встретил раз: едет с каким-то хватом, еще худее стала, точно мертвая сидит; не на счастье мы, видно, друг с другом сходились.

— Ну, а здесь как? Будто уж здесь и смирно живешь? Мне кажется, что у вас с Марьей — десятским-то — кое-что идет, — заметил я.

Клементий улынулся и слегка покраснел.

— Вы уж много видите, чего бы и не надобно, — только нет, сударь, напраслину взводите; будет, что и на словах пошучу. Прежняя дурь из головы выскочила: сердце болит каждую минуту, видючи себя в таком положении, после того, чем был я прежде.

— Как же ты в деревню попал?

— Почти что насильно. Пачпорт у меня вышел, из деревни не шлют; я было к одному господину, которому от нашего помещика приказанье было, — так и так, говорю, нельзя ли мне выдать билет. — «А вот, говорит, погоди я тебе выдам, — я уж давно до тебя, голубчика, добираюсь». Задержал он меня у себя на фатере, приискал попутчика из здешних мест, человека этакого аккуратного, крутого, сдал ему меня под расписку, — тот и свез, только что не на привязи. До сих пор, батюшка, я этого

господина поминаю добром. Не распорядись он со мной таким делом, может быть, погиб бы совсем. Предоставил меня мой извозчик прямо в нашу усадьбу... И стыдно-то и страшно. Чуть не умер в это утро, ожидая, когда в горницу позовут, — наконец, требуют: посмотрел на меня барин. Я весь дрожу, слезы у меня в три ручья так и текут по щекам. «Ну, братец, — говорит он мне, — много мне об тебе дурного говорили, но я не верил, а теперь вижу, что правда. Наказывать мне тебя стыдно, хоть ты и стоишь того, а скажу тебе только одно, что чужой стороны тебе в глаза не видать. Коли не умел там обстоятельно жить, так ходи за косулей и справляй заделье». Так-то теперь я здесь и живу. В Питер хочется, а попроситься не смею; а если бы, кажись, попал туда, и хоть бы какая маленькая линия вышла, так бы в полгода раздышался лучше прежнего.

Клементий утомился и замолчал. Я несколько времени смотрел внимательно на его выразительное лицо. Это был не кулак-мужик, который все свои стремления ограничивает тем, чтобы всевозможными чистыми и нечистыми средствами набивать себе копейку. Его душе, как мы видели, были доступны нежные и почти тонкие ощущения. Даже в самом разуме его было что-то широкое, размашистое, а в этом мудром опознании своих проступков, сколько высказалось у него здравого смысла, который не дал ему пасть окончательно и который, вероятно, поддержит его и на дальнейшее время.

III

Как Клементий говорил, так и случилось. Не более как через три года я встретил его в Петербурге в одном трактире. Он сидел в волчьей шубе, с золотым перстнем на пальце, в ботфортоподобных сапогах, с двумя другими, тоже, надо полагать, подрядчиками, и что-то им толковал; они его слушали с большим вниманием, хотя и были гораздо старше его. Я подошел к ним. Клементий меня узнал и просил выпить с ним чаю. Я сел. Он держал себя далеко гордее прежнего, говорил меньше, как-то истово и совершенно уж купеческим тоном. Потом он звал меня убедительно зайти к нему на квартиру, — и я был. Жил он со всеми признаками довольства, хотя и

не совсем опрятно. Для меня он приготовил ту, неведомо по чьему вкусу составленную закуску, на которую, вероятно, попадал и читатель в купеческих домах, то есть в одно время было поставлено на стол: водка, вино, икра, пряники, какие-то маленькие конфетки, огурцы, жареный в постном масле лещ, колбаса, орехи, — и всего этого я, по неотступной просьбе хозяина, должен был отведать. О себе Клементий мне рассказал, что, года два тому назад, барин отпустил его в Питер опять и что, мало того, взял под свой залог его подряд и сдал ему, и что он с этого, по милости божией, и пошел опять в гору, и теперь имеет тысяч до десяти чистого капитала, что блажи теперь у него никакой нет, в деревню съездит каждую зиму, хмельного ничего в рот не берет, потому что от хмельного мужику все нехорошее и в голову приходит. Парнишку отдал в ученье к одному приятелю, по тому же малярному мастерству, по тем причинам, что если учить его при своей артели и на своих глазах, так либо перебалуешь, либо заколотишь... и тому подобное.

Порадовавшись успеху питерщика, я вместе с тем в лице его порадовался и вообще за русского человека.

ЛЕШИЙ

Рассказ исправника

I

Я был командирован для производства одного уголовного исследования в Кокинский¹ уезд вместе с тамошним исправником, которого лично не знал, но слышал о нем много хорошего: все почти говорили, что он очень добрый человек и ловкий, распорядительный исправник, сверх того большой говорун и великий мастер представлять, как мужики и бабы говорят. Получив общее с ним поручение, я хотел сам за ним ехать в Кокин, но он меня предупредил и дожидался уже в усадьбе Маркове, которая стоит на самом повороте с кокинского торгового тракта на проселок, ведущий к месту нашего назначения.

Только что я вышел из повозки, он подошел ко мне и проговорил официальным голосом:

— Честь имею представиться: кокинский земский исправник.

Он был уже человек пожилой, но еще бодрый, свежий и вообще имел наружность приятную и умную. За его служебную вежливость, на которую, впрочем, давали мне некоторое право наши служебные отношения, я поспешил ответить ему тем же и взаимно представился, чем он остался с своей стороны, кажется, весьма доволен. Я спросил его, когда мы выезжаем.

¹ Название вымышленное. (Прим. автора.)

— Я думаю, сейчас же: зачем золотое время терять! — отвечал он и тут же распорядился мне об обывательских, а себе велел закладывать свой тарантас.

В ожидании лошадей мы сели с ним на привалок около избы.

— Давно вы служите? — начал я.

— Давненько-с: по вниманию дворянства, выбираюсь три трехлетия и второе шестилетие.

— Хлопотлива ваша служба?

— Не без того-с... привычка: сначала, когда поступил, так очень было дико; только что вышел из военной службы, никого, ничего не знаю; первое время над бумагами покорпел, а тут, как поогляделся, так понял, что, сидя в суде, многого не сделаешь, и марш в уезд, да с тех пор все и езжу.

— А суд как же?

— В суде что-с? Все эти суды, я вам доложу, пустое дело; ежели по правде теперь сказать, так ведь только мы, маленькие чиновники, которые по улицам-то вот бегаем да по проселкам ездим, — дело-то и делаем-с, а прочие только ведь и есть, что предписывают, — поверьте, что так!

Пока мы разговаривали таким образом, около нас собралась толпа мальчишек. Маленький, худощавый, со всклокоченными волосами горбун притащил с ведро величины дегтярницу и силился на жерди поднять задок моей брички.

— Перестань, жосолалый, достатки хребет сломаешь! — крикнул исправник.

— Ничево, кормилец: може, и смогу, — отвечал тот.

— Перестань, надорвешься! — крикнул опять исправник. — Матвей! смажь бричку. Где этому хрычу возиться тут! — сказал он хлопотававшему около тарантаса своему кучеру, парню лет двадцати пяти, с намавленной головою, в красной рубашке, в плисовых штанах и с медною сережкой в ухе.

Матвей подошел.

— Что, дядя, видно, это не кузовья таскать? а на спине, кажись, и подкладка есть... Не замай, пусти, — сказал он и молодцевато поднял задок брички, подставил дугу под жердь, одним взмахом руки сдернул колесо и начал мазать.

— Здоров, паря, — проговорил горбун, глядя с удовольствием на кучера.

— Эй ты, горбатка! Тройка, что ли, у тебя завелась? Извозничать, что ли, начал? — спросил его исправник.

— Нету-тка, сударь. Какая тройка! всего две: одна-то кобылка, а другой меринок — почесть что жеребенек: всего весною три годка минуло.

— А третья чья же?

— Третья от дяди Захара пойдет.

— По охоте, что ли, везете?

— Какое, родимый, по охоте: время рабочее, сам знаешь... какое по охоте!.. от Егора Парменыча приказ был, меня и Захара нарядил... какое уж по охоте!

— А Егор Парменов дома?

— Дома-тка, надо быть: дома утрось был.

— Для чего же барскими лошадьми не справляют подвод: барин это разрешил, я вам толковал.

— Ты-то, кормилец, толковал, да где! всё мы справляем.

Исправник нахмурился.

— Вы не поверите, сколько у меня битвы с этими управителями. Только и ладят себе в карман; а чтобы барину угодить, так едет на мужике, — отнесся он ко мне и потом крикнул: — Федька!

Один из мальчиков, повыше и поумнее на лицо, подошел.

— Поди, позови ко мне управителя. Знаешь, где он?

— Знаю, — отвечал мальчик.

— А где?

— Во хлигеле, — чай, поди, во хлигеле пьет.

— Ну, так ступай и позови его сюда... валяй!

Мальчишка побежал в прискокку; за ним побежали двое и еще двое; осталась только лет трех девчонка, которая заревела во все горло, приговаривая: «Нянька ушел, нянька ушел».

— А кто здесь управитель? — спросил я.

— Здесь управитель персона важная-с, — отвечал исправник, — бывший камердинер господина и вступивший в законный брак с мамзелью, исправлявшей некоторое время при барине должность мадамы, а потом прибыл сюда отращивать себе брюхо и набивать карман; не знаю, чем кончится, а я его поймал на одну штуку — кажется, что сломлю ему голову. Не могу, сударь, видеть

этого лакейства, особенно когда они в управители попадут.

— Стало быть, вы думаете, что бурмистры из мужиков лучше? — заметил я.

— Не в пример лучше-с, — отвечал исправник, — я, скажу вам, наблюдал над этим много. Конечно, и из них есть плуты, особенно который уж много силы заберет, но вместе с тем вы возьмите, сколько у него против лакея преимуществ: хозяйственную часть он знает во сто раз основательнее, и как сам мужик, так все-таки мужицкую нужду испытал, следовательно больше посоветится обидеть какого-нибудь бедняка; потом-с, уваженья в нем больше, потому что никогда не был к барину так приближен, как какой-нибудь лакей, который господина, может быть, до последней косточки вызнал, — и, наконец, главное: нравственность! Я вам прямо скажу, все эти господа камердинеры, дворецкие, они с малых лет живут на свободе, в городе, а город — баловник для людей; в деревне чего бы и в голову не пришло, а тут как раз научат. Он и трубку курит, и в карты играть охотник, и шампанское пить умеет, и выходит поэтому, что толкуто на деле нет, а только форс держат, да еще какой, посмотрели бы вы! Ни один господин не решится над мужиком так важничать, как ломаются эти молодцы. Я многим из них посшибал головы.

— Каким же образом вы принимаете участие в их управлении?

— Да и сам уж не знаю, как это вышло: по службе-то ведь беспрестанно сталкиваешься с этими молодцами, и я, как, бывало, прежние исправники, не сближаюсь с ними, а вхожу прямо в переписку с барями и такой своей манерой добился теперь до того, что на все почти имения имею доверенные письма; и если я теперь какие-нибудь распоряжения делаю, мне никто из них не ткнет в зубы: «барину напишу», — врешь! я первый напишу.

— Вам, я думаю, и все помещики благодарны?

— Ну, не все-с. Впрочем, — продолжал он с некоторым самодовольством, — многие важные особы, когда сюда приезжают, со мной знакомятся, ласкают меня, благодарят... Я даже, милостивый государь, имею несколько собственноручных писем от князя Дмитрия Владимировича, бывшего московского генерал-губернатора, удостоился потом чести быть лично с ними знакомым и пользовался

их покровительством. Чего ж мне больше? Я бьюсь не так, чтобы уж особенно из-за денег. Дети у меня, благодаря бога и по милости этого моего хорошего знакомства, все уж они пристроены, все на своих местах, и не только что от меня ничего не требуют, но еще мне же помогают. Если вам откровенно сказать, так я и служу больше по привычке; силы еще есть, начальству, вижу, приятна моя служба, потому что, кто ни будет на моем месте, другой, неопытный, так не вдруг еще привыкнет; на первых порах, как он ни бейся, а того не сделает, что я... Привычка-с!.. Вон катит, полюбуйтесь: какой гог-магог, — заключил исправник, указывая глазами на идущего управителя, который с первого же взгляда давал в себе узнать растолстевшего лакея: лицо сальное, охваченное бакенбардами, глаза маленькие, черные и беспрестанно бегающие, над которыми шли густые брови, сросшиеся на переносье.

Одет он был очень презентабельно и, как требовало время года, совершенно по-летнему: в сером казинетовом пальто, в пике-жилете, при часах на золотой цепочке, с золотым перстнем на грязной руке и в соломенной шляпе, которую он, подойдя к нам, приподнял и расшаркался.

— Приказание получил явиться к вам! — отнесся он к исправнику.

— Здравствуйте, батюшка Егор Парменыч! повидаться с вами захотелось; сами вы уж заспесивились и глаз не кажете, — отвечал исправник.

Управитель переступил с ноги на ногу.

— Сбирался еще до присыла вашего, да так полагал, зная усердие ваше, что делами изволите заниматься, а очень было бы приятно, если бы осчастливили меня и пожаловали ко мне чаю или кофейку откусать или закусить бы чего-нибудь: дело дорожное.

Исправник взглянул на меня.

— С удовольствием бы, да не охотник я до закусок-то, — сказал он.

— Уж это точно справедливо изволили сказать про себя. Чем только вы живы, мы тому удивляемся! Эдакого постника, как вы, я и в Петербурге не видывал, хотя и там господа тоже очень воздержны на пищу, — проговорил управитель и потом, видя, что исправник, ничего ему не возражает, продолжал, вздохнув: — все это, я

полагаю, от вашей заботливости происходит. Вот хоть бы и наш господин — проходит он, как неизвестно вам, должности большие, и часто, бывало, когда я еще при особе их состоял, если получают они какое-нибудь повышение или награждение, поздравить их, одевая поутру, они только головкой помотают: «Эх, говорит, Егор Парменов, повышению я рад, да и забот прибавится». И точно-с: и сна, посмотришь, лишатся и пищи уж меньше употребляют... очень тоже старательны к службе.

— Что и говорить! — возразил исправник с усмешкою. — Ты не только что на господине, и по себе можешь судить это.

— Именно могу, Иван Семеныч. Если сравнить свое положение с простым мужиком, так увидишь большую разницу: какая ему забота! Отпашет он свою полосу, натреплетя тюри да и спать; а ты, например, пять запашек одних: всё надобно присмотреть; конский завод, сплавные леса, четыре тяжёлых дела на руках, межеваньё теперь идет; а неприятностей-то сколько получишь! Иногда какая-нибудь посконная бабенка, за которую двух грошей дать нельзя, и та тебя так расстроит, что ничему не рад. Все это в воображении имеешь: какой тут сон или пища! Ничего на ум не пойдет.

При последних словах исправник взглянул на управителя пристально; тот остановился и начал глядеть по сторонам.

— Приказанья больше никакого не будет? — спросил он помолчав.

— Да приказанье такое: ты все прежней своей методы не оставил — подводы мужиками справляешь! Я уж об этом барину писал и ответ получил.

— Я, признаться, и сам об этом господину описывал. Неужели же, Иван Семеныч, я смел бы иметь против вас какое-нибудь сопротивление, если бы сил моих только хватало; сами изволите знать, половина запашки идет на барских лошадях — сморены так, что кожа да кости. Вдруг барин наедет, куда я тогда поспел?

— А у мужика разве лошадь не в работе? Она больше твоих барских работает.

— У них лошади особенные: сносливые, — ихним лошадям ничего; а наши кони нежные, их должно беречь пуще зеницы ока.

— Зачем же сам-то по праздникам на тройках гоняешь?

— Мне, сударь, нельзя не выехать: должность моя такая, что я должен ездить.

— Экая у тебя должность славная — все по праздникам! вот этта ездил в Введенское на храмовой праздник, к скарловановскому Федору Диеву на новоселье, к воньшевским мужикам на Никольщину... Отличная у тебя должность! хоть бы и нам такую.

— На соседстве без знакомства не проживешь; без этого уж нельзя: сам принимаешь к себе, так и меня тоже просят.

Горбун привел своих двух лошадей, которых он весьма справедливо называл уменьшенными именами, потому что в каждой из них было немного более двух аршин росту; вслед за ним вел и дядя Захар свою; она была в том же роде, только гораздо худее и вся обтерта. Горбун начал было закладывать.

— Не можете ли вы доехать со мною в тарантасе? Бричку вашу здесь оставим: сюда же вернемся, — сказал мне исправник.

Я согласился.

— Эй, вы, не надо! ведите лошадей домой, — проговорил он мужикам.

— На том те спасибо, кормилец, — проговорил горбун и, сняв шапку, поклонился в пояс.

Захар тоже, хотя не так скоро и не сказав ничего, но приподнял шапку и поклонился. Оба мужика повели лошадей назад. Меринок горбуна, кажется, был рад не менее своего хозяина, избежав необходимости везти; он вдруг заржал и взлягнул задом.

— Эка, паря, веселый какой! — проговорил ласковым голосом горбун и провел коней в поле.

Дядя Захар иначе распорядился: он вывел свою худощавую лошаденку на половину улицы, снял с нее узду и, проговоря: «Ну, ступай, одер экой!», что есть силы стегнул ее поводом по спине. Та, разумеется, побежала; но он и этим еще не удовольствовался, а нагнал ее и еще раз хлестнул.

— Эй, ты, длинновязый, зачем ты лошадь бьешь? — вскрикнул исправник.

— Что, бачка?

— За что ты бьешь лошадь?

— Я, бачка, не бью ее, а так только шугнул.

— Я тебе дам, шугнул! эдакой лошадиный живодер! Каждый год, сударь мой, лошади две заколотит... Только ты у меня загони эту лошадь, я с тобой справлюсь.

— Ништо бы ему! кормилец, справедливо баешь, — отозвался подошедший и вставший около нас, с сложенными руками, рыжий мужик, — эдакой озорник на эту животинку, что и боже упаси!

Управитель на всю эту сцену глядел с насмешливою улыбкою.

— Зверь бесчувственный, и тот больше понимает, чем этот народ, — заговорил он, — сколько им от меня внушений было, — на голове зарубил, что блажен человек, еже и скоты милует... ничего в толк не берет!

— Не все такие, — хоть бы и из нашего брата, Егор Парменыч, — возразил рыжий мужик, — може, во всей вотчине один такой и выискался. Вот горбун такой же мужик, а по-другому живет: сам куска не съест, а лошадь накормит; и мы тоже понимаем, у скота языка нет: не пожалуется — что хошь с ней, то и делай.

— Понимаете вы! ничего вы не понимаете, — кто вас знает хорошо!

— Твое дело: как знаешь, так и бай; а нам Захарка не указ: худой человек, худой и есть — не похвалим.

Подали тарантас. Мы начали с исправником усаживаться. Егор Парменов немного струсил.

— Батюшка Иван Семеныч, что вы изволите тесниться, — отнесся он к нам, — если вам угодно, я сейчас же велю господских лошадей изготовить, самую лучшую тройку велю заложить.

— Спасибо! доедем как-нибудь... пошел! — отвечал исправник.

Мы тронулись.

— Я того очень опасаясь... не подумайте вы чего-нибудь, — говорил управитель, хватаясь за край тарантаса и идя за нами, — к капризу моему не отнесите. Мы никогда этим не потяготимся. Толком мне давеча не сказали, потому такое распоряжение и вышло. Смею ли я что-нибудь! Как это возможно! У нас и от помещика есть приказ, чтобы чиновников не останавливать. Сделайте милость, — продолжал он, — приостаньтесь на минуту, а тем временем, как лошадей закладывают, пожаловали бы ко мне... Если вас, Иван Семеныч, не смею по-

просить чего-нибудь откусать, так, может, господин губернаторский чиновник не откажут мне в этой чести. Мы высоко должны ценить ваше внимание: если вы к нам милостивы не будете, что ж мы после этого значим? Ничего.

— Нет, брат, теперь некогда... Трогай живее! — крикнул исправник.

Кучер взмахнул кнутом и как-то особенно присвистнул; лошади разомхватили, так что Егор Парменов отлетел в сторону и едва устоял на ногах.

II

Проехать нам надобно было верст тридцать проселком. Мы трусили, где только можно, и все-таки ехали очень медленно. У меня из головы не выходил управитель.

— Вы говорили, Иван Семеныч, что управителя этого поймали на какую-то штуку, — сказал я, желая вызвать исправника на прежний его разговор.

— Поймал, милостивый государь, есть такой грех, — отвечал он с самодовольством. — Казус этот замечательный. Если хотите, я вам расскажу. Только уж вы извините, я начну издалека: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

— Сделайте одолжение, — сказал я.

Исправник откашлялся, понюхал табаку и начал:

— Есть у меня, сударь, в уезде, на самой границе, волость, под названием Погорелки — дичь страшная, лесовик раменной: на верхушку дерева посмотришь, так шапка с головы валится. На всем этом протяжении всего и стоят только три деревнюшки да небольшой приходец в одно действительство, и все это, извольте заметить, и деревнюшки, и лесные дачи принадлежат одному господину с Марковым. Ну, и здесь, как вы видите, народ не бойкий, а там еще простее: смиренница такая, что не только дел каких-нибудь, а рассыпь, кажется, в любой деревнюшке кучу золота на улице, поставь палочку да скажи, чтоб не трогали, так версты за две обходить станут. В начальные десять лет моей службы я почти что и не бывал там: незачем! Вдруг в управители приезжает этот хват, является ко мне с письмом от барина.

Поговорил я с ним: вижу, парень неглупый, должно быть, грамотный, — говорит бойко. Одно только мне не понравилось в нем, как и вы, может быть, заметили, — глаза его: никак, сударь, он ни на кого не может смотреть прямо: все у него эти буркалы бегают, — и не то чтобы он кос был, а так как-то, просто плутоватый взгляд; сейчас видно, душонка нечиста. Впрочем, я обласкал его для первого раза, но взял себе за правило — наблюдать за ним строго. Он не промедлил-с выкинуть штуку такого рода, что написал барину, будто бы по имению все в страшном беспорядке, все запущено, разорено, и таким, сударь, манером представил прежнего старого бурмистра, мужика хорошего, что совсем было погубил того; я это узнаю стороною и, конечно, понял его канальскую выдумку: до меня-де было все мерзко да скверно, а как стал я управлять, так все пошло прекрасно. Ну, думаю, голубчик, не знаю, как при тебе пойдет, а вот тебе на первых порах следует дать сдачи, чтобы ты не завирался, и тотчас же пишу к барину письмо совсем в другом духе и объясняю прямо, что донесения нового управителя во все несправедливы, что по имению, как досконально известно мне по моей службе, никаких не было особых злоупотреблений, и что оно управлялось так, как дай бог, чтобы управлялось каждое заглазное имение, и вместе к тому присоединяю, не то чтобы прямо, а так стороною, давешнюю мою сентенцию, которую и вам высказал, что я, с своей стороны, считаю совершенно безвыгодным заменять бурмистров из мужиков управителями, ибо они в хозяйственных распоряжениях очень неопытны, да и по нравственности своей не могут быть вполне благонадежны. После моего письма, слышу, прислали Егору Парменову сверху зуботычку, и зуботычку порядочную; мне тоже письмо собственноручное от помещика: благодарит меня за участие, просит на будущее время, если что замечу, то и сам могу отменить или по крайней мере уведомил бы его. Стал меня Егорка побаиваться; но, невзирая на это, плутни его вижу на каждом шагу: то нападет он на мужика, который побогаче, — я заступлюсь; то делает с купцами сделку и запродаст хлеб не в пору за полцены — я опять поймаю и найду других покупателей. Вдруг раз доносит господину, что конские двory пристоялись и что он уже подрядил новые за три тысячи серебром, а я пишу барину, что двory требуют только неболь-

шой поправки и что три тысячи серебром за такие дворы в здешнем месте цена неслыханная — ему опять плюха. Играл я с ним в эту игру года четыре, точно кошка с мышью: поотпущу его немного, дам обнюхать какую-нибудь плутню, и только бы ему сплutowать, а я его и цап. Сбирался было, признаюсь, несколько раз написать барину письмо решительное, но все как-то останавливался: как, думаю, еще примется, по услуге его ему, может быть, многое прощается, ихние дела, кто их знает; жду, что будет дальше, — и можете себе вообразить, каков шельма этот человек: пять лет я, милостивый государь, не знал его главной проделки и открыл как-то уж случайно. Как прежде я вам докладывал об этой Погореловской волости... вдруг доходят до меня слухи, что Егор Парменов начинает туда ездить каждую неделю, и что-де там барскую запашку завел, флигель выстроил и назвал Новоселком. Что такое, думаю, это значит? Если ради выгод барских, так там выгод больших не у чего соблюсти, и первое, что, признаться, пришло мне в голову: мужиков, думаю, каналья, хочет стеснить. По Маркову и по другим селениям я часто наезжаю и воли ему не даю, а там, в захоlustье, делает, что хочет. Начал и я ездить в Погорелки, в новую эту усадьбу, как эдак, знаете, невдалеке, верстах в пяти, в шести, еду, так уж непременно заверну. Он меня ловит, как молодой месяц, и куда я там, точно адъютант мой: так по стопам моим и следует. Однакоже я урывками, ущипками расспрашиваю мужиков: что-де и как и нет ли каких от управителя притеснений? — «Нету-тка, любезненький, греха на душу не возьмем, никаких нам от Егора Парменыча притеснений нетути, а еще против прежнего лучше стало». Задал он мне, милостивый государь, этим задачу; вижу, что тут что-нибудь кроется, а поймать не знаю на чем. Заезжаю я раз в этот флигель ночевать; дело было в субботу, а на другой день, по воскресному дню, поехал к приходу помолиться. Егор Парменов тут же и не отстает от меня; я в своем тарантасе, а он верхом. Приезжаем-с: ну, я, по званию своему, знаете стал впереди; Егор Парменов немного сбоку или так, что почти рядом со мною, и две вещи делает: либо богу усердно молится, либо обернется ко мне и начнет на ухо шептать разные эдакие пустяки, и я очень хорошо понимаю, с какими мыслями он это делает: молится, изволите видеть, чтобы мне угодить,

потому что знает, что я люблю богомольных, а со мною шепчется, чтобы мужикам дать тон: вот-де я с исправником на какой ноге. В половине обедни, только что запели херувимскую, вдруг около меня что-то стукнуло, застояло, потом зарыдало. Я обернулся, смотрю, народ столпился; спрашиваю, что такое?

— Кликуша, — говорят, — батюшка, кликуша!

— Откудова?

— Из Дмитрева, — говорят, — из самой этой, знаете, дальней деревни по волости.

— Ну так что ж, — говорю я, — помочь надобно!

— Ничего, родименький: прикрыли уж; только бы не измешать.

— Поверье у них, знаете, этакое: коли уж случился с кем припадок, так не надо трогать, а только прикрыть. Однако я на это не посмотрел: велел вынести ее на паперть и сам вышел. Смотрю — девушка молодая, лежит вверх лицом, слезы градом, сама всхлипывает. Были со мной в дороге гофманские капли, дал я ей, почти что насильно разинул рот и влил — почувствовалась. Начала было опять проситься в церковь — я не пустил, а позвал сейчас из их деревни мужика и велел отвести ее в дом к священнику. Егор Парменов тоже вышел за мною и что-то очень семерит; я с ним не говорю. Надобно вам сказать, что кликуш этих в простонародии бывает много-с, и они, по-своему, толкуют, что это от порчи делается, а господа другие понимают, что это одно только притворство, шалость, а в самом деле ни то, ни другое, — просто истерика, как и с нашими барынями бывает! душа ведь тоже и у них есть!.. Другая, которая понежнее, почувствительнее, житьишко, может быть, плохое: то свекор в дугу гнет, то свекровь поедом ест, а может, и муж поколачивает: вот она неделю-то недельски тоскует, тоскует, придет в церковь, начнет молиться, расчувствуется, а тут еще ладаном накурено, духота, ну и шлепнется. Много я эдаких примеров видел. Впрочем, эта новая кликуша как-то, и сам не знаю отчего, больше других меня заинтересовала. Как только обедня кончилась, выхожу я из церкви; вижу, впереди идет сельский мужик, по прозвищу «братик»; поговорку он, знаете, эдакую имел, с кем бы ни говорил: с барином ли, с мужиком ли, с бабой ли, с мальчишкой ли, всем приговаривает: «братик»; а мужик эдакой правдивый: если уж что знает, так не по-

таит, да и лишнего не прибавит. Нагоняю я его, поздравился с ним.

— Пойдем, — говорю, — Савельич, в сторону: переговорить мне с тобою надо.

Отошли мы с ним.

— А что, — я говорю, — кликуша эта при мачехе, что ли, живет?

— Какое, братик, при мачехе... при родной матери! Аксинью кривую, чай, знаешь? — отвечал он мне.

— Ну, не совсем: слышать-то слышал, что баба хорошая, а не видал.

— Ну да, братик, старуха умная, домовитая, разумом-то будет, пожалуй, против хорошего мужика, особенно по здешнему месту.

— Отчего ж с девкою сделалось?

— Много, братик, болтают, — обереги бог всякого человека, — доподлинно я не знаю: за что купил, за то те и продаю.

— Известно, — говорю, — что ты сторона: испортили, что ли ее?

— То-то, братик, не испортили! Кабы от человека шло, может, и помогли бы; а тут хуже того.

— Что же такое хуже того? — спрашиваю я.

Братик мой, знаете, этак приостановился немного, подумал, потом вдруг мне на ухо говорит:

— Леший, — говорит, — ее, братик, полюбил.

— Как, — говорю, — леший полюбил?

— Полюбил, — говорит, — там как знаешь, так и суди; а бают, что полюбил; нынешним летом таскал ее, месяца четыре пропадала, — это уж я заверное знаю.

— Да как же, братец, таскал? Я что-то этого не понимаю.

— Я сам тожс, братик: кто их знает! мало ли что врут в народе. Я опять те скажу: за что купил, за то и продаю; а болтают много: всего и не переслушаешь.

«История, думаю, начинает становиться заманчива».

— Как же, — говорю, — она опять дома очутилась?

— Бог их, братик, знает! Нам всего сказывать не станут, а мать проговаривала, будто в сени ее подкинули в бесчувстве; а как там взаправду было, не знаю: сам при этом деле не был.

Толкую-с я, таким манером, с мужиком, вдруг Егор Парменов как из-под земли вырос.

— Вы, ваше высокоблагородие, — говорит, — эту нашу из Дмитрева больную девку изволили к священнику послать?

— Точно так, — говорю, — любезный.

— А я, сударь, — говорит, — осмелился переменить ваше приказание и отправил ее домой.

— Напрасно! для чего ты это сделал?

— Потому что-с время теперь, — говорит, — праздничное: к матушке-попадье и без того много народа идет, и родственники тоже наехали: побоялся, чтобы не было им какого беспокойства от больной, — да и той на народе зазорно.

— Ну, ладно: коли уж так распорядился, так делать нечего, будь по-твоему, — говорю я ему, а сам с собою думаю: «Шалишь, любезный, у тебя тут что-то недаром, какая-нибудь плутня да кроется».

В это время подали мой тарантас; я сажусь, он тоже усаживается на своего коня. Дай, думаю, по горячим следам порасспрошу его: не проболтает ли чего-нибудь.

— Эй, — кричу, — Егор Парменыч! полно тебе трястись на седле: садись со мною в тарантас.

Он принимает это с большим удовольствием. Поехали мы с ним. Народу идет тьма и в селе и по дороге, кланяются нам, другой еще гоны за три шапку ломит; я тоже кланяюсь, а Егор Парменыч мой, как мышь на крупу, надулся и только слегка шапочкою поводит. И досадно-то и смешно было мне смотреть на него, каналью.

— А что это, — говорю, — Егор Парменыч, — как объехали мы весь народ, — что это такое за кликуша? И отчего это с ними бывает?

— Это-с, — говорит, — бывает неспроста: это по колдовству.

— Да как же, — говорю, — братец, как оно и в чем состоит?

— А так-с, — говорит, — здесь этой мерзости очень много. Здесь народ прехитрый: даром, что он свиньей смотрит, а такой докуменщик, и то выдумает, чего нам и во сне не снилось.

— Да кто же это именно колдует, на кого поклеп-то идет? — спрашиваю я.

— Клеплют больше старых бобылок; и точно-с: вредные! иную и не узнаешь, а она делает, что хочешь: и тоску на человека наведет или так, примерно, чтобы мужчина к женщине или женщина к мужчине пристрастие имели, — всё в ее власти; и не то чтобы в пище или питье что-нибудь дала, а только по ветру пустит — на пять тысяч верст может действовать.

Выслушал я всю эту его болтовню, и еще меня больше сомнение взяло. Знаю, что этакой плут и не в колдуний, а во что-нибудь и поважнее не сразу поверит, а тут так настоятельно утверждает. Начал я ему пристально в рожу смотреть и потом вдруг спрашиваю:

— А что, — говорю я, — эта сегодняшняя девушка, отчего она выкрикала?

Вижу, его немного подернуло; но плут, будто бы ненарочно, сейчас вынул платок, обтер лицо и отвечает:

— Признаться, — говорит, — я и не знаю хорошенько; своих много хлопот, так и не расспрашивал, — а думаю, тоже с порчи: дом у них получше других, она из себя этак красивая, так, может быть, кто-нибудь от зависти взял да и сделал с нею это.

— Да как же, — возразил я, — ты что-то мне неладно говоришь, с девкою этою приключилось не от того. Я знаю, что ее леший воровал, она, слышно, пропадала долгое время. Зачем же ты меня обманываешь? — А сам все ему в рожу гляжу и вижу, что он от последних моих слов позеленел, даже и в языке позамаялся.

— Как, — говорит, — пропадала?

— Да так же и пропадала, как пропадают.

— Ничего, сударь, — говорит, — я не знаю, — а у самого голос так и дрожит. — От вас только в первый раз, — говорит, — и слышу, и очень вам благодарен, что вы мне сказали.

— Не стоит, — говорю, — благодарности. Только зачем же ты меня-то морочишь? Кто тебе поверит, чтобы ты, такой печный управитель, и будто бы не знал, что девка из ближайшей вотчины сбегала? Клеплешь, брат, на себя.

Закрестился, забожился.

— Провалиться, — говорит, — мне на этом месте, если мне кто-нибудь об этом доводил. Сами изволите видеть, — говорит, — какой народец здесь: того и жду, что, пожалуй, что-нибудь хуже того сделают и от меня скроют.

Я все здоровье свое с ними потратил. Делать, видно, нечего: буду писать к барину и стану просить себе смены. Коли в мужиках настолько страху нет, что по сторонам везде болтают, а от меня утаивают, какой уж я после этого управитель!.. — И понес, знаете, в этом роде околесную и все наговаривает мне на мужиков и то и се: что будто бы они и меня бранят и собираются на меня подать прошение губернатору; я все слушаю и ничего ему не возражаю. Въезжаем, наконец, в новоселковское поле.

— Ну, — говорю, — Егор Парменыч, прощай!

— Куда это вы, сударь?

— Так, — говорю, — надобно заехать тут невядалеке, — а между тем сам решил ехатъ прямо в Дмитревское.

Он, шельма, должно быть, проник мое намерение.

— Я было, батюшка, к вам с просьбицей.

— Что такое?

— Да нельзя ли, — говорит, — вам со мною в нашу подгородную усадьбу съездить. Там, — говорит, — теперъ идет у меня запродажа пшеницы, так чтобы после каких-нибудь озадков не было и чтобы мне от помещика моего не получить неудовольствия: лучше, — говорит, — как на ваших глазах дела сделаются, — и вам будет без сомнения, да и мне спокойнее.

Это, изволите видеть, он ладил отвезти меня верст на семьдесят от Погорелок, а там, покуда в другой раз наеду, так можно успеть обделать все, что надо.

— Нет, — говорю, — Егор Парменыч, извини меня на этот раз, сомнения от меня не опасайся, продавай с богом, а мне теперъ некогда, — прощай!

Он видит, делать нечего-с, вышел у меня из тарантаса, сел на своего коня и поскакал во все лопатки к Новоселкам. Я тоже велел ехатъ как можно скорее; но, знаете, проселок: все лесом, рытвины, колеи, коренья — того и гляжу, что либо ось пополам, либо дрога лопнет. Ну, думаю, черт его дери, «пошел, говорю, тише!» Едем мы маленькою рысцою; вдруг слышу, кто-то скачет за нами; обернулся я, гляжу: верховой, и только что нас завидел, сейчас в лес своротил и хотел, видно, объехать кустами. «Стой, — кричу я, — кто едет?» Не отвечают. «Стой, говорю, и подъезжай ко мне, я — исправник; а не то, говорю, велю пристяжную отстегнуть, нагоним — хуже будет». Выезжает из лесу молодец, лошадь вся в

мыле; оказывается, что Николашка, кучер Егора Парменова и любимец его, малой-плутина, учился в часовые мастера — ничему не выучился, прислан был по пересылке, и прочее.

— А, — говорю, — Николаша, здравствуй! Куда это путь держишь?

Парень замялся.

— Я так-с... ничего-с... по своим делам.

— Да по каким по своим делам?

— Да, — говорит, — послан-с в деревни.

— Какие тут деревни! дорога только в Дмитревское.

— В Дмитревское, да-с: я в Дмитревское и послан, — говорит.

— Зачем в Дмитревское?

Опять переминается.

— Послан-с, — говорит.

— Да зачем?

— Нарядить-с, — говорит, — мужиков.

— Ну так, — говорю, — не надобно, не езд: я сам сейчас в Дмитревское еду и наряжу; а ты поезжай домой.

— Нет, — говорит, — сударь, я не смею этого сделать.

— Мне, — говорю, — любезный, все равно, смеешь ли ты, не смеешь ли это сделать, а я тебе приказываю, и делай по-моему: поезжай домой, скажи Егору Парменову от меня, что я тебя не пустил, и прибавь еще, что, покуда я в Дмитревском, он ни тебя и никого другого не посылал бы туда, да и сам бы не ездил.

— Да как же, сударь, — говорит он мне, знаете, с этакою дерзостью, — по какому же это случаю такое ваше приказание? Я, — говорит, — человек подчиненный: с меня спросят.

— А по такому, — говорю, — случаю, что каприз на меня нашел; а если вы не послушаетесь, так... «Эй! говорю, Пушкарев! — своему, знаете, рассыльному, оставшему унтер-офицеру, который все приказания двумя нотами выше исполняет: — Мы теперь, говорю, едем в Дмитревское, и если туда кто-нибудь из новоселковских явится, хоть бы даже сам управитель, так распорядись». Пушкарев мой, знаете, только кекнул и поправил усы.

— Слушаю-с, — говорит, — ваше благородие, — и тут же сейчас, оборотившись к парню, прибавляет: — Не разговаривай, — говорит, — любезный, марш! — Я тоже

говорю — «марш!» Парень мой постоял недолго, почесал голову и поехал в обратную; а мы своей дорогою. В Дмитриевское я попал тогда еще в первый раз. Надобно сказать-с, что захолустье и дичи, по своей службе, много видывал, но этаких печальных мест, как эта деревня, не встречал: стоит в ложине, кругом лес, и не то что этакой хороший лес, а какой-то паршивый: елоха и осина наголо, разве кое-где изредка попадется сосенка; а сама деревня ничего: обстроена чистенько, и поля распаханы как следует, в порядке. У захолустного, знаете, мужика хоть выгод и меньше, да как-то все спорее. Пословица справедлива-с: выгодно жить на бору да близко к кабаку. Спрашиваю дом Аксиньи кривой. Показывают. Вхожу в избу: сидит старуха с одним глазом и ткет.

— Ты Аксинья?

— Я, батюшка.

— Ну, здравствуй, — говорю; я, — говорю, — приехал к тебе потолковать. Знаешь, кто я?

— Как, кормилец, не знать: кажись, асправник.

— Ну, исправник, так исправник, и ладно, коли знаешь. Сегодня я был у вашего прихода и видел твою дочку: что это она у тебя хворает?

— Хворает, — говорит, — родименький, не то чтобы лежнем лежала, а временем шибко ухватывает.

— Да что это, отчего с нею?

— Не ведаю, кормилец, так тебе сказать, ничего не ведаю.

— Полно, — говорю, — старуха: как ты не ведаешь! Ведь она у тебя сбегала?

— Ну, кормилец, коли известен, так баять нечего: сбегать сбегала. Помилуй не засади ты ее куда-нибудь у меня, не загуби ты досталь моей головушки, — отвечает она, а сама мне в ноги.

— Ничего я, — говорю, — ей не сделаю, а ты вот что лучше мне скажи: ради чего она у тебя сбегала? Не было ли у ней любовника, не сманивал ли ее кто?

— Ой, родимый, какой у девушки любовник! Никогда, кажись, я ее в этом не замечала. По нашей стороне девушки честные, ты хоть кого спроси, а моя уж подавно: до двадцати годков дожила, не игрывала хорошенько с парнями-то! Вот тоже на праздниках, когда который этак пошутит с ней, так чем ни попало и свистнет. «Не

балуи, говорит, я тебя не замаю». Вот она какая у меня была; на это, по-моему, приходится нечего.

— Постой,— говорю,— старуха, если ты так говоришь, так слушай: я приехал к тебе на пользу; дочку твою я вылечу, только ты говори мне правду, не скрывай ничего, рассказывай сначала: как она у тебя жила, не думала ли ты против воли замуж ее выдать, что она делала и как себя перед побегом вела, как сбежала и как потом опять к тебе появилась? — все подробно с самого начала.

Старуха этак поохала, повздыхала и начала рассказывать.

— Ой, батюшко, — говорит, — поначалу так было дело: после покойника остались мы в хорошем доме: одних улыков было сорок — сколько денег выручали, сам сосчитай; да и теперь тоже; вестимо, что не против прежнего, а все бога гневить нечего... всего по крестьянству довольно; во вдовстве правлю полное тягло, без отягощения. Жила она у меня, моя доченька, не хвастаясь тебе сказать, в холе и довольстве, а баловать ее не баловала, держала все на глазах. Ну, сам посуди, коим веком одно дитяtko нажито, только и свету и радости, что в ней; к работе нашей крестьянской она с малых лет была ловкая, легкая: на полосе ли, на жнитве ли, все первая, против всех впереди идет. Бывало, мне и суседи всё смеялись. «Ну, говорят, Аксинья, в себя ты дочку принесла: больно уж вы к работе шустры, недаром у вас денег много». Всё ее, кормилец, ко мне применяли тем, что я и по сей день работаща — всякое дело у меня в руках проворится. О царица небесная! с наdsaды-то и говорить разучилась. Стала моя девушка на возраст приходиться; ну и женишки тоже были, и много было, но все как-то опасалась. Все имела большое желание выдать ее в дом к одному экономическому мужичку, не тем, чтобы нашу вотчину сбежала или порочила, а только то, что сам старик с покойником моим был большой благодприятель и ко мне тоже наезжал. Дружелюбие между нами было старинное. Егор Парменыч, дай бог ему здоровья, не принуждал очень: кто этак намекнет на мою Марфушку, он только скажет: «Аксинья, говорит, дочку просят, припасайся». Ну, опосля, известно, сходишь к нему, поклонись чем-нибудь, — ну, и отменит. Так мы, кормилец, и жили до самых тех пор, как завели здесь барскую запашку. Всю нашу деревню Егор Парменыч повестил на заделье. Мое

дело одинокое, пошла я к нему. «Кормилец, говорю, Егор Парменыч, как мне прикажешь, не оставишь ли ты меня в оброке? мужичка у меня в домене: кем мне тебе заделье править?» — «Ничего, говорит, старуха, я тебя не обижу; мужика мне с тебя не надо, а пусть заделье правит дочка». — «Кормилец, — говорю я, — где девчонке это справить! дело ее непривычное, молодое; ты станешь спрашивать многого; ну, как она тебе не угодит, для меня будет нехорошо; а если ты уж так порешился, так лучше я тебе работника выставлю». — «Дура, говорит, ты, баба: работник будет тебе отяготителен, да и мне не к рукам: запашку, говорит, я здесь делаю больше лённую, а со льном, сама ты знаешь, мужику не возиться; с дочки твоей я лишнего не спрошу: что поработает, то и ладно». Ублажил он меня, кормилец, этими словами; поперечить ему тоже не посмела. Прихожу домой и говорю Марфушке: «На заделье, говорю, тебя, Марфушка, требует: как ты насчет этого полагаешь?» Она поохотилась. «Ничего, говорит, мамонька, стану бегать; ничего: от нас много девок пойдет». Тем мы с ней и порешили. Начала она у меня ходить. Ну, и сперва заботно было: все я ее спрашивала: «Не тяжело ли, говорю, голубонька, тебе там?» — «Нет, мамонька, какое тяжело! На эком народе тяжело! Дома в одиночку больше умаешься». А у меня, кормилец, все как-то сердце болело; с половины, кажись, лета, али с Успенков, стала я примечать, что с моей девкой что-то не то: все словно в задумке, из себя тоже худеет. Начала я опять ей говорить: «Полно, говорю, дурочка, не замай, говорю, работницу найму; где тебе заделье вести! Ишь ты какая стала! Такая ли ты была у меня прежде?» Так осержается, кормилец. «Что я, говорит, дворянка, что ли? Денег-то у тебя, что ли, много: с работницами проклажаться!» Выждала я еще недели с две; вижу, что ничего к лучшему нет. Придет с барщины и прямо в темный чулан ляжет: на своей работе синя пороха не переложит, — все лежит. Ну, я тоже спрашиваю: «Что ты, девонька?» — «Так, мамонька, что-то не по себе», — только один ответ и был, а как придут барские дни, слова мне не скажет, соберется и уйдет прежде всех. Стало у меня сердце еще пуще болеть, чего ни передумала; тоже, как и твое дело, кормилец, сперва намекала, нет ли у ней чего на сердце, не мужчинка ли ее какой приманивает: девушка, думаю, на возрасте, там же всяк

час наезжают дворовые ребята, народ озорник, прямо те сказать, девушки; сама своими глазами, думаю, ничего не вижу, а других, хоть бы и соседей, спросить об этом деле стыдно. Взяла я, кормилец, не сказав ей ничего, прямо пошла к Егору Парменычу. «Так и так, говорю, Егор Парменыч, я не молодая молодка: одной мне при доме справляться спина трещит, заделье я те справлю наймом, а дочку ты освободи мне». Он вдруг, сударь мой, осерчал. «Вы-ста, говорит, шельмы этикие, только знаете, что от барского дела отваливаете». — «Я, говорю, сударь, от барского дела не отваливаюсь и, как прежде сказала, хошь работника за девку выставлю, а ей, вся твоя воля, задельничать не приходится». — «Ну, да как же, говорит, много-ста будет, как стану я каждую дуру тешить! пошла-ста вон и не надоедай мне, коли своей пользы не понимаешь!» Я нейду: стою в своем. Он, кормилец, затопал, залопал надо мной, пена у рту; у меня так сердечушко и замерло: того и гляжу, что прибьет; раза три замахивался, а уж брани да руганья и числа нет, сколько было, едва из хлигеля жива вышла... Иду по усадьбе да горячьми слезами обливаюсь; вдруг мне навстречу его супружница с маленьким сыном, разряженная этакая, расфранченная.

— Здравствуй, — говорит, — голубушка! О чем ты это плачешь?

— Так и так, — говорю, — сударыня, — и рассказала ей все мое горе.

— Ах, боже мой, — говорит, — для чего же Егорушка, — говорит, — не хочет тебе сделать в этом удовольствия. Он что-нибудь тебя не понял. Я, — говорит, — ему, душенька, поговорю об тебе.

Я ей поклонилась.

— Противности, — говорю, — сударыня, от меня никогда никакой не было, а что всякой матери, хоть бы и крестьянке, свое дитячко болезно. Если, говорю, Егор Парменыч станет ее у меня в заделье тянуть и не ослободит ее, так я, говорю, пойду к асправнику: вся его воля, что хочет, то со мною и делает.

— Ничего, — говорит, — душенька, не будет; будь покойна, я твое дело сделаю, — сказала она и ушла.

А я, признаться, взяла да и пообождала маненько в усадьбе, в скотной, и слышала так, от горничной девушки, что у них за меня большой разговор был. Она,

голубушка, дай ей бог здоровья, так его, слышь, ругала, так ругала, всем выкорчила и в глаза наплевала. Прихожу я опосля этого домой и говорю дочке. Она мне, батюшка, опять всупротивку стала говорить. Душенька-то у меня уж наболела и без того; взяла меня на ее такая злость, что не стерпела я, кормилец, ухватила ее и почала бить, всю избу вытаскала за космы; чем она пуще просит: «Мамонька, мамонька!», а меня пуще досада рвет, ругаю ее по-пёски и все, знаешь, к нечистому посылаю. Ревет моя девка после этого ровно два дни; стало мне ее хошь бы и жаль: сбегала я потихоньку к приходу, купила ей тут у одного мужичка-торговца кумачу на рубаху и принесла; она ничего — взяла и словно повеселела, а в сумерки и говорит мне:

— Отпусти, — говорит, — мамонька, меня на поседки сходить к дяде Фоме.

— Ступай, — говорю, — только не засиживайся долго.

— Нету, — говорит, — ненадолго сбегаяю.

Нарядилась она в наряд хороший, надела теплый полушубочек и ушла. Жду я ее: пропели первые петухи — нейдет, пропели вторые — нет!

«Эка вор-девка: верно, там ночевать осталась», — думала я и пошла, кормилец, сама за ней.

Подхожу, смотрю — на поседках уж и огонь погашен; едва достучалась: отворяет мне дверь девушка ихняя, дочь хозяйская.

— Что тебе, тетонька? — говорит.

— Да я, — говорю, — за Марфуткой пришла; что это, — я говорю, — за ночевка такая? Зачем это ночевать унимаете?

— Нету, — говорит, — тетонька, она ушла.

— Полно, что за шутки такие: ушла! Где ей, — говорю, — быть! Домой не бывала, а ушла!

— Вот те Христос, тетонька, ушла, — говорит.

«Ну — думаю, — согрешила грешная!..» — Разбойница этакая, — говорю, — кто у вас сегодня был? не было ли дворовых ребят?

— Нету, — говорит, — тетонька, никого не бывало: только две девушки да твоя Марфа — только и было.

Разбудила я стариков, потолковали мы с ними, погоревали, поохали, не знаем, что такое; обежала я все другие избы по деревне — нет нигде, нигде и не бывала. Про-

тосковала я всю ноченьку, а на другой день, делать неча, пошла в усадьбу к управителю, заявила ему.

— Как бы, батюшка Егор Парменыч, хоть бы ее поискать, — говорю.

— Где-ста мне ее тебе искать! Много вас у меня! Ищи сама, как знаешь.

И говорить больше не стал.

Так, кормилец, опосля того пропала да пропала. Все-то ноженьки отбегала, ищучи ее и по селам и по деревням, все леса, почесть, выходила — ни слуху ни духу ни отколе нет; так и положила, что сделала над собой что-нибудь! Теперь вот дело прошлое, в те поры никому не открывалась, а на сердце все держала, что это от побой моих и побранки с ней приключилось. Прошло таким делом времени много; от тоски да от маяты стала и сама еле ноги таскать... Взяла я себе для охоты сироту-девушку: сидим мы с ней вечерком; я на голбчике лежу, а она прядет. Слышу я, кормилец, в сенях что-то стукнуло, словно кольцом кто брякнул.

— Кто это, — говорю, — Палагеюшка, выдь-ка, глянь: ровно стучится кто.

— Это, — говорит, — бауныка, овцы!

— Полно, — говорю, — какие овцы! Выдь, погляди: не съедят.

Засветила она лучину, пошла и опять вбежала сейчас в избу.

— Бауныка, — говорит, — у нас, — говорит, — кто-то в сенях лежит.

— Так ты бы, — говорю, — окликала.

— Нет, бауныка, я боюсь.

Слезла с голбца, пошла сама: глянь, моя Марфушка лежит плашмя поперек сеней. Заголосила я, завопила, бросилась к ней, притащила ее в избу, посадила, стала спрашивать — ничего не бает, только руками показывает, что молвы нет. Я было ей, чтобы поужинала: молочка было налила, яишенку сделала, — только головкой мотает, а самоё так и бьет, как на пруте. Уложила я ее, родимый, на печку, укутала еще сверху и всю ночь над ней просидела. Похудела, голубушка, так, что и не глядел бы! Ну, думаю, воля божия; были бы кости, а мясо будет; хоша, по милости божией, жива осталась!.. На другой день спроведали наши мужики, стали ко мне находить, спрашивают и говорят мне так:

— Ты, — говорят, — Аксинья, девку не балуй, а на-
кажи ее миром, чтобы другим повадки не было.

— Ну-ка, кормилец, каково мне было слушать эти их
речи!

— Братцы-мужички, — говорю я им — против мира
я не спорщица и не потатчица моей дочке, кабы она была
здорова, и кабы я доподлинно знала, что она худое что
сделала.

Вдруг наезжает сам Егор Парменыч. Узнал он мое
дело и говорит:

— Пальцем, — говорит, — не смейте девку трогать,
она ни в чем не виновата; а насчет молвы тоже не при-
нуждайте: она, — говорит, — и по лицу видно, что языка
лишилась.

Я его слушаю, а сама с собою думаю: как, думаю,
насчет молвы не принуждать! И начала ее возить к зна-
харям, по лекаркам, служила над ней молебны, а сама
все приступаю к ней:

— Полно, — говорю, — дурочка, попринудь себя, про-
бай что-нибудь.

От этого ли, кормилец, али от чего другого, вдруг
она проговорила: есть попросила! Я всплеснула руками
и начала богу молиться; она тоже зарыдала, и, господи!
как зарыдала, и начала поговаривать, немного да не-
много, а потом и все, как прежде бывало. Обождав сут-
ки двои, стала я ее спрашивать:

— Скажи, — я говорю, — Марфушка, что с тобою де-
лалось и где ты была?

— А вот что, — говорит, — мамонька, скажу я тебе
правду-истину: меня, — говорит, — леший таскал.

Я так и обомлела: наше место святы, тоже от старины
идет слух про это, не в первый раз он это в околотке де-
лает: девок таскивал; одна так никак совсем так и про-
пала; только то, что на нашей памяти не чуть было этого.
И пришла мне, кормилец, на разум опять моя побранка,
как я тогда грешным делом, всердцах-то, все *к нему* по-
сылала. Это хоть бы и с другими приключалось тоже от
маткиных нехороших слов; а мы, дуры-бабы, будто по-
опасимся? Не то, что взрослых, а и младенцев почасту:
«Черт бы тя побрал, леший бы тя взял»; хороших слов
говорить не умеем, а эти поговорки все на языке.

— Как это, — говорю, — голубушка, он тебя утащил?

— А так, — говорит, — мамонька; шла я с беседок,

вдруг на меня словно вихорь набежал, подхватил как на руки, перекреститься я не успела, он и понес меня, нес... нес — все дичью.

— Что же, — говорю, — девонька, ты там-то делала, где жила, что пила, ела?

— Не спрашивай, — говорит, — мамонька, меня про это: против этого мне сделан большой запрет. Пила и ела я там хорошо, а если хоша еще одно слово тебе скажу больше того, что я те баяла, так тем же часом должна моя жизнь кончиться.

Не стала я ее, батюшка, больно принуждать: може, думаю, и правда.

— Как же, — говорю я, — ты домой-то попала?

— Тем же, — говорит, — мамонька, вихрем; принесли да бросили в сени, — а тут что было, не помню.

Только то мне, кормилец, и сказала; до сегодня больше ничего от нее добиться не могу, вижу только, что всякий час в тоске: работы али пищи и не спрашивай!

Выслушал я, знаете, старуху.

— Давно ли же, — говорю, — с нею припадки начались делаться?

— Припадки с ней, батюшка, начались делаться с первого же воскресенья. Пошла я с нею к обедне, тут ее впервые и ухватило: хлястянулась на пол и начала выкликать.

Надобно сказать, что при всем этом нашем разговоре присутствовал и дурак мой Пушкарев; выслушав старуху, он вдруг вздумал власть свою полицейскую и удаль свою военную перед ней показывать.

— Ну, — говорит, — баушка, мы дочку твою поличим; у нас отличное от этого есть лекарство: березовая лапша.

Старуха так и заревела.

Я стал ее унимать, а он, болван, продолжает свое.

— Где же, — говорит, — у вас этот леший? Сказывай! Я его за ворот притащу и тысячу палок дам, так скажет, кто такой и какого звания.

— Это, сударь, как сказать, — замечает ему Аксинья, — ну как, — говорит, — не притащишь?

— Притащим, тетка, не беспокойся, — отвечает тот, — у нас, — говорит, — ваше благородие, — обращается ко мне, — в полку один солдат тоже стал колдуном прикидываться. Стояли мы тогда по деревням. Он поймает в

лесу корову, намажет ей язык мылом, та и ну метаться, как благая: прибежит на двор, язык шероховатый, слюны много, валом-валит пена. А бабы: «Ах, ах! телонька! что сделалось с телонькой?..» А он тут и прикатит. «Что, говорит, голубушки, на дворе, что ли, у вас не здорово? Дай-ка я, говорит, попользую». — «Попользуй, кормилец, попользуй, поилец». Он сдерет с них рублей пять, промоет язык щелоком и вылечил корову! Вот ведь ихние колдуны какие! И леший здешний какой-нибудь из этих.

— Не знаю, служивый, как у вас было, — продолжает возражать старуха, — а здесь не то; вы, може, сегодня ночуете, так сам послушаешь, голосит кажинную почесть ночь, индо на двор боязно выйти.

— Да ведь это, тетка, — говорю я, — филин птица.

— Баяли, кормилец, многие это нам бают, а только нет, родимый, не птица; филинов у нас мальчишки лавливали, с полгода один жил, никакого голосу не дал, а уж этот против птицы ли, на весь околоток чуть, как голосит.

— Что станешь делать, не переуверишь их!

— Ну, — говорю, — старуха, много ты говорила дела, да много и вздору намолола; пошли-ка лучше ко мне дочку: я с ней поговорю; авось она мне больше правды скажет. Сможет ли она прийти?

— Сможет, кормилец, для-ча не смочь: пролежалась теперь.

— Пошли, — говорю, — ее ко мне, а сама не приходи: мы с ней побеседуем вдвоем.

Пушкареву тоже велел выйти. Пришла ко мне девка-с; оглядел ее внимательно: приятная из лица, глаза голубые, навывкате, сама белая и, что удивительно, с малолетства в работе, а руки нежные, как у барыни.

— Здравствуй, — говорю, — красавица.

— Здравствуйте, — говорит, — сударь.

— Садись, — говорю, — чем стоять.

— Ничего-с, — говорит, — постою.

— Полно, — говорю, — ведь ты больна: устанешь; садись!

Села она этак поодаль, поглядывает на меня исподлобья.

— Чем это ты, — говорю, — больна? Что такое с тобой бывает?

— А бывает, сударь, привалит у сердца, в гслове делается этакой бахмур, в глазах потемнеет, а опосля и сама ничего не помню-с.

— Отчего это с тобой сделалось?

— Изволили, чай, слышать, — отвечает, а сама еще более потупилась.

— Это, — говорю, — что леший-то тебя таскал?

— Да-с, — говорит, — с самой с той поры и начало ухватывать.

— Слушай, — говорю, — Марфушка, ты, я вижу, девушка умная, скажи мне, как по-твоему, лгать грех али нет?

— Как, сударь, не грех! вестимо, что грех.

— Так как же, — говорю, — знать ты это знаешь, а сама лжешь, и не в пустяках каких-нибудь, а призываешь на себя нечистую силу. Ты не шути этим: греха этого тебе, может быть, и не отмолить. Все, что ты матери плела на лешего, как он тебя вихрем воровал и как после подкинул, — все это ты выдумала, ничего этого не было, а если и сманивал тебя, так какой-нибудь человек, и тебе не след его прикрывать.

— Ничего я, сударь, окромя, что мамоньке говорила, ничего я не знаю больше! — А у самой, знаете, слезы так и текут.

Бился я с ней по крайней мере с полчаса: все думал лаской взять.

— Будь, — говорю, — Марфушка, со мной откровенна; вот тебе клятва моя, я старик, имею сам детей, на ветер слов говорить не стану: скажи мне только правду, я твой стыд девичий поберегу, даже матери твоей не скажу ничего, а посоветую хорошее и дам тебе лекарства.

Ничего не берет, уперлася в одном: «Знать не знаю, ведать ничего не ведаю», так что даже рассердила меня.

— Ну, — говорю — Марфа, ты, я вижу, не боишься божьего суда, так побойся моего: я твое дело стороной раскрою, тогда уж не пеняй.

Молчит.

Отпустил я ее; досадно немного: солнце уже садилось, день, значит, потерян. Ехать — пожалуй, и дороги не найдешь. Остался я у Аксины ночевать, напился чаю и только хотел улечься в свой тарантас, — вдруг подходит Пушкарев.

— Ваше благородие, леший, — говорит, — заправду начал кричать; не угодно ли послушать?

Заинтересовало это меня: слышал я об этих леших, — слышал много, а на опыте сам не имел. Вышел я из своего логовища к калитке, и точно-с, на удивление: гул таковой, что я бы не поверил, если бы не своими ушами слышал: то ржет, например, как трехгодовалый жеребенок, то вдруг захохочет, как человек, то перекликаться, аукаться начнет, потом в ладоши хлопает, а по заре, знает, так во все стороны и раздается.

Храбрец мой Пушкарев стоит только да бормочет про себя: «Эка поганая сторонка!» Да и со мной, воображение, что ли, играет: сам очень хорошо понимаю, что это птица какая-нибудь, а между тем мороз по коже пробегает. Послушал я эту музыку, но так как день-то деньской, знаете, утомился, лег опять и сейчас же заснул богатырским сном. На другой день проснулся часу в девятом, кличу Пушкарева, чтоб велеть лошадей закладывать. Является он ко мне.

— Ваше благородие, — говорит, — у нас неблагополучно.

— Что такое?

— Девка-то опять пропала!

— Как, — говорю, — пропала! земская, — говорю, — полиция, мы с тобой здесь, а она пропала: тычего смотрел?

— Я, ваше благородие, — говорит, — всю ночь не спал, до самой прочесть зари пес этот гагайкал: до сна ли тут! Всю ночь, — говорит, — сидел на сеновале и трубку курил, ничего не слышал.

Иду я на улицу-с; мужиков, баб толпа, толкуют промеж собой и приходят попрежнему на лешего; Аксиныя мечется, как полоумная, по деревне, все ищет, знает. Сделалось мне на этого лешего не в шутку досадно: это уж значит из-под носу у исправника украсть. Сделал я тут же по всей деревне обыск, разослал по всем дорогам гонцов — ничего нет; еду в Марково: там тоже обыск. Егор Парменыч дома, юлит передо мной.

— Что такое, — говорит, — значит? что такое случилось?

Я ему ни слова не говорю, перебил все до синя пороха, однако чего искал не нашел.

«Ну, думаю, за это дело надобно приниматься другим манером».

Был у меня тогда в Михайловской сотне сотский, прерасторопный мужик: лет пятнадцать в службе, знаете, понаторел, и кроме того, если в каком деле порастолкуешь да припугнешь немного, так и не обманет. Приехав в город, вызываю я его к себе.

— Слушай, — говорю, — Калистрат: в Погореловской волости мост теперь строят натурой: ты командируешься присматривать туда за работами, — это дело тебе само по себе; а другое: там, из Дмитревского, девка пропадает во второй уж раз, и приходят, что будто бы ее леший ворует. Это, братец, пустяки!

— Пустяки-с, — говорит, — сударь, без суждения, что пустяки.

— Ну, стало быть, ты это понимаешь, и потому, быв там, не зевай и расспрашивай, кого знаешь, что и как. Если слух будет, сейчас же накрой ее и ко мне представь. Сверх того, в этом деле Егор Парменыч что-то плурует, держи его покуда на глазах и узнавай, где он и что делает. Одним словом, или сыщи мне девку, или по крайней мере обтопчи ее след и проведай, как и отчего и с кем она бежала. Сам я тоже буду узнавать, и если что помимо тебя дойдет до меня, значит ты плутуешь; а за плутни сам знаешь, что бывает.

— Понимаем, сударь, — говорит, — не первый год при вас служим; только как донесение прикажете делать?

— Донесение, — говорю, — если что важное откроешь, так сейчас же, а если нет, так, как кончится работа, тут и донесешь.

— Слушаю-с, — говорит он и отправился.

Жду неделю, жду другую — ничего нет; между тем выехал в уезд и прямо во второй стан. Определили тогда мне молодого станового пристава: он и сам позашалился и дела позапутал; надобно было ему пару поддать; при-сэжаю, начинаю свое дело делать, вдруг тот же Пушкарев приходит ко мне с веселым лицом.

— Ваше благородие, дмитревская, говорят, девка, что сбежала, явилась.

— А, — говорю, — доброе дело! где ты узнал это?

— Матка пришла сюда с ней в стан: к вам просятся!

— Давай их сюда!

Обрадовался, знаете. Входит ко мне Аксинья, покуда одна.

— Здорово, старуха!

— Здравствуйте, кормилец!

— Что, дочку нашла?

— Нашла, родимый!

— Каким манером? опять леший подкинул?

— Какое, ваше высокоблагородие, леший! Дело совсем другое выходит. На вас только теперь и надежда осталась: не оставьте хоша вы нас, сирот, вашей милостью.

— Идет, — говорю, — только ты много не разглагольствуй, а говори прямо дело.

— Нет, сударь, може, вы мне и не поверите; оспросите ее самое; она сама собой должна заявить; я ее нарочно привела.

— Ладно, — говорю, — позовите девку.

Входит, худая этакая, изнуренная.

— Ну, девица красная, очень рад тебя видеть; сказывай, где ты это пропадала: только смотри, не лги, говори правду.

— Нет, сударь, — говорит, — пошто лгать! не для ча мне теперь лгать: ни себя ни других не покрою.

— Конечно, — говорю, — рассказывай, кто тебя сманил? и где ты была во второй и в первый раз?

— В первой, — говорит, — раз, сударь, жила я на чердаке в господском доме, в Маркове, а второй проживала у погорельского лесника.

— Как, — говорю, — в господском доме? как ты туда попала?

Молчит.

— Из дворовых ребят, что ли, тебя кто затащил туда?

Потупилась, знаете, так покраснела.

— Никак нету-тка-с, — говорит.

— Так не сама же ты туда зашла! зачем и для чего?

— Где, сударь, самой! не сама.

— Так кто же? Говори, наконец!

Молчит.

— Что ж молчишь? — вмешалась мать. — Сама, — говорит, — пожелала господину исправнику заявить, а теперь не баешь. Бай ему все. Егор, сударь, Парменыч, управитель наш, загубил ее девичий век. Рассказывай, воровка, как дело-то было; что притихла?

— Рассказывай, — говорю, — Марфуша: здесь только мать твоя да я; оба тебе добра желаем. Егор Парменыч, что ли, тебя сманил?

Еще пуще моя девка покраснела и потупилась в са-
мую землю.

— Он-с! — говорит со вздохом.

— Для чего же это, — я говорю, — он тебя сманивал?
пригуляла, что ли, ты с ним?

Опять молчит. Я посмотрел на матку: та стоит при-
горюнившись и на мои слова кивнула мне головой и
прямо говорит:

— Пригуляла, кормилец, — таить перед тобой нечего,
пригуляла, страмовщица этакая! Кабы не мое материн-
ское сердце, изорвала бы ее в куски... Девка пес — боль-
ше ничего, губительница своя и моя!.. То мне, кормилец,
горько, в кого она, варварка, рэдилась, у кого брала эти
примеры да науки!

Девка в слезы, а старуха и пошла трезвонить. Мать-с,
обидно и больно, как дети худо что делают. Я сам отец:
по себе сужу; только, откровенно вам сказать, в этот раз
стало мне больше дочку жаль. Вижу, что у ней слезы
горькие, непритворные.

— Перестань, — говорю, — сбрэх: старого не воро-
тишь; девке не легче твоего. Не слушай, — говорю, —
Марфуша, матери, разговаривай со мной: полюбила, что
ли, ты его?

— Да, сударь.

— Очень любила?

— Очень, сударь, большое пристрастие мое к нему
было.

— Как же, — говорю, — ты такая хорошенькая — и
влюбилась в такую скверную, сальную рожу? Деньгами,
что ли, он тебя соблазнил?

— Нету-тка, судырь! Дело мое девичье: пошто мне
деньги! На деньги бы я николи не пошла, если бы не при-
страстка моя к нему.

Я только, знаете, пожал плечами, — вот, думаю, по
половице, понравится сатана лучше ясного сокола, и,
главное, мне хотелось узнать, как у них все это шло, да
и фактами желал заpastись, чтоб уж Егорку шапнуть
ловчее. Стал я ее дальше спрашивать — только ту-
пится.

— Что же ты, — говорит ей мать опять, — коли дело
делали, так рассказывай!

— Ничего, — говорит, — мамонька, не стану я гово-
рить: как, — говорит, — мне про мою стыдобушку самой

баять? Ничего я не скажу, — а сама, знаете, опять навзрыд зарыдала.

Никогда, сударь мой, во всю мою жизнь, во всю мою полицейскую службу, таких слез не видывал. Имел я дело с ворами, мошенниками настоящими, и многие из них передо мной раскаявались; но этакого, знаете, стыда и душевного раскаяния, как у этой девки, не встречал: вообразить, например, она себе не может свой проступок, и это по-моему, признак очень хороший. Я вот и по делам замечал: которого этак начнешь расспрашивать, стыдить, а ему ничего, только и говорит: «Моя душа в грехе, моя и в ответе», — тут уж добра не жди, значит, человек потерянный; а эта девушка, вижу, не из таких. Больше ее расспрашивать мне даже стало жаль.

— Ну, — говорю, — Марфушка, коли не можешь, так и не говори, и велел, знаете, выйти ей в сени—будто освежиться от слез, — а Аксинье мигнул, чтобы приосталась.

— Что, — говорю, — старуха, хоть ты не знаешь ли, что у них было?

— Выпытывала я, кормилец, из нее: баяла она мне много; не знаю, все ли правда!

— Как и когда и каким это манером, — говорю, — он ее соблазнил?

— Вот видишь, — говорит, — он и наперед того, на праздниках там, али бо-што, часто ко мне наезжал, иной раз ночку и две ночует; я вот, хоть убей на месте, ничего в заметку не брала, а он, слышь, по ее речам, и в те поры еще большие ласки ей делал.

— А тут, — говорю, — на барщину потребовали?

— Ну да, родимый, тут барщина эта подошла: свидания у них стали частые. Он ее, слышь, кормилец, все в одиночку на работу посылал, то в саду заставит полоть, либо пшеницу там обшастать, баню истопить, белье вымыть, а сам все к ней заходит, будто надсматривать; хозяйка его тем летом прытко хворала, и он будто такое имел намеренье: «Как, говорит, супружница моя жизнь покончит, так, говорит, Марфушка, я на тебе женюсь; барин мне невестою не постоит: кого хочу, того и беру». Сам знаешь, хитрый человек: хошь кого на словах уговорит да умаслит; а она что еще? Теперь-то разума немного, а в те поры и подавно... Не была бы она у меня, кормилец, такая, кабы не этот человек! Не в кого быть такой, — хоть бы про себя самое мне сказать: смолода

была сердцем любчива, а чтобы насчет худого, нет у нас таких в роду.

— Это так, — говорю, — старуха, про это и толковать нечего, только мне хочется знать, зачем он ее увозил и как он это сделал.

— Увез он ее, кормилец, одно дело то, что я от заделья ее отвела, пошугала тоже маненько: видит, на моих глазах ему делать нечего больше было; а другое: не знаю, може, ее слова справедливы, а може, и нет, она мне баяла, что до самого сбега ее промеж их была одна сухая любовь... Пучеглазый его Николашка кучер с самой весны живмя жил в нашей деревне: все, знаешь, за охотой ходил; места, вишь, у нас больно хороши для охоты. Через него он ей весточку и дал, чтобы вечером к ним на ободворки вышла. С поседок-то она, кормилец, к ним и прибежала, а они, сударик, ее будто от холода и угоривили выпить целый стакан винища, — крепкого винища... Девке непривычной много ли надо: сразу обеспамятела! Что у них тут было, не знаю; волей али неволей, только усадили они ее в сани да в усадьбу и увезли, и сначала он ее, кормилец, поселил в барском кабинете, а тут, со страху, что ли, какого али так, перевел ее на чердак, и стала она словно арестантка какая: что хотел, то и делал; а у ней самой, кормилец, охоты к этому не было: с первых дней она в тоску впала и все ему говорила: «Экое, говорит, Егор Парменыч, ты надо мною дело сделал; отпусти ты меня к мамоньке; не май ты ни ее, ни меня». Он обещал ей кажинный раз и все обманывал; напоследок она ему говорит: «Если ты меня из моей заперти не выпустишь, так я, говорит, либо в окошко прыгну, либо что над собой сделаю». Этих слов он, кормилец, поопасился: «Хорошо, говорит, Марфушка, я тебя к матери привезу; только ты ничего не рассказывай, а притворись лучше немой, а если, паче чаяния, какова пора не мера, станут к тебе шибко приступать или сама собой проговоришь как-нибудь, так скажи, говорит, что тебя леший воровал, вихрем унес, а что там было, ты ничего не помнишь. Кто бы тебя, говорит, ни стал спрашивать, хоша я сам али какой чиновник, не сговаривай: стой в одном, а не то будет хуже: сама пропадешь да и мне не уйти». Дальше, кормилец, что было, сам знаешь. Послушаться она его точно послушалась, только сердцем начала больно тосковать, а с тоски этой, вестимо, и

припадки стали приключаться; в церковь божью сходить хочется, а выстоять не может. «Много раз, говорит, мамонька, собиралась тебе всю правду открыть, только больно стыдно было».

— По какому же черту, — спрашиваю я, — она опять с ним убежала?

— Тоже не своей волей: в те поры, как ты к нам наехал и начал разведывать, он той же ночью влез к ней в чуланчик, в слуховое окно, и почал ее пугать: так и так, говорит, Марфушка, за тобой, говорит, наехал исправник, и он ты завтра посадит в кандалы и пошлет в Сибирь на поселенье, а коли хочешь спастись, сбеги опять со мной: я, говорит, спрячу тебя в такое потаенное место, что никто николи тебя не отыщет. От страха да от глупости опять пошла по его стопам. Посадил он ее этим разом к леснику в сторожку. Напала на нее пуще того тоска несветимая, две недели только и знала, что исходила слезами; отпускать он ее никак не отпускал, приставил за нею караул крепкий, и как уж она это спроворила, не знаю, только ночью от них, кормилец, тайком сбежала и блудилась по лесу, не пимши, не емши, двое суток, вышла ан ли к Николе-на-Гриву, верст за тридцать от нашей деревни. Спасибо, что знакомый мужичок довез. Словно полоумная пришла, повалилась мне в ноги и все открыла, что те баяла. Как хошь, кормилец, верь или не верь, а я словечка не прибавила.

— Верю, — говорю, — и даю тебе честное слово, что я с вашим губителем, Егором Парменовым, распоряджусь отлично: я давно до него добираюсь!

— Нет, кормилец, — отвечает мне старуха, — я не то, что к тебе с жалобой, али там, чтобы ему худо чрез нас было; говорить неча: сама дура-девка виновата, — не справляю я ее! ты только тем, родимый, заступись, чтоб он нас прижимать шибко не стал.

Между тем, знаете, является и сотский, которого я командировал, и таким манером я, чтобы и его испытать да и матку с дочкою поверить, их сейчас в особую комнату, а его к себе.

— Что, — говорю, — братец, скажешь хорошенького?

— Дмитревская девка, — говорит, — ваше благородие, нашлась, сама пришла к матери.

— Где же это она была и пропадала? — спрашиваю я, будто сам, знаете, ничего еще не знаю.

— Была-с невдалеке: по лесу шлялась, с управителем прибаловала. Он ей сам и пристанодержательство-вал в тот и этот раз.

— Полно, — говорю, — братец, не может быть.

— Верно, ваше благородие: он на эти дела преловкий; это не первая-с.

— Не первая, — говорю, — значит, он ходок?

— Ходок-с. Я по вашему приказу обтоптал все его следы, — отвечает мне сотский и начал, знаете, насчитывать: — и в Маркове — Палагея да Марья, и в Варгунихе — солдатка Фекла, и на мельнице — мельничиха, и так далее.

— Что же, — говорю, — жена-то его: чего смотрит?

— До жены не доводят, а коли где сама что заметит, потачки не даст: строго спросит.

Я только плюнул. Делай он это, каналья, где-нибудь в бойких местах — черт его дери! а тут, знаете, народ нравственный в этом отношении: он эту моду завел, а с его примера, пожалуй, и другие начнут. Однакож, чтоб на словах сотского не раскусить пустышки, под разными предлогами объехал я все эти показанные места, ласками да шуточками повыспросил, что мне нужно было: оказалось, что все правда, и только что потом я вернулся в стан, вдруг докладывают, что Егор Парменов приехал и желает меня видеть. Милости, говорю, просим. Входит, расшаркивается.

— Здравствуйте, — говорю, — молодой человек! Как ваши дела и обстоятельства?

— Да что, — говорит, — сударь, дела мои плохие: я так и так наслышан, что меня оговаривает беглая дмитревская девка, аки бы я сам ее сманивал, и там будто бы прочее другое.

— Да, — говорю, — Егор Парменыч, есть такое дельце.

— Сделайте милость, батюшка, — говорит, — я, — говорит, — приехал просить вашего снисхождения. Позвольте мне против этого иметь свое оправдание: это все делается не что иное, как по злобе против меня; на первый раз точно-с: как эта девка сбежала, я, по молодости ее лет, заступился даже за нее перед вотчиной, но ей и матери сказал так, что если будет в другой раз, так не помилую. Она этому не вняла: сделала еще раз, а теперь, чтобы имсть увертку, чего лучше — свали на меня, да и

баста. Если она говорит, что я ее сманивал, — один я этого сделать не мог; не в кармане же мне было ее держать! Пусть она покажет, кто ее, по моему приказу, держал, да тех людей и спросить: что они скажут, тогда и раскроется, кто прав и кто виноват. Про самую старуху всякий вам скажет: маята моя изо всей вотчины, хуже всякого потерянного мужика, — хитрая, злобная, грубая; а дочка тоже-с, яблоко от дерева недалеко падает, с двенадцати лет пошла, может быть, на все четыре стороны. Коли уж после этого эдаким людям станут веру давать, так лучше не жить на белом свете.

Слушаю я его и едва только себя сдерживаю: значит, у человека совесть потеряна, лжет нагло и хоть бы в одном слове заикнулся, — как по-писанному катает.

— Что же, — говорю, — Егор Парменыч, так уж очень эту девушку ты порочишь? Какая-нибудь Палагея марковская, солдатка Фекла из Варгунихи или там мельничиха не лучше ее.

Он немного сконфузился, но на секунду-с, и опять как ни в чем не бывало.

— Я ее, сударь, — говорит, — не порочу против других: она или другие прочие, все мне равны.

— Полно, -- говорю, — Егор Парменов, петли мешать, фигли-мигли выкидывать: я вашей братии говорюнов через свои руки тысячи пропустил! По слову разберу, что солгал и что правду сказал. Тебе меня не обмануть: я все знаю.

— Я, сударь, — заюлил он, — не ради обмана, а только припадаю к вашим стопам: вотчина начинает против меня строить разные выдумки, заступы я себе ни от кого не вижу, не замарайте меня, маленького человека, навеки пред господином, а за добродетель вашу я благодарность чувствовать могу, хоть бы из денег, что ли, али вещами какими не потягощусь, а еще за благодсяние сочту.

Я усмехнулся, и вздумалось мнс, знаете, с ним, мошенником, маленькую шутку сыграть.

— Если, — говорю, — Егор Парменыч, ты стал таким манером говорить, так дело, значит, принимает другой оборот; как бы с этого ты начал, так мы, может быть, давно бы все и покончили.

— Не смел-с, сударь, говорить; откровенно вам доложу, человек я от природы робкий, иной раз, не во гнев

вам будь сказано, и подступиться к вам не смеешь: с вами говорить не то, что с кем-нибудь — ума вы необыкновенного, а мы люди самых маленьких понятий.

— Это, — говорю, — что! Это присказки; а ты мне говори сказку, как и что будет от тебя?

— Я бы, сударь, — говорит, — спросил вас самих назначение сделать. Вы чиновник не маленький: назначать я вам не могу, а должен только удовлетворить с удовольствием, чего сами потребуете.

— Хорошо, братец, я от этого не прочь, изволь, — говорю я, — только вот видишь что: совести моей до сей поры я еще не продавал, следовательно мне на первый раз за пустяки ее уступить не следует — десяти целковых не возьму.

— Как возможно-с — десять целковых! совесть — вещь драгоценная, — возражает он мне.

— Не то, что — говорю я, — совсем уж драгоценная, а за твое, например, дело можно взять тычонок сто на ассигнации.

Его, знаете, так и попятило: и смеется, и побледнел, и не знает, как понять мои слова.

— Как, сударь, — говорит, — сто тысяч?

— А что же такое! — говорю я.

— Очень много-с, — говорит, — эдаких денег у меня и в руках не бывало, мне и не сосчитать.

— Ничего, — говорю, — вместе сосчитаем; не обочту, не бойся.

— Оно точно-с, только, сударь, помилуйте: сумма-то уж эта ни с чем несообразна.

— Отчего ж несообразна? У тебя, я думаю, в кармане лежит около того, а чего неостанет, я и в долг поверю.

— И сотой части, сударь, около того нет. Шутить надо мной изволите; я не больше того, как в шутку принимаю ваши слова.

— То-то и есть, любезный, — начал уж я ему говорить серьезно, — хорошо, что ты скоро догадался. Неужели же ты думаешь, что я из-за денег стану с тобой заодно плутовать и мошенничать?

И начал ему потом высчитывать вся и все: все ему его добрые деяния представил, как в зеркале; но... как бы вы думали, милостивый государь... у него достало духу от первого до последнего моего слова во всем запелеться: по его понятию, правей человека на свете нет!

Хоть бы маленькое раскаяние в том, что дурно делал! Толковал, толковал с ним так, что в горле пересохло, наконец, высрал от себя и с первой же почтой написал барину письмо, с подробным изложением всех обстоятельств. Что будет на это письмо, не знаю-с, а жду ответа с большим нетерпением.

III

Следствие мы производили около двух недель. Перед самым потом отъездом исправник пришел ко мне с торжествующим лицом.

— Что это, Иван Семеныч, вы сегодня что-то очень веселы? — заметил я ему.

— Да-с, веселенек, — отвечал он. — Сегодня я получил письмо от барина Егора Парменова, которое душевно меня порадовало.

— Какого же содержания? — спросил было я.

— Ну, уж этого я теперь вам не скажу, а вы сами увидите, когда поедем назад через Марково, — сказал он и во всю дорогу, несмотря на мои расспросы, ничего мне не объяснил, а, приехав в Марково, велел собрать сход.

Егор Парменов сейчас явился к нам, бледный, худой, так что я его едва узнал.

— Батюшка Иван Семеныч, — отнесся он прямо к исправнику, — позвольте мне с вами два слова наедине сказать.

— Да зачем же наедине? — возразил ему тот. — Если тебе что нужно, так говори и при господине чиновнике. Секретов у меня с тобою не было, да и быть не может.

— Это дела-с собственные мои, домашние, так как я получил от господина моего письмо, с большими к себе и жене моей выговорами, — за что и про что, не знаю; только и сказано, чтоб я сейчас же исполнил какое от вас будет приказание. Разрешите, сударь, бога ради, как и что такое? Я одним мнением измучился пуще бог знает чего.

— Приказание мое я объявлю тебе на сходке, — отвечал исправник.

— Сходка готова; только мне до сходки желалось бы знать ваше распоряжение, — проговорил Егор Парменов.

— А коли готова, так и пойдем, — сказал исправник и пошел.

Я последовал за ним, Егор Парменов тоже. Проходя мимо флигеля, в котором тот жил, исправник обернулся к нему и сказал:

— Потрудишься, Егор Парменыч, зайти и за женою: надобно, чтобы и она там была.

— Да она-то там зачем же нужна-с?

— Да так уж, так надобно.

Егор Парменов пожал плечами, пошел во флигель, но скоро вернулся.

— Нельзя ли, батюшка, жены не требовать: женщина она непривычная, на сходках мужицких не бывала. Сделайте-с такую божескую милость освободите ее, — сказал он.

— Нет, любезный, нельзя, — такое уже дело идет, нельзя, — возразил хладнокровно исправник.

Егор Парменов вздохнул, махнул рукою и пошел опять во флигель.

— Иван Семеныч, не жестоко ли это? — заметил я ему.

— Ничего-с! Она вот услышит и распорядится с супругом лучше всех нас.

Мы вошли в сборную избу, где уж была целая толпа мужиков.

— Здравствуйте, братцы — сказал исправник.

— Здорово, бачка! Здорово, кормилец! — раздалось со всех сторон.

— Как живете-можете?

— Поманеньку, кормилец! Как твое благополучие?

— Тоже помаленьку: живу да хлеб жую.

— И дай те господи много лет жить да здравствовать, — сказали мужики, все в один голос.

— Спасибо, ребята, — отвечал Иван Семеныч и потом, оглядев толпу, прибавил: — а что, Петр Иванов здесь?

— Здесь, судырь, — отвечал из толпы, выступив немного вперед, как лунь седой старик, который, по своей почтенной паружности, был как отлетный соболев между другими мужиками.

— Ну что, старина, каково твое здоровье? Поправляется ли?

— Нешто, судырь; не против прежнего, а все надо бога благодарить. С нынешнего лета начинаю напольную работу поработывать.

— Это-с, рекомандую вам, — отнесся ко мне исправник, — прежний здешний бурмистр, старик добрый, богомольный, начетник священного писания.

— Благодарствую, что хвалить изволишь, а уж какое наше читанье: в книге видим одно, а делаем другое.

— Больно уж ты тогда барским-то гневом огорчился.

— Что делать-то, судырь, — отвечал старик с грустной улыбкой, — хлибки мы ведь уж оченно... что маненько не по нас, сейчас и в рот, — к мирскому-то большую привязку имеем.

— Ну, а писать-то можешь еще? не разучился? — спросил исправник.

— Пишу еще; земским я теперь от управителя поставлен: письма-то много.

— Как земским? — спросил Иван Семеныч. — Я этого и не знал. Это, значит, он тебя уж совсем своим подначальным сделал.

— Не знаю, судырь: его дело и его разумье; только то, что должность эта мне маненько не по летам. Он вон, уж и сам в очки смотрит, а я, пожалуй, годов на тридцать постарше его, — отвечал старик.

— А что, братцы, — начал Иван Семеныч после минутного молчания, обращаясь к мужикам, — как вы думаете и желаете, не лучше ли бы было, если бы вами опять начал управлять Петр Иванов, а Егора Парменова в смену?

При этом объявлении старик остался совершенно спокоен; у мужиков на всех почти лицах отразилось удовольствие, и все они переглянулись между собою.

Рыжий мужик, споривший с Егором Парменовым в тот наш проезд, первый заговорил:

— Это бы, ваше высокородие, лучше не надо быть, — в глаза и за глаза скажем. Егору Парменычу против Петра Иваныча не начальствовать.

— Это ты, братец, говоришь один, — возразил исправник, — а что скажет мир; говорите, братцы, все вдруг, как вы думаете?

— А что, бачка, миром те скажем, за Петра Иваныча мы окромя только бога молили, а от Егора Парменыча временем, пожалуй, жутко бывает! — слышалось разом несколько голосов,

— Один в деле, по рассудку, спросит, а другой просто те сказать обидчик: оборвет да облает — вот-те и порядки все, — добавил рыжий мужик.

На эти слова вошел Егор Парменов, вместе с женою своею, которая точно была премодная, собою Йедурна; оделась она, вероятно, для внушения к себе вящего уважения, в шелковое платье и даже надела шляпку, а в руках держала зонтик; вошла она прямо и довольно дерзко обратилась к исправнику:

— Что такое вам угодно от меня?

— Сейчас, милостивая государыня, — отвечал тот и, став посередине избы, вынул из бокового кармана письмо.

— Это я, — начал он, — читаю письмо вашего господина: «Милостивый государь Иван Семеныч! Приношу вам мою чувствительную благодарность за уведомление о беспутствах моего управителя — Егора Парменова. Оставить его в настоящей должности я считаю вредным для себя и для имения, и потому покорнейше прошу, по доброте вашей, принять участие и немедленно сделать распоряжение о смене его и о назначении в управляющие более благонадежного, по усмотрению вашему, человека; он же, как обманувший мое доверие, должен поступить зауряд в число дворовых людей».

Егор Парменов, побледневший, как преступник в минуты объявления ему судебного приговора, прислонился только к стене, а жена его зарыдала, — но, впрочем, проговорила:

— Что такое вы писали!.. Мы сами тоже будем господину писать: может быть, будет что-нибудь и другое.

— Пишите, сударыня; и я желаю от души вашему мужу оправдаться — возразил Иван Семеныч.—Но вместе с тем, чтобы ты меня, Егор Парменыч, впоследствии не обвинил, что я на тебя что-нибудь налгал или выдумал, так вот, братцы-мужички, что я писал к вашему барину, — и затем, вынув из кармана черновое письмо, прочитал его во всеуслышание. В письме этом было написано все, что он мне говорил.

— Солгал ли я, выдумал ли я тут что-нибудь? — заключил он, обращаясь к мужикам.

Управительница взглянула на мужа так, что мне сделалось страшно за него.

— Ничего этого и в помышлениях моих не бывало; я и смолоду этими делами не занимался, а не то что по теперешним моим заботам. Выдумать на человека по злобе можно все! — возразил было он.

Некоторые из мужиков усмехнулись.

— Ну как, Егор Парменыч, не бывало! — сказал опять рыжий мужик, видно, заклятой в душе враг его. — Доказывать-то на тебя не смели, а може, бывало и больше... где лаской, а где и другим брал...

— Вместо Егора Парменова, — заговорил опять исправник, — я назначаю, по вашему желанию, Петра Иванова. Желаете ли вы?

— Желаем, бачка, все мы того желаем.

— Стало, быть делу так. Ты, Егор Парменов, изволь сдать все счета и отчеты руками, а ты, Петр Иванов, прими аккуратнее; на себя ничего не принимай: сам после отвечать будешь. Прощайте, братцы! Прощай, Егор Парменов! Не пеняй на меня: сама себя раба бьет, коли нечисто жнет, — заключил Иван Семеныч, и мы с ним вышли и тотчас же выехали.

IV

Год спустя пришел ко мне из Кокинского уезда мужичок, предобродушный на лицо и немного пьян, поклонился сначала от исправника и начал просить о своем деле, которого, как водится, не сумел растолковать.

— Да ты чей? — спросил я его.

Он сказал: оказалось, что марковского господина.

— Кто у вас — Петр Иванов нынче управителем? — стал я его расспрашивать.

— Нету, родименькой, — отвечает он, — Петр Иваныч — дай ему бог царство небесное — побывшился; теперь не Петр Иваныч — другой.

— Кто же такой?

— Из наших же, бачка, мужичков. Барин ладил было так, что из Питера насрать али там нанять кого, да Иван Семеныч зартачился: вы, говорит, кого хотите там выбирайте, а я, говорит, своего поставлю, — своего и посадил.

— Ну, а прежний, — спросил я, — где управитель, который до Петра Иванова был?

— Прежний-то?

— Да, прежний.

— О... это *леший-то*... как его по имени-то, пес драл, и забыл уж.

— Егор Парменов, — подхватил я.

— Так, так, бачка, Егор Парменов... тут же, при усадьбе, живет.

— Отчего же он *леший-то*?

— Прозванье уж у нас ему, кормилец, такое идет: до девок, да до баб молодых был очень охоч. Вот тоже эдак девушку из Дмитрева от матки на увод увел, а опосля, как отпустил, и велел ей на лешего сговорить. Исправник тогда об этом деле спознал — наехал: ну, так будь же ты, говорит, и сам *леший*; так, говорит, братцы-мужички, и зовите его *лешим*. А мы, дураки, тому и рады: с правителей-то его тем времечком сменили — посмелей стало... *леший* да *леший*... так *лешим* и остался.

— Где же теперь эта дмитревская девка?

— При матке, бачка, при матери живет.

— Замуж не вышла?

— Ну де, родимой, где уж? Хошь и мужички, а обсгаем этого: парнишку тоже принесла; matka ладила боло подкинуть, так Марфутка-то не захотела: сама, говорит, выпою и выкормлю. Такая дикая теперь девка стала, слова с народом не промолвит. Все богомольствует... по богомольям ходит.

— Ну, а жена Егора Парменова где?

— При нем, бачка, живет; тоже по нем и ее *лешачихой* дразнят.

— А ее-то за что же?

— Сердцем-то она уж больно люта, да и на руку дерзка; теперь уж воли-то ни над кем нет, так с мужем батальствуют, до того дерутся да лаются, что в избе-то уж места мало: на улицу выбиваются — прямые *лешие*!..

ФАНФАРОН

Еще рассказ исправника

I

Губернией управлял князь***. Четверг был моим докладным днем. В один из них, на половине моего доклада, дежурный чиновник возвестил:

— Помещик Шамаев!

— Просите, — сказал князь.

Я по обыкновению отошел за ширмы; названная фамилия напомнила мне моего кокинского исправника, который тоже прозывался Шамаев. «Уж не сын ли его?» — подумал я.

Вошел высокий мужчина, довольно полный, но еще статный, средних лет; в осанке его и походке видна была какая-то спокойная уверенность в собственном достоинстве; одет он был, как одевается ныне большая часть богатых помещиков, щеголевато и с шиком, поклонился развязно и проговорил первую представительную фразу на французском языке. Князь просил его садиться и начал с того, с чего бы начал и я.

— Не родственник ли вы кокинского исправника Шамаева?

— Я его родной племянник, ваше сиятельство, — отвечал тот.

— В таком случае, — продолжал князь, всегда очень любезный и находчивый в приеме незнакомых посетителей, — позвольте мне начать с того, что вашего почтен-

ного родственника мы любим, уважаем, дорожим его службой и боимся только одного, чтоб он нас не оставил.

Шамаев поклонился.

— Мне, ваше сиятельство, — отвечал он, — остается только благодарить за лестное мнение, которое вы имеете о моем дяде и который, впрочем, действительно заслуживает этого, потому что опытен, честен и деятелен.

— Именно, — подтвердил князь.

На этом месте разговор, кажется, мог бы и приостановиться; но Шамаев сумел перевести его тотчас на другой предмет.

— Как хорош вид из квартиры вашего сиятельства; здесь этим немногие дома могут похвастаться, — сказал он, взглянув в окно.

— Да, — отвечал князь, — особенно теперь: ярмарка; площадь так оживлена.

— Мне кажется, ваше сиятельство, эта ярмарка скорее может навести грусть, чем доставить удовольствие, — заметил Шамаев.

— Почему ж вы так думаете?

— Она так малолюдна, бедна.

— Что ж делать?.. Все-таки она удовлетворяет местным потребностям.

— Для удовлетворения местных потребностей достаточно нескольких лавок и двух базарных дней в неделю; назначение ярмарок должно быть более важно: они должны оживлять край, потому что дают сподручную возможность местным обывателям сбывать свои произведения и пускать в движение свои капиталы, наконец обмен торговых проектов, соглашение на новые предприятия... но ничего подобного здесь нет.

— Здешняя губерния, — возразил князь, — ни по своему положению, ни по своей производительности не может иметь такого важного торгового значения, чтобы вызвать ярмарку в подобных размерах.

— Напротив, ваше сиятельство, — возразил, в свою очередь, Шамаев, — здешняя губерния могла бы иметь огромное торговое значение. Край здешний я знаю очень хорошо, и он в этом отношении представляет чрезвычайно любопытный факт для наблюдения. Одна его половина, которую я называю береговою, по преимуществу должна бы быть хлебопашною: поля открытые, земля удобная, средство сбыта — Волга; а выходит не так:

в них развито, конечно, в слабой степени, фабричное производство, тогда как в дальних уездах, где лесные дачи идут на неизмеримое пространство, строят только гусьнки, нагружают их дровами, гонят бог знает в какую даль, сбывают все это за ничтожную цену, а часто и в убыток приходится вся эта операция; дома же, на месте, сажени дров не сожгут, потому что нет почти ни одной фабрики, ни одного завода.

По этим словам Шамаева я заключил, что он должен быть капиталист-помещик, который затевает какое-нибудь значительное торговое предприятие и поэтому приехал объяснить с управляющим губернией. Князь был тоже, кажется, моего мнения, потому что сейчас же поспешил Шамаеву предложить сигару, который, в свою очередь, закурив ее, тоже не замедлил угадать ценность ее происхождения.

— Причина этому, ваше сиятельство, — мы, владельцы, потому что мы все-таки еще любим жить по старине: в нас совершенно нет ни коммерческого духа, ни предприимчивости. Все мы очень похожи на одного жида, которого я знал в Варшаве, который нажил огромное состояние и под старость лет с ума сошел: не знал ни счету деньгам, ни употребления, а только сидел в своей кладовой и дрожал, чтобы его не обокрали... Так и мы сидим у своих дач, очень богатых, надобно сказать, и у своих шкатулок, у кого они есть, и боимся рискнуть двадцатью пятью рублями серебром или срубить при порубке лишнее бревно; ну как, думаешь, лес-то и не вырастет больше?

— В этом случае кому-нибудь одному надобно показать пример, — сказал князь.

— И я так полагал, ваше сиятельство, и даже взялся быть этим примером, и был жертвой. Сначала я думал делать на акциях, как делается это в других местах; однако у меня их на сто целковых не раскупили. Я и на это не посмотрел; имея каких-нибудь двести душ, устроивал два самых удобных, по местным средствам, завода: сначала шло очень хорошо, а потом, при первых же двух-трех неудачах, не имея запасных капиталов, не выдержал — и со страшным убытком должен был бросить, тем более что постигло меня ничем не заменяемое несчастье: лишился жены, заниматься сам ничем не мог.

Говоря последние слова, Шамаев поднял глаза к небу, вздохнул, потупился и несколько времени молчал.

— Я, ваше сиятельство, — начал он потом, вставая и не совсем твердым голосом, — хоть до сегодняшнего моего представления и не имел чести быть вам знаком, но, наслышавшись о вашем добром и благородном сердце, решаюсь прямо и смело обратиться к вашему милостивому покровительству.

— Что такое? — спросил князь.

— Так как теперь, ваше сиятельство, я не имею никакого особенного занятия, а малютки сироты (при этом Шамаев опять вздохнул)... сироты мои, малютки, — продолжал он, — требуют уже воспитания и невольно вынуждают меня жить в городе с ними, и так как слышал я, что ваканция старшего чиновника особых поручений при особе вашего сиятельства свободна, потому желал бы занять эту должность и с своей стороны смею уверить, что оправдаю своей службой доверие вашего сиятельства.

Князь, как большая часть мягких и добрых людей, был почти неспособен отказывать просьбам, особенно так прямо и смело высказанным, как высказал свою Шамаев, но в то же время он был настолько опытен и осторожен в службе, чтобы не поддаться же сразу человеку, совершенно не зная, кто он и что он такое.

— С большим удовольствием, — отвечал он подумав, — но я это место уже предполагал заместить другим, и если только он не будет желать, то...

Шамаев поклонился.

— Стало быть, ваше сиятельство, я могу иметь некоторую надежду?

— Очень, очень, — отвечал князь, раскланиваясь.

Шамаев еще раз, и довольно низко, поклонился и вышел.

Князь позвал меня.

— Что это за господин, не знаете ли вы? — спросил он.

Я отвечал, что не знаю.

— Но, вероятно, его кто-нибудь знает здесь в городе, кого бы я мог спросить?

Я отвечал, что всего лучше спросить его дядю, исправника, который, конечно, его хорошо знает и скажет правду.

— Прекрасно, — сказал князь, — вы едете в Кокин, попросите Ивана Семеныча моим именем сообщить вам об его племяннике все подробности, какие вы найдете нужными, и все это передайте мне, а там увидим.

II

Через неделю я поехал в Кокин.

Ивана Семеновича не было в городе. Я написал ему записочку; он приехал.

— Я к вам, Иван Семеныч, с поручением, — начал я.

— Слушаю-с, — отвечал он.

— Во-первых, перед моим отъездом сюда к князю являлся ваш родственник — штаб-ротмистр Шамаев.

— Слушаю-с, — повторил Иван Семенович.

— Во-вторых, — продолжал я, — он просится на место старшего чиновника особых поручений.

Иван Семенович почесал затылок.

— В-третьих, князь поручил мне расспросить вас о нем как можно подробнее; вы, конечно, хорошо его знаете.

Иван Семенович потер лоб.

— Как не знать! Очень уж хорошо знаю; только как вам рассказывать: правду ли говорить, или нет?

— Разумеется, правду; а то хуже, князь узнает стороной; этим вы и себя скомпрометируете, да и меня подведете.

— Конечно, — отвечал Иван Семенович и начал ходить взад и вперед по комнате. — Ах ты, боже ты мой! Боже ты мой милостивый! — говорил он как бы сам с собой. — Немало я с этим молодцом повозился: и сердил-то он меня, и жаль-то мне его, потому что, как ни говорите, сын родного брата: этого уж из сердца не вырвешь — кровь говорит.

Несколько времени мы молчали.

— Ну-с, почтеннейший Иван Семеныч, я жду, — сказал я, наконец.

— Да что, сударь! Не знаю, с чего вам и начать, — отвечал Иван Семенович. — Прежде всего, — продолжал он, — я хочу вам сказать об его отце, моем старшем брате, который был прекраснейший человек; учился, знаете, отлично в Морском корпусе; в отставку вышел

капитаном второго ранга; словом, умница был мужчина. Каждое слово его имело вес; хозяин был такой, что этого другого в жизнь мою я уж больше и не встречал; все эти нынешние модные господа агрономы гроша перед ним не стоят. От каких-нибудь ста душ усадьба у него отделана была, как игрушечка: что за домик, что за флигеля для прислуги, какие дворы скотные, небольшие теплички, оранжерея, красный двор мощеный, обсаженный подстриженными липками, — решительно картинка, садись да рисуй! Скотоводство держал большое-с, и поэтому земля была удобрена, пропахана, как пух; все это, знаете, при собственном глазе; рожь иные годы сам-пятнадцать приходила, а это по нашим местам не у всех бывает; выезд у него, знаете, был хоть и деревенский, но щегольской; люди одеты всегда чисто, опрятно; раз пять в год он непременно ночью обежит по всем избам и осмотрит, чтобы никто из людей не валялся на полушубках или на голом полу и чтобы у всех были войлочные тюфяки, — вот до каких тонкостей доходил в хозяйстве! Редкостный, можно сказать, был помещик; это я говорю не потому, что он мне родной брат, а это скажет вам всякий, кто только знал его. Женился он по страсти, взял дочку бывшего губернского предводителя; состояния за ней большого не было; впрочем, брат за состоянием и не гнался: какое дали, и за то спасибо. Года в два он так поправил мужиков, что любо-дорого, и часто мне покойник, ходя этак со мной по усадьбе, говаривал:

— Вот, брат Иван, — говорит, — видишь, как я себя устроил. Кажется, все недурно, и как рассчитываю, по теперешним моим средствам, так хоть семь человек детей будет, всех смогу поднять и воспитать не хуже себя.

Однако, видно, человек предполагает, а бог располагает; супруга его вышла... не знаю, как вам и сказать об этой женщине: осудить ее, — чтобы не взять греха на душу, да и похвалить, пожалуй, не за что. Была бы она дама и неглупая, а уж добрая, так очень добрая; но здравого смысла у ней как-то мало было; о хозяйстве и не спрашивай: не понимала ли она, или не хотела ничем заняться, только даже обедать приказать не в состоянии была; деревенскую жизнь терпеть не могла; а рядиться, по гостям ездить, по городам бы жить или этак года бы, например, через два съездить в Москву, в Петербург, и прожить там тысяч десять — к этому в начальные годы

замужества была невероятная страсть; только этим и бредила; ну, а брат, как человек расчетливый, понимал так, что в одном отношении он привык уже к сельской жизни; а другое и то, что как там ни толкуй, а в городе все втрое или вчетверо выйдет против деревни; кроме того — усадьбу оставить, так и доход с имения будет не тот.

— В город, душа моя, — говорил он ей, — переехать не хитро; но ты вспомни, что состояние наше не шереметьевское: как этак начнешь помахивать туда да сюда, так и концы с концами не сведешь, придется занимать, а я в жизнь мою, — говорит, — ни у кого копеечкой не одолжался.

Словом, не ехал-с из деревни. Так слезы, обмороки, болезни — притворные или нет, уж не знаю.

— Вы, — говорит, — заедаете мой век, я не так воспитана, я, — говорит, — человеческого лица здесь не вижу...

И так далее. Большие, слышу, стали выходить между ними из-за этого семейные неприятности; так что я, чтобы как-нибудь да посладить, начал брату, издалека конечно, советовать, чтобы он хоть должность, что ли, какую-нибудь себе приискал, и, как полагаю, даже успел бы его убедить в этом, однако на пятый уж почти год их супружества она родила сына, этого самого, которого вы видели и которого в честь деда с материнской стороны наименовали Дмитрием. Ну, думаю, слава богу, не порассеются ли хоть этим? И действительно: точно переродилась женщина; в восторге, что сделалась матерью, сама захотела кормить младенца; все ночи не спит с ним; что чуть-чуть ребенок побольше разревется, в город скачи за доктором. Я тогда еще не служил, жил в деревне, и мы часто видались. Ну, сначала, я вижу, брату приятно было смотреть на эту ее материнскую нежность; а тут, как ребенок начал подрастать, так, пожалуй, нам с ним стало и не нравиться. Едва успела от груди отнять, как стала его пичкать конфетами; к чему мальчишка ни потянется, всего давай; тарашится на огонь, на свечку — никто не смей останавливать; он обожжет лапёнку, заревет, а она сама пуще его в слезы; сцарапает, например, папенькину чашку — худа ли, хороша ли, все-таки рублей пять стоит, но он ее о пол, ничего — очень мило. С няньками тоже возня, беспрестанно меняет; та не умела занять ребенка, другая сердито на него смотрит, третья со-

бой нехороша. Мальчишка едва папу с мамой выговаривает, давай гувернантку; ну, а это еще нынче легко: есть и няньки, и гувернантки недорогие; а в то время трудно было и найти; а уж если нашел, так давай большую цену. Брат, однако, ее и в этом потешил, нанял, ни много ни мало, за восемьсот рублей француженку — рябая этакая девка, из себя нехорошая, но умная и, главное, хитрая; сразу смекнула, в чем дело, и давай вместе с маменькой баловать Митеньку; ну и бесподобно, значит; «не гувернантка, а друг дома», рассказывается всем; другу дома, стало быть, надобно платить вместо восьмисот тысячу. Между тем мальчишка подрастает, собой делается прехорошенький и довольно острый на словах, но шалун и резвый, как вы только можете себе представить. Восьмой год пошел, а за книгу лучше и не сажай, по-французски болтает бойко, а русскую грамоту читает, как через пень колоду валит, пишет каракулями, об арифметике и помину не было: вряд ли и считать-то умел, но зато лакомиться, франтить — мастер! Целое утро будет сидеть и не пошевелится, только завей ему волосы. Брат было пробовал сначала говорить, да где тут? Она прямо ему сказала: «Если ты будешь, говорит, кричать на Митеньку, так я не перенесу этого и безвременно лягу в могилу». И не лгала в этом случае: я сам был свидетелем подобной сцены. Подавали водку, только этот мальчуган, всего еще ему было не более четырех лет, подбежал, в минуту налил с краями ровно рюмку да залпом всю и выпил. Брат, это увидевши, взял его, так, больше для шутки, за ухо: «Вот тебе, говорит, вот тебе, рано еще начинаешь», и так, знаете, легонько потянул его. Боже ты мой, как он рывкнет, и побежал к матери.

— Что такое? что такое?

Он ревет да кричит:

— Ой, папаша, ой, папаша меня прибил.

Унимают, конфет обещают, ничего не берет и, должно быть, от слез да от водки-то побледнел этак, и дыханье у него захватило: и прошло, конечно, сейчас же, но надобно было видеть, какая с маменькою сделалась истерика: глаза остолбенели, рыдает, плачет, нас обоих бранит; видим, что она сама не вольна над своими чувствами. Из этой кроткой, можно сказать, женщины точно тигрицей какой сделалась; и это, сударь, каждый раз повторялось, как только что коснется до Митеньки.

Тут Иван Семенович приостановился немного.

— Слабоват, видно, характером был ваш брат или уж очень любил свою супругу, — заметил я ему.

— Любил он, конечно, ее любил, — отвечал он, — но не слепо; в других случаях, как я вам и докладывал, не все делал по ней, и что до характера его касается, так совершенно напротив — в этом отношении он был настоящий семьянин: твердый, настойчивый, любил порядок, смолоду привык, чтобы все делалось по нем, а тут ничего не мог сделать... Эх, милостивый государь, — продолжал Иван Семенович, покачав головою, — я могу вам при этом повторить слова того же покойного моего брата: «Супружество, — говаривал он, — есть корабль, который, чтоб провести благополучно между всеми подводными камнями, лоцману нужна не только опытность, но и счастье». Не знаю, конечно, успел ли бы он впоследствии повести по-своему, потому что бог веку долгого не дал.

— Помер он?

— Да-с, действовали ли на него эти душевные неприятности, которые он скрывал больше на сердце, так что из посторонних никто и не знал ничего, или уж время пришло — удар хватил; сидел за столом, упал, ни слова не сказал и умер. Этот проклятый паралич какая-то у нас общая помещичья болезнь; от ленивой жизни, что ли, она происходит? Едят-то много, а другой еще и выпивает; а моциону нет, кровь-то и накапливается.

— Что же, как вдова осталась? — преребил я, желая перейти к главному сюжету рассказа.

— Очень была огорчена, — продолжал Иван Семенович. — «Один, говорит, Митенька только привязывает меня к земле; а если бы сго не было, так и жить бы без моего друга не хотела».

Меня покойник назначил попечителем до совершеннолетия малолетка. Выждал я первое время; но потом слышу, что француженка от Мити отходит, поссорилась с маменькой. В чем это, думаю, у них вышло? Впрочем, та, отошедши, заезжает ко мне. Спрашиваю ее:

— Что такое у вас?

— Помилуйте, — говорит, — Иван Семеныч, я в стольких домах жила, мне везде детей поручали в полное распоряжение, и нигде еще я не употребляла во зло этой доверенности; но, вы сами знаете, какой же я была гувер-

нанткой в доме Настасьи Дмитриевны? Я скорее была рабой ее Митеньки, и видит бог, что сил моих больше не доставало. Этот мальчик до того уж простер свою дерзость ко мне, что на днях нарочно облил все мое новенькое платье деревянным маслом, и я просила Настасью Дмитриевну позволить мне только поставить его в угол, она и этого не хотела сделать и мне же насказала самых обидных колкостей.

Я только покачал головой. Что прикажете делать с подобной маменькой? Еду к ней, и первое ее слово:

— Замечаете ли вы, братец, как Митенька у меня растет? Не правда ли, какой красавчик?

И говорит это, знаете, при самом мальчике, который тут стоит и которому, как заметно по лицу, очень приятны эти слова, носенок так вверх и дерет.

— Вижу, — говорю, — сестрица, и радуюсь, но ведь это что же? Рост бог дает всем, а теперь, по-моему, главное надобно подумать о воспитании его. Гувернантка от вас отошла, учителя тоже никакого нет, не пора ли его пристроить в казенное заведение?

— Ах, нет, — говорит, — братец, я теперь и думать об этом не смею: вы не поверите, как он слаб здоровьем; прежде я должна его здоровье еще поправить.

Я усмехнулся: малый, как кровь с молоком, здоровее меня.

— Я, — говорю, — сестрица, не вижу, чтобы он был особенно слаб или нездоров; это пустяки, тебе так мерещится, и не знаю, известно ли тебе, что покойный брат его записал в морской корпус, куда он, вероятно, скоро и будет принят, а потому я советовал бы отправить его в Петербург, хоть покуда приготовить немного.

Вся побледнела от этих слов.

— Нет, — говорит, — братец, я решительно не хочу отдать его в корпус: при его комплекции... там такая строгость!

— Да что же такое, — говорю, — моя милая, комплекция и строгость! Там воспитываются дети понежней и лучше наших с тобою.

— Ни за что на свете: должен будет поступить в военную службу, куда-нибудь зашлют, пошлют в сражение, убьют; у меня при одном воображении об этом делается лихорадка.

— Эти еще сражения, — говорю, — сударыня, далеко впереди, а теперь надобно хлопотать, чтоб он не остался безграмотным недорослем.

— Братец, — перебила она, — позволь мне тебя просить предоставить мне самой думать о воспитании моего сына. Худа ли, хороша ли, но я мать, и ты, как мужчина, не можешь понять материнских чувств. Я решилась во всю мою жизнь не расставаться с ним; в этом мое единственное блаженство. Теперь я наняла для него гувернера.

Меня это уж взорвало, знаете.

— Желая, — говорю, — тебе, сударыня, наслаждаться этим блаженством. С твоими гувернерами смотри только не вынынчай себе на шею болвана.

— Равным образом, братец, болванами могут быть и ваши дети, — говорит она мне наоборот, чтобы уколоть меня.

Уезжаю я. Гувернер, говорят, приехал, француз какой-то. У нас в городе пробыл двое суток и все это время в нашем дрянном трактиришке, с двумя выгнанными приказными, пил и играл на бильярде; и те его на прощанье отдули киями, потому что он проигрался, напил, наел, а расплатиться нечем. Славный, вижу, малый, но так как невестушка на меня изволит сердиться: ни сама не ездит, ни пишет, ни людям не велит заходить, стало быть, я ничего не мог сделать. Однако через год или меньше после этого времени вдруг она приезжает ко мне и с Митенькой, которому, заметьте, уже лет четырнадцать стукнуло. Очень рад, конечно.

— Я, — говорит, — братец, Митеньку в гимназию везу.

— Доброе, — говорю, — дело: нынче в гимназиях очень хорошо учат. А что же, прибавляю, гувернер твой?

— Ах, — говорит, — братец, не говорите мне про этого человека. Это чудовище какое-то! Как я за ним вначале ни ухаживала — лелеяла его, можно сказать; он ничего этого не оценил. Вообрази, мой дружок, он Митю, который именно как младенец еще невинен, начал по ночам возить с собой на мужицкие поседки. Я как узнала, так и обмерла; и как, надобно сказать, ребенок кроток и благороден: он никак мне про своего учителя не хотел открыть этого.

Я рассмеялся.

— Славный, — говорю, — наставник.

— Ужасный, — говорит, — братец, человек! Но это еще не все; ты посмейся, он даже мне вздумал делать куры¹.

— Вот видишь ли, — говорю, — сестрица: ты тогда на меня сердилась, а, значит, я говорил правду. Хорошие гувернеры дороги, да к тебе в деревню и не поедут; а шарлатаны эти добру не научат.

— Вижу, — говорит, — голубчик мой, все теперь вижу и потому решилась отдать Митю в гимназию, пускай тут учится; найдем квартиру, и сама с ним буду жить.

— Зачем же сама-то жить! Это уж, говорю, по-моему, и лишнее бы.

— Отчего же, — говорит, — дружок мой, лишнее? Чей же, говорит, надзор может быть лучше, как не самой матери?

— Это так, — говорю, — только не твой, моя милая сестрица; я знаю наперед: Митенька, например, заленится в класс идти; а ты, вместо того чтобы принудить его, еще сама его оставишь, будешь ко всем учителям ездить да кланяться; а он на это станет надеяться, а потому учиться-то не будет и станет шалить.

— Что это, братец, ты всегда был для меня каким-то злым пророком; бог с тобой! Я этого переменить не могу, так уж решилась!

— Ваше дело, — говорю, — как знаете, так и делайте.

Отправились. Живут там. Мой старший сын Петруша, ровесник Дмитрию-то, тоже тогда в гимназии учился. Спрашиваю его, когда этак на каникулы приезжает:

— Каково племянничек подвизается?

— Да что, — говорит, — папсынка, все в третьем еще только класс: два года не першел.

— Что же, — говорю, — способностей, что ли, у него нет, или ленится?

— Нет, какое, — говорит, — способностей нет, ничего не занимается, потому что некогда: все по маскарадам да по балам маменька возит, танцует как большой; одна шуба, говорит, у него, папенька, лучшая во всей гимназии — хорьковая, с бобровым воротником, у директора этакой нет, на вицмундире сукно меньше как в двадцать

¹ Делать куры — ухаживать (от французского выражения — faire la cour).

рублей не носит, а штатского-то платья сколько! Все в сюртуках да во фраках щеголяет. Лошадь у него отличная, чухонские сани с полостью, и, когда в гимназию едет, всегда сам правит.

«Вот тебе и собственный надзор маменькин, — думаю, — хорош!» — Ну, однако, с течением времени Петруша мой кончает своим порядком курс и поступает в Демидовское, и пишет мне, между прочим, что Дмитрий Никитич тоже не хочет учиться в гимназии и поступает в Демидовское из четвертого класса; самолюбие, знаете, разыгралось! Не хочется от сверстников отстать; только дурно, что прямо не принимают, надо наперед приготовиться. Нанимает ему маменька самого лучшего профессора за тысячу рублей. Ради этих расходов, большая часть имения закладывается. Год проходит, тысяча заплачена; но наступает экзамен, и малый наш хоть бы в одном предмете выдержал. Демидовское, значит, не годится; переезжают в Москву, в университет поступать; ждем, не будет ли там толку, но и там не понравилось. Получаю я от нее преотчаянное письмо: пишет, что Митенька учиться больше не желает, потому что ходил в университет вольным слушателем и что все уж узнал, чему там учат, а что теперь намерен поступить в военную службу, в гусары. «Представьте, братец, мое ужасное положение, — прибавляет она, — чего всегда прежде опасалась, то должно исполниться; только и надежды на бога да на вас. Не напишете ли вы Митеньке письмо, не отсоветуете ли вы ему идти в военную службу, а поступить в депутатское собрание?»

Подумал я, порассудил, потолковал с женою. «Что же, думаем, отсоветовать, для чего и для какой цели!» — и ответил ей таким образом, что по желанию твоему, милая сестрица, я не пишу Дмитрию, ибо это совершенно бесполезно. Он от самого своего рождения никого и ни в чем еще не послушался; а за намерение его идти в военную службу надобно благодарить бога, потому что там его по крайней мере повымуштруют и порастрясут ему матушкины ватрушки; но полагал бы только с своей стороны лучшим — поступить ему в пехоту, так как в кавалерии служба дорога; записывать же его в депутатское собрание — значит продолжать баловство и давать ему возможность бить баклуши. Думал, что за это письмо она по обыкновению рассердится; однако нет. Нежданно-не-

гаданно прикатила сама из Москвы, заезжает ко мне и говорит, что, возложивши упование на господа бога, она решила отпустить Митю в службу и потому едет с ним в Малороссию, где и думает пожить, а «так как, говорит, имение остается без всякого надзора, то умоляю тебя, друг мой, принять его в свое распоряжение». Я только развел руками.

— Безрассудная, — говорю, — ты женщина, сестрица! Зачем же ты сама-то едешь за такую даль в твои лета? И как ты будешь жить с сыном-юнкером, и где, по деревням, что ли, с ним, или в казармах? Знаешь ли ты, какого рода эта жизнь?

Заткнула уши и слушать не хочет. Просидела, как на иголках, один вечер и куда-то скрылась, больше уж и не видал; а сказывали, что целым обозом уехала куда-то за Москву. Именье, однакож, принял и потом, видевши большие во всем запущения, только, знаете, хотел было немного поустроить, не тут-то было: через месяц какой-нибудь получаю от них письмо, умоляют, чтобы прислал тысячу рублей серебром. Что угодно, пишут, могу из именья продать, только, бога ради, не остановить, потому что без этого Митеньку в полк не принимают. Делать нечего; взял и продал лучшую отхожую их пустошь, выслал им тысячу рублей. Думаю, по крайней мере теперь поугомонятся. Ничего не бывало; как начали, сударь мой, почти чрез каждую почту жарить меня: «Бесценный братец, многоуважаемый дядюшка, вышлите денег, соберите оброки или займите где-нибудь». Только в том и письма состоят. Выслал еще раза два; терпение, наконец, лопнуло, написал им предерзкое письмо. «Вероятно, вы, — пишу им, — не умеете считать, что ожидаете оброков, когда они получены мною уже за целый год вперед; а если вы, мои милые, думаете, что в вашей усадьбе или в какой-нибудь из деревень ваших открыты золотые рудники, так вы ошибаетесь. Нет у меня про вас больше денег». Осердился. Получаю на это ответ от одного уж племянника, очень вежливый, но холодный. Извиняется, что обеспокоили меня управлением имения, и потому его ныне поручают своему старосте. Ну, думаю, мне же лучше: кума с возу, куму легче. Прошло таким делом года четыре — нислуху ни духу от моей родненьки; только один раз прогуливаюсь я по нашему базару, вдруг, вижу, идет мне навстречу их ключница, Марья Алексеев-

на, в своей по обыкновению заячьей китайской шубке, маленькой косынкой повязанная; любимая, знаете, из всех людей покойным братом женщина и в самом деле этакая преданная всему их семейству, скопидомка большая в хозяйстве, неглупая и очень не прочь поговорить и посудить о господах, с кем знает, что можно.

— Марья Алексеевна, — говорю, — мое вам почтение.

Она подошла ко мне и, как водится, поцеловала меня в плечо.

— Зачем и про что изволили пожаловать к нам в город?

— Запасов, сударь, — говорит, — кой-каких приехала закупить: чаю, кофею, сахару для дому.

— Да что, сама, что ли, вздумала чайничать да кофеичать?

— Никак нет, сударь, для госпожи, — говорит.

— Как для госпожи? Барыня разве здесь?

— Как же, сударь, — говорит, — месяца полтора, как прибыли.

— Хорошо, — говорю, — а мне и весточки не дадите.

— Не можем, сударь, этого ничего знать, — говорит, — воля господская.

— Надолго ли же, — говорю, — приехала сестра?

— Да надо полагать, что на житье изволили прибыть.

— Что же за причина этому и как она с своим Митенькой решилась расстаться?

Марья Алексеевна только покачала головой.

— На это, — говорит, — было большое желание Дмитрия Никитича, так как они поступили уже в офицерский чин, стали маменьку просить, чтоб, чем жить там при них и проживаться, лучше ехать в деревню и скопить что-нибудь для них, но барыня и после этих слов еще, по своей привязанности, долго не решались; а потом уж, видевши, что от них стало большое настояние, сделать не по-ихнему не хотели, поехали-с. Не с теперешних, батюшка Иван Семеныч, пор, — прибавляет она, — всякое слово Дмитрия Никитича закон для Настасьи Дмитриевны было, сами изволите знать.

— Как не знать, — говорю, — только в этот раз, пожалуй, она и хорошо сделала, что послушалась. Там, я думаю, в этой кочевой жизни немало намаялись.

— Не без того, сударь; много было слухов и до вас, может, доходили. Когда густо, а когда и пусто. Полковые

господа — молодые! При деньгах, так запотроев много, а нет, так денек-другой в кухне и огня не разводят: готовить нечего; сами куда-нибудь в гости уедут, а старушка дома сидит и терпит; но, как я, по моему глупому разуму, думаю, так она и этим бы не потяготилась, тем, что теперь, как все это на наших глазах, так она в разлуке с ним больше убиваются. Если которая почта от Дмитрия Никитича писем нет, так мы, ей-богу, не знаем, что и делать: так плачут, так плачут, что, господи, откуда у них только эти слезы берутся. Расстраивают свое здорье, ни на что не похоже.

Жалко мне стало мою невестушку, слушая эти рассказы.

— Нехорошо, — говорю, — очень плохо... Да что она на меня все сердится, что ли?

— Ах, нет, сударь, — говорит, — как изволите вы знать ее ангельскую доброту, на кого она могут сердиться? Скорее, осмелюсь вам доложить, она полагают, что вы на них гневаетесь.

— Ну, так вот что, — говорю, — Марья Алексеевна, когда ты приедешь домой, кланяйся ей от меня и скажи, что я завтра приеду.

— Ах, батюшка Иван Семеныч, сделайте такую божескую милость; уж я и не знаю, как она вам рады будут. Утешьте вы их, порассейте хоть немного; ну что с нами одними — какие разговоры? Все одна да одна, голубушка моя, не глядела бы на нее.

Поехал я на другой день. Еще когда подъезжал к усадьбе, у меня замерло сердце; представьте себе, после этакое устройства, какое было при брате, вижу я, что флигеля развалились, сад заглох, аллея эта срублена, сломана, а с дома тес даже ободран, которым был обшит; внутри не лучше: в зале штукатурка обвалилась, пол качается; сама хозяйка поместилась в одной маленькой комнате, потому что во всех прочих холод страшный. Мне обрадовалась, бросилась на шею, прослезилась.

— Так-то, — говорю, — сестрица, вот и вы возвратились; я приехал проведать вас.

— Благодарю, дружок мой, благодарю, благодетель мой, что вы меня вспомнили, или нет, погодите... не хочу с вами ни говорить, ни слушать вас, а наперед покажу вам письмо Митеньки, которое вчера только получила.

И так, знаете, проворно соскочила с дивана к комоду, отпирает, у самой руки дрожат, подала, наконец.

— Каково, братец, красноречие, слог-то какой! Умница он у меня.

— Очень, — говорю, — хорошо.

А чего очень хорошо, ничего особенного нет, обыкновенное письмо молодого человека: описывает разные пустяки, почерк больше этакой ученический.

— По письму еще вы, братец, не можете судить, — продолжала она, — а если бы вы его самого видели! Этакой восхитительной наружности мужчину вообразить трудно; что за ловкость, что за обращение! Принят в самых лучших домах; любим всеми, уважаем. Дмитрия нет, танцы не составляют, потому что барышни с другими кавалерами танцевать не хотят. Он приехал, все ожило: старичков в карты усадит; молодежь у него сейчас за-танцует. И я вот несколько потом раз замечала: все, что есть в обществе солидного, умного, все это за Дмитрием ходит по следам и ловит его каждое слово.

Слушаю ее и внутренно усмехаюсь.

— Это, — говорю, — сестрица, хорошо; только как служба-то у него — исправно ли идет?

— Ах, братец, — говорит, — про службу вы уж мне лучше и не говорите. Я боюсь одного, что он на этой службе все здоровье растеряет. Что ж, говорит, конечно, ценят, очень ценят. Генерал приезжает ко мне перед самым отъездом сюда. «Настасья Дмитриевна, говорит, чем мы вас можем благодарить, что сын ваш служит у нас в дивизии! Это примерный офицер; как только у меня выбудет старший адъютант, я сейчас его беру к себе, и это будет во всей армии первый адъютант».

— Слава богу, если так все хорошо идет, — говорю.

А сам почти наверное знаю, что на деле совершенно не то, и, признаюсь, невольно задумался, до чего может доводить слепая материнская любовь. Во всем другом, например, женщина всегда была довольно правдивая, а тут явно лжет, выдумывает, чтоб как-нибудь своего Митеньку пораскрасить. Обедать сели мы втроем: попадья у нее была еще тут в гостях. Гляжу: мне положена ложка серебряная, а у них у обеих деревянные. «Что такое, думаю, неужели трех серебряных ложек не достало?» Спросить было совестно, промолчал. Однако после обеда, вышедши прогуляться, вижу, что Марья идет из погреба.

— Что это, мать моя, — говорю ей, — у вас деревянные ложки уж стали к столу подавать?

— Что, сударь Иван Семеныч, — говорит, — нам делать, был было у нас при Никите Семеныче домик, как полная чаша, а теперь вот барынина ложечка, что вы изволили кушать, да две чайных, больше и не спрашивайте, только и есть серебра.

— Куда ж оно девалось? У брата было пропасть серебра.

— Пуда три было, если не больше; все туда в полк увезено. И кто говорит, что в употреблении, а другие скажут, что продано или там заложено.

— Славно! — говорю. — И усадьбу-то довели хорошо, нечего сказать. Каналья этот староста, кабы воля моя была, я бы с ним разделался.

— Нет, — говорит, — Иван Семеныч, там как вам угодно, вся воля ваша есть, а только на старосту изволите приходиться напрасно, на все были приказы от самого Дмитрия Никитича, только и пишут: ничего не жалею, да денег мне вышли. Ранжереи проданы по их письму, мельница тоже-с, с дому тес — и тот, по их приказанию, сколочен и продан.

Взорвало меня, знаете.

— Так что, — говорю, — твоя старая-то дура, барыня, сидит да думает и позволяет этому оболтусу все зорить и губить? Доживет, что на старости лет есть будет нечего: с голоду помрет.

— Сами, сударь, видим, — говорит, — что не умно делают, даром, что госпожа. Вот хоть бы и по нашей братье посудить, что уж мы, темные люди; у меня у самой детки есть; жалостливо, кто говорит, да все уж не на эту статью: иной раз потешишь, а другой раз и остановишь, как видишь, что неладно. А у нашей Настасьи Дмитриевны этого не жди: делайся все по команде Дмитрия Никитича, а будто спасибо да почтенье большое?

— А что же? — говорю.

— Небольшое, сударь; больше бы им надобно маменьку свою жалеть. Сударушка приехала сюда в этакой мороз в одном старом салопишке, на ножках ботиночек не было, а валеные сапоги, как у мужичка; платье, что видите на ней, только и есть, к себе уж и не зовите лучше в гости: не в чем приехать. Не дорогого бы стоило

искупить все эти вещи, да, видно, и на то не хватило: на дело так нет у нас, а на пустяки тысячи кидают.

— Грустно, — говорю, — Марья, грустно мне слушать это.

— Ах, сударь Иван Семеныч, разве легко нам это рассказывать. Посмотрели бы вы, как вся дворня, от мала до большого, все мужички горькими обливаются слезами, вспоминая старого барина, хотя, конечно, грех сказать и про Дмитрия Никитича, чтобы они этакие были строгие или уж чрез меру взыскательные.

— Что же, — говорю, — прост, что ли, он или, между нами сказать, глуп?

— Какое, сударь, глупы; подите-ка, какой говорун; на словах города берут, а на деле, пожалуй, и ваше слово — слаб рассудком. Покойник ваш братец, изволите, я думаю, помнить, не любил много говорить, да много делал; а они совсем другое дело; а до денег, осмелюсь вам доложить, такой охотник, что, кажется, у них только и помыслов, что как бы ни быть, да денег добыть. Теперь собираются жениться, и сказывают, что часто этак хвастают: «Женюсь, говорит, непременно на красавице и на богачке».

— Как же, — говорю, — много про него припасено!

И не стал больше расспрашивать: хорошего, видно, не услышишь. Ночевавши ночь, собираюсь домой, только вижу, что моя Настасья Дмитриевна как-то переминается и, наконец, говорит:

— Братец, — говорит, — не можете ли вы мне одолжить займы полтора ста рублей? Мне теперь крайняя нужда; а я, — говорит, — как только соберу оброки, сейчас вам выплачу.

— Слушай, — говорю, — сестра, ты знаешь, у меня денег у самого немного, но так как я вижу, что ты действительно в крайности, то я тебе дам полтора ста рублей с одним условием, чтобы ты из них гроша не посылала Дмитрию, а издержала всё на себя. Посмотри, до чего ты себя довела и на что похоже ты живешь: у тебя, как говорится, ни ложки ни плошки нет; в доме того и гляди, что убьет тебя штукатурка; сама ты в рубище ходишь.

Зарыдала.

— Изволь, — говорю, — взять у меня денег и непременно устрой себя и около себя.

— Непременно, — говорит, — дружок мой, устрою. Мне самой тяжело становится так жить.

Дал ей полтора ста целковых и, поехавши домой, раздумался. «Не утерпит, думаю, она, поделится с Митенькой».

С этими мыслями и завернул к почтмейстеру.

— Сделайте, — говорю, — милость, если будет моя невестка посылать к сыну денег, уведомьте меня.

И я не ошибся в своем предположении. В первую же почту тот дает мне знать, что отправлено сто сорок серебром. Для себя только десять целковых оставила. Так это меня взорвало. Сейчас же поехал к ней. Она — знает уж кошка, чье мясо съела: как увидела меня, так и побледнела.

— Братец, голубчик мой, — говорит, — я перед тобой виновата, но что же делать? Он в такой теперь нужде, что невозможно его не поддержать. Я здесь перебыю как-нибудь, много ли мне надо?

— Слушай, — говорю, — Настасья Дмитриевна; я оборвал себя и отдал тебе свои последние деньги на твою нужду. Ты меня обманула и с этих пор ты о гривеннике взаимы не заикайся мне; живи, как хочешь; у меня про твоего ветрогона Дмитрия Никитича банк не открыт: бездонную кадку не нальешь!

На этом месте Иван Семенович опять приостановился.

— Фу, устал даже, — проговорил он и потом, помолчав некоторое время, снова продолжал:

— Года чрез полтора, знаете, этак приехал я из округа, устал; порастрясло, конечно; вдруг докладывают, что какой-то офицер ко мне приехал. Я было сначала велел извиниться и сказать, что не так здоров и потому принять не могу, однако он с моим посланным обратно мне приказывает, что он мне родственник и весьма желает меня видеть. Делать нечего, принимаю. Входит молодой офицерик, стройный, высокий, собой хорошенький, мундир с иголочки, сапоги лакированные, в лайковых перчатках, надушен, напомажен.

— Вы, — говорит, — дядюшка, вероятно, не узнали меня?

— Да, — говорю, — извините меня; припоминаю не много, но боюсь ошибиться.

— Я, — говорит, — такой-то Дмитрий Шамаев.

— Ах, боже мой, Митенька! — невольно, знаете, вскрикнул и потом, поодумавшись, говорю: — извините, — говорю, — милый племянничек, что так вас по-прежнему назвал.

— Помилуйте, дядюшка, — говорит, — напротив, мне это очень приятно; это показывает, что вы не утратили еще ко мне вашего родственного расположения, которым я всегда так дорожил и ценил.

— Очень, — говорю, — вам благодарен, что вы так меня разумеете. Надолго ли, — говорю, — приехали побывать в наши места?

— На двадцать восемь дней, — говорит, — дядюшка.

— Что же так мало? Матушка, я думаю, глаза проглядела, вас ожидая, а теперь в этокое короткое время и наглядеться на вас не успеет.

— Что ж делать, — говорит, — дядюшка, долго ли, коротко ли, все расстаться придется. Повидаюсь с ней, поустрою хоть несколько имение.

— Да-с, — говорю, — милый Дмитрий Никитич, и это не мешает: именье ваше будет скоро никуда негодно, так вы его разорили.

Он вздожнул, знаете, пожал плечами и говорит:

— Что ж, дядюшка, — говорит, — делать! Теперь я сам сознаю мои ошибки, но кто же в молодости не имел их? От маменьки в этом отношении я не имел никаких наставлений, напротив, еще оне ободряли все мои глупости; но, поживши и испытавши на опыте, иначе начинаю смотреть на вещи.

Тут входит моя жена.

— Ну-те-ка, — говорю, -- молодой человек, узнаёте ли, кто это такая дама?

— Как же, — говорит, — не узнать добрую, милую тетушку, которая всегда мне такие красивые конфеты дарила!

Жена его тоже сейчас узнала, приветствовала, и стали они перекидываться между собою словами: супруга моя, например, удивляется, как он ее узнал, потому что она, вот видите, очень постарела, а он, наоборот: дает такой тон, что, если ему и трудно было узнать ее, так это потому собственно, что она похорошела... Говорят они таким манером, а я между тем присматриваюсь к моему племянничку и думаю сам с собою: «Что же уж очень я напал на него и представлял его себе совсем пустым

человеком. Малый хоть куда: говорит умненько, складненько». Далее, потом-с, после обеда сошлись по обыкновению в моем кабинете. Я сел в кресло вздремнуть немного, вдруг сквозь сон этак слышу, что гость мой ходит по комнате и что-то с жаром говорит; открываю я глаза, прислушиваюсь: рассказывает он, что будто бы там, где они стоят, живут всё богатые помещики и живут отлично, и что будто бы там жениться на богатой невесте так же легко, как выпить стакан воды. Эти слова его, знаете, и напомнили мне, что говорила о нем Марья.

— Не знаю, — говорю, — милый мой Дмитрий Никитич, как нынче, а прежде я там тоже бывал, живут так же, как и мы грешные: есть богатые, есть и бедные; и богатые невесты, слышно, выходят больше или за богатых, или за чиновных, а на вашу братью — небогатых субалтер-офицеров — не очень что-то смотрят.

— Ну, нет-с; нынче там не так-с, — возражает он мне. — Нынче, если вы понравились девушке, то она, будь у ней хоть миллион, полюбя вас, выйдет за вас замуж.

— Может быть-с, — говорю, — только вот прежде надобно понравиться чем-нибудь.

Он прошелся этак по комнате, усмехнулся.

— Уважаю вас, дядюшка, — говорит, — как почтенного дядю, спорить с вами я не смею, тем более что про себя лично в этом случае мне рассказывать довольно щекотливо, и замечу одно, что тамошние женщины все прекрасно образованы, очень богаты и потому избалованы. Встречая молодого человека, если он им нравится, они знать не хотят, богаты ли вы, бедны, чиновны, или нет.

— Ну, вот видите, — говорю я, — вы рассказываете нам точно про какую-нибудь новооткрытую Америку; все там не по-нашему делается.

— Вам, я вижу, дядюшка, это кажется смешно и неправдоподобно, но я могу доказать примерами: в прошлом году у нас женился майор и взял сто тысяч чистогану — это уж факт!

— Так майор же, — говорю, — а не прапорщик.

— Позвольте-с, — пребывает он меня, — если вам угодно успех этот отнести к чину майора, так вот вам другие два примера: пред самым моим отъездом, один наш прапорщик, и один даже юнкер, оба бедняки, женились и получили в приданое: первый небольшое со-

стояньице с десятью тысячами серебром годового дохода, а второй хватил полмиллиона. Конечно, они оба хорошего очень рода, молодцы, щегольски говорят по-французски, но и только; кроме этого, в них ничего особенного нет: прапорщик даже очень недалек; а умели по нравиться девушкам.

— Дай бог, конечно, — говорю, — этакое счастья всякому, но только вот видите ли, Дмитрий Никитич, что я в жизнь мою наблюдал: вас, охотников жениться на богатых невестах, смело можно считать тысячами, а богатых невест десятками, так на всех, пожалуй, и неостанет.

— Зачем же на всех? На счастливых выпадает! Но... если удастся некоторым, то почему не искать и каждому? Возьмите вы молодого человека в моем положении и скажите мне откровенно, чем другим я могу поправить мою карьеру; а поправить ее мне очень нужно: я очень небогат, но и по моему воспитанию, и по тому кругу, в котором я жил, по всему этому я привык жить порядочно.

— Какая вам, — говорю, — еще надобна карьера? Служите усерднее, вы красивы из себя, молоды, здоровы, человек, как понимаете себя, образованный, выслужитесь: карьера сама собою придет со временем.

— А денежные средства? — возражает он мне.

— Что же, — возражаю я ему в свою очередь, — денежные средства? По-моему, ваши денежные средства вовсе недурны: жалованья вы получаете около трехсот рублей серебром, именье... хоть вы и расстроили его, но постройте немного, и одной оброчной суммы будете получать около шестисот серебром; из этих денег я бы на вашем месте триста рублей оставил матерѣ: вам грех и стыдно допускать жить ее в такой нужде, как жила она эти два года. Извините, я говорю прямо.

— Все это, дяденька, я¹ очень хорошо сам знаю, но в таком случае, — говорит, — я не могу служить.

— Отчего же не можете? У вас будет шестьсот рублей годового дохода: на эти деньги очень, кажется, можно жить молодому офицеру.

Он вдруг засмеялся.

— Шестьсот рублей, — говорит, — для кавалерийского офицера! Нет, — говорит, — дядюшка, видно, вы совершенно не знаете службы.

— А когда, — говорю, — мало вам в кавалерии, переходите в пехоту, служба везде все равна.

— Если бы и так, — отвечает он мне на это, — так и в таком случае мне нечем будет жить.

— Да что же такое? — вспыхнул уж, знаете, я. — Все вам мало да мало, а спросили бы вы: как служил ваш отец и я? Жалованья мы получали вдвое меньше вашего, из дома ни копейки, кроме разве матушка тихонько от отца пришлет белья, а мы, однако, прослужили: я двенадцать лет, а брат пятнадцать.

— Если так рассуждать, так вы, конечно, — говорит, — дядюшка, правы, но вы забыли, что нынче не те уж времена и не такое мы с детства получаем воспитание. Кто говорит! если б я вырос в деревне, ничему бы не учился...

(Он-то, изволите видеть, многому учился, думаю я; однакож слушаю.)

— Роскоши бы, — продолжает, — не видал, в обществе не был принят, это другое дело, я бы стоял там где-нибудь в деревне, ел бы кашу да говядину с картофелем, пил бы водку — и прекрасно! Но это для меня уж невозможно. Там у нас неделя не проходит без бала.

— Эх, — говорю, — Дмитрий Никитич, танцуя, целый век не проживешь.

— Кто ж, — говорит, — дядюшка, с этим спорит? Неужели вы думаете, что я в этих балах вижу цель моей жизни? Вовсе нет! Я хочу только жить между людьми, равными мне, и в обществе, хоть сколько-нибудь образованном; но предположим, что я поступлю буквально по вашему совету, то есть ничего не буду предпринимать и смиренно удовольствуюсь доходами с имения; в таком случае, как я и прежде вам объяснил, службу я должен оставить и, следовательно, поселиться в деревне, в нашей прекрасной Бычихе; но что ж потом я стану делать? В чем и какого рода могут быть у меня развлечения? Ездить по деревням на беседы да в села на базары!

— Кто вас, — говорю, — заставляет ездить по беседам? Занятия можно найти: хозяйничайте; а если захотите развлечься, зимой поезжайте в губернский город; у нас здесь веселятся больше по городам.

— Благодарю вас, дядюшка, покорно на ваших городских удовольствиях, — говорит он и кланяется мне в пояс. — Бывал я прежде, — продолжает, — был и теперь проездом в вашем губернском собрании. Что это такое, помилуйте, только что не горят сальные свечи да

не подают квасу: скука, натянутость во всем, как на купеческой вечеринке, и что всего милее: я, например, в маскараде ангажирую одну девушку, она мне вдруг прямо говорит: «Pardon, monsieur¹, я с незнакомыми не танцую». Я отвернулся и не стал больше говорить. Это черт знает что такое! Она видела, что я в мундире. Как те-тушка, скажете вы, оправдаете поступок этой девицы или нет? — обращается он к жене моей; а та, знаете, чтоб немного побесить его:

— Что ж? — говорит, — она, верно, не хотела с вами танцевать.

Он только на это приосанился и ничего не сказал.

— Ну как, — говорю, — не хотела; она просто глупо поступила.

— Не глупо, — говорит, — дядюшка, а это дичь какая-то. Но там, боже ты мой, что это за женщины! Знакомы вы или не знакомы: она сейчас вас оприветствует, пойдет с вами одна под руку в сад, в поле; сама вызовет вас на интересный разговор — и все это свободно, умно, ловко! Вы, дядюшка, улыбаетесь; вам, как человеку пожилых лет, может быть, смешны мои слова, но я говорю справедливо.

— Нет-с, — говорю, — я не тому, а очень уж вы хвалите тамошние места; видно, там зазнобушка есть, так и кажется все в ином свете.

— Ну, дядюшка, — говорит, — что это за слово: зазнобушка, очень уж оно неблагозвучно, — и потом, подумавши, прибавляет: — Действительно, — говорит, — я имею там виды на одну девушку.

— Что ж и жениться думаете?

— Конечно-с, тем более что это такая партия, о которой я не смел бы подумать, если бы не случай.

— Дай бог, — говорю, — Дмитрий Никитич, только смотри, есть поговорочка, которую твой покойный отец часто говаривал: «Девушки хороши, красные пригожи; ах, откуда же берутся злые жены?»

— Эта поговорка, — говорит, — дядюшка, никоим образом не может отнестись ко мне!

— Не хвастай, — говорю, — понравится сатана лучше ясного сокола; в тех местах женщины на это преловкие, часто вашу братью, молоденьких офицеров, надувают;

¹ Извините, сударь, (франц.)

а если ты думаешь жениться, так выбери-ка лучше здесь, на родине, невесту; в здешней палестине мы о каждой девушке знаем — и семейство ее, и род-то весь, и состояние, и характер, пожалуй.

— Очень вам благодарен, — говорит, — дядюшка, за ваш совет и вполне уверен, что вами руководствует мне желание добра, но вы меня совсем не поняли. Обмануться я не могу, потому что я женюсь с расчетом. Нынче уж, — говорит, — дядюшка, над любовью смеются, а всем надобно злата, злата и злата. Точно так и я. У меня все предусмотрено: кроме ее прекрасного воспитания, ума, доброты ангельской, кроме, наконец, обыкновенного приданого, у ней миллионное наследство — в деле. Много ли у вас таких невест?

— В делах-то, пожалуй, — смеюсь я ему, — и у наших лежат миллионы, да дела-то вещь темная...

— А вот какая, — говорит, — дядюшка, темная вещь, это мне говорил один тамошний стряпчий-законник, который на этих делах зубы приел. Он говорил, что на охотника за это дело сейчас можно дать двести тысяч.

— Хорошо, — говорю, — значит, дело. Только когда и скоро ли оно кончится?

— В этом-то, — говорит, — и фортель весь заключается: старик засиделся в деревне, обленился; ему страшно подумать тронуться в Петербург, и дело таким образом стоит, не двигается, но если оно попадет в руки человека с энергией, так ему будет недурно. Вот видите, — говорит, — дядюшка, как у меня далеко все рассчитано... Стало быть, я не слепой обожатель!

— Вижу, — говорю, — что у вас в голове все рассчитано, а на деле-то, мне кажется, так вас либо надувают, либо дурачат.

— Время-с, — говорит, — все это покажет.

— Конечно, — говорю, — время покажет...

И уж мне, знаете, стал надоедать этот спор.

— Кончим, — говорю, — мой милый Дмитрий Никитич, наши прения, которые ни к чему не поведут. Мне тебя не убедить, да и ты меня тоже не персуверишь; останемся каждый при своем.

Так мы с ним и поспорили; вижу, что мои замечания ему не очень понутру: нахмурился, ушел и с полчаса ходил молча по залу. Вечером, однако, присхала одна дама с дочерью, он сейчас с ними познакомился и стал лю-

безничать с барышнями, сел потом за фортепьяно, очень недурно им сыграл, спел, словом, опять развеселился. После ужина, впрочем, стал прощаться, чтоб ехать домой. Я останавливаю его ночевать.

— Нет уж, — говорит, — дядюшка, отпустите меня; я приехал на такое короткое время, надо с матушкой побыть.

— А в таком случае, — говорю, — не смею останавливать, поезжайте.

— У меня, впрочем, — говорит, — дядюшка, до вас просьба есть.

Согрешил! думаю, верно, хочет денег просить.

— Какая же это просьба? — говорю не совсем уж таким приятным голосом.

— Я, — говорит, — дядюшка, желаю остальную свободную часть именья заложить, и как это зависит от здешних судов, так нельзя ли вам похлопотать, чтоб мне скорее это сделали?

— Это, — говорю, — Дмитрий Никитич, ты таким-то манером думаешь устраивать именье?

— Невозможно, — говорит, — дядюшка, при таком случае, как женитьба, о которой я вам говорил; не могу же я быть совершенно без денег.

— Послушай, — говорю, — Дмитрий Никитич, исполни ты хоть один раз в жизни мою просьбу и поверь, что сам за то после будешь благодарить: не закладывай ты именья, а лучше перевернись как-нибудь. Залог для хозяев, которые на занятые деньги покупают именья, благодетелен; но заложить и деньги прожить — это хомут, в котором рано ли, поздно ли, ты затынешься. О тебе я не говорю: ты мужчина, проживешь как-нибудь; но я боюсь за мать твою, ты оставишь ее без куска хлеба.

— Помилуйте, дядюшка, неужели, — говорит, — я не понимаю священной обязанности сына!

— Верю, — говорю, — друг мой, что понимаешь, но скажу тебе откровенно, потому что желаю тебе добра и вижу в тебе сына моего родного брата, что ты еще молод, мотоват и ветрен.

— Очень грустно, дядюшка, слышать, что вы меня так понимаете, — возражает он мне.

— Ну, мой милый, — говорю, — хоть сердись на меня, хоть нет; а я говорю, что думаю, и не буду тебе содей-

ствовать в залоге имения: делай помимо меня, а я умываю руки.

На эти слова мои он расшаркался и уехал. Впрочем, я, рассчитав, знаете, что скоро ему к отъезду, и как бы вроде того, чтоб заплатить визит, еду к ним. Подъезжаю и вижу, что дорожная повозка у крыльца уж стоит: укладываются; спрашиваю:

— Где барыня?

— В спальне у себя, не так здорова.

— А молодой барин?

— У них сидят-с.

Вхожу. Она сидит на постеле, а он у окошка. Я чуть не вскрикнул: представьте себе, в какие-нибудь эти полтора года, которые я ее не видал, из этойкой полной и крепкой еще женщины вижу худую, сморщенную, беззубую старушонку.

— Ах ты, боже мой! думаю, и все это сделалось от разлуки с Митенькой.

— Мать ты моя, — говорю, — сестрица, что это с тобой сделалось? Тебя узнать нельзя.

— Все больна, — говорит, — братец, это время была. Митенька-то мой, братец!

— Знаю, — говорю, — сестрица, мы с ним знакомы. Молодец у тебя сын; мы с женой не налюбовались им, как он был у нас, — говорю ей, чтобы потешить ее.

— Слава богу, — говорит, — батюшка!

А сама взглянула на образ и перекрестилась. Так что-то даже жалко сделалось ее в эту минуту.

— Едет уж, — говорит, — братец, а я здесь остаюсь, — проговорила, знаете, таким плачевным голосом, да и в слезы.

— Что же, — говорю, — сестрица, делать! сын не дочь, не может сидеть все при вас.

— Вы, — говорит, — маменька (вмешивается Дмитрий), вашими слезами меня, наконец, в отчаяние приводите. Если вам угодно, я исполню ваше желание, останусь здесь: брошу службу, брошу мою выгодную партию; но уж в таком случае не пснйайте на меня. Я должен погибнуть совершенно, потому что или сопьюсь, или что-нибудь еще хуже из меня выйдет.

— Я, Митенька, друг мой, ничего, ей-богу, ничего. Я так только поплачу; нельзя же, — говорит, — не поплакать!

— Поплакать, — говорю, — сестрица, можно, да ты плачешь-то не по-людски. Родительская любовь, моя милая, должна состоять в том, чтобы мы желали видеть детей наших умными, хорошими людьми, полезными слугами отечества, а не в том, чтобы они торчали пред нами.

Между тем, как я таким манером рассуждаю, он вдруг встал. Она как увидела это, так и помертвела; а плакать, однако, не смеет и шепчет мне:

— Батюшка братец, мне бы благословить его хотелось.

— Ну что ж, — говорю, — это хорошо. Маменька ваша, — говорю, — Дмитрий Никитич, желает вас благословить.

Он мне вдруг мигает и тоже шепчет:

— Нельзя ли, — говорит, — дядюшка, чтоб не было этого благословения, а то опять слезы и истерики. Ей-богу, я измучился, сил моих уж нет.

— Ну, что делать, — говорю, — братец, нельзя старуху этим не потешить.

Дал ей образ, встал он перед ней на колена, слезы вижу и у него на глазах; благословила его, знаете, но как только образ-то принял у нее, зарыдала, застонала; он ту же секунду драла... в повозку, да и марш; остался я, делать нечего, при старухе.

— Помилуй, — говорю, — сестрица, что ты такое делаешь!

— Батюшка братец, — говорит, — не могу я без него, моего друга, жить.

Да как заладила это: «Не могу я без него жить», плачет день, плачет другой... я было ее к себе, в город, лекаря пригласил, тот с неделю посмотрел и говорит: «Если ее оставить в этом положении, так она с ума сойдет». Как после этого прикажешь с ней быть?

— Что же вы, — говорю, — сестрица, так уж убиваетесь? Поезжайте, когда так, за ним.

— Не смею, батюшка братец. Ну, как ему это будет неприятно?

— Что это, — говорю, — за вздор — неприятно! Что это тебе пришло в голову, — поезжай!

А сам между тем к нему, молодцу, написал особое письмецо. Пишу, что «мать ваша, Дмитрий Никитич, не может жить без вас и едет к вам, но она имеет, к удивлению моему, страшное опасение, что вам это будет не-

приятно, чего, конечно, надеюсь, не встретит, ибо вы сами хорошо должны знать, как много вы еще должны заплатить ей за всю ее горячую к вам любовь...» и так далее, знаете, написал умненькое этакое письмецо с заковычками небольшими: хотелось ему объяснить, что он обязан к матери быть благодарен и почтителен. Старуха моя, как только я утвердил ее в этой мысли, точно ожила: сама укладывается, собирается, мне только что не в ноги кланяется. Уехала, наконец, и вскоре потом пишет: благодарит за участие и объясняет, что Митенька обрадовался ей без души и что еще большая для нее радость та, что общее их желание исполняется: он женится на красавице и богачке. Я сначала и поверил, а потом люди их стали болтать, что, когда она туда прибыла, так он ей нанял особую маленькую квартиру, и что ни к невесте, ни к ее родне даже и не представлял, и что будто бы даже старуха и на свадьбу не была приглашена, и что уж после сама молодая, узнавши, что у ней есть свекровь, поехала и познакомилась, и что тесть и теща ему за это очень пеняли. Как это ни скверно с его стороны, однако, отвергать не могу: мать-де стара да бедна, не так, может быть, образована, как нынешние дамы, так и стыдно! Фанфарон, и большой фанфарон, как вы это увидите и из последующей его жизни. Этаких господ, надобно сказать, не один он на свете. Чего бы, кажется, должно совеститься — деньги, например, брать в долг да не платить, им ничего. А что, по-нашему, вздор: в старой бы шинельке, если ему пришлось пройти по улице, так со стыда сгорит, прятаться за углы станет, чтобы только его не увидел кто-нибудь... Сколько прошло потом времени после женитьбы моего Дмитрия Никитича, теперь уж хорошенько не помню. Только прогремела, наконец, у нас по уезду такая молва, что бычихинский барин вышел в отставку и изволил с маменькой и с молодой супругой прибыть в свое поместье и очень-де шибко принимаются за хозяйство. Я, знаете, на правах дяди ожидаю хоть бы и визита себе — не едут; мне немножко это и обидно. Думаю: видно, в самом деле племянник разбогател, когда и знать не хочет. Однако получаю с нарочно посланным от него письмо, в котором приносит тысячу извинений, что до сих пор сам не был и жены не представил; причина тому та, что, приехавши в усадьбу, не нашел ни одной годной для выезда ло-

шади. «Препятствие это, милый племянник, — отвечаю я ему, — весьма легко устранить». И с этим же, знаете, посланным посылаю за ними карету шестериком, чтобы и они спокойно доехали, да и себя чтобы тоже не уронить! «На-мо! говорю, знай наших!» Приезжают-с. Он уж в штатском платье, щеголь этакой, раздобыл немного, усы, бакенбарды, осанка этакая, как и вы, может быть, заметили, графская — залюбованье, по наружности, мужчина. Она очень еще молоденькая, довольно высокая, стройная, собой хорошенькая, только худа что-то очень и вообще какая-то воздушная: дунешь, кажется, так она упадет, не то что вот наши барышни — коренастые, краснощекие. Немочкой она мне показалась на первый раз. Одета, конечно, по последней моде, так что у моей супруги глаза даже разгорелись; всю ночь после мне толковала, какое на ней все это дорогое и со вкусом. Рекомендует он ее нам.

— Прошу, — говорит, — дядюшка и тетушка, почтить мою жену таким же родственным расположением, которым и я всегда пользовался от вас.

Она тоже просит полюбить.

Мы говорим, что это наша обязанность.

— Не скучаете ли вы, — говорю, — сударыня, в деревне, в наших местах?

— Нет-с, — говорит, — с мужем и детьми зачем же скучать?

— А дети ваши велики? — спрашивает жена моя.

— Старшему, — говорит, — два гда, а младшему шесть месяцев.

— Сами кормите?

— Нет, — говорит, — первого я сама кормила, но потом была больна, и второго доктор мне запретил; так это мне грустно!

— Вот, — говорит (вмешался уж это племянник), — тетушка и дяденька, побраните для первого знакомства вашу племянницу, — хандрит часто: что немного не по себе, а она уж бог знает что воображает, никак и ничем себя не хочет порассеять.

Я посмотрел, знаете, на нее: цвет лица, кажется бы, бледный, а между тем румянец, как два врезанные розовые листа, играет. «Ну, пожалуй, думаю, судя по этому, есть от чего и похандрить»; однако не выказал этого, а, напротив, еще говорю:

— Нехорошо, — говорю, — молодой даме о болезни думать.

— Нет, — говорит, — дядюшка, я не думаю, а, ей-богу, говорит, иногда себя очень нехорошо чувствую.

И так далее беседуем. Но так как они, хоть и не первый год женаты, а для нас все еще будто молодые, и потому я затеял для них обед, кое-кого из знакомых позвал. Съехались те. Вижу, мой Дмитрий Никитич себя держит свысока. Что-то насчет стола заговорили, и он тотчас же нам начал рассказывать: какой нынче должен быть порядочный, как он выразился, стол, перечислил названия кушаньям — всё иностранные, так что мы, его слушающие, этаких и не слыхивали, и все это, знаете, очень подробно — точно сам повар! Потом об экипажах коснулся разговор. Он стал доказывать, что если уж покупать экипажи, так никак не менее восьмисот рублей серебром, потому что такой экипаж будет гораздо выгоднее дешевого, прослуживши десять — пятнадцать лет без починки, и вслед за этим начал смеяться над некоторыми нашими помещиками, которые собирают экипажцы дома, хозяйственно.

— Кто, — говорю я ему на это, — Дмитрий Никитич, не знает, что коляска в восемьсот рублей серебром лучше, чем дома собранная в двести рублей ассигнациями; да ведь всякой по одежке протягивает ножки; надобно наперед, чтобы восемьсот-то рублей в кармане были.

— О дядюшка, что это за вздор! Велики деньги восемьсот рублей!

Словом, я вижу, что он немного корчит из себя барича; к супруге своей в то же время очень внимателен, беспрестанно, знаетс, обращается к ней на французском языке. Она ему также отвечает по-французски. Я-то не понимаю, а только жена мне после сказывала, что она это, как называется, произносит совершенно как французженка. Далее потом вышли как-то и мы, и гости все наши в залу. Он, увидевши тут фортепьяно, вдруг говорит моей жене:

— Так как я знаю, тетушка, что вы любительница музыки, так не угодно ли вам заставить жену мою сыграть что-нибудь; она, — говорит, — концерты давала.

Супруга моя, конечно, начала просить. Она было сначала отнекивалась, говорит, что давно не играла; однако упросили. Села и сыграла штучки две хорошо, очень

хорошо и бойко, и с чувством; потом романс сыграла, а он спел. Я и понял, что он хочет пыль в глаза пустить образованием, знаете, своей супруги; ну, и это еще ничего — извинительно. При расставанье я говорю, что я и жена на следующей неделе постараемся им заплатить визит.

— Нет, — говорит, — дядюшка, не извольте вы беспокоить ни себя, ни тетушку, потому что у меня теперь хаос; все ломается и переделывается. Я буду вас просить, когда все это приведется в порядок, и тогда надеюсь, что в состоянии буду принять вас прилично.

— Как хочешь, — говорю, — нам все равно, но что же такое ты переделываешь: дом, что ли?

— Все, — говорит, — дядюшка: всю усадьбу поднимаю с подошвы.

— Ну, доброе дело; только не спешил бы, а исподволь бы все устраивал; это будет и дешевле и прочнее.

— Нет, — говорит, — дядюшка, я не такого характера: я люблю, чтобы у меня все кипело.

И в самом деле, видно, у него закипело. Люди беспрестанно ездят в город, то материалов закупить, то мастеровых нанять. К нам заходят тоже, спрашиваю их:

— Барин, — я говорю, — видно, при деньгах?

— При деньгах-с, — отвечают мне.

Слава богу, думаю; радуюсь. Наконец, он и сам является и, только что поздоровался, сейчас же подводит меня к окну.

— Не угодно ли, — говорит, — дядюшка, взглянуть на новокупок моих.

Гляжу. Стоит новомодная коляска и щегольских четверня вороных лошадей.

— Недурны кони? — спрашивает.

— Да, — говорю, — у кого же ты это купил?

— У Архипова-с, — говорит.

Я невольно, знаете, пожал плечами. У Архипова точно, надобно сказать, отличный конский завод, но дело в том, что у него, как я знаю, меньше трехсот серебром лошади нет.

— Что же, — говорю, — Дмитрий Никитич, ты платил за них?

— Вздор, — говорит, — дядюшка, просто шаль, — полторы тысячи целковых за четверку.

— Деньги хорошие, — говорю, — и полторы тысячи целковых не очень дешево.

— Помилуйте, дядюшка, — возражает он мне, — да вы рассудите: лошади все кровные, одна другой вершком ни выше, ни ниже, масть в масть; а как съезжены, вы посмотрели бы! Мне вчера только привели их, сегодня я заложил и поехал. Поверьте мне, говорит, дядюшка, я кавалерист и в лошадях знаток; стоит мне только эту четверку в Москву свести, я за нее меньше четырех тысяч серебром не возьму.

— Можно взять и меньше, — говорю я на это, и тут же к слову спрашиваю: — А что это, Дмитрий Никитич, говорю, какой у тебя кучер? я что-то его не знаю. Из жениного имения, что ли?

— Нет, — говорит, — это нанятой, чудный малый; одна посадка, посмотрите, чего стоит... толстяк-то какой!

— Что же ты, — говорю, — ему платишь?

— Десять целковых в месяц.

— Да, — говорю, — десять же, однако, целковых!.. Цена петербургская; а кажется, для деревни это лишнее. У покойного отца твоего хороший был кучер и к лошадям очень привязанный.

— Ну, что это, дядюшка, за кучер? Ему на косульницах ездить, а не на кровных лошадях. Он к этим львам и подойти не посмеет, да и дурак какой-то! Я ему велел возить солому да воду в хлев.

Не хотел его тут оспаривать, потому что он уж не молоденький офицер, а женатый, муж, семьянин.

— А я, — говорит, — дядюшка, к вам с требованием обещанного визита; мне уж теперь не стыдно принять вас в свой домишко.

— Будем, — говорю, — когда прикажешь, тогда и будем.

— Я бы, — говорит, — в будущую пятницу вас просил; оно немножко и кстати, потому что что-то такое вроде именин моей жены.

— Очень, — говорю, — кстати. Если бы я знал, я бы и без зову приехал.

— Тетушка тоже, — говорит, — будет?

— Будет, — говорю.

— Стало быть, это статья решенная, — продолжает он, — но мне бы еще хотелось пригласить кой-кого из городских, и потому прощайте.

— Для чего же тебе это хочется? — спрашиваю я.

— Так, — говорит, — дядюшка, — нельзя же: могут

случиться делишки по судам; лучше, как позакормишь; из соседей некоторые приедут, так уж вместе.

— Что же это такое: обед, что ли, будет у тебя?

— Нет, так, позывочка; нельзя же не сблизиться. Между нами сказать: нынешним предводителем, кажется, не очень довольны; чрез год баллотировка, мало ли что может случиться.

— Это значит, ты в предводителе думаешь?

— Да не то, чтобы я думал, а если дворянству угодно будет предложить мне эту честь, не буду сметь отказать.

Я взял да, знаете, ему и поклонился низенько.

— В таком случае, — говорю, — не оставьте, батюшка Дмитрий Никитич, вашей предводительской милостью вашего бедного родственника-исправника.

Смеется.

— Только, — говорит, — дядюшка, пожалуйста, чтоб это осталось между нами. Тут ничего еще определенного нет, и я так говорю с вами, как с родственником.

— Смею ли, — говорю, — я, маленький человек, что-нибудь говорить, когда вы не приказываете.

— О, — говорит, — дядюшка, вечно подденете меня и шпильку мне поставите; лучше, — говорит, — не забудьте пятницы.

— Слушаю-с, — говорю, — ваше высокородие, слушаю-с.

Пришла потом пятница. Отправляемся мы с супругой, а за нами, смотрим, почти полгорода, все почти чиновники, худые и хорошие. Присзжасм мы этой гурьбой. Дом, вижу я, отделан так, что узнать нельзя против прежнего: все это выбелено, вычищено, рамы в три стекла, стол уж накрыт огромнейшим глаголем, и на нем, знаете, вазы серебряные с шампанским, хрустальные вазы с фруктами; лакеи в белых галстуках, белых жилетах и белых перчатках, короче сказать, так парадно, хоть бы и от тысячи душ. Хозяин тоже по форме — во фраке, встречает нас в зале и ведет в гостиную. Мы, как зодится, поздравляем племянницу с днем ее ангела; а она, бедненькая, едва сидит, так бледна и худа, что ужас.

— Что это, — говорю, — милая племяненка, вы все, кажется, хвораете; хоть бы для именин своих эту дурную вашу привычку оставили.

Усмехнулась.

— Бог бы с ними, дядюшка, с моими именинами, не очень я им рада, — говорит мне это негромко.

Значит, это празднество ей не очень по душе, но, переговорив с нею, делаю, разумеется, поклон прочим гостям. Глядь, это все наши уездные богатые помещики, уездов с трех, кажется, собраны, и когда он это успел объехать их и познакомиться с ними, не понимаю, и так как, знаете, от нашего брата, земского исправника, до этих больших бар большой скачок, так я и удалился в наугольную, где нахожу мою старушку сестрицу. Сидит она, знаете, в блондовом чепце, в шелковом платье, пречопорная и, как видно, очень довольная. Здравуюсь я с ней, она вдруг отвечает мне:

— Здравствуй, мой родной, здравствуй! — И каким-то этаким, знаете, обязательным тоном.

Мне это, признаться, показалось несколько и досадно. Видевши, что тут кой-кто сидит из гостей, захотелось мне ей и понапомнить кое-что.

— Как я рад, — говорю, — сестрица, что я в вашей Бычихе нахожу не развалины, а все устроивается и приводится в новый вид, начинает походить на прежнюю Бычиху, как была она при покойном брате.

Она поняла мои слова и сейчас же гораздо спустила важности.

— Да, мой дружок, слава богу, слава богу, — говорит.

— Да, — продолжаю я, — должна благодарить бога, тем более, какая у тебя прекрасная невестка! Не ошибся Дмитрий Никитич в выборе: и сама по себе, да и состояние, кажется — одно другому отвечает.

— Слава богу, слава богу, — повторяет она. — Я день и ночь, — говорит, — молю творца за милости ко мне. Хотя, конечно, Митя был такой жених, что ему много предстояло партий блистательных и богатых, но эта дороже всех, потому что по сердцу.

— Бог с ними, с богатыми и блистательными, какие бы еще вышли, лучше нам не надобно, — говорю я.

Пока мы таким манером со старухой беседовали, кушать просят. Садимся. Обед, по нашим местам, оказывается превосходный, только птичьего молока нет. Уха из мерных стерлядей, этот модный потом ростбиф; даже трудно понять, где он достал такой говядины: в наших местах решительно нельзя такой найти, вероятно, посылал нарочного в Ярославль. Вина, которых я хоть и не

пью, но вижу, что с золотыми да с серебряными головками, значит не нашенские; шампанским просто обливают; мужчины, кажется, по бутылке на брата выпили. После обеда, конечно, картежи. Он из вежливости составил трем своим знатным гостям партию в преферанс, по двугривенному фишка, и в две пульки проиграл около ста целковых. Наконец, кончилось торжество, часов в девять разъехалась вся эта братия. Меня с женой не пускают, оставили ночевать, но я, видевши, что хозяин утомился:

— Не церемонься, — говорю, — Дмитрий Никитич, ступай отдохни.

— Да, — говорит, — дядюшка, пойдемте в кабинет; я оденусь во что-нибудь попросторнее.

— Хорошо.

Пошли мы. Он, как только вошел, сбросил с себя фрак и кинулся на диван.

— Ах, — говорит, — дядюшка, как я измучился сегодня: с пяти часов утра я не присел; до сих пор куска во рту не бывало, а теперь уж и есть ничего не могу.

— Вижу, — говорю, — мой милый, вижу; впрочем, что же, своя охота.

— Нельзя, — говорит, — дядюшка; нынче в свете обед играет важную роль: обедом составляются связи, а связи после денег самая важная вещь в жизни; обедами наживаются капиталы, потому что приобретается кредит. Обед! обед! это такая глубокомысленная вещь, над которой стоит подумать. Однако скажите-ка лучше мне: порядочно все было у меня?

— Чего же, — говорю, — лучше?

— А повар, — говорит, — дядюшка: как вы находите, недурен?

— Очень хорош, — говорю, — брал, что ли, у кого?

— Фи, дядюшка, повара брать! Это, по-моему, все равно, что надеть чужой фрак; это значит всенародно признаться, что, господа, я ем, как едят порядочные люди, только при гостях; как же это возможно? Я не могу себе представить жизни без хорошего повара. На счет этого есть очень умная фраза: «Скажи мне, как ты ешь; а я тебе скажу, кто ты».

— Что ж, он у тебя, верно, нанятой? — спрашиваю я.

— Нанятой.

— А вот этот камердинер твой, что входил сюда, тоже, кажется, нанятой?

— Нанятой тоже. Вас, я вижу, дядюшка, несколько удивляет, что у меня все нанятые люди; но что же мне делать? Никого своих нет! Говорили, что эта ключница Марья Алексеевна у нас *очень хорошая*; а на днях я заставил ее подварить наливку, и она приготовила величайшую дрянь, тогда как я могу пить только такие наливки, которые густы, как ликер. Бог знает, что за прислуга была у отца; один другого хуже: глупые, неопрятные, ленивые; ну, а я, признаюсь, не могу этого сносить, это нож острый для меня.

— Прихотничаешь, — говорю, — Дмитрий Никитич. Впрочем, если средства есть, так отчего же и не потешить себя и не сделать, как нравится?

Он молчит. А мне все, знаете, хочется выпытать из него, форсит ли он только, или в самом деле богат, но прямо сказать как-то неловко, и потому я решился щупать его с боков. Немного помолчав, опять навожу на этот предмет.

— Ты, — я говорю, — тогда, Дмитрий Никитич, как еще офицером в отпуск приезжал, так говорил, что именье твоей теперешней супруги в деле; выиграно оно или нет еще?

— Нет, — говорит, — дядюшка, тянется еще.

— Что ж, — говорю, — хлопотать надобно. Смотри, не пропусти сроков.

— Успею еще, не уйдет оно от меня. Теперь мне, главное, хочется устроить себя здесь поосновательнее.

— В чем же, — говорю, — именно будет состоять твое устройство?

— Да как вам сказать, — говорит, — прожектов у меня в голове много, потому что хоть и вы мне говорили и многие другие, что покойный мой отец был хороший хозяин; но, виноват, не вижу этого решительно ни в чем. Если у него и было хозяйство, то маленькое, ничтожное, женское, как говорится.

— Какое же это мужское-то хозяйство? — спрашиваю я.

— А вот-с, например, — начинает он, — усадьба Бычиха с полевыми, лесными, сенокосными дачами и угожьями, на пространстве необозримом — в один день не обойдешь; но какой же, позвольте вас спросить, доход от нее? Никакого, кроме расхода; намолотится хлеба, наготовится соломы, накопится сена, и все это, повиди-

тому, в громадных размерах, но посмотришь к концу года, все это уничтожится дворней, которая ничего не делает, лошадьми, на которых невозможно выехать, и коровами, от которых пятнадцати пуд в год масла не получается. Как хотите, дядюшка, подобный хозяйственный расчет смешон.

— Что же делать, — говорю, — мой любезный Дмитрий Никитич? Скотина держится потому, что хлеб не станет родиться. В здешней полосе землю не удобрить, так и семян не сберешь, а дворовые люди в прислуге.

— Не сорок же человек, дядюшка, как, например, в моей дворне, из которых у меня ни одного нет в прислуге.

— Это уж, — говорю, — твое распоряжение, а они очень могли бы быть в прислуге; ну, а прочие в этом числе, конечно, старый да малый, тут, я думаю, старые слуги и служанки твоего отца или их дети, куда их девать? Или потом мужик какой-нибудь бессемейный от старости или за хворостью обеднеет, его берут в дворню; вот ведь как дворни большие составляются: почти по необходимости.

— Стало быть, дядюшка, это богадельня?

— Как хочешь, — говорю, — называй, только не тягись дворней. Это, по-моему, грех; не разбогатеешь этим.

— Однако, — говорит, — дядюшка, при двухстах душах, богадельня на сорок человек велика. Впрочем, я о полевом хозяйстве упомянул только для примера, чтобы показать вам, как оно при отце было безрасчетно; я на него и вниманья не буду обращать, не стоит труда; пусть оно идет, как шло, лишь бы денег от меня не требовало; но у меня другое в виду, здесь золотое дно — фабричное производство; вот здесь в чем капитальная сила имения заключается.

— У отца твоего, — говорю, — был кирпичный завод, была и мельница, ты же все это уничтожил.

— Ну что, дядюшка, об этом вздоре говорить: кирпичный завод, на котором пять тысяч кирпичу выделялось, и мельница, приносившая в год сто рублей и сто раз в год ломавшаяся; тут может быть устроено что-нибудь посерьезнее.

— Что же такое, — говорю, — посерьезнее?

— Сию секунду-с объясню, — отвечает он мне с таким одушевлением, так что даже встал с дивана и начал хо-

дить по комнате. — Известно ли, — говорит, — вам, почтеннейший дядюшка, что у меня две тысячи десятин лесу? Это ведь капитал, согласны с этим? Но какие же проценты получаю с этого капитала, не угодно ли вам знать? Ни больше, ни меньше, как со старых моих сапогов.

— Что же делать! — говорю, — сплавов здесь нет.

— О боже мой, сплавов! Мне и не нужно сплавов. Ко мне на дом все приедут и купят; извольте заметить, что у меня две тысячи десятин. В здешней полосе лес растет до своей нормальной величины двадцать пять лет; следовательно, если я разобью свою дачу на двадцать пять просеков, то каждый год могу, бесконечное число лет, вырубать восемьдесят десятин лесу и свободно сжечь его для какого угодно вам фабричного дела.

— Это, — говорю, — так; но на фабричное дело, любезный Дмитрий Никитич, надобно прежде положить капитал.

— Будут-с капиталы! Всякому купцу, который думает завести фабрику около Москвы, где он должен будет платить по четыре рубля серебром за сажень дроз, конечно, выгоднее будет устроить фабрику у меня в именье, где я поставлю ему за рубль серебра сажень, или, лучше сказать, я не дам этого никому, я сам устрою завод — стеклянный, хрустальный, бумажный, какой вздумается, и наперед знаю, что буду получать огромные барыши.

— Ну, барыши, — говорю, — еще впереди, ягнят по осени считают; а прежде всего смотри, понимаешь ли ты хоть сколько-нибудь сам эти дела?

— Это вздор; за пятьсот — шестьсот целковых в год вы можете нанять превосходного фабриканта, химика, машиниста, какого только вам надо! Вот бы что, дядюшка, отцу моему следовало давно затеять, так именье бы стоило чего-нибудь.

Слушаю я его, и какого-то, знаете, тумана напустил он мне в глаза этим разговором! Говорит, пожалуй, ладно и неладно. Ехавши домой, переговариваю я об этом с моей супругой.

— Из нашего Дмитрия Никитича, — говорю я, — вышел какой-то прожектер.

— Да, — отвечает она мне, — только все его эти проекты, кажется, Елене Петровне (то есть его супруге) очень неприятны, потому что, когда в гостиной он тоже

об этом рассказывал, так она ему при всех сказала: «Дай бог — говорит — чтобы все это было так выгодно, как ты, Митенька, рассчитываешь», а он, сконфузившись, не нашелся на это ничего сказать, а только подошел и поцеловал ее в голову.

— Не знаю, — говорю, — подождем, что будет дальше.

— Дальше, однакож, предприятия его шире и шире распространяются. Завод устраивается хрустальный под присмотром англичанина, который нарочно из Москвы нанят; в суде он у меня, знаете, билет заявлял, тут я его и видел. Одет чисто, богатый, должно быть; и уж не дешево, конечно, взял. Но завод еще не все; слышу я о многом и другом; слышу, что Дмитрий Никитич почтовую станцию снял; мосты тогда строились по большому тракту, два или три моста, довольно капитальные, те взял на подряд; подбил ко всем этим, знаете, тузам, которые у него кушали, и выпросил у них залогов; у двух купцов наших вывернул как-то свидетельства на дома. Ко мне было, знаете, адресовался с той же просьбой, однако я говорю, что человек я мнительный, торговых дел не понимаю, да и имения свободного нет. Отошел, знаете, отвертелся кое-как. На зиму он вздумал в город к нам переехать. Сказывает мне об этом.

— Милости, — говорю, — просим, мы рады; компания нам будет.

— Помещение, — говорит, — дядюшка, только меня затрудняет.

— Что же, — говорю, — помещение... Найми старого судьи дом — светленький, чистенький и теплый очень.

— Фу, дядюшка, что ж вы говорите! Где ж я помещусь с моей семьей в этих конурках? Нет уж, говорит, я хочу свой выстроить, или, лучше сказать, решился купить эти погорелые стены на площади... Место тут прекрасное; отделают их, как мне надо.

— Не советовал бы, — говорю, — тебе, Дмитрий Никитич, ни строить, ни покупать здесь дому, потому что здесь в домах, как сам перестал жить, так капитал и мертвый.

— Что же такое? Когда будет не нужен, тогда продам.

— Нет, — говорю, — не продашь, не скоро ты найдешь здесь покупателя.

— В таком случае будет ходить у меня в залогах, а в наем отдам под какой-нибудь трактир или харчевню, по контракту, лет на десять, вот вам и проценты с капитала.

И только что переговорил таким манером со мной, смотрю, стены уж куплены, и постройка пошла, а месяца в четыре и дом готов. Я иногда, гуляя, заходил посмотреть, как строится, и вижу, что черт знает что такое. Все это черновое основание никуда не годно: стены погорелые, значит, растрескались, но их не только что не переклали, даже железом не связали, а всё только замазали. Но зато, как начисто пошла работа, Дмитрий Никитич ничего не жалеет и сам с утра до ночи присматривает. Прелесть, как отделали по наружности. Посмотреть — маленький дворец; потом, конечно, надобно меблировать дом: деревенская мебель, очень хорошая и тоже новая, не годится, выписывается особенная из Петербурга. Как, знаете, этакому баричу, как господин Шамаев, таскать мебель из деревни в город и из города в деревню — скучно очень! Впрочем, это еще и так и сяк походило на что-нибудь; но чем он меня поразил, так это: умер тут у нас соборный протопоп, очень богатый, ученый и одинокий. Всю движимость он назначил, чтоб продать, а деньги в церковь. В числе этой движимости была довольно большая библиотека и этот, как по-ученому называется, минералогический кабинет. В уездном суде составилась аукцион. Захожу я туда полюбопытствовать, кто что купил, однако аукцион уж кончился; но я заглянул в опись и вижу, что библиотека и минералогический кабинет остались за штаб-ротмистром Шамаевым. Господи помилуй, думаю: зачем это ему? И потом, встретившись с ним:

— Батюшка, — говорю, — Дмитрий Никитич, давно ли вы изволили в ученые записаться, что библиотеками и кабинетами заводитесь?

— Да, дядюшка, — говорит, — купил, купил.

— Для какой же это, — я говорю, — надобности? Из камней ты, вероятно, и назвать ни одного не умсешь, а играть ими, как игрушками, стар для этого; в библиотеке тоже, по-мосму, не нуждаешься. Сколько я тебя здесь ни знаю, ты, кроме газет, вряд ли какую-нибудь книгу и развертывал.

— Что ж вы меня, дядюшка, говорит, таким профаном считаете? Небольшая хорошенькая библиотека

в доме очень не лишнее, а камни эти в красивых шкапчиках поставлю я в моем кабинете, тоже очень будет мило, а главное, дешево: за все про все какие-нибудь триста целковых.

Я только махнул рукой, вижу, не перерезонишь его; на все у него свои расчеты. Вскоре после этого начинается его переезд в город, и вы, может быть, не поверите, а ей-богу, ни один губернатор, не то, что уж из бедненьких, а из богатых, таким парадом не приезжал. Тракт им проезжать шел, надобно сказать, мимо моего дома, и я целое утро сидел и любовался. История начинается, представьте вы себе, с того, что два кучера под уздцы ведут его четверню вороных в пополах, гривы заплетены, хвосты тоже; кучера — все это, вероятно, по его приказанию — в плисовых поддевках, в сломленных каких-то шапочках; далее экипажи городские везут под чехлами, потом кухня следует, и тоже с умыслом, конечно, посуда вся эта открыта и разложена в плетеных корзинах. Смотрю, что такое очень уж во внутренности у ней блестит? и после мне уж объяснили это, что-де у Дмитрия Никитича посуда не луженая, как у нас грешных, а серебряная внутри. За этим следует-с вроде польской брики с поварами, с горничными, мальчишками; затем тарантас с девичьим штатом и, наконец, сам Дмитрий Никитич с своей семейкой в дормезе¹ шестерном на разгонных, как он называл, вятских лошадаках. Перехавши таким образом, он задал нам сначала парадное новоселье; а потом и пошли обедец за обедцем, вечерок за вечерком. И что ведь досадно, знаете: все это делалось, по моему наблюдению, не от доброты: гостеприимства и радушья в нем совершенно не было; в деревне соседей, которые победнее, не принимал даже; из маленьких чиновников тоже — придут к нему, рюмки водки не подаст, не посадит; а зато уж кто немного повыше, ничего не пожалеет. Кто бы из губернии ни приехал, этак повидней или к губернатору поближе, сейчас обеды с шампанским и трюфлями. Прислали раз из Петербурга по одному делу чиновника очень не из важных, а этакого, состоящего при департаменте. Я, по обязанности моей, явился к нему, выхожу и вижу, что Дмитрий Никитич мой подъехал.

¹ Карета, приспособленная для спанья (франц.).

— Ты, — я говорю, — мой милый, зачем?

— К старому знакомому, дядюшка, — отвечал он мне.

И вижу, что лжет. Потом заезжает ко мне.

— Приезжайте, — говорит, — сегодня на вечерок.

— Что такое у тебя сегодня? — спрашиваю.

— Ничего особенного; третьего дня позвал кой-кого...

в карты поиграем, — отвечал он.

И опять вижу, что лжет и делает этот вечер для чиновника.

— Супруга твоя, — говорю, — Дмитрий Никитич, последнее время ходит, а у тебя всё эти вечера.

— Нет, — говорит, — дядюшка, не совсем еще последнее время.

Поехал я: вместо «в карты поиграем» оказывается бал с музыкой. Племянницы нет в гостиной, сидит одна только старуха.

— А молодая хозяйка, — спрашиваю, — где?

— У себя, — говорит, — дружок мой, в комнате, прихворнула что-то.

— Мудрено ли, — говорю, — в ее положении прихворнуть?

И вышел трубку себе спросить. У него, знаете, на вечерах заведено было по-модному — сигары и папиросы курить, а трубки убирались в задние комнаты; только вижу я, что горничные что-то суются, а больше всех Марья Алексеевна. Спрашиваю ее:

— Что вы там бегаєте?

— Чего, сударь, — отвечает она, — молодой барыне время пришло.

Вот тебе и сюрприз!

Возвращаюсь я в гостиную и нахожу, что сынок с матушкой преспокойно совещаются, кого с кем в карты посадить.

— Дмитрий Никитич, — говорю, — не стыдно ли тебе: в то время, как ты должен стоять пред образом и молиться, у тебя эти пиры да банкеты проклятые!

— Что же делать, — говорит, — дядюшка, никак этого не ожидал. Впрочем, что же? дом у меня большой, акушерка приехала.

— Ничего, — говорит, — дружок мой Митенька, не беспокойся, — успокаивает его маменька, — только надо, чтобы никто из посторонних не знал, а бог милостив, Леночка всегда легко это переносит.

Так мне, знаете, оба они показались противны, что я не в состоянии был даже вечера досидеть, уехал. Между тем на Дмитрия Никитича что-то стали с некоторых пор взысканьица поступать по судам, частью еще старые — полковые, а частью и здешние. Завод, по слухам, идет шибко и в большом объеме, только, извольте видеть, от англичанина, а наш молодец всего в восьмой части; лес губится, как только возможно: вместо одной, по предположению, просеки в год, валяют по пяти, мужиков с этой заготовкой и подвозкой дров от хлебопашества отвели, платят им за это чистыми деньгами, они эти деньги пропивают. Выстроенные мосты тоже не принимают: по свидетельству оказалось, что вместо железных болтов вбиты деревянные; мастеровых по разным постройкам больно плохо разделявают: кому пять, кому десять рублей недодается. Купец у нас тут есть, всякой всячиной из съестных припасов торгует, приятель мне немножко, приходит раз ко мне.

— Я, — говорит, — Иван Семеныч, к тебе с жалобой.

— Что такое? — говорю.

— Да вот видишь, — говорит, — твой племянничек задолжал у меня в лавке на тысячу рублей, да и не платится; посылал было это к нему парня со счетом, так дал только двадцать пять рублей, а малого-то разругал да велел еще прогнать. Это ведь, говорит, нехорошо!

— Какое, — говорю, — хорошо!

— То-то, — говорит, — поговори ты ему, а не то я и в полицию на него пойду.

Говорю я об этом Дмитрию Никитичу.

— О дядюшка, это такая скотина, — отвечает он мне, — что представить трудно. Я очень сожалею, что у него кредитовался, потому что у него все дрянь — гнилое и тухлое. Я теперь все буду из Ярославля выписывать.

— Это, — говорю, — как ты хочешь, делай; да старое-то надобно отдать.

— Подождет; у меня денег теперь нет. Отдам, когда будут.

По этому разговору у него, значит, нет денег. Но тем временем, извольте заметить, губернатор к нам на ревизию собирается. Как ему такой случай пропустить? И тут же, не выходя из моей комнаты, вдруг мне говорит:

— Я, — говорит, — дядюшка, ехал к вам не за этими пустяками, а за делом посерьезнее. Где вы, говорит, губернатора думаете принять?

— Квартира, — говорю, — у головы отведена, приготовлена.

— Ах, — говорит, — дядюшка, как же это возможно? В такой грязи принять начальника губернии... Это неприлично, невежливо. Я хочу его просить остановиться у меня. Человек он мне знакомый, очень милый, и вам, — говорит, — дядюшка, будет не лишнее; все-таки у родного племянника остановится.

— Если, — я говорю, — для меня, так не хлопочи.

— Ничего, — говорит, — дядюшка, не мешает; только вот досадно, что я теперь совершенно без денег: эти торговые обороты обобрали меня на время совершенно. Не можете ли вы одолжить, на месяц или на два, пятьсот, шестьсот целковых?

— Нет, — говорю, — Дмитрий Никитич; хоть зарежь, теперь у меня в доме только десять рублей серебром, а если ты занимаешь для приема губернатора, так не советую; без тебя дело сделается; никого не удивишь.

Он мне ничего на это не сказал и только понадулся за отказ в деньгах. Ну, я думаю, что отложит свое намерение на этот раз, однако нет-с. Встречаю я губернатора обыкновенно на границе; спросил он меня, о чем следует, и говорит потом:

— А что, — говорит, — Дмитрий Никитич Шамаев в городе или нет?

— В городе, — говорю, — ваше превосходительство.

— Везите меня, пожалуйста, прямо к нему. Он меня просил остановиться у него, и я не хочу ему отказать в этом; он так обязателен, — говорит он мне и потом обращается к своему чиновнику, который с ним ехал: — Вообразите, говорит, у жены собачка, которую и вы знаете, померла пынче зимой; Дмитрий Никитич как-то был в это время у нас и вдруг, не знаю уж, где мог достать, презентует нам превосходнейшую левретку и, что мне очень совестно, чрезвычайно дорогую; знатоки ценят ее во сто целковых.

Прослушал все это я и везу, куда мне было приказано; но вышло так, что Дмитрий Никитич встречает нас, вместе с городничим, еще на черте города, позторяет свой зов, губернатор благодарит и приглашает его с со-

бой в коляску; поехали по городу. Мы, чиновники, руки по швам, прильпе язык к гортани моей; а Дмитрий Никитич наш сидит с губернатором рядом да поговаривает, и вижу, что ему это чрезвычайно лестно. Тут, конечно, обед-с. На другой вечер бал, человек сорок было, но из чиновников, заметьте, только предводитель и я-с, больше никого не позвал, а все набрал помещиков побогаче, приятелей, знаете, своих, как он их называл... Очень мне интересно знать, откуда он денег добыл. Начинаю узнавать стороной, и по справкам оказывается, что умолил, укланял свою супругу отдать ему приданные брильянты для погашения какого-то экстренного дела, которые вместо того заложил, да на эти деньги и справил пир. А между тем на той же, кажется, почте получается из губернского правления указ об описи имения штаб-ротмистра Шамаева за неплатеж опекунскому совету. Я поехал сообщить ему эту новость; только дома, говорят, нет — в Петербург-де уехал.

— Как, — говорю, — в Петербург уехал — и не прошившись? А барыни где?

— Старая, — говорят, — барыня не так здорова, тоскует о Дмитрие Никитиче.

Ну, бог с ней, думаю, пускай ее тоскует; мне уж накучило ее в этом горе утешать, и прошел к Алене Петровне.

— Что это, — говорю, — Дмитрий Никитич укатил в Петербург? Ради чего собрался так скоро?

— По делу, — говорит, — дяденька, уехал.

— Дела, кажется, все у него здесь; разве, — говорю, — по вашему наследственному иску, о котором он прежде говаривал?

— Да, — говорит, — по этому.

— Какого же рода, — говорю, — это наследство? скажите мне, пожалуйста.

Она этак усмехнулась.

— Право, — говорит, — дяденька, я и не знаю хорошенько. Слышала, что нам какос-то идет довольно большое наследство; папенька сначала хлопотал о нем, а потом бросил. Дмитрий Никитич, когда на мне женился, стал папеньке говорить, чтобы он продал ему эту тяжбу; папенька и говорит: «Продавать я тебе не хочу, а хлопчи. Выиграешь, так все твое будет».

— И Дмитрий Никитич надеется выиграть?

— Непременно; он очень в этих случаях легковверен.

— Чересчур уж, — говорю, — легковверен. В его лета и при его семействе это, пожалуй, и непростительно. Я давно, — говорю, — милая племяненка, хотел поговорить с вами и спросить вас: скажите мне откровенно, богаты вы или нет?

— Тоже, — говорит, — дяденька, не знаю. Если как Дмитрий Никитич уверяет, так богаты, а если...

И не докончила, знаете.

— Послушайте, — говорю, — Елена Петровна, я с вами буду говорить еще откровеннее: когда Дмитрий на вас женился, обстоятельства его были очень расстроены; откуда он потом взял денег?

— Ах, дяденька, — говорит, — как откуда! Он за мной в приданое получил тридцать тысяч серебром.

— И на эти деньги он, конечно, и помахивал и, конечно, уж их поубавил!

— Поубавил? (смеется.) Вряд ли не все издержал!

— Зачем же, — я говорю, — вы свои деньги, имея уже детей, давали так транжирить?

— Ах, дяденька, да что же я понимала? Вышла за него семнадцати лет, была влюблена в него до безумия, каждое слово его считала законом для себя. Вы лучше скажите: как он папеньку уговорил? У нас три сестры выданы, и он ни одному еще зятю не отделил приданных денег, а Дмитрию Никитичу до копейки все отдал. Он его как-то убедил, что едет в Москву покупать подмосковную с хрустальным заводом, показывал ему какие-то письма; вместе все они рассчитывали, как это будет выгодно. С этим мы в Москву и ехали.

— Отчего же, — говорю, — не купили? за чем дело стало?

— Да мы никакой подмосковной и не видали, — отвечает она. — Дмитрий Никитич, приехав, нанял огромную квартиру, познакомил меня с очень многими, стал давать вечера, заставлял меня беспрестанно ездить в театр, в собрания, а папеньке написал, что все куплено, и старик до сих пор воображает, что у нас семьдесят душ под Москвой и завод. Тсперь, как я начну писать к папеньке, так он и умоляет, чтоб я не проговорилась как-нибудь, — такой смешной!

— Не смешной он, — говорю, — сударыня, а досадный, губит себя и свое семейство. Блажь какая-то у него все еще в голове.

— Именно, — говорит, — дяденька; о себе я не забочусь; что бы там доктор ни говорил, а я очень хорошо знаю, что мне недолго жить.

— К чему же, — говорю, — моя милая Елена Петровна, такие мрачные мысли иметь? В ваши лета о смерти и думать еще не следует.

— Нет, — говорит, — дяденька, у меня есть верное предчувствие...

И сама заплакала. Потом вдруг, помолчав немного, берет меня за руку; слезы градом.

— Дяденька, — говорит, — если я умру, не оставьте моих сирот и будьте им второй отец! Папенька далеко. Митя прекрасный, умный и благородный человек. Но он мало о детях будет думать.

— Полноте, — говорю, — сударыня, что это за глупые фантазии!

Ну, и знаете, утешаю ее, как умею, однако она весь вечер почти проплакала и после этого разговора еще более с нами сблизилась, почти каждый день видалися: то она у нас, либо мы у нее. От Дмитрия Никитича — проходит месяц, проходит другой, проходит третий — ни строчки; в доме, заметьте, не оставил ни копейки. Она мне говорит об этом.

— Что мне, — говорит, — дяденька, делать?

— Делать, — говорю, — то, что возьмите у меня пятьдесят целковых.

Дал ей; а дальше не знаем, как и жить будем, хотя продавать экипажи; однако вдруг, совершенно неожиданно, присылают сказать, что Дмитрий Никитич приехал и желает меня видеть. Еду. Нахожу его в семье своей между супругой, детьми и матушкой, с очень довольным лицом, в щегольском этаким халате — китайской, что ли, материи? бархатом весь отделанный, точно как вот, знаете, на модных картинках видал. Обнялись мы с ним, поцеловались. Ну, сначала то и се: «Когда выехал? Когда приехал?» Маменьке, конечно, при сем удобном случае нельзя не похвалить сына.

— Уж именно, — говорит, — Митенька жизни не щадит для своего семейства. После всех петербургских хлопот скакал день и ночь, чтобы поскорее с нами увидеться.

«Что и говорить, думаю, про твоего Митеньку!» А сам, знаете, осматриваю комнату и вижу, что наставлены ящики, чемоданы, пред детьми целый стол игрушек —

дорогие, должно быть: колясочки этакие, куклы на пружинах; играют они, но, так как старшему-то было года четыре с небольшим, успели одному гусару уж и голову отвернуть.

— Это, — я говорю, — видно, подарочки детям, Дмитрий Никитич?

— Да, — говорит, — нельзя не потешить. Впрочем, — говорит, — позвольте...

Встал, знаете, и подал мне какой-то ящик.

— Не угодно ли, — говорит, — взглянуть?

Открываю, вижу бритвенный прибор: двенадцать английских бритв, серебряная мыльница, бритвенница, ящик черного дерева, серебром кругом выложен.

— Как вам, дядюшка, это нравится?

— Хорош, — говорю.

— Очень, — говорит, — хорош, из английского магазина. А так как, к удовольствию моему, он вам приглянулся, а потому не угодно ли принять его в подарок?

— Что это, — говорю, — Дмитрий Никитич, как не совестно тебе? Да ты, — говорю, — и меня-то конфузишь. Это вещь сторублевая; а мне тебя таким подарком отдарить, пожалуй, и сил не хватит.

— Ну, — говорит, — дядюшка, этого нельзя сказать: я вам столько обязан, что мне долго еще не отдариться. Вот вы, говорит, и в теперешнее отсутствие мое обязали мою жену. Поверьте, — говорит, — все это чувствую и умею ценить.

Убедил меня таким манером: принял я.

— Когда уж о подарках речь зашла, — продолжал он, — так, — говорит, обращаясь к супруге своей, — похвастайся и ты, друг мой, и покажи, какие тебе привез.

Она взглянула на меня и потупилась, однако велела горничной подать. Приносят: первое — шляпка; я таких, ей-богу, и не видывал ни прежде, ни после: точно воздушная, а цветы, совершенно как живые, так бы и понюхал; тут бурнус, очень какой-то нарядный; кусков пять или шесть материй разных на платье. Осматриваю я все это.

— Хорошо, — говорю, — очень хорошо.

— А вот, — говорит, — кой-что и для дома, дядюшка: вот, — говорит, — очень любопытные вещи.

И сам своими руками раскрывает один из ящиков. Я сначала и не понял, что такое: какие-то тарелочки, вазочки, умывальник.

— Это, — говорит, — дядюшка, нынче изобрели; из бумаги все делают. А вот, говорит, тоже новое изобретение.

И опять открыл другой уж ящик.

— Это, — говорит, — тисненная жесьть, а потом бронированная, для драпировки великолепная, не отличишь от золота, и, если бы вы знали, как все это дешево — просто даром.

— Неимоверно дешево, — поддакивает ему маменька и потом продолжает, — а что же ты, — говорит, — Митенька, подарок мне не хочешь показать!

— Покажите, — говорит, — маменька.

Старуха сама, знаете, пошла и с торжеством приносит бархатную мантилью и шелковый капот, совсем сшитый. Я все, конечно, хвалю.

— Да, дяденька, вы вот все хвалите, а жене все не нравится, — замечает он.

— Почему же ты думаешь, — говорит та, — что не нравится? Я говорю только, что лишнее; у меня и без того много платьев.

— Мало ли, много ли, а все-таки вы должны меня поцеловать, — возражает он и берет ее, знаете, за руку и целует.

— Это все хорошо, — говорю, — Дмитрий Никитич; только ты вот покупок-то закупил, а в опекунский совет, чай, не наведалься. Именье твое, — говорю, — описано, и все уж бумаги отосланы.

— Наведывался, — говорит, — дядюшка, только заплатить не успел. Небольшая сумма — восемьсот девять рублей серебром, с первую же почтой вышлю отсюда.

— То-то, — говорю, — не забудь как-нибудь.

А между тем этим своим приездом он опять защекотал мое любопытство. Смертельно хочется узнать, в каких он обстоятельствах.

— Ты, Дмитрий Никитич, процесс-то, видно, выиграл? — говорю я ему, оставшись с ним вдвоем.

— И нет и да, дядюшка; двинул по крайней мере и сдал одному господину хлопотать, — отвечает он мне и как-то замял этот разговор.

Но на эти же почти самые слова входит человек и просит у него на что-то денег. Он вынимает бумажник, разворачивает. Смотрю, полнехонек набит.

— Ого, сколько у тебя государственных-то! — невольно, знаете, воскликнул я.

— Да, — говорит, — деньжонки есть.

И с этими словами начинает выкидывать ассигнации, серии, банковые билеты; тысяч на десять серебром выкинул.

— Откуда, — говорю, — любезный, столько приобрел?

— По разным сделкам, — отвечает, — получил. У нас всегда, — говорит, — будут деньги, потому что мы знаем, где они водятся, да и дома их не держим долго взаперти, не так, как вот наш почтенный дядюшка (это значит я), который, говорят, накопил кубышку и закопал ее в землю; а мы сейчас всё в ход пускаем: вот эти тоже не засидятся долго дома, только теперь надобно обдумать, как бы с ними поумней и повыгодней распорядиться.

— Да, — говорю, — надобно уж рассчитать как-нибудь получше. От обедов да от вечеров, ты хоть и рассчитываешь на них, а вряд ли получишь какие-нибудь барыши, кроме убытка?

— Нет уж, — говорит, — дядюшка, баста, будет, выучили. Никто из этих господ куска хлеба теперь не увидит. Я их поил, кормил; они видели, как я живу; а когда меня встретила нужда, так они мне в тридцати целковых имели духу отказать.

— Это уж, — говорю, — в свете так ведется; скажи-ка лучше мне, что ты в самом деле думаешь делать на эти деньги?

— Именье, — говорит, — хочу приискать и купить; завод уничтожу, англичанина этого прогоню, потому что он только ладит, как бы себе карман набить, и стану, — говорит, — хлебопашеством заниматься. Хлеб пахать — этот доход всегда верней.

— А я бы, — говорю, — Дмитрий Никитич, советовал тебе не то: именье ты покупай, это хорошо, но только оброчное; усадьба у тебя есть прекрасная, чего тебе еще больше заводить хлебопашества...

И говорю ему, знаете, таким манером, потому что с хлебопашеством, думаю, он начнет опять какие-нибудь выдумки, которые так только выдумками и останутся у него, а толку ничего не выйдет.

— Я думаю, — говорит, — так и сделаю.

— А если, — говорю, — ты это думаешь, так я, пожалуй, тебе и именье приищу, у меня есть подобное на примете.

— Хорошо, — говорит, — дядюшка, очень вам благодарен буду.

Так мы с ним на этом и положились. Однако случилось у меня тут очень много дел; кроме того, губернатор в другой уезд командировал разбойников ловить, так что я месяца три дома и не бывал. Возвращаюсь потом и вдруг слышу, что Дмитрий Никитич мой уж с покупочкой. И какого же рода эта покупочка вышла-с? Несколько лет назад появился у нас один господин в уезде, по фамилии Курка, выходец, должно быть, какой-нибудь, нерусский, маленький, сутулый, облик лица какой-то свиной, глаза узенькие — все вниз смотрят, волосы черные, густые, стриженные, точно ермолка на голове, но умная и претонкая штука, оборотами тоже различными занимается, как и наш Дмитрий Никитич, только гораздо выгодней для себя. Купил он тут за бесценок пятнадцать душ с большими, впрочем, угожьями, к которым еще присоединил, и развел тут скотный двор — животин триста начал держать, чтобы делать сыры, сырный завод устроил. Но, как дальновидный плут, в половине этак, знаете, лета, сообразивши, что ни сена, ни хлеба в тот год не родится, пригласил Дмитрия Никитича к себе в гости, показал ему во всем блеске свое хозяйство, да и предложил купить. Тот сейчас же изъявил готовность и за семь тысяч приобрел. Я с первого раза, конечно, понял всю эту проделку, но говорить уж не стал — не можешь. Затем наступает, сударь мой, у нас в губернии голод. Хлеб поднялся до двух с полтиной пуд, сено пятиалтынный и двугривенный, соломы ржаной и яровой десять — двенадцать рублей овин, да еще и не найдешь. У Дмитрия Никитича в новом именье с первого октября ни хлеба, ни корму; значит, надобно на всё денежки; а денежки Дмитрию Никитичу на другое нужны. Приехал тогда в город один богатый московский барин, охотник до скачек лошадиных, устроил у нас бег; Дмитрию Никитичу, конечно, нельзя утерпеть. Сейчас же завел двух рысаков, гоняется, держит с тем пари и, конечно, всегда проигрывает, потому что у того лошади с московского бега — наезженные. Обедцы и вечера, хоть и закаивался, продолжают идти прежним порядком. Ну, и пока мы таким манером приятно с ним зиму проводим, новопкупленным нашим коровкам не так было, видно, весело: всю зиму, по новому изобретению, кормили их чем-то вроде пареных щепок, а под ноги стлали вместо соломы, тоже по новой выдумке, — ельнику. Как пришла весна-

матка, ни одна из трехсот животных и со двора не идет, едва столкнули; а чуть как с зимнего-то голоду отавы хватили, сначала одна ножки вздернула, потом другая, и сильнейший падеж, так что я не успел даже вызвать ветеринара, в неделю — ни одной животины. А вслед же за этим хлоп известие, что именье в опекуновском совете продано; он и не думал посылать недоимки, о которых я ему говорил, забыл. Вот он какой печный и коммерческий человек. Еду я к нему, он в отчаянии.

— Дядюшка, — говорит, — я разорился... я погубил все семейство... все пойдут теперь по миру!

Кричит этак на весь дом, хватается за волосы, кидается на диван, бегает по комнате.

Бедная Елена Петровна сидит с ним, плачет; старуха тоже в отчаянии, потому что Митенька встревожен, так боится, чтоб не заболел.

Стал было я его уговаривать.

— Полно, — говорю, — Дмитрий . Никитич, бесноваться. Пожалей ты хоть сколько-нибудь свою супругу и мать.

Ничего не слушает, а тут еще... надобно же, впрочем, такое стечение неприятных обстоятельств... приносят вдруг письмо к Елене Петровне от отца, в котором он ее почти бранит. Во-первых, узнал, что подмосковной его обманывали, а главное, за процесс, который, оказывается, что Дмитрий Никитич по полной от тестя доверенности хлопотать, продать и заложить, не будь глуп, возьми да и продай одному адвокату за десять тысяч все право. Эти-то самые денежки из Петербурга и привез. «Я, — пишет старик, — доверял ему хлопотать для себя, а не продавать родового достояния в чужие руки». И заключает тем, что пишет дочери: «Если ты, говорит, навечно не хочешь лишиться моего родительского благословения, так брось своего мужа и приезжай с детьми ко мне; иначе он вас всех погубит». Что делать в этом случае бедной женщине? Мужа, какой бы он ни был, все-таки она любит и любит истинно, а с другой стороны отец, который, видно, старик с гонором. К несчастью, все это время она была опять беременна, и так все это ее поразило, что в ту же ночь разрешилась неблагополучно мертвым младенцем. Ну, а этакой случай и здоровые женщины не все переносят, а ей много ли надо: месяца два потомилась и богу душу отдала. Это новое несчастье срезало его,

как говорится, окончательно, и он совершенно упал духом. С полгода никуда не ездил и к себе никого, кроме меня, не принимал. А дела между тем пошли все хуже и хуже: денег ни копейки, модные экипажи и щегольские четверки сплыли за полцены в разные руки; дом в городе отовладели кредиторы, и таким образом дошло до того, что принужден был переехать в свое имение на пятнадцать душ с почти слепой от слез матерью и с троими малютками, где и живет теперь. Распустил койкого из людей на оброки да отдал свои уголья в кортомы, только и доходу в том-с. И такая теперь бедность, что я как-то по весне заезжал к нему в эту его маленькую усадьбу, так и не глядел бы; но больше всего насадили мое сердце эти трое несчастных сироток: бегают без всякого присмотра по улице с ребятишками, оборванные, неумытые. До сих пор никак не могу от него добиться, чтобы он выхлопотал им метрическое свидетельство и прочие документы, чтобы как-нибудь их в казенные-то заведения можно было похлопотать. В настоящем положении дать ему место истинное благодеяние. Расскажите князю все, что я вам говорил, и попросите, чтобы он явил эту милость. Хоть по крайней мере для семейства, — заключил Иван Семенович.

— Очень хорошо, — сказал я, — но вот в чем, Иван Семеныч, маленькое затруднение: как мне говорить об его бедности, когда он являлся к князю одетым по последней моде?

Иван Семенович усмехнулся.

— Знаю-с, — отвечал он, — в прошлом месяце последнее именьишко заложил и сделал себе гардероб. Такой уж у нас с ним характер: хоть в желудке и шелк, а на себе всегда будет шелк.

III

Возвратившись, я пересказал князю все, что слышал, и передал просьбу Ивана Семеновича. Шамаеву дано было место. Но не больше как через год у меня опять случился доклад, и опять дежурный чиновник возвестил: «Старший чиновник особых поручений Шамаев».

— Подождать, — сказал князь, нахмурившись, и потом, обращаясь ко мне, прибавил, — ваш общий с Иваном Семенычем протеже славный чиновник вышел.

— Что такое? — спросил я.

— Ужас, что такое, — отвечал князь. — Он исполнял у меня поручения не больше полугода, и самые пустые, но первый же его шаг состоял в том, что он всем уездным присутственным местам начал предписывать, и когда я ему заметил это, он мне пренаивно объяснил, в оправдание свое, что, быв представителем моим в уезде, он считал себя вправе это делать. Потом, наконец, как хотите, собирает там чиновников, говорит им торжественные речи. Ко мне обыкновенно пишет, по всем делам, коротенькие, дружественные записочки, безграмотные, бестолковые, и я хоть не формалист, но в то же время, помилуйте, эти бумаги останутся при делах, и преемник мой, увидевши их, будет иметь полное право сказать: «Что за чудак был губернатор, который с своим чиновником особых поручений вел дружескую переписку по делам?» И в заключение всего послал помимо меня в Петербург нелепейший проект об изменении полиции, который, конечно, не давши ему никакого хода, возвратили ко мне; однако не менее того все-таки видели, какого гуся я держу около себя.

Проговоря эти слова, князь задумался. Видно, что он был очень сердит на Шамаева и собирался с духом его распечь.

— Господин Шамаев! — проговорил он, наконец, подойдя к дверям.

Шамаев вошел и первый начал:

— Я, ваше сиятельство, явился донести вам, что все возложенные на меня поручения мною кончены.

— Знаю-с, — отвечал князь, — знаю даже, что вы вашу служебную деятельность распространили за пределы прямых ваших обязанностей. Вот ваш проект! — продолжал он, подавая Шамаеву толстую тетрадь. — Во-первых, вы не должны были его посылать помимо меня; а во-вторых, чтобы писать о чем-нибудь проекты, надобно знать хорошо самое дело и руководствоваться здравым смыслом, а в вашем ни того, ни другого нет.

Шамаев покраснел.

— Из слов вашего сиятельства и из последних предписаний я вижу, что не успел угодить вам моей службой;

впрочем, сколько имел усердия и по способностям моим... — начал было он.

— По вашим способностям, — перебил князь, — я нахожу, что служба чиновника особых поручений слишком тесна и ограничена.

Шамаев еще больше вспыхнул.

— Завтрашний день я буду иметь честь представить вашему сиятельству прошение об отставке, — сказал он.

— Сделайте одолжение, — отвечал князь.

Шамаев слегка поклонился и гордо вышел.

В тот же день вечером был концерт приехавших из Москвы цыган. Я поехал, Шамаева нахожу там же. После концерта затеяли ужин с цыганами, на расходы которого составила подписка; Шамаев был одним из первых подписавшихся. А потом, как водится, начался кутеж; он, очень грустный, задумчивый и, повидимому, не разделявший большого удовольствия, однако на моих глазах раскупорил бутылки три шампанского, и когда после ужина Аксюша, предмет всеобщего увлечения, закативши под самый лоб свои черные глаза и с замирающим от страсти голосом пропела: «Душа ль моя, душенька, душа ль, мил сердечный друг» и когда при этом один господин, достаточно выпивший, до того исполнился восторга, что выхватил из кармана целую пачку ассигнаций и бросил ей в колена, и когда она, не ограничившись этим, пошла с тарелочкой собирать посильную дань и с прочих, Шамаев, не задумавшись, бросил ей двадцать рублей серебром.

«Фанфарон! Фанфарон!» — повторил я мысленно, глядя на него, слова Ивана Семеновича.

По известиям, дошедшим до меня в последнее время, Шамаев выбран директором одной из так блистательно идущих акционерных компаний, и выбран собственно для спасения дела. Надо полагать, что поправит и спасет его.

ВИНОВАТА ЛИ ОНА?

Записки

I

Мне было двадцать два года. Я перешел на четвертый курс математического отделения¹. Освоившись с факультетом, мне очень легко стало заниматься, свободного времени начало у меня оставаться очень довольно, но куда его девать и чем наполнить даже в многолюдной Москве небогатому и одинокому студенту? Я жил один, знакомых не имел никого, и единственным моим развлечением было часа по два, по три ходить по Тверскому бульвару и бог знает чего не передумать. Однажды я встретил молодого человека, который прямо обратился ко мне с вопросом:

— Не знаете ли кого-нибудь из ваших товарищей, кто бы приготовил меня в университет?

Я посмотрел на него пристально; на вид ему было лет осьмнадцать, одет он был небрежно, в приемах его видна была беспечность. Лицо выразительно и с глубоким оттенком меланхолии.

— Если вам угодно, я могу это взять на себя, — отвечал я.

— Пожалуйста, мне надобно приготовиться из математики. Вы какого факультета?

— Математик.

¹ Московского университета. (Прим. автора.)

— Это хорошо, а вы почему возьмете за урок?

Этот прямой вопрос меня сконфузил.

— Обыкновенную цену — рубль серебром, — отвечал я.

Молодой человек подумал.

— Хорошо, это я могу дать. Ваша фамилия? — проговорил он.

Я сказал, он мне назвал свою, дал адрес квартиры и просил прийти на другой день в семь часов вечера.

— Вы живете одни или с семейством? — спросил я.

— С матерью, есть и сестры, — отвечал он.

Мы расстались.

Я возвратился домой очень довольный этой встречей, мне давно хотелось иметь урок — не для денег, которых хотя было у меня и немного, но доставало на мои умеренные желания, но мне желалось учить, хотелось иметь право передавать другому свои знания, убеждения, а того и другого было в моей голове довольно в запасе.

На другой день я отправился еще за полчаса до назначенного срока. Дом, который отыскал по адресу, был барской; стоял он на дворе, по бокам тянулись огромные каменные прислуги, кругом почти целый квартал обхватывала железная решетка. Я долго путался в огромных сенях, наконец вошел в бельэтаже в главные двери. Лакей в ливрее на вопрос мой: «Здесь ли живет Леонид Николаич Ваньковский?» — отвечал довольно грубо: «Ступайте на самый верх, направо». Наверху в передней я никого не нашел, в зале тоже; из соседней комнаты слышался разговор, я начал кашлять, выглянула молодая девушка. Я поклонился ей.

— Вам, верно, брата Леонида нужно? — проговорила она и ушла назад.

Через несколько минут вышел мой ученик.

— Bon soir¹, пойдите в кабинет, — проговорил он, подавая мне руку.

Мы вошли в довольно большую комнату, которая, видно, действительно была некогда богатым кабинетом, но в настоящее время представляла страшный беспорядок: стены под мрамор в некоторых местах были безбожно исколочены гвоздями, в углу стоял красивый, но с изломанною переднею решеткою камин, на картине

¹ Добрый вечер, (франц.)

масляной работы висела шинель. Хозяин спал на кушетке, на которой еще лежали неубранные простыня и подушки. Мягкая мебель, обитая бархатом, была переломана и изорвана. На огромном красного дерева столе лежали кипами бумаги, книги и ноты. Мы сели около этого стола.

— С чего ж мы начнем? — заговорил я серьезным тоном наставника.

— С чего хотите, — отвечал ученик небрежно.

— Я желал бы, — продолжал я в том же тоне, — прежде испытать, в какой мере вы знакомы с математикой, и просил бы позволить мне проэкзаменовать вас.

— Хорошо.

— Первую часть арифметики, вероятно, вы знаете?

— Знаю.

— А вторую?

— Кажется, знаю; впрочем, может быть, и забыл.

Я взял лист бумаги и хотел написать задачу, но оказалось, что из дюжины торчавших в чернильнице перьев ни одно не писалю, да и чернил почти не было.

— У вас перья не совсем в порядке, — заметил я.

— Да; я сам не умею чинить; вот вам карандаш, — отвечал ученик, поднимая с полу карандаш и подавая мне его.

Для первого испытания я задал ему сложение десятичных дробей; он взял и положил с какою-то насмешливою улыбкою лист перед собою, подумал немного, провел несколько линий карандашом по бумаге и, отодвинув ее от себя, проговорил:

— Нет, не знаю, позабыл.

Я задал ему сложение простых дробей, но он и в тех спутался; потом об алгебре признался, что совсем ее не знает, а геометрии немного. Я принялся экзаменовать его в геометрии, на поверку вышло, что и в геометрии нуль. Я нахмурился.

— Вы очень слабы в математике; с вами надобно проходить с начала, — сказал я.

— Лучше с начала, а то я все перезабыл.

— Стало быть, мы начнем со второй части арифметики, — решил я.

Ваньковский в знак согласия кивнул головой. Я был убежден, что с ним следовало бы начать с первой части

арифметики, но высказать ему это мне на первый раз было совестно.

В продолжение часа я толковал с увлечением, и в то время, как окончательно хотел объяснить прием деления дробей, ученик мой во все горло зевнул и спросил меня:

— Вы курите?

Мне сделалось стыдно за себя и досадно на него.

— Курю, — отвечал я.

— Хотите трубку или сигару?

— Позвольте трубку.

Леонид встал, наложил мне сам трубку, а себе закурил сигару, и когда я хотел снова обратиться к толкованию, он сказал:

— Будет, больше часа прошло, не хочется что-то сегодня.

Я пожал плечами.

— Вам надобно очень много заниматься, чтобы выдержать экзамен, — произнес я с ударением.

— Займусь, — я хочу на юридический.

— Все равно; надобно выдержать экзамен из всех предметов, — отвечал я.

— Что тебе, Лида? — спросил Леонид, обращаясь к дверям.

— Вы здесь будете пить чай или туда придете? — раздался женский голос.

Я обернулся; это была прежняя девушка.

— Туда придем, — отвечал Леонид.

Девушка скрылась. Я взялся за фуражку.

— Куда же вы? Посидите, пойдете, я познакомлю вас с нашими.

Я положил фуражку; он провел меня в гостиную. В больших креслах сидела высокая худощавая дама лет сорока пяти, рядом с нею помещался, должно быть, какой-нибудь помещик, маленькой, толстенькой, совсем белокурый, с жиденькими, сильно нафабранными усами, закрученными вверх, с лицом одутловатым и подозрительно красным. Лидия разливала чай, около нее сидели чопорно на высоких детских креслах две маленькие девочки.

Ученик мой подвел меня к даме и отрекомендовал. «Матушка моя», — отнесся он ко мне.

Госпожа Ваньковская кивнула мне слегка головою и, проговоря с обязательною улыбкою: «Очень приятно

познакомиться», указала мне глазами на ближайший стул.

Я сел.

— Вы давно в университете? — спросила она меня.

— Четвертый год.

— Имеете батюшку, матушку?

— Имею-с мать.

— Как, я думаю, ей приятно, что вы в университете, я это сужу по себе: мне очень хочется, чтобы Леонид поступил поскорей в студенты, — проговорила г-жа Ваньковская. — Он, я думаю, ничего не знает, — прибавила она, взглянув на сына.

Леонид ничего на это не возражал, а только нахмурился и сел за чайный стол около сестры.

— Это не так трудно: если займется, так скоро приготовится, — отвечал я.

— Вы, пожалуйста, будьте с ним построже; у него прекрасные способности, только он очень ленив: это говорили все его учителя, — сказала г-жа Ваньковская и, найдя, конечно, что достаточно обласкала меня, обратилась к помещику:

— Какие у вас прекрасные лошадки, Иван Кузьмич, я всегда ими люблюсь.

— Очень приятно слышать, — отвечал тот.

— Премиленькие, небольшие, а очень красивенькие.

— Вятки-с.

— А, так это вятки! Я и не знала.

— Вятки-с. Они у меня возят воду и воеводу. Я на них в город езжу и в дорогах верст по семидесяти делаю не кормя.

— Как это много! Они, я думаю, очень устают?

— Нет-с, ничего. Эта порода снослива, им часа два дайте вздохнуть и опять ступай смело на семьдесят верст; только чтоб горячих не напоить.

— Зачем же вы в городе всегда шагом ездите? — сказал вдруг Леонид, взглянув насмешливо на Ивана Кузьмича.

— Здесь нельзя шибко ездить, Леонид Николаич, — возразил тот. — На мостовой снег хуже песку; здесь один Кузнецкий проехать на рысях, так лошадь надорвешь.

— Другие же ездят?

— От других и мы не отстанем, давайте ваших каурых, потягаемся!

— Стану я с вами тягаться; я вас на одной версте обгоню на две версты.

— Шутите, а я бы с вами поспорил.

— Что тут спорить, все знают, что у вас лошади дрянь и вы жалеете их больше себя.

— Ну уж это, Леонид Николаич, вы ошибаетесь; у меня хоть лошади не дорогие, а не дрянь, и я не жалею их и езжу, где можно.

Этот спор Леонида, кажется, был очень неприятен матери.

— Лида! Что же чаю? — отнеслась она к дочери.

— Сейчас, — отвечала Лидия и сама подала матери чашку.

Та прихлебнула, сделала гримасу и проговорила:

— Опять сладко; никак ты не можешь примениться к моему вкусу.

— Позвольте, я разбавлю.

— Оставь уж, — возразила Ваньковская; в голосе ее слышалась досада.

Лидия немного сконфузилась и пошла к чайному столу.

— А Ивану Кузьмичу чаю? — сказала мать.

— Он готов, — отвечала дочь, указывая глазами на стакан чаю, стоявший на краю стола.

— Виноват-с, — перебил Иван Кузьмич, быстро вставая и беря стакан, и, как-то особенно расшаркавшись перед Лидой, пробормотал ей что-то. Она с своей стороны ничего не отвечала.

Мне и Леониду подал чай лакей. Леонид закурил себе сигару и подал другую мне. Я отказался.

— Что же ты, Леонид, Ивану Кузьмичу не предложишь трубку, — сказала мать.

Леонид нахмурился.

— Хотите? — спросил он Ивана Кузьмича.

— Прошу вас, — отвечал тот.

— Подай сюда трубку, — сказал Леонид человеку.

Я между тем стал внимательно смотреть на молодую девушку, которая поила маленьких сестер чаем. Чем более я в нее вглядывался, тем более она мне нравилась. Она была далеко не красавица, но в то же время в ней было что-то необыкновенно милое и доброе, что невольно влекло к ней с первого раза. Чайный стол, наконец, был убран, разговор как-то не клеился: мать говорила впол-

голоса с Иваном Кузьмичом; Лидия Николаевна села за работу; мой ученик молчал и курил. Я хотел было уйти домой, но Леонид встал, раскрыл стоявшую тут рояль и, не обращая ни на кого внимания, сел и начал играть. Я невольно стал вслушиваться; в игре его, кроме мастерского приема, слышалось что-то энергическое, задушевное. Молодая девушка, умышленно или нет, не знаю, пересела рядом со мною. Леонида слушали внимательно все: Иван Кузьмич придал лицу грустное выражение, мать потупилась, даже маленькие девочки перестали между собою болтать.

— Как брат хорошо играет, — сказала мне Лидия Николаевна.

— А вы любите музыку?

— Очень.

— А сами музыкантша?

— Да... но нет, я гораздо хуже его играю.

Леонид вдруг на половине пьесы остановился, встал, сел около меня и опять нахмурился.

В остальную часть вечера Иван Кузьмич принимался несколько раз любезничать с Лидисью Николаевною; она более отмалчивалась. Леонид беспрестанно говорил ему колкости, на которые он не только не отвечал тем же, но как будто бы даже не понимал их.

Возвратившись домой, я все думал о моих новых знакомых; более всех мне понравились Лидия Николаевна и Леонид. Старшая Ваньковская, Марья Виссарионовна, как назвал мне ее Леонид, произвела на меня какое-то неопределенное впечатление, а этот Иван Кузьмич плоховат. И что он такое тут? Родня, знакомый, жених?

II

С тех пор как я познакомился с Ваньковскими, жизнь моя сделалась как-то полнее. Все вечера после уроков я проводил у них. Говоря откровенно, я, сам того не замечая, влюбился в Лидию Николаевну. Каждый день я более и более с мучительным нетерпением начал ожидать шести часов, чтобы отправиться в заветный дом на Смоленском рынке, и всю дорогу меня занимала одна мысль: дома ли Лидия, или куда-нибудь уехала? Увижу я ее или нет? Проходил я обыкновенно прямо к Леониду в кабинет

и в продолжение часа, занимаясь с ним, все прислушивался: не долетит ли до меня звук ее голоса. Я знал ее походку, чувствовал шелест ее платья, и потом, когда мы, кончив занятия, входили в гостиную, — если не было ее там, мной овладевала невыносимая тоска: я садился, задумывался и ни слова не говорил; но она входила, и я оживал, делался вдруг весел, болтлив. Не знаю, замечал ли это кто-нибудь, но только Лида была ко мне очень ласкова: вообще молчаливая, со мной всегда заговаривала первая и всякий раз, когда я собирался уходить домой, говорила мне вполголоса: «Куда вы? Посидите, еще рано!»

Марья Виссарионовна добрая женщина, но решительно не умеет держать себя с детьми: Леонида она любит более всех, хотя и спорит с ним постоянно, и надобно сказать, что в этих спорах он всегда правее; с маленькими девочками она ни то ни се, или почти ими не занимается, но с Лидией Николаевною обращается в высшей степени дурно. Бедная девушка поставлена в такое положение, что скорее походит на приживалку, чем на дочь. Она занимается всем хозяйством, учит и нянчит маленьких сестер и, несмотря на все это, получает от матери непрерывные замечания за всевозможные пустяки. Ко мне Марья Виссарионовна привыкла. Иван Кузьмич рекомендовался мне, сказав, что он калужский помещик Марасеев, и просил обязать его приятным моим знакомством. Он очень недалек и, кажется, к Лидии Николаевне неравнодушен, Марью Виссарионовну уважает, а Леонида боится. Что касается до сего последнего, то он по-прежнему ничего не делает, но, сблизившись с ним, я увидел в нем очень умного человека, в высшей степени честного по своим убеждениям и далеко не по летам развитого. Я день ото дня более к нему привязывался, и он с своей стороны высказал мне, что полюбил меня.

К Ваньковским ездила еще одна дама, некто Лизавета Николаевна Пионова, и ездила почти каждый день, рыжая, рябая, с огромным ртом, влажными серыми глазами и, повидимому, очень хитрая: к Марье Виссарионовне она обнаруживала пламенную дружбу, а от Ивана Кузьмича приходила в восторг и всегда про него говорила: «Чудный человек! Превосходный человек!» За Леонидом она, кажется, приволакивалась, а он говорил ей на каждом шагу дерзости и показывал явное пренебре-

жение. Раз она, не зная, о чем бы с ним заговорить, попросила его дать ей какую-нибудь книгу читать. Сначала он ей отвечал: «У меня никаких нет книг». Она приступила. «Да какую вам надобно книгу?» — наконец, спросил он. «Какую-нибудь поинтереснее». Он пошел и принес ей календарь. Она надулась. Когда она обращалась к нему с просьбою сыграть на фортепьяно, он сел и начинал казачка. Досаднее всего, что эта госпожа обходилась с Лидиею Николаевною свысока и едва ее замечала.

Однажды я пришел на урок. Леонида дома не было: это с ним часто случалось. Я прошел к кабинет. Мимо растворенных дверей промелькнула горничная, потом другой раз, третий — и, наконец, вошла в кабинет.

— Что вы изволите сидеть одни-с, барышня дома, — сказала она.

— Где же Лидия Николаевна? — спросил я не совсем спокойным голосом.

— В гостиной, пожалуйста туда-с; я докладывала об вас.

Я прошел в гостиную. Лидия Николаевна сидела за пяльцами.

— Брат сейчас приедет, он поехал с маменькою, — сказала она.

Я сел. Говорить с Лидиею Николаевною было для меня величайшим наслаждением, но мне это редко удавалось. Я решился воспользоваться настоящим случаем.

— Какую вы огромную картину вышиваете, — сказал я.

Приличнее этого мне ничего не пришло в голову.

— Эта еще не так велика... Посмотрите, какое славное лицо у старика, — отвечала Лидия Николаевна, показывая узор, на котором был изображен старик с седою бородою, с арфою в руках, возле его сидел курчавый мальчик и лежала собака; вдали был известный ландшафт с деревцами, горами и облаками.

— Надобно иметь истинно женское терпение, чтобы все это вышить, — продолжал я, рассматривая узор.

— Нет, это не терпение, а так... от нечего делать... — отвечала Лидия Николаевна. — Хорошо, если бы женщины должны были иметь терпение только вышивать подушки, которые потом запачкаются и бросятся, — прибавила она вздохнув.

— А где же им оно еще нужно? — спросил я с удивлением.

— В жизни.

— Это, я полагаю, нужно мужчинам и женщинам.

— Мужчинам? О нет! Они гораздо свободнее; они могут быть тем, чем хотят, а мы бываем тем, чем нам делят.

«Милая девушка, как она умна», — подумал я.

— Мне кажется, — начал я вслух, — что женщины в наше время довольно свободны...

— Чем же свободны? Может ли, например, женщина выйти или не выйти замуж?

— Конечно, может.

— Нет, не может, потому что над ней сейчас станут смеяться, назовут старою девушкою, скажут, что она зла; родные будут сердиться, тяготиться: на это не достанет никакого терпения.

— Необходимость выйти замуж для каждой девушки делается приятною: стоит только выйти за того, кого любишь.

— А если никого не любишь?

— Надобно дожидаться; для всякой женщины придет пора, когда она полюбит.

— Не думаю, я первая никогда и никого не люблю.

— Это почему вы думаете?

— Так... Полюбишь одного, а выдадут за другого: лучше уж никого не любить.

Интересный разговор наш был прерван на этом месте приездом Леонида с матерью.

Мы ушли с ним в кабинет.

В этот раз я не совсем добросовестно исполнял обязанность наставника. Теорию неопределенных уравнений растолковал так неопределенно, что это даже заметил мой воспитанник, хотя и слушал меня по обыкновению очень невнимательно.

— Вы что-то сегодня совсем непонятно рассказываете, — сказал он с обыкновенною своею откровенностию.

— Мне нездоровится, — отвечал я.

— Ну так оставьте, и мне надоело. — Пойдемте в гостиную.

Я только того и ждал и дал себе слово во что бы то ни стало возобновить с Лидиею Николаевною прежний

разговор, но на беду мою несносный Иван Кузьмич был уже тут и сидел рядом с нею. Марья Виссарионовна рассказывала какую-то длинную историю про одну свою родственницу, которой предстояла прекрасная партия и которую она сначала не хотела принять, но потом, желая исполнить волю родителей, вышла, и теперь счастливы так, как никто; что, наконец, дети, которые слушаются своих родителей, бывают всегда благополучнее тех, которые делают по-своему. Говоря это, она переглядывалась с Иваном Кузьмичом, который ей поддакивал, и взглядывала на дочь; та сидела потупившись и ни слова не говорила. Леонид слушал мать с насмешливою улыбкою. Мне бы, вероятно, целый вечер не удалось переговорить с Лидиею Николаевною, но приехала Пионова. С нежностью поздоровалась она с Марьею Виссарионовною, издала радостное восклицание при виде Ивана Кузьмича, который у ней поцеловал руку, и тотчас же начала болтать, а потом, прищурившись, взглянула в ту сторону, где сидел Леонид, и проговорила сладким голосом:

— Вы здесь, Леонид Николаич, я вас и не вижу.. Здравствуйте!

Тот не пошевелился и ни слова не сказал; меня и Лидию Николаевну она по обыкновению не заметила. Лида вышла, наконец, в залу, я тоже последовал за нею, благословляя в душе приезд Пионовой. Когда я вошел, Лидия сидела на небольшом диване задумавшись. Увидев меня, она улыбнулась и проговорила:

— Я ушла, там очень жарко, посидимте здесь.

Я стал около нее.

— Вы будете у нас завтра? — спросила она.

— Буду.

— А послезавтра?

— Послезавтра воскресенье, уроку у меня нет.

— Ничего, приходите обедать и на целый день.

Я обмер от радости.

— Завтра я не буду целый день дома, — прибавила Лидия.

— Где ж вы будете? — спросил я.

— В пансионе у madame Жарве. Там завтра акт и вечером бал.

— Стало быть, вы завтра будете веселиться?

— Какое веселье!.. Я не люблю балов, но я там училась; начальница меня очень любила; сама приезжала и просила, чтоб мамаша меня отпустила; она очень добрая!

— Я знал одну из воспитанниц madame Жарве; та не похожа на вас и, кажется, очень любит балы.

— Кто такая?

— Вера Базаева, которая мне еще как-то кузиной приходится.

— Верочку Базаеву? Она вам кузина! Эта наша пансионская красавица. Скажите, где она и что делает?

— Я думаю, танцует и кокетничает.

— Право? Она, впрочем, всегда была немного кокетка, а какая хорошенькая! Сначала я была с ней дружна, а потом расстались холодно; она тогда зиму жила здесь, очень много выезжала, и мы почти не видались.

— У меня с нею почти были такие же отношения: на первых порах мы с ней очень скоро подружились, или по крайней мере она уверяла меня, что ей очень ловко танцевать со мною вальс, а я находил, что она очень хороша собою.

— Вы не были в нее влюблены?

— Нет.

— Не может быть.

— Отчего же не может быть?

— Оттого, что она так мила, что нравится всем.

— На первый взгляд, может быть, а потом, взглядевшись, увидишь, что красоте ее много недостает.

— Чего ж недостает?

— Мысли, чувства, души.

Лида не возражала.

— Вы напрасно думаете, — продолжал я, — чтоб я мог быть влюблен в Базаеву; по моим понятиям женщина должна иметь совершенно другого рода достоинства.

— А именно?

— Вы желаете знать?

— Очень.

— Женщина должна быть не суетна, а семьянинка, кротка, но не слабхарактерна, умна без педантизма, великодушна без рисовки, не сентиментальна, но способна к привязанности искренней и глубокой, — отвечал я.

В голове моей давно уже приготовлен был для Лидии Николаевны этот очерк идеала женщины.

— А наружность? — спросила она.

— Наружности я и определять не хочу. Эти нравственные качества, которые я перечислил, так одушевят даже неправильные черты лица, что она лучше покажется первой красавицы в мире.

— Таких женщин нет.

— Нет, есть.

— Вы, стало быть, встречали?

— Может быть.

— Желала бы я посмотреть на такую женщину.

Я ничего не отвечал. Дело в том, что под этим идеалом я разумел ее самое. Несколько времени мы молчали.

— Вы, Лидия Николаевна, говорили, что никогда и никого не полюбите? — начал я.

— Да.

— Стало быть, вы никогда и замуж не пойдете?

— Нет, пойду.

— По расчету?

— Да, по расчету, — отвечала она.

И мне показалось, что, говоря это, она горько улыбнулась.

— Я не ожидал от вас этого слышать.

— Отчего ж не ожидали; это очень покойно; по крайней мере, если муж разлюбит, то не так будет обидно.

— Перестаньте так говорить, я вам не верю.

— Нет, правда.

— Правда?.. — начал было я.

— Пойдите, — вдруг перебила меня Лидия Николаевна, — там, кажется, говорят про меня.

— Что такое вас встревожило? — спросил я.

— Так, ничего, — отвечала Лидия Николаевна.

— Ах, какая эта Пионова несносная! — прибавила она как бы про себя.

— *Lydie, où êtes vous?*¹ — раздался голос Марьи Виссарионовны из гостиной.

— *Ici, maman*², — отвечала Лидия.

— *Venez chez nous*³.

¹ Лидия, где вы? (франц.)

² Здесь, мама, (франц.)

³ Идите к нам. (франц.)

— Посидите тут, я скоро возвращусь, — это ужасно! — проговорила она и ушла.

По крайней мере с полчаса сидел я, напрягая слух, чтобы услышать, что говорится в гостиной; но тщетно; подойти к дверям и подслушивать мне было совестно. Наконец, послышались шаги, я думал, что это Лидия Николаевна, но вошел Леонид, нахмуренный и чем-то сильно рассерженный.

— Что вы тут сидите; пойдите в кабинет, — сказал он.

Я пошел за ним в надежде, не узнаю ли чего-нибудь.

— Пионова сегодня что-то много говорит, — начал я.

— Мерзавка!.. Черт знает, как все эти женщины нелепы.

— А что же?

Леонид ничего не отвечал; расспрашивать его, я знал, было бесполезно.

— А математика идет плохо, — начал я с другого.

— Скверно. Как мне хочется на воздух! Поедемте прокатиться; я вас довезу до дому; у меня лошадь давно заложена.

— Хорошо. Можно проститься с вашими?

— Ступайте; а я покуда оденусь.

В гостиной я застал странную сцену: у Марьи Виссарионовны были на глазах слезы; Пионова, только что переставшая говорить, обмахивала себя платком; Иван Кузьмич был краснее, чем всегда; Лидия Николаевна сидела вдали и как будто похудела в несколько минут. Я раскланялся. Леонид подвез меня к моей квартире. Во всю дорогу он ни слова не проговорил и только, когда я вышел из саней, спросил меня:

— Вы будете завтра дома?

— Буду.

— Я завтра приду к вам.

— Приходите.

III

На другой день, только что я встал, Леонид пришел ко мне и по обыкновению закурил трубку, разлегся на диване и молчал; он не любил скоро начинать говорить.

— Ваши здоровы? — спросил я.

Меня заботило, что такое у них вчера было.

— Не знаю хорошенько; матери не видал, а сестра больна.

— Чем?

— Голова болит.

— Вы вчера поздно воротились?

— Нет, прокатился только.

— А гости еще у вас долго сидели?

— Не знаю; я не входил туда. Кажется, что долго, — отвечал нехотя Леонид.

Он был очень не в духе.

— Скажите, пожалуйста, Леонид Николаич, — начал я после нескольких минут молчания, — что это за человек Иван Кузьмич?

— Что за человек он, я не знаю, и даже сомневаюсь, человек ли он? а что глуп, как бревно, так это верно.

— Однако он принят у вас, как свой?

— Не отвяжешься от него, хотя я и давно об этом стараюсь.

— Почему ж?

— Он главный кредитор наш.

— А разве у вас долги есть?

Леонид усмехнулся.

— Есть немного.

— Сколько же?

— Тысяч триста серебром.

— Триста тысяч!.. А состояние велико ли?

— Около тысячи душ.

— Состояние прекрасное.

— Хорошо, только в итоге ставь нуль.

— Отчего же это?

— Дела расстроены. Отец у меня был очень умный человек, и, когда женился на матери, у него ничего не было, а у нее промотанных двести душ, но в пять лет он составил тысячу, а умер — и пошло все кривым колесом: сначала фабрика сгорела, потом взяты были подряды, не выполнили, залоги лопнули! А потом стряпчие появились и остальное доконали.

— Каким же образом Иван Кузьмич попал в число кредиторов?

— Получил от родного брата по наследству, с которым отец имел дела.

— А велик его вексель?

— Тысяч в тридцать серебром.

— Кто ж теперь управляет всем этим: и делами и именем вашим?

— Судьба.

— А матушка ваша предпринимает же что-нибудь?

— Едва ли. Она то плачет и говорит, что несчастнейшая в мире женщина, а потом, побеседовавши с Пионовою, уверяет всех, что ничего, что все прекрасно устроилось. Я ничего не понимаю.

— Во всяком случае она, мне кажется, женщина умная.

— Умна, только прежде была очень избалована жизнью. При дедушке жила в богатом доме и знала только на балы выезжать, при отце тоже: он ей в глаза глядел и окружал ее всевозможною роскошью. Вы бывали у нас в бельэтаже?

— Нет.

— Жаль. Я вам покажу когда-нибудь. Там есть кабинет, нарочно для нее отделанный; он один стоит десять тысяч серебром, а теперь и нет ничего, да еще хлопоты по делам, и растерялась.

— Поэтому теперь лежит обязанность на вас устроить как-нибудь дела.

— А что я такое? Мальчишка, да и по характеру один из тех пустейших людей, которые ни на что не годны. Я от лени по целым дням хожу, не умывшись и не пообедавши; у меня во всю мою жизнь недоставало еще терпения дочитать ни одной книги.

— Однако вы музыкант, и музыкант замечательный.

— Музыка и дела — две вещи разные; музыку я люблю, — отвечал Леонид.

Несмотря на то, что он все это говорил, повидимому, равнодушно, но видно было, что семейное расстройство его сильно беспокоило. Мне было более всего досадно, что Марасеев был в числе кредиторов.

— Вероятно, Иван Кузьмич по хорошему знакомству не беспокоит вас своим векселем? — сказал я.

— Напротив, несноснее всех, — отвечал Леонид.

— Неужели же он так неделикатен?

— Не очень. Все сватается к сестре и говорит, что если она выйдет за него, так он сейчас же изорвет вексель.

Сердце у меня замерло.

— А Лидии Николаевне он нравится? — спросил я.

— Еще бы ей нравился! Она не совсем еще с ума сошла.

— А Марья Виссарионовна желает этого брака?

— Очень.

— Неужели же Марья Виссарионовна не видит в нем ни разницы лет, ни разницы воспитания с Лидией Николаевною, неужели, наконец, не понимает личных его недостатков? Я уверен, что ей самой будет неловко иметь такого зятя: у него ничего нет общего с вашим семейством.

Леонид молчал.

— И как вы думаете, брак этот состоится? — прибавил я, желая вызвать его на разговор.

— Я думаю. Матушка желает и говорит, что от этого зависит участь всей семьи.

— Какая же участь? Тридцать тысяч не все ваше состояние.

— Кажется, а Лида верит.

— Но как же это?

— А так же — верит. Вы не знаете этой девушки: она олицетворенная доброта. Матушке стоит только выразить малейшую ласку, и она не знаю на что не решится. Досаднее всего, что я ее ужасно люблю, не оттого, что она мне сестра; это бог бы с ней, а именно потому, что она чудная девушка.

— Мне самому Лидия Николаевна чрезвычайно нравятся, даже в наружности их есть что-то особенно привлекательное.

— Нет, наружность что? Она собою не хороша, но у ней чудный характер, кроткий, ровный.

Эти слова Леонид говорил с большим против обыкновенного своего тона одушевлением.

— Я без ужаса вообразить не могу, — продолжал он, вставая и ходя взад и вперед по комнате, — что такая славная женщина достанется в жены какому-нибудь Марсееву.

— Тем более, Леонид Николаич, вы должны этому противодействовать всеми средствами.

— Ничего не сделаешь. Неужели вы думаете, что я не действовал? Я несколько раз затевал с ним историю и почти в глаза называл дураком, чтобы только рассердить его и заставить перестать к нам ездить; говорил, наконец, матери и самой Лиде — и все ничего.

— Но они возражали же что-нибудь вам?

— Ничего не возражали; мать сердится и говорит, что я еще мальчишка и ничего не понимаю, а Лида плачет.

— Во всяком случае это слабость характера со стороны Лидии Николаевны.

— Вовсе не слабость, когда она два года борется и в продолжение этих двух лет ей говорят беспрестанно одно и то же, беспрестанно толкуют, что этот человек влюблен в нее, что лучшего жениха ей ожидать нельзя, потому что не хороша собою, что она неблагодарная, капризная и что хочет собою только отягощать мать. Я бы на ее месте давно убежал из дома и нанялся бы где-нибудь в ключницы, чем стал бы жить в таком положении.

— А Иван Кузьмич богат?

— В том все и дело, что хочет уничтожить наш вексель, а кроме того, Пионова уверяет, что у него триста душ и что за невестою он ничего не просит и даже приданое хочет сделать на свой счет и, наконец, по всем делам матери берется хлопотать. Я вам говорю, что тут такие подлые основания, по которым выдают эту несчастную девушку, что вообразить трудно.

— Я, право, все еще не верю, чтобы Марья Виссарионовна могла иметь такие побуждения в таком важном деле, как брак дочери.

— У ней никаких нет побуждений, потому что нет никаких убеждений. В этом случае ее решительно поддывает Пионова; не будь этой советчицы, мать бы задумала... опять передумала... потом, может быть, опять бы задумала, и так бы время шло, покуда не нашелся бы другой жених, за которого Лида сама бы пожелала выйти.

— Неужели же влияние этой пустой женщины так сильно, что вы не можете ее отстранить, и, наконец, на чем основано это влияние?

— На том, что она унижается пред матерью, восхищается ее умом, уверяет ее, что она до сих пор еще красавица; клянется ей в беспредельной дружбе, вот и основания все, а та очень самолюбива. Прежде, когда она была богата и молода, ей льстили многие, а теперь все оставили; Пионова же держит себя попрежнему и, значит, неизменный друг.

— Но та — какую цель имеет?

— Может быть, деньги взяла за сватанье, и вероятно, да и Лиду ей уничтожить хочется: она ее ненавидит.

— За что же?

— За то, за что мерзавцы вообще ненавидят хороших людей, которые для них живое обличение.

— Мне кажется, что Пионова равнодушна к вам?

— Как же! Влюблена в меня; сама признавалась мне, что она дорожит нашим семейством только для меня.

— Вот бы вы это и сказали матушке.

— Говорил.

— Что ж она?

— Смеется.

Таким образом, Леонид раскрыл предо мною всю семейную драму. Мы долго еще с ним толковали, придумывали различные способы, как бы поправить дело, и ничего не придумали. Он ушел. Я остался в грустном раздумье. Начинаясь в сердце моем любовь к Лидии Николаевне была сильно поражена мыслию, что она должна выйти замуж, и выйти скоро. Мне сделалось грустно и досадно на Лиду.

В первые минуты я написал к ней письмо, которое вышло у меня такого содержания:

«Я, может быть, слишком много беру себе права, что осмеливаюсь писать к вам, но разубеждение, которое мне суждено в вас испытать, так болезненно отозвалось в моем сердце, что я не в состоянии совладеть с собою. Я некогда, если вы только это помните, говорил вам об идеале женщины, и нужно ли говорить, что все его прекрасные качества я видел в вас, но боже мой! как много вы спустились с высоты того пьедестала, на котором я, ослепленный безумец, до сих пор держал вас в своем воображении. Вы выходите замуж, я это знаю, и знаю также, что ваш ум и ваше сердце и свободу вы приносите двум-тремстам душам мужнина состояния. Не говорите тут о необходимости, о самоотвержении. Подобное пренебрежение, чтоб не сказать неряшество, в собственном счастье, я убежден, выше сил женщины и служит признаком, знаете ли чего? Страшно сказать — бездушия, бесстрастности, что признать в вас мне все-таки не

хочется, и я все-таки еще желаю оставить вам настолько нравственных качеств, что наперед вам предсказываю много горя и страданий, если вы только сделаете этот неосторожный шаг».

Написав все это, я предполагал в тот же день снести Лиде сам мое письмо, но, вспомнив, что говорил Леонид, мне стало жаль ее.

«Нет, она не так виновна, — подумал я, — бог с ней: пускай она выходит замуж, я останусь ей предан и по возможности дружен и близок с нею».

Решившись таким образом из пламенного обожателя преобразовать себя в смиренного и нетребовательного друга, я задал себе вопрос: что за человек Марасеев? Может быть, Леонид сильно против него предубежден; может быть, он только не очень умен, но добрый в душе человек, может быть, он точно любит Лидию Николаевну, доказательство этому отчасти есть: он жертвует для нее тысячами. Из него, может быть, выйдет хороший семьянин, и он в состоянии будет, если не сделать Лидию Николаевну вполне счастливою, то по крайней мере станет покоить ее.

Мое намерение было: на другой же день съездить к Марасееву и посмотреть на него в домашней жизни; это было мне и кстати сделать, потому что он был у меня недели две тому назад, а я ему еще не заплатил визита.

IV

Иван Кузьмич жил в Грузинах. Я ехал к нему часа два с половиною, потому что должен был проехать около пяти верст большими улицами и изъездить по крайней мере десяток маленьких переулков, прежде чем нашел его квартиру: это был полуразвалившийся дом, ход с двора; я завяз почти в грязи, куда шел по этому двору, на котором, впрочем, стояли новые конюшни и сарай. Я сейчас догадался, что Иван Кузьмич выбирал квартиру с большими удобствами для лошадей, чем для себя. В маленькой темной передней встретил меня лакей и, проворно захлопнув дверь в залу, стал передо мною, как бы желая загородить мне дорогу.

— Дома Иван Кузьмич? — спросил я.

Лакей замялся.

— Я не знаю-с, они дома, да не почивают ли? Позвольте я доложу-с, — отвечал он и ушел в залу, опять притворив дверь. Через несколько минут он возвратился, неся в руках поднос с пустым графином и объедками пирога. Поставив все это, бегом побежал в сени и возвратился оттуда с умывальником и полотенцем и прошел в залу. Положение мое становилось несносно; я стоял, не снимая ни шинели, ни калош, в полутемноте и посреди удушливого запаха, который происходил от висевших тут хомутов, смазанных недавно ворванью. Лакей еще несколько раз прибежал за сапогами, сюртуком, головною щеткою, которые хранились тут же в передней, и, наконец, разрешил мне вход. Иван Кузьмич встретил меня с распростертыми объятиями, обнял и крепко поцеловал. Не ожидая такой нежности, я попятился и с удивлением взглянул ему в лицо: оно не только было красно, но пылало, и глаза были уже совсем бессмысленные. Вместе с ним вышел толстейший и высочайший мужчина, каких когда-либо я видал, с усищами до ушей, с хохлом, с огромным животом, так что довольно толстый Иван Кузьмич и я, не совсем маленький, — казались против него ребятами, одним словом, на первый взгляд страшно было смотреть. Он мне расшаркался, и при этом закачался весь пол. Иван Кузьмич поздоровался со мною и облокотился на печку.

— Очень рад, — начал он, едва переминая язык, — прошу познакомиться, — прибавил он, указывая на огромного господина: — мой приятель, Сергей Николаич, а они учитель Марьи Виссарионовны, очень рад... извините, пожалуйста, я не ожидал вас: недавно проснулся, будьте великодушны, извините... Сделайте милость, господа, пожалуйста в гостиную. Сергей Николаич! Что ж ты церемонишься? Мы с тобою не сегодня знакомы; ты свинтус после этого... Сделайте милость, простите великодушно; мы с ним по-приятельски, — болтал хозяин и, наконец, пошел в гостиную, шатаясь из стороны в сторону. Не оставалось никакого сомнения, что он был мертвецки пьян. Мы пошли за ним, громадный господин был тоже сильно выпивши, только ему было это ничего: у него все выходило испариною, которая крупными каплями выступила на лбу и которую он беспрестанно обтирал, но она снова появлялась.

В так названной гостиной, в которой был какой-то деревянный диван и несколько стульев, сидел молодой офицер и курил трубку. Он мне особенно бросился в глаза тем, что имел чрезвычайно худошавое лицо, покрытое сплошь желчными пятнами.

Иван Кузьмич опять принялся за рекомендацию.

— Позвольте вас познакомить: поручик Данович — учитель Марьи Виссарионовны; прошу полюбить друг друга.

Зачем он нас просил, чтобы мы полюбили друг друга, неизвестно.

Я потупился, поручик усмехнулся, однако мы раскланялись.

— Очень, право, рад, что мне вот сегодня приехал Сергей Николаич, потом господин Данович пришел... потом вы пожаловали: благодарю... только извините, пожалуйста; я такой человек, что всем рад, извините... — проговорил Иван Кузьмич и потупил голову. Поручик качал головою; толстый господин не спускал с меня глаз. Мне сделалось неприятно и неловко.

— Вы кого у Марьи Виссарионовны учите? Леонида или маленьких девочек? — спросил он меня необыкновенно густым басом.

— Леонида, — отвечал я.

Сергей Николаич откашлялся.

— Славный малый Леонид, — продолжал он, — только ко мне не ездит, да и сам я давно не бывал у них: с год!.. Все нездоровится.

«Ему нездоровится», — подумал я и внутренне рассмеялся; скорее в молодом слоне можно было предположить какую-нибудь болезнь, чем в нем.

— Жена моя часто у них бывает; видали там мою жену? — отнесся опять ко мне Сергей Николаич.

— Вашу супругу? — спросил я, не отгадывая еще, кто этот господин.

— Да, Пионову; я имею честь быть господином Пионовым, а госпожа Пионова моя нежнейшая супруга, верная жена и подруга дней моих печальных.

— Видал-с, — отвечал я.

Так вот кто был супруг Пионовой; недаром она не возит его к Ваньковским и говорит, что он домосед.

— Хорошо, что я вспомнил об жене, — продолжал Пионов, обращаясь к хозяину. — Она меня поедом ест за тво-

его бурку; говорит: зачем купил, не нравится. Да полно, что ты нахмурился?

— Бурку?.. — отозвался Иван Кузьмич. — Бурка, брат, славная лошадь; если бы мне такая попалась, я сейчас дам тысячу целковых.

— Возьми назад, я за полтысячи уступлю.

— Давай, возьму!.. Что ж, разве не возьму?

— Бери, мне самому жаль. Как бы не барыня, я бы с ней не расстался.

Поручик взглянул на меня и усмехнулся.

— Барыня... барыня, — говорил Иван Кузьмич, — твоя барыня, брат, милая; я у ней ручку поцелую, а ты в лошадях ничего не согласишь; ты что говорил про белогривого жеребца?

-- Что говорил?

— Что говорил! Не помнишь? Ты говорил, выкормок, вот он тебе и показал себя! Зачем же ты его на завод ладил? Выкормки, брат, на завод нейдут; что ты мне говоришь!

Пионов ничего не возражал. Я встал с тем, чтобы уехать.

— Прощайте, Иван Кузьмич, — сказал я, раскланиваясь.

— Сделайте милость, прошу вас покорнейше, посидите, — возразил он, разведя руками, — извините меня великодушно, вам, может быть, скучно у меня, а я душевно рад. Позвольте мне хоть трубку вам предложить; будьте так добры, выкурите хоть трубку.

— Позвольте, — отвечал я и сел.

— Фомка! — крикнул Иван Кузьмич. — Трубку подай!

— Очень рад, что вы пожаловали, только извините меня; я сегодня нездоров что-то: насморк, что ли?

Между тем Пионов встал, как-то особенно кашлянул и вышел в другую комнату, впрочем, он не совсем ушел, как видел я в зеркале, а остановился в дверях и начал делать Ивану Кузьмичу знаки и манить его рукою, но тот не замечал.

— Вас зовут, Иван Кузьмич, — сказал поручик.

Иван Кузьмич поднял голову и, заметив приятеля, встал и едва попал в дверь; тот начал ему шептать что-то на ухо, а он только мотал головою, и, наконец, оба ушли.

— Как наклюкались, — проговорил им вслед поручик, обращаясь ко мне.

— Что такое у них сегодня? — спросил я.

— Не знаю-с, я пришел, они уж были готовы; у них, впрочем, часто это бывает. Вы давно знакомы с Иваном Кузьмичом?

— Нет, я у него сегодня только в первый раз; скажите, пожалуйста, хороший он человек?

— Человек он добрый, только слаб ужасно. В одном полку со мной служил; полковник прямо ему предложил, чтобы он по своей слабости оставил службу. Товарищи стали обижаться, ремарку делает на весь полк.

Холодный пот выступил у меня, слушая поручика; хотя по желчному лицу его и можно было подозревать, что он о себе подобных не любит отзываться с хорошей стороны, но в этом случае говорил, видимо, правду.

— Что же он здесь делает, в Москве? — спросил я.

— Да ничего не делает, кутит. Говорят: жениться хочет. Не знаю, какая идет за него девушка, а большой риск с ее стороны.

— Если он добрый человек и будет любить жену, то, может быть, и перестанет кутить, — заметил я.

— Вряд ли-с! привычку сделал большую, — возразил поручик.

— Но еще скажите мне, сделайте милость, богат он или нет?

— Состояние есть; ему после брата много досталось, безалаберно только живет очень. Один этот толстый Пионов его лошадьми да картами в год тысячи на две серебром надует.

— А они приятели?

— Как же-с; друзья по графину.

Вот почему Пионова так хлопочет за Ивана Кузьмича. Бэже мой! Неужели мы с Леонидом не успеем разбить их козней? Я было хотел еще расспросить поручика, но Иван Кузьмич и Пионов возвратились. Они, вероятно, еще клюкнули. Сил моих не было оставаться долее. Я опять начал прощаться, Иван Кузьмич не отпускал.

— Обязите меня, сделайте милость, посидите; я вас, кажется, ничем не обидел, а что если... извините меня, выкушайте по крайней мере шампанского, что же такое; я имел честь познакомиться с вами у Марьи Виссарионовны, которую люблю и уважаю. Вот Сергей Николаич

знает, как я ее уважаю, а что если... так виноват. Кто богу не грешен, царю не виноват.

— Мне надобно, Иван Кузьмич, ехать на лекции.

— Вы и поезжайте, Христос с вами, дай вам бог доброго здоровья, а шампанского выпьем: извините, это уже нельзя.

— Благодарю вас, я не пью. Позвольте мне уехать, — сказал я решительно.

Иван Кузьмич обиделся.

— Бог с вами, поезжайте, что ж! Вы человек ученый, а мы люди простые, что ж? Бог с вами, а что если... — Я не дождался конца его речи и пошел.

— Позвольте хотя проводить, что же такое?.. — говорил он и пошел за мною.

Как я ни торопился надеть шинель, он, однакож, успел меня на крыльце нагнать и, желая подать мне руку, пошатнулся и, конечно, хлопнулся бы в грязь, если бы не подхватил его под руку лакей.

Я возвратился домой, возмущенный донельзя. Леонид прав! Говорят, он добр; но что же из этого, когда он пьяница, и пьяница безобразный и глупый. Вечером я поехал к Леониду, чтобы передать ему все, что видел, и застал его в любимом положении, то есть лежащим на кушетке.

— Я сегодня был у Ивана Кузьмича, — начал я.

— Зачем?

— Так, мне хотелось узнать его хорошенько.

— Что же вы узнали?

Я рассказал ему, чему был свидетелем и что говорил мне поручик.

Леонид слушал молча, и только выступившие на лице его красные пятна заставляли догадываться, каково ему было все это слышать. Мне сделалось даже жаль, зачем я ему рассказал.

— Во всяком случае, — заключил я, — мы всё это должны передать вашей матушке и Лидии Николаевне.

— Теперь уж поздно, вчера дали слово ему, Лида согласилась.

— Леонид Николаич! — воскликнул я. — Это будет с нашей стороны жестоко и бесчестно скрыть подобные вещи.

— Лиде нечего теперь говорить, а матери, пожалуй, скажем.

- Когда же?
- Да хоть теперь пойдете.
- Мне говорить?
- Нет, я буду от себя.

В передней нам сказали, что приехала Пионова.

- Ловко ли будет? — заметил я.
- Ничего, еще лучше, — решил Леонид.

Мы вошли. Марья Виссарионовна, должно быть, о чем-нибудь совещалась с своею приятельницею. При нашем входе они обе замолчали. Пионова, увидев Леонида, закатила глаза и бросила на него такой взгляд, что мне сделалось стыдно за нее.

— Вот он сейчас был у Ивана Кузьмича, — начал тот прямо, показывая на меня.

Обе дамы переглянулись с удивлением, не понимая, к чему он это говорит.

- Ваш муж был тоже там, — прибавил он Пионовой.
- Вы видели мужа? — отнеслась она ко мне.
- Видел-с.
- Познакомились с ним?
- Познакомился.

— Очень рада. Он чрезвычайно любит молодых людей — это его страсть.

- А теперь он дома? — спросил Леонид.
- Дома.

— Я думал, что он еще у Ивана Кузьмича; они там пьют с утра; Иван Кузьмич так напился, что на ногах не стоит, — отрезал он.

Марья Виссарионовна побледнела. Пионова вспыхнула.

— Перестаньте, Леонид, врать, — начала мать строгим голосом. — Я тебе давно приказывала, чтобы ты не смел так говорить о человеке, которого я давно знаю и уважаю.

— Напился пьян... на ногах не стоит... я не понимаю даже этого и не знаю, что такое было у Ивана Кузьмича; может быть, какой-нибудь завтрак, а муж приехал вовсе не пьяный. Мне слышать подобную клевету даже смешно, — проговорила Пионова.

Я хотел было отвечать ей, но Леонид перебил меня:

— Говорят не о вашем муже, а об Иване Кузьмиче, который у нас рюмки сладкой водки не пьет, а дома тянет по целому штофу. Что вам говорил про него прежний его товарищ? — отнесся он ко мне.

— Я вам передавал, — отвечал я.

— Из прежних его товарищей никто ничего про него не скажет дурного; его все товарищи обожали в полку; мой муж служил с ним с юнкеров, так нам лучше знать Ивана Кузьмича, чем кому-нибудь другому.

— Вы всегда его хвалите, а за что же его из службы выгнали?

— Как выгнали?

— Так, выгнали.

Пионова засмеялась принужденным смехом.

— Ах, боже мой, боже мой! чего не выдумают! Ивана Кузьмича выгнали! Ивана Кузьмича!.. — воскликнула она таким тоном, как будто бы это было так же невозможно, как самому себе сесть на колена. — Слышите, Марья Виссарионовна, что еще сочинили? Вы хорошо знаете причину, по которой Иван Кузьмич оставил службу, и его будто бы выгнали! Ха, ха, ха...

— Сочиняете более всех вы! — возразил Леонид.

Пионова только пожала плечами.

— Леонид Николаич какое-то особенное удовольствие находит говорить мне дерзости. Не знаю, чем подала я повод, — сказала она, покачав грустно головою.

— Ты выводишь, наконец, меня из терпения, Леонид! — проговорила грозно Марья Виссарионовна. — Царь небесный! Что я за несчастная женщина, всю жизнь должна от всех страдать, — прибавила она и начала плакать.

— Успокойтесь, Марья Виссарионовна, умоляю вас, пощадите вы себя для маленьких ваших детей. Леонид Николаич так только сказал, он не будет более вас расстраивать.

— Расстраиваете вы, а не я, — перебил тот.

— Перестань, Леонид! — воскликнула опять Марья Виссарионовна. — Душечка Лизавета Николаевна, скажите ему, чтоб он ушел; он меня в гроб положит.

— Cher Léonide, ayez pitié de votre mère ¹, — произнесла Пионова своим отвратительным голосом, которому старалась придать умоляющее выражение.

Леонид встал и, хлопнув дверьми, ушел, оставив меня в самом щекотливом положении. Марья Виссарионовна продолжала плакать. Пионова ее утешала. Я так расте-

¹ Дорогой Леонид, пожалейте свою мать, (франц.)

рялся, что решительно не находился, оставаться ли мне, или уйти. Вдруг дверь отворилась, явился Иван Кузьмич, и явился как ни в чем не бывало: кроме красноты глаз и небольшой опухлости в лице, и следа не оставалось утренней попойки. Пионова сначала сконфузилась, но, увидев, что Марасеев в обыкновенном состоянии, насмешливо взглянула на меня. Марья Виссарионовна отерла слезы и ласково поклонилась гостю. Иван Кузьмич, раскланявшись с дамами, подал мне дружески руку. Не помню, как я просидел еще несколько времени, как поклонился всем и пошел к Леониду, которого застал сидящим за столом. Он схватил себя за голову и, кажется, плакал. Я не хотел его еще более волновать и потому молча простился с ним и уехал.

V

Наступил май месяц, мне предстоял выпускной экзамен; скоро я должен был проститься и с университетом, и с Москвою, и с моими Ваньковскими. Судьба Лидии Николаевны решена окончательно: она помолвлена за Марасеева, хотя об этом и не объявляют. Свадьба, вероятно, будет скоро, потому что готовят уже приданое. Пионова торжествует и приезжает раз по семи в день.

Марья Виссарионовна еще более подчинилась приятельнице; как проснется, так и посылает за нею. Марасеев, говорят, нанял щегольскую квартиру; он решительно цветет и целые дни у Ваньковских. Лицо его сделалось менее опухло и красно. Лидия Николаевна не принимает никакого участия в хлопотах о своей свадьбе, но с женихом ласкова. Иногда мне досадно на нее, а чаще жаль, мы с ней почти не видимся, хоть я и бываю у них почти каждый день; она как будто бы избегает меня... Леонид по наружности спокоен. Меня очень радует, что он начал заниматься, и тут только я увидел, какими блестящими способностями он наделен был от природы. В две недели он прошел с самыми легкими от меня пособиями весь гимназический курс математики и знал его весьма удовлетворительно. О свадьбе сестры он говорил мало. Я раз его спросил, передавал ли он Лидии Николаевне, что мы узнали о ее женихе, он отвечал, что нет, и просил меня не проговориться; а потом рассказал мне, что Иван Кузьмич знает от Пионовой весь наш разговор об нем и по-

этому случаю объяснялся с Марьею Виссарионовною, признался ей, что действительно был тогда навеселе; но дал ей клятву во всю жизнь не брать капли вина в рот, и что один из их знакомых, по просьбе матери, ездил к бывшему его полковому командиру и спрашивал об нем, и тот будто бы уверял, что Иван Кузьмич добрейший в мире человек. Все бы это было хорошо, только, кажется, Леонид мало этому верил, да и у меня лежало на сердце тяжелое предчувствие; внутренний голос говорил мне: быть худу, быть бедам!

Марья Виссарионовна, сердившаяся на сына, сердилась и на меня. Во все это время она со мною не кланялась и не говорила; но вдруг однажды, когда я сидел у Леонида, она прислала за мною и просила, если я свободен, прийти к ней. Леонид усмехнулся. Я пошел. Она приняла меня с необыкновенным радушием и, чего прежде никогда не бывало, сама предложила мне курить.

— Я вас давно хотела спросить, — начала она: — что, Леонид, видно, совсем от меня хочет отторгнуться?

— Почему же вы это думаете? — спросил я ее, наоборот.

— Потому что я его совсем не вижу: что он этим хочет показать?

— Он думает, что вы сердитесь на него за последнее объяснение, в котором и я участвовал.

— Я не могла тогда не рассердиться: он слишком забылся.

— Чем же он забылся? Он говорил только по искреннему желанию добра Лидии Николаевне.

— По искреннему желанию добра Лидии Николаевне? Да чем же вы, господа, после этого меня считаете? Неужели же я менее Леонида и вас желаю счастья моей дочери, или я так глупа, что ничего не могу обсудить? Никто из моих детей не может меня обвинить, чтобы я для благополучия их не забывала самой себя, — проговорила Марья Виссарионовна с важностию.

Я уверен, что этот монолог сочинила ей Пионова, и все эти мысли подобного материнского самодовольства она ей внушила.

— Я удивляюсь, — продолжала Марья Виссарионовна, — я прежде никогда в поступках Леонида не замечала ничего подобного и не знаю, откуда он приобрел такие правила.

Я понял, что это было сказано на мой счет.

— Вы с ним дружны, — отнеслась она потом ко мне прямо, — растолкуйте ему, что так поступать с матерью грешно.

— Леонид Николаич и без моих наставлений вас любит и уважает, — возразил я.

— Отчего ж он убегает меня? Вы сами имеете матушку, каково бы ей было, если бы вы не захотели видеть ее? И что это за фарсы? Сидит в своем кабинете, как запертый, более месяца не выходит сюда. Мне совестно всех своих знакомых. Все спрашивают: что это значит, что его не видать? И что же я могу на это сказать?

«Не все знакомые, а только Пионова спрашивает тебя об этом, потому что ей скучно без Леонида», — подумал я.

— Леонид Николаич придет сейчас, если вы ему прикажете, — сказал я вслух.

— А если не придет?

— Придет-с.

— Нет, я вижу, вы его не знаете: он очень упрям. Поспоримте, что не придет.

— Извольте.

— Сходите сами, и увидите.

Я пошел, сказал Леониду, и он, как я ожидал, тотчас же пришел со мною. Марье Виссарионовне было это приятно, отчасти потому, что, любя сына, ей тяжело было с ним ссориться, а более, думаю, и потому, что она исполнила желание своего друга Пионовой и помирилась с Леонидом. Однако удовольствие свое она старалась скрыть и придала своему лицу насмешливое выражение.

— Я сейчас об тебе спорила, — начала она.

Леонид молчал.

— Я говорила, что ты не придешь.

— Нет-с, я пришел, — отвечал Леонид.

— Отчего же ты такой нахмуренный; все еще изволишь на меня гневаться?

— Я не гневаюсь, а вступался только за сестру. За что надобно на меня сердиться — вы ничего, а где я не виноват — сердитесь.

— Я ни за что на тебя не могу сердиться. Тебе стыдно быть в отношении меня таким неблагодарным.

Леонид молчал.

— Я не могу понять, — продолжала Марья Виссарионовна, — с чего ты взял так об Лиде беспокоиться; она сама выбрала эту партию.

— Никогда бы она не выбрала, если бы вы два года не настаивали и не требовали бы от нее этой жертвы.

— Оставим, Леонид, этот разговор; если ты пришел сердить меня, так лучше было бы тебе не приходиться.

— Я вас и не думаю сердить, а только говорю и всегда скажу, что выдать Лиду за этого человека значит погубить ее.

Марья Виссарионовна усмехнулась.

— Он глуп... пьян, — продолжал Леонид, — состояние у него никто не знает какое... пугает нас своим векселем, который при наших делах ничего не значит; а если, наконец, нужно с ним расплатиться, так пусть лучше продадут все, только бы с ним развязаться.

Желая поддержать Леонида, я тоже вмешался.

— За Ивана Кузьмича выдать не только Лидию Николаевну, но и всякую девушку есть риск: это мнение об нем общее — мнение, которое мне высказал его товарищ, в первый раз меня увидевший.

Марья Виссарионовна молчала. Наши представления начинали ее колебать, инстинкт матери говорил за нас, и, может быть, мы много бы успели переделать, но Пионова подросла во-время. Марья Виссарионовна еще издали услышала ее походку и сразу изменилась: ничего нам не ответила и, когда та вошла, тотчас же увела ее в спальню, боясь, конечно, чтобы мы не возобновили нашего разговора.

На другой день я спросил Леонида, нет ли каких последствий нашего объяснения.

— Никаких; со мною мать ласкова, — отвечал он.

— А об Лидии Николаевне что говорит?

— Поет старые песни; ничего тут не сделаешь.

Я с своей стороны тоже убедился, что действовать на Марью Виссарионовну было совершенно бесполезно; но что же, наконец, сама Лидия Николаевна, что она думает и чувствует? Хотя Леонид просил меня не говорить с нею об женихе, но я решил при первом удобном случае, если не расспросить ее, то по крайней мере заговорить и подметить, с каким чувством она относится к предстоящему ей браку; наружному спокойствию ее я не верил, тем более, что она худела с каждым днем.

Экзамен кончился, оставалась всего неделя до моего отъезда из Москвы. Я пришел к Леониду с раннего утра и обедал у него. Часу в седьмом Марья Виссарионовна с женихом уехала на Кузнецкий мост. Леонид пошел в гостиную, я за ним: он сел за рояль и начал одну из сонат Бетховена. Я часто слышал его игру и вообще любил ее, но никогда еще она не производила на меня такого глубокого впечатления; Леонид играл в этот раз с необыкновенным одушевлением, как будто бы наболевшее сердце его хотело все излиться в звуках. Вошла Лидия Николаевна.

— Я пришла послушать брата, — сказала она и села около меня.

Леонид продолжал играть и не обращал на нас внимания.

— Вы скоро едете? — спросила меня Лидия Николаевна вполголоса.

— Чрез неделю.

— Не забывайте нас: мне жаль брата, он очень вас любит и станет скучать без вас.

— Что делать, будем хотя изредка переписываться, — сказал я.

Несколько минут мы молчали.

— Вы слышали, я замуж выхожу? — начала Лидия Николаевна совсем тихим голосом.

— Слышал.

— Вам нравится мой выбор?

Я молчал.

— Он очень хороший человек.

Я молчал.

— Я ему давно нравлюсь.

— Еще бы вы ему не нравились, — сказал я, наконец. В голосе моем против воли слышалась досада.

— Скоро свадьба? — прибавил я.

— Не знаю.

— Где вы будете постоянно жить?

— Тоже не знаю, ничего не знаю... За что маменька сердится на брата?

— За вас.

— Ах, боже мой! Я это предчувствовала. Уговорите его, пожалуйста, чтобы он ее не сердил: у нее горя много и без нас.

— Он ни в чем не виноват; я на его месте сделал бы больше, — возразил я.

— Что же бы вы сделали?

— Я бы на вас стал действовать.

— А если бы я вас не послушалась?

— Не думаю.

— Нет, не послушалась бы; я бы, может быть, согласилась с вами, но не послушалась, потому что не могу собой располагать.

Мы опять молчали.

— Сколько я предан вашему семейству, — начал я, — как искренно люблю вашего брата и как желаю вам счастья: это видит бог!.. И уверен, что из вас выйдет кроткая, прекрасная семьянинка, но будущего вашего мужа не знаю.

— Он любит меня.

— Уверены ли вы в этом? И, наконец, любите ли вы сами его?

— Я привыкла к мысли — быть его женою, и уважаю его за постоянную дружбу к нам.

— Лидия Николаевна, не обманываете ли вы себя? Иван Кузьмич вам не пара: когда-то вы мне сказали, что выйдете замуж по расчету, потому что это удобнее, тогда я не поверил вашим словам.

— Как вы все помните.

— Это нетрудно, потому что вижу подтверждение ваших слов, хотя все-таки не могу допустить той мысли, чтобы вами руководствовало столь ничтожное чувство.

— Отчего же?

— Оттого, что оно прилично только самым пустым женщинам, которые сами не способны любить, да и их никто не полюбит.

— А если я именно такая женщина?

— Если вы такая женщина, то смотрите остерегитесь и не ошибитесь в расчете.

— Нет, я не такая: не обвиняйте меня, вы многого не знаете.

— Все знаю, — возразил я, — и все-таки вас обвиняю... — хотел было я добавить, но, взглянув на Лидию Николаевну, остановился: у ней были полные слез глаза. Леонид тоже взглянул на нас, перестал играть, встал и увел меня к себе в кабинет.

— Что вы такое говорили с Лидой? — спросил он.

Я рассказал ему от слова до слова: ему было неприятно.

— Зачем? Не говорите ей более: будет с нее и без наших слов, — сказал он и вздохнул.

VI

Я видел после этого Лидию Николаевну всего один раз, и то на парадном вечере, который хотя и косвенно, но идет к главному сюжету моего рассказа. Получив приглашение, я сначала не хотел ехать, но меня уговорил Леонид, от которого мать требовала, чтобы он непременно был там.

Мы приехали с ним вместе и застали довольно большое число гостей. Квартирю Иван Кузьмич нанял действительно щегольскую и прекрасно ее меблировал. Надобно сказать, что я, человек вовсе не щепетильный, бывал в самых отдаленных уголках провинций, жила в столице в номерах, посещал очень незavidные трактиры, но таких странных гостей, каких создал Иван Кузьмич, я редко встречал. Дамы были какие-то особенного свойства, не говоря уже о предметах их разговоров, о способе выражения, самая наружность их и костюмы были удивительные: у одной, например, дамы средних лет, на лице было до восьми бородавок, другая, должно быть, девица, была до того худа, что у ней между собственною ее спиною и спинкою платья имелся необыкновенной величины промежуток, как будто бы спина была выдолблена. Третья, повидимому ее приятельница, высокая, набеленная, нарумяненная, дама или девица, трудно догадаться, сидела молча, вытянувшись, как будто бы проглотила аршин, и только обводила всех большими серыми глазами. Мужчины тоже не лучше: особенно обратил на себя мое внимание один господин, гладко причесанный, с закругленными висками и сильно надушенный пачулями. Он переходил из комнаты в комнату и чрезвычайно внимательно рассматривал столовые бронзовые часы, карманные часы, стоявшие в футляре на столике, горку с серебром, поставленную в гостиной, даже оглядывал бронзовый замок у двери и пробовал рукою доброту материй на драпировке и, кроме того, беспрестанно пил лимонад, как бы желая успокоить взволнован-

ную созерцанием ценных вещей кровь. «Что такое и для чего он это делает?» — подумал я, и мне пришло в голову смешное подозрение, что он рассматривает с целью украсть что-нибудь. В числе гостей имелся и купец, как можно было это заключить по длиннополому сюртуку, бороде и прическе в скобку, но купец не русский, потому что его черные курчавые волосы и черное лицо напоминали цыганский тип. С ним толковал вполголоса маленький, плешивый, в потертом фраке господин, и толковал с большим одушевлением; он то шептал ему на ухо, то высчитывал по пальцам, то взмахивал руками и становился фертом, но купец, видно, мало сдавался на его убеждения; физиономия его как будто бы говорила: охота тебе, барин, надсажаться, меня не своротишь, я свое знаю и без тебя.

Большая часть этих гостей обращалась с хозяином без всякой церемонии, и даже называли его разными родственными именами: дама с бородавками именовала его племянником, худошавая девица — кузенком, нарумяненная дама или девица — кумом, чиновник — сватом, господин, осматривающий ценные вещи, — братом.

Я начал расспрашивать об всех этих господах бывшего тут же желтолицего поручика, который попрежнему курил и попрежнему ядовито на всех посматривал. Он, впрочем, знал только трюхи и объяснил мне, что купец — лошадиный барышник, высокая дама или девица, называющая Ивана Кузьмича кумом, будто бы многим кума, и удивился, почему я ее не знаю, тогда как у ней есть шляпный магазин. Посреди этого общества Пионова была решительно лучше всех. Разряженная как на бал, она, должно быть, никак не ожидала, что Иван Кузьмич назовет таких неинтересных гостей; сначала она всех оглядывала, делала гримасы и, наконец, заключила тем, что не стала обращать ни на кого внимания и устала, не отводя глаз, томный взор на сидевшего в углу Леонида. Муж ее, как колосс родосский, возвышался над всеми в соседней комнате; он играл там в карты. Ваньковская с дочерью приехала довольно поздно. Иван Кузьмич ввел их в гостиную с торжеством. Марья Виссарионовна, как и Пионова, осмотрела всех, переглянулась с приятельницей и уселась рядом с нею. Затем последовала смешная и досадная сцена: дама с бородавками, худошавая девица и господин во фраке вдруг вздумали рекомендоваться Ваньковским, и не Марье Виссарионовне, а Лидии Нико-

лаевне, с просьбою, чтобы она их полюбила и не оставила на будущее время своим знакомством и расположением. Бедная девушка переконфузилась и не знала, что ей отвечать и куда глядеть.

Вскоре за Ваньковскими Иван Кузьмич привел еще нового гостя — но этот был совсем другого рода: мужчина лет тридцати, прекрасно сложенный, с матовым цветом лица, брюнет, но с голубыми глазами, одетый франтом, одним словом, совсем красавец.

— Петр Михайлыч, — проговорила при входе его Лидия.

— Ах, monsieur Курдюмов! Давно ли вы здесь? — воскликнула Марья Виссарионовна.

— Не более двух часов, как въехал в заставу, был сейчас у вас, — отвечал гость, садясь около Лидии Николаевны.

— И там, вероятно, вам сказали, что Марья Виссарионовна у меня, — вмешался Иван Кузьмич.

— Да, — отвечал гость и отнесся к Леониду: — Bon soir, cher Léonide! ¹

Леонид кивнул ему головой.

— Вы теперь откуда? — спросила его Марья Виссарионовна.

— Теперь из Петербурга.

— Долго там изволили быть? — вмешался опять Иван Кузьмич.

— Нет, несколько дней.

— Где ж вы были этот год? — сказала Марья Виссарионовна.

— В деревне.

— И не скучали? — спросила Лидия.

— Я скучал в том отношении, что мои милые соседи не жили в деревне.

— Нам нынче хотелось, очень хотелось пожить в ваших местах, но никак невозможно было по моим несносным делам, — подхватила Марья Виссарионовна.

— У вас так много занятий, что вам, я думаю, и без соседей не скучно, — заметила Лидия.

— Нет, я скучал, — отвечал Курдюмов.

Так это сосед Ваньковских, подумал я, а на первый взгляд он мне показался иностранцем. Я ожидал, что это

¹ Добрый вечер, дорогой Леонид! (франц.)

какой-нибудь итальянской певец, музыкант или француз-путешественник, потому что в произношении его и в самых оборотах речи слышалось что-то нерусское, как будто бы он думал на каком-то иностранном языке, а на русский только переводил.

Затем пошло все обыкновенным порядком. Пионова, должно быть, видела Курдюмова в первый раз и, желая его заинтересовать собою, начала к нему беспрестанно обращаться с различными фразами и вопросами на французском языке, делая страшные ошибки и несносно произнося. Курдюмов отвечал ей вежливо, но коротко и все заговаривал или с Лидией, или с Марьей Виссарионовной. Иван Кузьмич был тоже очень смешон в обращении с Курдюмовым: он беспрестанно его угощал то чаем, то конфетами, то сигарами, и тот от всего отказывался.

Ужин был накрыт на маленьких столиках: я с Леонидом случайно очутился за одним столом с Пионовым, его партнерами и желтолицым поручиком. Здесь я в первый раз в жизнь мою видел на Пионове, сколько один человек может выпить без всяких признаков опьянения. В продолжение вечера, находясь, по его выражению, под дирекциею супруги, он постничал и выпил только рюмок пять допелькюмеля, но за ужином вознаградил себя сторицею. Насмешливый поручик заметил ему, что на столе мало вина, которого стояло четыре бутылки.

— Мало, сам вижу, что мало. Благодарю вас, молодой человек, что вы меня понимаете. В старые годы не так бывало: мы выпивали, что глазом окинешь, а нынче подадут, что одною рукою поднимешь, да и думают, что угостили хорошо. Это, как я вижу, все конфекты; ну, конфетами мы после займемся, — отвечал Сергей Николаич. — Эй ты, севильский цирюльник, — отнесся он к официанту, — подай-ка сюда господина квартирмейстера — ромашки, — и затем, объяснив, что ром он называет квартирмейстером, потому что он в желудке приготавливает квартиру к восприятию дальнейшего, выпил залпом стакан квартирмейстера, крикнул и съел кусок хлеба.

— Теперь хорошо: испаринка началась, теперь можно и поесть, — продолжал он и, отвалив себе на тарелку три звена белорыбицы, съел все это в минуту, как яйцо всмятку.

Леонид начал угощать Сергея Николаича и налил ему стакан хереса; это он делал, как я уверен, в досаду Пионовой.

— Разве уж для тебя, душа?.. Изволь, не могу отказать, ты малый отличный, я тебе пророчу, что из тебя выйдет со временем превосходный пьяница, — отвечал Пионов и выпил херес.

Поручик и партнеры Пионова просили его выпить и для них.

— И для вас? Извольте, я готов услужить каждому, а себе в особенности, — порешил Сергей Николаич и еще выпил от каждого по стакану и начал есть.

— Вы, господа, — говорил он, — сами не пейте: вы люди молодые; это может войти в привычку, в обществе это не принято; я сам тоже терпеть не могу вина и, когда увижу его, тотчас стараюсь уничтожить, что я и сделаю с этим шато-марго.

И действительно сделал: бутылки как не бывало. Вошел Иван Кузьмич.

— Господа, пожалуйста, кушайте. Что ты, Сергей Николаич, выпил бы чего-нибудь, — сказал он.

— Да что, брат, пить? Пить-то у тебя нечего: вот на столе поставлены были четыре бутылки; молодые люди всё выпили, а мне, старику, ничего и не досталось.

— Я велю сейчас подать.

— Да, да, вели; не щади меня, душа моя, я не стою твоего сожаления. А сам-то что?.. Хоть бы понюхал, братец. На! понюхай, славно ведь пахнет.

— Не могу, братец, нынче, — отвечал Иван Кузьмич и ушел, чтобы приказать еще подать вина.

Пионов продолжал пить и есть, толкуя в то же время, что рюмками не следует пить, так как это сосуд для женщин; потому что они с тоненькими талиями и женского рода.

Его никто уже не слушал. Мы переглянулись с Леонидом и вышли в залу, где ужинали дамы. Курдюмов сидел рядом с Лидией Николаевною и что-то ей рассказывал; Иван Кузьмич стоял у них за стульями. После ужина Пионова вдруг села рядом с Леонидом.

— Леонид Николаич, доведите меня домой; Серж, вероятно, останется в карты играть, а я ужасно устала.

— Я с ним приехал, — отвечал Леонид, указывая на меня.

— Он, вероятно, будет так добр, что доедет с кем-нибудь.

— Нет, нельзя, я к нему еду.

— Вы всё попрежнему нелюбезны, неисправимый человек, — проговорила она и задумалась.

Леонид отошел от нее.

Ваньковские вскоре уехали; их провожал Иван Кузьминч и Курдюмов; последний пожал дружески руку Лидии Николаевны и застегнул ей мантию.

— Курдюмов, видно, хорошо знаком с вашими? — сказал я Леониду, когда мы сели в экипаж.

— Знаком: в деревне часто к нам ездил... Не люблю я его.

— А что?

— Антипатичен, а поет недурно.

— Поет недурно?

— Да...

Леонид у меня ночевал. На другой день я совсем уехал из Москвы; он меня провожал до заставы; мы братски с ним обнялись и расстались.

VII

Человек предполагает, а бог располагает. Я думал уехать из Москвы навсегда, а лет через пять случилось опять в нее вернуться, и вернуться на житье. В продолжение этого времени я переписывался с Леонидом; он меня уведомлял, что желание Пионовой исполнилось: Лида вышла за Марасеева, что дела их по долгам поправляются плохо, что он поступил в университет, но ничего не делает; вообще тон его писем, а особенно последних, был грустен, в одном из них была даже следующая фраза: «Опасения наши сбываются, Лиде нехорошо!»

Приехав в Москву, я не застал его: он с Марьей Виссарионовною и с маленькими сестрами уехал в деревню, а Лидия с мужем жила в Сокольниках; я тотчас же к ним отправился. Они нанимали маленький флигель; в первой же после передней комнате я увидел Лидию Николаевну, она стояла, задумавшись, у окна и при моем приходе обернулась и вскрикнула. Я хотел взять у ней ручку, чтобы поцеловать; она мне подала обе; ей хотелось говорить, но у ней захватывало дыхание; я тоже был беспокоен.

— Сейчас заезжал к Леониду, но его нет в Москве, — начал я.

— Да, он уехал с маменькою в деревню. Ах, боже мой, я все еще не верю глазам своим!.. Что же мы стоим?.. садитесь!.. Не хотите ли чего-нибудь: чаю, кофею?

— Ничего покуда, хочу только насмотреться на вас... Иван Кузьмич?

— Его нет дома; он очень будет вам рад, мы почти каждый день вспоминаем вас, а над Леонидом даже смеемся, что он в вас влюблен.

— Как влюблен?

— Решительно влюблен; он слышать не может, если кто-нибудь скажет об вас дурно.

— Кто же это говорит обо мне дурно?

— Конечно, Пионова.

— Она все еще знакома с вами?

— Да, у маменьки бывает часто, а ко мне не ездит; Иван Кузьмич, впрочем, бывает у них... Она меня, вы знаете, не любит, — отвечала Лидия. И снова взяла меня за руку и крепко пожалала. На глазах у нее навернулись слезы.

— Скажите же что-нибудь про себя, — продолжала она: — где вы были, что вы делали? Я несколько раз спрашивала Леонида, он мне ничего подробно не рассказывал, такой досадный!

— Я был во многих местах и служил.

— Я думала, что вы уж женились?

— Это почему вы думали?

— Так, мне казалось, что вы непременно женитесь на Верочке Базаевой.

— Это с чего пришло вам в голову?

— Сама не знаю, а часто об этом думала.

— Ошибались, я ни на Вере Базаевой и ни на ком не женился, а вы вот вышли замуж, и потому не вам бы меня, а мне вас следовало спрашивать.

— Разве я не при вас вышла замуж?

— Кажется.

— Ах да, я и забыла, это уже было так давно, вы, однако, знали, что я выхожу за Ивана Кузьмича.

— Догадывался.

— Нет, вы знали, вы даже говорили мне об этом, и я никогда не забуду ваших слов.

— Я уехал до вашей свадьбы.

— Теперь вспомнила: вы уехали на другой день после вечера у Ивана Кузьмича. Как я была тогда сердита на себя; я никак не думала, что вы уедете, не простясь с нами, я хотела вам сказать многое после этого вечера.

— Скажите теперь.

— Теперь уже нечего говорить.

— Стало быть, теперь для вас бури промчались, гроза миновалась?

— Не совсем: бури, кажется, еще только начинаются; вы где живете?

— На Тверской.

— Нет, зачем? переезжайте в Сокольники.

— У меня дела есть в Москве.

— Ну, что дела!.. Отсюда можно ездить, переезжайте. Бог даст, придет Леонид, нам будет очень весело. Переезжайте.

Я согласился.

— А сегодня у нас отобедаете?

— Если вам угодно.

— Да, непременно, я вас познакомлю с моею belle-sœur¹, сестрою Ивана Кузьмича.

— Она не вроде тех, которых я видел у него на вечере?

— О нет: то родня его с отцовской стороны, а эта совсем другая; очень умная девушка, она вам понравится.

Так говорила Лидия Николаевна, и я не спускал с нее глаз. Она мне очень обрадовалась, но в то же время видно было, что к этой радости примешивалось какое-то беспокойство. В ее, повидимому, беспечном разговоре было что-то лихорадочное, как будто бы она хотела заговорить меня и скрыть то, что у ней лежало на сердце. Подозрения мои еще более подтвердились, когда она потом вдруг задумалась, и как-то мрачно задумалась, так что тяжело и грустно было видеть ее в этом положении. Я начал между тем осматривать комнату, в которой сидел. Квартира была слишком небогатая, несмотря на то, что, повидимому, были употреблены все усилия, чтоб скрыть ее недостатки и хоть сколько-нибудь принарядить бедное помещение. На грязных и невысоких окнах стояли прекрасные цветы; мебель, вряд ли обитую чем-нибудь, покрывали из толстого коленкора белые чехлы; некрашенный пол был вымыт, как стеклышко.

¹ золовкой, (франц.)

Вошла белокурая девушка в локонах, собою нехороша и немолода, но в белом кисейном платье, в голубом поясе и с книгою в руках. Я тотчас же догадался, что это m-lle Марасеева, и не ошибся. Лидия Николаевна познакомила нас и сказала, что я друг Леонида и был с нею очень дружен, когда она была еще в девушках. M-lle Марасеева жеманно поклонилась мне, села и развернула книгу.

— У нас никто не был? — спросила она.

— Нет, никто, — отвечала Лидия Николаевна.

— Ужасная тоска; я вчера от скуки принималась несколько раз хохотать и влать.

— Сейчас кто-то подъехал, — сказал я, увидев, что на двор въехал красивый фаэтон.

Mademoiselle Марасеева вскочила и взглянула в окно.

— Петр Михайлыч, — проговорила она — голос ее дрожал.

Я взглянул на Лидию Николаевну: она тоже вспыхнула.

— Курдюмов? — спросил я ее.

— Да, ах, какая досада! Я не одета.

— А он разве здесь же живет?

— Да, в Сокольниках. Прими его, Надина: я уйду. Как рано ездит, — проговорила Лидия Николаевна и ушла.

Курдюмов вошел из противоположных дверей; он был в легоньком пальто, в галстукe болотного цвета, в пестрых невыразимых и превосходном белье. Еще более стал походить на иностранца.

— Bonjour, mademoiselle Nadine¹, — проговорил он, подавая ей руку.

— Bonjour, — отвечала та, пожимая его руку с заметным удовольствием.

— Madame est à la maison?² — спросил он.

— Elle va venir à l'instant³.

Усевшись, Курдюмов начал оглядывать свое пальто, сапоги, которые точно удивительно блестели; потом натянул еще плотнее на правой руке перчатку и, наконец, прищурившись, начал внимательно рассматривать висевший на стене рисунок, изображающий травлю тигров.

¹ Здравствуйте, мадам Надина, (франц.)

² Мадам дома? (франц.)

³ Она сию минуту придет. (франц.)

— Comme il fait beau aujourd'hui¹, — сказала Надина.

— Oui², — отвечал Курдюмов, не изменяя своего положения.

«Зачем этот господин живет в Сокольниках и ездит, как видно, довольно часто к Ивану Кузьмичу, — думал я, — не может быть, чтобы он находил удовольствие в сообществе с хозяином; но если предположить, что он это делает по старому знакомству или просто от некуда деваться, то вряд ли старое знакомство может иметь цену в глазах его, а чтобы ему некуда было деваться в Москве, тоже невозможно. Обе дамы ожидали его приезда и обе, каждая по-своему, встревожились».

— Вы вчера не были на гулянье? — сказала Надина.

— Non³, — отвечал Курдюмов.

— А зачем же третьего дня вы обещали?

— Que faire donc? J'avais des lettres à écrire pour la campagne...⁴ Вас тоже не было, вы ездили в Москву.

— Одна только Лида, а я целый день была дома и ужасно скучала, на гулянье пошла злая, презлая... К счастью, попался Занатский, и мы с ним пересмеяли всех. Он очень милый молодой человек, и я начинаю его с каждым днем более и более любить.

— О!.. любить!.. Это немножко досадно, — проговорил Курдюмов, в голосе его слышалась скрытная насмешка.

— Вам досадно? Не верю, для вас не может быть это досадно, — возразила Надина.

— Отчего же не может быть? — спросил Курдюмов с ударением и протяжно.

— А!.. Если это так, так это очень лестно, — воскликнула m-lle Марасеева, — вы знаете, я очень самолюбива и начинаю думать, что вы завидуете Занатскому, который имеет счастье мне нравиться.

— Может быть.

— Ваши *может быть* — несносны; я ненавижу ничего неопределенного; для меня *может быть* — хуже, чем *нет*.

— Какой вы имеете решительный характер.

¹ Какая сегодня прекрасная погода, (франц.)

² Да, (франц.)

³ Нет, (франц.)

⁴ Что же делать? Мне надо было написать письма в деревню... (франц.)

— О! да; и не я одна; мы все, женщины, гораздо решительнее вас, господ мужчин, присвоивших себе, не знаю к чему, имя героев, характер твердый, волю непреклонную; мы лучше вас, мы способны глубже чувствовать, постояннее любить и даже храбрее вас.

Курдюмов ничего не отвечал и продолжал рассматривать картину.

— Вопрос: кто лучше — мужчины или женщины, довольно старый, — вмешался я.

— Однако он еще не решен, — отозвалась Надина.

— Всякий решает его по-своему, — отвечал я.

— Вы думаете! Ах, позвольте! мне это напомнило очень смешной анекдот: когда я жила в Калуге, мы с одним молодым человеком целый вечер спорили об этом до того, что начали сердиться друг на друга. Вдруг приезжает доктор: чудо, какой умный человек, и ужасный остряк. Я обращаюсь к нему почти со слезами на глазах и говорю: «Иван Васильич! бога ради, скажите нам скорее, кто хуже: мужчины или женщины?» Он вдруг, не задумавшись и очень серьезно, отвечает: «Оба хуже!» Я покатила со смеху, молодой человек тоже, а за нами все, и целый вечер повторяли: «Оба хуже!»

Mademoiselle Марасеева из этой маленькой сцены сделалась для меня совершенно понятна. Многим, конечно, случалось встречать в некоторых домах гувернанток, по-своему неглупых, очень бойких и чрезвычайно самолюбивых, которые любят говорить, спорить; острить; ездят всегда в маскарады, ловко интригуют и вообще с мужчинами обращаются чрезвычайно свободно и сверх того имеют три резкие признака: не совсем приятную наружность, достаточное число лет и необыкновенное желание составить себе партию; та быстрота и та энергия, с которою они стремятся завоевать сердце избранного героя, напоминает полет орла, стремящегося на добычу, но, увы! эта энергия, кроме редких случаев, почти всегда истрачивается бесполезно. Золовка Лидии Николаевны на первый взгляд показалась мне в этом же роде. Я видел, что она преследует Курдюмова, но неужели й он ею интересуется? Странно! Лидия Николаевна, наконец, вышла; она оделась очень к лицу, так что я никогда не видал ее столь интересною. Курдюмов поклонился ей с улыбкою, в лице его отразилось удовольствие. Кланяясь с гостем, Лидия опять как будто вспыхнула и села около меня.

— Мне все не верится, что вы приехали, — начала она. — Аннушка моя вам так обрадовалась, точно сумасшедшая, ничего даже мне не приготовила; я вовсе не знала, что она вас так любит.

Эта Аннушка была та самая горничная, которая некогда пригласила меня из кабинета Леонида в гостиную к барышне.

— Мы с Петром Михайлычем сейчас поссорились, — заговорила Надина. — Он меня просто выводит из терпения своими двусмысленными ответами, а ты знаешь, как я не люблю таинственности.

— Вы часто ссоритесь, — отвечала Лидия Николаевна.

— Mademoiselle Nadine на меня сердится, а я нет, — сказал Курдюмов.

— Я сержусь, но я и прощаю, а кто прощает, тот искупает все, потому что раскаивается, — возразила Надина, — в этой книге я нашла одну прекрасную мысль, она мне очень понравилась. По-французски теперь не помню, а по-русски: легче снести брань и побои грубого простолюдина, чем холодный эгоизм светского человека. Это справедливо.

— Et vous, madame, avez vous lu le petit ouvrage, que je vous ai recommandé? ¹ — отнесся Курдюмов к Лидии Николаевне.

— Pas encore ², — отвечала та.

— C'est dommage, car il est plein d'esprit et de sentiment ³.

— Не верьте ей — прочла, она взяла его у меня и вчера вечером все читала.

— Где же читала? Я так, только развернула, — возразила Лидия.

— Не скрывай, читала; а если ты не читаешь, так я у тебя опять возьму. Я видела, тут есть отметки? Это ваши отметки?

— Мои, — отвечал Курдюмов.

— Очень рада; непременно изучу их. По отметкам в книгах можно судить о характере человека. а мне очень хочется разгадать ваш характер.

¹ А вы, мадам, прочитали то маленькое произведение, которое я вам рекомендовал? (франц.)

² Нет еще, (франц.)

³ Жаль, потому что оно полно ума и чувства. (франц.)

Подали завтрак, и завтрак довольно прихотливый. Курдюмов начал есть с большим аппетитом. Лидия Николаевна предложила мне, но я отказался: мне кусок не шел в горло! вся обстановка, посреди которой я ее встретил, мне очень не нравилась: тут что-нибудь да скрывается.

Надина вышла в залу, села за фортепьяно и начала брать аккорды.

— Иван Кузьмич рано уехал в город? — спросил Курдюмов, уставив глаза на Лидию Николаевну.

— Да, рано, — отвечала она потупившись.

— А приедет домой сегодня?

— Я думаю.

— Вы здоровы?

— Нет, не совсем; мало спала.

— У вас прекрасный цвет лица.

— Не знаю, — отвечала Лида, — я поутру чувствовала себя нехорошо, но вот он — мой старый друг — приехал, — прибавила она, беря меня за руку, — и я так обрадовалась, что все забыла.

Курдюмов покачнул головой.

— Петр Михайлыч, угодно вам петь? — проговорила из залы Надина.

— Je mange, mademoiselle¹, — отвечал Курдюмов.

— Спойте, — сказала Лидия Николаевна.

— Я, думаю, наскучил вам своим пением; я так много пою у вас, что нигде столько не пел.

— Вы так хорошо поете, вас так приятно слушать, что никогда не наскучит... Спойте!

— А l'instant², — отвечал Курдюмов и пошел в залу.

Лидия тоже встала и пошла, я последовал за нею.

— Вы попрежнему, Лидия Николаевна, любите музыку?

— Да, очень; мне легче на душе, когда я слышу хорошую музыку: Петр Михайлыч прекрасно поет.

Курдюмов подошел и сел за рояль.

Надина кокетливо ему улыбнулась и встала у него за стулом. Лидия Николаевна села на дальний стул; я не вышел из гостиной, а встал у косяка, так что видел Лидию Николаевну, а она меня нет. Курдюмов запел: «Зачем сидишь ты до полночи у растворенного окна!» Он дей-

¹ Я ем, мадмуазель, (франц.)

² Сию минуту, (франц.)

ствительно имел довольно сильный и приятный баритон, хорошую методу и некоторую страстность, но в то же время в его пении недоставало ощутительно того, чего так много было в игре Леонида, — задушевности!

Надина приняла театральную позу, глаза подняла вверх и руки вытянула, как бы желая представить из себя олицетворенный восторг, Лидия Николаевна сидела, задумавшись, и слушала с большим чувством. Как хотите, это не даром; пение Курдюмова вовсе не было так уж увлекательно, откуда же такая симпатия?

— Как мил этот романс, — заговорила Надина, — это твой любимый, Лидия, и я даже знаю почему, ты сама так любишь сидеть у окна по вечерам.

— С чего ты взяла? Я никогда не сижу.

— Ах, топ Dieu! ¹ никогда! каждый вечер.

Курдюмов запел какую-то трудную итальянскую арию, но вдруг остановился.

— Иван Кузьмич приехал, — проговорил он и встал.

Лидия проворно пошла в лакейскую навстречу мужу, где и говорила с ним довольно тихо в продолжение нескольких минут. Курдюмов нахмурился. Надина смотрела с беспокойством на дверь в прихожую. Наконец, Лидия Николаевна возвратилась, а за нею и Иван Кузьмич, одетый в какую-то венгерку, с взъерошенными волосами и весь в пыли. Он прямо подошел ко мне и поцеловал меня.

— Здравствуйте! вот уж, ей-богу, неожиданный гость... совсем нечаянный... сначала не поверил, ей-богу, не поверил, какими, думаю, судьбами? А если... очень рад, прошу покорнейше садиться, — говорил Иван Кузьмич, садясь.

— Здравствуйте! — отнесся он к Курдюмову; тот молча подал ему руку.

— Здоровы ли вы? — спросил Иван Кузьмич.

— Благодарю, здоров, — отвечал Курдюмов.

— А вы здоровы? — отнесся Иван Кузьмич с насмешливою улыбкою к сестре.

— Здорова, — отвечала Надина, а потом с гримасою прибавила: — Посмотрите, как вы запылились, хоть бы велели себя почистить.

— Запылился! Что делать?.. Извините; пыли много, я не виноват; пыль не сало, потер, так и отстало; а уж

¹ мой бог! (франц.)

чего оттереть нельзя, скверно. Старого молодым нельзя сделать, — отвечал Иван Кузьмич и засмеялся. — Я очень рад, что вы здоровы; Петр Михайлыч тоже здоров... очень рад, — продолжал он и потом вдруг отнесся ко мне:

— Как проводили время в деревне?

Я ему объяснил, что в деревне я не жил, потому что служил.

— А! вы служили? Я и не знал; по статской или военной изволили продолжать службу?

— По статской.

— Это, то есть, выходит по гражданской части: я сам хочу идти по гражданской, в военной бы следовало, и привык, да устарел; ноги вот пухнут, не могу. Как здоровье вашего батюшки и матушки?

Я снова объяснил ему, что у меня только мать, а отец умер, что ему и прежде было известно. Иван Кузьмич посмотрел на меня с некоторым удивлением; он был если не так пьян, как я видел его некогда, то по крайней мере очень навеселе.

— Запоматывал, совсем запоматывал; а очень рад, — говорил он, — вот только у нас Марья Виссарионовна уехала с Леонидом; они вам будут очень рады, и Лидия Николаевна вам рада; она вас очень любит. Лидия Николаевна! Вы их любите?

— Я тебе это говорила, — отвечала она.

— Говорила, и я не ревную; я не ревнив, — заключил Иван Кузьмич и взглянул на жену исподлобья.

Лидия Николаевна распорядилась об обеде и беспрестанно торопила слугу, чтобы накрывал скорее на стол. Иван Кузьмич отправился было в буфет; я догадался, что он хотел еще выпить, но Лидия Николаевна пошла за ним и помешала ему, потому что он возвратился оттуда нахмуренный, а она встревоженная. Чрез четверть часа мы сидели за столом. Иван Кузьмич был очень неприятен. В продолжение всего обеда он глупо и неблагопристойно шутил с женою и подтрунивал над сестрою и Курдюмовым. Из слов его можно было понять, что он намекает на их взаимную любовь. После обеда он извинился перед мною и отправился спать. Между Курдюмовым, Надиною и Лидиею Николаевною завязалось какое-то совещание. Надина говорила настойчиво, Курдюмов ее поддерживал, а Лидия полуотговаривалась. Дело объяснилось тем, что они затевали кататься, и Лидия просила меня не уходить,

говоря, что они очень скоро вернутся; но я отозвался надобностию быть в Москве, впрочем, проводил их. Мне жалось видеть: какого рода их катанье. Оказалось, что Лидия Николаевна села с Курдюмовым в тильбюри, а Надина верхом.

VIII

Я переехал в Сокольники и первое время бывал у Лидии Николаевны довольно часто, но потом реже; мне тяжело было ее видеть. Иван Кузьмич дурит: дня по два, по три он совсем пропадает из дома и где бывает — неизвестно. Лидия Николаевна грустит и страдает, но со мною не откровенна, а у меня недостает духу заговорить с нею об этом щекотливом предмете. Надина неутомимо преследует Курдюмова; он почти каждый день бывает у них. Понять не могу этого господина, точно он влюблен в свои длинные ногти и лакированные сапоги; целые дни, кажется, способен ими любоваться. Поет по просьбе дам он довольно часто и этим их очень интересуется, а впрочем, скучнейший, по-моему, человек — говорит вообще мало, но зато очень любит насвистывать различные арии и делает это довольно нецеремонно, когда только ему вздумается.

Однажды утром пришел ко мне от имени Ивана Кузьмича человек и просил вечером приехать. Я пошел и, не входя еще в дом, услышал из открытых окон говор нескольких голосов. Вхожу; полна зала гостей, и все старые знакомые: лошадиный барышник, гладко причесанный брат и еще двое каких-то господ, очень дурно одетых. Все играли в карты; сильный запах ромом давал знать, что пили пунш; Иван Кузьмич был уже пьян и сильно встревожен; он играл с Пионовым, который, увидев меня, выразил большое удовольствие и тут же остроумно объяснил об вновь изобретенном напитке, состоящем в том, что он сначала выпьет рюмку рому, потом захлебнет чаем, потом встряхнет желудок, а там и сделается пунш.

Лидия Николаевна сидела одна в гостиной. Я прошел к ней. На глазах ее видны были заметные следы недавних слез.

— Что вы у нас так давно не были? Бог с вами, — сказала она.

— Я был не так здоров, — отвечал я.
Вошел лакей.

— Водку прикажете подавать? — спросил он Лидию Николаевну.

— Еще девятый час, — возразила она.

— Спрашивают-с.

— Всего девятого половина.

Лакей ушел.

— Я тоже больна, — продолжала Лидия Николаевна, обратившись ко мне, — голова все болит, хочу пройтись, да не с кем; Надина уехала к знакомым. Пойдемте!

— Очень рад, — отвечал я.

Лидия Николаевна надела шляпку, бурнус, и мы ни-кем не замеченные вышли задним крыльцом. Она попросила мою руку и оперлась на нее. Дойдя до большой дорожки, Лидия Николаевна остановилась, и мы сели на ближайшую скамейку.

— Что это у вас за вечер сегодня? — начал я.

— Муж затеял! Так мне это неприятно!.. Ничего меня не слушает, — отвечала Лидия Николаевна.

— А давно ли у вас такие вечеринки? — спросил я.

— С нынешнего лета. Он гораздо хуже стал, как уехал брат и маменька. Если бы вы знали, что я переносу!

— Знаю, и даже ожидал этого, когда вы еще выходили замуж.

Лидия Николаевна закрыла лицо руками и несколько времени пребыла в таком положении, потом вдруг взяла мою руку.

— Вам жаль меня? — спросила она.

— Неужели же вы сомневаетесь?

— Нет, я верю вам. Скажите мне, научите меня, что делать? Я так поглупела, так растерялась, что ничего не могу сообразить.

— Что мне вам посоветовать? — возразил я. — Советовать или очень легко, если хочешь отделаться одною фразою, или уж очень трудно... Как можно было выходить за подобного человека?

— Нет, я должна была выйти за него. Послушайте, теперь я с вами могу говорить откровенно. Знаете ли, что мы ему до свадьбы были должны сто тысяч, и если бы ему отказали, он хотел этот долг передать одному своему знакомому, а тот обещал посадить мать в тюрьму. Неужели же я не должна была пожертвовать для этого своею судьбою? Я бы стала после этого презирать себя.

— Но кто же вам говорил об этом долге и обо всем?

— Мне говорила это Пионова.

— И вам не совестно было верить этой женщине?

— Этому нельзя было не верить... она ко мне точно не расположена, но мать она любит и говорила мне об этом с горькими слезами; наконец, сама мать говорила об этом.

Я только пожал плечами.

— Об этом что уж говорить, — продолжала Лидия Николаевна, — теперь уж этого изменить нельзя, все кончено.

«Конечно, уж кончено», — согласился я мысленно.

— Добр ли по крайней мере Иван Кузьмич по характеру? и любит ли вас? — спросил я, помолчав.

— Добр и любит, когда этого мерзкого вина не пьет, а как закутит, совсем другой человек. Ко мне теряет всякое уважение, начинает за все сердиться... особенно последнее время, приезжая из Москвы... там кто-нибудь его против меня вооружает.

— Я думаю, те же Пионовы.

— Да, и Пионовы, но они не столько: тут есть, говорят, другая дрянная женщина — старинная его привязанность. Я бы и не знала, да мне Аннушка показала ее раз здесь на гулянье.

— Кто же она такая?

— Не знаю, магазинщица какая-то.

— Высокая, прямая.

— Да.

Это была не кто иная, как названная кума, которая у Ивана Кузьмича была на вечере. Лидия Николаевна это забыла, а напоминать ей я не счел за нужное.

— Самое лучшее: не давайте ему пить, — сказал я.

— Дома я ему не даю, так старается как-нибудь потихоньку; наскучит быть вечно на страже, а не то уедет в Москву.

— Не отпускайте.

— Как его не отпустишь, не маленький ребенок. Я и то стараюсь всегда с ним ездить, так не берет. Говорит, что ему надобно в присутственные места. Как же удерживать человека, когда он хочет что-нибудь сделать! Сначала я тосковала, плакала, а теперь и слез недостает. Я его очень боюсь пьяного, особенно когда он ночью приезжает, начнет шуметь, кричать на людей, на меня:

ревнив и жаден делается до невероятности. Теперь все укоряет, что потерял для меня сто тысяч.

— Злой и низкий человек, больше ничего.

— Нет, когда не пьян, совсем другой; просит, чтобы все забыла, целует руки, часа по два на коленях стоит, так что неприятно видеть.

— Вы бы его больше бранили, что делать? Против подобных людей надобно употреблять грубые средства.

— Я не в состоянии. Сестра Надина в этом случае мне помогает. Она читает ему нотации по целым дням. Первое время это была решительно моя спасительница; он ее как-то побаивался, а теперь и на ту не смотрит; как попадет в голову, сейчас начнет смеяться и бранить ее почти в глаза; она, бедная, все терпит.

— А вы с нею дружны?

— Да, я люблю ее. Она меня тоже очень полюбила. Прежде она никогда не жила с братом вместе, а теперь живет для меня.

— Полно, так ли, Лидия Николаевна?.. Вы слишком доверчивы! Вы готовы верить в любовь каждого, кто хоть немного вас приласкает. Я думаю, Надина имеет другую, более эгоистическую цель.

— Может быть, ей хочется и в Москве пожить!

— Именно в Москве жить, и жить затем, чтобы победить сердце Курдюмова.

— А вы разве уж заметили?

— Еще бы! для этого надобно иметь не большую проницательность.

— Странная: я ее не понимаю; она очень умная девушка, но в этом отношении смешна: она влюбилась в него на другой же день, как увидела его.

— Это немудрено; он так хорош собою и имеет столько других достоинств, что может и не Надину увлечь.

— Но как бы ни был хорош мужчина, все-таки надобно узнать его сколько-нибудь, чтобы полюбить.

— А вы сами лично знаете Курдюмова?

— Да, я его знаю; он человек очень благородный, и у него прекрасное сердце.

— Вот как! даже и сердце прекрасное! Кто же об этом вам сказал? Не сам ли он?

— Ну, нет; что вы смеетесь! Он, право, хороший человек, немного светский, но не похож на других. Посмотрите, сколько у него души в пении!

— Нисколько; счастливый голос и рутина.

— Полноте, вы несправедливы к нему! За что вы его не любите?

— Я его не люблю за то, что его не любит ваш брат, и я в этом случае Леониду верю безусловно.

— Нет, Леониду нельзя верить; он чудный человек, но капризный. Из всех знакомых он любит только одного вас, а прочих никого.

— Если Леонид Николаич чересчур исключителен в своих привязанностях, то вы совершенно противоположны ему в этом отношении. Любить и быть дружным надобно осторожно, особенно женщинам, чтобы не испытать потом позднего и тяжелого разочарования.

— Но зачем же видеть людей в таком черном цвете, и без того в жизни много горького, а что ж будет, если никому не станешь верить и никого не будешь любить? Это ужасно! — отвечала Лида, встала и подала мне руку.

Мы пошли; я видел, что ей не хотелось продолжать наш разговор.

У женщин мыслящих и чувствующих есть своего рода ложные сердечные убеждения, изменить которые так же трудно, как и изменить натуру их сердца и противоречия которым горьки и обидны для них. Так было и с Лидою; но я не стеснился этим и решился высказать ей самую горькую правду.

— Не знаю, Лидия Николаевна, — начал я, — с чего вы предполагаете в Курдюмове прекрасное сердце! Помоему, он человек светский, то есть человек внешних достоинств. Приезжая к вам, он насилует себя; ему нужен иной круг, ему неловко в вашей маленькой гостиной, и всем этим, вы, конечно, понимаете, он жертвует не для Ивана Кузьмича, на которого не обращает никакого внимания, и не для Надины, от которой отыгрывается словами, а для вас.

Когда я говорил последние слова, то чувствовал, что рука Лидии дрожала, но я не остановился и продолжал:

— Вы в самом удобном положении, чтобы за вами ухаживать; вы женщина умная, вы несчастливы, быть вашим утешителем приятно, и незаметно можно достигнуть своей цели.

— Довольно, будет, — перебила Лидия Николаевна, — вы безжалостны и несправедливы. Я к нему

чувствую только дружбу и была бы очень довольна, если бы он женился на Наде.

— Вы знаете, что этого никогда не случится. Будьте к себе строже, Лидия Николаевна, поверьте свои чувства и остерегитесь, когда еще можно.

— Неужели же вы обвиняете меня и за дружбу? Я и с вами дружна, но не влюблена же в вас, — возразила она с достоинством.

Мне это сравнение показалось несколько обидно.

— Дай бог, чтобы вы питали к этому человеку то же чувство, как и ко мне, но что наши чувствования в отношении вас совершенно различны, в том я готов дать клятву. Не скрою, что первое время нашего знакомства и я смотрел на вас иными глазами, но с той минуты, когда узнал, что вы выходите замуж, я овладел собою, с той минуты вы сделали для меня родною сестрою — и только. Курдюмов действовал, кажется, совершенно иначе: на вас — девушку, он вряд ли обращал какое-нибудь внимание, а заинтересовался вами, когда вы сделали дамою.

— Довольно, кончимте этот разговор. Вы безжалостны, с вами иногда страшно говорить; вы способны убить в женщине веру и в самое себя и в других.

— Я сказал только правду, как я ее понимаю.

Говоря это, мы подошли к дому и опять с заднего крыльца прошли в гостиную, там нашли Курдюмова. Лидия взглянула на меня и потупилась.

— Vous vous êtes promenée? ¹

Лида кивнула головою и села. Я взглянул в залу; там была возмутительная сцена: игроки перестали играть и закусывали. Все они были навеселе и страшно шумели и спорили. Иван Кузьмич и Пионов еще играли. У первого лицо было совершенно искажено, он, верно, проигрался. Пионов хохотал своим громадным голосом на целый дом.

— Ну, дама так дама!.. Извините, сударыня, и вас пришибем. А валет? Эх, брат Иван, говорил, не надейся на валета. Ну, туз твой, твой!.. али нет! Десяточка-касачка, не выдай — не выдала! Баста! — проговорил Пионов, встал и подошел к столу с закускою.

— Эге, господа, вы тут ловко распорядились: все чисто. Эй ты, кравчий! Выдай, брат, за ту же цену под-

¹ Вы гуляли? (франц.)

ливки, а мы покуда мадеркой займемся. Вы, господа, на мадерку-то и внимания не обратили, да она и не стоит — дрянь; я уж так, от нечего делать, по смиренству своему, займусь ею. Эй, Иван Кузьмич! позабавься хоть мадеркою, раскуражь себя. Это ведь ничего, виноградное, оно не действует.

Иван Кузьмич встал и подошел к столу. Пионов налил ему полный стакан; он выпил, закурил трубку, прошелся по зале нетвердыми шагами, вошел в гостиную, посмотрел на всех нас, сел на стул и начал кусать губы, потом взглянул сердито на жену.

— Отчего вы не велели давать нам закуски? — спросил он ее, ероша себе волосы.

Лидия Николаевна не отвечала.

— Вы не велели, а я велел, — извините! — продолжал он. — Где моя сестрица?

Лидия Николаевна молчала.

— Отчего же вы со мною не хотите говорить! Я вас спрашиваю: где моя сестрица?

— Она уехала, — отвечала Лидия.

— А! уехала, очень жаль... Петр Михайлович! Ваша mademoiselle Надина уехала, — сказал Иван Кузьмич и замолчал на несколько минут.

— Отчего ж вы не велели подавать закуску? — отнесся он опять к жене.

— Я ничего не говорила, меня дома не было... я гуляла.

— А! вы гуляли! Вы всё гуляете, и я гуляю... что же такое?

Курдюмов бледнел; я не в состоянии был взглянуть на Лидию, так мне было ее жаль.

— Вы проиграли или выиграли? — отнесся я к Ивану Кузьмичу, желая хоть как-нибудь переменить разговор.

— Проиграл-с, — отвечал Иван Кузьмич, — тысячу целковых проиграл; ничего-с, я свое проигрываю... я ни у кого ничего не беру.

Лидия встала и пошла.

— Куда же вы? Посидите с нами, мы сейчас будем ужинать, — сказал ей Иван Кузьмич.

— Я не хочу, — отвечала Лидия и проворно ушла.

— Это значит, дамы не ужинают. Покойной ночи, а мы будем ужинать и пить; а вы тоже не ужинаете? — отнесся он насмешливо к Курдюмову.

— Не ужинаю, — отвечал тот, встал и, поклонившись, ушел.

— Ну, так и вам покойной ночи, — сказал хозяин, — вы тоже дама, у вас беленькие ручки. Прощайте; я ведь глуп, я ничего не понимаю, в вас mademoiselle Надина влюблена. Знаю, я хоть и дурак, а знаю, кто в вас влюблен; я только молчу, а у меня все тут — на сердце... Мне все наплевать. Я ведь дурак, у меня жена очень умна.

Я встал и тоже хотел уйти, Иван Кузьмич тут только заметил мое присутствие.

— Нет, вы, пожалуйста, не ходите, я вас люблю; сам не знаю, а люблю; а этот Курдюмов — вот он у меня где — тут, на сердце, я его когда-нибудь поколочу. Вы останьтесь, поужинайте, я вас люблю; мне и об вас тоже говорят, я не верю.

— Что ты тут сидишь? Пора, братец, ужинать, — сказал Пионов, войдя.

— Не смею: мне жена не велит ужинать... говорит: вредно... Она боится, что я умру. Ха... ха... ха... — засмеялся Иван Кузьмич. — А я не боюсь... я хоть сейчас — умру; не хочу я жить, а хочу умереть. Поцелуй меня, толстой.

— Изволь! — проревел Пионов и, прижав голову Ивана Кузьмича к своей груди, произнес:—«Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мирра и вина!»

Я воспользовался этою минутою и ушел. Господи, что такое тут происходит и чем все это кончится!

IX

Как хотите, Лидия Николаевна более чем дружна с Курдюмовым. Она непременно передала ему последний мой разговор с нею о нем, потому что прежде он со мною почти не говорил ни слова, а тут вдруг начал во мне заискивать.

— У вас свободен вечер? — сказал он мне однажды, когда мы вместе с ним выходили от Ивана Кузьмича.

— Свободен, — отвечал я.

— Заедьте ко мне.

Я согласился. Мне самому хотелось хотя сколько-нибудь с ним сблизиться. Он нанимал небольшую, но очень

красивую по наружности дачу; внутреннее же убранство превзошло все мои ожидания. Пять комнат, которые он занимал, по одной уж чистоте походили скорей на модный магазин изящных вещей, чем на жилую квартиру: драпировка, мраморные статуйки, пейзажи масляной работы, портреты, бронзовые вещи, мебель, ковры, всего этого было пропасть, и все это, кажется, было расставлено с величайшей предусмотрительностью: так что, может быть, несколько дней обдумывалось, под каким углом повесить такую-то картинку, чтобы сохранить освещение, каким образом поставить китайскую вазу так, чтобы каждый посетитель мог ее тотчас же заметить, и где расположить какой-нибудь угловой диван, чтобы он представлял полный уют. Видеть столько лишних пустяков, расставленных с таким глубоким вниманием, в квартире мужчины, как хотите, признак мелочности. Кто не знает, как неприятно бывать в гостях, когда знаешь, что хозяин тебя в душе не любит и не уважает, но по наружности для своих видов, насилюя себя, старается в тебе заискивать. Точно в таком положении я очутился у Курдюмова. Более часу сидели мы с ним или молча, или переговаривали избитые фразы о погоде, о местоположении, наконец он, как бы желая хоть чем-нибудь занять меня, начал показывать различные свои занятия. Прежде я думал, что он только певец, но оказалось, что он и рисует, и лепит, и гальванопластикой занимается, и даже точит из дерева, кости, серебра, и точит очень хорошо. Все его работы я, разумеется, насколько доставало во мне притворства, хвалил, наконец, и эти предметы истощились, и мы снова замолчали. К концу вечера, впрочем, я решился затронуть за его чувствительную, как полагал, струну и заговорил о семействе Марьи Виссарионовны. Курдюмов отвечал слегка и так же слегка спросил меня: давно ли я знаком с ними? И когда я сказал, что еще учил Леонида, и похвалил его, он проговорил покровительственным тоном:

— Oui, il a beaucoup de talent pour la musique¹.

В отношении Лидии Николаевны больше отмалчивался и только назвал ее милою дамою, а Надину умною девушкою; говоря же об Иване Кузьмиче, сделал гримасу.

¹ Да, у него большой музыкальный талант. (франц.)

Возвратившись домой, я застал у себя нечаянного гостя. Леонид возвратился в Москву и уже часа два дожидался меня на моей квартире. Он приехал ко мне тотчас, как вышел из дорожного экипажа, не заходя даже домой, но, здороваясь со мною, не обнаружил большой радости, а только проговорил:

— Хорошо, что приехали, а то все это время была такая скука.

— Кончили курс? — спросил я.

— Да.

— Кандидатом?

— Да.

— Много занимаетесь?

— Нет; все было не до того... у сестры бываете?

— Как же.

— Что она, здорова?

— Не совсем, кажется.

— А что благоверный ее?

— Тоже прихварывает, только своего рода болезнью.

— Опять разрешил, — проговорил Леонид и потом, помолчав, прибавил:

— Курдюмов часто там бывает?

— Каждый день, — отвечал я.

Он нахмурился.

— Я познакомился там еще с новым лицом, с сестрою Ивана Кузьмича, — сказал я.

— Она еще все гостит? — проговорил Леонид.

— Гостит и не думает уезжать.

— Что ж она тут делает?

— Ничего: пламенеет страстию к Курдюмову.

Леонид ничего не отвечал, но еще более нахмурился и несколько времени ходил взад и вперед по комнате.

— Вы говорили с сестрою? — спросил он вдруг меня.

Я догадался, о чем он спрашивает.

— Говорил один раз.

— А что именно?

Я передал ему слово в слово разговор мой с Лидиею Николаевною: спор наш об Курдюмове и визит к сему последнему.

— Курдюмов какой-то всеобщий художник! — заметил я.

Леонид вышел из себя.

— О черт, художник! — воскликнул он. — У человека недостает душонки, чтобы с толком спеть романс, а вы называете его художником... Токарь он, может быть, хороший, но никак не художник.

Я не возражал Леониду, потому что был совершенно согласен с ним. Он у меня ночевал, а на другой день мы оба пошли обедать к Лидии Николаевне. Она только что приехала от матери и очень обрадовалась брату, бросилась к нему на шею и разрыдалась. Иван Кузьмич болен. Сначала я думал, что это последствия похмелья, но оказалось, что он болен серьезнее. Вместе почти с нами приехал к нему доктор, которого я знал еще по университету, старик добрый и простой. Когда он вышел от больного, я нагнал его в передней и спросил:

— Какого рода болезнь у Ивана Кузьмича?

— А что, батенька, — отвечал старик, — подагрица разыгралась и завалы в печени нажил. Алкоголю много глотал.

— И в сильном развитии?

— Будет с него, если нашего снадобья не покушает да диеты не подержит, так на осень, пожалуй, и водянка разыграется.

— У меня есть к вам просьба, Семен Матвееч, — начал я, — семейство здешнее я очень люблю и хорошо знаю.

— Ну, что же такое?

— И потому я просил бы вас Лидии Николаевне ничего не говорить о состоянии болезни Ивана Кузьмича, а ему скажите и объясните, какие могут быть последствия, если он не будет воздерживаться.

— Напугаешь, батенька; ты сам, может, знаешь, в чем вся наша медицина состоит: нож, тепло, голодок и душевное спокойствие.

— Напугать необходимо; иначе он не будет ни лечиться, ни воздерживаться.

— Эко какой человек-то; спасибо, что сказал. Я его мало знаю, вижу, что пьяница. Ох, уж эти мне желудочные болезни, хуже грудных; те хотя от бога, а эти от себя, — проговорил доктор и уехал.

Обед и время после обеда прошло у нас невесело: Леонид был скучен, Лидия Николаевна, как и при первой встрече со мною, старалась притворяться веселою и беспечною, но не выдерживала роли, часто задумывалась

и уходила по временам к мужу. Надина переходила от окна к окну; я догадался, кого она ждет.

В шесть часов вечера приехала Марья Виссарионовна с двумя младшими дочерьми и с Пионовою, которая у Лиды не бывала более года, но, поздоровавшись, сейчас объяснила:

— Ах, *shège*¹ Лидия Николаевна! Я давным-давно собиралась быть у вас, да все это время была нездорова. Несколько раз просила Сережу взять меня с собою, не берет. Полно, говорит, *mon ange*², ты едва ноги та-скаешь, где тебе ехать в Сокольники за такую даль. Так скучала, так скучала все это время. Сегодня говорят: Марья Виссарионовна приехала, а я и не верю; раза три переспрашивала человека, правду ли он говорит. Сейчас собралась и поехала; думаю, посмотрюсь на мою милую Марью Виссарионовну и повидаюсь с Лидиею Николаевною.

«Что это за бесстыдная женщина, — подумал я, — как ей не совестно говорить, что едва бродит, когда у ней здоровье брызжет из лица и она вдвое растолстела с тех пор, как я ее видел. Видно уж, у ней общая с мужем привычка ссылаться на болезнь». Страсть ее к Леониду еще не угасла, потому что, когда тот вошел в гостиную из другой комнаты, она, поздоровавшись с ним, вернулась в шаль и придала своему лицу грустное и сентиментальное выражение.

Ожидания Надины сбылись: Курдюмов часов в восемь явился. Войдя в гостиную, он немного оторопел, увидя гостей, но скоро поправился и начал говорить с Марьею Виссарионовною, относился потом несколько раз к Пионовой и разговаривал с Леонидом. Лидии Николаевне он едва поклонился, но с Надиною был более обыкновенного любезен; та в свою очередь пришла в какое-то восторженное состояние. Я не могу слово в слово передать теперь их разговор, потому что занят был более Лидою, но сколько припоминаю, то Надина вдруг, совсем некстати, спросила Курдюмова: был ли он влюблен? По прежней тактике я думал, что он не ответит ей, но он ответил:

— Был.

¹ дорогая (*франц.*).

² мой ангел, (*франц.*)

— А теперь?

— И теперь влюблен.

— Вы должны сказать: в кого?

— Подобных вещей не говорят.

— Говорят, особенно друзьям; ведь мы друзья?

— Если позволите.

— С восторгом разрешаю, и потому говорите.

— Вы сами наперед посвятите меня в вашу тайну.

— Ох, какие вы требовательные! Вы хотите, чтобы с вами были откровенны прежде, чем вы сами откровенны, и у вас недостает даже великодушия оставить нам, женщинам, право скромности. Вы сами не рискуете шагу сделать, но ожидаете, сидя спокойно в креслах, чтобы к вам подошла бедная женщина и рассказала все свои тайные помыслы, — проговорила Надина и пошла в том же роде.

Надобно сказать, что когда разговор касался любви и вообще чувств, то она заговаривалась. Вначале в ее словах был еще некоторый смысл, но потом, чем более хотела она высказаться, чем более желала выразить свои мысли, тем больше начинала нести вздор, так что уж и сама себя, вероятно, переставала понимать.

В этот раз повторилось то же: более получаса она говорила совершенную галиматью и потом вдруг переменяла разговор и начала Курдюмова просить спеть что-нибудь; он сейчас согласился и пошел в залу. Надина последовала за ним; она, вероятно, с тою целию и вызвала его в залу, чтобы остаться с ним наедине. Это очень не понравилось Марье Виссарионовне.

— Что это за обращение! — отнеслась она к Пионовой.

Та покачала головой.

— И зачем она живет здесь? Мне очень неприятно, что у тебя подобная компаньонка, — прибавила Марья Виссарионовна дочери.

Лида потупилась.

Вообще Марья Виссарионовна в эти два года постарела, похудела и сделалась очень раздражительна, так что с нею говорить было невозможно; она все спорит или принимает на свой счет; на детей беспрестанно сердится. В продолжение этого вечера она сказала несколько самых обидных колкостей Лиде; на двух младших дочерей, которые вышли погулять и погуляли не более полу-

часа, крикнула, зачем они смели так долго гулять, и даже Леониду, которому она всегда более других уступала и который обыкновенно спорил с нею очень смело, в одном пустом разговоре велела замолчать.

Х

Я не бывал у Лидии Николаевны несколько дней. Леонида тоже не видал, он живет по делам в Москве. В четверг или в пятницу, теперь уж не помню, в Сокольниках бывает общее гулянье. Я пришел на это гулянье с единственной целью встретить Лидию Николаевну; но ее не было. Надина была тут. Это несколько меня удивило: они обыкновенно всегда гуляли вместе, но еще более показалось мне странным, что Надина, встретившись со мной, отвернулась. Сама она была в необыкновенно тревожном состоянии: соломенная шляпка была у ней совсем набоку, локоны распустились и падали в беспорядке длинными прядями; она брала всех попадавших ей навстречу знакомых под руку, говорила им что-то такое с большим жаром, потом оставляла их, перешла к другим и, наконец, совсем скрылась.

Кто жила в Сокольниках, тот знает, что к концу лета они делаются очень похожими на маленький уездный городок. Все узнают друг об друге до малейших подробностей: узнают, кто какого характера, с кем знаком и на каком основании знаком, кто что делает и, наконец, кто что ест. Маленький комераж¹, у кого-нибудь случившийся, делается предметом толков и вырастает в один день до огромных размеров. Начавшиеся здесь новые знакомства, особенно между дамами, часто развиваются к первому сентября в тесную дружбу, и наоборот. Хорошо знакомые семейства, переселившиеся вместе на дачу с единственной целью, чтобы чаще видаться, уезжая отсюда, совсем уж не видятся.

Пройдя раза два по главной аллее, я сел рядом на скамейку с одним господином из Ярославля, тоже дачным жителем, который был мне несколько знаком и которого прозвали в Сокольниках *воздушным*, не потому, чтобы в наружности его было что-нибудь воздушное, —

¹ *Комераж* — сплетня (франц.).

нисколько: он был мужчина плотный и коренастый, а потому, что он, какая бы ни была погода, целые дни был на воздухе: часов в пять утра он пил уж чай в беседке, до обеда переходил со скамейки на скамейку, развлекая себя или чтением «Северной пчелы», к которой чувствовал особенную симпатию, или просто оставался в созерцательном положении, обедал тоже на воздухе, а после обеда ложился где-нибудь в тени на ковре, а часов в семь опять усаживался на скамейку и наблюдал гуляющих. Услышать новость, самому рассказать таковую же и вообще поговорить был большой охотник. Всем почти проходящим мимо его знакомым он говорил:

— Что вы ходите? присядьте! Нет ли чего новенького? поведайте.

Когда я сел около него, он остался этим очень доволен и ласково кивнул мне головой.

— Что, и вы пришли воздухом подышать? Здесь славно! Чувствуете ли, как смолой пахнет? Самый здоровый запах.

Я хоть ничего не чувствовал, но согласился, что пахнет смолой.

— А, да, кстати! — продолжал воздушный ярославец. — Вы знакомы с Ваньковской или, как его, забыл фамилию, с зятем ее?

— Знаком, — отвечал я.

— Скажите на милость, что у них такое наделалось?

— Я ничего не слышал.

— Будто? А тут рассказывают целую историю. У этого зятя живет, говорят, сестра... живет ведь?

— Живет, — отвечал я.

— Сухощавая этакая девица, сейчас была здесь.

— Что ж из этого?

— А я вот давеча после обеда, видите вон этот бугорок под большой сосной, я вот давеча лежал тут и заснул почти, а тут подходит, как его, забыл фамилию, почтамтский чиновник, что ли, знаете, я думаю?

— Нет, не знаю.

— Э, как не знаете, верно знаете, в самый жар еще гуляет; говорит, что декохт пьет, непременно знаете.

— Уверяю вас, что нет, — отвечал я и просил рассказать, что такое случилось у Ваньковских.

— Я думал, что вы знаете; он тут мне и рассказал, сначала попросил у меня огня и рассказал... с ним был

еще какой-то молодой человек... того уж не знаю. Они мне и рассказали.

— Да что ж такое они вам рассказали? — перебил я с досадой.

— Рассказали, что сестра у них живет, ну, и к ним часто ездил Курдюмов. Курдюмова, конечно, знаете? Он мне старый знакомый, наш ярославец... богатые люди прежде были, теперь не знаю.

Никакого терпения у меня не доставало; несносный болтун точно с умыслом пытал меня.

— Я вас решительно не понимаю; что же из этого следует? — сказал я ему.

— Следует, что он к ним ездил, ну, и здесь был слух, что он на этой сестре женится, а вышло вздор. Она была, знаете, только, как я придумал, громовой отвод, а интригу-то он вел с этой молодой барыней, дочерью Ваньковской: я ее не знаю, должна быть хорошенькая, а с отцом хорошо был по клубу знаком: человек был умный, оборотливый; мать тоже знаю, видал в одном доме.

То, что я предполагал, была действительно правда, и молва об этом огласилась уже на все Сокольники: «Что бы там ни было, — подумал я, — но я должен хоть сколько-нибудь поколебать правдоподобность этих слухов». Собеседник мой показался удобным для этого средством: он станет встречному и поперечному толковать рго и contra¹, как его направишь; я решил его разубедить.

— Это нелепые сплетни, — начал я, — я бываю в этом доме каждый день и очень хорошо знаю, что Курдюмов бывал тут без всякой цели.

— Говорят...

— Мало ли что говорят; нельзя всему верить. Эта молодая женщина слишком далека от подобных отношений, и каким же образом могло это открыться вдруг, тогда как он знаком с ними более шести лет?

— Видно, как-то открылось, я не знаю хорошенько. Я вас хотел спросить, не знаете ли вы? Вот посижу еще здесь: может быть, пройдет кто-нибудь, кто знает. Любопытно, очень любопытно узнать.

— Все это вздор!

— Не спорьте; сестра от них переехала, не захотела с ними жить, стало, не вздор, — возразил ярославец. —

¹ за и против, (лат.)

Эй, Николай Лукич, а Николай Лукич? Куда вы бежите? Присядьте, — крикнул он к проходящему мимо его господину в сером пальто. — Вот мы спросим Николая Лукича, он все знает.

Но Николай Лукич только обернулся, сделал ручкой и, проговорив: «В минуточку вернусь», побежал далее.

— Погодите, он придет и все нам расскажет, — отнесся ко мне мой собеседник, но я не хотел ждать дальнейших разъяснений и отошел.

Против Лидии Николаевны я почувствовал решительную ненависть. «Неужели эта женщина, — думал я, — всю жизнь будет меня обманывать: в то время, как я считал ее чистой и невинною, в которой видел несчастную жертву судьбы, она, выходит, самая коварная интриганка; но положим, что она могла полюбить Курдюмова, я ей это прощаю, но зачем скрыла от меня, своего друга, который бог знает как ей предан и с которым, не могу скрыть этого, как замечал по многим данным, она кокетничала; и, наконец, как неблагородно поступила с бедною Надиною. Сама, вероятно, завлекла и сделала из нее ширмы своей интриги». Я решился идти к ней и сорвать с нее маску. Я застал ее в маленьком кабинете; она сидела в креслах, опустивши голову на руки. Увидев меня, она вздрогнула и проговорила:

— Это вы?

— Да, я, — ответил я сурово.

Лида посмотрела на меня таким грустным и печальным взором, что решимость моя быть строгим очень поколебалась.

— Где Леонид? — спросила она.

— Он в Москве, а вы одне дома?

— Одна.

— А ваш больной Иван Кузьмич?

— Ему лучше; он уехал; у нас много перемен наделалось.

— Я слышал.

— Уж слышали? Что же такое вы слышали?

— Слышал, что Надина от вас переехала, потому что надежды ее на Курдюмова лопнули; он, говорят, ухаживал за вами.

— И это уж говорят?

— Да, говорят, и говорят на гулянье.

— Что ж: пускай говорят! Это правда.

— Не дай бог, чтоб все была правда; говорят не только, что он за вами ухаживал, но что у вас была интрига и Надина была громовым отводом, который обеспечивал ваши отношения. Неужели и это правда?

— Ну да, правда; вы этому верите, что ж еще спрашиваете?

— За что же вы сердитесь на меня? Если вам неприятно мое участие...

— Мне ничего не нужно участия; участь моя решена, — возразила Лида.

— Но чем же решена? Вы напрасно так отчаиваетесь.

— Я не отчаиваюсь, а смеюсь. Я потерянная женщина, муж меня бросил, тут отчаяние не поможет.

— Конечно, не поможет. Лучше хладнокровно обдумать, и тогда еще можно найти какое-нибудь средство продолжить обман на год, на два.

Лида посмотрела на меня.

— Какой обман? — спросила она.

— Вроде громового отвода, которым была сделана Надина. Курдюмов, при всем своем тупоумии, на эти вещи изобретателен. Он приищет еще другой какой-нибудь способ, чтоб погубить вас окончательно.

— Не он меня губит, а другие. Он прекрасный человек и предан мне так, как, может быть, никто, — возразила Лида.

Я пожал плечами.

— Вам это странно слышать, — продолжала она, — а вы не знаете, что когда меня, глупую, выдали замуж, так все кинули, все позабыли: мать и слышать не хотела, что я страдаю день и ночь, Леонид только хмурился, вы куда-то уехали, никому до меня не стало дела, один только он, у которого тысячи развлечений, пренебрег всем, сидел со мной целые дни, как с больным ребенком; еще бы мне не верить в него!

— К чему тут тратить много слов, Лидия Николаевна; вы влюблены в него, и этого довольно, — проговорил я с досадой.

— Я не влюблена в него, а люблю его, это вы можете сказать моему мужу, матери, брату, целому свету: мы не вольны в наших чувствах.

— Только этого не доставало, чтоб вы меня понимали так, — возразил я, берясь за шляпу.

Лида молчала.

— Не мало, но, может быть, слишком много, и без всяких прав, претендовал я на участие к вам, — продолжал я почти со слезами на глазах, — извиняюсь же вашим выражением: мы не вольны в наших чувствах.

Лида отвернулась от меня. Я снова продолжал:

— Искренно желаю, чтобы вы не ошиблись в ваших надеждах на избранного вами человека и чтобы не страдали впоследствии раскаянием. Изменить своему долгу, на каком бы то ни было основании, проступок для женщин, за который их осудит и общественное мнение и собственная совесть.

Проговоря эти слова, я вышел из кабинета, решившись совсем уйти, но сделать этого был не в состоянии, а прошел в гостиную и сел, ожидая, что Лида меня вернет. Прошло несколько минут: я превратился весь в слух, — Лида меня не звала, но я слышал, что она рыдала. Я не выдержал и снова вошел в кабинет.

— О чем же вы плачете? — спросил я, садясь против нее.

— Простите меня, — отвечала Лида, протягивая мне руку, — я оскорбила вас, я сама не знаю, что говорю... Если бы вы знали, как я страдаю... Не верьте мне, я многое вам говорила неправду.

Я вздохнул свободнее.

— Дай бог, — возразил я, — но все-таки вы держали себя неосторожно с Курдюмовым.

— Неосторожно, — повторила Лида грустным голосом, — еще надобно быть осторожней, я уж и не знаю.

— Да, следовало бы, — заметил я.

— Может быть, но что ж мне делать, если я такая глупенькая, если я так слабохарактерна, вы это и прежде мне говорили, — проговорила Лида и залилась горькими слезами.

Мне стало от души ее жаль. Будь она, кажется, во сто раз виновнее, я не в состоянии быть строгим ее судьей и буду участвовать и помогать ей, насколько во мне окажется сил и возможности.

— Что же у вас такое вышло теперь? — спросил я.

Лида несколько времени не отвечала.

— Третьего дня, — начала она, с трудом переводя дыхание, — Курдюмов говорил мне разные разности. На-дина подслушала, потом он прислал мне письмо, она перехватила его и показала мужу, в этом все и произошло.

— Что ж Иван Кузьмич?

Лида глубоко вздохнула.

— Сначала он хотел меня убить, потом гнал, чтобы я шла к Курдюмову, потом плакал — это ужаснее всего, а теперь уехал и не хочет со мной жить. Если бы вы только слышали, что он мне говорил! Надина тоже так рассердилась, что я думала, что она с ума сойдет; вдвоем на меня и напали, я даже теперь не могу вспомнить об этом равнодушно. Посмотрите, как я дрожу, а первое время у меня даже голова тряслась.

Сердце кровью облилось у меня, слушая рассказ Лиды.

— Что вы теперь думаете делать? — спросил я ее.

— Сама не знаю; я очень боюсь Леонида и маменьки, что, если они услышат, а оправдываться я не могу. Они бог знает что подумают.

— За Леонида я вам ручаюсь, он вас очень любит, я ему расскажу все.

— Пожалуйста; впрочем, господи! я сделала еще одну глупость: после этой сцены, когда Иван Кузьмич и Надина так меня разобидели, я с отчаяния написала к Курдюмову письмо, все ему рассказала и написала, что он один остался у меня на свете и что вся моя надежда на него.

— Что ж он вам отвечал на это письмо?

— Умолял, чтоб я с ним бежала, хотел увезти меня за границу. Мне так после этого сделалось досадно и стыдно за себя. Неужели я такая потерянная женщина, что в состоянии бросить мужа? Иван Кузьмич ко мне был очень нехорош, но пусть он будет в тысячу раз хуже, пусть будет каждый день меня терзать, я все-таки хочу с ним жить.

— Другого вам нечего и делать! Крест ваш тяжел, но вы его взяли и несите.

— Я знаю... Послушайте: съездите, пожалуйста, к мужу, упросите его, чтобы он не делал этих глупостей и приехал бы домой, и, бога ради, успокойте его об Курдюмове.

При последних словах я нарочно смотрел Лиде в глаза, но и тени притворства не было в кротком выражении ее лица.

— Где ж я могу найти Ивана Кузьмича? — спросил я.

— Он или у Пионовых, или у той магазинщицы. Они все и вооружают его; если он дольшееще у них останется, то совсем меня бросит.

Я хотел было тотчас же ехать, но Лида меня остановила и просила остаток вечера провести у ней. Она боялась, что придет Курдюмов, и он в самом деле приезжал, но его, по общему нашему распоряжению, не приняли.

XI

На другой день я чем свет написал к Леониду письмо и отправил его по городской почте. Я подробно ему описал все, что случилось с Лидией Николаевной, мое свидание с ней и поручение, которое она мне сделала. Ивана Кузьмича я поехал отыскивать часу в десятом. У Пионовых его не было; я дал их лакею полтинник, чтобы вызвать его на откровенность, и стал расспрашивать; он мне сказал, что Иван Кузьмич заезжал к ним накануне поутру и разговаривал очень долго с господами, запершись в кабинете, а потом уехал вместе с баринном, который возвратился домой уже утром и очень пьяный, а барыня чем свет сегодня поехала к Марье Виссарионовне.

От Пионовых я отправился в магазин, о котором мне некогда говорил желтолицый поручик, и отыскал его очейь скоро по вывеске, на которой было написано: «Магазин лучших французских цвигтов, Анны Ивановой». Я вошел по грязной лестнице и отворил дверь прямо в большую комнату. В ней был шкаф и стол, за которым, впрочем, никто не работал. Маленькая запачканная девочка мела пол; у открытого окна сидели две, как я полагаю, старшие мастерицы, из которых одна была худая и белокурая, а другая толстая, маленькая, черноволосая и с одутловатым лицом. При входе моем они переглянулись и засмеялись.

— Что вам надобно? — спросила белокурая.

— Здесь мой хороший знакомый Иван Кузьмич! Я желал бы его видеть, — отвечал я.

— А вы чьи такие? — спросила черноволосая.

— Я знакомый его, — повторил я.

— Да кто такие! Мы ихних знакомых очень хорошо знаем.

— Тебе что за беспокойство? Суешься не в свое дело, — перебила ее белокурая.

— Что мне за беспокойство, так спрашиваю.

— Где я могу видеть Ивана Кузьмича? — отнесся я к белокурой.

— Он там — вон в этой комнате... Матреша! — спросила она девочку. — Иван Кузьмич встал?

— Встал-с.

— Позвать, что ли, вам его?

— Нет, я сам пойду, — отвечал я и, боясь, что Иван Кузьмич ко мне не выйдет, отворил дверь, на которую белокурая мне показывала, и вошел.

Он лежал на диване; перед ним стоял графин водки и морс. Комната была разгорожена ширмами с дверцами, которые при моем появлении захлопнулись. Увидев меня, Иван Кузьмич ужасно смешался, привстал, говорить ничего не мог и весь дрожал. Он был очень истощен и болезнью и, вероятно, недавнею попойкою. Я начал прямо:

— Я приехал к вам, Иван Кузьмич, от Лидии Николаевны, она просит вас возвратиться домой.

— Нет-с, благодарю вас покорно, не беспокойтесь, сделайте одолжение... я стар — мной играть... я не игрушка. Домой мне незачем ехать, я здесь живу... что ж такое, я всем скажу, что здесь живу, я квартиру здесь нанимаю, и конечно...

— Вы этим компрометируете Лидию Николаевну; неужели вас совесть не упрекает за нее?

Иван Кузьмич сделал нетерпеливый жест.

— Вы сердитесь на нее, и сами не знаете за что, — продолжал я. — Мне все известно: письмо Курдюмова никак не может служить обвинением для Лидии Николаевны. Ни одна в мире женщина не поручится, чтобы какой-нибудь господин не решился ей написать подобного письма. Между вами или одно недоразумение, или вы хотите только сделать зло вашей жене, и за что же, наконец! Неужели за то, что она в продолжение пяти лет терпела все ваши недостатки, скрывала их от знакомых, от родных, а вы пустую записку обращаете ей в преступление.

— Я не за то-с, мне это что... я не за это.

— Так за что же?

— Так, ничего-с: мимо ехали, — отвечал Иван Кузьмич, выпил стакан водки и начал ходить взад и вперед по комнате.

— Коли так больна и не любит меня, так зачем же замуж выходила, шла бы в кого влюблена; а я ведь дурак... я ничего не понимаю, — говорил он как бы сам с собой.

— Она сначала вас уважала, но после вы сами ее вооружили против себя! — возразил я.

— Я вооружил, да-с, я же виноват, коли муж к жене, а она в сторону... может быть, по вашему образованному — ничего, очень хорошо... а мы люди простые. Что ж такое? Я прямо скажу, я мужчина, за неволю делаешь что-нибудь... У них рюмку водки выпьешь, так сейчас и пьяница; ну, пьяница, так пьяница, будь поихнему. Теперь меня всего обобрали... я нищий стал... у меня тут тридцать тысяч серебром ухнуло, — ну и виноват, значит! Мы ведь дураки, ничего не понимаем, учились на медные деньги, в университетах не были.

— Не совестно ли вам, Иван Кузьмич, говорить это? Не вы ли сами предложили как доказательство любви вашей уничтожить этот вексель!

— Я не корю. Дай им бог счастья, а мне прожить на них нечего, я все прожил.

Видя, что Иван Кузьмич был так настроен против Лидии Николаевны, что невозможно было ни оправдать ее пред ним, ни возбудить в нем чувство сострадания к ней, я решил по крайней мере поугагать его и наметнул ему, что у ней есть родные: мать и брат, которые не допустят его бесславить несчастную жертву, но и то не подействовало. Он сделал презрительную гримасу.

— Ничего я не боюсь; плевать я на всех хочу, что они мне сделают?

Тем мое свидание и кончилось.

Я уехал.

«Нет, Лида не должна жить с этим человеком, он совсем потерялся, — подумал я. — Это еще и лучше, что он сам ее оставил. Пусть она живет с матерью: расскажу все Леониду, и мы вместе как-нибудь это устроим». Больше всх я ожидал сопротивления от самой Лиды: вряд ли она на это решится.

Я заехал к ней, чтобы передать ей малоуспешность своей поездки и сообщить новое мое предположение насчет дальнейшей ее участи, но не застал ее дома: она у

матери, которая присылала за ней. Что-то там происходит? От Леонида не было никакого известия. Возвратившись домой, я целое утро провел в раздумье, ездил потом к Курдюмову, чтобы растолковать, какое зло принес он любимой им женщине, и прямо просить его уехать из Москвы, заезжал к Надеine растолковать ее ошибку, но обоих не застал дома, или меня не приняли, а между тем судьба готовила новый удар бедной Лиде.

Поздно вечером, когда уж я улегся в постель, вдруг вошел ко мне Леонид во фраке и в белых перчатках.

— Откуда это? — спросил я его.

— В вокзале был и приехал к вам ночевать.

— Очень рад.

— Вы меня положите в кабинет.

— Отчего же не в спальне — со мной?

— Так, я завтра рано уеду.

Я предложил было ему ужинать, но он отказался и просил только дать ему вина.

— Мне хочется сегодня хорошенько выспаться; от какого вина лучше спишь?

— От всякого крепкого: хересу, портвейну.

— Дайте, какое у вас есть.

Я велел подать ему хересу, он выпил целый стакан, чего с ним прежде никогда не бывало, поцеловал меня, ушел в кабинет, заперся там и тотчас же погасил огонь.

Вообще он был как-то странен и чрезвычайно грустен. Об Лидии Николаевне не сказал ни слова, как будто бы не получал моего письма, а я не успел и не решился заговорить об ней. Мне не спалось, из кабинета слышался легкий шум, я встал потихоньку и заглянул в замочную скважину. Ночь была лунная. Леонид сидел у стола и что-то такое, кажется, писал впотьмах карандашом.

XII

Понять не могу, что такое делается: Леонид, кажется, всю ночь не спал. Я сам заснул почти на утре, но когда проснулся, его уж не было у меня: в шесть часов утра, как сказал мне мой человек, за ним заезжал молодой человек в карете, в которой они вместе и уехали. Тяжелое предчувствие сдавило мне сердце. Я решился, не теряя минуты, ехать к Леониду в Москву, ожидая или

найти его дома, или узнать по крайней мере там, куда и зачем он мог уехать. Проезжая Мясницкую, я услышал, что меня кто-то зовет по имени; я обернулся: это был человек Ваньковских, который кричал мне во все горло и махал фуражкой. Я остановился. Он подбежал ко мне.

— Что такое? — спросил я.

— К вам, сударь, бежал; у нас несчастье приключилось: Леонид Николаич очень нездоровы.

— Как, чем нездоров? — спросил я, сажая его к себе на пролетки и велев извозчику ехать как можно скорее.

— Сами не можем знать хорошенько; ночевать они дома не изволили, а сегодня на утре привезли в беспмятстве, все в крови; надобно полагать так, что из пистолета, видно, ранены.

«Только этого недоставало», — подумал я и очень хорошо все понял. Вчера он получил мое письмо об Лиде, а сегодня у него была, верно, дуэль с Курдюмовым. И как мне, тупоумному, было не догадаться еще вчера, что он замышляет что-то недоброе. Остановить его — я имел тысячу средств: я бы его не пустил, уговорил, наконец помирил бы их.

— Куда он ранен и опасно ли? — спросил я человека.

— Бог их, батюшка, знает; слышал, что кровь-то больно одолевает, доктор при них, не знаем, что будет. Они, как немного поочувствовались, сейчас приказали, чтоб за вами шли, я и побежал. Этакое на нас божеское посещение — барин-то какой! Этакого, кажись, и не нажить другого. Ну, как что случится, сохрани бог, старая барыня не снесет этого: кричит теперь как полоумная на весь дом.

Приехав, я встретил в зале молодого человека, товарища Леонида — некоего Гарновского, которого видел у него несколько раз и которого, как я заметил, он держал в полном у себя подчинении. Я догадался, что это был секундант.

— Жив ли? — спросил я его.

— Жив еще-с, — отвечал он.

— Не стыдно ли было вам участвовать в подобном деле, не предупредив ни родных, ни меня, — сказал я ему.

— Что ж мне было делать, он взял с меня клятву; в этаких случаях нельзя отказываться, — отвечал он со слезами на глазах.

— Очень можно. Это была не дуэль, а подлое убийство. Леонид во всю жизнь пистолета не брал в руки, вы это знали, — так друзья не делают.

Молодой человек заплакал.

Я прошел в кабинет. Леонид лежал на своей кушетке вверх лицом, уже бледный, как мертвец, но в памяти. Увидев меня, он улыбнулся.

— Здравствуйте! я вас давно жду, — сказал он, протягивая мне руку.

Я взял и незаметно пощупал пульс, который был неровен, но довольно еще силен. У изголовья стоял растерявшийся полковой медик, которого пригласили из ближайших казарм. Я спросил его потихоньку о состоянии больного; он отвечал, что рана в верхней части груди, пуля вышла, но кровотечение необыкновенно сильно, и вряд ли не повреждена сонная артерия. Я просил его съездить к университетским врачам, чтобы составить консилиум. Из дальних комнат слышались стоны и рыдания Марьи Виссарионовны. Ее, по распоряжению врача, не пускали к сыну.

— Сядьте около меня, — сказал Леонид, когда мы остались одни. Я сел.

— Я скрыл от вас мою проделку, — начал он слабым голосом, — вы бы мне помешали... а мне очень хотелось проучить этого негодяя... Не думал, что так кончится серьезно...

Я просил его не говорить и успокоиться.

— Ничего... часом раньше... часом позже... все равно... Не послали ли Лиде сказать; я этого не хочу... не скажите ей дольше... как можно дольше... Вы не оставьте ее... я на вас больше всех надеюсь... Мать тоже не оставьте... ой, зачем это она так громко рыдает, мне тошно и без того.

Я не в состоянии был владеть собой и заплакал.

— И вы туда же! Стыдно быть таким малодушным, — продолжал Леонид. — Теперь мать будет за меня проклинать Лиду; вразумите ее и растолкуйте, что та ни в чем не виновата. Она вчера, говорят, так ее бранила, что ту полумертвую увезли домой. Там, в моей шкатулке, найдете вы записку, в которой я написал, чтобы Лиде отдали всю следующую мне часть из имения; настойте, чтобы это было сделано, а то она, пожалуй, без куска

хлеба останется. Ой! Что-то хуже, слаб очень становлюсь... попросите ко мне мать.

Я пошел к Марье Виссарионовне; она лежала на диване, металась, рвала на себе волосы, платье; глаза у ней бегали, как у сумасшедшей, в лице были судороги. Около нее сидела Пионова, тоже вся в слезах.

— Леонид Николаич вас просит к себе, — сказал я.

— Что он — умер?.. умер?.. — спросила Марья Виссарионовна, вскочив.

— Напротив, им лучше, они желают только вас видеть.

Она быстро пошла, Пионова последовала за ней.

— Позвольте и мне; мне нельзя ее оставить в таком положении, — отнеслась она ко мне.

Я ей ничего не отвечал. Мы все вместе вошли в кабинет. Марья Виссарионовна бросилась было к сыну на шею, но он ее тихо отвел.

— Нет, тут кровь, замараетесь, — сказал он.

— Кровь!.. Да, тут кровь, — проговорила она безумным голосом и, упав к нему на ноги, начала их целовать.

На лице Леонида изобразилась тоска.

— Марья Виссарионовна! Вы их беспокоите, — сказал я, подходя к ней.

— *Chère amie!*¹ да вы сядьте, — произнесла Пионова.

— Да... да... я ничего... я сяду, — отвечала она и села.

Я и Пионова стали около нее; Леонид закрыл глаза. Прошло около четверти часа убийственного молчания, Марья Виссарионовна рыдала потихоньку.

Вдруг... во всю жизнь мою не забуду я этой сцены: умирающий открыл глаза, двинулся всем корпусом, сел и начал пристально глядеть на мать. Выражение лица его было какое-то торжественно-спокойное.

— Не плачьте, а простите меня: я много против вас виноват, — начал он, — моею смертью вас бог наказывает за Лиду... вы погубили ее замужеством... За что?.. Это нехорошо. Родители должны быть равны к детям.

Марья Виссарионовна упала на руки Пионовой; в лице Леонида промелькнула как бы улыбка.

— Вы женщина умная, добрая, благородная; отец, умирая, просил вас об одном: не предаваться дружбе и

¹ Дорогой друг! (франц.)

любить всех детей одинаково. Он хорошо знал ваши недостатки; вы ни того, ни другого не исполнили.

Марья Виссарионовна начала сильнее рыдать.

— Загладьте хоть теперь, — начал опять Леонид, голос у него прерывался, — устройте Лиду... с мужем ей нельзя жить, он ее замучит... отдайте ей все мое состояние, я этого непременно хочу... А вы тоже оставьте ее в покое, — отнесся он к Пионовой, — будет вам ее преследовать... Она вам ничего не сделала... Матери тоже женихов не сватайте; ей поздно уж выходить замуж.

Пионова обратила к нему умоляющий взор; Леонид грустно покачал головой.

— Я все знаю, — продолжал он. — Как вам покажется, — обратился он ко мне, — Лизавета Николаевна сватала матери своего родного брата, мальчишку двадцати двух лет, и уверяла, что он влюблен в нее, в пятидесятилетнюю женщину; влюблен! Какое дружеское ослепление!

С Марьей Виссарионовной сделался настоящий обморок, Пионова тоже опустилась в кресла. Леонид замолчал, лег и обернулся к стене.

— Пора мне и с собой расчитаться... Священника! — проговорил он глухим голосом.

Я позвал горничных женщин и с помощью их вынес бесчувственную Марью Виссарионовну; Пионову тоже вывели в двой руки. Пришел священник, Леонид очень долго исповедывался, причастился и ни слова уже потом не говорил. Приехали медики, но было бесполезно: он умер.

Печальные хлопоты о похоронах я принял на себя и пригласил в них участвовать Гарновского, который все сидел в зале и обливался горькими слезами. Он мне рассказал подробности дуэли: накануне приехал к нему Леонид и повез его с собой в вокзал; когда приехали, то Леонид все кого-то искал. Встретившись с Курдюмовым, он остановил того, и они вместе ушли в дальние комнаты. Возвратившись, Леонид отвел Гарновского в сторону и, предварительно обязав его клятвою не говорить того, что он ему откроет, сказал, что у него дуэль, и просил его быть секундантом; он согласился, и на другой день Леонид назначил ему заехать за ним ко мне в шесть часов утра. Когда приехали к назначенному месту, Курдюмов уже был там. Он или боялся, или не желал дуэли: с ним даже не было секунданта; он несколько раз просил у Леонида прощения, но тот отвечал,

что он обижен не лично и потому простить не может. Когда противники были поставлены, то Курдюмов хотел выстрелить на воздух, но Леонид, заметив это, требовал, чтобы он стрелял как следует, а в противном случае обещал продолжать дуэль целый день. Курдюмов повиновался, раздался выстрел, Леонид пошатнулся, сам тоже выстрелил, но на воздух, и упал. Увидев, что он ранен, Курдюмов бросился к нему, высасывал у него пулю, перевязывал рану и беспрестанно спрашивал, что он чувствует? Когда бесчувственного Леонида повезли домой, он просил позволения проводить его и всю дорогу рыдал, как ребенок, и когда того привезли, он не вышел из экипажа и велел себя прямо везти к коменданту.

«Да будет святая воля бога», — подумал я. Как знать, что бы принесла Леониду жизнь, особенно если взять в расчет его прекрасную, но все-таки странную натуру.

Я очень боялся за Лиду; мне казалось, что ниспосланное ей испытание свыше сил ее. Приказание Леонида — скрыть от нее случившееся — не исполнили. Кто-то из людей отправился к ней в то же утро и все рассказал до малейших подробностей; она приехала, но Леонид лежал уже на столе. Тут только я увидел, какими огромными нравственными силами обладала эта, повидимому слабая, женщина. Как должна была огорчить ее смерть брата, которого она страстно любила и который умер за нее, об этом и говорить нечего; но она не рыдала, не рвалась, как Марья Виссарионовна, а тихо и спокойно подошла и поцеловала усопшего; потом пошла было к матери, но скоро возвратилась: та с ней не хотела говорить.

В продолжение трех дней и трех ночей она не отходила от тела, провожала его в церковь, выстояла всю службу, хотя, конечно, видела и понимала, что была предметом неприличного любопытства. Одни называли ее по имени, другие указывали на нее, третьи рассказывали историю дуэли, но никто ее не пожалел, никто в ней не поучаствовал; зато Марья Виссарионовна, как говорится, надсадила всех. Ее внесли рыдающую на креслах, за ней шла, тоже рыдая, Пионова, а при конце службы с ними обеими сделалось дурно. Я и Лида подошли первые и простились с покойником. Иван Кузьмич тоже явился на похороны истерзанный и больной;

за панихидой он разрыдался, подошел потом к Марье Виссарионовне, утешал ее, а жене даже не поклонился и как будто бы не заметил ее. Он, как мне сказывали, отобрал от нее все вещи, экипажи, людей, и Лида осталась с одной своей горничной Аннушкой.

Курдюмов содержится на гауптвахте и очень, говорят, тоскует. Все это передавал мне Гарновский, который неимоверно ласкается ко мне и каждый почти день бывает у меня. Он, кажется, очень боится, чтобы ему не досталось чего-нибудь за дуэль.

XIII

Иван Кузьмич доконал себя. Вскоре после смерти Леонида он тяжело заболел и сошелся с женою. Лида все ему простила и в продолжение трех месяцев была его сиделкой, в полном значении этого слова. Старик доктор не ошибся: водяная действовала быстро. Грустно и отраднo было его видеть в этот предсмертный период жизни: разум его просветлел, самосознание и чувство совести к нему возвратились; он оценил, наконец, достоинство Лиды и привязался к ней, как малый ребенок, никуда ее не отпускал от себя, целовал у нее беспрепятственно руки и все просил прощения за прошедшую жизнь. Пионовых решительно не хотел видеть, они приезжали несколько раз, и как Лида ни просила, чтобы принять их, хоть для приличия, он не соглашался; родных своих также не велел пускать, да они и сами не приезжали, за исключением Надины, которая была один раз и с которой он ни слова не сказал, зато Анна Ивановна ездила каждый день, но ее, это уж по приказанию Лиды, тоже не пускали. Впрочем, она раз сказала об ее посещении Ивану Кузьмичу, он вдруг закричал: «Вон ее, вон ее!» Говорят, он дал ей значительный вексель, который она и подала ко взысканию. Умер он тихо. Лидия Николаевна осталась решительно без всяких средств к жизни и даже во время его болезни она жила только тем, что продавала кой-какие свои брильянтовые вещи. Марья Виссарионовна не только не обеспечила, по завещанию Леонида, дочери, несмотря на все мои настояния, но даже не принимала ее и называла ее при всех убийцею сына. От меня Лида тщательно

скрывала свою бедность, но я знал, что она начала жить только своей работой и потому подсылал к ней различных торговков и закупал все по возможно дорогой цене.

Однажды, это было месяцев шесть спустя после смерти Ивана Кузьмича, я познакомился с одним довольно богатым домом. Меня пригласили, между прочим, бывать по субботам вечером; в одну из них я поехал и когда вошел в гостиную, там сидело небольшое общество: старик серьезной наружности; муж хозяйки — огромного роста блондин; дама-старуха в очках; дама очень молоденькая и, наконец, сама хозяйка. Между всеми этими лицами шел довольно одушевленный разговор. Я сел и начал прислушиваться.

— Мне очень жаль, очень жаль Курдюмова, — говорил старик, — человек он умный, образованный, хорошего круга, влюбился в эту интриганку, выдержал за нее дуэль и, наконец, погубил себя теперь таким образом.

— Ее мать с малолетства боялась, с малолетства видела в ней дурные наклонности; эта женщина, как я слышу об ней, совершенная Лафарж, — говорила отрывисто старуха в очках.

— Я без грусти не могу вообразить ее брата. Говорят, еще очень молоденький мальчик, и умереть в такие лета, это ужасно! Как должна ее самое мучить совесть? Я удивляюсь, как она до сих пор еще жива? — вмешалась молоденькая дама и покраснела от неуверенности, не сказала ли чего-нибудь глупого.

— О! ей ничего: подобным женщинам ничего не бызает. Скажите лучше, как мать жива! Вот этой несчастной жертве я удивляюсь, — возразила старуха.

— Очень хорошо тут дурачили эту старую деву, сестру мужа, — сказал хозяин, — они ее уверяли, что Курдюмов влюблен в нее. Я тогда жил в Сокольниках и очень хорошо помню, что о ней кто-то сказал: «Это громовой отвод, или новое средство скрывать любовь».

Старик пожал плечами.

— Одно, что может ее извинить, что она вышла за человека, которого не любила. Будь она к нему привязана, так на многое бы не решилась, — заметила хозяйка и взглянула с нежностью на мужа, который отвечал ей улыбкою.

— Ничто не может служить ей оправданием, — начал старик диктаторским голосом. — Она была дурная

дочь, как говорила Алена Александровна. Она вышла замуж точно за дрянного человека, я его знаю, он у меня служил под начальством, но это ее нисколько не оправдывает, а напротив, еще хуже рекомендует ее сердце. Для чего она это делала? Или по расчету, или по нестерпимому желанию выйти за кого-нибудь, и, наконец, уж если вышла, так должна была исправить недостатки мужа, а не доводить его до того, что он с кругу спился и помер от того; потом она завлекла молодого человека, отторгнула его совершенно от общества: последнее время его нигде не было видно, и, чтобы скрыть свою интригу, сделала из родной сестры своего мужа, как говорит Алексей Иваныч, громовой отвод, или средство скрывать любовь. Поведением своим была причиной смерти брата и в заключение всего вошла в связь с каким-то еще господином, который у ней бывает ежедневно, чтоб не сказать больше. Неужели после всего этого ее можно оправдать?

В продолжение этих слов старуха кивала утвердительно головой, да и прочие, кажется, все безусловно соглашались. Я не вытерпел.

— Историю об этой рассказывают совсем не так, как она была, — начал я в тоне же старика, вставая, — она точно вышла не по любви, но по усиленным настояниям матери. Муж ее несчастному пороку пьянства был предан еще холостой, остановить его не было никакой возможности. Курдюмов в отношении ее был только навязчивый искатель. Сестру мужа ей и в голову не приходило делать умышленно громовым отводом, но та сама влюбилась в Курдюмова. С господином, который бывает у ней ежедневно, существуют только самые святы, чистые, дружественные отношения, это я могу утвердительно сказать, потому что господин этот я сам.

Все сконфузились, старик нахмурился, я скоро уехал.

Надобно сказать, что у меня с Лидой в последнее время были какие-то неопределенные отношения. Что я любил ее, что я желал сделаться ее мужем, в этом, конечно, нечего было и сомневаться, но не решался еще, будучи, с одной стороны, не уверен, любит ли она меня, а с другой — боясь оскорбить в ней чувство горести о потере брата и мужа. Ездил к ней я действительно очень часто, она была и рада моим посещениям и отчасти стеснялась ими. Последний случай окончательно утвердил

меня в моем намерении. Лида одна, оставлена всеми, без денег, порицаема общественным мнением: медлить нечего, что будет — то и будет, подумал я и написал ей письмо, в котором признался ей в любви, откровенно высказал ей, каким образом толкуют наши отношения, и молил ее согласиться быть моей женой; в противном случае мы должны расстаться, чего, уверен я, и она не желает.

Лида не отвечала мне целые два дни; нетерпение меня мучило. Я сам было хотел ехать к ней, но мне принесли от нее письмо. Передаю его в подлиннике.

«Прости меня, что я так долго не отвечала на твое письмо, мой добрый и единственный друг, позволь мне назвать тебя этим именем хоть за дружбу к тебе моего бесценного Леонида. Ты пишешь, что любишь меня давно. Я давно это знаю, но у меня не достало присутствия духа сказать тебе, просить тебя, чтобы ты не любил меня; видишь, какая я кокетка и какая коварная! Ты возмущился за обвинения, которыми карают меня в обществе, но как ты ошибался, писавши эти строки; это общество гораздо лучше меня знает, чем ты: разве я так любила мужа, как должно? Разве я, видевши безрассудство Надины, предостерегла ее? А брат мой, бедный брат! Разве не за меня он помер и разве Курдюмов... Я все тебя, мой друг, обманывала об нем... Я любила его... Я принадлежала ему всем сердцем, всей душой моей... Я для него забыла бога, совесть — видишь, какая я падшая женщина, и только твое строгое присутствие и тень брата, ставшая между нами, дала мне и теперь силу отторгнуться от этого человека. Быть женой твоей я не *хочу* и не *могу*. Я не достойна того! Мать меня простила и позволила быть при ней. Она больна. Я буду за ней ходить, и приведи бог хоть этим искупить мои проступки».

Лида сама произнесла над собой приговор; но в самом деле: *виновата ли она?*

ПЛОТНИЧЬЯ АРТЕЛЬ

Рассказ

I

Зиму прошлого года я прожил в деревне, как говорится, в четырех стенах, в старом, мрачном доме, никого почти не видя, ничего не слыша, посреди усиленных кабинетных трудов, имея для своего развлечения одни только трехверстные поездки по непромятой дороге, и потому читатель может судить, с каким нетерпением встретил я весну. И — боже мой! как хороша показалась мне оживающая природа и какую тонкую способность получил я наслаждаться ею, способность, которая — не могу скрыть — была мною утрачена в городской жизни, посреди чиновничьих и другого рода мирских треволнений. Настоящим образом таять начало с апреля, и я уж целый день оставался на воздухе, походя на больного, которому после полугодичного заключения разрешены прогулки, с тою только разницею, что я не боялся ни катара, ни ревматизма, ходил в легком платье, смело промачивал ноги и свободно вдыхал свежий и сыроватый воздух. Протаявший на пригорке луг сделался для меня предметом неистощимого вниманья; по несколько раз в день я наблюдал, как он больше и больше расширяется, свежей и свежей зеленеет; появившиеся на садовых вербах почки я почти пересчитывал, как будто бы в них было все мое богатство. С каким живым чувством удовольствия поехал я, едва пробираясь, верхом по про-

валивающейся на каждом шагу дороге, посмотреть на свою родовую речку, которую летом курица перейдет, но которая теперь, несясь широким разливом, уносила льдины, руша и ломая все, попадающее ей навстречу: и сухое дерево, поваленное в ее русло осенним ветром, и накат с моста, и даже вершу, очень бы, кажется, старательно прикрепленную старым поваром, ради заманки в нее неопытных шурят. Целую неделю на небе хоть бы облачко; солнце с каждым днем обнаруживает больше и больше свою теплотворную силу и припекает где-нибудь у стены, точно летом. И сколько птиц появилось и как они все ожили, откуда прилетели и все поют: токуют на своих сладострастных ассамблеях тетерева, свищет по временам соловей, кукует однообразно и печально кукушка, чирикают воробьи; там откликнется иволга, там прокричит коростель... Господи! сколько силы, сколько страстности и в то же время сколько гармонии в этих звуках оживающего мира! Но вот снегу больше нет: лошадей, коров и овец, к большому их, сколько можно судить по наружности, удовольствию, сгоняют в поля — наступает рабочая пора; впрочем, весной работы еще ничего — не так торопят: с Христова дня по Петров пост воскресенья называются *гульщиками*; в полях возятся только мужики; а бабы и девки еще ткут красна, и которые из них помоложе и повеселей да посвободней в жизни, так ходят в соседние деревни или в усадьбы на гульбища; их обыкновенно сопровождают мальчишки в ситцевых рубахах и непременно с крашеным яйцом в руке. Гульбища эти по нашим местам нельзя сказать, чтоб были одушевлены: бабы и девки больше стоят, переглядываются друг с другом и, долго-долго собираясь и передумывая, станут, наконец, в хоро-вод и запоют бессмертную: «Как по морю, как по морю»; причем одна из девок, надев на голову фуражку, представит парня, убившего лебедя, а другая — красну девицу, которая подбирает перья убитого лебедя дружку на подушечку или, разделяясь на два города, ходят друг к другу навстречу и поют — одни: «А мы просо сеяли, сеяли», а другие: «А мы просо вытопчем, вытопчем». Самой живой сценой бывает, когда какой-нибудь мальчишка покатится вдруг колесом и врежется в самый хоро-вод, причем какая-нибудь баба, посердитее на лицо, не упустит случая, проговоря: «Я те, пес-баловник этакой!»,

толкнуть его ногой в бок, а тот повалится на землю и начнет дрегать ногами: девки смеются... Иногда привяжется к хороводу только что воротившийся с базара пьяный мужичонко и туда же лезет целоваться с девками, которые покрасивее; но этакое срамное кто уж поцелует? И он начнет выкидывать другие штуки: возьмет, например, две палки, из которых одну представит будто смычок, а из другой скрипку, и начнет наигрывать языком «Барыню» или нагонит какого-нибудь мальчишку, стащит с него сапог силой, возьмет этот сапог, как балалайку и, тоже наигрывая языком, пустится плясать и, подняв на улице своими лаптями страшную пыль, провалится, наконец, куда-нибудь; хороводницы после этого еще постоят, помолчат, пропоют иногда: «Калинушка с малинушкой лазоревый цвет»; мальчишки еще подерутся между собой, и затем начнут расходиться по домам... Вот вам и игрище все!

Между тем время идет: яровое допахивают. Вечер ясный, теплый. Я сижу на задней галерее дома, обращенной во двор. В зале шумят двое маленьких сыновей: старшему, Павлу, четвертый, а младшему, Николаю, второй год. Они всеми силами стараются перекричать друг друга, вскрикивая: «Пли, пли, пли!» Это они играют в солдаты и воюют с турками; вдруг один заревел. «Поля! ты опять брата дразнишь?» — кричу я, наперед зная, что старший, буян, обидел младшего, и хочу идти; но слышу, пришла мать: она лучше восстановит мир. Поля пренаивно объявил, что он братца пикой заколол; ему объясняют, что братца стыдно колоть пикой, потому что братец маленький, и в наказание уводят в гостиную, говоря, что его не пустят гулять больше на улицу и что он должен сидеть и смотреть книжку с картинками; а Колю между тем, успокоив леденцом, выносят ко мне на галерею. Он так огорчен, что все еще продолжает всхлипывать; большие голубые глазенки полны слез.

— Что, Коля, тебя обидели? — говорю я, беря его за подбородок.

Он несколько времени смотрит на меня, потом прижимает головку к плечу няньки и, как бы вспомнив тяжко нанесенную ему обиду, горько-горько опять заплачет.

— Полно, батюшка, полно! Вон, посмотри, какая идет кошка, а, а, а, кошка!.. кис, кис, кис!.. — говорит ему в утешенье нянька, показывая на перебирающуюся по забору кошку.

Ребенок занялся.

— Кис, кис, кис! — шепчет он тихонько.

— Да, батюшка, кис, кис, кис, — повторяет за ним нянька, и оба, очень довольные друг другом, отправляются в залу баюкаться. «Бай, бай, бай!» — начинает напевать старуха. «О, о, о!» — окается ребенок, а я все еще продолжаю сидеть: не хочется в комнаты, отраднo на воздухе, хоть и становится свежо. Однако дедушка Фаддей прошел уж за квасом — значит, девятый час в исходе. Дедушка Фаддей только три раза в день (перед завтраком, обедом и ужином) слезает с печи и ходит за квасом, и — не беспокойтесь, никогда не опоздает; всегда первый нацедит из общественной квасницы в свой бурак; не любит жидкого квасу; ну, а дворня не маленькая, как раз сольют и набурят водой. Чалый мерин, которому дозволено гулять в саду по дряхлости лет и за заслуги, оказанные еще в юности, по случаю секретных поездок верхом верст за шесть, за пять, в самую глухую полночь и во всевозможную погоду, — чалка этот вдруг заржал; это значит, слышит лошадей — такой уж конь табунный, жив-сгорел по своем брате; значит, это с поля едут. Сначала показываются боронщики-мальчишки, верхами на лошадях; Васька, сын кучера, обыкновенно впереди всех и что есть духу мчится, но, завидев меня, поехал шагом. Этакoго сорванца-мальчишки и вообразить трудно: его пошлют, например, за грибами, а он поймает в поле чью-нибудь чужую лошадь, взнуздает ее веревкой, да верст в десять конец и даст взад и вперед.

«Однако что ж это оральщики не шабашат?» — думаю я сам с собою. Но и оральщики отшабашили, едут! Это можно догадаться по крику задельного мужика, Петра Завирохи; не зная, можно подумать, что он с кем-нибудь бранится, а вовсе нет: он только говорит, и беспрестанно говорит, и все криком кричит; поэтому его Завирохой и прозвали. От оральщиков отделился староста, худощавый и с озабоченным лицом мужик, отличающийся от прочих только тем, что в сапогах и с палочкой, но, как и все другие, сильно загорелый и перепачканный

в грязи; он входит на красный двор, снимает шапку и подходит к перилам галереи.

— Здравствуй, Семен, надевай шапку. Что скажешь хорошего? — говорю я.

— Овес выкидали, — отвечает Семен неторопливо.

— Ну, и слава богу! во-время, значит, управляемся; теперь, стало быть, ячмень и лен только остался, — продолжаю я.

— Лен и ячмень остался теперь, — подтверждает Семен.

Несколько времени мы оба молчим.

— Теперь бы дождичка надо, — замечаю я.

Семен вздыхает.

— Не мешало бы и дождичка, — соглашается он.

Вообще он говорит как-то лениво: видно, устал да и... Я, впрочем, понимаю, что это значит.

— Эй! кто там? — кричу я. — Скажите ключнице, чтоб дала старосте водки.

Лицо Семена в минуту освещается удовольствием; ключница выносит стакан водки и вместе с тем, полломтя густо посоленного хлеба. Она, по разным сношениям, большая приятельница Семену и всех почти детей у него крестила.

Семен берет стакан, крестится и, проговоря:

— С засевом, батюшка, поздравляю! — выпивает сразу и потом морщится.

— Закусите, — говорит ключница, подавая ему хлеба.

Семен отламывает небольшой кусочек, съедает и откашливается.

— Озими, сударь, нынче, слава богу, хороши подымаются, — заговаривает уж он сам.

— Хороши, братец, хороши, видел я; и травы, кажется, тоже будут порядочные.

— Травы важные засели-с, — подтверждает Семен, — весна-то нынче, сударь, что бог даст вперед, вольготна для всего идет; оно, выходит, тепло, да и дождички перепадает.

— Заморозков чтоб не было — это вот скверно для всего, — замечаю я.

Семен усмехается.

— Пожалуй, что того и жди, — подтверждает он. — Покойный ваш папенька тоже говаривал, как этак с весны теплая погода начнет: «Ну, говорит, будет вычет;

как подует от Николы любезный, так и ходи недели две в шубах».

(Никола — приход, от нас в северной стороне.)

— Неужели каждый год это бывает?

— Почесть что каждый год, что вот я ни живу; бог знает, отчего это! кто говорит, что пахать начнут, пласт поднимут, так земля из себя холод даст, а кто и на черемуху приходит: что как черемуха цветет, так от нее сиверко делается... Бог знает, как и сказать.

— А куда завтра народ пошлешь? — спрашиваю я его.

— Завтра на дороги надо выгнать: выбивают. Сотской два раза прибегал, исправник его хлестать хочет, что дороги долго не чинят.

— Ну, на дороги, так на дороги, откладывать нечего в дальний ящик, не отвертись!

— Известно-с, — соглашается Семен, — за нами хоть бы и без вас, — прибавляет он, — хошь кого извольте спросить, никогда супротив прочих ни в чем остановки нет; как другие вышли, так и мы.

— Это хорошо; так и надо. Ступай, однако, отдыхай, — заключаю я.

Семен сначала пошел было, но потом приостановился, подумал немного и опять воротился ко мне.

— Насчет плотника вы приказывали... — проговорил он.

— Ну да; что ж?

— Наказывал я: на этой неделе обещался побывать.

— И хорошо; только сделает ли он ригу-то?

— Как бы, кажись, не сделать: по мужикам здесь на всем околотке работает; рига не какая хитрость, не барские хоромы.

Тем разговор мой с Семеном и кончился.

II

Дня через три, я сажу в кабинете, который, как водится в помещичьих домах, прилегает к лакейской; слышу: кто-то вошел. Я окрикнул; вместо ответа в сопровождении Семена вошел мужик небольшого роста, с татарским отчасти окладом лица: глаза угловатые, лицо корявое, на бороде несколько волосков, но мужик

хоть и из простых, а, должно быть, франтоватый: голова расчесанная, намасленная, в сурмленной поддевке на-распашку, в пестрядинной рубашке, с шелковым поясом, на котором висел медный гребень, в новых сапогах и с поярковой шляпой в руках. Как вошел, так и начал молиться, и молился долго, потом вдруг подошел ко мне, и не успел я опомниться, как он схватил и поцеловал у меня руку. Мне это с первого раза не понравилось.

— Что это за глупости? — сказал я с сердцем, отнимая руку.

Он отступил несколько шагов назад.

— Это, ваше высокоблагородие, так следствует: когда выходит господин, значит, опосля бога и царя первый, ваше высокопривосходительство, — проговорил он с умиленной физиономией.

— Да кто ты такой? Что ты за человек?

— Пузич, ваше привосходительство.

— Что такое Пузич?

— Фамилья такая у меня, значит, ваше привосходительство, и так как таперича наслышан я, что работа у вас имеется, ваше привосходительство, что ежесть таперича вам мастера хорошего надобно, чтоб в настоящем виде мог представить, ваше привосходительство...

— Плотник это-с, что этта говорили, — разрешил, наконец, Семен.

— А! плотник! Я и не догадался. Красно уж очень говоришь ты, братец, — сказал я.

Похвалу эту Пузич принял за чистую монету.

— Нельзя, ваше высокопривосходительство, нам разговору не знать: ежесть таперича дела имеем мы с господами хорошими, значит, компанию им должны сделать завсегда, ваше привосходительство.

— Конечно, — сказал я, — только так ли ты хорошо строишь, как говоришь?

— Работа моя, ваше привосходительство, извольте хоть вашего Семена Яковлича спросить, здесь на знати; я не то, что плут какой-нибудь али мошенник; я одного этого бесчестья совестью не подниму взять на себя, а как перед богом, так и перед вами, должон сказать: колесо мое большое, ваше привосходительство, должон благодарить владычицу нашу, сенновскую божью мать, тем, что могу угодить господам. Таперича хоша бы карандашом рисовка на плане, али, примерно, циркулем, али теперь

по ватерпасу прикинуть — все в разуме моем иметь могу, ваше привосходительство.

Семен усмехался и качал головой.

— Как же, братец, ты вот все это в разуме имеешь, а работаешь больше по мужикам? — заметил я.

— Нет, ваше привосходительство, как перед богом, так и перед вами, говорю: за бесчестье себе считаю у мужика работать. Что мужик? — дурак, так сказать, больше ничего! — возразил Пузич.

— Да ведь и ты не княжеского рода. Говори дело-то, а не то что... — вмешался Семен.

— Известно, слово твое настоящее, Семен Яковлич, коли говорить, так говорить надо дело, — отвечал, не сконфузясь, Пузич.

Он начал производить на меня окончательно неприятное впечатление, но вместе с тем я с удовольствием смотрел на несколько ленивую и флегматическую фигуру моего Семена, который слушал все это с тем худо скрытым невниманьем и презреньем, с каким обыкновенно слушает хороший мужик плутоватую болтовню своего брата.

— Брать ли нам его? — спросил я Семена.

Он посмотрел в потолок.

— Возьмите. Здесь ишь какая сторонка — глушь: хоть бы и из их брата, первой, другой, да, пожалуй, и обчелся.

— Без сумления будьте, ваше привосходительство, сделайте такую милость! — подхватил Пузич.

— Что ж ты возьмешь? Как твоя цена будет? — спросил я.

— Цена моя, ваше привосходительство, — начал Пузич, — будет деревенская, не то, что с запросом каким-нибудь али там прочее другое, а как перед богом, так и перед вами, для первого знакомства, удовольствие, значит, хочу сделать: на ваших харчах, выходит, двести рублей серебром.

При этом Семен мой даже попятился назад.

— Что ты, паря, сблаговал, что ли? — сказал он, устремив глаза на Пузича.

— Меньше одной копейки, Семен Яковлич, взять не могу, — отвечал тот.

Я с своей стороны понял, что имею дело с одним из тех мелких плутишек, которые запрашивают рубль на рубль барыша, и хотел разом с ним разделаться.

— Твоя цена двести рублей, а моя — сто, — сказал я, — думая, что снес, сколько возможно, много. По лицу Пузича быстро промелькнул какой-то оттенок удовольствия, а Семена опять подернуло.

— Сто — много, помилуйте! Семидесяти рублей с него за глаза будет, — произнес он с укоризною.

Пузич усмехнулся.

— Не то что об семидесяти, а и об ста рублях, Семен Яковлич, разговаривать нечего. Этой цены малой ребенок не возьмет! — сказал он с такой уж физиономией, как будто скорей готов был умереть, чем работать за сто рублей.

— Полно врать, Пузич! Полно! Что язык понапрасну треплешь! — возразил Семен, начинавший выходить из терпенья.

— Может, вы сами язык понапрасну треплете, Семен Яковлич. Здесь идет разговор с господином, а не с мужиком: значит, понимаем, с кем и пред кем говорим, — возразил Пузич.

— Сто рублей, больше не дам: согласен — хорошо, а нет — так можешь убираться, — сказал я и нарочно стал заниматься своим делом.

Пузич не уходил.

— Позвольте, ваше привосходительство, — начал он, прикладывая руку к сердцу, — так как теперича я очень желаю, чтоб знакомство промеж нас было; значит, полтора ста серебром вы извольте положить, и то в убыток — верьте богу.

— Больше ста не дам, убирайся! — решил я.

— Ваше высокородие, позвольте! — продолжал Пузич, еще крепче прижимая руку к сердцу, — кому теперича свое тело не мило, а лопни, значит, мои глаза, ваше привосходительство, ежели кто хоть копейку против меня уваженья сделает.

— Ломается еще туда же, дура-голова! — проговорил Семен.

— Ломаться мы не ломаемся, Семен Яковлич, уж это вы сделайте такое ваше одолжение, а, значит, дело, выходит, неподходящее.

— Неподходящее? — повторил Семен сердито. — Мало тебе, жиду, ста рублей! Двадцать пять серебром и то лишних передано.

Пузич как будто бы не слышал этого замечания и обратился ко мне:

— Накиньте, ваше высокопривосходительство, хоть четвертную еще; ей-богу, безобидно будет.

Я молчал.

— Это что говорить, — продолжал Пузич, — сработать можно всяко; только я худого слова, значит, заслужить не хочу, а желаю так, чтоб меня и напередки знали... Може, ваше привосходительство, изволите знать по Буйскому уезду генерала Семенова: господин, осмелюсь так, по своей глупости, сказать, строжающий, в настоящем виде, значит... когда у него эта стройка дома была, пятеро подрядчиков, с позволенья доложить вашему привосходительству, бегом сбежали от него; и теперича, когда он стал требовать меня: «Что ж, думаю, буди воля царя небесного! а я готов завсегда служить господам», ваше привосходительство. И как перед богом, так и перед вами потаить не могу, первые две недели все мои ребра палкой пересчитаны были; раз пять, может статься, кровянил меня; но я, по своему чувству, ваше привосходительство, не то что брал в обиду, а еще в удовольствие — значит, нас, дураков, уму-разуму учат; когда теперича мужик над тобой куражится и ломается, а от барина всегда снести могу.

«Экая подлая натурашка!» — подумал я и молчал.

— Теперича при разделке, когда дело это было, — продолжал опять Пузич, — генерал сейчас сделал мне отличнейшее угощенье и выкинул пятьдесят рублей серебром лишних. «На, говорит, тебе, Пузич, за то, что нраву моему, значит, угодил». И эти деньги мне, ваше высокопривосходительство, дороже капитала миллионного: значит, могу служить господам.

Я все молчал. Выждав немного, Пузич снова заговорил:

— А насчет вашей работы, я так полагаю, что мое особенное старание быть должно. Теперича, когда моя работа у вас пойдет, вы извольте лечь на ваш диванчик и поживать — больше того ничего сказать не могу.

Я взглянул на Семена: в лице его изображалась досада и презрение.

— Не дам больше ста, — сказал я решительно.

Пузич перенял свою шляпу из одной руки в другую.

— Этой цены, ваше высокородие, никому взять несообразно, — проговорил он и потом, постояв довольно долго, присовокупил, вздохнув: — прощенья, значит,

просим, — и стал молиться, и молился опять долго. — Только то выходит, что за пятнадцать верст сапоги понапрасну топтал, — пробунчал он.

— Эка, паря, что ты сапоги потоптал, так и дать тебе тысячу! — возразил Семен.

Пузич, ничего на это не возразив, повторил еще раз:

— Прощенья просим, ваше высокородие, — и пошел; Семен за ним; но я видел, что Пузич не уйдет и воротится, потому что шел он очень медленно по красному двору и все что-то толковал Семену. Через несколько минут они действительно опять воротились.

— Сто берет, — сказал Семен.

— Хоша три рублика серебром, ваше высокородие, набавьте: по крайности я на артель ведро вина куплю, — присовокупил Пузич с подло просительным выражением в лице.

— На артель, братец, я сам куплю ведро вина, а тебе копейки не прибавлю, — возразил я.

Пузич грустно покачал головой.

— Как нынче и на свете стало жить — не знаем, — начал он, — господа, выходит, пошли скупые, работы дешевые... Задаточку уж, ваше высокородие, извольте мне пожаловать, — прибавил он еще более просящим голосом.

— Сколько ж тебе?

— Двадцать пять рубликов серебром, — отвечал Пузич совершенно уж неестественным тоном.

Видимо, что он принадлежал к разряду тех людей, которые о деньгах покойно и без нервного раздражения не могут даже говорить. Я подал ему двадцать пять рублей; Семену это не понравилось.

— Что в задаток-то хватаешь? Не убежим от твоих денег! — сказал он Пузичу.

— Ах, Семен Яковлич, бог с тобой! Выходит, словно ты наших делов не знаешь, — проговорил тот, засовывая дрожащею рукою бумажку в кожаную кису, висевшую у него на шее.

— Ты сам, паря, свои дела лучше нашего знаешь, — отвечал Семен. — Теперь вот ты у нас работу берешь, а я тебе при барине говорю, чтоб опосля чего не вышло: ты там как знаешь, а чтоб на нашей работе Петруха был беспрерменно.

Пузич насмешливо улыбнулся.

— Петруха? — повторил он с усмешкою и обратился ко мне. — Когда я, ваше привосходительство, сам на работе, что же значит Петруха? Какое он звание может иметь, когда сам подрядчик тут, извините вы меня, Семен Яковлич, — отнесся он к Семену.

— Из наших ведь, брат, мужицких извинений не шубу шить, это что! — возразил в свою очередь Семен, — не на одной нашей работе, а и на всякой Петруху от тебя требуют — знаем тоже.

Пузич еще насмешливее покачал головою.

— Ежели теперича, чтоб барину сделать удовольствие, Семен Яковлич, мы о Петрухе не постоим, за Петруху нам стоять много нечего: артель моя большая.

— Артель твою, Пузич, и мы тоже знаем; я опять при барине говорю: окроме Петрухи, другой прочий може у тебя только с нынешнего Николы топор в руки взял, так уж с того спросить много нечего.

— А Петруха-то кто ж такой? — спросил я Семена.

— Уставщик; по всей артели парень надежный, — отвечал он.

— Кто про это говорит! мастер отличнейший, в лучшем виде значит. Ежели теперича, ваше привосходительство, с позволения так сказать, по нашим делам он человек, значит, больной, а мы держим его без пролежек, ваше привосходительство, жалование, значит, кладем ему сполна, — проговорил Пузич, но таким голосом, по тону которого ясно было видно, что похвала Петрухе была ему нож острый, и он ее поддерживал только по своим торговым расчетам.

При прощанье Пузич стал просить у меня полтинничка впридачу ему на чай. В полтиннике мне уж совестно было отказать — я ему дал, но Семен и против этого протестовал:

— Ну, паря, славная ты выжима! — проговорил он Пузичу, на что тот отвечал только вздохом.

III

Сделать ригу я задумал не столько по необходимости, сколько для развлечения. Помещики, обреченные на постоянную жизнь в деревне, очень хорошо знают, что стройка по деревне — благодать, самое живое развлече-

ние; точно должность получил, приличную своим способностям: каждое утро и сходишь посмотреть, потолкуешь; после обеда опять идешь посмотреть; вечером тоже.

Все это делал, конечно, и я.

Пузич пришел ко мне работать самчетвёрт: с молодым парнем, Матюшкой, толсторожим и глуповатым на лицо, с Сергеичем, стариком очень благообразным, который обратил особенно мое внимание на себя тем, что рубил какими-то маленькими и очень красивыми щепочками и говорил самым мягким тенором, и все всклад. Уставщик Петруха был мужик высокого роста, сухой, с строгим выражением в глазах и с ироническим складом в губах. Он говорил мало, но резко и насмешливо. Сам Пузич оказался на работе совершенная дрянь: он суетился, кричал, бранил, впрочем, одного только Матюшку, который принимал его брань с простодушной и глупой улыбкой.

— Всегда тебя так бранит подрядчик? — спросил я его.

— Завселды... дядюшка ведь он мне, завселды все лается, — отвечал он мне и засмеялся.

Над Сергеичем Пузич только важничал, но перед Петрухой — другое дело: тот его, видимо, уничтожал своею личностью и чувствовал, кажется, особое наслаждение топтать его в грязь по всем распоряжениям в работе. Достаточно было Пузичу выбрать какое-нибудь бревно и положить его на углы, для пригонки, как Петр подходил, осматривал и распоряжался, чтоб бревно это сбросили, а тащили другое.

— Что? аль неладно? — спрашивал при этом Пузич каким-то робким голосом; но Петр даже не удостоивал его ответом, молча размечал, и Пузич смиренно усаживался и начинал рубить по отметкам работника.

На другой или на третий день, как стали они у меня работать, я подошел и сел на бревне около Сергеича, на долю которого выпало тесать пол, и, следовательно, он работал вдали от прочих.

— Что, дедушка, стар бы ты по чужой стороне ходить, — заговорил я.

— Что делать-то, батюшка, — отвечал старик мягким голосом, — нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет — да! Хоть бы и мое дело, не молодой бы молодой,

а на седьмой десяток валит... Пора бы не бревна катать, а лыко драть да на печке лежать — да!

— Отчего это ты все вот всклад говоришь? — заметил я ему.

Сергеич усмехнулся.

— Измолоду, государь мой милостивый, — отвечал он, — такая уж моя речь; где и язык-то набил на то — не помню; с хороводов да с песен, видно, дело пошло; ну и тоже, грешным делом, дружничал по свадебкам.

— Дружкой ты был? — сказал я.

Старик самодовольно улыбнулся.

— Я был, може, из дружек дружка, а не то что просто дружка; меня ажно из Ярославля богатые мужички ссыгали дружничать у них на сыновних свадебках, по сту рублей мне за то платили; я был дорогой дружка — да! Ты вот, государь милостивый, в замечанье взял, что я речь всклад говорю; а кабы ты посмотрел еще меня на свадебном деле, так что твой колоколец под дугой али гусли многострунные!

— Как же у вас начинаются, например, эти сговоры? С чего? — спросил я.

— Сговоры, государь мой милостивый, — отвечал Сергеич, кажется, очень довольный моим вопросом, — начинаются, ежели дружка делом правит по порядку, как он сейчас в избу вошел, так с поклоном и говорит: «У вас, хозяин, есть товар, а у нас есть купец; товар ваш покажите, а купца нашего посмотрите...» Тут сейчас с ихниной, с невестиной стороны, свашка, по-нашему, невытая рубашка, и выводит девку из-за занавески, ставит супротив жениха; они, вестимо, тупятся, а им говорят, чтоб смотрелись да гляделись — да! Теперича невеста, значит, понравилась. Женихов дружка сейчас по имени чувствует хозяина в дому... Иван Иваныч, что ли: «Товар ваш, Иван Иваныч, показался, ум-разум расступился, пожалуйста шубу на стол, станем богу молиться и по рукам биться» — да! Девку опять за занавеску уводят: горе горевать, свой девичий век обвывать, а батька с маткой сядут за стол дочку пропивать, и пьянство тут, государь мой милостивый, у нас, дураков-мужиков, бывает шибкое; все, значит, от жениха идет; только, сердечный, повертывайся, не жалея денежек, приезжай, значит, припасенный.

— А дары когда ж дарятся между женихом и невестой? — перебил я.

— Дары тут же дарятся, — продолжал Сергеич, — как теперича, по молитве это рукобитье совершится, старички, выходит, по другому, по третьему стаканчику выпили, дружка сейчас и ведет жениха за занавеску, по началу молитву читает: «Господи, помилуй нас» — да! Тут женишок и спрашивает: «Красна девица, дайте знать, как вас звать?» Она — хоша Катерина Степановна; значит — «Катерина Степановна, извольте наши дары принять, да не прогневаться, примите мало, а сочтите за много». Невеста дары приемлет; тут они и целуются, впервые, значит, а другие, може, и больно не впервые, губы-то, може, до мозолей уж трепаны, особливо по нашей гулящей сторонке... Теперича и невеста в оборот жениху говорит: «Господи, помилуй нас. Добрый молодец, как вас звать?» Примерно, Николай Иванович; выходит — «Николай Иванович, извольте от меня дары принять, да не прогневаться, примите мало, а сочтите за много!» Отдаривается, значит — да!

— А как же невеста обвывает свой девичий век? — спросил я.

— Хорошо, сударь, обвывает, — отвечал Сергеич с каким-то умилением, — причитывает все к отцу, к матери такими речами: «Не лес к сырой земле клонится, добрые люди богу молятся. Стречай-ка ты, родимый батюшка, своих дорогих гостей, моих разлучников; сажай-ка за стол под окошечко свата-сватьяюшку, дружку-засыльничка ко светцу, ко присветничку; не сдавайся, родимый батюшка, на слова их на ласковые, на поклоны низкие, на стакан пива пьяного, на чару зеленà вина; не отдавай меня, родимый батюшка, из теплых рук в холодные, ко чужому к отцу, к матери» — да! приговоры хорошие идут. У нас ведь лучше, обряднее, чем у вас, у барь. Я вот тоже с улицы в окошко на господские свадьбы гляживал — что?.. ничего нет потешного; схватятся только за руки да ходят, а ничего разговоров нет.

— Это на сговорах; а на свадьбах, я думаю, еще больше приговоров бывает, — продолжал я спрашивать, видя, что Сергеич был в душе мастер по свадебному делу, и я убежден, что он некоторые приговоры сам был способен сочинять. Вопрос мой окончательно расшевелил старика; он откашлялся, обдернул бороду и стал уж на-

зывать меня, вместо «государь мой милостивый», «друг сердечный».

— В самую свадьбу, друг сердечный, — начал он, — приговоры большие ведутся. Теперича взять так примерно: женихов поезд въезжает в селенье; дружка сейчас, коли он ловкий, соскочит с саней и бежит к невестинной избе под окошко с таким приговором: «Стоят наши добрые кони во чистом поле, при пути, при дороженьке, под синими небесами, под чистыми под звездами, под черными облаками; нет ли у вас на дворе, сват и сватьяшка, местечка про наших коней?» Из избы им откликаются: «Милости просим; про ваших коней есть у нас много местов». Теперича по его команде поезд въезжает на двор, а он, государь мой милостивый, все впереди, никому вперед себя идти не дает. По сеням идет, молитву творит и себе приговор говорит: «Идет друженька лесенкой кленовою, мостиком калиновым, берется друженька за скобочку полужоную. Растворите, во имя отца и сына и святого духа, дверечки широкие: сам я, сватушка, двери на петле поведу, а без *аминя* не войду!» Тем, друг сердечный, что в свадебном деле ничего без молитвы начинать нельзя, весь поезд, значит, *аминя* и ждет — да! Как теперича им *аминь* из избы оголосили, дружка опять впереди всех. Первый его приговор, как в избу вошел: «Скок чрез порог, насилу ножки переволок!» Значит, чтоб с шутки начать, да и дело кончать — да! Второй приговор его: «Все люди смотрящие, все люди глядящие! покажите мне хозяина настоящего в дому». Третий его приговор: «Сватьяшка любезный, кто у вас в доме начал?» — «Начал у нас в доме спас, пресвятая богородица!» — отвечают ему. Четвертый приговор дружки значит: «Богу помолимся, на все четыре стороны поклонимся, сватьяшка любезный, в некоторые годы, в некоторые времена, ходили промеж нас старушонки, дела наши свашили, были промеж нас и сговоры! Теперича, значит, дело наше сужено, ряжено: к молодому нашему князю пожалуйста молодую княгиню, к большому барину большого барина, к меньшому барину меньшого, к тысяцкому тысяцкого, а ко мне, дураку-дружке, такого же дурака-дружку». Теперича сейчас невесту и выводит из-за занавески брат родной али там крестный. Дружка опять было первый идет, брату пива подносит, только на тот раз ему говорят — да: «Пришлите себя помоложе,

подороже и повежливее!» Значит, надо жениха посылать. Идет тот сначала с пустым пивом, без денег, значит, брат ему и говорит: «Кушайте сами; наша сестричка не дешевая: не по бору ходила, не шишки брала, а золотом шила; у нашей сестрички по тысяче косички, по рублю волосок» — значит, выкуп надобно делать, денег в пиво класть.

— А дружка что тут делает? — спросил я.

— Дружка промеж тем свое справляет, — отвечал Сергеич. — Тоже, грешным делом, бывало, попересохнет в горле-то, так нарочно и закашляешься: и кашляешь и кашляешь, а тут такой приговор и ведешь: «Сватыючки любезные, что-то в горле попершило, позакашлялось: нет ли у вас водицы испить, а коли воды нет, мы пьем и пивцо, а пивца нет, выпьем и винца!» Ну, и на другой хорошей свадьбе, где вином-то просто, тут же стакана гри в тебя вольют; так и считай теперь: сколько в целый день-то попадет. С другой, бывало, богатенькой свадебки, после друженья, приедешь домой, так целую неделю в баню ходишь — свадебную дурь паром выгонять. Хорошо дружке бывает, нечего сказать, больно хорошо.

— Хорошо-то, хорошо, да ведь и это дело не всякий справит: надобно тоже разум иметь, — заметил я.

— Еще какой разум-то, друг сердечный! Разум большой надо иметь, — отвечал Сергеич. — Вот тоже нынешние дружки, посмотришь, званье только носят... Хоть бы теперь приговор вести надо так, чтоб кажинное слово всяк в толк взял, а не то что на ветер языком проболтать. За пояс бы, кажись, в экие годы свои всех их закнул, — заключил он и начал тесать.

— А уж нынче разве ты не дружничаешь? — спросил я.

— Нет, государь мой милостивый, давно уж отстал; что-то с рожки-то цветен да румян, а глаза больно плохи. Вот и рубишь теперь все больше по памяти; кажинный год раза три сослепа-то обрубисься, а уж где дружничать: тут надо глаза быстрые, ноги прыткие!

— Ты семейный али одинокий?

— Какое, друг сердечный, одинокий! — возразил Сергеич: — Родом-то, видно, из кустовой ржи. Было-боло в избе всякого колосья — и мужиков и девья: пятерых дочек одних возвел, да чужой человек пеня копать увел,

в замужества, значит, роздал — да! Двух было сыновьев возрастил, да и тем что-то мало себе угодил. За грехи наши, видно, бог нас наказывает. Иов праведный был, да и на того бог посылал испытанье; а нам, окаянным, еще мало, что по ребрам попало — да!

— А сыновья где ж у тебя?

— Сыновья, друг сердечный, старший, волей божьею на Низу холеркой помер, а другого больно уж любил да ласкал, в чужие люди не пускал, думал, в старые наши годы будут от него подмоги, а выходит, видно, так, что человек на батькиных с маткой пирогах хуже растет, чем на чужих кулаках — да!

— Где ж он? Спился, что ли?

— Я уж и сказать тебе не знаю как, в кою сторону он дурак; недолго бы, кажись, пил, да много в кабаке отвалил. Добросовестным он, государь мой милостивый, при конторе нашей был, и послали его, где греху-то быть, с мирскими деньгами в город; уехать-то уехал в поддевке, а отшель привели на веревке — да! Все денежки, двести с хвостиком, и ухнул там; добрые люди, спасибо, подсобили — да! Он-то благовал, а батька в ответ попал: мирские рублики, батюшка, не простят. На сходке такое положенье сделали, что али бы я деньги за него клал, али бы его, разбойника, на поселенье сдал — да! Не стерпел я этого: детки-то к нам сердцами не падки, а они нам — худы ли, добры — всё сладки. Делать неча, пошел к Пузичу, стал ему в ноги кланяться...

— А разве Пузич у вас деньги в рост отдаст?

— Нешто, нешто, сударь, одождает кой-кого на знати, — отвечал старик вздохнув, — исстара еще у них в дому это заведеенье идет: деды его еще этим промышляли.

— Помилуй! сам Пузич дурак какой-то, болтушка! — заметил я.

Сергеич усмехнулся.

— Да, то-то вот, что-то разумом мелок, да как сердцем-то крепок, так и богаче нас с тобой, государь милостивый, живет. Гривной одолжит, а рубль сорвать поровит; мало бога знает, неча похвалить, татарский род проклятый, что-то крещеные! Хоша бы и мое дело: тем временем слова не сказал — дал, только в конторе за явил, а теперь и держит словно в кабале; стар не стар,

а все в эту пору рубль серебра стою, а он на круг два с полтиной кладет.

— Ну, а прочие как же живут у него? — спросил я.

— А что, государь мой милостивый, прямо тебе скажу: вся артель у нас на одном порядке, — отвечал старик тихо. — Все в кабале у него состоим. Вон хоть бы этот Матюшка, дурашный, дурашный парень, а все бы в неделю не рублем ассигнациями надо ценить.

— Неужели же он рубль ассигнациями только кладет ему в неделю? — воскликнул я.

— Али больше! — отвечал Сергеич. — Он тоже пригульный: девка по лесу шла да его нашла, бобылка согрешила — землицы, значит, и не было у них, хлебцем-то и бились... Ну, Пузич и делал им это одолжение: давал на пропитание, а теперь и рассчитывает как надо: парень круглый год калачика не уболит съись; лапоток новых не на что купить, а все денег нет — да! Каковы наши богатые-то мужички, а наш-то уж, пожалуй, изо всех хват, черту брат.

— Ну, а этот Петр, уставщик, верно, на особом у Пузича положении нанят, по настоящей ряде?

— А какое, сударь, по настоящей ряде! Тоже в кабале, еще больше нашего. Триста рублей ему должным состоял, от родителя тоже поотделился, а тут, где бы разживаться, в болеть впал, словно бы года два хворал, а уж это до кого ни доведись: хозяин лежит, нужду в доме творит.

— Отчего ж Пузич трусит его, кажется?

— Ну да, батюшка, по работе-то нужный ему человек: что бы он без него? — как без рук, сам видишь! А еще и то... после болести, что ли, с ним это сделалось, сердцем-то Петруха неугож, гневен, значит. Теперича, что маленько Пузич делает не по нем, он сейчас ему и влепит: «Ты, баэт, меня в грех не вводи; у меня твоей голове давно место в лесу приискано».

— Неужели же он это вправду говорит? — спросил я.

Сергеич засмеялся.

— Нету, сударь, какое, кажись, вправду! — отвечал он. — Мужик богобоязливый, сделает ли экое дело! Сердце только срывает, страшает. Ну, а Пузич тоже плутоват-плутоват, а ведь заячьего разуму человек: на

ружье глядит, а от воробья бежит, и боится этого самого, не прекословствует ему много.

Петр стал меня очень интересовать, и я хотел было о нем поподробнее расспросить Сергеича, но в это время подошел Пузич и начал нести какую-то чушь о работе, и я, чтоб отделаться от него, ушел в комнаты.

IV

Когда срубы были срублены, Пузич, к большому моему удовольствию, отправился на другую какую-то работу. В тот же день Семен подошел ко мне.

— Винца-то ребятам обещали; прикажите хоть штофчик им выставить — и будет с них! — проговорил он.

— Хорошо, — сказал я, — что ж ты мне давно не напомнишь? Я было и забыл.

— Пережидал, чтоб собака эта куда-нибудь убежала, а то ведь рыло свое тут же стал бы мочить, — отвечал Семен, подразумевая, конечно, под собакой Пузича.

— Когда ж им дать? — спросил я.

— Да вот хоть уже вечером, как отшабашат.

— Хорошо... Зайди ты перед тем в горницу за вином, и я выйду к ним, — сказал я.

— Слушаю-с, — отвечал Семен и неторопливо пошел к своему делу.

Вечером я действительно в сопровождении Семена, вооруженного штофом и несколькими ломтями хлеба, вышел к плотникам. Они, вероятно уж предуведомленные, сидели на бревнах. При моем приходе Сергеич и Матюшка привстали было и сняли шапки.

— Сидите, братцы; винца я вам принес, выпейте, — сказал я, садясь около них тоже на бревно.

Петр, сидевший потупившись, откашлялся.

— Благодарствуй, государь наш милостивый, благодарствуй, — проговорил Сергеич.

Матюшка глупо улыбнулся. Я велел подать первому Петру. Он выпил, откашлялся опять и проговорил:

— Вот кабы этим лекарством почаще во рту полоскать, словно здоровее был бы.

— Будто? — спросил я.

— Право, славно бы так; мужику вино, что мельнице деготь: смазал и ходчей на ходу пошел, — отвечал Петр.

— Вино сердце веселит, вино разум творит, — при-
совокупил Сергеич, беря дрожащими руками стакан.

Матюшка, выпив, только стал облизываться, как те-
ленок, которому на морду посыпали соли.

Из принесенного Семеном хлеба Сергеич взял ло-
моть, аккуратно посолил его и начал жевать небольшим
числом оставшихся зубов.

Матюшка захватил два сукроя, почти в два приема
забил их в рот и стал, как говорится, уплетать за обе
щеки. Петр не брал.

— Что ты, и не закусываешь? — сказал я ему.

— Нет, не закусываю. Мы ведь не чайники, а водоч-
ники: пососал язык — и баста! — отвечал он и опять за-
кашлялся, а потом обратился ко мне:

— Я, барин, батьку еще твоего знал: старик был важ-
ный.

— Важный?

— Важный; лучше тебя.

— Чем же лучше? — спросил я.

— Да словно бы умней тебя был, — отвечал без це-
ремонии Петр.

— Почему ж он умней меня был?

— А потому он умней тебя был, что уж он бы, брат,
Пузичу за немшоные стены не дал ста серебром — ша-
лишь! Денег, видно, у тебя благих много.

— То-то и есть, что не много, а мало, — сказал я.

— И денег-то мало. Ну, брат, видно, ты взаправду
не больно умен, — подхватил Петр.

Выпитый стакан водки очень, кажется, подействовал
на его разговорчивость.

Матюшка при этом засмеялся. Сергеич покачал го-
ловой.

— Ты по городам ведь больше финтил, — продолжал
Петр, — и батькиным денежкам, чай, глаза протер. Как
бы старика теперь поднять, он бы задал перцу и тебе и
приказчику твоему Семену Яковличу. Что, черномазое
рыло, водки-то не подносишь? али не любо, что против
шерсти глажу? — обратился он к Семену.

Тот поднес ему водки и проговорил:

— Эко мелево ты, Петруха! — но совсем не тем то-
ном, каким он говорил Пузичу.

— То-то мелево. Свернули вы, ребята, с барином до-
мок, нечего сказать. Прежде, бывало, при старике: хлеба

нет, куда ехать позаимствоваться? В Раменье... А нынче, посмотришь, кто в Карцове хлеба покупает? все раменский Семен Яковлич.

— Божья воля; колькой год все неурожаи да червь побивает, — заметил Семен; но Петр как бы не слышал этого и продолжал, обращаясь к Сергеичу:

— Прежде, бывало, в Вонышеве работаешь, еще в воскресенье во втором уповоде мужики почнут собираться. «Куда, ребята?» — спросишь. «На заделье». — «Да что рано?» — «Лучше за-время, а то барин забранится»... А нынче, голова, в понедельник, после завтрака, только еще запрягать начнут. «Что, плуты, поздно едете?» — «Успеем-ста. Семен Яковлич простит».

Семена начинало за живое, наконец, трогать.

— Что, паря, больно уж конфузишь, и еще перед баарином? — проговорил он.

Петр сначала засмеялся, потом закашлялся.

— Что мне тебя, голубчик, конфузить? — начал он, едва отдыхая от кашля, — не за что! Ты ведь выдался не из плутов, а только из дураков.

Семен махнул рукой. Мне стало уж жаль его.

— Я, напротив, очень доволен Семеном; мне такого смиренного и доброго приказчика и надо, — сказал я.

Петр посмотрел мне в лицо.

— У тебя какой чин-то, большой али нет? — спросил он вдруг.

— Титулярный советник — капитан, значит, — отвечал я.

— Не чиновен же ты, брат! Вон у нас барин, так генерал; а ты, видно, и служить-то не охоч. Барыню-то в замужество хошь богатую ли взял?

— Нет, не богатую, а по сердцу.

— По сердцу, ну да! — возразил Петр. — Пропашее твое дело, как я посмотрю на тебя! А ты бы дослужился до больших чинов, невесту бы взял богатую, в вотчину бы свою приехал в карете осьмериком, усадьбу бы сейчас всю каменную выстроил, дурака бы Сеньку своего в лисью шубу нарядил.

— Это кому как бог даст. Ты вот и сам не богат, — сказал я.

— Что тебе примеры-то с меня брать? А, пожалуй, выходит, что и взаправду в меня пошел: такой же дурашный! — отрезал начисто Петр.

— Больно уж смело, Петр Алексеич, говоришь! — заметил Сергеич, опасавшийся, кажется, чтоб я не обиделся.

— Что смело-то? Али, по-твоему, лиса бесхвостая, лясы да балясы гладкие точить? — отвечал ему Петр и отнесся ко мне, показывая на Сергеича. — Ведь прелукавый старичишко, кто его знает: еще по сю пору за девками бегаёт, уговорит да умаслит ловчей молодого.

Сергеич слегка покраснел.

— Полно, друг сердечный! — возразил он. — Что тебе на меня воротить, лучше об себе открыть; теперь-то на седьмую версту нос вытянул, а молодым тоже помним: высокий да пригожий, только девкам и угожий.

При этих словах, неизвестно почему, Матюшка вдруг засмеялся. Петр на него посмотрел.

— Ты чему, дурак, смеешься? Али знаешь, как девки любят? — спросил он.

— Нету, дяденька, я этого не знаю, нетути, — отвечал тот простодушно.

— И ладно, что нету; дуракова рода, говорят, нынче разводиться не приказано. Пузичев сынишко последний в племя пущен, — проговорил Петр и потом прибавил, как бы сам с собою — было, видно, и наше времечко; бывало, можно так, что молодичицы в Семеновском-лапотном на базаре из-за Петрушки шлыками дирались — подопьют тоже.

— Из-за кости с мозгом, Петр Алексеич, и собаки грызутся... Хорошую ягоду издалище ходят брать, — сказал Сергеич.

— Стало быть, ты смолоду, Петр, волокита был? — спросил я его.

Он усмехнулся.

— Волокитствовал, сударь, — отвечал за него Сергеич, — сторонка наша, государь мой милостивый, не против здешних мест: веселая, гулливая; девки толстые, из себя пригожие, нарядные; Петр Алексеич поначалу в неге жил, молвить так: на пиве родился, на лепешках поднялся — да!

— В Дьякове, голова, была у меня главная притона, слышь, — начал Петр, — день-то деньской, вестимо, на работе, так ночью, братец ты мой, по этой хрюминской пустыне и лупишь. Теперь, голова, днем идешь, так боишься, чтобы на зверя не наскочить, а втепору ни страху, ни устали!

— Значит, сердцем шел, а не ногами, — заметил Сергеич.

— Какое тут к ляду сердцем! — возразил Петр. — Я на это был крепок, особой привязки у меня никогда не было, а так, баловство, вон как и у Сеньки же.

— Что тебя Сенька-то трогает? Все бы тебе Сеньку задеть! — отозвался Семен.

— Ты молчи лучше, клинья борода, не серди меня, а не то сейчас обличу, — сказал ему Петр.

— Не в чем, брат, меня обличать, — проговорил коротко, но не совсем спокойно Семен.

— Не в чем? А ну-ка, сказывай, как молодым бабам десятины меряешь? Что? Потупился? Сам ведь я своими глазами видел: как, голова, молодой бабе мерять десятину, все колов на двадцать, на тридцать простит, а она и помни это: получка после будет!

Семен не вытерпел и плюнул.

— Тьфу, греховодник! Мели больше! — проговорил он.

— Ты не плюйся, а водку-то поднеси, — сказал Петр.

— Мёлево, мёлево и есть, — говорил Семен, поднося водку.

Петр, выпив, опять надолго закашлялся каким-то глухим, желудочным кашлем.

— Вели подносчику-то своему выпить: у него давно слюнки текут, — обратился он ко мне, едва отдыхая от кашля, и замечанием этим сконфузил и меня и Семена.

— Выпей, Семен; что ж ты сам не пьешь? — поспешил я сказать.

— Слушаю-с, — отвечал растерявшийся Семен, налил себе через край стакан и выпил. — Я теперь пойду и отнесу штоф в горницу, — прибавил он.

— Ступай, — сказал я.

Семен ушел. Он, кажется, нарочно поспешил уйти, чтоб избавиться от колких намеков Петра; тот посмотрел ему вслед с насмешкою и обратился ко мне:

— Ты, барин, взаправду не осердись, что я просто с тобой говорю; коли хочешь, так я и отстану.

— Напротив, я очень люблю, когда со мной говорят просто.

— Это ведь уж мы с этим старым девушником, Сергеичем, давно смекнули.

— Смекнули? — спросил я.

— Смекнули, — отвечал Петр. — Ты не смотри, что мы с ним в лаптях ходим, а ведь на три аршина в землю видим. Коли ты не сердишься, что с тобой просто говорят, я, пожалуй, тебя прощу и на ухо тебе скажу: ты не дурашный, а умный — слышь? А все, братец ты мой, управляющему своему, Сеньке, скажи от меня, чтоб он палку-понукалку не на полатях держал, а и на полосу временем выносил: наш брат, мужик — плут! Как узнает, что в передке плети нет, так мало, что не повезет, да тебя еще оседлает. Я это тебе говорю, сочти хоть так, за вино твое! Скажем по мужике, да надо сказать и по барине.

— За совет твой спасибо, — сказал я, — только сам вот ты отчего все кашляешь?

— Болен я, братец ты мой.

— Чем же?

— Нутром, порченный я, — отвечал Петр, и лицо его мгновенно приняло, вместо насмешливого, какое-то мрачное выражение.

— Кто ж это тебя испортил? — спросил я.

Петр молчал.

— Кто его испортил? — отнесся я к Сергеичу.

— Не знаю, государь милостивый; его дела! — отвечал уклончиво старик.

— Не знает, седая крыса, словно и взаправду не знает, — отозвался Петр.

— Знать-то, друг сердечный, може, и знаем, да только то, что много переговоришь, так тебе, пожалуй, не угодишь, — отвечал осторожный Сергеич, который, кажется, чувствовал к Петру, если не страх, то по крайней мере заметное уважение.

— Что не угодить-то? Не на дорогу ходил! — сказал Петр и задумался.

— Что такое с ним случилось? — спросил я Сергеича.

— По дому тоже, государь милостивый, вышло, — отвечал опять не прямо старик. — Мы ведь, батьки-мужики, — дураки, мотунов да шатунов деток, как и я же грешный, жалеем, а коли парень хорош, так и давай нам всего: и денег в дом высылай, и хозяйку приведи работающую и богатую, чтоб было батьке где по праздникам гостить да вино пить.

— В моем, голова, деле батька ничего, — возразил Петр, — все от Федоски идет. В самую еще мою свадьбу за красным столом в обиду вошла...

— Что ж так неуютно ей было? — спросил Сергеич.

— Неуютно ей, братец ты мой, показалось, что наливкой не угощали; для дедушки Сидора старухи была, слышь, наливка куплена, так зачем вот ей уваженья не сделали и наливкой тоже не потчевали, — отвечал Петр. (В лице его уж и тени не оставалось веселости.)

Сергеич покачал головой.

— Кто такая эта Федосья? — спросил я.

— Мачеха наша, — отвечал Петр и продолжал: — стола-то, голова, не досидела, выскочила; батька, слышь, унимает, просит: ничего не властвует — выбежала, знаешь, на двор, сама лошадь заложила и удрала; иди, батька, значит, пешком, коли ей не угодили. Смехоты, голова, да и только втепоры было!

Сергеич опять покачал головой.

— Командирша была, друг сердечный, над стариком; слышали мы это и видывали.

— Командирша такая, голова, была, что синя пороха без ее воли в доме не едувалось. Бывало, голова, не то, что уж хозяйка моя, приведенная в дом, а девки-сестры придут иной раз из лесу, голодные, не смеют ведь, братец ты мой, без спросу у ней в лукошко сходить да конец пирога отрезать; все батьке в уши, а тот сейчас и оговорит: так из куска-то хлеба, голова, принимать кому это складно?

— Злая баба в дому хуже черта в лесу — да: от того хоть молитвой да крестом отойдешь, а эту и пестом не отобьешь, — проговорил Сергеич и потом, вздохнув, прибавил: — ваша Федосья Ивановна, друг сердечной Петр Алексич, у сердца у меня лежит. Сережка мой, може, из-за нее и погибает. Много народу видело, как она в Галиче с ним в харчевне деньгами руководствовала.

Петр махнул рукой.

— Говорить-то только неохота, — пробунчал он про себя.

— Да, то-то, — продолжал Сергеич, — было ли там у них что — не ведаю, а болтовни про нее тоже много шло. Вот и твое дело: за красным столом в обиду вошло, а може, не с наливки сердце ее надрывалось, а жаль было твоего холоства и свободушки — да!

Петр еще больше нахмурился.

— Пес ее, голова, знает! А пожалуй, на то смахивало, — отвечал он и замолчал; потом, как бы припомнив, продолжал: — раз, братец ты мой, о казанской это было дело, поехала она праздничать в Суровцово, нарядилась, голова, знаешь, что купчиха твоя другая; жеребенок у нас тогда был, выкормок, конь богатый; коня этого для ней заложили; батька сам не поехал и меня, значит, в кучера присудил.

— А у кого в Суровцове-то гостились? — перебил Сергеич.

— Гости, голова, у нас в Суровцове были хорошие: у Лизаветы Михайловны, коли знавал, — отвечал Петр.

— Знавал, друг сердечный, знавал: гости наипервые, — сказал Сергеич.

— Гости важные, — подтвердил Петр и продолжал: — все, голова, наша Федосья весело праздничала; беседы тоже повечеру; тут, братец ты мой, дворовые ребята из Зеленцына наехали; она, слышь, с теми шутит, балует, жгутом лупмя их лупит; другой, сердечный, только выгибается, да еще в стыд их вводит, голова: купите, говорит, девушкам пряников; какие вы парни, коли у вас денег на пряники не хватает!

— Какая! пряников просит! — проговорил Матюшка.

— Бойкая была женщина, смелая! — заметил Сергеич.

— Поехали мы с ней, таким делом, уж на четвертый день поутру, — продолжал Петр, подперши голову обеими руками и заметно увлеченный своими воспоминаниями, — на дороге, известно, похмелились маненько; только Федоска моя не песни поет, а сидит пригорюнившись. Ладно! Едем мы с ней таким делом, путем-дорогою... вдруг, голова, она схватила меня за руку и почала ее жать, крепко сжала. «Петрушка! говорит, поцалуй меня!» — «Полно, говорю, мамонька, что за цалованье!» — «Ну, Петрушка, — говорит она мне на это, — кабы я была не за твоим батькой, я бы замуж за тебя пошла!» Я, знаешь, голова, и рассмеялся. «Что, пес, говорит, смеешься? А то, дурак, може, не знаешь, что хоша бы родная мать у тебя была, так бы тебя не любила, как я тебя люблю!» — «На том, говорю, мамонька, покорно благодарю». — «Ну, говорит, Петруша, никому, говорит, николи не говорила, а тебе скажу: твой

старый батька заедает мой молодой век!» — «Это, мамонька, говорю, старуха надвое сказала, кто у вас чей век заедает!» — «Да, говорит, ладно, рассказывай! Нынче, говорит, батька тебя женить собирается; ты, говорит, не женись, лучше в солдаты ступай, а не женись!» — «Что же, говорю, мамонька, я такой за обсевок в поле?» — «Так, говорит, против тебя здесь девки нет, да и я твоей хозяйки любить не стану». — «За что же, говорю, твоя нелюбовь будет?» — «А за то, говорит, что не люблю баб, у которых мужья молодые и хорошие».

— Ты, однако, женился? — перебил я Петра.

— На; али испугаться и не жениться? — возразил он.

— По любви или нет?

— Почем я знаю, по любви али так. Нашел у нас, мужиков, любовь! Какая на роду написана была, на той, значит, и женился! — отвечал уж с некоторым неудовольствием Петр.

Сергеич подмигнул мне.

— Не сказывает, сударь, а дело так шло, что на улице взглянулись, на поседках посиделись, а домой разошлись — стали жалость друг к дружке иметь.

— Что за особливая жалость, голова, а известно, девку брал зазнаемо: высмотренную, — отвечал Петр еще с большей досадой.

Русский мужик не любит признаваться в нежных чувствах.

— А мачеха действительно не любила жены твоей? — спросил я его.

— Нет, не любила, — отвечал он мне коротко и обратился более к Сергеичу. — Тут тоже, голова, как и судить: хоть бы бабе моей супротив девок первые годы житье было не в пример лучше, только то, братец ты мой, что все она мне ее подводила! Вот тоже этак, в отлучке, когда на работе: «Рубашек, говорит, тебе не послала, поклону не приказывала», и кажинный, голова, раз, как с работы воротиться, кажинный раз так делает, что я Катюшку либо прибраню, либо и зуботычину дам. Та, братец ты мой, терпела, терпела да и стала говорить: «За что ты, говорит, меня тиранить? Это, говорит, оттого, что у тебя полюбовница есть». — «Какая, говорю, полюбовница?» — «Бочариха», говорит. Ну и тоже греха не утаишь: в парнях с Бочарихой гулял, только то, что года два почесть ее и в глаза уж не

видал. — «Кто это тебе, говорю, сказывал?» Сначала, голова, не открывала, а тут говорит: matka сказывала, слышь!

— Так, так, сомущали, значит, — подтвердил Сергеич.

— Еще как, голова, сомущали-то, — продолжал Петр. — Вышла мне такая оказия, братец, в Кострому идти работать — ладно. Только перед самым моим этим отходом, Федоска такую штуку подвела, слышь: сложила, уж будто бы Катюшку с извозчиком Гришкой — знавал, може? — что будто бы, братец ты мой, Катюшка бегала без меня к матке на праздник; весь народ по улице гулял, а они с Гришкой ушли в лес по черницу. Дело-то, знаешь, на отходе было, выпивши; я на Катюшку и взъелся, а она стала сглупа-то браниться: пошто пью. Я и прибил ее, и шибко прибил. Что же, голова, опосля узнал? Катюшка, слышь, и на праздник к матке не ходила. Стало мне ее, голова, хошь бы и жалко. Как пришел втепору в Кострому, сейчас купил ей ситцу на сарафан, два плата, босовики и послал с ходоком. И ты, братец ты мой! и пошла у них из-за этого пановшина: девки позавидовали, обозлились на Катюшку, matka тоже пуще всех, и к батьке с жалобой. «Вот, говорит, он какой: ни мне, ни девкам твоим по наперстничку не присылывал, а все в женин сундук валит». Батька, известно, осерчал, говорит Катюшке: «Поди принеси наряды, что муж прислал». Ну, та, голова, молода еще была, глупа, нарядиться тоже охота, взяла будто пошла за нарядами, да к матке и убежала, там их и спрятала, а сама домой и нейдет: боится. Батька, однако, оттель ее ссягнул и бить прибирается: давай, да и только, наряды! И отняли таким манером: matka взяла себе босовики и сарафан, а девки по плату разделили.

— Как же батька мог взять твои подарки у жены? — спросил я Петра.

Он посмотрел на меня, как бы удивясь моему вопросу.

— Заведенье у нас, государь мой милостивый, по крестьянству такое, — отвечал за него Сергеич. — Ежели теперича мужичок хозяйке что посылает, так и дому всему должен послать. Коли, примерно, бабе сарафан, так матке шаль, а сестрам по плату, али сережки. Это уж нельзя: непорядок, значит, будет, коли теперича про-

мышленник в доме стал только супружницу обряжать да наряжать; а другим бы, хоть бы девкам али матке, где взять? За косулей да за коровами ходючи, немного нарядишься. Хоть бы и Петр Алексеич по сердцам это сделал.

— Вестимо, что по сердцам, — отозвался Петр. — Втепоры, как воротился, Катюшка тоже все мне это говорит; я так, братец ты мой, и положил: плюнуть, отступиться; только то вижу, голова, что бабенке, ни за што, ни про што житья нет: на работе мором морят, а по-ихнему все спит, делает все не так, да неладно — дура да затрапезница, больше и клички нет. Наложили, братец ты мой, тем временем у нас в вотчине бревен по полсотне с тягла — ладно. Батька, известно, присудил, чтоб это справил я; а чтоб, примерно, не медлить делом, сваливши бревно, сучья обрубить и подсобить его навалить на колеса — шла бы в лес Катька моя. Бабенка той порой была, голова, на сносе. Я батьке и говорю: «Как, я говорю, батька, тяжелой бабе с бревнами возиться? Ну как, я говорю, надорвется, да какой грех выйдет?» — «Что-ста, говорит, али мне из-за вас околевать в лесу?» — «Я, говорю, батька, сам собой этого дела не обещаю; а что теперича для спорыньи, пожалуйста, пошли хоть старшую сестру со мной, а хозяйку мою побереги; я, говорю, заслужу вам за это». Батька ничего, голова, пробунчал только маненько, а Федоска и слезает с голбца: «Наши девки, говорит, про вас не работницы, вы-ста, говорит, с твоей толсторожей хозяйкой только даром хлеб едите!» — «Как, я говорю, matka, мы даром хлеб едим? За что, про что ты нас этим попрекаешь? Я со всего дома подушную оплатил, за себя оброк предоставил; теперь, говорю, за батьку и задельничаю; а хоша бы и хозяйка моя за тебя же круглый год на заделье бегала; как же, я говорю, так: мы у вас даром хлеб едим?» Заругалась, заплевалась, голова, и все на Катьку больше: «Ты, говорит, мужа сомущаешь, а он того не знает, что ты и то и се, с тем и другим», — выходит, Катька гуляет! Ну та, братец ты мой, на всю избу этак срамит, заплакала. «За что, говорит, мамонька, ты против хозяина так меня губишь?» Я тоже, братец, не стерпел. «Что ж, я говорю, Федосья, — и выругал ее — согрешил грешный, — долго ли, выходит, мы должны от тебя обиды принимать? Вы, я говорю, у хозяйки моей, словно разбойники

какие, все наряды обобрали, морите бабу на работе, куска ей не уболите съесть, как надо, да еще поносишь этакими словами, а по правде, може быть, не Катька моя, а ты сама такая!» И ты, братец ты мой! И батька поднялся, будто за наряды, что о нарядах помянул, и драться, голова, лезет. Я, повинным делом, руки-то ма-ленько ему и попридержал; еще пуще старик обозлился, сгреб, голова, меня за шивороток и прямо к бурмистру в сборную сташил. Так и так, сын буянствует. Тот мне сейчас плюхи две дал и приказывает, чтоб я батьке в ноги поклонился. Я в ноги поклониться — поклонился, да бурмистру и говорю: «Батьке, говорю, Иван Васильич, я завсегда покорствую; а что теперича мы все пропадаем из-за мачехи; хозяйка моя на работе измаяна, словом обругана. Може, вы теперь мне доверья не сделаете, так извольте, говорю, наших девок, сестер моих, спросить: пускай они перед образом скажут, что они от нее понесли да потерпели...» Ну, так ведь тоже нашего Ивана Васильича помнишь, чай: немного было правды...

— Правда его была, кто больше чаем поит да денег носит, — заметил Сергеич.

Петр кивнул в знак согласия головой и продолжал:

— Закричал на меня, голова: «Цыц! молви еще слово против батьки — выхлещу» — и вон выгнал... Ладно рас-судил... Что мы, голова, опосля того с хозяйкой притер-пели — и боже ты мой! Батька не глядит, не смотрит; в большой избе, видишь, тесно от нас стало, поселили в коровью, без полу, без лавок, вместе с телятами. Коли мы теперь с бабой что-нибудь на работе позамешкаемся, сейчас, голова, без нас, совьют, соберут и отобедают; коли щей там останется, так Федоска в лоханку выльет, чтоб только нам не доставалось, — до чего эхидствова-ла!.. — Проговоря это, Петр вздохнул, а потом, помол-чав, продолжал: — Кабы не это дело, пошто бы мне с батькой делиться, на грехи эти идти? Старика оборвал и себя надорвал!

— Как, друг сердечный, не надорвать! — возразил Сергеич, — недаром поговорка идет: «Враг захотел — братья в раздел!» Хотели, значит, миллионы нажить, а стали по миру ходить... Помню я суды-то ваши с ро-дителем перед барином, как еще смелости вашей хва-тило идти до него по экому делу?

Петр отвечал на это только вздохом.

— Что ж, разве у вас барин строгий? — сказал я.

— Нет, государь милостивый, — отвечал Сергенч, — строгости особливой нет, а известно, что... дело барское, до делов наших, крестьянских, доподлинно не доходил; не все ведь такие господа, как твой покойной папенька был: с тем, бывало, говоришь словно со своим братом — все до последней нитки по крестьянству знал; ну, а наш барин в усадьбу тоже наезжает временно, а мужики наши — глупой ведь, батюшка, народец, и полезут к нему со всякими нуждами, правыми и неправыми, так тоже в какой час попадут; в иной все смирно да ласково выслушает, а в другой, пожалуй, еле и ноги уплетут — да!

— Горяч уж больно, кричать такой здоровый... — заметил Петр. — До барина бы, кажись, тем делом я прямо и не пошел, прах все возьми: где тут с ним разговаривать! Да он с молодой барыней тем летом приехал... меня заставили тут с другим парнем в саду забор новый делать. Она, голова, по саду гуляет, к нам подходит, разговаривает. «Есть ли, говорит, у тебя жена?» — спрашивает меня, слышь. «Есть, говорю, барыня». — «Любишь ли ты, говорит, ее?» — «За что, говорю, не любить! Не чужая, а своя, только, говорю, барыня, хоть бы ты за нас заступилась, а то нам с хозяйкой от стариков в дому житья нет; теперь, говорю, у бабенки моей малый грудной ребенок, грудью покормить почесть что и некогда: все на работе, а молока не дают; одна толконная соска, и та еще коли не коли в рот попадет». — «Ах, говорит, как же это, маленькому нет молочка! Папаша! Папаша!» — кричит, голова, барина, мужа, батюшкой обзывает, слышь!

— Обзывала, обзывала, и я слышал, — подтвердил Сергенч.

— Мужа батькой кличет! — отозвался Матюшка и засмеялся.

— Барин, голова, подходит, — продолжал Петр. «Ах, говорит, душечка, папашечка; вон у этого мужичка маленький ребенок: у них нет молочка; вели ему сейчас дать от меня корову, пожалуйста».

— У ней у самой, друг сердечный, маленький барчик был: ну, так она, значит, по себе и прикидывала, жалела, — заметил Сергенч.

— Не знаю, к чему уж она прикидывала, — отвечал Петр и снова продолжал: — Барин, голова, крикнул, знаешь, на меня по-своему. «Как, говорит, у тебя коровы нет? Пропил, каналья!» — «Никак нет-с, говорю; дом у нас заправной. Из-за мачехи мы пропадаем; в раздел бы нам, говорю, охота, а то батька в раздел не пускает и при доме не держит, как надо». Он маненько и смяк. «Хорошо, говорит, приходите ко мне завтра с отцом: я вас разберу». Я, голова, пришел домой, говорю батьке: «К барину, говорю, батька, нас с тобой завтра требует». — «Пошто? — говорит; слышь, испугался старик. — Жаловался, что ли, ты, разбойник, на меня?» — «Нет, говорю, батька, что жаловаться! в отдел только просился: у тебя семья своя, у меня своя, что нам на грехе жить!» Батька и заплакал, слышь; ну, старый уж человек был, известно! «Бог с тобой, говорит, Петруша, поил-кормил я тебя, а ты, говорит, теперь, я старый да хворый, хошь меня покинуть». Мне стало жаль его, голова. «Что, говорю, тятенька, кидать мне тебя, кабы не твоя Федосья Ивановна». — «Полно, говорит, Петрушка, поживи со мной, все будет хорошо». Так мы и порешили, голова, на том. Только наутро, братец ты мой, старик уж другое порет. «Мне-ста, говорит, тебя, супротивника, не надо; ступай от нас вон; пойдем к барину». — «Пойдем», говорю. Пошли. Приходим. Барин, должно, голова, стороной слышал что-нибудь: на меня этак посмотрел — ничего, а на батьку взмахнул глазами. «Говорите!» — говорит. Стали мы говорить; плели, плели, братец ты мой, всех и куриц-то припутали, я-то еще говорю словно бы как и дело, а батька и понес, голова, на меня: и пьяница-то я, и вор, и мошенник. Я ему и говорю: «Не грех ли, говорю, батька, тебе это говорить?» Барин тоже слушал, слушал нас, да как крикнет на батьку: «Ах ты, говорит, старый хрен, с седой бородой, взял молодую жену да детей всех на нее и променял! Сейчас, говорит, старая лисица, плут, отделить парня, а с твоей супружницей я еще переведаюсь. Я ей дам кутить да мутить в семье!» И пошел, голова!.. Тут лакей подвернулся — на того; барыня пришла: «Что ты, говорит, душечка, сердисься и себя не бережешь!» — и на ту затопал. Мы с батькой уж ничему и не рады, драло из горницы, и до избы еще, голова, не дошли, смотрим: два дворовые парня нашу Федосью Ивановну ведут под ручки...

Сергеич засмеялся.

— Ступай, значит, Варвара, на расправу: так ее, бестию, и надо, — проговорил он.

— Воротилась, голова, домой и прямо на печку, — продолжал Петр, — ничего уж и не говорит, только прохивает. Смех и горе, братец ты мой!

Сергеич продолжал улыбаться.

— А что, я словно забыл, миром вас делили али так разошлись по себе? — спросил он.

— Коли, братец ты мой, мужики по себе разойдутся! — отвечал Петр, — когда еще это бывало? Последнего лыка каждому жалко; а мы с батюшкой разве лучше других? Прикидывали, прикидывали — все ни ему, ни мне не ладно, и пошли на мир... Ну, а мировщину нашу тоже знаешь: весь разум и совет идет из дьяконовского кабака. Батюка, известно, съездил туда по приказу мачехи, ведерко-другое в сенах, в сборной, выставил, а мне, голова, не то что ведро вина, а луковицы купить было не на что.

— Так, так; по тебе, значит, и мало говорили? — заметил Сергеич.

— А так по мне говорили: худ ли, хорош ли я, а все в доме, коли не половинник, так третевик был; а на миру присудили: хлеба мне — ржи только на ежу, и то до спасова дня, слышь; а ярового и совсем ничего, худо тем годом родилось; из скотины — телушку недойную, бычка-годовика да овцу паршивую; на житье отвели почесть без углов баню — разживайся, как хошь, словно после пожара вышел; из одежды-то, голова, что ни есть, и того как следует не отдали: сибирочка тоже синяя была у меня и кушак при ней астраханский, на свои, голова, денежки до копейки и заводил все перед свадьбой, и про ту старик, по мачехину наущенью, закрестился, забожился, что от него шло — так и оттягал.

Сергеич качал головою.

— Бревен, братец ты мой, было у меня на пустоши нарублено триста с полсотней, — продолжал Петр, — стал этих я бревен у батюшки просить на обзаведенье, по крайности сухие — и того старик не дал; руби, значит, сызнава и из сырого леса. Строить тоже принялся: прихватить хошь бы какого плотничиска не на што; так с одной хозяйкой и выстроил. Срамоты-то одной, голова, ни за што бы не взял; я сижу на одном угле, а баба на

другом: потяпывает, как умеет; а уж как свою-то спину нагнул да надломил, так... — Тут Петр остановился и махнул рукой.

— Покойный родитель твой, — начал Сергеич, — был приятель мой, сам знаешь, а не скажу по нем: много против тебя греха на душу принял.

— Нет, братец, не то, — возразил Петр, — дело теперь прошлое, батьку мне грех помянуть много лихом: не со зла старик делал, а такое, видно, наваждение на него было.

— Эх, друг сердечный, — возразил, в свою очередь, Сергеич, — да разве на нем одном эти примеры? Старому мужику молодую бабу в дом привести — семью извести.

Я видел, что Сергеич и Петр так разговорились, что их не надобно уж было спрашивать, а достаточно было предоставить им говорить самим, и они многое рассказали бы; но мне хотелось направить разговор на предмет, по преимуществу меня интересовавший, и потому я спросил:

— Тебя мачеха твоя, вероятно, и испортила?

Петр вместо ответа кивнул мне головой.

— Каким же образом она тебя испортила?

Петр посмотрел на меня с насмешкой и отвечал с некоторым неудовольствием:

— Да я почему знаю! Какой ты, барин, право!

— Что ж такое?

— Да как же! Скажи ему, как портят? Я не колдун какой.

— Почему ж ты думаешь, что тебя испортили?

— Перестань-ка; разговаривать что-то с тобой неохота: больно уж ты любопытен! — отвечал Петр с досадою.

Предыдущий разговор заметно возбудил в нем желчное расположение.

— Не собою, государь милостивый, узнал, — вмешался хитрый Сергеич, видевший, что мне любопытно знать, а Петр не хочет отвечать и начинает сердиться, — самому где экое дело узнать! — продолжал он, — тоже хворал, хворал, значит, и выискался хороший человек — да! — сказал, как и отчего.

— Кто же это такой хороший человек? — спросил я.

— Колдун у нас, батюшка, был в деревне Печурах, — отвечал Сергеич, — так и прозывался «печурский старицище».

— Плут, голова, в народе обзывался, а мне все сказал, — перебил Петр.

— Плут ли там, али нет, кто про то знает? — возразил Сергеич, — а что старик был мудрый, это что говорить! Что ведь народу к нему ездило всякого: и простого, и купечества, и господ — другой тоже с болестью, другой с порчей этой, иной погадать, где пропащее взять, али поворожиться, чтобы с женкой подружиться. И такое, государь, заведение у него было, — продолжал он, обращаясь ко мне, — жил он тоже бобыльком, своим домком, в избушке, далече от селенья, почесть что на поле; и все калитка назаперти. Теперича, другое-иное время, народ видит, что он под окошечком сидит, лапки поковырывает али так около печки кряхтит, стряпает тоже кое-что про себя; а как кто, сударь, подъехал, он калитку отпер и в голбец сейчас спрятался; ты, примерно, в избу идешь, а он оттоль из голбца и лезет: седой, старый, бородища нечесаная; волосищи на голове как овин, нос красный, голосище сиплый. Я тоже старшую сношку послал к нему: овцы у нас запропали; так в избу-то войти вошла, а как увидела его, взвизгнула и бежать — испугалась, значит. И кто бы теперь к нему ни пришел, сейчас и ставь штоф вина, а то и разговаривать не станет: лом был такой пить, что на удивление только.

— Штоф купить не разоренье, — возразил Петр, — я тем временем в Галиче рублев полтора ста пролечил: брал-брал у Пузича денег, да и полно! Дошел до того, голова, ни хлеба в доме, ни одежды ни на себе, ни на хозяйке; на работу силы никакой не стало; голодный еще кое-как маешься, а как поел — смерть да и только; у сердца схватит, с души тянет; бывало, иной раз на работе али в поле, повалишься на луг, да и катаешься час-два, как лошадь в чемере. Не смог, братец ты мой, до Печур-то дойти, хозяйке велел уж телегу заложить, повалился, словно пласт; до чего бы дошел, и бог ведаст. Приехали втепору к нему; хозяйка подала ему полштофчика, вылил, голова, в ковшик, выпил сразу и тут же воровать стал. «Поди, — говорит хозяйке, — почерпни в этот ковшик в сенях из кадки воды; вино, говорит, не споласкивай, а так и черпай, как я пил». Принесла та,

братец ты мой; он подал мне: «Гляди, говорит, от кого твоя болесть идет»; тут, голова, махечу мне в воде и показал.

— Как же ты в ковше ее и видел? — спросил я.

— Въявь, словно в зеркале, — отвечал Петр.

— Полно, Петр; ты это думал, так тебе так и показалось, — сказал я.

— Ну да, показалось. Вы, баря, все не верите; больно уж умны! Не пьяному показалось: у меня втепоры не то что вина, куска во рту не бывало. Смотрю, голова, и вижу. «Видишь ли?» — говорит он мне. «Вижу, говорю, дедушка». — «Ну, брат, ладно, говорит, что на меня наскочил. Твой лихой человек себя на сорока травах заговорил, никто бы тебе, окромя меня, не открыл бы его».

— Осилит, значит, — заметил Сергеич.

— Осилит, голова. «Я, говорит, знаю пятьдесят три травы; теперь, говорит, клади на стол сколько денег привез, а тут и скажу, что надо». Хозяйка, голова, положила четвертак — удовольствовался.

— Капиталы не жадный был копить; вино чтоб было только пить, а денег сколько-нибудь дай — доволен, — заметил Сергеич.

— Какое, голова, жадный! Взял хоша бы тут четвертак и все сделал. «Теперь, говорит, ступай ты домой, слышь? Пять зорь умывайся росой, на шестую зорю ступай к третьим от здешнего селенья воротцам, и иди ты все вправо, по перегороде; тут ты увидишь, что все колья, что подпирают, нескобленные; один только кол скобленный; ты этот кол переруби, обкопай его кругом, и найдешь ты тут ладонку, и на этой ладонке наговор против тебя и сделан».

— Он, вероятно, сам этот кол и воткнул, — сказал я.

Петр рассердился.

— Да, да, рассудил, как размазал! — возразил он. — Вот он тоже этакого хватика-баринка, как ты, — тот тоже все смеялся да не верил, так он так ему отшутил, что хозяйка опосля любить и не стала, да и в люди еще пошла.

— Было, было это дело, — подтвердил Сергеич, — а теперича, — продолжал он, обращаясь ко мне, — коли свадьбы облизь его были, все уж забеспременно звали его да угощали, а то навек жениха не человеком делает...

— Да что, голова, — перебил Петр, — пять лет ведь, братец ты мой, я ходил и кол этот видел, только ничего не помянул на него. Всю перегороду опосля хозяйка обещала: все кольца на подбор нескобленные — один только он оскобленный. Для ча?.. для какой надобности?..

— Так уж, видно, надо им было, — возразил Сергеич.

— А окромя кола, — продолжал Петр, — все до последней малости нашел по его сказанью, как по-писанному. «Как, говорит, ты эту ладонку сыщешь, в ней, говорит, бумажка зашита — слышь? Бумажку эту ты вынь и дай кому хошь грамотному прочесть, и как, говорит, тебе ее прочитают, ты ее часу при себе не оставляй, а пусти на ветер от себя». А про ладонку, братец ты мой, сказал: «Перелезь, говорит, ты через огород и закопай ее на каком хошь месте и воткни новый кол, оскобленный, и упри его в перегороду; пять зорь опосля того опять умывайся росой, а на шестую ступай к перегородке: коли кол твой не перерублен и ладонка тут — значит, весь разговор их пропал; а коли твое дело попорчено — значит, и с той стороны сила большая». Все сделал, голова, по-его; однако на шестую зорю пришел: кол мой перерублен, и вся земля кругом взрыта, словно медведь с убойной вошелся.

— Осердились, значит! — проговорил Сергеич.

— То-то, видно, не по нраву пришлось, что дело их узнано, — отвечал Петр; потом, помолчав, продолжал: — удивительнее всего, голова, эта бумажка; написано в ней было всего только четыре слова: *напади тоска на душу раба Петра*. Как мне ее, братец, один человек прочитал, я встал под ветром и пустил ее от себя — так, голова, с версту летела, из глаз-на-ли пропала, а на землю не падает.

Проговорив это, Петр задумался. Некоторое время разговор между нами прекратился.

— Я все, друг сердечный, дивуюсь, — начал Сергеич глубокомысленно, — от кого это ваша Федосья науки эти произошла? По нашим местам, окромя этого старичищи, не от кого заняться.

— Э, голова, нет! Не то! — возразил Петр, — я уж это дело опосля узнал: у них в роду это есть.

— В роду? Вот те что! — воскликнул Сергеич.

— Да, в роду, — продолжал Петр. — Може, не помнишь ли ты, от Парфенья старушонка к нам в селенье

переехала, нашей Федоске сродственница? Ну, у нас в избе, братец ты мой, и поселилась, на голбце у нас и околела — втепоры никому невдомек, а она была колдунья сильная...

— Вот те что!.. — повторил еще раз Сергеич.

— Батька, ты думаешь, спроста женился? — продолжал Петр. — Как бы, голова, не так! Сам посуди: старику был шестой десяток, пять лет вдовствовал, девки на возрасте, я тоже в подростках немалых — пошто́ было жениться?

— Еще как, друг сердечный, пошто-то! — заметил Сергеич.

— Вдруг, голова, пожила у нас Федоска лето в работницах, словно сблаговал старик, говорит: «Я еще в поре, мне без бабы не жить!» Так возьми ровню; мало ли у нас в вотчине вдов пожилых! А то, голова, взял из чужой вотчины девку двадцати лет, втепоры скрыл, а опосля узналось; двести пятьдесят выкупу за нее дал — от каких, паря, денег?..

Сказав это, Петр опять впал в раздумье.

— Что ж, тебе лунше стало после, как ты был у старицищи? — спросил я его.

— Лучше не лучше, по крайности жив остался, — отвечал он.

— Ты, однако, Петр Алексеич, долго про нее не сказывал да не оказывал! — сказал Сергеич.

— Я ее совсем не оказывал, так и скрыл: батьку все жалел, — отозвался Петр, не изменяя своего задумчивого положения.

— Да, — продолжал Сергеич, — отдаст эта бабонька ответ богу: много извела она народу; какое только ей будет на том свету наказанье?

— А разве она и кроме еще Петра портила? — спросил я.

— Ай, сударь, как не портила! — отвечал Сергеич, — тсперича первая вот хозяйка его стала хворать да на нее выкликать. Была у нас девушка, Варюшка Никитина, гуляющая этакая девчонка: ту, по ревности к дьяконскому цаловальнику, испортила.

— А брата-то родного извела! — сказал Петр. — И за что ведь, голова, сам мне сказывал: в Галиче они тоже были; она и говорит: «Сведи меня в трактир, попой чайком!» Тому, голова, было что-то некогда. «Нету, говорит,

опосля!» Она обозлилась. «Ну, ладно же, говорит, помни это!» И тут же, голова, и испортила: как приехал домой, так и ухватило. Маялся, маялся с месяц, делать нечего, пошел к ней, стал ей кланяться: «Матушка-сестрица, помилуй!» — «А! говорит, братец любезный, ты втепору двугривенного пожалел, а теперь бы и сто рублей запла-тил, да поздно!»

— Слышал и про это дело, — подтвердил Сергеич, — слава богу, — присовокупил он, — что на поселенье-то ее сослали, а то бы она еще не то бы натворила.

Петр на это ничего не отвечал и только вздохнул.

— Каким образом и за что именно сослали ее? — спросил я.

— Сослали ее, государь милостивый, — отвечал Сергеич, — вотчина того пожелала: первое, что похвалиться стала она на барина, что барина изведет, пошто тогда ее поучили маненько... Тебя ведь, Петр Алексеич, не было втепору, без тебя все эти дела-то произошли, — прибавил он, обращаясь к Петру.

— Без меня!.. Воротился тогда с заработки, прошел мимо родительского дому: словно выморочный — и ставни заколочены; батька помер, девок во двор взяли, а ее сослали! — отвечал Петр с какой-то тоской и досадой.

— Так, так! — продолжал Сергеич. — На каких-нибудь неделях все это и сделалось. Я тут тоже согрешил, грешный, маненько, доказчиком был, за Сережку-то больно злоба была моя на нее, и теперича, слышавши эти ее слова про барина, слышавши, что, окромя того, селенье страшает выжечь, я, прошлым делом, до бурмистра ходил: «Это, говорю, Иван Васильич, как ты хошь, а я тебе заявлю, это нехорошо; ты и сам не прав будешь, коли что случится — да!» С этих моих слов и пошло все. Бурмистр тоже поопасился: становому заявил. Тот сейчас наехал и обыск у ней в доме сделал: так одних трав, сударь, у ней четыре короба нашли, а что камушков разных — таких мы и не видывали; земли тоже всякой: видно, все из-под следов человеческих. Стали ее опрашивать, какие это травы? «Не знаю». Чья земля? — «Не знаю»... Пошто она у тебя? — «Не знаю». Только и ответу было. Хошь бы в слове проговорилась. Двои сутки с ней становой бился, напоследок говорит бурмистру: «Что, говорит, с ней, бестией, делом вести! Как на нее докажешь! Пиши барину; он лучше распорядится». Так

тот и описал. Барин и приказывает сослать ее на поселенье, коли мир приговорит. Тут она и сробела, и чего уж не делала, боже ты мой! И вином-то поила и денег сулила — ништо не взяло: присудили!

— В остроге-то, как она сидела, — начал Петр, — я тоже проходил мимо Галича, зашел к ней, калачик принес... заплакала, братец ты мой. «Не была бы, говорит, я в этом месте, кабы не один человек; не пошла бы я, говорит, за этим больно худым, кабы не хотела его приворожить, в сорока квасах ему пить давала — и был бы он мой, да печурский старичище моему делу помешал». Только и сказала: «Теперь, говорит, меня на поселенье ссылают; только ты, Петр, этому не радуйся: тебе самому не будет счастья ни в чем. Кажинный час в сердце твоём будет тоска и печаль». И все ведь, голова, правду сказала: что, что живешь на свете! ничего не веселит, словно темной ночью ходишь. Ни жена, ни дети, ни работа, ничто не мило, и сам себе словно враг какой! Вот только и есть, как этой омеги проклятой стакана три огородишь, так словно от сердца что поотляжет.

Проговорив это, Петр вздохнул и потом вдруг поднял голову.

— Будет! баста! — сказал он, — пора ужинать. Барину, я вижу, любо наше каляканье слушать, а нам все петухов будить придется. Матюшка, дурак! подай шапку: вон лежит на бревнах!

Матюшка подал ему.

— Спасибо, — продолжал Петр, — я тебя за это в первый раз, как хлестать станут, за ноги подержу, и уж крепко, не бойся, не вывернешься.

— Да за што меня хлестать станут? — спросил Матюшка.

— И по-моему, братец, не за што: душа ты кроткая, голова крепкая, — проговорил Петр и постучал Матюшку в голову. — Вона, словно в пустом овине! Ничего, Матюха, не печалься! Проживешь ты век, словно кашу съешь. Марш, ребята! — заключил он, вставая.

— За угощенье твое благодарим, государь милостивый, — сказал Сергеич, кланяясь.

— Да ты ниже кланяйся, старый хрен! всю жизнь спину гнул, а не изловчился на этом! — подхватил Петр, нагибая старику голову.

Сергеич засмеялся, Матюшка тоже захохотал.

— Прощай, барин, — продолжал Петр, надевая шапку. — Правда ли, дворовые твои хвастают, что ты книги печатные про мужиков сочиняешь? — прибавил он приостановясь.

— Сочиняю, — отвечал я.

— Ой ли? — воскликнул Петр. — В грамоте я не умею, а почитал бы. Коли так, братец, так сочини и про меня книгу, а о дедушке Сергеиче напиши так: «Шестьдесят, мол, восьмой год, слышь! ни одного зуба во рту, а за девкам бегают».

— Полно, балагур, полно! Пойдем лучше ужинать, коли собрался! — сказал Сергеич, слегка толкнув Петра в спину.

— Пойдемте! — отвечал тот и обнял одною рукой Матюшку.

Веселость Петра, впрочем, вспыхнула на минуту: он опять потупил голову. Все они пошли неторопливо, и я еще долго смотрел им вслед, глядя на нетвердую и заплетающуюся походку Сергеича, на беспечную, но здоровую поступь кривоногого Матюшки, наконец, на задумчивую и сутуловатую фигуру Петра.

V

Успенев день — у нас в приходе праздник. Это можно уж догадаться по тому, что кучер мой, Давыд, между нами сказать, сильный бахвал и большой охотник до парадных выездов, еще в семь часов утра, едва успел я встать, пришел в горницу.

— Что тебе? — спрашиваю я.

— Изволите ехать молиться к обедне или нет-с? Коли поедете, так лошадей надо припаси.

Собственно говоря, лошадей совершенно нечего припасать, а стоит только вывести из конюшни и заложить, и Давыд, я знаю, пришел спрашивать, чтоб скорее успокоить свое ожидание насчет того, удастся ли ему проехать и пофорсить.

— Поеду, — говорю я.

У Давыда от удовольствия кровь бросается в лицо.

— Жеребцов ведь припаси? — спрашивает он.

— Нет, братец, разгонных бы, — говорю я.

— На разгонных нельзя, вся ваша воля: разгонные лошади совсем смучены; а что эти одры, стоят только да овес едят! Хошь мало-мальски промнутся, — возражает Давыд с вытянувшимся лицом, и я убежден, что одна мысль: ехать на разгонных к празднику было для него мученьем.

— Ну хорошо, на жеребцах поедем, — говорю я, — только уговор лучше денег: в сарае не изволь их муштровывать и хлестать, а то они у тебя выскакивают, как бешеные, и, подъезжая к приходу, не скакать благим матом, а то, пожалуй, или себе голову сломишь, или задавишь кого-нибудь.

— Не извольте беспокоиться. Господи, боже мой! Не первый год езжу, — говорит Давыд и потом, постояв немного, присовокупляет: — кафтан синий надо надеть-с?

— Конечно, — говорю я.

— Кушак тоже шелковый? — прибавляет он.

— Конечно, конечно, — подтверждаю я, не понимая еще, к чему он ведет этот разговор: синий кафтан и шелковый кушак находятся совершенно в его распоряжении.

— Вы этта изволили говорить, перчатки зеленые купить мне в Чухломе.

— Ну, да! Что ж?

— Не для чего покупать-с... у Семена Яковлича еще после папеньки вашего лежат кучерские перчатки; не дает только без вашего приказанья, а перчатки важные еще! — разрешает, наконец, Давыд, к чему он клонил разговор.

— Хорошо; скажи, чтоб дал, — говорю я.

И Давыд, очень довольный, отправляется. Надобно сказать, что он очень хороший кучер и вообще малый трезвого поведения и доброго нрава, но имеет одну слабость: прихвастнуть, и прихвастнуть не о себе, а все как бы в мою пользу. Вдруг, например, расскажет где-нибудь на станции, на которой нас обоих с ним очень хорошо знают, что я граф, генерал и что у меня тысяча душ, или ошибет какого-нибудь соседа-мужика, что у нас двадцать жеребцов на стойле стоят. Когда я бываю с ним иногда в городе и даю ему полтинник на чай, он этот полтинник никогда не издержит, но, воротившись домой, выбросит его на стол перед своей семьей и скажет: «На-те-ста: только и осталось от пяти серебром баринова подареньица». Кроме этих внешних достоинств, он любил

меня украшать и внутренними, нравственными качествами; так, например, припишет мне храбрость неимоверную в рассказе такого рода, что раз будто бы мы ехали с ним ночью и встретили медведя, и он, испугавшись, сказал: «Барин, я пушу лошадей», а я ему на это сказал: «Подержи немного, жалко медвежьей шкуры», и убил медведя из пистолета, тогда как я в жизнь свою воробья не застреливал.

После Давыда начинает являться прочая дворян проситься на праздник — обычай, который заведен был еще прадедами и который я поддерживаю, имея случай при этом делать неистощимое число наблюдений. Первая всегда является Александра скотница, очень плутоватая и бойкая женщина.

— Батюшка Алексей Феофилактыч, позвольте на праздник-то сходить, — говорит она.

— Хорошо, ступай; только как коровы без тебя останутся? смотри!

— О коровах, батюшка, я баушку Алену просила: баушка походит. Как можно о скотинке не думать! Я о ней кажинный час жалею. И сегодня не пошла бы, да у тетки моей праздник, а у меня и родни-то не свет, только тетка родная и есть, — говорит она скороговоркой.

— Ступай, — говорю я, хоть и предчувствую, что она меня обманывает.

Только что Александра ушла, мимо окон по двору идет Андрюшка ткач, с женой, очень смазливый малый, год назад женившийся на молоденькой и очень хорошенькой из крестьян бабенке, значит, еще *молодые* и оба, в отношении меня, несмелые; они стоят некоторое время на дворе и перекоряются, кому идти проситься: наконец, подходит к окну молодая и кланяется.

— Здравствуй, милушка, — говорю я.

Она вся вспыхивает.

— На праздник, что ли, хочешь идти? — спрашиваю я.

— Нешто, сударь, — говорит она.

— Ну, ступай.

— И хозяина уж пусти! — прибавляет она.

— Ступайте.

Она хочет идти.

— Да, постой, — говорю я, — у тебя грудной ребенок: как ты его оставишь?

— Пошто оставлять: с собой возьму.

— Помилуй, ты измучишь и сама себя и ребенка.

— Ой, ничего, — отвечает она, — мало ли с ребятами ходят, не одна я — ничего!

— Ступайте.

Она кланяется и опять краснеет и, подходя к мужу, говорит: «Пустил!» Тот тоже издала мне кланяется, и уходят оба. Комнатный человек мой Константин, спутник с десятилетнего возраста моей жизни, имеющий обыкновение обращаться со мной строго, приготовляет мне бриться и одеваться с мрачным выражением в лице. Ему тоже хочется на праздник, и он думает, что не попадет, но я намерен доставить ему это удовольствие.

— Константин, ты велишь оседлать себе лошадь и поедешь со мной.

— Слушаю-с, — отвечает он голосом, необычно суровым. — Старуха Алена пришла: просится тоже помолиться, — прибавляет он, умилившись сердцем от собственного удовольствия.

— Как же мне делать? Уж я скотницу отпустил, — воскликнул я. — Позовите старуху.

Старуха входит.

— Я ведь, старуха, скотницу Александру отпустил: она мне наврала, что ты берешься посмотреть за коровами.

— Ну, батюшка, вся ваша воля, — отвечает старуха покорным, но укоризненным тоном, — круглый год из-за этой Александры Алексеvны лба не перекрестишь. Она пошла пиво пить, а тебе и помолиться нельзя.

— Эй! кто там? — кричу я, — скажите Александре, чтоб она не уходила; а ты, старуха, ступай.

— Где уж, батюшка! Не воротишь ее: совсем нарядная приходила к тебе проситься; прямо из горницы и побежала; верст на пять теперь уж ушла.

Мне стало жаль старухи.

— На тебе двугривенный, что ты остаешься; а в следующее воскресенье я тебя на лошади отправлю богу помолиться, — говорю я.

— Ой, батюшка! что это? пошто? И так довольны вашей милостью, — говорит она; впрочем, берет двугривенный и этим отчасти успокаивается.

Я продолжаю смотреть в окно: старик повар прошел, в белой манишке моего подаренья; молодая горничная,

еще накануне завившая свои виски в мелкие косички, а теперь расчесавшая их, прибежала как сумасшедшая, к матке в избу. Ключница прошла в погреб, в мериносовом платье и в шелковом, повязанном маленькой головкой, платочке. Это штат барыни, и они у нее, вероятно, отпросились. Я вижу даже, что у конского двора отчаянный Васька запрягает им в телегу лошадь и сам, никого не допуская, натягивает супонь. Таким образом, собирается вся почти дворня, за исключением разве дедушки Фаддея: и тот остается потому, что с печки слезть не может. Впрочем, он только еще нынешний год не пошел, а прошлый ходил, но, не дойдя еще до прихода, свалился в канаву и пролежал тут почти целый день. Даже Семен, несмотря на свою флегматичность и бесстрастность характера, остался очень доволен, когда я ему предложил, чтоб и он тоже ехал. Никогда еще не замечал я в нем такой расторопности: не прошло пяти минут, как он уже сидел верхом на чалке, в синем кафтане и какой-то высокой бобровой шапке, бог знает от кого и каким образом доставшейся ему. Однако пора и мне собираться; я оделся и вышел. Давид, несмотря на мои просьбы и наставления, распорядился по-своему: лошади, весьма добронравные и хорошо приезженные, вылетели из сарая как бешеные, так что он, повалившись совершенно назад, едва остановил их у крыльца. Я убежден, что они жесточайшим образом нахлестаны; кроме того, коренную он по обыкновению взнуздal бечевкой, чтоб круче шею держала, а бедным пристяжным притянул головы совершенно к земле, так что у них глаза и ноздри налились кровью. Напрасно я восставал против этой его системы закладыванья: на все мои замечания он отвечал: «Господа все так ездят, красивее этак!..» В настоящем случае я ничего уж и не говорил и только просил его, ради бога, не гнать лошадей, а ехать легкой рысью; он сначала как будто бы и послушался; но в нашем же поле, увидев, что идут из Утробина две молоденькие крестьянки, не мог удержаться и, вскрикнув: «Эх, вы, маленьки!» — понесся что есть духу.

— Неужели ты, Давид, думаешь, что нас молодцами за это сочтут? Напротив, дураками! — принимался я было ему втолковывать, но все напрасно. Подъезжая к приходу, он весь как-то уж изломался: шапку свернул набекрень, сам тоже перегнулся, вожжи натянул, как

струны, а между тем пошевеливает ими, чтоб горячить лошадей. День был светлый; от прихода неся говор народа, и раздавался благовест вовся; по дороге шло пропасть народу, и все мне кланялись.

— Матка, чей барин-то? — говорит одна старуха другой.

— Филата Гаврилыча, матка, сын, али не узнала? — отвечает ей та.

— Ну, вот, какой хороший да пригожий! — говорит первая старуха.

На худой лошаденке, которые обыкновенно называются вертохвостками, гарцует некто Фомка Козырев, лакей и управляющий одной немолодой вдовы-помещицы. Уж три года, как Фомка стал являться на всех праздниках в плисовых штанах, в плисовой поддевке, с серебряными часами; путем поклониться ни с кем не хочет, простого вина не пьет, а все давай ему наливки. Жареных пышек на иной ярмарке на рубль серебра съест в день, а орехи без пережки в кармане насыпаны. За это и по другим, еще более уважительным причинам, его и прозвали *полубарином*. Завидев меня и замечая, что я начинаю его обгонять, он также, в свою очередь, начинает горячить лошадь, а сам представляет, что совладеть с ней не сможет. Лошаденка завертела хвостом и пошла боком забирать все дальше и дальше в сторону.

Чем ближе к селу, тем больше обгоняешь народу. Какие у всех довольные лица, а между тем как мало надобно, чтоб доставить этим людям это удовольствие. Придет иной верст за десять пешком к приходу, помолится, а тут и отправится в деревню, где празднуют. Хорошо еще, у кого есть родные: тот прямо идет гоститься, то есть выпить, пообедать и поболтать; а у кого нет, так взойдет в избу несмело и проговорит каким-то странным голосом: «С праздником, хозяева честные, поздравляем». Хозяин, который уж действительно ничего не жалеет, но которого в то же время одолевают гости, проговорив: «Сейчас, голубчик, сейчас», поспешит ему дать рюмку водки, пирога и пива; гость это выпьет, съест и отправится в другую избу, и таким образом к вечеру наберется порядочно.

К величайшему неудовольствию Давыда, я не допустил его произвести эффект, проезжая по улице села, а

велел ехать задами и пошел сам пешком. У церковных ворот пересек мне дорогу маленький семинарист, в длиннополом нанковом зеленом сюртучке.

— Здравствуйте, папенька крестный, — проговорил он. Когда я его крестил, — совершенно не помню.

— Здравствуй, милый! Ты чей?

— Отца дьякона, папенька крестный, — отвечал он.

— А! отца дьякона! Это хорошо... Что, обедня идет или нет?

— Начинается, папенька крестный, — отвечает он и, как человек привычный, пошел впереди, расталкивая для меня народ.

В церкви, у левого клироса, стоят две барышни, небогатые прихожанки. Я убежден, что до моего появления они молились усердно, но как увидели меня, так и начали модничать. Мне всегда несколько грустно видеть их у прихода. Зачем они не ходят в просто причесанных волосах, а как-нибудь всегда их взобьют? Зачем они носят эти собственного рукоделья шляпы из полинялой шелковой материи с полинялыми лентами? Зачем так безбожно крахмалят свои кисейные платья и, наконец, зачем, по преимуществу старшая, произносят все в нос? Я подозреваю, что, говоря таким образом, она воображает, что говорит по-французски.

После обедни я хотел было пройтись по ярмарке, но меня остановила проживающая в селе немолодая тоже девица из духовного звания, по имени Арина Семеновна, девица большая краснойбайка и очень неглупая.

— Позвольте, батюшка Алексей Феофилактыч, — начала она, — просить вас осчастливить меня вашим посещением. Я еще пользовалась милостями вашего папеньки, маменьки; по доброте своей и великодушию, они никогда не брезговали посещать мою сиротскую хижину. Слух тоже, батюшка, и про вас идет, что вы в папеньку — негордые.

— С большим удовольствием, сударыня; но меня звал отец Николай; чтоб мне туда не опоздать, — сказал я.

— Отец Николай, батюшка, долго еще изволят пробыть в церкви, так как теперича простой народ молебны будет служить, а вы по крайности тем временем чайку или кофейку у меня откушаете. Богато-небогато, сударь, живу, а все на прием таких дорогих гостей имею.

— Очень хорошо, сударыня, извольте.

— Не знаю, как и благодарить за ваши милости, — сказала мне с поклоном Арина Семеновна и отнеслась к идущим за мной двум барышням: — Нимфодора Михайловна, Минодора Михайловна, позвольте и вас просить к себе на чашку чаю: я у вас частая гостья, гощу-гощу и стыда не знаю, а вас в своем доме давно не имела счастья видеть.

— О нет, вы этого не можете сказать: мы у вас тоже частые гости! — произнесла совершенно в нос старшая сестра, Нимфодора.

— Кабы еще чаще, еще бы я была больше очастливлена, — сказала Арина Семеновна.

Все мы таким образом пошли к ней. Я видел, что барышням очень хочется заговорить со мной, но я, признаюсь, побаивался этого.

— Как здоровье вашей супруги? — сказала, наконец, младшая, Минодора, говорившая меньше в нос, но зато, судя по выражению лица, должно быть, более желчная, чем старшая.

Впрочем, обе они, как уже немолодые девицы, были немного злы и на меня, как я слышал, питали большую претензию за то, что я не знакомился с ними. Предчувствуя, что вопрос этот был сделан с ядовитой целью, я поспешил отвечать:

— Слава богу, здорова, и мы с ней всё собираемся к вам.

Что-то вроде улыбки пробежало по губам обеих барышень.

— И скоро исполните ваше обещание? — сказала старшая, Нимфодора, еще более в нос.

— На той неделе непременно, непременно, — опять поспешил я отвечать.

— Очень приятно, конечно, будет нам видеть вас у себя, хоть, может быть, вам будет у нас и скучно, — ядовито заметила младшая, Минодора; но потом, как бы желая смягчить это замечание, прибавила: — Мы хоть не имели еще удовольствия видеть вашей супруги, но уж очень много слышали о них лестного.

— А я, матушка, счастливее вас: имела честь видеть супругу Алексея Феофилактыча, и вот при них скажу, не показалась она мне: старая, беззубая, нехорошая...

— О нет, вы шутите! — произнесла старшая, Нимфодора, в нос.

Арина Семеновна лукаво засмеялась.

— Неужели, матушка, вправду говорю? — отвечала она, — красавица, писаной красоты дама. Вот вы, барышни, больно у нас хорошие, а она, пожалуй, лучше вас.

В такого рода разговорах мы шли, и я заметил, что если младшая, Минодора, язвила смертных больше словом, то старшая уничтожала их презрительным и гордым видом, особенно кланявшихся нам мужиков и баб.

Когда мы пришли к Арине Семеновне, она, конечно, захлопотала о приготовлении угощения нам. У нее, впрочем, были уж в гостях две попадьи и дяконница, которые нам церемонно поклонились. Барышни, чтоб не уронить своего достоинства, сели на диван, а я, признаться, чтоб избежать разговора с ними, нарочно поместился у окна: но вдруг, к ужасу моему, старшая, Нимфодора, встала и села около меня.

— Что вы теперь сочиняете? — сказала она с улыбкою и слегка наклоняя голову.

Вопрос этот обыкновенно и при других обстоятельствах и от других людей всегда меня конфузит.

— Нет, я теперь ничего не сочиняю, — отвечал я потупившись.

— В деревенском уединении, я думаю, так приятно сочинять, — продолжала пытаться меня Нимфодора, устремив прямо мне в лицо пристальный взгляд.

— Да; но я занимаюсь больше хозяйством, — отвечал я, чтоб что-нибудь сказать ей.

— О, так вы и хозяин хороший! Как приятно это слышать! — воскликнула Нимфодора.

Почему это ей приятно слышать — не понимаю.

— Я недавно читала, не помню чье, сочиненье, «Вечный Жид» называется: как прелестно и бесподобно написано! — продолжала моя мучительница.

«Что ж это такое?» — думал я, не зная, что с собой делать и куда глядеть.

— Нынче, так это грустно, — снова продолжала Нимфодора, не спуская с меня пристального взгляда, — мы не имеем где книг доставать. Когда здесь жил, в деревне, Рафаил Михайлыч, с которым мы были очень хорошо знакомы и почти каждый день видались и всегда у них брали книги. Тут я у них читала и ваше сочинение, «Тюфяк» называется — как смешно написано.

Я начинал приходить в совершенное ожесточение. Чтоб спасти себя хоть как-нибудь от дальнейших разговоров с Нимфодорой, я высунул голову в окно и стал будто бы с большим вниманием глядеть на толпящийся тут и там народ. Из толпы, окружающей кабака, вышел Пузич с Козыревым; оба они успели, видно, порядочно выпить. Я еще прежде слышал, что Пузич подрядился у Фомкиной госпожи строить новый флигель, и у них, вероятно, были поэтому слитки. Пузич, увидев меня, остановился и поклонился, а Козырев, нахмуренный и мрачный, немного пошатываясь и засунув руки в карманы плисовых шаровар, прошел было сначала мимо, но потом тоже остановился и, продолжая смотреть на все исподлобья, стал поджидать товарища.

— Ваше высокоблагородие, позвольте с вами компанию иметь, — проговорил Пузич пьяным голосом.

— Нет, братец, в другое уж время, — сказал я, показывая ему рукой, чтоб он отправлялся, куда шел.

— Барин!.. Писемский!.. Господин! Позвольте с вами компанию иметь! — прокричал Пузич на всю уж улицу, так что Арина Семеновна, как хозяйка, обеспокоилась этим и подошла к окну.

— Нехорошо, нехорошо, Пузич, — сказала она, — мужик вы хороший, богатый, а беспокоите господ. Ступайте, ступайте!

— Арина Семеновна, позвольте компанию иметь! — воскликнул опять Пузич. — Ежели теперича барину, господину Писемскому, деньги теперича нужны — сейчас! Позови только Пузича: «Пузич, дай мне, братец, денег, тысячу целковых» — значит, сейчас, ваше высокопривосходительство. Что мне деньги! Денег у меня много. Мне барин, господин Писемский, его привосходительство, значит, отдал теперича все деньги сполна, и я благодарю, должен благодарить. Теперича господин Писемский мне скажет: «Поддай мне, Пузич, деньги назад!» — «Изволь, бери...» Позвольте, ваше привосходительство, компанию мне с вами иметь?..

В это время вышел из-за угла Матюшка, что-то с несвойственным ему печальным лицом, и робко подошел к Пузичу.

— Дядюшка, дай два рублика-та, — пробормотал он.

Физиономия Пузича в минуту изменилась: из глупо подлой она сделалась строгой.

— Какие твои два рубли? — сказал он, обернувшись к Матюшке лицом и уставив руки в бока.

— Мамонька наказывала серп купить, жать нечем, — проговорил тот.

— Какие твои деньги у меня? За какие услуги? Говори! Ежели теперича ты пришел у меня денег просить, как ты смеешь передо мной и господином в шапке стоять? Тебе было сказано, на носу зарублено, чтоб ты не смел перед господами в шапке стоять, — проговорил Пузич и сшиб с Матюшки шапку.

Тот только посмотрел на него.

— Что дерешься? И на тебе шапка не притаченная, — проговорил он, поднимая шапку.

— Молчать! Поговори еще у меня! — продолжал Пузич. — Когда, значит, подрядчик с тобой разговаривает, какой разговор ты можешь иметь!

— Пузич, идемте, — проговорил октавой Козырев, которому уж, видно, наскучило ждать.

— Идем, идем, Флегонт Матвейч, — отвечал Пузич, — дураков, значит, надо учить, ваше привосходительство, коли они неумны, — отнесся он ко мне и, очень довольный, что удалось ему перед всем народом покуражиться над Матюшкой, пошел с Козыревым опять, кажется, в кабак.

Бедняга Матюшка издали последовал за ним.

— Что? Тебя не рассчитывает подрядчик? — спросил я его.

— То-то-тка, все вот жилит да дерется еще, — отвечал он, уходя.

Не прошло четверти часа после этой сцены, мы сидели еще с барышнями у Арины Семеновны в ожидании отца Николая, который присылал из церкви с покорнейшею просьбою подождать его, приказывая, что, как он освободится, так сам зайдет просить достопочтенных гостей. Чтоб отклонить для Нимфодоры всякую возможность вступить со мною в разговор о литературе, я продолжал упорно смотреть в окно. «Однако отец Николай что-то долго нейдет, думал я, неужели он все еще молебны служит?» Около церкви никого уж не видать, а между тем в противоположной стороне, к кабаку, масса народа делается все гуще и гуще. Наконец, я увидел ясно, что туда идут и бегут.

— Кажется, пожар! — сказал я, вставая.

— Ах, боже мой! — воскликнула Нимфодора и даже Минодора с довольно, повидимому, твердыми нервами.

В это время вошел отец Николай, бледный и запыхавшийся.

— Батюшка! что такое случилось? Откуда вы? — спросил я.

— Что, сударь! случилось несчастье: убийство в кабаке! Сейчас ходил напутствовать дарами, да уж поздно — злодеи этакие!

— Скажите! — произнесли опять Нимфодора и Минодора в один голос.

— Кто такие? Кто кого убил? — спросил я.

— Плотники... стали пьяные в кабаке с хозяином раздельваться... слово за слово, да и драка... один молодец и уходил подрядчика насмерть, — отвечал отец Николай, садясь и утирая катившийся с лица его крупными каплями пот.

— Не Пузича ли это? — сказал я.

— Его, его, Пузича, коли знаете. Плутоватый был мужичонко.

— Кто ж его убил? Он сейчас здесь был.

— Да я уж и не знаю. Петром, кажется, зовут парня, высокий этакой, худой.

— Батюшка! нельзя ли еще как-нибудь помочь убитому? — воскликнул я.

— Вряд ли! — отвечал отец Николай, сомнительно покачивая головой.

Но я, схватив попавшийся мне на глаза перочинный ножик, чтоб пустить Пузичу кровь, пошел как мог проворно к кабаку. Место происшествия, как водится, окружала густая толпа; я едва мог продрасться к небольшой площадке перед кабаком, на которой, посредине, лежал вверх лицом убитый Пузич, с почерневшим, как утопленник, лицом, с следами пены и крови на губах. У поддевки его правый рукав был оторван, рубаха вся изорвана в клочки; правая рука иссечена цирюльником, но кровь уж не пошла. В стороне стоял весь избитый Матюшка и плакал, утирая слезы кулаком связанных рук. Сидевшему на лавочке Петру, тоже с обезображенным лицом и в изорванном кафтане, сотский вязал ноги.

— Злодей, что ты наделал? — сказал я ему.

Он взмахнул на меня глазами, потом посмотрел на церковь.

— Давно уж, видно, мне дорога туда сказана! — проговорил он и прибавил сотскому: — Что больно крепко вяжешь? Не убегу.

В толпе между тем несколько баб ревело, или, лучше сказать, голосило:

— Батюшка, кормилец мой! — завывала одна.

— Что ты надсажаешься? Али родня? — говорил ей мужской голос.

— Ну, батюшка, как не надсажаться! Все человеческая душа, словно пробка выскочила! — отвечала женщина.

— Пускай поревет; у баб слезы не купленные, — заметил другой мужской голос.

— О, о, о, ой! — стонала еще другая баба. — Куда теперь его головушка поспела?

— Удивительная вещь, удивительная вещь! — толковал клинобородый мужик с умным лицом и, должно быть, из торговцев.

— Как у них это случилось? — отнесся я к нему.

— Пьяные, сударь, — отвечал он, — Пузич с утра с Фомкой пьет; пьяные-с! Поначалу они принялись вдвоем в кабаке этого толсторожего парня бить; не знаю, про што его и связали: он ничем не причинен!.. Цаловальник видит, что дело плохо: бьют человека не на живот, а на смерть, караул закричал. Мы в кабак-то и вбежали, и Петруха-то вошел. «За что, говорит, парня бьете?» — и стал отымать, вырвал у них его, да и на улицу: они за ним, да и на него. Пузич за волосы его сгреб, а Фомка под ногу подшибает, и Петруха — на моих глазах это было — раза два их отпихивал, так Фомка и поотстал, а Пузич все лезет: сила-то не берет, так кусаться стал, впился в плечо зубами, да и замер. Мы было с сотским начали разнимать их — где тут! За ноги хотели было их растащить, так Пузич как съездил меня сапогом по голове, так шабаш — на-ли шабалка затрещала. Сотский стал уж кричать: «Воды! Водой разливайте!» Я было побежал зачерпнуть — прихожу: все уж порешено. Петруха, говорят, оборанивался, оборанивался, и как ухватит его запоперек, на аршин приподнял, да и хрясь о землю — только проохнул. А Козырев испугался, вскочил на своего живодерного коня и лупмя почал его лупить плетью, чтоб ускакать. Ребята тут смеются ему:

«Возьми, говорят, кол; ишь плетью-то не пробирает, бока больно толсты!» Такой дурак: угнал — словно не найдут.

Я вышел из толпы; мне попался старик Сергеич, проворно шедший туда своей заплетающейся походкой.

— Дедушка! Слышал ли, что ваш Петр начудил? — сказал я ему.

— Ой, государь милостивый! Слышал, слышал! За то его, батюшка, бог наказал, что родителя мало почитал. Тогда бы стерпел — теперь бы слюбилось, — отвечал старик и пошел.

Потом меня нагнали барышни, перебивавшиеся от Арины Семеновны к отцу Николаю. По просьбе их я рассказал им все подробности.

— Гм!.. — глубокомысленно произнесла младшая, Минодора.

— Что за народ эти мужики! — сказала в нос старшая, Нимфодора.

СТАРАЯ БАРЫНЯ

Рассказ

В селе В.....е была последняя станция, на которую приехал я в родные пределы свои на почтовых, и потому велел себя везти на постоянный двор. Его держала знакомая старуха, по прозванию Грачиха и вор-баба, как обыкновенно прибавляли знающие ее — и бари и мужики: небольшого роста, с лицом багровым, как из красной меди, толстая, но еще проворная, услужливая, говорунья без умолку, особенно когда навеселе, а навеселе почти целый день с утра до полуночи. Подъехал я ночью, переязб, как водится, до костей. Ощупью вошел по знакомой лесенке и отворил калитку в сени. В полумраке мерцала тоненькая сальная свечка в железном подсвечнике, воткнутом в столб, да из длинной трубы самовара вырывалось пламя от зажженной лучины; смутно видневшаяся лошадиная морда старательно грызла перилы, отделяющие сени от двора. Из отворенных дверей избы валил пар клубами.

— Хозяйка, старый хрен, господа приехали! — крикнул я.

— Ай, батюшки! господа и есть, — слышался голос старухи, а затем она и сама появилась.

— В горницу пожалуйста, сударики, сюда, сюда, господа честные! — говорила она.

Я вошел. Сильно нагретым и удушливым воздухом так и обдало меня.

— Старая, у тебя угарно! — сказал я.

— Нет, сударик, нету, с утра еще топлено, — отвечала старуха, а сама, впрочем, засунула жирную руку в одежду и вытаскивала оттуда вьюшки.

Я между тем раздевался.

— Батюшки! — воскликнула старуха, всплеснув руками, — на-ка, барин-то знакомый, а я, старая дура, и не признала, на-ка! Откуда изволишь ехать?

— Из Питера.

— Ну, вот откуда. Не узнала я, не узнала, раздобрел больно, какой дюжий стал. Иван Петрович, сударь, недавно проезжали.

— Какой Иван Петрович? — спросил я.

— Иван Петрович Сорокин, чтой-то, словно не знаешь, благоприятели, чай?

Никакого Ивана Петровича Сорокина и во сне не видывал, но, догадываясь, что старуха хочет что-нибудь рассказать про Ивана Петровича, притворился.

— А что же? — спросил.

Старуха только махнула рукой.

— Ой, не говори уж лучше, такая у них этта пановщина была с барыней-то, что хоть до нехорошего... Мирила, мирила их, да и полно!

— Повздорили! — заметил я.

— Шибко, — отвечала старуха, — в грошовом калаче дело вышло, барин-то скупенек; сам вон кузовья покупает, чтоб хошь копейку какую выторговать; ну и принес с базара грошовый калач, да и потчует барыню, а той не нравится, из того и пошло: «Ты, говорит, мне все делаешь напротив», а та стала корить: «Ты, говорит, душенька, меня только мякиной и кормишь», ну и почали, согрешила я, грешная, с ними.

— И что же? — спросил я.

— Ничего, побранились, — отвечала старуха; и потом, вдруг переменяв насмешливое выражение на грустное, произнесла печальным голосом: — Тетенька-то твоя, батюшка, Марья Николавна, померла.

— Какая тетенька Марья Николавна? — спросил я.

— Ой, да Ометкина-то, чтой-то в Питере-то всех перезабыл.

— Ну, баушка, провралась, такой тетки у меня не бывало, — проговорил я.

— На, аль взаправду это не тебе тетка-то? Так, так, так!.. Николаю Егорычу Бекасову, вот ведь чья она

тетка-то, — вывернулась старуха. — Похороны, сударь, были богатеющие, совершали, как должно, не жалеючи денег. Что было этого духовенства, что этой нищей братии!.. — продолжала она, поджигая руки и приготовляясь, кажется, к длинному рассказу. Но в это время из соседней комнаты послышался треск и закричал сиплый голос:

— Пусти меня, кто меня смеет вязать. Ванька... хозяин мой... подлец, дай водки! Пусти меня... и снова треск.

— Успокойте себя, Владимир Васильич, просим вас покорнейше, сусните хоть немножко, право слово, вам легче будет! — отвечал фистулой другой голос.

— Легче? Легости мне не надо. Я, значит, гуляю, а ты подлец — вот весь мой разговор с тобой, и кончено! — произнес сиплый голос и потом запел:

Гусар, на саблю опираясь,
В глубокой горести стоял!

— Кто там такой? — спросил я.

— Охотник, батюшка... мужички в рекруты везут сдавать за себя... охотник загулял, — отвечала хозяйка.

— Что же трещит там такое?

— Ну, да хмелен уж очень, так посвязали его... опасаются тоже, чтобы чего не случилось, сюда-то уж приехал до зелена змея пьяный, да и здесь еще полштофа выпил, ну так и опасаются, посвязали.

— В таком случае, тетка, пусти меня в избу, здесь угарно, да и пьяный, — сказал я, вставая.

— Батюшка, да в избе-то тараканы, морозила, морозила, не переводятся окаянные, да и только.

— Нет, ничего, я не боюсь тараканов.

— Ну, как изволишь, — отвечала старуха и стала г-звожать меня, бормоча:

— Опасаются тоже, пятьсот рублей уж прогулял, пожалуй, еще облопается — и пропали денежки.

Изба, куда я вошел, была большая и обрядная, стены струганные, печь белая, перегородка от нее дощаная, лавки и поллицы чисто вымытые. В переднем углу под образами стоял стол, за которым сидел старик с бритой бородой, с двумя седыми клочками волос на висках, с умным выражением в лице и, как видно, слепой. Одег он был в синий, старинного покроя, суконный сюртук,

из-под которого виднелась манишка с брыжами и кашемировый полосатый жилет, тоже, должно быть, очень старинный. Весь этот ветхий костюм его был чист и бережен наперекор, кажется, самому времени. Рядом с ним помещалась тоже очень опрятная и благообразная старушка, в худеньком старом капоре и в ситцевом ваточном капоте. На первый взгляд я подумал, что это бедные дворяне. При входе моем старушка сейчас встала, сказала что-то старику, тот приподнялся, и оба поклонились мне.

— Садитесь, пожалуйста, место будет, — сказал я.

— Ничего, сударь, — отвечала старушка каким-то жеманным голосом, отодвигая свои скудные пожитки в мешочке.

— Сидите, пожалуйста, — повторил я.

Старик прислушался к моим словам и, ощупав с осторожностью слепца лавку, сел, а потом, опершись на свою клюку, уставил на меня свои мутные глаза; старушка не садилась и продолжала стоять в довольно почтительной позе. Я догадался, что это не дворяне.

— Куда едете, любезные? — спросил я.

— В губернский город, милостивый государь, — отвечал старик печальным голосом.

— Дедушки, батюшка, охотника этого; провожают его... дедушки, — подхватила хозяйка, ставившая на стол самовар.

— Деды этого молодца? — сказал я.

— Деды, — отвечал, глубоко вздохнув, старик и потупил свою седую голову.

— А званья какого?

— Мещане, ваше высококордие.

— Из роду мещане?

— Никак нет-с, напредь того были господские люди.

— Не в эком бы месте внуку Якова Иваныча надо быть, — вмешалась хозяйка, — вот при нем, при старичке, говорю, — продолжала она, — в свою пору был большой человек, куражливый. Приедет, бывало, на квартиру, так знай, хозяйка, что делать, не подавай вчерашнего кушанья или самовар нечищенный.

Старик горько улыбнулся.

— Не думали и мы, сударыня, что наше родное детище будет таким, — проговорила старушка своим жеманным и несколько плаксивым тоном.

— Что говорить, мать моя, что говорить! — подхватила хозяйка, тоже плачевным тоном.

— Остался после дочери моей родной, — продолжала старушка, — словно ненаглядный брильянт для нас; думали, утехой да радостью будет в нашем одиночестве да старости; обучали как дворянского сына; отпустили в Москву по торговой части к людям, кажется, хорошим.

— Что говорить, что говорить, мать моя, — подхватила еще раз хозяйка.

— Что ж он, загулял там? — спросил я.

— Бог знает, сударь, как сказать, хозяева ли обижали, или сам себя не поберег, — отвечала старушка.

Старик горько улыбнулся и перебил жену:

— Он еще с детства себя не берег, оттого, что в баловстве родился и вырос; другие промышленники по этому же делу, еще в мальчиках живши, в дома присылают, а наш все из дому пишет да требует: посылали, посылали, наконец, сами в разоренье пришли. А тут слышим, что по таким делам пошел, что, пожалуй, и в острог попадет. Стали писать и звать, так только через два года явился: пришел наг и бос. Обули, одели, думая, что в наших глазах исправленье будет, а вместо того с первой же недели потащил все из дому в кабак...

С каждым словом в голосе старика слышалось более и более строгости, а на глазах старушки навернулись слезы.

— Чьих же вы господ были? — спросил я, чтобы прервать этот, видимо, тяжелый для них разговор.

— Господ мы были: госпожи гоф-интенданши Пасмуровой, — отвечал слепец внушительно.

— Гоф-интендантши Пасмуровой, — повторил я, припоминая, что мне еще матушка рассказывала что-то такое о гоф-интендантше Пасмуровой, как о большой, потогдашнему, барыне.

— Ваша госпожа была здесь довольно знатное и известное лицо? — сказал я.

При этом вопросе лицо старика окончательно просветлело.

— Госпожа наша, — начал он, не торопясь и с ударением, — была, может, наипервая особа в России: только званье имела, что женщина была; а что супротив их ни один мужчина говорить не мог. Как ими сказано, так и быть должно. Умнейшего ума были дама,

— Хорошо, говорят, жила, открыто? — спросил я.

— По-царски или как бы фельдмаршалше какой подбает. Своей братьи помещиков круглый год неразъезжая была. В доме сорок комнат, и то по годовым праздникам тесно бывало. Словно саранчи налетит с мамками, с детками, с няньками, всем прием был, — заключил старик каким-то чехвальным тоном. Я понял, что передо мной один из тех старых слуг прежних барь, которые росли и старелись, с одной стороны, в модном, по тогдашнему, тоне, а с другой — под палкой...

— Ты, верно, управителем был? — спросил я.

— Я был, сударь, — отвечал старик, зажимая глаза и как бы собираясь с мыслями, — был, по-нашему, по-старинному сказать, главный дворецкий: одно дело — вся лакейская прислуга, а их было человек двадцать с музыкантами, все под моей командой были, а паче того, сервировка к столу: покойная госпожа наша не любила, чтобы попросту это было, каждый день парад! а другое: зрение оне слабое имели, и по той причине письма под диктовку их писал, по делам тоже в присутственных местах хождение имел, так как я грамоте хорошо обучен и хоть законов доподлинно не знаю, а все с чиновниками мог разговаривать, умел, как и что сказать; до пятидесяти лет, сударь, моей жизни, кроме шелковых чулков и тонкого английского сукна фрака, другого платья не нашивал. Дай бог царство небесное, пользовался милостями госпожи моей!

— Нынче уж таких господ нет, — сказал я.

— Никак нет-с, да и быть, сударь, не может. Не имею чести знать, кто вы такие, а по слепоте моей и лица вашего не вижу; таких господ уже нет! — отвечал старик, как бы удерживаясь говорить со мною откровенно.

— Я здешний помещик, и мне бы очень хотелось порасспросить тебя о старых господах.

Старик вздохнул.

— Девяносто седьмой год, сударь, живу на свете и большую вижу во всем перемену: старые господа, так надо сказать, против нынешних орлы перед воробьями! — проговорил он, значительно мотнув головою.

— Отчего же это? — спросил я.

Старик в раздумье развел руками.

— Первое дело, — начал он, — что все состоянием-то как-то порасстроились, да и духу уж такого не имеют;

у нынешних господ как-то уж совсем поведенье другое, а прежде жили просто; всего было много: хлеба, скота, винная седка тоже своя, одних наливок — так бочками заготовлялось, медов этих, браг сладких! Веселились да гуляли или теперь, бывало, этих шутов и шутих свезут всех вместе у кого-нибудь на празднике, да и напустят друг на дружку, те и дерутся, забавляют господ, а нынче дворянство как-то и компании друг с другом мало ведут, всё больше в книгах забаву имеют.

На этом месте старик приостановился, но потом вдруг начал с одушевлением:

— Да и много ли нынче господ по усадьбам проживают? Разве какой старый да хворый, а то все, почесть, на службе состоят, а уж из этаких-то больших персон, так и нет никого; хошь бы теперь взять: госпожа наша гоф-интенданша, — продолжал он почти с умилением, — какой она гонор по губернии имела: по-старинному наместника, а по-нынешнему губернатора, нового назначают, он еще в Петербурге, а она уж там своим знакомым министрам и сенаторам пишет, что так как едет к нам новый губернатор, вы скажите ему, чтобы он меня знал, и я его знать буду, а как теперь дали ей за известие, что приехал, сейчас изволит кликать меня. Я являюсь, делаю мой реверанс. «Слушай, говорит, Яков Иванов! — в нос всегда изволили немного выговаривать, — слушай! Приехал новый губернатор, возьми ты лучшую тройку, поезжай ты в Кострому, ступай ты к такому-то золотых дел мастеру, возьми по моей записке серебряную лохань, отыщи ты, где хочешь, самолучших мерных стерлядей, а еще приятнее того — живого осетра, явись ты от моего имени к губернатору, объяви об себе, что так и так, госпожа твоя гоф-интенданша, по слабости своего здоровья, сама приехать не может, но заочно делает ему поздравление с приездом и, как обывательница здешняя, кланяется ему вместо хлеба-соли рыбой в лохане». Тот принимает, мне сейчас отличное угощение делают, госпоже нашей изволят они писать письмо.

— Дружелюбие, значит, и началось, — заметил я в тон старику.

— Именно, что дружелюбие, слово ваше справедливое! — подхватил он, — по той причине, что как теперь его превосходительство начальник губернии изволят на ревизию посхать, так и к нам в гости, и наезды бывали

богатеющие: нынешние вот губернаторы, как видали и слышали, с форсом тоже ездят, приема и уважения себе большого требуют, страх хоша бы маленьким чиновникам от них великий бывает, но, зная все это по старине, нынешние против того ничего не значат.

— А прежде что ж? — спросил я.

Яков Иванов пригнул на некоторое время голову на сторону и начал:

— Прежде, сударь, бывало, губернатор по губернии ехал, аки владыко земной: что одних чиновников этих при особе его состояло, что этого дворянства по дороге пристанет. Один был, не смею имени его наименовать, так с супругой еще всегда изволили по губернии ездить, а те, с позволения сказать, по женской своей слабости, к собачкам пристрастие имели. Про собачек этих особый экипаж шел, а для охранения их нарочный исправник ехал, да как-то по нечаянности одну собачку и потерял, так ее превосходительство губернаторша, невзирая на свой великий сан, по щеке его ударила при всей публике да из службы еще за то выгнали, времена какие были-с.

— Хорошие были времена, простые! — заметил я.

— Просто было-с, — заключил Яков Иванов, потом, подумав, продолжал: — Бывало, сударь, вся эта компания наедет к нам, сутки трои, четыре, неделю гостят, и теперь какую бы губернатор в доме вещь ни похвалил: часы ли, картину ли, мису ли серебряную, я уж заранее такой приказ имею, что как вечер; так и несу к ним в опочивальню, докладываю, что госпоже нашей очень приятно, что такая-то вещь им понравилась, и просят принять ее.

— Неужели же старуха все это из чехвальства делала? — спросил я.

— Чехвальство чехвальством, — отвечал Яков Иванов, — конечно, и самолюбие они большое имели, но паче того и выгоды свои из того извлекали: примерно так доложить, по губернскому правлению именье теперь в продажу идет, и госпожа наша хоть бы по дружественному расположению начальников губернии, на какое только оком своим взглянут, то и будет наше. Коли хоша я, поверенный госпожи Пасмуровой, пришел на торги в присутствии, никто уж из покупателей не сунется: всяк знает, что начальник губернии того не желает. Поблагодаришь кого и чем следует, а за именье, что дали, то и ладно.

Белогривское именье нам, сударь, этак попало по сто двадцати рублей в те времена, а я приехал принимать вотчину да по двести рублей с мужиков старой недоимки собрал, и извольте считать: во что оно нам пришло!

Яков Иванов потупился и вздохнул.

— Старик! ведь это грех, ведь это то же воровство, — воскликнул я.

— Грех, сударь; в нищенстве и слепоте моей все теперь вижу и чувствую. В заповеди господней сказано: не пожелай дома ближнего твоего, ни села его, ни раба его, а старушка наша имела к тому зависть, хотя и то надобно сказать, все люди, все человеки не без слабости.

На последние слова он сделал более сильное ударение.

— Выгодчики были с барыней-то своей, еще какие! — вмешалась вдруг возившаяся около печки Грачиха, — про именье рассказываешь — нет, ты лучше расскажи, как вы дворянина за свою вотчину в рекруты отдали, — продолжала она, выходя из-за перегородки и вставая под полати, причем взялась одной рукой за брус, а другою уперлась в жирный бок свой.

Яков Иванов немного нахмурился.

— Как дворянина? — спросил я.

— А и сдали, — отвечала Грачиха, — не любила, сударь, их госпожа генеральша мужиков своих под красную шапку отдавать, все ей были нужны да надобны, так дворянин на ту пору небогатенькой прилучился: дурашной этакой с роду, маленького, что ли, изурочали,ловища большая, плоская была, а разума очень мало имел: ни счету, ни дней, ничего не знал. Ну, а дворянством своим занимался тоже, разумел это. Вот соколики эти и подъехали к нему и стали его уговаривать: «Ты, говорят, барин, а живешь по работникам у мужиков, лучше бы в службу шел. Теперь, говорит, ты грамоте не поучен, и тебя по дворянскому роду не примут, а ступай за нашу вотчину, а после и объявишь об себе, тебя как дворянина и поведут». Тот сдуру-то, родных тоже никого не было, чтобы разговорить да посоветовать, а они его винищем поили да пряниками кормили, сдуру и согласился. Привели баринка в присутствие, объявили за простого мужика, крикнули: «Лоб!», надели лямку и ступай, значит, марш заодно с рекрутами. Города через три али четыре тот и заявляет своему начальнику: «Я, говорит,

дворянин». — «Какой, говорят, гы дворянин...» — попугал его маненько, а он все свое: дворянин да и только; и пошел к начальству выше, объявляет то же. Те смотрят по бумагам — видят — мужик, отрапортовали его уж как надо. Сердечный баринок наш видит, что, как о дворянстве объявит, — хлещут, взял да и отступился, отрубил за их вотчину тридцать пять годков. Докуменщики какие были. Может, за эти выдумки родной кровью своей теперь и платится, — заключила Грачиха вполголоса, указав глазами на Якова Иванова, который, в свою очередь, весь ее рассказ слушал, потупив голову и ни слова не возражая. Я постарался опять переменить разговор и спросил старика:

— Кому ж именье госпожи вашей досталось? Я видел, усадьба какая-то разоренная, запущенная, дом развалился?..

— В опеке, сударь, наше именье состоит, — отвечал он, видимо довольный этим переходом. — Ну и опекуны тоже люди чужие: либо заняться ничем не хотят, либо себе в карман тащат, не то, что уж до хозяйства что касается, а оброшников и тех в порядке не держат: пьяницы да мотуны живут без страха, а которые домà побогаче были, к тем прижимы частые: то сына, говорят, в рекруты отдадим, то самого во двор возьмем.

— И откупайся, значит, мужичок. Прежде-то уж вы больно много денег нажили, — подхватила Грачиха.

Яков Иванов не обратил никакого внимания на ее слова и продолжал:

— Против чиновников тоже вотчина никакой заступы не имеет. Прежде, бывало, при покойной госпоже дворовые наши ребята уж точно что народ был буйный... храмового праздника не проходило, чтобы буйства не сделали, целые базары разбивали, и тут начальство, понимаячи, чьи и какой госпожи эти люди, больше словом, что упроят, то и есть, а нынче небольшой бы, кажется, человек наш становой пристав, командует, наказует у нас по деревням, все из интересу этого поганого, к которому, кажется, такое пристрастие имеет, что тот самый день считает в жизни своей потерянным, в который выгоды не имел по службе. Я как-то раз, встретивши его в городе, говорю: «За что и за какие вины, говорю, сударь, вы так уж очень вотчину покойной госпожи моей обижаете?» — «Ах, говорит, старец почтенный, где нынче нам, земской

полиции, стало поначальствовать, как не в опекунских имениях: времена пошли строгие: за дела брать нельзя, а что без дела сорвешь, то и поживешь», смеется-с!

— Того и стойте; на крапиву надобен и мороз, а то бы она долго жглась, — проговорила, подмигнув глазом, Грачиха.

— На каком же основании именье ваше в опеке, за долги, что ли? — спросил я.

— Малолетних, сударь, теперь наше имение. За малолетними, за правнуками госпожи нашей числится оно, — отвечал Яков Иванов.

— А сыновья и внучата где же?

— Сын их единородный, — начал старик с грустною, но внушительною важностью, — единая их утеха и радость в жизни, паче всего тем, что, бывши еще в молодых и цветущих летах, а уже в больших чинах состояли, и службу свою продолжали больше в иностранных землях, где, надо полагать, лишившись тем временем супруги своей, потеряли первоначально свой рассудок, а тут и жизнь свою кончили, оставивши на руках нашей старушки свою дочь, а их внуку, но и той господь бог, по воле своей, не дал долгого веку.

С каждым словом старика я видел, что лицо Грачихи больше и больше принимало насмешливое выражение.

— Эх, полно, полно, Яков Иваныч, не ты бы говорил, не я бы слушала! — воскликнула она, махнув рукою.

У слепца как будто бы уши поднялись при этом восклицании.

— Что ж вам так слова мои не по нраву пришли? — проговорил он.

— А то не по нраву, что не люблю, коли говорят неправду, — отвечала Грачиха, — не от бога ваши молодые господа померли, про сына, пускай уж, не знаем, в Питере дело было, хоть тоже слыхали, что из-за денег все вышло: он думал так, что маменька богата, не пожалест для него, взял да казенным денежкам глаза и протер, а выкупу за него не сделали. За неволю с ума спятишь, можо, не своєю смертью и помер, а принял что-нибудь, — слыхали тоже и знаем!

— Вот вы что знаете, чего и мы не знаем, — возразил Яков Иванов.

— Шалишь, дедушка, знаешь и ты, только не считаешь. А что про вашу барышню, так уж это, батюшка, извини, на наших глазах было, как старая ваша барыня во гроб ее гнала, подсылы делала да с мужем ссорила и разводила, пошто вот вышла не за такого, за какого я хотела, а чем барин был худ? Из себя красивый, в речах складный, как быть служащий.

Яков Иванов насильно улыбнулся.

— По вашему, сударыня, женскому рассудку, может быть, и так, — произнес он с полупрезрительной миной, — а что как мы понимаем, так этот господин был нашей барышне не пара.

— Знаем, сударь Яков Иваныч, — перебила Грачиха, — понимаем, батюшка, что вы со старой госпожой вашей мнением своим никого себе равного не находили. Фу ты, ну ты, на, смотри! руки в боки, глаза в потолоки себя носили, а как по-другому тоже посудить, так все ваше чванство в богатстве было, а деньги, любезный, дело нажитое и прожитое: ты вот был больно богат, а стал беден, дочку за купца выдавал было, а внук под красную шапку поспел.

При этом намеке все молчавшая до того старушка, жена Якова Иванова, вспыхнула и проговорила:

— И вам, сударыня, не сказано, как век проживете: теперь вот при состоянии, а может, тоже не лучше нас дойдете.

— Да что мне знать-то? Знать мне, матушка Алена Игнатьевна, нечего: коли по миру идти — пойду, мне ничего. Э! не такая моя голова, завивай горе веревочкой: лапотницей была, лапотницей и стала! А уж кто, любезная, из салопов и бархатов надел паневу, так уж нет, извини: тому тошно, ах, как тошно! — отрезала Грачиха и ушла из избы, хлопнув дверь.

Алена Игнатьевна еще более покраснела; старый дворецкий продолжал насильно улыбаться. Мне сделалось его жаль; понятно, что плутовка Грачиха в прежние времена не стала бы и не посмела так с ним разговаривать. Несколько времени мы молчали, но тут я вспомнил тоже рассказы матушки о том, что у старухи Пасмуровой было какое-то романическое приключение, что внучка ее влюбилась в молодого человека и бежала с ним ночью. Интересуясь узнать подробности, я начал издали:

— Что эта дура Грачиха врет, что барыня ваша заела внучкин век! — сказал я будто к слову.

— На ветер лаять все можно, — отвечал Яков Иванов, — а коли человек в рассудке, так он никогда сказать того не может, чтоб госпожа наша внучки своей не любила всем сердцем, только конечно, что по своей привязанности к ним ожидали, что какой-нибудь принц или граф будет им супругом, и сколь много у нашей барышни ни было женихов по губернии, всем генеральша одно отвечала: «ищите себе другой невесты, а Оленька моя вам не пара, если быть ей в замужестве, так быть за придворным». И было бы так: невеста наша была не заурядная, хоть бы насчет состояния, полторы тысячи душ впереди, сама ученая по-французски, по-немецки, из себя красавица.

— Красоты, кажется, была такой, — вмешалась Алена Игнатьевна, — что редко на картинках таких красавиц изображают. Приехала тогда из ученья из Питербурга к бабеньке: молоденькая, розовая, румяная, платья тогда, по-старинному сказать, носили без юбок, перетянутся, волосы уберут, причешут, братец мне родной — парикмахер — был нарочно для того выписан из Питербурга, загляденье для нас, рабынь, было: словно солнце выйдет поутру из своих комнат.

— За кого же она вышла? — спросил я.

Яков Иванов при этом вопросе только покачал головой.

— Соседка тут была около нас, бедная дворянка, — отвечал он, — так за сына ее изволила выйти, молодого офицера, всего еще в прапорщичьем чине, и так как крестником нашей старой госпоже приходился, приехал тогда в отпуск, является: «Маменька да маменька крестная, не оставьте вашими милостями, позвольте бывать у вас». Ну и генеральша наша принимала, разумея так, что еще мальчик. «Поди, Феденька, подай моську, позови Якова, вели давать чай...» Почесть что держала на посылках, а он вообразил себе другое. Барышне нашей, по молодости ее лет, также приглянулся, девица была еще неопытная, хотя в богатстве родилась и выросла, а людей тоже мало видала.

— Как же у них все это шло, хотелось бы мне знать? — сказал я.

— Вначале я и не знаю хорошенько, без меня это было, в Питербурге тогда целый год по делам госпожи

хлопотал, — отвечал Яков Иванов, — вон она вам лучше расскажет, на ее глазах все это происходило, — прибавил он, указав головой на жену.

— Как же это, Алена Игнатьевна, а? — обратился я к старушке.

Она потупила жеманно голову и начала:

— Дело, сударь, происходило: ездил да ездил к нам молодой барин Федор Гаврилыч, и сердце сердцу весть подает — не то, что в барском роде, а и в нашем холопском. Барышня наша, так доложить, на фортепьянах была большая музыканша, а Федор Гаврилыч на флейте играли, ну и стали тешить себя, играли вместе, старушка даже часто сама приказывала: «Подите, дети, побренчите что-нибудь», или когда вечером музыкантам прикажут играть, а их заставит танцевать разные мазурки и леко-сезы, а не то в карты займутся, либо книжку промеж собой читают. Сад был тоже у нас большой, аллеи темные, в другую солнце круглый день не заглянет, бабенка после обеда лягут почивать, а они по аллеям этим пойдут гулять с глазу на глаз, очень было заметно даже для нас, для прислуги, — все, почесть, видели и знали.

— Если бы я тем временем дома был, дело бы не пошло так далеко; я на первых бы порах доложил госпоже, — перебил Яков Иванов.

— Докладывать госпоже, Яков Иваныч, как бы еще изволили оне принять; сами знаете, не любила, чтоб их учили, а больше того и барышню за их ангельскую доброту и кротость жалели, — возразила вполголоса Алена Игнатьевна и снова потупила свои мягкие и добрые глаза.

— Каким же образом открылось? — спросил я.

— Через маменьку Федора Гаврилыча, Аграфену Григорьевну, — продолжала Алена Игнатьевна, — люди их тоже после рассказывали, так как стала она говорить сыну: «Приехал ты через кои веки к матери на побывку, а все свое время проводишь у Катерины Евграфовны», а он ей на это говорит: «Маменька, говорит, я должен вам сказать, что мне очень нравится Ольга Николавна, а также и я им». Аграфена Григорьевна очень тому обрадовалась.

— Еще бы, — заметил с насмешкою Яков Иванов, — по пословице: залетели вороны в большие хоромы!

Только бы прежде надо было подумать, что такое они значут и что значит наша барышня.

— Свое детище, Яков Иваныч, до кого ни доведись, всякому дорого и мило, — скромно и с почтением возразила Алена Игнатьевна и потом снова обратилась ко мне. — Думавши, может быть, так, что госпожа наша Федора Гаврилыча изволят ласкать и принимать, они и понадеялись.

Старый дворецкой, как бы не утерпевший с досады, опять перебил жену:

— Деревня, деревня и есть: барыня эта, Аграфена Григорьевна только что из дворянского рода шла, а женщина была самого деревенского, бабьего рассудку.

— Что ж они, сватались? — спросил я.

— Как же-с, — отвечал Яков Иванов, и лицо его окончательно приняло какое-то озлобленное выражение. — В самый, кажется, летний Николин день приехала к нам эта Аграфена Григорьевна, и что-то уж очень нарядная. Генеральша наша и смеется ей: «Что это, мать моя, как расфрантилась?» Она поцеловала у ней ручку и говорит: «Как же, говорит, ваше превосходительство, мне в этакой дом ехать не нарядной». Севши после этих слов, по приглашению нашей госпожи, в кресла, заводит разговор о сыне своем. «Очень, говорит, Катерина Евграфовна, вами благодарна, что вы моего Феденьку изволите так принимать». — «Отчего, — говорит на это госпожа наша, — мне его не принимать: чем ему у тебя там по глупым вашим поседкам по избам бегать, пускай лучше у меня бывает, по крайней мере насчет обращения чем-нибудь заняться может, а он мальчик неглупый и, кажется, добрый». Похвалила, знаете, больше из жалости, а это еще больше придало гонору этой госпоже Аграфене Григорьевне. «Да, говорит, матушка Катерина Евграфовна, должна я, грешница, благодарить бога: хотя в супружестве большого счастья не имела (потому что, с позволения доложить, покойный муж ее, занимаясь сам хмелем, через два дни в третий бил ее за ее глупость). Весь свой век изжила в горестях и недостатках (проще того сказать, на постных щах круглый год), но зато, говорит, за все это в сыне моем имею теперь утешение. Службу свою, по желанию моему, он оставляет и будет жить при мне, и теперь бы такое с ним наше намерение,

чтобы он женился». Госпожа наша только плечами пожала и, так как просто и строго с такими маленькими и необразованными дворянами изволила обращаться, прямо ей и говорит: «Что ты, глупая фефёла, вздумала? Малый без году неделя из яйца вылупился, а она уж из службы его взяла и женить хочет. Да разве нищих разводить и без вас мало! И кто теперь, какая дура за него пойдет?» Ну, и кабы эта безрассудная барыня Аграфена Григорьевна имела бы хоть сколько-нибудь разуму, ей бы и замолчать, а она стала продолжать разговор и говорит уж прямо: «Матушка, говорит, Катерина Евграфовна, дело уж сделано, и теперь бы для нас было большое счастье, если бы Феденька мой удостоился получить руку вашей Ольги Николавны». Старушка наша, по своему великодушию, и тут стерпела и только устала на нее свои очки, покачала головой и тихо сказала: «Ах ты, говорит, дурища, дурища набитая; понимаешь ли ты, что ты говоришь? Твоему отродью жениться на моей Оленьке? Да как вы осмелились такие мысли иметь?» Но глупому человеку, видно, хоть кол на голове теши, ему все равно. Аграфена Григорьевна и этого ничего не поняла и все продолжает свое: «Матушка, говорит, Катерина Евграфовна, как нам таких мыслей не иметь, когда ваша Ольга Николавна дали уж Феденьке слово, а если, говорит, насчет состояния, так он не нищий, у него после моей смерти будет двадцать душ». Удивить и пленить чем госпожу нашу думала! Я тогда чай подавал и только обмер, видевши, что у старушки нашей и пенка уж на губах выступила. «Господи, что только будет», — думаю; но она и тут себя сдержала, стукнула своей клюкой и только крикнула: «Вон из моего дома!» Сваха, как сидела, так и вскочила, накинула себе на голову свою шаль и почесть что без салопу уехала; мы, лакеи, уж и не провожали, и этого почету даже не отдали.

Проговоря это, старик утомился и замолчал, и только по выражению его лица можно было догадаться о волновавшей его глубокой досаде на то, что все шло и делалось не так, как рассчитывала и желала госпожа его и он.

— Вот, я думаю, гроза-то разразилась над бедной вашей барышней? — сказал я, обращаясь более к Алене Игнатьевне.

— Не без того, сударь, — отвечала она, взглянув на мужа и как бы желая угадать, нравятся ли ему ее слова. — Сами мы не слышали, — продолжала Алена Игнатьевна вполголоса, — а болтали тоже после, что Ольга Николавна прямо бабеньке сказали, что ни за кого, кроме Федора Гаврилыча, не пойдут замуж, и что будто бы, не знаю, правда или нет, старушка, так очень рассердившись, ударила их по щеке.

Последние слова Алена Игнатьевна произнесла уж почти шепотом и потом снова начала прежним голосом:

— Пришедши после того в гостиную, смотрим: Катерина Евграфовна ушла в свою моленную, а барышня лежит середь полу, без всяких чувств. Словно мертвую отнесли мы их в мезонин, а от Катерины Евграфовны слышим такой приказ, чтобы и ходить за ними никто не смел, но, видевши их в таком положении, я осталась при них, стала им головку уксусом примачивать. Поопаматовались, узнали меня. «Где я, говорит, Аленушка, и что со мной было?» Я им докладываю. «Ах, говорит, Аленушка, зачем я, несчастная, ожила опять на белой свет», а сами всплеснули ручками да так и залились слезами. Я стою у них в ножках у кровати, и что ведь, мы, сударь, рабы — дуры, какие наши разговоры могут быть... сказки мои Ольга Николавна любили слушать. «Не прикажете ли, говорю, сударыня, сказочку вам рассказать?» Она сначала рассмехнулась и только головкой помотала, а потом опять заплакали. Чем их утешать да уговаривать и сама не знаю! Взяла да Федора Гаврилыча и похвалила, что умен и хорош он очень, так не поверите, сударь, словно барышня моя ожила, дыханье даже перевести хорошенько не могут. «Нравится, говорит, он тебе, Аленушка?» — «Нравится, говорю, сударыня, и вся наша прислуга их любит и хвалит». — «Вот видишь, говорит, вы — служанки, а хвалите его, а бабушка так нет... видно, она, говорит, не хочет моего счастья, а хочет уложить меня в могилу, — бог с ней». — «Полноте, говорю, сударыня, как это может быть: бабенька вас любит и так только, может быть, на первых порах изволили разгневаться, а после сердце их отойдет. Коли, говорю, Федор Гаврилыч вам мил, что ж ей тому препятствовать». — «Ах, нет, говорит, Аленушка, он бедный и незнатный, а бабушка моя гордая».

— Что же старая ваша барыня? — спросил я.

— Старушка с виду ничего не показывали: скрытны чрезвычайно были-с! — отвечала Алена Игнатьевна. — Барышня пролежали в постеле целый день, на другой день тоже: пищи никакой не принимают, что ни на есть чашка чаю, так и той в день не выкушают, сами из себя худеют, бледнеют, а бабенька хоть бы спросили, точно их совсем и на свете не бывало; по тому только и приметно, что сердце ихнее болело, что еще, кажется, больше прежнего строги стали к нам, прислуге. Старая девица за ними ходила, любимица ихняя; бывало, всех нас девушек кличкой кликали, а ту всегда по имени и отчеству называли, и на ту изволили за что-то разгневаться и сослали со своих глаз в скотную; приказчику тоже, что-то неладно на докладе доложил, того из своих рук изволили клюкой поучить. Мы уж, горничные девушки, не знаем, как и ступить, того и ждем, что над кем-нибудь гнев свой сорвут.

— Все бы это ничего, ничего бы дальше этого не пошло, если бы не эта мерзкая девчонка, фрелина нашей барышни: от ней весь сыр-бор потом и загорелся, — перебил резким тоном Яков Иванов.

В старческом дрожащем его голосе так и слышалась накипевшая желчь.

— Что ж тут горничная сделала? — спросил я.

— Передатчицей стала, — отвечал Яков Иванов прежним тоном, — записки стала переносить туда и отсюда к барышне — ветренная, безнравственная была девчонка, и теперь, сударь, сердце кровью обливается, как подумаешь, что барышня наша была перед тем, истинно сказать, почтительной и послушной внукой, как следует истинной христианке, а тут что из нее вдруг стало: сама к бабеньке не является, а пишет письмо, что либо бегут с своим нареченным женихом, либо руки на себя наложат. Каково было старушке читать эти строки! Конечно, что оне и тут своего геройского духа не потеряли. При мне это было, стукнули только своей табакеркой золотой по столу: «так не бывать же, говорят, ни тому, ни другому», а надобно спросить, что чувствовала их душа, зная, что они делали, и видя, чем им за это платят. Ваше высокоблагородие сами, может быть, имеете детей и можете понять, сколь легка для их родительского сердца неблагодарность за все об них попечения? Может быть,

до сей поры кости нашей госпожи и благодетельницы содрогаются в могиле от этого!

Старик произнес последние слова эти с какою-то драматическою торжественностью и снова поникнул головою, но губы его шевелились, и, как мне казалось, он шептал молитву за упокой души его благодетельницы. Я между тем смотрел внимательно на Алену Игнатьевну. Лицо у ней горело, и она сидела, потупив свои добрые глаза. Я видел, что нравственное участие ее было на стороне барышни Ольги Николавны, и она не смела только возражать мужу, но, кажется, думала иначе, как он думает. А между тем, вспомнилось мне, у этих стариков на плечах их собственный внук, пропившийся и продавшийся в солдаты, но они об нем как будто бы и забыли, как забывают на минуту старую и давно терзающую болезнь. При этой мысли мне сделалось как-то совестно спрашивать их о господах, и беседа наша, вероятно бы, прекратилась, но спасибо Грачихе; как и когда она вернулась в избу, я не видал, только вдруг опять явилась из-за перегородки и с лицом, еще более покрасневшим.

— Под караулом барышню держали, словно арестантку какую, — начала она с какой-то цинической усмешкой, — три старухи были приставлены в надсмотрщицы, чтобы, коли одна спит али дремлет, так чтоб другая стерегла, на молодых уж не надеялись, горничную девушку ее на поселенье присудили было сослать. — При последних словах Грачиха кивком головы указала на Якова Иванова. — Да та тоже не глупа девка, хвост им показала, через двадцать лет уж после в скитах нашли. Немало страму было на весь околоток, и сколь, кажется, ни скрытно делали, а тоже все знали и все молодую барышню и Федора Гаврилыча жалели.

— Все жалели, — подтвердила шепотом Алена Игнатьевна, вздохнув и подняв глаза кверху.

— Как, мать, не жалеть-то! — подхватила Грачиха. — Хоть бы наш барин Михайло Максимыч любил Федора Гаврилыча; как в город ехать, все уж вместе, и у покойного тятеньки кажинный раз приставали. Я еще молодая-молодохонька была, а тоже помню: покойный Михайло Максимыч все ведь со мной заигрывал, ну и тот раз, как треснет меня по спине, да и говорит: «Катюшка, говорит, научи нас, как нам из Богородского барышню украсть?» — «А я, говорю, почем знаю». — «Али,

говорит, дура, тебя никогда не воровывали, а ты все своей волей ходишь?» — «Все, говорю, своей волей хожу»; так оба и покатались со смеху. Врунья я смолоду была, да, пожалуй, и теперь такая.

— И теперь такая, — подтвердил я, — впрочем, ты про себя не рассказывай, а говори, как барышню украли, если знаешь.

— Знаю, все знаю, не такой человек Грачиха, чтоб она чего не знала, — отвечала толстуха, ударив себя рукой по жирной груди.

— Украли! — продолжала она, встряхнув головой и приподняв брови. — Хитрое было дело эким господам украсть. Старик правду говорил, что прежние баре были соколы. Как бы теперь этак они на фатеру приехали, не стали бы стариковские сказки слушать, а прямо, нет ли где беседы, молодых бабенок да девушек оглядывать. Барину нашему еще бы не украсть, важное дело... Как сказал он: «Друг! Феденька! надейся на меня, я тебе жену украду и первого сына у тебя окрещу!» Как сказал, так и сделал.

— Сделал?

— Сделал. Семь крестов носил он за свое молодечество, в полку дали! Тройка лошадей у него была отличнейшая, курьеркой так и звалась... «Моя, говорит, курьерка из воды сухого, из огня непаленного вынесет» — и вынашивала! Кучеренко, Мишутка был тогда, на семь верст свистал, слышно было; подъехали к Богородскому ночным временем, а метелица, вьюга поднялась, так и вьет и вьет, как в котле кипит. Мишутка сам после рассказывал: свис раз, другой, нет толку — ветром относит. Свечка, глядят, горит еще в мезонине, а уговор такой с барышней был, что, как свечка погаснет, значит, она на крыльцо вышла. Барин наш как шаркнет его по шиворотку. «Свисти, говорит, каналья, по-настоящему, по-разбойничьи!» Мишутка как верескнет, только грачи в роще с гнезд поднялись и закаркали. Глядь, свечка потухла. Федор Гаврилыч сейчас из пошевной вон, суметом через сад на красный двор и в сени. Глядит, барышня выскочила в одном капотчике. «Ах, говорит, душенька, Оленька, как это вы без теплого платья!» Сейчас долой с своих плеч свою медвежью шубу, завернул в нее свою миленькую с ручками и с ножками, поднял, как малого ребенка, на руки — и в пошевни. «Пошел!» — говорят.

Мишутка тронул было сразу, кореннаяхватила, трах, обе завертки пополам. «Батюшка, барин, говорит, завертки выдали!» Барин наш только вскочил на ноги, выхватил у него вожжи да как крикнет: «Курьерка, грабят!» — и каковы только эти лошади были: услышав его голос, две выносные три версты целиком по сумету несли, а там уж, смотрят, народ из усадьбы высыпал верхами и с кольями, не тут-то было: бари наши в первой приход в церковь и повенчанье сделали: здравствуйте, значит, честь имеем вас поздравить.

— Славно, старуха, рассказала! — воскликнул я.

— Э! — воскликнула в свою очередь Грачиха, — ты разбери-ка еще эту старуху, меня все баре любят, ей-богу.

— Постой, погоди, — перебил я, — священник, значит, был уже подговорен?

— Не знаю, чего не знаю, так не скажу, не знаю, — отвечала Грачиха.

— Какое, сударь, подговорен, — начал Яков Иванов, как бы погруженный, повидимому, в свои размышления, но, кажется, не пропустивший ни слова из нашего разговора. — Зная нашу госпожу, — продолжал он, — кто бы из духовенства решился на это, — просто силой взяли. Барин ихний, Михайло Максимыч, буян и самодур был известный.

— Буян не буян, а вашей барыне, сколь ни обидчица она была, не уступал, извините нас на том. Тягаться тоже с ним за Полянские луга вздумала, много взяла! Шалишь-мамонишь, на грех наводишь! Нечего, говорит, ваша взяла, только смотрите, чтобы после рыло не было в крови...

— Кому-нибудь одному уж, сударыня, речь вести, либо вам, либо мне, — возразил с чувством собственного достоинства старик.

— Перестань, Грачиха, — прикрикнул я, — рассказывай, Яков Иваныч.

— Что, сударь, рассказывать, — продолжал он, — не венчанье, а грех только был. Село Вознесенское, может быть, и вы изволите знать, так там это происходило; вбежал этот барин Михайло Максимыч к священнику. Отец Александр тогда был, Крестовоздвиженской прозывался, священник из простых, непоучный, а жизни хорошей и смиренной. «Молебен, батюшка, говорит, желаю

отслужить, выезжаю сейчас в Питербург, так сделайте милость, пожалуйста в божий храм». Священник, никакого подозрения не имевши, идет и видит, что церковь оптерта, у клироса стоит какая-то дама, платком сглуха закутанная, и Федор Гаврилыч. Как только они вошли, Федор Гаврилыч двери церковные на замок и ключ кладет себе в карман, а Михайло Максимыч вынимает из кармана пистолет и прямо говорит: «Ну, говорит, отец Александр, что вы желаете: сто рублей денег получить али вот этого? Вы, говорит, должны сейчас обвенчать Федора Гаврилыча на Ольге Николавне, а без того мы вас из церкви живого не выпустим». Что тут священнику прикажете перед эким страхом делать? Стал первоначально усовещивать — ничего во внимание не берут, только пуще еще грозят.

Тут старый слуга приостановился, покачал несколько раз головой, вздохнул и снова продолжал:

— Отец Александр на другой же день приезжал после того к нашей госпоже и чуть не в ноги ей поклонился. «Матушка, говорит, Катерина Евграфовна, не погубите, вот что со мной случилось, и сколь ни прискорбно вашему сердцу, я, как пастырь церкви, прошу милости новобрачным: бог соединил, человек не разлучает, молодые завтрашний день желают быть у вас». Генеральша наша на это только ему и сказала: «Вас, говорит, отец Александр, я не виню, но как поступить мне с моей внучкой, я уж это сама знаю».

— Что ж, молодые приезжали? — спросил я.

Яков Иванов усмехнулся.

— Как же-с, — отвечал он, — приезжали, прямо явиться не смели, около саду все колесили, человека наперед себя прислали с письмом от Ольги Николавны, но только ошиблись немного в расчете. Старушка даже и не прочитала его, а приказала через меня сказать, что как Ольга Николавна их забыли, так и она им той же монетой платят, хотя, конечно, сердце их родительское никогда не забывало. Это, может быть, знает один только бог, темные ночи да я, их доверенный слуга. Ольге Николавне за то, что она свою бабушку за всю их любовь разогорчили и, можно сказать, убили, не дал тоже бог счастья в их семейной жизни.

— Неправда, неправда, грех на душу, старичок, берешь, коли так говоришь! — воскликнула вдруг Грачи-

ха, — молодые господа начали жить, как голубь с голубкой, кабы не бедность да не нужда!

— А очень бедно они жили? — перебил я.

— Еще бы не бедно! На какие капиталы было жить? — отвечала с озлобленным смехом Грачиха. — Старушка, мать Федора Гаврилыча, вестимо, все им отдала, сама уж в своей усадьбишке почесть что с людишками в избе жила, спала и ела. Именье небогатое было, всего-на-все три оброшника, да и те по миру ходили. Больше все наш барин вспомоществования делал и квартиру им в городе нанимал, отоплял ее, запасу домашнего, что было, посылал зачастую. Ольгу Николавну он больно уж любил и после часто говаривал: «Я бы, говорит, сам женился на Ольге Николавне, да уж только бабушка ее мне противна, и она полюбила другого». Барин наш простой ведь был и к нам, мужикам, милостивый — только гулящий.

— Жизнь уж самая бедная молодых господ была, — вмешалась Алена Игнатьевна. — Голубушка наша, Ольга Николавна, рукодельем своим даже стали промышлять, кружева изволили плести и в пальцах вышивали и продавали это другим господам; детей тоже изволила двойников родить на первый год, сами обоих и кормили; как еще сил их хватило, на удивленья наше!

— За чем пошла, то и нашла! — заметил Яков Иванов.

— Мало ли, любезный, кто за чем ходит, да не все то находят! — возразила ему Грачиха, разводя руками. — Федор Гаврилыч попервоначалу ни за чем дурным не ходил, и все его старание было, чтобы хоть какую-нибудь службу дали, да уж только заранее инструменты были все подведены. Барин наш все ведь нам рассказывал. Думал было также он, чтобы исправником Федора Гаврилыча сделать, ну и дворянство обещать обещали, а как пришло дело к балтировке, и не выбрали: генеральши ихней испугались, чтоб в противность ей не сделать! Покойный Михайло Максимыч пытал на себе волосы рвать и прямо дворянству сказал: «После того вы хуже мужиков, коли этой, согрешила, грешная, старой ведьмы испугались». Каменного сердца человек госпожа ваша была, хоть ты и хвалишь ее больно; губила ни за что ни про что молодых барь, а вы, прислуга, в угоду ей, тоже

против их эхидствовали, — заключила Грачиха, и опять ушла из избы.

— И пить-то уж не мы ли его заставили, коли уж вы все на нас сворачиваете? — проговорил ей вслед Яков Иванов с обычным своим покачиванием головы.

— А он попить начал? — спросил я.

— До безобразия: вместо того чтобы в бедности и недостатках поддержать себя, он первоначально в карты ударился, а тут знакомство свел с самыми маленькими чиновниками: пьянство да дебоширство пошло, а может, и другое прочее, и генеральша наша, действительно слышавши все это самое, призывает меня, и прежде, бывало, с ближайшими родственниками никогда не изволила говорить об Ольге Николавне, имени даже их в доме произносить запрещено было, тут вдруг прямо мне говорят: «Яков Иванов! наслышана я, что внучка моя очень несчастлива в семейной жизни, и я желаю, чтобы она была разведена со своим мужем». — «Слушаю, говорю, ваше превосходительство, но только каким манером вы полагаете это сделать?» — «Это уж не твое дело, ты должен исполнять, что тебе будет приказано». Я кланяюсь. «Поезжай, говорит, сейчас в город и проси ко мне приехать сегодня же городничего». Я еду, и так как господин этот городничий почесть что нашей госпожой был определен, и угождал ей во всем. Сейчас приезжает, и какой промеж их разговор был — я не знаю, потому что не был к тому допущен.

— А тут и дело пошло? — сказал я.

Яков Иванов несколько позамялся, впрочем, продолжал:

— Дело пошло такого рода, что так как Федор Гаврилыч стал любить уж очень компании, был он на одном мужском вечере, кажется, у казначея, разгулялись, в слободе тут девушки разные жили и песни пели хорошо, а тем временем капуста была, капусту девушки и молодые женщины рубят и песни поют. Вся компания туда и отправилась, и что уж там было — неизвестно, только Федор Гаврилыч очень был пьян, другие господа разъехались, а он остался у хозяйки, у которой была молодая дочь. Городничий в то время, получа донесение, что в такой поздний час в таком-то доме происходит шум, приходит туда с дозором и находит, что Федор Гаврилыч спят на диване, и дочка хозяйская лежит с ним, обняв-

шись, и так как от генеральши нашей поступило по этому предмету прошение, то и составлен был в городническом правлении протокол — дело с того и началось.

В продолжение всего этого рассказа я глаз не спускал с старика, и хоть он ни в слове не проговорился, но по оттенкам в тонких чертах лица его очень легко было догадаться, что все это дело обдумывал и устраивал он, вместе с городничим. Предугадывая, что и на дальнейшие мои расспросы он станет хитрить и лавировать в ответах, я начал более вызывать на разговор Алену Игнатьевну.

— Что же Ольга Николавна? — спросил я, прямо обращаясь к ней.

Алена Игнатьевна по обыкновению потупилась, Яков Иванов улыбнулся и сказал жене:

— Рассказывайте!

— Ольга Николавна, — начала Алена Игнатьевна, глядя на концы своих еще красивых пальцев, — ничего не знали и не понимали, видели только, что Федор Гаврилыч попивают, дома не ночевали, сидят под окном и плачут. На ту пору, словно на грех, приходит мать протопопица, женщина добрая, смиренная и к господам нашим привязанная. Видевши Ольгу Николавну в слезах, по неосторожности своей и говорит: «Матушка, говорит, Ольга Николавна, что такое у вас с супругом вышло?» — «Что, говорит, такое у меня с супругом вышло? У меня никогда с мужем выйти ничего не может». Скрывали тоже и стыдились, что бы там сердце их ни чувствовало, а протопопица эта и говорит: «Матушка, болтают, аки бы от вас подано на супруга в полицию прошение, и супруг ваш найден в таком-то доме и с такой-то женщиной...» Голубушка Ольга Николавна, как услышала это, побледнела, как мертвая, выслали эту протопопицу от себя, ударили себя в грудь. «Когда, говорит так, так знать я его не хочу. Сейчас, говорит, еду с детьми к бабеньке, кинусь ей в ноги, она меня простит, а с ним с развратником жить не желаю». Наняли ей кой-какого извозчишка, и в простых санишках, в одном холодном на вате салопчике, — меховой уж был в закладе, — на деточках тоже ничего теплого не было, так завернули их в овчинные полушубчики, да и те едва выкланяла у квартирной хозяйки, — да так и приезжает к нам в усадьбу, входит прямо в лакейскую. Старушка, как услышала их

голос, сейчас встала с кресел и скорым этак шагом пошли им навстречу, и такое, сударь, было промеж их это свидание и раскаяние, что, может быть, только заклятые враги будут так встречаться на страшном суде божием. Ольга Николавна ничего уж и говорить не могла, пала только к бабенке на грудь, а старушка прижала их одной рукою к сердцу, а другой внучат ловят, мы все, горничная прислуга, как стояли тут, так ревом и заревели. «Бабенька, — говорит Ольга Николавна, — простите ли вы меня?» — «Ничего, говорит, друг мой, ни против тебя, ни против детей твоих я не имею, во всех вас течет моя кровь, только об злодее этом слышать не могу». — «Бабушка, говорит, я сама об нем слышать не могу».

Последние слова жены старик сопровождал одобрительным киваньем головы; на его мутных зрачках и покрасневших веках показались даже слезы.

— И надо, сударь, было видеть, — почти воскликнул он дребезжащим голосом, — радость нашей генеральши: только в золото не одела своих правнуков. Призывают тут меня сейчас к себе и заставляют писать в Питербург, чтобы самая лучшая мадам француженка была выслана; за Ольгой Николавной, как самая усердная рабыня, стали ходить. Узнав, что она ночи не изволят почивать, в свою спальню их перевела, и, как только Ольга Николавна вздохнут или простонут, на босу ножку старушка вставали с своей постели и только спрашивали: «Что такое, Оленька, дружок мой, что такое с тобой?» Но ничем этим, видно, перед Ольгой Николавной не могли она заслужить, никто им, видно, не был милей Федора Гаврилыча.

— Что ж она делала? — спросил я.

— А делала то, что через неделю же стала говорить и поступать все вопреки бабушке! — отвечал порывисто Яков Иванов. — Что бы те ни предприняли и ни сделали, все им было неприятно; что есть подарки, так и за те не то чтобы как следует поблагодарили, а в руки даже взять не хотели хорошенько и все кидком да швырком.

— Не от грубости хоть бы это делали Ольга Николавна, — скромно возразила Алена Игнатьевна.

— Отчего ж? — спросил я.

Алена Игнатьевна опять уставила глаза на свои пальцы и отвечала:

— Тосковать уж очень стали об Федоре Гаврилыче. Сколь, может быть, он ни виноват был против их, но оне, кажется, больше жизни своей его любили, ну и Федор Гаврилыч тоже раз десять, может, приходили пешком к нашей усадьбе, чтоб только свиданье с супругой своей иметь. Целые дни, сидючи в поле, проплакивали, так как приказание от старушки было, чтоб их на красной двор даже не допускать, не то что уж в комнаты. Ольга Николавна, все это слышавши и зная тоже, в какой они бедности проживают, призовут, бывало, тайком мужичков, которые побогатее: «Милые мои, говорит, дайте мне хоть сколько-нибудь денег, я вам после отдам». Ну и мужички кто синенькую, кто рубль серебром, четвертачок, полтинничек дадут им по своему состоянию; оне сейчас их пошлют Федору Гаврилычу, но те тоже не принимали этих денег. «Если, говорит, мое сокровище Оленьку у меня отняли, мне ничего не надо. Я буду ходить по миру и под окном собирать милостыню».

Яков Иванов, при последних словах, взглянул на жену своими слепыми глазами сердито и прямо обратился ко мне:

— Про деньги генеральша наша ничего бы не сказала, напротив, я самолично возил Федору Гаврилычу двадцать пять тысяч в своем кармане, чтоб только он али бы в Сибирь, или хоть в иностранные земли уехал, но он и того не почувствовал. Нашей госпожи было одно желание: чтоб только он не был мужем нашей барышни, так как он недостоин того.

При последних словах Грачиха как из-под земли выросла и появилась.

— Да кто может мужа-то с женой судить али различать? — начала она своим резким тоном. — Что вы это говорите, греховодники? Где бог-то у вас был втепоры? Барин наш, как тогда из Питера приехал и услышал, и только руками всплеснул. «Как!» — говорит, и сейчас же за Федором Гаврилычем лошадей в город. «Федя! дурак! Как у тебя жену отняли?» Тот, сердечный, только всплакал, смиренный ведь барин был, а от делов-то ихних словно и разуму лишился.

Яков Иванов вздохнул.

— Доброму и хорошему наставлял и научал его ваш барин. Дай ему бог царство небесное, век его поминем, — проговорил он.

— Да научил же, на вот вам! из-под носу было опять украли Ольгу Николавну, — подхватила Грачиха.

— Разбойники еще и не такие дела делают, и людей режут, — возразил Яков Иванов.

— Что такое разбойники? — спросил я.

Старик с грустною улыбкою покачал головой.

— И рассказывать, сударь, — начал он, — так вы, может быть, не поверите, судя по нынешнему, что делалось в прежние времена. Нельзя и старину за все похвалить: безурядицы много было: разбойник тогда по губернии стал ходить по имени Иван Фаддеич, и разбойник сильнееший; может быть, более трехсот человек шайка его была, словно в неприятельских землях разъезды делал и грабил по Волге и другим судоходным рекам. На больших дорогах тоже: почесть что проезду не стало, и не то чтоб одиночников из простого народа обирал, а ладил, нельзя ли экипаж шестериком, восьмериком, даже самые почты остановить, или к помещикам, которые побогаче, наедет с шайкой в усадьбу и сейчас денег требует, если господин не дает или запирается, просто делали муки адские: зажгут веники и горячими этими прутьями парят. По всем деревням, где бы ни захотел, прием ему был, как в своей вотчине. Начальство тоже, бог его знает, подкуплено ли было, али боялось, только года три воинская команда не могла его изловить и арест ему сделать. Страх был на всех великий, и таким делом сидят господа наши — генеральша с Ольгою Николавною и своими внучатами — вечером, в своей малой гостиной, горят перед ними две восковые свечи, а прочие комнаты почесть что не освещены, окромя нашей официантской и девичьих комнат. Вдруг слышим свист, гагайканье в поле. Что такое? и первоначально думали, что пьяные мужики с базару едут. Однако глядим, в окнах зарево, выбежали на крыльцо: овины наши горят. Все мы, лакеи, бросились, конечно, туда, усадебный народ тоже бежит. Господа, слышавши шум, изволят спрашивать: «Что такое? Что случилось?» На эти их слова ружейный выстрел, раз, два, рамы в ихней самой гостиной затрещали, зазвенели, вламываются в окна двое мужчин, в поддевках, с бородой и с усами. Старушка наша, по своему геройству, встают. «Кто вы такие?» — говорит. Один из этих мужчин отвечает ей: «Я Иван Фаддеич, и вы, госпожа генеральша, пожалуйста вашу внуку, которую вы у мужа от-

няли». Ну, и старушка, поослабнувши, конечно, опустились в кресло и только вскрикнула: «Люди, где вы?» А Ольга Николавна, прижавшись тем временем с детьми за бабенькины плечи, видят, что у одного из мужчин борода и усы спали, — глядь, это Федор Гаврилыч. Как вскрикнула: «ах!», да так и пала замертво. Невзирая на это, Федор Гаврилыч хватают их на свои руки, а другой мужчина, — вернулись было две горничные девицы и лакей, — как резнет их всех наотмашь кулаком, так те головами назад в двери и улетели, и после оба опять в окошко, и след простыл. Я уж и сам не знаю, как очутился в комнатах, слышу только, что Ольгу Николавну украли. Генеральша без памяти, дети плачут, и только уж на другой день, когда старушка изволили прийти несколько в себя, получаю я от них такое приказание, чтоб ехать сейчас в уездный город, на квартиру Федора Гаврилыча, и если Ольга Николавна там, то вручить ей письмо, в противном же случае подать в подлежащий земский суд законное объявление обо всем случившемся. Я приезжаю, выходит ко мне Федор Гаврилыч. «Поздно, говорит, Яков Иваныч, опоздали вы с вашей барыней, Оленька моя лежит на столе, а вместе с ней и я лягу». — «Ну, говорю, Федор Гаврилыч, вы себе сами все это предуготовили — сами и отвечайте за то богу».

— Отчего же она так вдруг уж и умерла? — перебил я старика.

— В тягости оне изволили быть, ну, и с этих страхов и ужасов выкинули... и не перенесли уж потом того...

— Неужели же он в самом деле с разбойником с Иваном Фаддеичем приезжал? — спросил я.

Грачиха на это всплеснула руками.

— Нету, батюшка, нету; что он, старая лиса, говорит! — воскликнула она. — Ну, просто тебе сказать, наш барин шутку хотел сшутить. Он сам этим разбойником Иваном Фаддеичем и наряжен был; кто знал, что экой грех будет. Чем бы старухе со страху окостенеть, а тут на-ка, молодая барыня лишилась от того жизни. Барин наш тогда, после похорон, приехал и словно с ума спятил: три недели пил мертвую, из пистолета себя все хотел застрелить. Трое лакеев так и ходили по следам его, чтоб чего не сделал над собой, только и утешение было, что на могилу к Ольге Николавне ездить. Приедет туда

да головой себя об памятник и начнет колотить. А что уж на Федора Гаврилыча приходит, так это извини, не он будет отвечать богу, а вы, вы, вы... вот вам что — да! Вместо того чтобы вам с вашей старой барыней делать поминовение за упокой праведной души Ольги Николавны, вы по начальству пошли и стали доказывать, аки бы Федор Гаврилыч с настоящим разбойником Иваном Фаддеичем приезжал, деньги все обрал и внучку украл. Барин наш пытал заявлять всем начальникам, что это не разбойник какой, а он приезжал: «Ну, когда я виноват, говорит, так и спрашивай с меня!..» — так и веры, паря, никто не хотел иметь. Что уж тут говорить: сам Иван Фаддеич, разбойник бы, кажись, так и тот, перед кобылой стоявши, говорил: «Православные, говорит, христиане, может быть, мне живому из-под кнута не встать, в семидесяти душах человеческих убитых я покаянье сделал, а что, говорит, у генсральши в Богородском не бывал и барина Федора Гаврилыча не знаю».

— Этого, сударыня, мы не знаем и знать того не могли, — возразил Яков Иванов, — не мы его судили, а закон.

— Сами вы, любезный, законы-то хорошо знали да подводили... На-ка, какой закон нашел! Присудили хоть бы Федора Гаврилыча ни за что ни про что, за одно только смиренство его, присудили на поселенье, — экие, паря, законы наши.

— Того и стоил, туда ему и дорога была, — произнес Яков Иванов, как бы сам с собой.

— Бог знает, кому туда дорога-то шла, — возразила Грачиха, — не тот, может, только туда попал. Старой вашей барыне на наших глазах еще в сей жизни плата божья была. Не в мою меру будь сказано, как померла, так язык на два аршина вытянулся, три раза в гробу повертывалась, не скроешь этого дела-то, похорон совершать, почесть, не могли по-должному, словно колдунью какую предавали земле, страх и ужас был на всех.

При этих словах Грачихи избеная дверь с шумом расворилась, стоявший на полочке около задней стены штоф повалился и зазвенел, дремавший на голбце кот фыркнул, махнул одним прыжком через всю избу и спрятался под лавку. Мы все невольно вздрогнули, Яков Иванов побледнел. В полумраке в дверях показалась фигура

с растрепанными волосами, с истощенным лицом, в пальто сверху, а под ним в красной рубашке, в плисовых штанах и в козловых с высокими голенищами сапогах. За ним выступала другая физиономия, с рыжеватой, клинообразной бородой и с плутоватыми, уплывшими внутрь глазами, и одетая в аккуратно подпоясанную бекешку.

— Ой, чтоб вас, псы, испугали! — воскликнула Грачиха.

— Кто мне смеет водки не давать? — осипло проговорила растрепанная фигура.

Я догадался, что это был охотник с хозяином.

— Пошел, пошел в свое место, господа здесь, — проговорила Грачиха.

Охотник обвел избу своими воспаленными глазами и остановил их на мне; потом, приложив руку к фуражке, проговорил:

— Честь имею явиться: гусарского Ермаланского полка рядовой! Здравствуйтесь, дедушка и бабушка! — прибавил он и потом опустился на лавку около старушки, схватил ее за руку и поцеловал; при этом у него навернулись слезы.

— Дедушка у меня умная голова — министр! Дедушка мой министр! — говорил, хватая себя за голову и с какой-то озлобленной улыбкой, гуляка. — Вы дурак, хозяин мой, подай торбан, — продолжал он и, тотчас же обратившись ко мне, присовокупил: — Позвольте мне поиграть на торбане.

Клинобородый мужик стоял в недоумении.

— Пошел! Марш! — крикнул охотник.

Хозяин ушел.

— Дедушка мой, министр, изволил приказанье отдать, чтоб быть ему по торговой части: «Галстуки, платки, помада самолучшие; пожалуйста сюда, господин, сделайте милость, пожалуйста сюда!» — говорил охотник, встав и представляя, как купцы зазывают в лавку, — плутовать, народ, значит, обманывать, — не хочу! Володька Топорков пьяница, но плутом вот таким не бывал, — воскликнул он, указывая одною рукою на дедушку, а другой на возвращающегося хозяина, который смиренно подал ему торбан. — Мы у Мясницких ворот в трактире жили, — продолжал он, — там наверху, в собачьей конуре, ничего — играть можем, а уж плутовать не станем, — шалишь! А сыграть — сыграем, — заключил он

и действительно взял несколько ловких аккордов, а потом, пожимая плечами, запел осиплым голосом:

Куманек, побывай у меня,
Разголубчик, побывай у меня!
Что ж такое, побывать у тебя,
У тебя, кума, ворота скрипучи,
Скрипучи, пучи, пучи, пучи, пучи.

— Ну, паря, хороша песня, эку выучил! У нас пьяный мужик лучше того споет, — отозвалась Грачиха.

— Погоди, постой, слушай! — произнес мрачно Топорков и потом опять, сделав несколько аккордов, запел:

Из Москвы я прибыл в Питер,
Все по собственным делам;
Шел по Невскому проспекту
Сам с перчаткой рассуждал,
Что за чудная столица,
Расприкрасный Питембург.

— Хорошо? — спросил Топорков, остановясь.

— Нет, и это нехорошо, на балалайке хорошо играешь, а поешь нескладно! — отвечала Грачиха.

— Постой, садись около меня, — проговорил гуляка и, взяв Грачиху за руку, посадил рядом с собой. — Слушай, — произнес он и начал заунывным тоном:

Туманы седые плывут
К облакам,
Пастушки младые спешат
К пастушкам.

Но эта песня уж, кажется, и самому Топоркову не понравилась; по крайней мере он встал, подал с пренебрежением торбан хозяину и, обратившись ко мне, сказал:

— Позвольте на театре разыграть?

И потом, не дожидаясь ответа, снова встал в позу трагиков и начал:

Спи, стая псов!
Спи сном непробудным до страшного суда,
Тогда воскресни и прямо в ад, изменники,
И бог на русскую державу ополчился!
Он попустил холопей нечестивых
Торжествовать над русскою землей.

Говоря последние слова, Топорков опять указал на деда своего и на хозяина.

— Эж его благует, словно леший, — заметила Грачиха, покачав только головой.

Топорков посмотрел на нее мрачно, опустил на скамейку около бабушки и положил к ней голову на плечо, потом, как бы вспомнив что-то, ударил себя по лбу и проговорил, как бы больше сам с собой:

— Где мои деньги? Кто мне смеет водки не давать?

— Батюшка, Володюшка, тебе вредно, — говорила старушка, приглаживая растрепанные волосы внука. — Деньги твои у меня, да я тебе не даю, тебе на службе пригодятся.

— Бабушка! Не у тебя деньги! — воскликнул Топорков. — Я знаю, у кого деньги, ну, бог с ним! Меня продали, бог с ним. Иосифа братья тоже продали, бог с ним. Не надо мне денег! — заключил гуляка и потом, ударив себя в грудь, запел:

Русской грудью и душою
Служит богу и царям,
Кроток в мире, но средь бою
Страшен, пагубен врагам.

Оглушенный этим пением и монологами, я, впрочем, не переставал глядеть на слепа. Ни мои расспросы, ни колкие намеки Грачихи, ничто не могло так поколебать его спокойствия, как безобразие внука. С каждой минутой он начинал более и более дрожать и потом вдруг встал, засунул дрожащую руку за пазуху, вытащил оттуда бумажник и, бросив его на стол, проговорил своим ровным тоном:

— Нате, возьмите ваши деньги!.. Алена Игнатьевна, уведите меня отсюда куда-нибудь, уведите, — проговорил он умоляющим голосом.

— Будто? — произнес с насмешкою внук.

Старик ничего ему не ответил и, не ощутив даже палкою, перешагнул через скамью и быстро пошел по избе. Алена Игнатьевна последовала за мужем.

— Покойной ночи, королева! — проговорил им вслед Топорков.

Грачиха с своей неизменной правдой начала тотчас же бранить его.

— Пошто, пес, дедушек обижаешь и печалишь? Балда, балда и есть, не даст тебе бог счастья и в службе, коли стариков не считаешь, пьяный дурак!

Топорков слушал ее, понурив голову.

— Деньги вы возьмете или мне прибрать прикажете? — спросил клинобородый хозяин.

— Сам приберу, — проговорил Топорков и спрятал бумажник в карман. — Иосифа братья продали, а я эти деньги бабушке отдам. Хозяин-дурак, пойдем, куда сказано.

— Пойдемте-с, — проговорил смиренно мужик, и они ушли. Я тоже ушел в свою комнату. Из-за дощаной перегородки в соседнем номере слышались, вместо крикливых возгласов гуляки, истовые слова молившегося старика: «Боже, милостив буди мне грешному! Боже, очисти грехи мои и помилуй!»

И затем все смолкнуло, и только по временам долетал до меня голос бранящейся или просто разговаривающей Грачихи с подъехавшими мужиками-обозниками. Через четверть часа заложили моих лошадей, и Грачиха содрала с меня денег сколько только могла, и когда я ей заметил:

— Старая, много берешь.

— Полно-ка, полно, много берешь, ишь во каких енотах ходишь, а я вон целый век в полушубчишке бегаю. Много с него взяла, — отвечала она и, впрочем, усадила меня с почтением в сани, а когда я поехал, она только что не перекрестила меня вслед.

СТАРЧЕСКИЙ ГРЕХ

Совершенно романтическое приключение

I

Если вам когда-нибудь случалось взбираться по крутой и постоянно чем-то воняющей лестнице здания присутственных мест в городе П—е и там, на самом верху, позернув направо, пропикать сквозь неуклюжую и с вечно надломленным замком дверь в целое отделение низеньких и сильно грязноватых комнат, помещавших в себе местный Приказ общественного призрения, то вам, конечно, бросался в глаза сидевший у окна, перед дубовой конторкой, чиновник, лет уже далеко за сорок, с крупными чертами лица, с всклокоченными волосами и бакенбардами, широкоплечий, с жилистыми руками и с более еще неуклюжими ногами. Это был бухгалтер Приказа Иосаф Иосафыч Ферапонтов. На нем, как и на прочей канцелярии, был такой же истасканный вицмундир, такие же уродливые, с сильно выдавшимся большим пальцем, сапоги, такие же засаленные брюки, с следами чернил и табаку на коленях, и только в довольно мрачном выражении лица его как-то не было видно того желчного раздражения от беспрестанно волнующейся мелкой мысли, которое, надобно сказать, было присуще почти всей остальной приказной братии. Видимо, что бухгалтер думал и размышлял о более возвышенных и благородных предметах, чем его подчиненные. Несмотря на

это, кажется бы, преимущество с его стороны, он собственно за свою наружность и был не совсем любим начальством. Все новые губернаторы, вступая в должность и посещая в первый раз Приказ, получали об нем самое невыгодное мнение, может быть, потому, что в то время, как все прочие чиновники встречали их с подобострастно-веселым видом, один только Иосаф стоял у своей конторки, как медведь, на которого шли с рога-тиной.

— У вас бухгалтер, должно быть, скотина, — замечал обыкновенно губернатор члену Приказа.

— Для службы-то, ваше превосходительство, очень уж полезен, — отвечал тот на это тоном глубокого сожаления, — у нас тоже дело денежное: вот, бывало, и предметник вашего превосходительства, как за каменной стеной, за ним спокойно почивать изволили.

— Гм!.. — произносил глубокомысленно губернатор, и только этим бухгалтер спасался на своем месте. Каждый день, с восьми часов утра до двух часов пополудни, Ферапонтов сидел за своей конторкой, то просматривая с большим вниманием лежавшую перед ним толстую книгу, то прочитывая какие-то бумаги, то, наконец, устремляя печальный взгляд на довольно продолжительное время в окно, из которого виднелась колокольня, несколько домовых крыш и клочок неба. О чем бухгалтер думал в это время, — сказать трудно; но по всему заметно было, что мысль его была шире того небольшого пространства, в котором являлся ему божий мир сквозь канцелярское окно, шире и глубже даже тех мыслей, которые заключались в цифрах лежавшей перед ним книги.

Часов с одиннадцати обыкновенно в Приказ начинала собираться публика, и первые являлись купцы с вкладами. Случалось так, что какой-нибудь из них, забежав наскоро в Приказ, тяжело дыша и с беспокойными глазами, прямо обращался к бухгалтеру:

— Член здесь-тко-с али нет?

— У губернатора, — отвечал Ферапонтов.

— Эхма-тка! — говорил купец, прищелкнув языком и почесав в затылке, — деньжонки бы внести надо... задержат, пожалуй!.. а делов-то... делов...

— Давайте, — говорил ему на это лаконически Иосаф, и купец, нимало не задумываясь, вытаскивал из

кармана иногда тысяч пять, шесть, десять серебром и отдавал их ему на руки, твердо уверенный, что завтра же получит на них билет.

Все помещики, имения которых были заложены в Приказе, тоже знали Иосафа и тоже прямо обращались к нему. Более смиренные из них даже чувствовали к нему некоторый страх.

— Асаф Асафыч? А Асаф Асафыч? — говорили они, подходя не без робости к его конторке (бухгалтер не любил на первый зов откликаться). — А что имение мое назначено в продажу? — заключал проситель уже жалобным голосом.

Ферапонтов взглядывал на него. Имени он почти ни у кого не спрашивал и каждого узнавал по лицу.

— Сахаровых? — произносил он, развертывая толстую книгу.

— Сахаровых, — отвечал робко помещик.

— Семнадцатого апреля назначено в продажу, — отвечал Ферапонтов.

Помещик окончательно терялся.

— Да как же это, ей-богу, вот те и раз! — произносил он почти со слезами на глазах.

Бухгалтер иногда, после нескольких минут молчания, снова развертывал книгу и, просмотрев ее внимательно, произносил:

— Перезаложите. Перезаложить можно.

— Можно? — спрашивал помещик с расцветающим лицом.

— Можно. А вы и не знали того? — говорил Иосаф Иосафыч: в голосе его слышалась легкая насмешка.

Помещик от радости почти в прискочку уходил из Приказа.

— Пред сенным ковчегом скакаше играя!.. — произносил ему вслед столоначальник первого стола, большой шутник и зубоскал. При этом молодые писцы самым искренним образом фыркали себе под нос, а которые постарше, улыбались и качали головами. Один только Иосаф в подобных случаях хоть бы бровью поводил. Он вообще с канцелярией никогда не вступал ни в какого рода посторонние разговоры и был строг: в особенности почти что гонению с его стороны подвергались молодые, недоучившиеся дворяне, поступившие на службу так

только, чтобы вилять от нее хвостом. В конце почти каждого месяца он вдруг входил в присутственную комнату и начинал мрачно смотреть в окно.

— Что вы тут: на что глядите? — спрашивал его неперменный член.

— Так, ни на что-с, — отвечал Иосаф и потом, после короткого молчания, прибавлял: — Петрова бы вот надо совсем из службы выгнать.

— А что такое? — спрашивал неперменный член с некоторым испугом. Петров был, как известно, личным протеже начальника губернии.

— А то, что уж ружье завел, — отвечал Ферапонтов.

— Скажите, пожалуйста! — произносил неперменный член горестно-удивленным тоном и звонил.

— Позвать Петрова! — говорил он, и Петров, очень еще молодой человек, с вольнодумно отпущенными усами и с какою-то необыкновенно длиною шеей, в тоненьком, легоньком галстуке и в прюнелевых ботинках вместо сапог, являлся.

— Вы уж ружье завели? — спрашивал его неперменный член.

Петров вспыхивал до самых ушей.

— Я, помилуйте, Михайло Петрович, взял только у товарища на подержание... Помилуйте-с! — отвечал он прерывисто нетвердым голосом.

— На подержанье вы взяли!.. — возражал ему бухгалтер, — целый день продуваете да замък отвинчиваете... Что-нибудь одно: либо за утичьими хвостами бегать, либо служить.

— Я служить стараюсь! — говорил Петров, обращаясь более к неперменному члену.

— Кабы старались, так бы не то и было, — возражал ему снова бухгалтер. — Мать-то, этта, приезжала и почесть что в ногах валялась и плакала: последнюю после отца шубенку в три листика проиграли!.. Еще дворянин! Точно зараза какая... только других портите и развращаете.

— Что ж, маменька, конечно что вольна все говорить, — отвечал Петров, опуская невиннейшим образом глаза в землю.

— Все на вас говорят! — произносил с досадою Иосаф и уходил из присутствия.

За такого рода суровость, а главное, я думаю, и за образ своей жизни, он и прозван был от своих подчиненных «отче Иосафий».

Но в самом ли деле этот человек был таков?.. Нет, и тысячи раз нет!!!

II

Как ни давно это было, но мы еще очень хорошо помним сквернейший сентябрьский день, сырой, холодный; помним длинную залу, тоже сырую и холодную, с распростертыми над нами по потолку ее всевозможными богами и богинями Олимпа, залу почти без всяких следов жилья человеческого. Посредине ее стоял огромный стол, покрытый красным сукном. По двум стенам шли сплошь шкафы с книгами и с стоявшими наверху их греческими мудрецами. Тщетно старался я прочесть заглавия некоторых книг и ничего не понял. Какая-то экзигетика, герменевтика и тому подобное... бог знает что такое. По третьей стене, под портретом государя, нарисованного в короне и порфире, стояли мы, человек тридцать мальчиков, в новеньких вицмундирчиках и с глубокой тоской на сердце от грядущей нам будущности. По четвертой стене, у окон, размещались на креслах наши родители. Маменька Сокальского, например, очень полная и нарядная дама, чрезвычайно важничала: развалившись в креслах, она с таким видом играла своей лорнеткой, которым явно хотела показать, что она делает величайшую честь этому месту, в которое, по чувству материнской любви, решилась прийти и просидеть полчаса. Папенька Арнаутова, кривой помещик, сдавал сына на выучку, кажется, точно с таким же чувством, с каким он засыпал и рожь на мельнице. «Было бы-де всыпано, а там и баста: само сметет как надо!» Вице-губернаторских детей, двух братьев, привел худощавый француз-гувернер и, видимо, не желая, чтобы они смешались с плебеями, поставил их вдали от нашей группы, а сам присел на окне и с каким-то особенным эффектом вывернул голени у ног. Я с большим любопытством смотрел на его узенькие, нежнопепельного цвета брюки, и невольно, сравнив их с сильно вытянутыми на коленях штанами учителя математики, а также и с толстыми, сосископодобными ногами учителя немецкого языка, я тут же

убедился, что одна только французская нация достойна носить узенькие панталоны, тогда как прочему человечеству решительно следует ходить в шароварах. Детей жандармского полковника, тоже двух братьев, привел солдат-жандарм и почему-то очутился тут же в зале между родителями. Он преспокойно стоял в простенке и стеснялся отчасти только тем, что нос его, более привыкший находиться на улице и в холодных сенях, чем в теплых апартаментах, очень уж разнежился, так что он беспрестанно принужден был подтирать его своей белой рукавицей. Вблизи от него и даже очень дружелюбно обращаясь к нему с разного рода семейными разговорами, сидел секретарь гражданской палаты, тоже приведший сынишку, с отгнившими почти от золотухи ушами.

— Ты, верно, дядькой при детях? — говорил он.

— Никак нет, ваше благородие, я на кухне, при поварях; поварам подсобляю, — отвечал жандарм.

— Так, так... а что полковница-то родила али еще нет?

— Никак нет, ваше благородие, ждетя еще пока... что бог даст.

— Так, так! — заключал секретарь и начинал играть серебряной табакеркой, внушавшей сильное подозрение, что это был дар за измену Фемиде. Между всеми этими лицами, надобно сказать, более всех поразил мое детское внимание мизерный чиновничшко в поношенном вицмундиришке, в худеньких штанах и в дырявых сапогах. Он беспрестанно ежился, шевелился, как будто бы его сейчас только круто посолили и посыпали сверху перцем. Он то садился на самый краешек стула, то вскакивал и подбегал к секретарю, кланялся перед ним, что-то такое рассказывал ему, и тот на все это отвечал ему с обязательным полупрезрением. Не ограничиваясь секретарем, чиновничшко относился даже к мадам Сокальской, но та уж ему ничего не отвечала. От родителей чиновник перебегал к нашей группе и, обдав нас сильным запахом водки, прямо обращался к довольно шершавому малому лет шестнадцати, одетому тоже в вицмундирчик; но, боже мой! в какой вицмундирчик: сшитый не только что из толстого, но даже разноцветного сукна, так что туловище у него приходилось темносинее, а рукава голубые. Чиновничшко с самым строгим видом что-то такое, должно быть, внушал ему. Мальчик, в свою очередь, тоже строго

смотрел на него и сохранял упорное молчание. Вошли директор (черноволосый мужчина, с необыкновенно густыми и длинно отросшими бровями), и за ним, как гиена, выступал сутуловатый и как бы вся и все высматривающий инспектор. Мы все невольно сделали движение вытянуть руки по швам. Родители привстали. Жандарм проворно отнял от носу белую рукавицу. Чиновничшко поклонился ученому начальству самым униженно-подлым образом. Директор начал читать список поступивших в гимназию:

— Павел Аксанов?

— Я! — пискнул белокуренький мальчик.

— Гавриил Беляев?

— Я! — отвечал еще тоньше уже черноволосый мальчик.

— Михаил Гавренко?

— Я! — отвечал тоже тонко и тоже брюнетик.

Словом, постоянно почти слышались нежные дисканты, но вдруг директор, несколько замявшись в языке, произнес:

— Иосаф Ферапонтов?

— Я! — отвечал на это почти мужской уже бас, так что мы все невольно оглянулись.

Это откликнулся мальчик с разными рукавами. Директор тоже, кажется, был озадачен.

— Господин Ферапонтов? — повторил он.

— Я-с, — отвечал мальчик тем же возмужалым голосом.

— Подойдите сюда.

Ферапонтов подошел.

В это время, несколько сбоку, к директору приблизился и чиновничшко.

На лице почтенного педагога вдруг изобразился ужас. Пожимая плечами и все более и более закидывая голову назад, он произнес:

— Что такое? Что такое? Где мы? Не в эфиопских ли степях? Какие у вас рукава? Гимназист вы или арлекин?

Все лицо мальчика загорелось стыдом. Видимо, что это была самая больная для него струна. Вместо него стал отвечать чиновничшко.

— Ну, батюшка, что ж? Виноват, не имею состояния. Не погубите, благодетель: не имею чем одеть лучше, —

проговорил он — и ни много ни мало бух директору в ноги.

Я видел, что мальчик при этом вздрогнул. Директор тоже возмущился подобным самоунижением.

— Встаньте, я не бог ваш и не цари! — произнес он недовольным голосом и потом, обращаясь к мальчику, прибавил: — Который вам год?

— Шестнадцатый, — отвечал тот.

Директор несколько времени смотрел ему прямо в лицо самым оскорбительным образом.

— Гм!.. Шестнадцатый год и всего только в первом классе! — произнес он насмешливо. — Зачем уж было в таком случае поступать к нам и своей шерстью портить целое стадо?

— Говорено было, благодетель, ему это, так ведь упрямец! — подхватил вместо сына чиновничшко, чуть не до земли кланяясь директору, — лучше бы в службу шел да помогал бы чем-нибудь отцу, а я что? Не имею состояния, — виноват!

— Ступайте на свое место! — обратился директор к мальчику.

Тот пошел. Как ни старался он смигнуть слезы, но они против воли текли по его щекам!

Когда нас распустили и мы стали в прихожей надевать наши шинельки, мне очень хотелось посмотреть, что наденет на себя Ферапонтов, но он пошел так, в одном только вицмундирчике. «Так вот отчего, — подумал я, — от него так пахнет сыростью. Он и в гимназию, видно, пришел насквозь пробитый дождем». Чиновничшко, накинув на себя какое-то вретище вместо шинели, поплелся тоже за ним и начал опять ему что-то толковать и внушать. Мальчик пошел потупя голову.

Очень скоро после того между всеми нами узналось, что гадкий чиновничшко был некогда служивший в консистории архивариус, исключенный из службы за пьянство и дебоширство, а *разношерстный* Ферапонтов (прозвище, которое мальчик получил на самых первых порах) был родной сын его. Жили они в слободе, версты за четыре от гимназии, в маленьком, развалившемся домике, и мальчик, говорят, даже стряпал у отца за кухарку. Каждое утро он являлся в класс, облитый потом, хотя попрежнему ходил в одном только вицмундирчике. Нанковая чуйка, с собачьим воротником, появилась на

его плечах только в начале ноября. Он приходил обыкновенно с обедом, и мне всегда очень хотелось узнать, что такое он приносил с собою, старательно завернутое в сахарную бумагу. Мы все, например, очень хорошо знали, что детям жандармского полковника, с тем же жандармом, присылали всегда из родительского дома и котлет и жареной курицы, вкусный запах которых, пробиваясь из оловянной миски, сильно раздражал наши голодные ноздри; но что ел Иосаф и где совершал этот акт, никому было не известно!

Однажды мы сидели в классе математики. Учитель ее, жестокосердый меланхолик, сидел погруженный в глубокую задумчивость. Собственно учением он нас не обременял, но наблюдал более всего тишину и спокойствие в классе. Мы все сидели как мухи, прихваченные морозом. Вдруг белобрысый Аксанов, оказавшийся ужасно гадким мальчишкой, встал.

— Никита Григорыч, — начал он пищать своим тоненьким голосом, — позвольте мне пересесть. С Ферапонтовым сидеть нельзя-с: он луку наелся.

Учитель мрачно и вопросительно взглянул на него.

— Луком дышит на меня-с, сидеть около него невозможно-с, — объяснил Аксанов.

Учитель, наконец, понял его.

— Ферапонтов, подите сюда, — проговорил он.

Ферапонтов, весь вспыхнув, подошел.

— Дохните на меня.

Ферапонтов дохнул.

— Фай! — произнес учитель, проворно отворотив нос. — И не стыдно вам это?.. Не стыдно благородному мальчику делать такие гадости?

Ферапонтов молчал.

— Подите на колени.

Ферапонтов, не поднимая глаз, пошел и встал, а учитель снова погрузился в свою задумчивость.

С ударом звонка Ферапонтов встал и сел было на свое место, но Аксанов опять к нему привязался.

— Луковник, луковник! — дразнил он его, вертась перед ним.

— Отстань! — повторял ему несколько раз Иосаф, с тем терпеливым выражением, с каким обыкновенно большие собаки гоняют маленьких шавок.

Но Аксанов не унимался.

— Луковник, луковник!.. Разноперый луковник!.. — говорил он и дернул Ферапонтова за его голубой рукав.

Движения этого было достаточно. Я видел, как лицо Иосафа мгновенно вспыхнуло, и в ту же минуту раздался страшнейший удар пощечины, какой когда-либо я слыхивал, и мне кажется, что в этом беспощадном ударе у Иосафа выразилась не столько злоба к врагу, сколько ненависть и отвращение к гадкому человечешку. Аксанов перелетел через скамейку. Изо рта и из носу его брызнула кровь. Заревев во все горло, он бросился жаловаться к инспектору, от которого и снизошло приказание: стать Ферапонтову на колени на целую неделю. Иосаф снес это наказание, ни разу не попытавшись ни оправдаться, ни попросить прощения. А между тем учиться он начал решительно лучше всех нас: запинаясь, заикаясь и конфузясь, он обыкновенно начинал отвечать свои уроки и всегда их знал, так что к концу года за прилежание, а главное, я думаю, за возмужалый возраст, он и сделан был у нас в классе *старшим*. Как теперь помню я его неуклюже-добродушную фигуру, когда он становился у кафедры наблюдать за нашим поведением, повторяя изредка: «Пожалуйста, перестаньте, право, придут!» В черновую книгу он никогда никого не записывал, и только когда какой-нибудь шалун начинал очень уж беситься, он подходил к нему, самолично схватывал его за волосы, стягивал их так, что у того кровью наливались глаза, и молча сажал на свое место, потом снова становился у кафедры и погружался в ему только известные мысли.

С третьего класса нас вдруг начали учить маршировать и кричать в один голос: ура! и здравие желаем! Инспектору (особе, кажется бы, по происхождению своему из духовного звания) чрезвычайно это понравилось. Он мало того, что лично присутствовал на наших ученьях, но и сам пожелал упражняться в сих экзерсциях и нарочно пришел для этого в одну из перемен между классами.

— Погодите, дети, — сказал он, сделав нам лукавую мину, — я взойду к вам, аки бы генерал, и вы приветствуйте меня единогласным: ура!

Распорядясь таким образом, он ушел.

— Не вставать! Не откликаться ему! раздалось со всех сторон.

Иосаф почесал только голову.

Между тем два сторожа торжественно отворили дверь, и инспектор в полном мундире, при шпаге, с треугольной шляпой и с глупо улыбающимся лицом вошел.

— Здравствуйте, дети! — произнес он добродушнейшим голосом.

Никто ни слова.

Инспектор позеленел.

— Говорят вам, здравствуйте, скоты этакие, — повторил он.

Новое молчание.

— А! Заговор! — мог только выговорить он и ушел.

«В третьем классе бунт, заговор!» — разнеслось страшным гулом по всей гимназии. «Завтра будет разборка», — послышалось затем, и действительно: на другой день нас позвали в залу с олимпийскими богами. Проходя переднюю, мы заметили всех трех сторожей в новых вицмундирах и с сильно нафабранными усами. Между ними виднелась и зловещая скамейка, а в углу лежало такое количество розог, что их достало бы запороть насмерть целую роту. Сердца наши невольно екнули. Когда мы вошли в залу, директор, инспектор и весь сонм учителей был уже в сборе. Суровое выражение лиц их не предвещало ничего доброго. Нас построили в три шеренги.

— Поступок ваш, — начал директор, насупливая свои густые брови и самым зловещим тоном, — выше всякой меры, всякого описания!.. Это не простая шалость, которую можно простить и наказать. Тут стачка!.. заговор!.. Это действие против правительства... шаг против царя. Вы все пойдете под красную шапку. Не рассчитывайте на то, что вы дворяне и малолетки. Мы всех вас упечем в кантонисты!

Произнося последние слова, он приостановился и несколько времени наблюдал эффект, который произвел этой речью. Что это за действие против правительства и почему это шаг против царя, мы решительно ничего не поняли, но сочли за нужное тоже иметь, с своей стороны, лица мрачные.

— И только святая обязанность, — продолжал директор, — которую мы, присягая крестом и евангелием, приняли на себя (при этих словах он указал на образ)... обязанность! — повторил он с ударением, — исправлять вашу нравственность, а не губить вас, заставляет нас

предполагать, что большая часть из вас были вовлечены в это преступление неумышленно, а потому хотим только наказать зачинщиков. Извольте выдавать их.

Прошло несколько минут, но ответа на этот вызов не последовало.

— Господин Ферাপонтов, выдьте на середину! — проговорил директор, как бы на что-то решившись.

Ферাপонтов вышел.

— Вы, как старший класса, должны отвечать первый.

Иосаф сначала посмотрел ему в лицо, потом отвел глаза в угол на печку, потупил их и ни слова не отвечал.

— Я вас спрашиваю: кто зачинщики? — повторил директор.

— Я не знаю-с, — проговорил, наконец, Ферапонтов.

— А! не знаете! Розог! — произнес директор, сколько только мог спокойным голосом.

Иосаф слегка побледнел; но молчал.

— Розог! — повторил директор уже более грозным голосом.

Учитель чистописания и рисования поспешил исполнить его приказание. Вошли сторожа с скамейкой и с ложами.

— Я вас спрашиваю в последний раз: кто зачинщики? Извольте или отвечать, или раздеваться.

Ферапонтов не сделал ни того, ни другого.

— Раздеваться! — крикнул, наконец, директор, стукнув по столу.

— Нет-с, я не дамся сечь, — произнес вдруг Иосаф.

Мы все невольно вздрогнули. Директор откинулся на задок кресла. Инспектор сделал только жест удивления руками, а законоучитель возвел очи свои горе и вздохнул.

— Раздеть его! — произнес директор уже шипящим голосом.

Два сторожа подошли к Ферапонтову.

— Что ж, ваше благородие, разболокайтесь! — проговорил один из них и взял было его за борт сюртука. Но Иосаф в ту же минуту ударил его наотмах по морде, а другого толкнул в грудь, так что тот едва устоял на ногах, а сам, перескочив через скамейку, убежал. Двое остальных сторожей погнались за ним. Мы слышали их тяжелые и быстрые шаги по коридору.

Весь ученый комитет поднялся на ноги. Директор и инспектор несколько времени стояли друг против друга и ни слова не могли выговорить, до того их сердца преисполнились гнева и удивления. Учителя, которые были поумней, незаметно усмехались. Прошло по крайней мере четверть часа тяжелого и мрачного ожидания. Наконец, двое запыхавшихся сторожей возвратились и донесли, что Ферапонтов сначала перескочил через один забор, потом через другой, через третий и скрылся в переулке.

— А! Хорошо! — проговорил директор, снова совладев собой. — Хорошо! — повторил он, — и затем началась разборка; стали сечь через четвертого пятого: Ахтуров указал на Вистулова и Пеклиса; Вистулов сказал, что зачинщиками были Кантырев и Жиллов; Жиллов оговорил Пеклиса; словом, все сподличали, и всех пересекли. Обильное количество розог было сполна употреблено в дело. Мы все разошлись по домам, кто прихрамывая, кто всхлипывая, и все с глубоко ожесточенными сердцами, а когда на другой день нас снова потянули в залу, мы дали друг другу смертельную клятву поступить так же, как и молодец Ферапонтов. Но нас ожидало совершенно иное зрелище. Директор, инспектор и учителя сидели попрежнему на своих местах. Попрежнему в зале была скамейка и розги, а несколько в стороне три сторожа держали связанного по рукам и ногам Ферапонтова. Отец его, еще в более изорванном вицмундиришке, был тут же и беспрестанно кланялся директору.

— Я, батюшка-благодетель, только и прошу о том: накажите его, подлеца, хорошенько!.. Хорошенько его!..

— Вы будете видеть, как этот господин будет примерно наказан, — объяснил нам коротко директор и сделал знак рукой сторожам.

Иосафу на этот раз не было никакой возможности сопротивляться. С ним мгновенно распорядились. Оказалось, что на нем белья даже порядочного не было: полинялая ситцевая реденькая рубашонка висела на нем хлопьями, и больше ничего. Наказанье последовало действительно примерное. До сих пор я не могу забыть этого возмущающего душу зрелища. Бедного мальчугана привязали крепчайшими веревками за руки, за голову, за ноги к скамейке. Двое огромных сторожей начали его наказывать. Директор с включенными волосами и с расвирепевшим лицом встал на ноги.

— Говорят вам, назовите зачинщиков и просите прощения! — говорил он по временам задыхающимся от бешенства голосом, но, не получая ответа, махал рукой, и сторожа продолжали свое дело.

Отец Иосафа тоже повторял за ним: «Хорошенько его, хорошенько!» Иногда он подбегал к солдатам и, выхватив у них розги, сам начинал сечь сына жесточайшим образом. Все это продолжалось около получаса. Ручьи крови текли по полу. Иосаф от боли изгрыз целый угол скамейки, но не сказал ни одного слова и не произнес ни одного стога.

— Бросьте этого скота, — проговорил, наконец, директор.

Ферапонтов-старик бросился ему в ноги, умоляя его: «Батюшко, не погубите, отец мой, благодетель, не погубите навеки!» И когда директор пошел из зала, он пополз за ним на коленях.

Иосафа тоже на той же скамье куда-то унесли и нас распустили.

Три недели потом он не являлся. Мы слышали, что он больной лежит в пансионской больнице, и когда пришел, то был бледен и заметно похудел. О том, что с ним случилось, он почти ни с кем не проговорил ни слова, хоть и был решительно героем денька. Не говоря уж об нас, маленьких, начавших смотреть на него с каким-то благоговением, даже шестиклассники и семиклассники приходили и спрашивали: «Который у вас Ферапонтов?», и мы им показывали. Я дал себе решительное слово во что бы то ни стало сблизиться и подружиться с ним. Но как было это сделать? Единственным приятелем и другом Иосафа был и оставался тоже заречный житель, пятиклассный гимназист Мучеников. Малый этот, весьма тупой на ученье, отличался тем, что постоянно ходил в широчайших шальварах, стригся в кружок и накалывал себе сзади шею булавкой для того, чтобы она распухла и казалась более толстою, и все это с единственною целью быть похожим на казака, а не на гимназиста. Каждую перемену между классами они сходились и все время ходили по коридору, разговаривая между собою задушевнейшим образом. Я несколько раз пытался подслушать их беседу. Они толковали то о том, где лучшие места для грибов, то продавали или покупали что-то такое один у другого, и при этом всегда платили друг

другу самыми мелкими монетами: денежками, полушками. Оказалось потом, что оба они были птицеловы.

— На конопляное семя лучше всего идет птица! — говорил Мучеников.

— Ну нет! Уж это сколько раз испытано было: овсяная крупа скусней для них всего! — возражал ему басом Иосаф.

— Чижу! — возражал, в свою очередь, Мучеников.

— Не чижу, а вообще всякой птице, — говорил настойчиво Иосаф. — У меня, слава богу!.. Я запасся теперь этим добром! — прибавлял он с удовольствием и вытаскивал из кармана целую пригоршню овсяной крупы, которую они с Мучениковым сейчас же разделяли и тут же ее съедали.

Однажды Иосаф как-то особенно таинственно был вызван своим приятелем из класса. Я потихоньку тоже вышел за ними. Сначала они походили по коридору, поговорили между собой о чем-то шепотом и прошли в физический кабинет. Там Мучеников сначала вытащил из своих широчайших штанов какой-то ящичек с дырочками, осторожно открыл его, и из него выпрыгнула мышь на ниточке, потом вынул он оттуда что-то завернутое в бумажку — развернул — оказалось, что это был варганчик, на котором он и начал потихоньку наигрывать, а мышка встала на задние лапки и принялась как бы плясать. Ферапонтов смотрел на все это с пожирающим вниманием. Меня несколько удивило, что такие большие гимназисты и чем занимаются? Сам я, хотя и был гораздо моложе их, давно уже отстал от всяких детских игр и даже презирал ими...

Так дело шло до пятого класса. К этому времени у Иосафа сильно уже пророс подбородок бороною: середину он обыкновенно пробривал, оставляя на щеках довольно густые бакенбарды, единственные между всеми гимназистами. Раз мне случилось, наконец, идти с ним по одной дороге.

— Ферапонтов! зайдите ко мне, — сказал я почти умоляющим голосом.

— Что? Нет-с! зачем? — отвечал он.

— Мы покурим, потолкуем.

— Я не курю-с.

— Ничего, вы попробуете! Пожалуйста, зайдемте.

— Пожалуй-с, — проговорил, наконец, Иосаф каким-то нерешительным тоном и зашел, но как-то чрезвычайно робко.

Встретившей нас нашей дворовой женщине Авдотье он поклонился самым почтительным образом, и когда мы вошли в мою комнату, он, кажется, не решался сесть.

— Садитесь, пожалуйста, Ферাপонтов, — сказал я и начал старательно выдувать и закуривать для него трубку.

Иосаф два раза курнул и возвратил ее мне.

— Нет-с, горько, я не умею! — сказал он.

— Да вы вот как! — объяснил я ему и, ради поучения его, отчаянно затянулся.

— Я не умею-с, — повторил Иосаф.

Он, видимо, более всего в эту минуту был занят тем, чтобы спрятать под кресло свои дырявые и сильно загрязненные сапоги.

— Послушайте, — сказал я, небрежно разваливаясь на диване, — что вы дома делаете, когда из класса приходите?

— Да что? Уроки учу; ну и по дому тоже кое-что поделаешь.

— А читать вы любите? — спросил я, никак не предполагая, что Иосаф даже не поймет моего вопроса.

— Что читать-с? — спросил он меня самым невиннейшим тоном.

— Повести, романы, вот как этот, — сказал я, показывая на лежавший в то время у меня на столе «Фрегат «Надежда», который я только что накануне проглотил с неистовою жадностью.

— Нет-с, я не читывал, — отвечал Ферাপонтов.

В это время Авдотья подала нам чай. Иосаф вдруг стал отказываться.

— Отчего же вы не пьете? Пейте! — сказал я.

Ферাপонтов, конфузясь, взял чашку, проворно выпил ее и, покрыв, возвратил, неловко раскланиваясь перед Авдотьей.

— Кушайте еще, — сказала та улыбаясь.

Иосаф окончательно растерялся.

— Пейте, Ферапонтов. Налей! — проговорил я.

Иосаф и эту чашку так же поспешно выпил и, закрыв, возвратил, снова расшаркавшись перед Авдотьей.

— Знаете что, Ферাপонтов, — сказал я, решившись ни за что не выпускать из рук нового приятеля, — давайте заниматься вместе по-латыни. Вы вот этак заходите ко мне после класса, и мы станем переводить.

— Хорошо-с, пожалуй, — отвечал, подумавши, Иосаф и взялся за фуражку.

Я предложил ему покурить. Он сделал это, кажется, более для моего удовольствия и ушел.

— Что это у вас какой барин-то был? — сказала мне Авдотья после ухода его.

— Что же? — спросил я.

— Да и на барчика-то совсем не похож, словно лакейшка какой, — решила она.

— Напротив, это славный малый! — возразил я и не счел за нужное объяснять ей более.

Дня через два мы принялись с Ферапонтовым за латынь. Оказалось, что в этом деле он гораздо дальше меня ушел. Знания входили туго в его голову, но, раз уже попавши туда, никогда оттуда не выскакивали: все знакомые ему слова он помнил точнейшим образом, во всех их значениях; таблицы склонений, спряжений, все исключения были у него как на ладоне.

Меня, впрочем, в Иосафе интересовал совсем другой предмет, о чем я и решился непременно поговорить с ним.

— А что, Ферапонтов, были вы когда-нибудь влюблены? — спросил я, воспользовавшись одним праздничным послеобедом, когда он пришел ко мне и по обыкновению сидел молча и задумавшись. Сам я был в это время ужасно влюблен в одну свою кузину и даже отрезал себе клочок волос, чтобы похвастаться им перед Ферапонтовым и сказать, что это подарила мне она.

— Были вы влюблены? — повторил я, видя, что Иосаф покраснел и молчал.

— Нет-с, я не знаю этого... не занимаюсь этим, — отвечал он каким-то недовольным тоном и потом сейчас же поспешил прибавить: — давайте лучше заниматься-с.

Мы принялись: Иосаф начал с невозмутимым вниманием скандовать стихи, потом разбивал их на предложения, отыскивал подлежащее, сказуемое. Перевод он писал аккуратнейшим почерком, раза два принимался для этого чинить перо, прописывал сполна каждое слово и ставил все грамматические знаки.

«Что это, — думал я, глядя на него, — какой умный малый и не понимает, что такое любовь!»

— Вы, Ферапонтов, конечно, в университет поступите? — спросил я его вслух.

— Нет, где же-с! я состояния не имею.

— Да вам только доехать до Москвы, а там вас сейчас же примут на казну.

— Нет-с, невозможно это... Я несмелый такой! Где мне! — отвечал он и вздохнул.

Вскоре после этого времени с ним случилась по гимназии новая беда. Приятель его Мучеников, и с виду, как мы знаем, довольно суровый, имел при этом решительно какие-то кровожадные наклонности. Не проходило почти ни одной на площади казни, на которой бы он не присутствовал, и обыкновенно стоял, молодежато подбоченившись рукой, и с каким-то особенным удовольствием прислушивался, как стонал преступник. Во всех кулачных боях между фабричными он непременно участвовал и нередко возвращался отсюда с сильно помятыми боками, но всегда очень довольный. Любимой его прогулкой было ходить на городскую скотобойню и наблюдать там, как убивали скотину. Говорят даже, он иногда сам выпрашивал у мясников топор и собственными руками убивал крупнейших быков.

Не имея, вероятно, долгое время подобных развлечений, он придумал новую штуку: был в гимназии некто маленький и ужасно паршивый гимназистик Красноперов, который, чтобы как-нибудь отбиться от ученья, вдруг вздумал притвориться немым: его и упрашивали и лечили; но он показывал только знаки руками, делал гримасы, как бы усиливаясь говорить, но не произносил ни одного звука. Мучеников все это намотал себе на ус и раз, когда они по обыкновению проходили по бульвару с Иосафом домой, впереди их шел именно этот самый гимназистик, очень печальная фигурка, в дырявой шинельке и с сумкой через плечо; но ничто это не тронуло Мученикова.

— Попытаем его! — сказал он вдруг Иосафу, сделав знак глазами.

— Ну нет, что! — отозвался было тот сначала.

— Право, попробуем... — проговорил Мучеников.

Иосаф отвечал на это одной уже только улыбкой, и Мучеников, понагнав Красноперова, стал его приманивать.

— Поди-ка сюда, поди: я тебе пряничка дам! — говорил он, и когда тот, не совсем доверчиво, подошел, он схватил его за шивороток, повернул у себя на колене и, велев Иосафу нарвать тут же растущей крапивы, насовал ее бедному немому за пазуху, под рубашонку, в штанишки, в сапоги, а потом начал его щекотать. Тот закорчился, зашевелился, крапива принялась его жечь во всевозможных местах. Сначала он визжал только на целый бульвар, наконец не вытерпел, заговорил и забранился.

— А! так ты, bestия, не немой... говоришь! — проговорил Мучеников и затем, дав своей жертве еще несколько шлепков в зад, отпустил.

Несчастный мальчик, забыв всякую немоту, прибежал к отцу и все рассказал. Тот поехал к директору. Мученикова сейчас же исключили из гимназии, а Иосаф спасся только тем, что был первым учеником. Его, однако, сменили из старших и записали на черную доску.

— Зачем вы это сделали? — спросил я его однажды. Ферапонтов покраснел.

— Так, черт знает зачем! — отвечал он и потом, помолчав, прибавил, шупая у себя голову: — у меня, впрочем, кажется, есть шишка жестокости. Я, пожалуй, способен убить и себя и кого другого.

Взглянув на его несколько сутуловатую и широкоплечую фигуру, я невольно подумал, что вряд ли он говорит это фразу.

В дальнейшем моем сближении с Ферапонтовым он оставался тем же и, бывая у меня довольно уже часто, попржнему или коротко, или ничего не отвечал на все мои расспросы, которыми я пробивал его со всех сторон, и только однажды, когда как-то случайно речь зашла о рыбной ловле, он вдруг разговорился.

— Ночь теперь если тихая... — начал он с заметным удовольствием, — вода не колыхнется, как зеркало... Смола на носу у лодки горит... огромным таким кажется пламенем... Воду всю освещает до самого дна: как на тарелке все рассмотреть можно, каждый камышек... и рыба теперь попадется... спит... щука всегда против воды... ударишь ее острогой... встрепенется... кровь из нее брызнет в воду — розовая такая...

— Вам бы, Ферапонтов, на ваканцию куда-нибудь в деревню ехать, — перебил я его, решившись тоже придумать и насказать ему, как и я ловлю рыбу.

— Что деревня! Мы теперь с Мучениковым все равно — почесть что всю ваканцию дома не живем... Раз так на Афоньковской горе целую неделю с ним жили, — прибавил он с улыбкой.

— Что ж вы делали там?

— Ничего не делали... известно... по ягоды ходим, молока себе потом купим, съедим их с ним. Виды там отличные; верст на шестьдесят кругом видно. Город здешний, как на ладоне, да окромя того сел двадцать еще видно.

— А как вы птиц ловите? — спросил я.

— Птицы что!.. Тоже охоту на это надо иметь, — отвечал Иосаф уклончиво.

Я как-то перед тем имел неосторожность посмеяться над его птицеловством, и он постоянно по этому предмету отмалчивался.

Другой раз, это было, впрочем, в седьмом уже классе, Иосаф пришел ко мне, чего с ним прежде никогда не бывало, часу в одиннадцатом ночи. На лице его была написана тревога. С первых же почти слов он спросил меня робким голосом:

— А что, можно у вас ночевать?

— Сделайте одолжение. Но что такое с вами, Ферантов? Вы какой-то расстроенный.

Иосаф сначала ничего было мне не отвечал, но я повторил свой вопрос.

— Да так!.. С отцом неудовольствие вышло... пришел пьяный... рассердился на меня да взял мои гусли и разбил топором... на мелкие куски изрубил... а у меня только и забавы по зимам было.

— И что ж вы? Играли на них?

— Играл немного!..

— Кто ж вас учил?

— Кое-что сам дошел, а другое отец дьяком от Преображения поучил... Есть же, господи, такие на свете счастливые люди, — продолжал он с горькой улыбкой, — вон Пеклису отец и скрипку новую купил и учителя нанимает, а мой благоверный родитель только и высккивает, нельзя ли как-нибудь разобидеть... Лучше бы меня избил, как хотел, чем это сделал. Никакого терпенья недостает... бог с ним.

На глазах Иосафа навернулись слезы. Прежде он никогда на отца не жаловался и вообще ничего не говорил о нем. Я стал его утешать, говоря, что ему лучше на чем-

нибудь другом выучиться, что нынче на гусях никто уже не играет.

— Что ж мне делать, коли у меня ничего другого нет. И то-то, спасибо, после покойного дедушки достались... Берег их как зеницу ока, а теперь что из них стало?.. Одни щепки!

Всю ночь потом, как я прислушивался, Иосаф не спал и на другой день куда-то очень рано ушел: вряд ли не приискивать мастера, который бы взялся у него починить гусли.

«Вот чудак-то!» — подумал я, очень еще смутно в то время понимая, что мой высокорослой друг, так уже сильно поросший бороною, был совершенный еще ребенок и в то же время чистейший идеалист.

III

Спустя полгода после выпуска Ферапонтов, как я слышал, поступил в Демидовский лицей. Он пришел для этого в Ярославль пешком, и здесь его, на самых первых порах, выбрали в певчис — петь самую низкую октаву. Это очень заняло Иосафа. Боже мой, с каким нетерпением он обыкновенно поджидал подпраздничной все-нощной. Встанет, бывало, на клирос, несколько вглубь его. Церковь между тем начинает наполняться народом. Впереди становятся дамы, хоть и разодетые и раздушенные, но старающиеся придать своим лицам кроткое и постное выражение. За ними следуют купцы с сильно намасленными головами и сзади их лакеи в ливреях или солдаты в своих сермягах. Выходит из алтаря дьякон со свечой и священник с кадилом. Оба они в дорадоровых ризах. Обоняние Иосафа начинает приятно щекотать запах ладана; с каким-то самоуслаждением он тянет свою ноту и в то же время прислушивается к двум мягким и складным тенорам.

Наступившая потом страстная неделя принесла ему еще бóльшие наслаждения. Почти с восторгом он ходил на эти маленькие вечерни. Весеннее солнце, светившее с западной стороны в огромные и уже выставленные окна, обливало всю церковь ярким янтарным блеском, так что синеватые и едва колеблющиеся огоньки зажженных перед иконостасом свечей едва мерцали в нем. Говельщики

стояли по большей части с потупленными головами: одни из них слегка и едва заметно крестились, а другие, напротив, делали огромные крестные знамена и потом вдруг, ни с того ни с сего начинали до поту лица кланяться в землю. Иосаф вместе с хором пел столь любезные ему песни Дамаскина. «Блюди убо, душе моя, да не сном отяготишиися», или «Чертог твой вижду, спасе мой, украшенный» держал он крепко на своей октаве, ни разу не срываясь. Но вот в пятницу вынесли плащаницу. Хор запел: «Не рыдай мене, мати, зряще во гробе». Иосаф, несколько прячась в воротник своей шинели, тоже басил, стараясь смигнуть наворачнувшиеся на глазах слезы. Он чувствовал, что из груди его выходят хотя и низкие, но одушевленные звуки.

Помнил он также и троицын день. Народу в церкви было яблоку упасть негде: всё больше женщины, и все, кажется, такие хорошенькие, все в белых или светлоглубых и розовых платьях и все с букетами в руках благоухающей сирени — прекрасно!

За этими почти единственными, поэтическими для бедного студента, минутами следовала бурсацкая жизнь в казенных номерах, без семьи, без всякого развлечения, кроме вечного долбления профессорских лекций, мрака и смерти преисполненных, так что Иосаф почти несомненно полагал, что все эти мелкие примеры из истории Греции и Рима, весь этот строгий разум математики, все эти толки в риториках об изящном — сами по себе, а жизнь с колотками в детстве от пьяных папенок, с бестолковой школой в юности и, наконец, с этой вечной бедностью, обрывающей малейший расцвет ваших юношеских надежд, — тоже сама по себе и что между этим нет, да и быть никогда не может, ничего общего.

В этом нравственном полуусыплении не суждено было, однако, Иосафу заглохнуть навсегда: на втором, кажется, курсе он как-то вечером вышел прогуляться и на одной из главных улиц встретил целую ватагу студентов. Впереди всех шел некто своекоштный студент Охоботов, присланный в училище на выучку от Войска Донского и остававшийся в оном лет уже около пяти, так что начальство его, наконец, спросило бумагой училищное начальство: как и что Охоботов и скоро ли, наконец, выучится? Его призвали в совет и спрашивали: что отвечать на это?

— Да пишите, что начинаю подавать надежды, — отвечал он очень спокойно.

Все рассмеялись, но так и написали. Охоботов же по-прежнему продолжал почитать и заниматься, чем ему хотелось, а главное — пребывать в известном студенческом трактире «Бычок», где он с другими своими товарищами, тоже постоянно тут пребывавшими, играл на бильярде, спорил, рассуждал и вообще слыл между ними за очень умного и душевного малого.

В настоящем случае он шел что-то очень мрачный, скоро шагая и нахлобучив фуражку. Поровнявшись с Феррапонтовым, он остановил его.

— Пушкин ранен на дуэли и умер, — сказал он каким-то глухим голосом.

Иосаф молча посмотрел на него: он не без удивления заметил, что глаза у Охоботова были как бы воспалены от слез.

— Сейчас идем к Вознесенью служить панихиду по нем. Идем с нами! — проговорил Охоботов.

Иосаф механически повернул и все еще хорошенько не мог понять, что это значит. На улицах между тем царствовала совершенная тишина. Неторопливо и в каком-то молчании прошли все до самой церкви. Перед домом священника Охоботов взялся вызвать его и действительно через несколько минут вышел со священником, который только мотал от удивления головой.

— Ну уж вы, господа студенты, народец! — говорил он, отпирая огромным ключом огромную церковную дверь.

Вошли. Всех обдало мраком и сыростью. Засветили несколько свечек. Иосафу и другому еще студенту, второму басу после него, поручили исполнять обязанность дьячков. Священник надел черные ризы и начал литию. После возгласу его: «Упокой, господи, душу усопшего раба Александра», Феррапонтов и товарищ его громко, так что потряслись церковные своды, запели: «Вечная память, вечная память!» Прочие студенты тоже им подтягивали, и все почти навзрыд плакали.

— Ну, панихидка — не лицемерная... не фальшивая! — говорил священник, кончив службу и пожимая руку то у того, то у другого из студентов.

Выйдя из церкви, Охоботов распорядился, чтобы все шли в известный уж нам «Бычок». Иосаф тоже

последовал туда. В заведении этом была даже отведена особая для студентов комната, в которую немногие уже из посторонней публики рисковали входить.

— Господи! — проговорил Охоботов, садясь на свое обычное место на диван и грустно склоняя голову, — вчера еще только я читал с Машей его «Онегина»... точно он напроорочил себе смерть в своем Ленском... Где теперь «и жажда знания и труда... и вы, заветные мечтания, вы призрак жизни неземной, вы сны поэзии святой» — все кончено! Кусок мяса и глины остался только, и больше ничего!

— Это ужасно! — воскликнул молоденький студент, тоже садясь и ероша волосы.

— Да, скверннссимо, — подтвердил второй бас.

Иосаф на все происходившее смотрел выпуча глаза.

— Не скверннссимо, а подлссимо! — воскликнул вдруг Охоботов. — Вот он! — прибавил он, ударив кулаком по лежавшему на столе номеру «Северной пчелы», — этот паук, скорпион, жаливший всю жизнь его, жив еще, когда он умер, и между нами нет ни одного честного Занда, который бы пошел и придавил эту гадину.

— Это черт знает что такое! — опять повторил молоденький студент, застучав руками и ногами.

— Да расстреляйте ж, коли то... портрет его, собачьего сына, як робят то в Хранции с дурнями, який убер, — проговорил вдруг смиреннейший студент-хохол, все время до того молчавший.

Все посмотрели на него с недоумением.

— Он же тут висит! — объяснил он, показывая на одну из стен, на которой действительно между несколькими портретами писателей висел и портрет известного антагониста Пушкина.

Мысль эта всем очень понравилась.

— Отлично, бесподобно, — раздалось со всех сторон.

Охоботов, хоть и не совсем довольный этой полумерой, тоже согласился.

Молоденький студент взялся домой сбежать за ружьем. Пришли было половые и сам хозяин трактира и стали упрашивать господ: сделать милость, не буянить. Но им объявили, что за портрет им заплатят, а самих прогнали только что не в шею. Ружье было принесено. Оказалось, что это был огромный старинный карабин: последовал вопрос — кому стрелять?

Всем хотелось.

— Ферапонтову, — распорядился Охоботов.

— Пожалуй-с! — отвечал тот с заметным удовольствием и, взяв ружье, неторопливо прицелился и выстрелил.

На месте лица очутилась пуля.

— Ура Ферапонтову! Bravo! — прокричала почти в один голос вся ватага. Иосаф продул ружье и поставил его к сторонке. Попадись, кажется, в эту минуту ему и сам оригинал, он и с тем бы точно так же спокойно распорядился. Домой он пришел в сильном раздумье: как человек умный, он хорошо понимал, что подобного энтузиазма и такой неподдельной горести нельзя было внушить даром; но почему и за что все это? К стыду своему, Иосаф должен был признаться самому себе, что он ни одного почти стихотворения и не читывал, кроме тех, которые задавались ему в гимназии по риторике Кошанского. Он на другой же день потихоньку сходил к библиотекарю и выпросил у него все, какие были, сочинения Пушкина и принялся: читал он день... два и, странное дело, как будто бы целый мир новых ощущений открылся в его душе, и больше всего ему понравились эти благородные и в высшей степени поэтические отношения поэта к женщине. Искусившись таким образом, Иосаф решительно уже стал не в состоянии зубрить лекции и беспрестанно канючил то у того, то у другого из своих товарищей дать ему что-нибудь почитать: будь то роман, или рукописная в стихах поэма, или книжка какого-нибудь разрозненного журнала. Долго и потом Иосаф вспоминал это время, как счастливейшее в своей жизни. Почти в лихорадке от нетерпения, он запасался обыкновенно от сторожа на целую ночь свечкой и, улегшись на своей койке, принимался читать. Сколько прелестных местностей воссоздалось в его воображении; перед ним проходили как бы живые, совершенно новые и незнакомые ему лица, но понятные по общечеловечности страстей людских. И только через полгода такого как бы запоя читательского он отвлечен был несколько в другую сторону. К ним прислан был новый профессор, молодой, энергичский. Он на первой же лекции горячо заговорил о равенстве людей, о Христе, ходившем по песчаным степям, среди нищей братии и блудниц; кроме того, стал приглашать к себе на дом студентов, читал с ними, толковал

им разные свои задушевные убеждения. Главным и почти единственным оппонентом ему в этих беседах явился Охоботов, который, по свойству своей упрямой казацкой натуры идти всем и во всем напротив, вдруг вздумал отстаивать то положение, что «все на свете благо и истинно, что существует». Профессор страшно громил против этого. Топая ногами и стуча кулаками, он кричал, что подло и низко всякое ярмо, которое наденут на вас и которое беспрестанно трет вам шею, считать благом и истиною.

Желудки казенных студентов, кажется, первые изъяснили на эту мысль свое полное согласие и подстрекнули своих владельцев объявить, наконец, протестацию эконому, начавшему их кормить только что не осиновыми дровами, поджаренными на воде. Ферাপонтов сначала было не принимал никакого участия в этом; но в решительную минуту, когда за одним из обедов начался заранее условленный шум и когда эконом начал было кричать: «Не будет вам другой говядины. Едите и такую... Вот она, тут, на столе стоит... Что вы с ней сделаете?»

— А вот что! — вскричал вдруг Иосаф и, схватив со стола блюдо, швырнул его в окно, так что оно пролетело возле самого виска эконома, и затем по тому же направлению последовали ломти хлеба, солонки, тарелки и даже ножи. Эконом едва спасся бегством. Начальство было чрезвычайно сконфужено этим делом и потому ограничилось только тем, что студентов пожурило, эконома сместило, но зато на молодого профессора была послана такого рода бумажка и так сдобно приправленная, что ему сейчас же предложили выйти в отставку; но как бы то ни было толчок уж был дан: в голове Иосафа, как, вероятно, и у многих других его товарищей, перевернулось многое. Он уже ясно стал понимать, что свойство жизни вовсе не таково, чтобы она непременно должна быть гадка, а что, напротив, тут очень многое зависит от заведенного порядка. Кончивши курс таким образом, он очутился как бы на каком-то нравственном распутье: в нем было множество возбуждено прекрасных инстинктов, но и только! Протестант почти против всего, но во имя какого знамени, и сам того хорошенько не знал. Вольнодумец в отношении религии на словах, он в то же время перед каждым экзаменом бегал к местной чудотворной иконе в собор и молился там усерднейшим образом. Не-

навидя до глубины души всякий начальствующий авторитет, я не знаю, вряд ли бы и сам удержался, если бы только случай выпал, обнаружить грубейший произвол. Знал он, пожалуй, и многое, но все как-то отрывочно, случайно и непригодно ни для какого практического дела, а между тем угрожающее ему впереди житейское положение было почти отчаянное. Он едва-едва успел уговорить одного лодочника свезти его в родной город, с прокормом за последние находившиеся у него в кармане три целковых, и то потому только так дешево, что он взялся вместе с тремя другими мужиками грести вместо бурлаков на судне, а в случае надобности, при противном ветре, тянуть даже бечевую. Когда причалили к пристани и Иосаф вступил на родную землю, трое мужиков с хозяином лодки весело пошли в харчевню выпить и пообедать, а он и этого сделать не мог: у него не было ни копейки. Взойдя со своей скудной сумочкой и понуренной головою на городскую гору, он даже всплакал. К кому было обратиться? Где приклонить голову? Отец его, давно уже пропивший свой последний домишко, умер нищим на церковной паперти; из знакомых своих Иосаф только и припомнил одного зарецкого дьякона, который некогда так великодушно поучил его играть на гусях. Он поплелся к нему, робко постучался в запертую калитку, и терзаемый глубочайшим стыдом, только что не Христа ради, попросился у него ночевать.

— Сделайте милость, войдите, — отвечал отец дьякон.

Впрочем, тут же сейчас ему посоветовал на другой день идти к начальнику губернии и объяснить ему все.

— Славный человек, славный и к духовенству прерасположительный; отличнейший генерал, — говорил он.

Иосаф только вздохнул. Он еще в училище насмотрелся и наслышался, каковы эти отличнейшие генералы. Впрочем, на той же неделе, как только его физиономия, загрубелая и загорелая во время речного пути, приняла несколько более благообразный вид, он пошел к губернатору. Часа три по крайней мере ожидал он в приемной. Наконец, генерал вышел. Он очень любезно пожал руку инженерному поручику, так уже прекрасно успевшему обеспечить себя на дорожной дистанции, сказал даже довольно благосклонно «хорошо, хорошо» на какой-то молебный вопль исправнику, только что перед тем преданному за мздоимство суду. Но, заметив Феррапонтова, он

вдруг насупился, не удостоил даже обратиться к нему всего своего лица, а повернул только несколько правое ухо. Губернатор какое-то органическое отвращение чувствовал к студенческим мундирам.

Иосаф изложил ему свою просьбу.

Генерал попятился назад.

— Какое же я могу вам место дать? Какое? Какое? — повторял он все более и более строгим голосом.

— Я, ваше превосходительство, почти куска хлеба не имею! — вздумал было Иосаф тронуть его сердце.

— А я виноват в том? Я виноват? Я? — повторял губернатор, как бы чувствуя какое-то особенное наслаждение делать подобные вопросы.

Иосаф молчал.

— Я, ваше превосходительство, медаль получил! — проговорил он, наконец, и сам хорошенько не зная зачем.

Лицо генерала мгновенно приняло несколько более благоприятное выражение. Он вообще высоко ценил в людях всякого рода награды от начальства.

— Медаль? — спросил он.

— Да-с, — отвечал Иосаф.

— Покажите мне ее.

— Ее нет со мной-с, — отвечал Иосаф, несколько удивленный подобным желанием.

— Подите и принесите мне ее сейчас же! — решил губернатор и ушел.

«Черт знает что такое!» — подумал невольно Иосаф и, сходяв за медалью, снова возвратился в приемную.

Там уже никого не было. Его допустили в кабинет к губернатору. Он подал ему медаль. Начальник губернии несколько времени весьма внимательно рассматривал ее, взвешивал ее на руке и даже зачем-то понюхал.

— Подайте просьбу в Приказ, там есть вакансия писца, и вас зачислят... Надеюсь, что вы не обманете моего доверия, — проговорил он и сделал Иосафу знак головою, чтобы он удалился.

«Что ж это он мне за особенное доверие оказывает?» — рассуждал Иосаф, идя домой, и, когда на другой день он пришел в Приказ, десятки любопытных глаз сейчас же устремились на него.

Мороз невольно пробежал по всему телу Ферапонтова. Человека три-четыре из стареньких чиновников по-

казались ему как две капли похожими на его покойного отца.

Между тем приехал неперемный член, очень добродушный старик, но перед тем только пришибленный параличом. Он что-то такое больше промышчал, чем сказал бухгалтеру, тоже старику, рябому, толстому и, должно быть, крутейшему человеку. Тот ткнул Иосафу пальцем на пустой стул, проговорив: «Садитесь вот тут». Иосаф смиренно сел. Сначала сочинил он просьбу о своем определении, потом переписал поданную ему тем же бухгалтером бумагу, потом еще и еще, так что к концу присутствия почти совершенно примкнул к канцелярской машине.

IV

Не знаю, известно ли читателю, что по разного рода канцеляриям, начиная от неблагообразных камор земских судов до паркетных апартаментов министерств, в этих плешивых, завитых и гладко стриженных головах, так прилежно наклоненных над черными и красными столами, зачахло и погребено романтизму и всякого рода иных возвышенных стремлений никак не менее, чем и в воинственных строях, так ярко блистающих на Марсовом поле. Как и что происходит там с этими нежными растениями нашей души, я не знаю, но канцелярский воздух, положительно можно сказать, неблагоприятен для них. Из сотни товарищей Иосафа, некогда благородных и умных малых, садившихся до и после его на подобный ему стул, очень немногие прошли благополучно этот житейский искус: скольких из них мы видали от беспрерывно раздражаемой печени и от надсаженной груди пустою, бесполезной работой умирающими в своих скудных квартирах или даже, по бедности, в городских больницах. Другие являли из себя еще более печальный пример: ради утехи душевной, они, прямо же из присутствия, обыкновенно проходили в какое-нибудь в кредит верящее трактирное заведение, а оттуда уже ночью по заборам, а иногда и на четвереньках переправлялись домой или попадали в часть. Так дело шло до окончательного выгона из службы, за которым следовали: кабак, нищета и смерть где-нибудь на тротуаре или пропажа без вести! Наконец, третьи, и вряд ли не большая из них часть,

благоразумно подлели: в какой-нибудь год отращивали себе брюшко, женились на дочерях каких-нибудь совсем уж отпетых экзекуторов и надсмотрщиков гражданских палат, и сами потом делались такими же скрозьземельными, как говорит народ, плутами. Иные из них уезжали даже в Петербург дослуживать там до довольно видных мест; но печать позорного опошления все-таки горела на их челе.

Иосафу был сужден несколько иной, более оригинальный, выход. Чтобы лучше познакомиться с его душевным состоянием, я считаю здесь нелишним привести два, три отрывка из его записок, которые он вел для себя, как бы вроде дневника. Вот что писал он вскоре после вступления своего на службу:

«Едва вышед из стен училища, я сразу должен был окунуться в житейскую болотину. К чему послужило нам наше образование? Не похоже ли это на то, как если бы в какой-нибудь для грубого солдатского сукна устроенной фабрике завели розовый питомник. Вот розы поспели, их срезали и свалили в один угол с грубыми суконными свитками; завянут они там, и не истребить им своим благоуханием запахи сермяги. Я пребываю в отчаянии, в каком и вы, мои друзья и товарищи, вероятно, все теперь находитесь».

Но как бы то ни было Иосаф, затаив все на душе, кинулся на труд: с каким-то тупым, нечеловеческим терпением он стал целые дни писать доклады, переписывать исходящие, подшивать и нумеровать дела и даже, говорят, чтобы держать все в порядке, мел иногда в неприступное время комнаты. Долгое время старик бухгалтер как будто бы ничего этого не замечал; наконец, умилился сердцем и однажды на вопрос неперемного члена: «Что, каков новобранец-то?» — отвечал: «Воротит как лошадь, малый отличнейший».

С течением времени он стал даже как будто бы заигрывать с Иосафом на словах.

— Жарконько сегодня, отче Иосафий, — говорил он, дав ему первый это прозвище, но решительно в виде ласки и с тем, чтобы определить им солидный характер своего любимца.

— Да, жарко, — отвечал Иосаф, стаскивая с полки огромную связку дел.

Бухгалтер смотрел ему в спину с какой-то нежной улыбкой, и как ни мгновенна она была на суровом лице

его, но в ней одной в мире начало было созреть благосостояние Иосафа. Дело началось с того, что старик после летнего Николина дня, храмового в их приходе праздника, как-то попрошится и очень уж сильно перепил с своим другом и товарищем, архиерейским певчим, так что заболел после того на целые полгода. Исполнение его должности, по личному его настоянию, было поручено Иосафу и потом, когда старый служака чувствовал окончательное приближение смерти, то нарочно позвал к себе своего начальника, неперменного члена, и с клятвой наказывал ему не делать никого бухгалтером, кроме Ферапонтова. Желание это было исполнено. Такое быстрое повышение сильно было расшевелило Иосафа на первых порах. Он сшил себе все с иголочки новое платье и начал даже подумывать о женитьбе. Здесь мне придется объяснить довольно щекотливое обстоятельство касательно того, что герой мой, несмотря на свое могучее тело и слишком тридцатилетний возраст, находился в самых скромных и отдаленных отношениях ко всему женскому полу. Как и отчего это произошло: обстоятельства ли жизни, или некоторая идеальность миросозерцания и прирожденные чувства целомудрия и стыдливости — были тому причиной, но только, не говоря уже о гимназии, но и в училище, живя в сотовариществе таких повес, как студенты, Иосаф никогда не участвовал в их разных любовных похождениях и даже избегал разговора с ними об этом; а потом, состоя уже столько времени на службе, он только раз во все это время, пришедши домой несколько подгулявши, вдруг толкнул свою кухарку, очень еще не старую крестьянскую бабу, на диван. Та посмотрела на него с удивлением.

— О, полноте-ка, полноте! Туда же! — проговорила она, и Иосаф до того сконфузился, что сейчас же надел шляпу и ушел из дому и до глубокой ночи не возвращался.

Предаваясь мысли о браке, он, между прочим, так рассуждал об этом предмете:

«И сегодня видел еще свадьбу... — писал он в одном месте своего дневника. — Счастливы! Но для меня нет и никогда не будет возможно это счастье. Девушка, какую я представляю себе в моих мыслях, за меня не пойдет. Невесты же, приличные для меня, из нашего подлого приказного звания, противны душе моей: они не домо-

виты и не трудолюбивы, потому что считают себя барышнями, и сколько ни стараются наряжаться, но и этого к лицу сделать не умеют, будучи глубоко необразованны. Много раз я прислушивался к их разговору и убедился, что они ни о чем с мужчинами не могут говорить, кроме неблагопристойностей, ибо имеют уже развращенное воображение. О мать-природа! ты мне единая утеха и улада!»

Так проходили дни за днями: каждое утро Иосаф ходил на службу, приходил затем домой, обедал, спал немного, потом опять на службу и опять домой. Все поползновения повыше уровня обыденной жизни в нем как бы придавились под этим вечно движущимся канцелярским жерновом, и из него уже начал мало-помалу выковыриваться старый холостяк-чиновник: хладносердый (по крайней мере по наружности) ко всему божьему миру, он ни с кем почти не был знаком и ни к кому никогда не ходил; целые вечера, целые дни он просиживал в своей неприглядной серенькой квартирке один-одинехонек, все о чем-то думая и как будто бы чего-то ожидая. Самым живым и почти единственным его развлечением было то, что отправится иногда летним временем поудить рыбу, оттуда пройдет куда-нибудь далеко-далеко в поле, полежит там на мураве, пройдет по сенокосным лугам, нарвет цветов, полюбуется ими или заберется в рожь и с наслаждением повдыхает в себя запах поспевающего хлеба; но с наступлением осени и то прекращалось. В бесконечно длинные зимние вечера напрасно Иосаф изобретал раза по два в неделю ходить в баню и пробыл там часа по три, напрасно принимался иногда пить чай чашек по пятнадцати, — время проходило медленно. Наскучавшись таким образом почти до сумасшествия, он, наконец, не вытерпел и на другой день, придав своему лицу вместо сурового несколько просительское выражение, спустился из Приказа вниз, в губернское правление, к экзекутору.

— А что члены прочитали «Отечественные записки»? — спрашивал он.

— Свободны кой-какие, — отвечал тот.

— Снабдите меня, коли можно, — говорил Иосаф, как-то странно улыбаясь.

— Можно, можно, — отвечал экзекутор и вытаскивал ему из шкафа две, три книги.

Иосаф на этот раз шел из присутствия домой несколько проворнее. Пообедав наскоро, он сейчас же принимался за чтение, и если тут что-нибудь приходилось ему по душе, сильно углублялся в это занятие и потом вдруг иногда вставал, начинал взволнованными шагами ходить по комнате, ерошил себе волосы, размахивал руками и даже что-то такое декламировал и затем садился за свои гусли и начинал наигрывать и подпевать самым жалобным басом известную чувствительную песню: «Среди долины ровныя». На том месте, где говорится, что высокий дуб растет:

Один, один, бедняжка, на гладкой высоте,
Ни сосенки, ни елочки, ни травки близ него, —

у Иосафа по щекам текли уже слезы; но тем все и кончилось. На другой день он просыпался попрежнему суровый и с окаменело-неподвижным лицом шел в Приказ.

V

Был прелестнейший июньский день. Город, с своими ярко освещенными желтыми, белыми и серенькими домами, с своими блистающими серебряными и золотыми главами церквей, представлял собою решительно какой-то праздничный вид. Воздух напоен был запахом цветущих в это время лип; по временам чирикали какие-то птички, и раздавался резкий звук проезжающих по мостовой дрожек. В одних только присутственных местах было как-то еще душней и грязней. Иосаф сидел по обыкновению перед своей конторкой и посматривал на видневшийся в окно клочок неба. В Приказ вошел чрезвычайно франтоватый молодой мужчина, перетянутый, как оса, с английским пробором на голове, с усиками, с эспаньолкой, в шитой кружевной рубашке, в черном фраке, с маленькою красною кокардою в петличке и в светлейших лаковых сапогах. Он несколько по-военному сначала отнесся к одному из писцов и потом подошел к Иосафу.

— Я, кажется, имею удовольствие видеть господина Ферাপонтова? — проговорил он.

— Да-с, — отвечал тот своим обычным медвежьим тоном.

— Позвольте и мне с своей стороны иметь честь представиться: ковенский помещик Бжестовский!.. — произнес новоприбывший, расшаркиваясь и протягивая Иосафу свою чрезвычайно красивую руку, на мизинце которой нельзя было не заметить маленького и, должно быть, женского сердоликового перстенька.

Иосаф на это полупривстал ему и, подав неуклюже и не совсем охотно тоже свою руку, снова сейчас же сел.

— У вас есть дело... сестры моей... Фамилия ее по муже Костырева, — продолжал Бжестовский...

Иосаф стал было припоминать...

— Имение ее назначено в продажу, — помог тот ему.

Иосаф почесал в голове.

— Да, назначено-с, — отвечал он неторопливо.

— Позвольте мне объяснить с вами в нескольких словах по этому делу, — произнес Бжестовский, и в голосе его уже заметно послышался заискивающий тон.

Иосаф молчаливым наклоном головы изъявил согласие.

— Эта женщина решительно несчастная!.. — продолжал проситель, пожимая плечами. — Можете себе вообразить: прелестная собой, из прекрасного образованного семейства, она выходит замуж за этого господина Костырева, и с сожалением еще надобно сказать, улана русской службы... пьяницу... мота... злеца.

Бухгалтер слушал, не совсем, кажется, хорошо понимая, зачем все это ему говорят.

— Потом-с, — снова продолжал Бжестовский, — приезжают они сюда. Начинает он пить — день... неделю... месяц... год. Наконец, умирает, — и вдруг она узнает, что доставшееся ей после именице, и именице действительно очень хорошее, которое она, можно сказать, кровью своей купила, идет с молотка до последней нитки в продажу. Должно ли, спрашиваю я вас, правительство хоть сколько-нибудь вникнуть в ее ужасное положение?.. Должно или нет?

Иосаф несколько затруднялся отвечать на подобный вопрос.

— Что же тут правительству за дело? — проговорил было он.

— Как что? — перебил его, уже вспыхнув в лице, Бжестовский. — Законы, кажется, пишутся для благосостояния граждан, а не для стеснения их.

Иосаф в ответ на это уставил глаза в книгу. Бжестовский поспешил переменить тон.

— Я и сестра моя, — начал он, — так много наслышаны о доброте вашей и о благородстве вашей души, что решились прямо обратиться к вам и просить вашего совета.

— Что же я тут?.. Надо или деньги внести, или продадут.

— Очень многое, Иосаф Иосафыч, очень многое, — произнес Бжестовский, прижимая руку к сердцу, — в имении есть мельница... лес... несколько отхожих сенокосных пустошей, которые могли бы быть проданы в частные руки.

Ферапонтов задумался.

— И что же, это отдельные статьи от имения? — спросил он.

— Совершенно, кажется, отдельные, — отвечал Бжестовский, — и потому я только о том и прошу вас, чтоб посетить нас. Я наперед уверен, что когда вы рассмотрите наше дело, то увидите, что мы правы и чисты, как солнце...

Иосаф продолжал думать: он хаживал иногда к помещикам для совета по их делам и даже любил это как бы все-таки несколько адвокатское занятие.

— Сделайте милость, — повторял между тем Бжестовский, — и уж, конечно, мы благодарить будем, как это делается между порядочными и благородными людьми...

Иосаф посмотрел ему в лицо.

— Хорошо-с, пожалуй! ужо вечером зайду, — проговорил он неторопливо.

Бжестовский рассыпался перед ним в выражениях полнейшей благодарности.

— Мы живем на набережной, в доме Дурындиных, — заключил он и, еще раз раскланявшись перед Иосафом, молодежато вышел из Приказа.

VI

Большой каменный дом Дурындиных был купеческий. Как большая часть из них, он, и сам-то неизвестно для чего выстроенный, имел сверх того еще в своем бельэтаже (тоже богу ведомо для каких употреблений) несколько гостиных — полинялых, запыленных с тяжеловатою

красного дерева мебелью, имел огромное зало с паркетным, во многих местах треснувшим полом, с лепным и частью уже обвалившимся карнизом, с мраморными столами на золотых ножках, с зеркалами в старинных бронзовых рамах, тянущимися почти во всю длину простенков. Введенный именно в эту залу казачком-лакеем, Иосаф несколько сконфузился, тем более, когда послышался шелест женского платья и из гостиной вышла молодая и очень стройная дама.

— Брат сейчас будет... извините, пожалуйста! — проговорила она, прямо подходя к нему и подавая ему руку.

Иосаф окончательно растерялся: в первый еще раз в жизни он почувствовал в своей жесткой руке женскую ручку и такую, кажется, хорошенькую! Подшаркнувши ногой, как только можно неловко, он проговорил:

— Помилуйте-с, ничего!

— Пойдемте, однако, в боскетную, — сказала Костырева и пошла.

Иосаф последовал за нею. Комната, в которую они пошли, действительно была с самого потолка до полу расписана яркою зеленью, посреди которой летело несколько птиц и гуляло несколько зверей. Хозяйка села у маленького стола на угловом, очень уютном диванчике и пригласила сделать то же самое и Иосафа, и даже очень недалеко от нее. Исполнив это, Ферапонтов, наконец, осмелился поднять глаза и увидел перед собой решительно какую-то ангелоподобную блондинку: белокурые волосы ее, несколько зачесанные назад, спускались из-за ушей двумя толстыми локонами на правильнейшим образом очерченную шейку. Нежный цвет лица... полуприподнятые мечтательно кверху голубые глаза... эти, наконец, ямочки на щеках... этот носик и розовые, толстоватые, как бы манящие вас на поцелуй губки, — все это имело какое-то чрезвычайно милое и осмысленное выражение. Одета она была в кисейную блузу, довольно низко застегнутую на груди и перехваченную на стройном стане поясом. Широкие, разрезные рукава почти обнажали как бы выточенные из слоновой кости ее длинные руки; а из-под опустившейся бесконечными складками юбки заметно обрисовывалось круглое коленочко, и какое, должно быть, коленочко! так что Иосаф и сам не понимал, что такое с ним происходило.

— Брат говорил вам о моем деле? — начала хозяйка.

— Да-с, — отвечал Иосаф, — две тысячи семьсот рублей на именье недоимки, — прибавил он.

— Как много! Но скажите: там у меня есть мельница и огромная лесная дача. Я сейчас бы готова была с удовольствием продать их и заплатила бы этим.

— Они у вас значатся в описи?

— Не знаю. Я ничего не понимаю в этих делах.

— Но ведь опись у вас есть? — спросил Иосаф заметно уже участвующим тоном.

— Право, и того не знаю. Есть какие-то бумаги, — отвечала Костырева и торопливо, с беспокойством, вынула из своего рабочего столика несколько исписанных листов.

Иосаф чуть было не задрожал, когда она, подавая ему их, слегка прикоснулась своим пальчиком до его руки.

Это была в самом деле опись именью. Ферापонтов начал внимательно просматривать ее.

— Мельница на реке Шексне? — спросил он.

— Да, — отвечала Костырева.

— Лесная дача называется «Матренкины Долы»?

— Да, — повторила Костырева.

— Они значатся в описи-с, — проговорил Иосаф грустным голосом.

— Что ж, нам не разрешат продажи? — спросила Костырева с таким испугом на лице, как будто бы сейчас же решила ее участь.

Иосаф чувствовал только, что от жалости у него вся кровь бросилась в голову.

— Вряд ли-с! — произнес он и постарался насильно улыбнуться, чтобы хоть этим смягчить свой ответ.

Прекрасные глаза хозяйки наполнились слезами.

— Как же мне, несчастной, быть? — произнесла она и, окончательно заплакав, закрыла лицо руками.

У Иосафа сердце готово было разорваться на части. Он тупо и как-то бессмысленно смотрел на нее, но в зале раздались мужские шаги. Костырева торопливо вынула из своего кармана тонкий, с вышитыми концами, батистовый платок и поспешно обтерла им свои глазки. Иосаф при этом почувствовал прелестный запах каких-то духов.

— Это брат приехал, он не любит, когда я плачу, — проговорила она; и в боскетную в самом деле вошел

Бжестовский, который показался на этот раз Иосафу как-то еще франтоватей и красивее.

— Добрый день, — проговорил он, дружески подавая Иосафу руку, и потом протянул ее сестре.

Та ударила по ней своей ручкой. Бжестовский поцеловал ее у ней, и при этом она с такою нежностью прижала к его лбу свои губки, что у Иосафа поджилки задрожали. «Что, если б этот поцелуй достался ему», — безумно подумал он.

Бжестовский между тем небрежно расселся в креслах и вытянул свои, в тех же щегольских, лаковых сапогах, ноги.

— Что, пане добродзею ¹, — будьте такой добрый, скажите, — придумали ли вы что-нибудь?

Иосаф несколько приподнял свою наклоненную голову.

— Покупщика вы на мельницу и на лес верного имеете? — спросил он.

— Очень верного... сосед наш по имению... прекрасный человек... отличный семьянин... — отвечал Бжестовский.

Иосаф начал соображать.

— Извольте-с, — начал он, разведя руками, — я изготовлю вам прошение в таком роде, что вот вы представляете деньги по оценке, значащейся в описи этим предметам, просите разрешить продажу их, а вместе с тем приостановить и самый аукцион.

— Так... так... — повторял за ним Бжестовский, — но вы говорите: деньги представляя... Для нас это решительно невозможно, потому что, откровенно сказать, мы теперь совершенно без копейки.

— Да что тут? Деньги пустые: всего каких-нибудь по оценке за мельницу пятьсот рублей да за пустошь двести... Такие найти можно-с... я приищу вам... — говорил Иосаф, сам, кажется, не помнивший, что делает, и имевший в этом случае в виду свой маленький капиталец, нажитой и сбереженный им в пятнадцать лет на случай тяжкой болезни или выгона из службы.

Бжестовский встал перед ним с удивлением на ноги.

— Я слов даже не нахожу выразить вам мою благодарность, — проговорил он.

¹ *Пане добродзею* — милостивец, благодетель, (польск.)

Иосаф тоже поднялся и неуклюже раскланивался.

— О благородный человек! — произнесла Костырева, протягивая ему руку, и, когда он подал ей свою лапу, она крепко, крепко сжала ее.

У Иосафа начинало уж зеленеть в глазах. В это время вошел лакей-казачок, в белых нитяных перчатках, и доложил, что чай готов.

— Пойдемте! — сказала хозяйка и, проходя мимо Иосафа, легонько задела его за коленку своим платьем.

В зале, на круглом среднем столе, стоял светло вычищенный самовар и прочий чайный прибор, тоже чрезвычайно чистый. Костырева принялась хозяйничать: сначала она залила чай в серебряный чайник, накрыла его белой салфеточкой и сверх того еще положила на него свою чудную ручку. Иосаф и Бжестовский уселись на другом конце стола. Герою моему никогда еще не случалось видеть, чтобы в присутствии его молодая, прекрасная собой женщина разливала чай, и, боже мой! как понравилась ему вся эта картина.

— Не хотите ли вы сливок или рому? — проговорила хозяйка и сама, проворно встав, подошла к Иосафу и, немного наклонившись, стала подливать ему из маленького графинчика в стакан.

При этом грудь ее была почти перед самым лицом его; он видел, как она слегка колыхалась, и даже чувствовал, что его опахивала какая-то обаятельная теплота. Что с ним было в эти минуты, и сказать того невозможно.

После чаю Бжестовский предложил сестре:

— Не лучше ли, душа моя, нам идти посидеть на балконе?

— Хорошо, — отвечала она и очень милым движением пригласила и Иосафа, проговоря: — угодно вам?

Тот пошел. Сначала его провели через длинную гостиную, в которой он успел только заметить люстру в чехле да огромную изразцовую печь, на которой вылеплена была Церера, с серпом и с каким-то необыкновенно толстым и вниз опустившимся животом. Следующая комната, вероятно, служила уборной хозяйки, потому что на столике стояло в серебряной рамке кокетливое женское зеркало, с опущенными на него кисейными занавесками; а на другой стороне, что невольно бросилось Иосафу в глаза, он увидел за ситцевой перегородкой зачем-то дву-

спальную кровать и даже с двумя изголовьями. Об этом он, впрочем, сейчас же забыл, как вышли на балкон. Вечерний воздух начинал уже свежеть. Не спавшая еще с воды река подходила почти к самому дому, так что балкон как будто бы висел над нею. Неустанно и торопливо катила она свои сероватые и небольшие волны. Против самого почти города теперь проходил целый караван барок, которые, с надувшимися парусами, как гигантские белогрудые лебеди, тихо двигались одна за другой. Вдали виделся, как бы на островку, монастырь. Освещенный сзади солнцем, он со своей толстой стеной, с видневшимися из-за нее деревьями, с своими церквями и колокольнями, весь отражался несколько изломанными линиями в рябоватой зыби.

— Какой прекрасный вид! — решился Иосаф уже прямо отнестись к Костыревой.

— Да, чудный: я не налюбуюсь им, — отвечала она и вслед за тем устремила рассеянный взгляд на реку, но потом вдруг побледнела, проворно встала и едва успела опереться на косяк.

Иосаф тоже вскочил.

— Что с вами-с? — проговорил он с неменьшим ее испугом.

— Ничего... я засмотрелась вниз на воду, и у меня закружилась голова, — отвечала она, все еще бледная, но уже с милой улыбкой.

— В таком случае лучше уйти отсюда, — сказал Бжестовский.

— Да, — согласилась Костырева.

Все возвратились в залу.

«Боже мой, какое это нежное и деликатное создание!» — думал про себя Иосаф и, чтобы скрыть волновавшие его ощущения, заговорил опять о деле.

— Теперь надо просьбу написать-с, — сказал он.

— Будьте такой добрый, — подхватил Бжестовский и, проворно сходя, принес чернильницу и бумагу.

Иосаф написал прошение прямо набело.

— Подписать вам надобно-с, — отнесся он уже с улыбкой к Костыревой.

— Ах, сейчас, — отвечала она и осторожно взяла в свою беленькую ручку загрязненное перо.

Иосаф стал у ней за плечами. Он видел при этом ее чудную сзади шейку, ее толстую косу, едва уложенную в

три кольца, и, наконец, часть ее груди, гораздо более уже открывшейся, чем это было, когда она наклонялась перед ним за чаем.

— К сему прошению... — диктовал он смущенным голосом, — имя ваше-с и отечество?

— Эмилия Никтополионовна.

— Эмилия Никтополионовна Костырева руку приложила-с, — додиктовал Иосаф.

Эмилия написала все это тоненьким, мелким и не совсем грамотным почерком.

— Merci, monsieur Ферापонтов, merci, — повторила она несколько раз и, взяв его за обе руки, долго-долго пожимала их.

Иосаф не выдержал и поцеловал у ней ручку, и при этом — о счастье! — он почувствовал, что и она его чмокнула своими божественными губками в его заметно уже начинавшую образовываться плешь. Растерявшись донельзя, он сейчас же начал раскланиваться. Бжестовский пошел провожать его до передней и сам даже подал ему шинель. Эмилия, когда Иосаф вышел на двор, нарочно подошла к отворенному окну.

— До свидания, monsieur Ферापонтов, — говорила она, приветливо кивая ему головою, и Иосаф несколько раз снимал свою шляпу, поводил ее в воздухе, но сказать ничего не нашелся и скрылся за калитку.

VII

Проснувшись на другой день поутру, Иосаф с какой-то суетливостью собрал все свои деньжонки, положил их в прошение Костыревой и, придя в Приказ, до приезда еще присутствующих, сам незаконно пометил его, сдал сейчас же в стол, сам написал по нем доклад, в котором, прямо определяя — продажу Костыревой разрешить и аукцион на ее имение приостановить, подsunул было это вместе с прочими докладами члену для подписи, а сам, заметно взволнованный, все время оставался в присутствии и не уходил оттуда. Старик, начальник Приказа, лет уже семнадцать тому назад, как мы знаем, пришибенный параличом, был не совсем тверд в языке и памяти, но на этот раз, однако, как-то вдруг прозрел:

— Асаф Асафич, это что такое? — спросил он, остановясь именно на интересном для Иосафа докладе.

Ферапонтов побледнел.

— Прошенье Костыревой... деньги она представляет... просит там остановить торги, — проговорил он нетвердым голосом.

— Как же это так? — спросил его опять непременный член, уставляя на него свои бессмысленные глаза.

— Да так... надо остановить... тут вот прямая статья насчет этого подведена...

— Все же, брат, надо прежде доложить губернатору.

— Зачем же губернатору-то докладывать? Всякими пустяками беспокоить его, — возразил Иосаф, и у него уже сильно дрожали губы.

— Какие пустяки... хуже, как сам насочит... тогда и не спасешься от него.

— Спасаться-то тут не от чего. Не первый год, кажется, служат с вами... Никогда еще ни под что вас не подводил.

— Что ж ты на меня-то сердисься!.. — возразил ему добродушно старик. — Я с своей стороны готов бы хоть сейчас, как бы не этакой башибузук сидел у нас наверху. Этта вон при мне за пустую бумажонку на правителя канцелярии сбесился: затопал... залопал... пена у рта... Тигр, а не человек.

— Да хоть бы он растигр был. Это дело правое... я и сам не восьмиголовый какой... Нечего тут сомневаться-то, подписывайте! — проговорил было Иосаф, привыкший почти безусловно командовать своим начальником.

Но старик на этот раз, однако, уперся.

— Нет, брат, как хочешь: доложить я доложу, — а сам собой не могу, — проговорил он.

Иосаф только сплюнул от досады и вышел было из присутствия; но вскоре опять воротился.

— Пожалуйста, Михайло Петрович, подпишите, сделайте для меня хоть раз это одолжение. Я еще никогда не просил вас ни о чем, — произнес он каким-то жалобно умоляющим голосом.

— Только не это, брат, не это! — сказал старик окончательно решительным тоном.

Не совсем уже ясно понимая сам дела и видя такое настояние от бухгалтера, он прямо заподозрел, что тот,

верно, хватил тут какой-нибудь значительный куш и хочет теперь его подвести.

— Вот отсохни мой язык, коли так!.. — воскликнул вдруг Иосаф, крестясь и показывая на образ. — Слова теперь не скажу вам ни по какому делу... Подписывайте сами, как знаете.

— Ну что ж? Бог с тобой, — говорил старик растерявшись.

Иосаф, сердито хлопнув дверями, опять вышел и конец присутствия досидел, как на иголках. Возвратясь домой, он тоже, кажется, решительно не знал, что с собою делать: то ложился на диван, то в каком-то волнении вставал и начинал глядеть на свой маленький дворик. Там на протянутой от погреба до забора веревке висели и сушились его зимняя шинель, шуба, валеные сапоги и даже его осьмиклассный мундир и треугольная шляпа. Несколько дальше в тени, около бани, двое маленьких петушков старательнейшим образом производили между собою драку: по крайней мере по получасу стояли они, лукаво не шевелясь и нахохлившись друг перед другом, потом вдруг наскакивали друг на дружку, рассказывались и снова уставляли головы одна против другой; но ничто это не заняло, как бывало прежде, Иосафа. Часов в семь он кликнул свою кухарку и велел себе дать умываться. При этом он до такой степени тер себе шею, за ушами и фыркал, что даже всю бабу забрызгал.

— Чтой-то больно уж сегодня размылись, — говорила она и принесла было по обыкновению ему старые штаны.

— Давай новые, все давай новое, — проговорил Иосаф и, поставивши ногу на стол, сам принялся себе чистить сапоги.

Надев потом фрак, он по крайней мере с полчаса причесывал бакенбарды, вытащил из них до десятка седых волос, и затем, надев несколько набекрень свою шляпу, вышел и прямым путем направил стопы свои к дому Дурындиных. Там его встретили совершенно как родного: Эмилия показала Иосафу еще прелестнее; она одета была в черное шелковое платье. Талия ее до того была тонка, что, казалось, он мог бы обхватить ее своими двумя огромными пальцами; на ножках ее были надеты толстые на высоких каблуках ботинки, которыми она, ходя, кокетливо постукивала. Бжестовский был тоже по обыкновению разодет, но только несколько по-домашнему:

он был в башмаках, в широких шальварах, завязанных шелковым снурком, без жилета, но в отличнейшем белье, и, наконец, в коротеньком сереньком сюртучке, кругом выложенном красным снурком. Иосаф даже и не предполагал никогда, что мужчина может быть так одет. Чтобы не встревожить Эмилию, он объяснил ей только то, что просьбу он подал и деньги представил.

— Но, боже мой! мне по крайней мере надо вам дать расписку в них, — проговорила Эмилия сконфуженным голосом.

— Зачем же-с? Когда станете платить в Приказ, деньги ваши через мои же руки пойдут, тогда я и вычту свои, — отвечал Иосаф.

Бжестовский при этом посмотрел на него пристально и ничего не сказал, а Эмилия еще более сконфузилась. За чаем она попрежнему угощала Иосафа самым радушным образом, и при этом он сам своими глазами видел, что она как-то таинственно взглядывала на него и полулукаво улыбалась ему. На лице Бжестовского тоже была написана какая-то странная усмешка.

Когда стемнело, человек подал лампу с абажуром. Эмилия уселась перед ней с работой. Прекрасные ручки ее, усиленно освещенные светом огня, проворно и ловко вырезывали на батисте дырочки и обшивали их тончайшей бумагой. Иосаф и эту картину видел еще первый раз в жизни.

— Скажите, вы давно служите в Приказе? — спросил его Бжестовский.

— Давно-с! Был тоже когда-то студентом... учился кой-чему, — проговорил Иосаф и, не докончив, потупил голову.

— Вы были студентом? — произнесла с участием хозяйка. — Как я люблю студентов: когда мы жили в Киеве, их так много ходило к нам в дом.

Иосаф на это только вздохнул, как паровая машина: о, если бы хоть частичка этой любви выпала и на его долю!

— А что вы, женатый или холостой? — спросила Эмилия и, ей-богу, кажется, говоря это, покраснела.

— Нет-с, я старый холостяк, — отвечал он.

— Почему же старый? — сказала Эмилия и устремила на него взгляд. — Может быть, вы много жили? — прибавила она.

При этом уж Иосаф весь вспыхнул.

— Напротив-с, — отвечал он.

С лица Бжестовского попрежнему не сходила какая-то насмешливая улыбка.

— И вы даже в виду не имеете никакой партии? — вмешался он в разговор, как бы вторя сестре.

— Нет-с, какая партия, — отвечал Иосаф как бы несколько даже обиженным тоном.

— Отчего же? — простодушно спросила Эмилия.

— Судьбы, вероятно, нет-с.

— Ну — нет! Вы, кажется, такой добрый, что можете составить счастье каждой женщины... — проговорила Эмилия.

Иосаф чувствовал, что у него пот холодными каплями выступал на лбу. Бжестовский между тем встал и, как бы желая походить, прошел в дальние комнаты.

Иосаф остался с глазу на глаз с Эмилией.

— И вы никогда не были влюблены? — спросила она, низко-низко наклоняясь над работой.

Вопрос этот окончательно дорезал Иосафа.

— Может быть-с, не был, а теперь есть... — пробормотал он и от волнения зашевелил ногами под столом.

— Теперь? — повторила многозначительно Эмилия.

Бжестовский в это время возвратился. Иосаф, как-то глупо улыбаясь, стал глядеть на него. Однако, заметив, что Бжестовский позевнул, Эмилия тоже, по известной симпатии, закрыв ручкой рот, сделала очень миленькую гримасу, он не счел себя вправе долее беспокоить их и стал прощаться. При этом он опять осмелился поцеловать у Эмилиии ручку и опять почувствовал, что она чмокнула его в темя. Бжестовский опять проводил его самым любезным образом до дверей.

Проходя домой по освещенным луною улицам, Иосаф весь погрузился в мысли о прекрасной вдове: он сам уж теперь очень хорошо понимал, что был страстно, безумно влюблен. Все, что было в его натуре поэтического, все эти задержанные и разбитые в юности мечты и надежды, вся способность идти на самоотвержение, — все это как бы сосредоточилось на этом божественном, по его мнению, существе, служить которому рабски, беспротестно, он считал для себя наимприятнейшим долгом и какой-то своей святой обязанностью.

VIII

Скрыпя перьями и шелестя, как мыши, бумагами, писала канцелярия Приказа доклады, исходящие. Наружная дверь беспрестанно отворялась. Сначала было ввалился в нее мужик в овчинном полушубке, которому, впрочем, следовало идти к агенту общества «Кавказ», а он, по расспросам, попал в Приказ. Писцы, конечно, сейчас же со смехом прогнали его.

После его вошла старушка мещанка, принесшая тоже положить в Приказ, себе на погребень, десять целковеньких и по крайней мере с полчаса пристававшая к Иосафу, отдадут ли ей эти деньги назад.

— Отдадут, отдадут, — отвечал он.

— Не обидьте уж, государь мой, меня, — говорила она и положила было ему четвертачок на конторку.

— Поди, старый черт, что ты! — крикнул он и бросил ей деньги назад.

— Виновата, коли так, кормилец мой... — проговорила старуха и, подобрав деньги, убралась.

Двери, наконец, снова отворились, и вошел неперемный член с озабоченным лицом и с портфелем подмышкой. Вся канцелярия вытянулась на ноги, Иосаф тоже поднялся, чего он прежде никогда не делал. Член прошел в присутствие. Ферапонтов тоже последовал за ним.

— Что как-с? — спросил он, глядя на начальника.

— А на-те вот, посмотрите... полюбуйтесь, — отвечал тот и вынул из портфеля журналы Приказа, разорванные на несколько клочков. — Ей-богу, служить с ним невозможно! — продолжал старик, только что не плача, — прямо говорит: «Мошенники вы, взяточники!.. Кто, говорит, какой мерзавец писал доклад?» — «Помилуйте, говорю, писал сам бухгалтер». — «На гауптвахту, говорит, его; уморю его там». На гауптвахту велел вам идти на три дня. Ступайте.

В продолжение этого рассказа Иосаф все более и более бледнел.

— Спасибо вам, благодарю — подо что подвели да насказали, — проговорил он.

— Что же я тут виноват?.. Чем?

— Чем?.. Да! — проговорил Иосаф, почти что перерывная начальника. — Для вас, кажется, все было

делано, а вы в каком-нибудь пустом делишке не хотели удовольствия сделать. Благодарю вас!

— Что ж ты уж очень разблагодарствовался! — прикрикнул, наконец, старик, приняв несколько начальнический тон. — Тебе сказано приказанье: ступай на три дня на гауптвахту, — больше и разговаривать нечего!

— Это-то я знаю, что вы сумеете сделать, знаю это!.. — произнес почти с бешенством Иосаф и ушел; но, выйдя на улицу и несколько успокоившись на свежем воздухе, он даже рассмеялся своему положению: он сам должен был идти и сказать, чтобы его наказали. Подойдя к гауптвахте, он решительно не находил, что ему делать.

Однако его вывел из затруднения стоявший на плацу молоденький гарнизонный офицерик, с какой-то необыкновенно глупой, круглой рожой и с совершенно прямыми, огромными ушами, но тоже в каске, в шарфе и с значком на груди.

— Что вам надо? — спросил он его строго.

— Меня на гауптвахту прислали, чтобы посадили, — отвечал Иосаф.

— А! ступайте! Вероятно, за взяточки... хапнули этак немного, — говорил юный дуралей, провожая своего арестанта в офицерскую комнату, которая, как водится, имела железную решетку в окне; стены ее, когда-то давно уже, должно быть, покрашенные желтой краской, были по всевозможным местам исписаны карандашом, заплываны и перепачканы раздавленными клопами. Деревянная кровать, с голыми и ничем не покрытыми досками, тоже, повидимому, была обильнымместищем разнообразных насекомых. Из полупритворенных дверей в темном углу следующей комнаты виднелось несколько мрачных солдатских физиономий. Чувствуемый оттуда запах махорки и какими-то прокислыми щами делали почти невыносимым жизнь в этом месте. Иосаф сел и задумался. Всего грустней ему было то, что он три дня не увидит своего божества; но в это время вдруг на плацформе послышался нежный женский голос. Иосаф задрожал, и вслед же за тем в комнату вошла Эмилия, в белом платье, в белой шляпке и белом бурнусе, совершенно как бы фея, прилетевшая посетить его в темнице.

Иосаф мог встретить ее только каким-то не совсем искренним смехом.

— Боже мой, что такое с вами? — говорила Эмилия с беспокойством.

— Так, ничего-с! — отвечал Иосаф, продолжая смеяться.

— Как ничего! Брат сейчас был в Приказе, там говорят, что вас посадили за мое дело! — возразила Эмилия и с заметным чувством брезгливости присела на кровать.

— Ничего-с, так себе, потешиться захотели... — отвечал Иосаф. — Все ведь мы-с, чиновники, таковы!.. Не то, чтобы сделать что-нибудь для кого, а нельзя ли каждого стеснить и сдавить... точно войско какое, пришли в завоеванное государство и полонили всех.

— О нет, вы не такой! — говорила Эмилия, смотря на него почти с нежностью.

— Я вас прошу и умоляю, — продолжал Иосаф, прижимая руку к сердцу, — только об одном: не беспокоиться о вашем деле. Я для вас жизнь готов пожертвовать.

— Да, вы чудный человек, — подхватила Эмилия и задумалась.

Иосаф молча глядел на нее: сколько бы ему хотелось и надо было сказать ей, но ничего, однако, не осмеливался. Эмилия, наконец, встала.

— Как здесь нехорошо... грязно... — проговорила она и вздумала было прочесть одну из надписей на стенке, но в ту же минуту сконфузилась и отвернулась. — Прощайте, мой друг! Я буду еще у вас, — сказала она.

Иосаф по обыкновению поспешил поцеловать у нее ручку, и при этом она уже чмокнула его не в темя, не в щеку даже, но Иосаф так успел пригнать, что прямо в губы.

— О, какой вы хитрый, вы умеете воровать поцелуи! — проговорила она, вся вспыхнув, и проворно убежала.

Иосаф в восторге упал на диван и закрыл себе лицо руками.

IX

Дня через два после того Ферапонтов шел по одному из самых глухих переулков. Почти уже на выезде из города он остановился перед старым, полуразвалившимся деревянным домом, с заколоченными наполовину окнами

и с затворенною калиткою. Иосаф торкнулся было в нее; но оказалось, что она была заперта. Зная, вероятно, хорошо обычай хозяина, он обошел дом кругом и, перескочив, на задней его стороне, через невысокий забор, очутился в огромнейшем огороде, — наглухо заросшем капустою, картофелем и морковью. Пройдя его, он вышел на двор, на котором то тут, то там виднелись почти с отвалившимися углами надворные строения. У колодца, перед колодой, неопрятная баба мыла себе судомойкой ноги.

— Клим Захарыч Фарфоровский дома? — спросил ее Иосаф.

— Дома, — отвечала баба.

Он пошел было на парадное крыльцо.

— Не туда, с заднего ступайте! — научила его баба.

Иосаф взошел по развалившейся лесенке на заднее крыльцо и попал прямо в темную переднюю. Чтобы дать о себе знать, он прокашлянул, но ответу не последовало. Он еще раз кашлянул, снова то же; а между тем у него чем-то уже сильно ело глаза, так что слезы даже показались.

«Что за черт такой», — подумал про себя Иосаф и что есть силы начал стучать ногами.

— Кто там? — послышался, наконец, из соседней комнаты разбитый голос, и вслед за тем дверь из нее отворилась, и в нее выглянул белокурый, мозглявый старичок, с поднятыми вверх тараканьими усами, в худеньком, стареньком белищем халате.

— Ферапонтов из Приказа! — объяснил ему Иосаф.

— А! ну войдите, войдите, — сказал старичок и впустил его.

Первое, что бросилось Ферапонтову в глаза, — это стоявшие на столике маленькие, как бы аптекарские вески, а в углу, на комод, помещался весь домашний скарб хозяина: грязный самоваришко, две-три полинялые чашки, около полдюжины обгрызанных и треснувших тарелок. По другой стене стоял диван с глубоко просиженным к одному краю местом.

— Да! так вот как! — сказал старичок, садясь именно на это просиженное место и утирая кулаком свои слезливые и как бы воспаленные глаза.

— Вот как-с, да! — отвечал ему в тон Иосаф и тоже сел и утер слезы.

— Это вы от луку плачете? У меня тут лук в наугольной сушится, — сказал ему хозяин, как-то кисло усмехаясь.

— Зачем же тут? Разве нет другого места? — спросил было Ферапонтов.

— А где же? В каком месте? — возразил Фарфоровский и уже злобно оскалился.

Как ни много Иосаф слышал об этом чуде, однако почти с удивлением смотрел на его сморщенное и изуренное лицо, на его костлявые и в то же время красные, с совершенно обкусанными ногтями, руки. Собственно по чину Фарфоровский был даже статский советник и некогда переселился в губернию из Петербурга, но всюду являлся каким-то несчастным: оборванный, перепачканный. Не столько, кажется, скупец, сколько человек мнительный, он давно уже купил себе этот старый домишко и с тех пор поправки свои в нем ограничил только тем, что поставил по крайней мере до шести подпорок в своей обитаемой комнате, и то единственно из опасения, чтобы в ней не обвалился потолок и не придавил его. В жаркий майский день Иосаф нашел его, как мы видели, в меховом тулупчике, и сверх того он еще беспрестанно боялся, что его отравят, и для этого каждое скудное блюдо, которое подавала ему его единственная прислужница-кухарка, он заставлял ее самоё прежде пробовать. Покупая какую-нибудь ничтожную вещь, он десять раз придумывал, давал за нее цену, отпирался потом; иногда, купив совсем, снова возвращался в лавку и умолял, чтобы ее взяли назад, говоря, что он ошибся. Дрожа каждую минуту, чтобы его не обокрали, он всю дрянь держал у себя в доме, даже дрова хранил в зале. Лук сушился в наугольной по той же причине. В отношении денег он более всего, кажется, предпочитал, государственные кредитные установления, как самые уже верные хранилища, а потому в Приказ обыкновенно бегал по несколько раз в неделю, внося то сто, то двести рублей, и даже иногда не брезговал сохранный книжкой, кладя под нее по целковому, по полтиннику.

— Вот вы всё жаловались, что в Приказе проценты малы, — начал Иосаф.

— Али велики? — спросил Фарфоровский и опять злобно оскалился.

— Ну, так вот отдайте в частные руки. Я вам смак-лерю это... пятнадцать процентов получать будете.

Глаза у старика разгорелись.

— А залог какой? — спросил он торопливо.

— Да залогу тут совсем никакого нет, — отвечал Иосаф.

— Как же без залогу-то? — спросил Фарфоровский, как бы мгновенно исполнившись глубочайшего удивления.

— А вот как, — отвечал Ферапонтов и объяснил было ему все дело Костыревой; но старик в ответ на это только усмехнулся.

— Сам ты, милый человек, — начал он уже наставительным тоном, — служишь при деньгах, а того не знаешь... Ну-ка, дай-ка мне из твоего Приказа-то хоть тыщонки две без залога-то. Дай-ко!

— То место казенное.

— А, казенное? То, вот видишь, казна, — зашипел Фарфоровский. — Казну сберегать надо; она у нас бедная... Только частного человека грабить можно.

— Кто ж вас грабит? — спросил Иосаф.

— Все вы! Вон эта полиция... у ней у самой сто лет перед домом мостовая не мощена; а меня заставляет: мости, где хошь бери, да мости!

— Вам-то пуще негде взять.

— Много у меня; ты считал в моем кармане-то.

— Известно, что считал. Умрете, все ведь останется, — сказал Иосаф, уже вставая.

— Умрешь и ты! Что ты меня этим пугаешь! Молодой ты человек, пришел к старику и огорчаешь его. Для чего! — вскинулся на него хозяин.

— С вами, видно, не сговоришь, — проговорил Иосаф и пошел.

— Да нечего: стыдно! стыдно! — стыдил его хозяин.

Выйдя от Фарфоровского и опять пройдя двором и огородами и перескочив через забор, Иосаф прямо же пошел еще к другому человечку — сыну покойного и богатящего купца Саввы Родионова. Сам старик очень незадолго перед смертью своею, служа в Приказе заседателем, ужасно полюбил Иосафа за его басистый голос и знание церковной службы. Каждое воскресенье он звал его к себе в гости, поил, кормил на убой и потом, расчувствовавшись, усиленнейшим образом упрашивал его прочесть ему, одним тоном, не переводя духу, того дня

апостола, и когда Ферапонтов исполнял это, он, очень довольный, выворотив с важностью брюхо, махая руками и почти со слезами на глазах, говорил: «Асафушка! Мой дом — твой дом! Сам умру — сыну накажу это!..» Но, увы! Иосафу и в голову не приходило, что сын этот все не походил на своего папеньку, мужика простого и размашистого. По своей расчетливости, юный Родионов был аспид, чудовище, могущее только породиться в купеческом, на деньгах сколоченном сословии: всего еще каких-нибудь двадцати пяти лет от роду, весьма благообразный из себя, всегда очень прилично одетый и даже довольно недурно воспитанный, он при этом как бы не имел ни одной из страстей человеческих. У него, например, был прекрасный экипаж и отличные лошади, но он и того не любил. Жил он в целом бельэтаже своего огромного дома с мраморными косяками, с новомодными обоями, с коврами, с бронзой, с дорогою мебелью; но на всем этом, где только возможно, были надеты чехлы, постланы подстилки, которые никогда не снимались, точно так же, как никогда ни одного человека не бывало у него в гостях. Аккуратнейший в своей жизни, как часовая машина, он каждый день объезжал свои лавки, фабрики. В субботу обыкновенно разделявал всех мастеровых сам, и если какому-нибудь мужику приходилось с него 99½ копейки, то он именно ему 99½ и отдавал, имея для этого нарочно намененные денежки и полушки. В отношении значительных лиц в городе Родионов был чрезвычайно искателен; но это продолжалось только до первого приглашения к какому-нибудь пожертвованию. Напрасно тут его ласкали, устрашали, он откланивался, отшучивался, но не подавался ни на одну копейку. Даже ни одной приближенной женщины он не имел у себя, и когда, по этому случаю, некоторые зубоскалы-помещики смеялись ему, говоря: «Что это, Николай Саввич, хоть бы ты на какую-нибудь черноглазую Машеньку размахнулся от твоих миллионов», — «Зачем же-с это? Женюсь, так своя будет», — отвечал он обыкновенно. Кто бы с ним ни говорил, особенно из людей маленьких и почему-либо от него зависящих, всякий чувствовал какую-то смертельную тоску, как будто бы перед ним стоял автомат, которого ничем нельзя было тронуть, ничего втолковать и который только и повторял свое, один раз им навсегда сказанное.

В светлой, с дубовой мебелью, передней его Иосаф нашел старого еще знакомого своего, любимого приказчика покойного Саввы Лукича, совсем уж поседевшего и плешивого.

— Здравствуйте, батюшка Иосаф Иосафыч, — сказал тот, тоже признав его.

— А что, хозяин дома? — спросил Ферапонтов.

В ответ на это старик вынул из кармана круглые, старинные часы и, посмотрев на них, произнес:

— Теперь еще нет, а через двадцать минут будут дома!

— Да верно ли это?

— Верно... Это уж у нас верно! — отвечал старик.

В голосе его в одно и то же время слышалась грусть и насмешка.

Через двадцать минут Родионов действительно приехал.

— А, здравствуйте! сюда пожалуйста, — сказал он, увидев Иосафа и проходя скорым деловым шагом.

Далее, впрочем, залы он не повел его, а, остановившись у дверей в гостиную, небрежно облокотился на нее.

— Что скажете? — спросил он.

— Я к вам, Николай Саввич, с просьбой, — начал Иосаф, переминаясь с ноги на ногу.

— Слушаем-с! — произнес Родионов.

Ферапонтов рассказал ему откровенно и подробно положение Костыревой.

— Так-с, понимаем, — проговорил Родионов, все как-то гордей и бездушнее начиная смотреть.

— А между тем из имения... — продолжал Иосаф убедительнейшим бы, кажется, по его мнению, тоном, — есть там покупщики — купить лес и мельницу, так что вся недоимка сейчас бы могла быть покрыта.

— Так, так-с!.. — повторял Родионов и как бы от нетерпения принялся качать ногою.

— Не можете ли вы, — договорил, наконец, Иосаф, — одолжить ей на какие-нибудь полгода две с половиной тысячки, а что это верно, так третью тысячу я за нее свою вношу.

— Денег-то у меня таких нет-с, — отвечал наглейшим образом Родионов.

Иосаф даже попятился назад и усмехнулся.

— Как нет... помилуйте. В одном Приказе у вас лежит во сто раз больше того...

— Что-что лежит? Те деньги на другое нужны... Что тебе надо? — крикнул вдруг Родионов, переменяв тон и обращаясь к оборванному мужику, который вошел было в переднюю и робко пробирался по подстилке.

— Я, Миколай Саввич, пропорцию свою, выходит, теперь выставил, — заговорил мужик, прижимая к сердцу свою скоробленную руку.

— Ну, и прекрасно.

— Управляющий ваш тоже теперь говорит: ступай, говорит, к Николаю Саввичу.

— Зачем же к Николаю-то Саввичу?

— Так как тоже, выходит, время теперь спешное: хоша бы тоже запашка теперь идет... хлебца мы покупаем.

— А вам что сказано при заподрядках? — спросил Родионов, устремляя на мужика свой леденящий душу взгляд. — Что сказано?

— Мы тоже, ваше степенство, хошь бы и наперед того, завсегда, выходит, ваши покорные рабы, — ломил между тем мужик свое.

— Да ты мне за деньги-то всегда покорен. Что ты меня тем ублажаешь. Нечего тут разговаривать... пошел вон!

— Так как тоже на знакомстве выходит; вон хошь бы и Калошинский барин; хорошо, говорит, везите, говорит, я, говорит, покупаю.

— Ну, коли покупает, так и ступай к нему. Убирайся.

Мужик, однако, постоял еще немного, почесал у себя затылок и потом неторопливо повернул и пошел назад.

— У богатых, указывают, денег много, — снова обратился Родионов к Иосафу, — да ведь у богатого-то человека и дыр много; все их надобно заткнуть. Тебе что еще?.. — крикнул он опять на высокого уже малого, стриженного, в усах, и с ног до головы перепачканного в кирпиче, который как бы из-под земли вырос в передней. — Кто ты такой?

— Солдат... пешник, ваше благородие. — отвечал тот, молодецкато вытягиваясь.

— Что же тебе?

— Сложил печку-с; совсем готова.

— Ну и ладно. Деньги ведь к командиру пойдут.

— Точно так-с, ваше благородие.

— Ну, и ступай, значит.

— На водочку бы, ваше благородие, — проговорил солдат просительным уже тоном.

— А не хочешь ли на прянички?.. Ты бы лучше на прянички попросил, — проговорил Родионов.

Солдат сконфузился.

— Обнакновение уж, ваше благородие, такое, — пробормотал он.

— Никаких и ничьих обыкновений я знать не хочу, а у меня свое; значит, налево кругом и машир на гаус¹.

Солдат действительно повернулся налево кругом и вышел.

Во все это время Иосафа точно с головы до ног обливали холодной водой, и только было он хотел еще раз попробовать повторить свою просьбу, как из гостиной вышел худощавый и очень, должно быть, изнуренный молодой человек.

— Что? вы написали расчет? — спросил его Родионов, перенося на него свой леденящий взгляд.

— Написал-с, — отвечал тот почтительно.

— До свиданья, — обратился Родионов к Иосафу и сейчас же ушел к себе.

Х

Несколько минут Ферапонтов оставался, как бы ошеломленный, на своем месте: на Родионова он возлагал последнюю свою надежду. Однако вдруг, с совершенно почти не свойственным ему чутьем, он вспомнил еще об одном отставном майоре Одинцове, таком на вид, кажется, добром, проживавшем в Порховском уезде, в усадьбе Чурилине, который, бывая иногда в Ппркказе, все расспрашивал писцов, кому бы ему отдать в верные руки деньги на проценты. Не откладывая времени, Ферапонтов решил сейчас же ехать к нему. Утомленный, измученный, он сбегал наскоро домой, почти ничего не пообедал и сейчас же отправился искать извозчика. Не обращая внимания на то, что с него сходил в тот день по крайней мере уже девятый пот, что его немилосердно жгло и

¹ Пошел домой (*искажен. нем.*).

палило солнце в бока, в затылок, он быстро шагал по распаленному почти тротуару около постоянных дворов, из которых в растворенные ворота его сильно обдавало запахом дегтя, кожи и навоза. Заходя то в тот, то в другой, он, наконец, нашел парня, который знал усадьбу Чурилино, но самого парня еще надобно было отыскать: он пил где-то в харчевне чай с земляками, так что только в вечерни выехала к услугам Иосафа, там, откуда-то с задов, телега, запряженная парюю буланых лошадей. Сидевший на облучке извозчик, с продолговатым лицом и с длинным кривым носом, оказался таким огромным мужчиной, что скорей пригоден был ворочать жернова, чем управлять своими кроткими животными. Выехав из города, они сейчас же своротили на проселок. Иосаф, в чиновничьем пальто, с включенными и запыленными бакенбардами и в фуражке с кокардой, полулежал на своей кожаной подушке и смотрел вдаль... Как ни горько было у него на душе, но свежий загородный воздух проник в его грудь, и сердце невольно забилося радостью. Почти пятнадцать лет он не выезжал из города, а между тем открывающиеся виды все становились живописнее и живописнее.

Вот они спускаются по ровному скату, расходившемуся во все стороны. На нем, живописно оживляя всю окрестность, гуляло по крайней мере до ста коров. Дорога шла, направляясь к кирпичному, красного цвета, строению, с белевшим перед ним прудом. Путникам нашим пришлось проезжать почти по самому краю его, так что они даже напугали плававших тут в осоке гусей, которые, при их приближении, шумно и быстро отплыли в сторону. Поднявшись от пруда в гору, они увидели маленькую кузницу и закоптелого, в кожаном колпаке, кузнеца, возившегося у станка с лошадьо. При виде их он им поклонился и молча погрозил извозчику, как человеку, вероятно, ему знакомому, молотом. Тот тоже погрозил ему кнутом. Далее потом пошли уже настоящие сельские хлебные поля. В деревне, по вытянутой в прямую линию улице, бежали мальчишки отворить им ворота.

— Славно, ребята, славно! — говорил им извозчик, быстро проезжая.

Мальчишки бежали за ними вперегонку отворить и другие воротцы.

— Ай-да, ребята! назад поеду, беспрерывно по трепке каждому привезу! — отблагодарил он их на прощанье, и в то же время, кажется, ему ужасно хотелось заговорить с своим седоком.

— Это вон гавриловского барина усадьба-то, — сказал он, показывая на видневшиеся далеко-далеко строения. — Вся, братец ты мой, каменная, — прибавил он.

— Что же, он богат, видно? — спросил Иосаф.

— И, господи, сколько деньжищев; а холостой... не хочет жениться-то!..

И затем они проехали около каких-то, должно быть, заводов и, как-то пробравшись задами, мимо гумен, хмельников, вдруг наткнулись опять на деревню, но уже с отворенными воротцами. У крайней избы, на прилавке, стоял прехорошенький мальчик и ревмя ревел.

— Не плачь, не плачь, воротимся, — сказал ему ямщик.

— Да я не об вас, а об мамоньке, — отвечал ребенок.

— Эко, брат, а я думал, что об нас, — говорил зубоскал.

На половине улицы они очутились ровно перед тремя дорогами.

— О, черт! тут, пожалуй, заплутаешь, надо поспросить, — сказал извозчик и, ловко соскочив с передка, подошел к одной избе и начал колотить в подоконник кнутовищем.

— Эй, баушка, где ты тут засохла, — выглянь-ка! — произнес он, и в окно в самом деле выглянула старуха.

— Как тут ехать в Чурилово: направо, налево или прямо в зубы?

— Ой, чтой-то, господь с тобой, зачем в зубы?.. Поезжай налево, — отвечала старуха.

— А как расстоянье-то ты обозначишь? Далеко ли еще?

— Да верст пять...

— Это ладно! Кабы не так спешно было, так в гости бы к тебе заехали. Прощай! Поворотов не будет?

— Ну, какие повороты! — заключила старуха, смотря на него с заметным удовольствием, когда он опять молодцевато вскочил на передок и поехал.

В перелеске потом они встретили идущего по опушке мужика с топором. Извозчик не утерпел и с ним заговорил:

— Что, дядя, далеко ли до Чурилова?

— Верст семь будет, — отвечал тот сердито, уходя за кусты.

— Спасибо, что мало накинул, экой добрый, — говорил балагур... — Речка-то какая славная, — прибавил он, подъезжая к мосту. — Вот напиться бы: вода какая чистая...

— Ну, напейся, — сказал ему Иосаф, и извозчик, кинув вожжи, прямо с телеги соскочил через перила на берег и, наклонившись, напился из пригоршней.

— Солонины этой проклятой на постоялом дворе налопаешься, ужась как пьется! — сказал он и с полнейшим удовольствием, подобрав вожжи, погнал лошадей во все лопатки.

— Вон оно самое Чурилово и есть! — сказал он, мотнув головой на открывшуюся совершенно голую усадьбу, торчавшую на гладком месте, без деревца и ручейка и даже, кажется, без огорода.

Иосаф между тем начинал чувствовать всю щекотливость своего положения: ехать в первый раз в дом и прямо просить денег, черт знает что такое! Но зато извозчик не унывал: как будто бы везя какого-нибудь генерала, он бойко подлетел к воротам на красный, огороженный простым огородом двор и сразу остановил лошадей. Окончательно растерявшийся Иосаф начал вылезать из телеги, и странная, совершенно неожиданная сцена представилась его глазам: на задней галерее господского дома, тоже какого-то обглоданного, сидела пожилая, толстая и с сердитым лицом дама и вязала чулок; а на рундучке крыльца стоял сам майор Одинцов, в отставном военном сюртуке, в широких шальварах и в спальных сапогах. Он выщелкивал языком «Камаринскую» и в то же время представлял рукой, что как будто играет на балалайке, между тем как молодой дворовый малый, с истощенным и печальным лицом, в башмаках на босу ногу, отчаянно выплясывал перед ним на песке. По временам майор взмахивал рукой, и малый, приостановясь в ухарской позе и вскинув руками, шевелясь всем телом, как делают это цыгане, начинал гагайкать: ха, ха, ха, ха! ха, ха, ха, ха! Майор при этом тоже прихлопывал в ладоши и прикрикивал: ха, ха, ха, ха! ха, ха, ха, ха!

— Иван Дмитрич, прекратите, наконец, это! К нам кто-то приехал, — сказала ему вполголоса дама.

— А, извините! — проговорил майор, увидев подходящего Иосафа и сходя к нему с крыльца.

— Извините!

Иосаф, в свою очередь, тоже извинился и назвал свою фамилию.

— Вы меня, может быть, не узнали? — прибавил он.

— Напротив, душевно рад... Каково пляшет? — прибавил майор, указывая на стоявшего уже в вытяжку малюго.

Иосаф не мог при этом не заметить, что лицо хозяина сильно пылало, а из рта несло как из винной бочки.

— Однако позвольте же вам представить: супруга моя, Настасья Ардальоновна! — сказал, расшаркиваясь, майор и показывая на даму. — Прошу покорнейше в комнаты. Ты тоже иди! — прибавил он парню.

Все вошли в залу: Ферापонтов впереди, а хозяин сзади его и все продолжая расшаркиваться. Хозяйка явилась через другие двери и сейчас же села и приняла как бы наблюдательный пост. В комнате этой, несмотря на ходивший всюду сквозной ветер, почему-то сильно пахнуло кошками.

— Позвольте мне перед вами потанцевать? — проговорил вдруг майор, усадив гостя.

— Сделайте одолжение, — отвечал Иосаф.

— Мазурку вам угодно? — продолжал хозяин.

— Что вам угодно, — отвечал Иосаф.

— Иван Дмитрич, надобно бы, кажется, это оставить, — произнесла хозяйка, но майор только махнул ей рукою.

— Митька! — крикнул он.

В залу вошел тот же малый.

— Мазурочный вальс! Играй и учись у меня!

Парень подошел к стоявшему в углу полинялому ящику, похимостил что-то тут около него и, воткнув в дыру висевший на стене ключ, начал им вертеть. Оказалось, что это был небольшой органчик: «Трым-трым! Трым-трым!» — заиграл он мазурку Хлопицкого, и майор, как бы ведя под руку даму, нежно делая ей глазками, пошел, пристукивая ногами, откалывать танец.

— Но, может быть, вам скучно это? Угодно вальс? — сказал он, сделав несколько туров и обращаясь к Иосафу.

— Иван Дмитрич, прекратите это, — молила его жена.

— Мне все равно-с, — отвечал Иосаф.

— Вальс! — скомандовал майор малому, и тот, опять что-то похимостивши у ящика, заиграл вальс.

Майор, держа несколько голову набок, начал вертеться в три па.

— Ух! нынче уставать стал: не могу много, — сказал он, останавливаясь перед Иосафом. — Позвольте же, однако, предложить вам рюмку водки. Малый, водки!

— Нет уж этого по крайней мере не будет! — сказала хозяйка, как-то решительно вставая.

— Чего-с? — произнес майор, и всю правую щеку у него подернуло.

— А того, что этого нельзя, — проговорила она и вышла.

— Ты, харя, пошел, подавай! — повторил майор малому.

Тот нехотя вышел.

— Как ваше здоровье? — обратился майор опять к Иосафу.

— Слава богу-с, — отвечал тот.

— Очень рад с вами познакомиться, — прибавил майор, протягивая ему руку. — Митька!

Митька снова показался.

— Водки! Убью!

— Барыня заперла и не изволит-с давать.

— Цыц! Убью! Поди встань передо мной на колени. Малый, совсем уж бледный, подошел и встал.

— Кто такой я?.. Говори!.. Я села Чурилова Семен майор Одинцов... Водки — живо!

— Да помилуйте, сударь, разве я-с?.. Барыня.

— Убью! Вот тебе! — крикнул майор и ударил бедняка в ухо, так что тот повалился.

— Полноте, что вы делаете? — вскричал, наконец, Иосаф, вскакивая и подходя к майору.

— Кто ты такой? — проговорил тот, обращая уже к нему свое ожесточенное лицо.

— Я Ферापонтов, а вы не шумите.

— Как ты смел ко мне приехать! Кто ты такой? Пошел вон! Убью! — кричал майор и кинулся было к Иосафу драться, но тот, и сам весь день раздражаемый, вышел из себя.

— Прежде чем ты убьешь меня, я тебя самого задушу, — сказал он и, схватив хозяина за шиворот, оттолкнул от себя.

— Караул! Режут! — завопил майор, падая со всего размаха между стульями головой.

— Ну-да, покричи еще! — говорил Иосаф и, оборотясь к малому, прибавил: — Поди, брат, пожалуйста, скажи, чтобы мои лошади ехали за мною.

Тот побежал.

— Пошел вон! Убью! — кричал между тем майор.

Иосаф, выйдя на крыльцо, всплеснул только руками.

— Что это такое, господи ты боже мой! Зачем я приехал к этому скоту? — произнес он и пошел один по дороге.

Невдолге, впрочем, его нагнал и извозчик, и едва Иосаф уселся в телегу, как он сейчас же начал болтать.

— Попали же мы, паря, на гости... Седьмое ведро, братец ты мой, на этой неделе уж оторачивает.

— Что ж он запоем, что ли пьет? — спросил Иосаф.

— Должно быть, есть маненько... парит черта-то в брюхе... С утра до вечера на каменку-то поддает. Я теперь поехал, так словно ополченный какой ходит по двору, только то и орет: «Убью, перережу всех!» Людишки уж все разбежались, а барыня так ажно в сусек, в рожь, зарылась. Вот бы кого хлестать-то!

— Уж именно, — подтвердил Ферапонтов.

— Куда же ехать, однако? — заключил извозчик, повертывая к нему свое добродушное и вместе с тем насмешливое лицо.

Иосаф, подумав некоторое время, проговорил:

— Поедем к гавриловскому барину; авось тот не таков.

— Известно, тот барин крупичастой, а ведь это что?.. Орженовики! — объяснил извозчик и погнался рысцей своих лошадок, бежавших вряд ли уж не шестидесятую версту не кормя.

Солнце между тем садилось, слегка золотя яркорозовым цветом края кучковатых облаков, скопившихся на горизонте. По влажным сенокосным лугам начал подниматься беловатый, густой туман росы, и кричали то тут, то там коростеля. Версты через четыре показалось, наконец, и Гаврилково. Точно феодальный замок, возвышалось оно своим огромным домом с идущими от него вправо и влево крыльями флигелей. Прямо от него начинал спускаться под гору старинный, густо разросшийся сад, а под ним шумно и бойко протекала лучшая во всем

околотке река. Проехав по мосту и взобравшись в гору по дорожке, обсаженной липами, Иосаф не осмелился подъехать прямо к дому, а велел своему извозчику сходить в который-нибудь флигель и сказать людям, что запоздал проезжий губернский чиновник из приказа, Фе-рапонтов, и просит, что не примут ли его ночевать.

Извозчик сбегал.

— В дом, к барину велели вас звать, — повестил он Иосафа с удовольствием.

Тот пошел.

На нижних ступенях далеко выдающегося крыльца стоял уже и дожидался его ливрейный лакей. Он провел Иосафа по широкой лестнице, устланной ковром и уставленной цветами, и, сняв потом с него, без малейшей гримасы, старое, запыленное пальтишко, проговорил тихо:

— В гостиную пожалуйте!

Иосаф робко прошел по темной зале с двумя просветами и в гостиной, слабо освещенной столовой лампой, он увидел на стенах огромные, масляной краски, картины в золотых рамках, на которых чернели надписи: «Мурильо», «Корреджио». Висевшая над дверьми во внутренние комнаты толстая ковровая портьера, наконец, заколыхалась, и из-за нее показался хозяин, высокий мужчина, с задумчивыми, но приятными чертами лица, несколько уже плешивый и с проседью; одет он был в черное, наглухо застегнутое пальто и, по начинавшей уже тогда вкрадываться между помещиками моде, носил бороду.

— Я вас немножко знаю, — сказал он любезно, подавая Иосафу руку.

Тот тоже объявил, что имел счастье видеть его иногда в Приказе.

— Прошу вас, — сказал Гаврилов, показывая гостю на одну сторону дивана и садясь сам на другой его конец. — Вы, вероятно, были у кого-нибудь из родных или знакомых ваших в нашем уезде? — спросил он его мягким и ровным голосом.

— Нет-с, я ежду-с по одному адвокатному делу, в котором и к вам бы имел покорнейшую просьбу, — начал прямо Иосаф, вставая перед Гавриловым на ноги.

— Ваш покорнейший слуга, — отвечал тот, потупляя свои умные глаза.

— Дело-с это принадлежит госпоже Костыревой... Может быть, даже вы изволите ее знать.

— Костыревой?.. — повторил Гаврилов, — Костырева я знал.

— Это ее покойный муж. Он оставил ей теперь очень запутанное именье, из которого она желала бы продать лес и мельницу, и вот именно по этому предмету поручила мне обратиться к вам.

— Ко мне? — спросил Гаврилов, как бы несколько удивленный.

— Да-с, продать она готова весьма дешево, и с ее стороны единственное условие, чтобы деньги доставить ей теперь же, а купчую получить после, когда именье будет очищено по Приказу.

— Но что же меня удостоверит, что именье будет очищено? — сказал Гаврилов уже с улыбкой.

— Вы сами можете, если вам угодно, внести прямо от своего имени деньги в Приказ.

— Да, — произнес Гаврилов размышляющим тоном, — но в таком случае, что меня обеспечит, что эти мельница и лес будут именно мне проданы?

— Насчет этого-с вы изволите с продавицей заключить домашнее условие.

— Да, — повторил Гаврилов еще более протяжно и задумчиво, — но об этом надо подумать, — прибавил он и, попрося снова Иосафа садиться, сейчас же переменял разговор. Он стал расспрашивать его о капиталах Приказа, его оборотах, не высказывая с своей стороны ни одной мысли, но зато с самым вежливым вниманием прислушиваясь ко всем ответам Ферапонтова. За ужином, который последовал часов в одиннадцать, были поданы на серебряных блюдах разварная рыба и жареная дичь, так прекрасно приготовленные, что Иосаф даже никогда ничего подобного и не едал. Кроме того, Гаврилов несколько раз из своих рук подливал ему в стакан весьма высокой цены медоку, так что герой мой даже начал конфузиться от такого рода внимания. Когда вышли из-за стола, он осмелился еще раз повторить свою просьбу и спросить, когда он может получить ответ.

— Я вам завтра же скажу, — отвечал Гаврилов и чрезвычайно радушно приказал одному из своих лакеев проводить гостя в приготовленную для него комнату.

Как ни мило и ни уютно было прибрано в этой спальне, как ни покойна была приготовленная постель с чистым как снег бельем, однако Иосаф всю ночь проворочался, задавая себе вопрос: даст ли Гаврилов денег, или нет? Поутру, узнав от лакея, что барин еще не выходил, он, чтобы как-нибудь сократить время, вышел в сад и, выбрав случайно одну дорожку, прямо пришел к оранжерее. Боже мой! сколько увидел он тут цветов и за стеклами и на вольном воздухе, в стройном порядке посаженных по куртинам. Половине из них Иосаф даже и названия не знал, но все-таки, безмерно восхитившись душой, начал рассматривать то тот, то другой, нюхать их, заглядывать вовнутрь их махровых чашечек. В самой оранжерее, при виде гигантской зелени, растущей то широкими лопастями, то ланцетовидными длинными листьями, у Иосафа окончательно разбежались глаза, и в то время, как он так искренно предавался столь невинному занятию, почти забыв о своем деле, сам хозяин думал и помнил о нем, ходя по своему огромному кабинету.

Глядя на умное и выразительное лицо Гаврилова, на его до сих пор еще величественный стан, конечно, каждый бы почувствовал к нему невольное сердечное влечение; а между тем как странно и безвестно прошла вся жизнь этого человека: еще в чине поручика гвардии, глубоко оскорбившись за то, что обойден был ротой, он вышел в отставку и поселился в Бакалайском уезде, и с тех пор про него постоянно шла такого рода молва, что он был примерный сын в отношении своей старушки матери, женщины очень богатой, некогда бывшей статс-дамы, а потом безвестно проживавшей в своем Гаврилкове, и больше ничего об нем нельзя было сказать.

Даже небогатые соседи и соседки, допускаемые иногда статс-дамою до своей особы, безмерно удивлялись, видя, что такой умный молодой человек, в полном развитии сил и здоровья, целые дни сидит у старушки, в ее натопленной спальне, обитой по всем четырем стенам коврами, с лампадками, с иконами, и сохраняет к ней такое обращение, какого они от своих сынков во всю жизнь и не видывали. Раза четыре по крайней мере в год Гаврилов ездил с матерью на богомолье, не позволяя при этом случае никому ни посадить, ни высадить ее из экипажа. Узнав ее желание, чтобы хозяйство шло несколько

построже, он объехал все деревни, выбил там самую старую недоимку, сменил и пересек нескольких старост, докладывая ей о каждой мелочи и спрашивая на все ее разрешения.

О женитьбе, так как сама старушка никогда не намекала на это, он не смел, кажется, и подумать и даже обыкновенную легкую помещицью любовь не позволил себе завести у себя дома, а устроил это в уездном городке, верст за тридцать от Гаврилкова, с величайшею таинственностью и платя огромные деньги, чтобы только как-нибудь это не огласилось и, чего боже сохрани, не дошло до татап!

Тридцатого марта сорок восьмого года старуха, наконец, умерла. Удар этот, казалось бы, должен был сильно нравственно потрясти Гаврилова. Однако нет! С глубоко огорченным выражением в лице, он всеми приготовлениями к парадным похоронам распоряжался сам; своими собственными руками положил мертвую в гроб, в продолжение всей церемонии ни одной двери, которую следовало, не забыл притворить, и тотчас же, возвратясь после похорон домой, заперся в спальне покойницы, отворил и пересмотрел все ее хитро и крепко запертые комоды и шифоньеры. Сколько он там нашел, неизвестно, но только в продолжение довольно значительного времени во всей его благородной фигуре было видно выражение какого-то самодовольства, как бы от сознания новой, до сих пор еще не испытанной им силы, а затем страсть к корысти заметно уже стала отражаться во всех его действиях. Точно так же, как прежде *повиноваться матери*, теперь *делать деньги* сделалось как бы девизом его жизни. Ни с кем почти из соседей не поддерживая тесного знакомства и только слегка еще оставляя заведенную старухой в домашней жизни роскошь, он то и дело, что хозяйничал: распространял усилением барщины хлебопашество, скупал с аукциона небольшие сиротские именья, вступал в сподручные к его деревням подряды, и все это он совершал как-то необыкновенно тихо, спокойно и даже несколько задумчиво, как будто бы он вовсе ничего и не делал, а все это само ему плыло в руки.

Стяжав от всего почти дворянства имя прекраснейшего человека, Гаврилов в самом деле, судя по наружности, не попадал никакого рода укору не только в каком-нибудь черном, но даже хоть сколько-нибудь двусмы-

сленно-честном поступке, а между тем, если хотите, вся жизнь его была преступление. «Раб ленивый», ни разу не добыв своим плечиком копейки, он постоянно жил в богатстве, мало того: скопил и довел свое состояние до миллиона, никогда ничем не жертвуя и не рискуя; какой-нибудь плантатор южных штатов по крайней мере борется с природою, а иногда с дикими племенами и зверями, наконец улучшает самое дело, а тут ровно ничего! Ни дела, ни борьбы, ни улучшения, а сиди себе спокойно и копи, бог знает зачем и для чего! И как всегда в этом случае бывает: чем больше подрастал золотой телец Гаврилова, тем сам он к нему становился пристрастней и пристрастней: даже в настоящем случае (смешно сказать) он серьезно размышлял о грошовом предложении Иосафа, из которого, по его расчетам, можно бы было извлечь выгоду, и только все еще несколько остававшийся в нем аристократический взгляд на вещи помешал ему в том.

«Какая-то Костырева, которой мужа он знал за гадкого пьяницу; наконец, этот неуклюжий шершавый ходатай, и связаться с этими господами... Нет, черт с ним!» — решил он мысленно и проворно позвонил.

— Попроси ко мне этого господина чиновника, — сказал он вошедшему лакею.

Через несколько времени Иосаф явился бледный и с замирающим сердцем.

— Я не могу идти на предлагаемое вами дело, — начал Гаврилов.

Иосафа покорило.

— Отчего же-с?.. помилуйте, — проговорил он до смешного жалобным голосом.

— Оттого, что это совершенно выходит из заведенного мною порядка, — сказал Гаврилов таким покойным и решительным тоном, что Иосаф окончательно замер, очень хорошо понимая, что с пьяным майёром, с жидомором Фарфоровским, даже с аспидом Родионовым можно было еще говорить и добиться от них чего-нибудь, но с Гавриловым нет.

Забыв всякую деликатность, Иосаф сейчас же начал раскланиваться.

— Зачем же? Вы позавтракайте у меня, — проговорил Гаврилов опять уже приветливым голосом.

Иосаф болтнул ему что-то такое в извинение и стал раскланиваться.

— Очень жаль, — говорил Гаврилов, неторопливо вставая и провожая его до половины гостиной.

Добравшись до своего экипажа, Ферাপонтов, как тяжелый хлебный куль, опустился на него и сказал глухим голосом своему вознице: «Пошел!» Тот обернулся и посмотрел на него.

— Да что вы, с делами, что ли, с какими ездите по господам этим? — спросил он.

— Езжу денег занимать и нигде не могу найти, — отвечал неторопливо Иосаф.

— И здешний не дал?

— Нет.

— Поди ж ты! — произнес извозчик, и покачал головой. — К старухе, братец ты мой, разве к одной тут, небогатой дворяночке, заехать, — прибавил он подумав. — Старейшая старуха, с усами седыми, как у солдата; именья-то всего две девки.

— А деньги есть?

— Есть! Прежде давала, одолжала кой-кого, по знакомству. Тогда покойному батьке — скотской падеж был, две лошади у него пали — слова, братец ты мой, не сказала, ссудила ему тогда сто пятьдесят рублей серебром, — мужику какому-нибудь простому.

— Вези к ней, — сказал Иосаф.

— Ладно, — отвечал извозчик и с заметным удовольствием сейчас же поворотил на другую дорогу, по которой, проехав с версту, они стали спускаться с высочайшей горы в так называемые реки. Пространство это было верст на тридцать кругом раскинувшиеся гладкие поемные луга, испещренные то тут, то там пробежавшими по ним небольшими речками. Со всех сторон их окружали горы, на вершинах которых чернели деревни, а по склонам расстилались, словно бархатные ковры, поля — то зеленеющие хлебом, то какого-то бурого цвета и только что, видно, перед тем вспаханные. Выбравшись из этой ложбины, путники наши поехали по страшной уже бесплодочии: то вдруг шли ни с того ни с сего огромнейшие поля, тогда как и жилья нигде никакого не было видно, то начинался перелесок, со въезда довольно редкий, но постепенно густевший, густевший; вместо мелкого березняка появлялись огромные осины и сосны, наконец, представлялась совершенная уж глушь; но потом и это сразу же начинало редеть, и открывалось опять поле. Утомленный

бессонницей нескольких ночей, Иосаф задремал и затем, совсем уж повалившись на свою кожаную подушку, захрапел. Его разбудил уж извозчик, говоря: «Барин, а барин!» Он открыл глаза и привстал. Они ехали по узенькому прогону к какому-то, должно быть, селу. На крыльце новенького деревянного и несколько на дворянский лад выстроенного домика стояла здоровая девка, с лентой в косе, с стеклянными сережками и в босовиках с оторочкой.

— Здорова, красноногая гусыня! — сказал извозчик, подъезжая к ней и останавливая лошадей.

— На-ка кто? Михайло! Откуда нелегкая несет?

— С барином ежду.

— Еще, пес, словно выше вырос, — продолжала девка.

— Да к тебе-то уж очень больно рвался, так и повытянуло, знать, маненько. Дома барыня-то?

— Дома!

— Вылезайте, — сказал извозчик Иосафу, но тот медлил.

— Ты сходи прежде сам и объясни ей прямо мое дело, а то мне вдруг неловко, — произнес он нерешительным голосом.

— Пожалуй-с! — отвечал извозчик и, откашлянувшись, пошел на крыльцо.

— О, черт, толстая какая! — сказал он и ударил девку по плечу.

— Ой, да больно! чтой-то, леший! — сказала та, взглянув на него ласково.

Из комнаты потом слышались усиленные восклицания извозчика: «С барином ежду-с»; затем следовал какой-то гул, потом снова голос извозчика, и опять восклицание: «С барином — право-с».

Девка между тем, поджав руки на груди, глядела на Иосафа.

— Нови, что ли, вы собирать приехали? — спросила она.

Тот вспыхнул.

— Нет, — отвечал он, отворачиваясь и стараясь избежать ее взоров.

— Пожалуйте-с! — крикнул ему извозчик из сеней.

Иосаф не совсем смело пошел.

В первой же со входа комнате он увидел старуху, в самом деле с усами и бородой, стриженую, в капотишке и без всяких следов женских грудей. Она сидела на ди-

ванчике, облокотившись одной рукой на столик и совершенно по-мужски закинувши нога на ногу.

Ферапонтов раскланялся ей.

— Здравствуйте! — проговорила она почти басом.

Иосаф, утирая с лица платком пыль, сел на дальний стул.

— Что вы, из самой губернии, что ли?

— Из губернского города-с.

— Пошто же вы от Гаврилова-то едете?

— Я езжу по делу, о котором вам, может быть, говорил мой извозчик...

— Не знаю... болтал он что-то такое тут... Я и не разобрала хорошенько... Какие у меня деньги.

— Мы бы вам были самые верные плательщики, — сказал Иосаф, сделав при этом по обыкновению умиленное лицо.

— Никаких у меня денег нет, что он врет? Марфутка!

В горницу вошла та же девка, но что-то уж очень раскрасневшаяся, как будто бы она сейчас только с кем-нибудь сильно играла.

— Готово ли там у тебя?

— Готово, барыня, — отвечала она.

— Ну, вы посидите тут; а я в баню схожу! — сказала старуха, обращаясь к Иосафу.

И затем, слегка простонав, приподнялась и ушла.

Ферапонтов вслед ей только вздохнул и от нечего делать пересел к растворенному окну. В другое окно из избы, выстроенной в одной связи с барской половиной, выглядывала улыбающаяся и довольная рожка его извозчика. Таким образом прошло около двух часов. В это время Иосаф видел, что Марфутка, еще более раскрасневшаяся, с намоченной головой и с подтыканным подолом, то и дело что прибегала из бани на пруд за холодной водой, каждый раз как-то подозрительно переглядываясь с извозчиком. Наконец, старуху, наглухо закутанную и с опущенной, как бы в бесчувственности, головой, две ее прислужницы — Марфа, совсем уже пылавшая, и другая, несколько постарше и посолидней ее на вид, — втащили в комнату под руки и прямо опустили на диванчик. От нее так и несло распаренным телом и бобковой мазью. Несколько минут она не подымала головы и не открывала глаз, так что Иосаф подумал, не умерла ли уж она.

— Не дурно ли им? — спросил он.

— Нету-тка-с! — отвечала Марфа. — Семь веников исхлестала об нее, за неволю очекуреешь! — прибавила она шепотом и вышла.

— Палагея! — произнесла, наконец, старуха.

— Я здесь, матушка, — отвечала другая девка, почтительно приближаясь к барыне.

— Заварила ли травки?

— Заварила, матушка-барыня, заварила.

— Подавай. Чаю у меня нет, а я богородицыну травку пью, — объявила старуха Иосафу.

Палагея между тем возвратилась и принесла в пригоршнях, прихватив передником, муравлснй с рыльцем горшочек, аккуратно разостлала потом перед барыней на столе толстую салфетку и вынула из шкафчика чайную чашку и очень немого медовых сотов на блюдечке.

— Налей! — приказала ей та.

Палагея налила в чашку какой-то буроватой жидкости.

Старуха, беря по крошечке сотов и сося их, начала запивать своим напитком и после каждого почти глотка повторяла:

— Ой, хорошо! так и жжет в брюшке-то. Может, и вы хотите? — отнеслась она к Иосафу; но тот отказался. — Ну, так вы поели бы чего-нибудь, — продолжала старуха и взглянула на свою прислужницу. — В печке у тебя брюква-то?

— В печке, матушка, с утра не вынимала.

— Принеси.

Палагея опять вышла и на этот раз уж приворотила целую корчагу с пареной брюквой, до такой степени провонявшей, что душина от нее перебил даже запах бобковой мази. Она своей грязной рукой выворотила Иосафу на тарелку огромнейшую брюкву, подала потом ему хлеба и соли; но как он ни был голоден, однако попробовал и не мог более продолжать.

— Что вы не едите? С маслом оно вкусней. Подай масло-то.

Девка подала; но Иосаф и с маслом не мог; зато сама старуха взяла никак не менее его кусище и почти с нежностью принялась его есть... По возрасту своему она дожила уже, видно, до того полудетского состояния, когда все сладковатое начинает нравиться.

— Вы ступайте спать на сеновал. У меня там хорошо, — сказала она Иосафу и потом сейчас же вскрикнула: — Марфутка!

Та явилась и была уже совершенно расфранченная: с причесанной головой в чистой рубашке и в новом сарафане.

— Проводи вот их! — приказала барыня.

Иосаф видел, что со старухой о деньгах нечего было и разговаривать: он печально поклонился ей и пошел. Марфутка провела его через сени, и, когда он несколько затруднился прямо без лесенки влезть на помост, она слегка подсадила его. В полутемноте Иосаф рассмотрел посланную ему на сене постель. Он снял с себя только фрак и лег; под ним захрустело и сейчас же к одному боку скатилось пересохлое сено; над головой его что-то такое шумело и шелестело; он с большим трудом успел, наконец, догадаться, что это были развешанные сухие венники по всевозможным перекладам. К утру его начал пробирать сильный холод; во всех членах он уже чувствовал какую-то сжимающую, неприятную ломоту и совершенно бесполезно старался поукутываться маленьким, худеньким одеялишком, не закрывавшим его почти до половины ног.

«Ах ты, старая чертовка, куда уложила», — думал он, и в это время вдруг раздались шаги то туда, то сюда, и послышался гул сиповатого голоса хозяйки. Наконец, он явственно услышал, что она кричала: «Господин чиновник! Господин чиновник! Пожалуйте сюда!» Иосаф проворно накинул на себя свой фрачишко и спустился с помоста в сени. Здесь он увидел, что в растворенных наотмашь дверях стояла, растопырив руки, рассвирепелая старуха. Она была в одной рубашке и босиком. Перед ней, как-то смиренно поджав живот и опустив глазки в землю, но точно такая же нарядная, как и вчера, предстала Марфа. Несколько поодаль, и тоже, должно быть, чем-то очень сконфуженный, стоял извозчик его Михайло.

— Господин чиновник! Я вот вам свидетельствую, что этот мерзавец... с этой моей подлой тварью... помилуйте, что это такое? — объяснила Иосафу старуха, показывая на извозчика и на девуку.

— Да чтой-то, сударыня, какие вы, барыня, право! — говорил Михайло, отворачивая глаза в сторону. — Только

себя, право, беспокоите... — прибавил он и подлетел было к ее ручке.

— Прочь, развратитель!! — крикнула на него старуха. — Можете себе представить, — обратилась она опять к Иосафу, — всю ночь слышу топ-топ по чердаку то туда, то сюда... Что такое?.. Иду... глядь, соколена эта и катит оттуда и подолец обдергивает. Гляжу далее: и разбойник этот, и платочком еще рожу свою закрывает, как будто его подлой бороды и не увидят.

— Да я, право, сударыня... — заговорил было опять Михайло.

— Молчи и сейчас же бери своих одров и долой с моего двора. Я не могу терпеть в моем доме таких развратников. А тебя, мерзавка, завтра же в земский суд, завтра! — продолжала старуха, грозя девке пальцем. — Помилуйте, — отнеслась она снова к Иосафу, — каждый год, как весна, так и в тягости, а к Успенкам уж и жать не может: «Я, барыня, тяжела, не могу». Отчего ж Палагея не делает того? Всегда раба верная, раба покорная, раба честная.

— Матушка, это тоже божья власть! — ответила, наконец, и Марфа. — Палагея также не лучше нас грешных; но так как сухой человек, так, видно, не пристаёт к ней этого.

— Молчи! — крикнула на нее старуха. — А ты убирайся: нечего тебе тут и стоять, вытянувши свою подлую харю!

Извозчик пошел.

— Позвольте уж и мне в таком случае проститься, — проговорил Иосаф.

— Как вам угодно! Ваша воля! Я вам не поперетчица, — проговорила старуха и торжественно ушла в комнату.

Девка тоже, не поднимая глаз, убралась в кухню.

Иосаф отыскал свою фуражку и пальтишко. Выйдя на крылечко, он нашел, что Михайло стоял уже тут на своей паре и только на этот раз далеко был не так разговорчив, как прежде. Иосаф, несмотря на свою скромность, даже посмеялся ему:

— Что, брат, попался?

— Да поди ж ты ее, старую ведьму, какова она! — отвечал Михайло как-то неопределенно и во всю остальную дорогу не произнес ни одного слова.

XI

Всего еще только благовестили к поздним обедам, когда они подъехали к городу. Иосаф велел себя прямо везти к Приказу.

— Пришел наш черт-то, явился откуда-то, — перешепнулись между собой молодые писцы, когда он проходил, не отвечая почти никому на поклоны, через канцелярию в присутствие.

Член уж был там и собирался ехать к губернатору.

— Что это вы не ходили? — спросил он.

— Болен был-с, — отвечал Иосаф.

— Ну, примите без меня, если что спешное будет, — проговорил старик, уходя.

— Хорошо-с, — отвечал Иосаф и остался в присутствии.

Он подошел по обыкновению к своему любимому окну и стал грустно смотреть в него.

— Здравствуйте, батюшка Иосаф Иосафыч, — раздался почти над самым ухом его какой-то необыкновенно всжливый голос.

Бухгалтер обернулся — это был бурмистр графа Араксина, всего еще мужик лет тридцати пяти, стройный, красавец из себя, в длиннополом тончайшего сукна сюртуке, в сапогах с раструбами, с пуховой фуражкой и даже с зонтом в руке, чтобы не очень загореть на солнце.

— Взнос за вотчину! — проговорил он, проворно вытаскивая из кармана своих плисовых штанов огромную пачку ассигнаций и кладя на стол. — Квитанцию, Иосаф Иосафыч, нельзя ли, сделать божескую милость, к имению выслать, — прибавил он.

— К имению?

— Да-с, так как я тоже теперь еду в саратовские вотчины. Его сиятельство, господин граф, так и писать изволили: деньги, говорит, ты внеси, а квитанция чтобы, говорит, здесь была, по здешним, значит, приходо-расходным книгам зачислена.

— Где ж тут нам пересылать? Завалается еще как-нибудь! — проговорил Иосаф, механически считая деньги.

— Да ведь это, сударь, что ж такое? Все единственно... Ежели мы теперь деньги внесли, все одно покойны, хошь бы они, сколь ни есть, тут пролежали,

В печальном лице Иосафа вдруг как бы на мгновение промелькнул луч радости.

— Ты когда сюда вернешься? — проговорил он каким-то странным голосом.

— Да ближе рождества, пожалуй, что не обернешь; не воротись раньше.

— Тогда сам и получишь квитанцию.

При этих словах у Иосафа заметно уже дрожал голос.

— Слушаюсь, — отвечал покорно бурмистр.

— Тогда и получишь, — повторил Иосаф.

— Слушаю-с. Сделайте милость, батюшка, уж не оставьте.

— Будь покоен, — говорил Ферапонтов, потупля глаза.

— Желаю всякого благополучия, — сказал бурмистр, раскланиваясь.

— И тебе того же, любезный, желаю, — отвечал Иосаф и подал даже бурмистру руку.

Тот, очень довольный этим, еще раз раскланялся и вышел.

Выражение лица Ферапонтова в ту же минуту изменилось: по нем пошли какие-то багровые пятна. Он скорыми шагами заходил по комнате, грыз у себя ногти, потирал грудь и потом вдруг схватил и разорвал поданное вместе с деньгами бурмистром объявление на мелкие кусочки, засунул их в рот и, еще прожевывая их, сел к столу и написал какую-то другую бумагу, вложил в нее бурмистровы деньги и, положив все это на стол, отошел опять к окну.

Спустя недолго воротился и непременный член. Кряхтя и охая, он уселся на свое место.

— Взнос тут есть, — проговорил Иосаф, не оборачиваясь и продолжая смотреть в окно.

Старик, надев очки, стал неторопливо просматривать бумагу.

— А, ну вот, — Костырева внесла, — проговорил он, наконец.

Иосафа подернуло.

— Михайло Петрович, позвольте мне опять домой уйти, я опять себя чувствую нехорошо, — произнес он.

— Ступайте, ступайте, в самом деле вы какой-то пересовращенный, — сказал начальник, глядя на него с участием.

Иосаф, попрежнему ни на кого не глядя, прошел канцелярию. Спустившись с лестницы и постояв несколько времени в раздумье, он пошел не домой, а отправился к дому Дурындиных. Там у ворот на лавочке он увидел сидящего лакея-казачка.

— Дома господа? — спросил он.

— Никак нет-с, — отвечал тот.

Иосаф побледнел.

— Где же они?

— Гулять ушли-с на бульвар.

У Иосафа отлегло от сердца.

— Ну, так и я туда пойду, — проговорил он уже с улыбкой и, вынув из кармана рубль серебром, дал его лакею.

Тот даже удивился.

— Они там-с наверное, — подтвердил он.

Иосаф проворно зашагал к бульвару. На средней главной аллее он еще издали узнал идущего впереди под ручку с сестрою Бжестовского, который был на этот раз в пестром пиджаке, с тоненькой, из китового уса, тросточкой и в соломенной шляпе. На Эмилии была та же белая шляпа, тот же белый кашемировый бурнус, но только надетый на голубое барежевое платье, которое, низко спускаясь сзади, волочилось по песку. Какой-то королевой с царственным шлейфом показалась она Иосафу. На половине дорожки он их нагнал.

— Ах, Асаф Асафыч! — воскликнула Эмилия и заметно сконфузилась. — Скажите, где вы это пропадали?

— Я ездил-с и сейчас только вернулся, — отвечал Иосаф и тут только, встретясь с такими нарядными людьми, заметил, что он был небрит, весь перемаран, в пуху и в грязи, и сильно того устыдился. — Извините, я в чем был в дороге, в том и являюсь! — проговорил он.

— О боже мой, только бы видеть вас! — сказала Эмилия и, оставив руку брата, пошла рядом с Иосафом. — Но где ж вы именно были? — спросила она.

— Я ездил-с по вашему делу. Оно кончено теперь... Я сегодня и деньги уже внес.

— Нет, не может быть? — воскликнула Эмилия растерянным голосом, и щечки ее слегка задрожали и покрылись румянцем, на глазах навернулись слезы.

— Внес-с, — отвечал Иосаф, тоже едва сдерживая волнение.

— Брат! Асаф Асафыч говорит, — продолжала Эмилия, относясь к Бжестовскому, — что он наше дело кончил и внес за нас.

— Не может быть! — воскликнул тот, очень, кажется, в свою очередь, тоже удивленный, — но где же вы денег взяли?

— Я занял тут у одного господина! — отвечал с улыбкой Иосаф. — Теперь только надо поскорее продать вам лес и мельницу.

— Ну да, непременно, как можно скорее! — проговорила с нервным нетерпением Эмилия.

— Я готов хоть завтра же ехать, — отвечал, пожимая плечами, Бжестовский.

— Да уж, пожалуйста; а то мне, пожалуй, худо будет, — проговорил Иосаф и опять улыбнулся.

— Боже мой! я опомниться еще хорошенько не могу, — говорила Эмилия, беря себя за голову. — Асаф Асафыч, дайте мне вашу руку, — прибавила она.

Иосаф подал.

— Но, может быть, вы не любите с дамами ходить под руку, — сказала она, пройдя несколько шагов.

— Напротив-с, — это для меня такое блаженство, — отвечал Иосаф.

Эмилия крепко оперлась на его руку. Герой мой в одно и то же время блаженствовал и сторал стыдом. Между тем погода совершенно переменялась; в воздухе сделалось так тихо, что ни один листок на деревьях не шевелился; на небе со всех сторон надвигались черные, как вороново крыло, тучи, и начинало уж вдали погремливаться.

— Боже мой, мой бедный бурнус! — воскликнула Эмилия, показывая на упавшие на него две-три дождединки.

— Прикажите, я позову извозчика! — предложил Иосаф.

— Да, пожалуйста, бурнус и шляпка еще ничего; но я в прюнелевых ботинках: промочу ноги и непременно заболую.

— Сейчас-с! — отвечал Иосаф и бегом побежал к воротам бульвара, из которых была видна извозчицья биржа.

— Извозчик! Извозчик! — закричал он благим матом.

Их подъехало несколько. Иосаф выбрал самые покойные пролетки и, посадив на них Эмилию, другое место хотел было уступить Бжестовскому.

— Садитесь, Асаф Асафыч; брат дойдет и пешком, — сказала Эмилия.

— Я дойду, — отвечал Бжестовский, кивая головой и попрежнему не переставая улыбаться той странной улыбкой, которая почти не сходила с его лица, когда он видел Иосафа.

Тот сел около своей дамы несколько боком. Извозчик, желая довести господ домой до дождя, погнал во все лопатки. Мостовая, как водится, была мерзейшая. Пролетка кидалась из стороны в сторону. Эмилия беспрестанно прижималась к Иосафу почти всей грудью, брала без всякой осторожности его за руку и опиралась на нее. Положение Ферапонтова начинало становиться невыносимым: у него то бросалась кровь в голову, то прилиwała вся к сердцу. Когда подъехали к дому, он едва сообразил, что ему следует попроворней встать и подать его даме руку.

— Пойдемте, Асаф Асафыч; брат не скоро еще подойдет, — сказала она и побежала на лестницу.

Не зная, как понимать эти слова, Иосаф последовал за нею. Эмилия сняла шляпку и бурнус и сделалась еще милее. На дворе в это время ударил проливной дождь, и становилось темнее и темнее: в комнатах стало походить как бы на сумерки.

Гость и хозяйка начали ходить по зале.

— Я посылала к вам по крайней мере раз пять человека, — говорила Эмилия, — но сказали, что вы уехали, а куда — неизвестно. Это было немножко жестоко с вашей стороны.

— Я не предполагал так долго проездить, — оправдывался Иосаф.

В эту минуту ударил сильнейший гром, так что задрожали все окна.

— Я начинаю, однако, уж бояться, пойдемте в наугольную, там темнее, и я стору спущу, — сказала Эмилия и пошла в наугольную, где, в самом деле, спустила стору и села на угольный диванчик.

Таким образом они очутились почти в полутемноте. Иосаф, сев рядом с хозяйкой, сначала решительно не находил, что сказать.

— Вы позволите мне посещать вас, когда братец уедет? — спросил он, наконец.

— О да! разумеется! — отвечала Эмилия.

На несколько минут они опять замолчали.

— Это такое для меня счастье, — заговорил снова Иосаф.

— Я это знаю, — проговорила протяжно Эмилия.

— Вы знаете? — повторил, в свою очередь, Иосаф и сам уже, не помня как, протянул свою руку, как потом в его руке очутилась рука Эмилии. Он схватил и начал ее целовать; мало того, другой рукой он обнял ее за талию и слегка потянул к себе.

— О, вы опять хотите украсть поцелуй, — произнесла она.

— Да-с, — отвечал Иосаф и начал ее целовать раз... два.

— Тсс, постойте: брат приехал! — сказала вдруг Эмилия и, проворно встав, вышла.

Бжестовский действительно входил в залу. Иосаф едва осмелился выйти к нему.

— А я сейчас от дождя зашел к вам в Приказ, — отнесся к нему Бжестовский, — там действительно по нашему делу все уж кончено.

— Все уж? — спросила Эмилия, не поднимая глаз и как бы затаив только, чтоб что-нибудь сказать.

— Я вам-с говорил, — произнес Иосаф.

Бжестовский между тем что-то переминался.

— Нам бы вас, Иосаф Иосафыч, — начал он, — следовало сегодня попросить откушать у нас, выпить бы за ваше здоровье; но, к ужасной досаде, мы сами сегодня дали слово обедать у одних скучнейших наших знакомых.

Эмилия посмотрела на брата.

— Помилуйте, не беспокойтесь, — отвечал Иосаф.

— Надеюсь, однако, что завтра или послезавтра мы поправим это.

Иосаф раскланялся.

— Что ж, Эмилия, подите, одевайтесь же! — прибавил Бжестовский сестре.

Та опять посмотрела на него.

— До свиданья, мой добрый друг, — сказала она, протягивая Иосафу руку, которую тот, чтоб не открыть перед братом тайны, не осмелился на этот раз поцело-

вать и только как-то таинственно взглянул на Эмилию и поспешил уйти: его безумному счастью не было пределов!

На другой день часов еще с семи он начал хлопотать по Приказу, чтобы все бумаги по делу Костыревой были исполнены, и когда они, при его собственных глазах, отгравлены уже были на почту, ему вдруг подали маленькую записочку. Почувствовав от нее запах духов, Иосаф побледнел. Слишком памятным для него почерком в ней было написано:

«Мой добрый друг! мы решили с братом, что и я с ним еду в деревню по моему делу. Каждую минуту буду молить об вас бога за все, что вы сделали для меня; мы скоро будем видаться часто.

Ваша Эмилия».

Иосаф схватился за дверной косяк, чтобы не упасть. Неровными шагами он вошел потом в присутствие и опять объявил старику члену, что он болен и не может сидеть.

— Какой вы — а? На себя совсем не похожи стали! — говорил тот, всматриваясь в него.

— Мне очень нехорошо-с! — отвечал Иосаф и ушел.

— Удрал и сегодня! — сказал зубоскал столоначальник 1-го стола, показывая на него глазами.

— С похмелья, должно быть, ломает! — объяснил столоначальник 2-го стола, человек, как видно, положительный.

— Они и этга-с не больны были, а ездили в уезд в гости, — донес было ему сидевший в его столе Петров.

— А ты почем знаешь, узнаватель! — огрел его столоначальник.

— И мутит же только, господи, с этого винища кажинного человека! — подхватил со вздохом столоначальник 1-го стола.

Иосаф между тем сидел уже в своей маленькой квартире. Он по крайней мере в сотый раз перечитывал полученную им записочку и потом вдруг зарыдал, как ребенок: тысячу смертей он легче бы вынес, чем эту разлуку с Эмилией!

XII

Я только что возвратился с одного кляузного следствия и спал крепким сном. Вдруг меня разбудили. «Пожалуйста, говорят, к губернатору». — «Что еще такое?» — подумал я почти с бешенством, но делать было нечего: встал. В передней меня действительно дожидался жандарм.

— Разве губернатор еще не спит? — спросил я его.

— Никак нет, ваше благородие.

— Что ж он делает?

— Гневаться изволят.

Я почесал только в голове и, велев закладывать лошадь, дал себе решительное слово окончательно объясниться с этим господином, потому что не проходило почти недели, чтобы мы с ним не сталкивались самым неприятным образом.

Когда я выехал, на улицах был совершенный мрак и тишина. Жандарм ехал за мной крупной рысью. В доме губернатора я застал огонь в одном только кабинете его. Он ходил по нем взад и вперед в расстегнутом сюртуке и без эполет. Засохшая на губах беленькая пена ясно свидетельствовала о состоянии его духа.

— Любезнейший! Ступайте сейчас и посадите в острог бухгалтера Приказа Ферাপонтова! — сказал он мне довольно еще ласковым голосом.

Я посмотрел на него.

— По какому-нибудь делу, ваше превосходительство?

— Он там деньги украл из Приказа. В канцелярии вы получите предписание.

— И в нем будет сказано, чтоб я посадил его в острог?

— Да-с! — отвечал губернатор, и беленькая пенка на губах его опять смокла. — Вы будете производить дело вместе с полицмейстером. Миротворить не извольте.

Далее разговаривать, я знал, что было нечего, а потому поклонился и вышел.

В канцелярии я в самом деле нашел полицмейстера, косоного, рябого подполковника. В полной форме, с перетянутой шарфом талией и держа в обеих руках каску, стоял он и серьезнейшим образом смотрел, как писец записывал ему предписание в исходящую.

— Что это такое за дело? — спросил я его.

— Деньги в Приказе пропали; бухгалтер цапнул.

— Но с какой же стати? Он, сколько я его знаю, честный человек.

— Понадобились, видно, — отвечал полицмейстер, засовывая предписание за борт мундира. — Поедемте, однако, — прибавил он.

Я пошел. Мне всегда этот человек был противен, но в настоящую минуту просто показался страшен. Он посадил меня к себе на пролетку, и пожарная пара понесла нас марш-марш.

Сзади за нами попрежнему скакал жандарм.

— Барынька тут одна была. Он с ней снюхался и всыпал за нее в Приказ деньги графа Араксина! — объяснил мне коротко полицмейстер.

— Где ж она теперь?

— Да она-то ладила было прямо из деревни в Питер махнуть. На постоялом дворе уж я ее перехватил. Сидит теперь там под караулом.

Перед маленьким деревянным домом полицмейстер велел остановиться. Отворив наотмашь калитку, он прошел по двору и на деревянном прирубном крыльчике начал стучать кулаком в затворенную дверь. Ее отворила нам впотьмах баба-кухарка.

— Дома барин? — спросил полицмейстер.

Она что-то такое мыкнула нам в ответ. Полицмейстер, так же нецеремонно отворивши и следующую дверь, вошел в темное зальцо.

— Вставайте, от губернатора к вам приехали! — сказал он громко.

В соседней комнате что-то зашевелилось... шаркнулась спичка и загорелась синевато-бледным пламенем: Иосаф, босой, с растрепанными волосами и накинув наскоро халатишко, вставал... дрожащими руками он зажег свечку и вытянулся перед нами во весь свой громадный рост. Я почти не узнал его, до того он в последнее время постарел, похудел и пожелтел.

Надобно сказать, что и до настоящей ужасной минуты мне было как-то совестно против него. Служа с ним уже несколько лет в одном городе, я видался с ним чрезвычайно редко, и хоть каждый раз приглашал его посетить меня, но он отмалчивался и не заходил. Теперь же я решительно не знал, куда мне глядеть. Иосаф тоже стоял с потупленными глазами.

— Там барыня одна показала, что вы внесли за нее в Приказ деньги графа Араксина, — начал полицмейстер прямо.

— Где же она теперь-с? — спросил Иосаф вместо всякого ответа.

— Она здесь... теперь только вам надо дать объяснение, что вы действительно внесли за нее. Она этот долг принимает на себя.

— Как же это она принимает? — спросил опять Иосаф.

— Так уж, принимает, пишите скорее! Вот тут и чернильница есть, — проговорил полицмейстер и, оторвавши от предписания белой полулист, положил его перед Иосафом.

Тот с испугом и удивлением смотрел на него. Как мне ни хотелось мигнуть ему, чтобы он ничего не писал, но — увы! — я был следователем, и, кроме того, косою глаз полицмейстера не спускался с меня.

— Пишите скорее! Губернатор дожидается, — сказал полицмейстер спокойнейшим голосом.

Иосаф взялся за перо. Полицмейстер продиктовал ему в формальном тоне, что он, Ферапонтов, действительно деньги графа Араксина внес за Костыреву. Иосаф написал все это нетвердым почерком. Простодушью его в эту минуту пределов не было.

— Ну, вот только и всего, — проговорил полицмейстер, засовывая бумагу в карман. — Теперь одевайтесь!

— Куда же-с? — спросил Иосаф.

— Куда уж повезут, — отвечал полицмейстер.

Иосаф начал искать свое платье; на глазах его видны были слезы. Я не в состоянии был долее переносить этой сцены и вышел; но полицмейстер остался с Ферапонтовым и через несколько минут вывел его в шинеле и теплой нахлобученной фуражке. Выходя из комнаты, он захватил с собою свечку и, затворив двери, вынул из кармана сургуч, печать и клочок бумаги и припечатал ее одним концом к косяку, а другим к двери.

— Вот так пока будет; осмотр завтра сделаем. Горлов! — крикнул он.

К крыльчику подъехал жандарм.

— Спешься и отведи вот их в острог! — проговорил полицмейстер, указав головой на Иосафа.

Что-то вроде глухого стона вырвалось из груди того.

Солдат слез с лошади.

— Привяжи его поводом за руку и отведи.

Солдат стал исполнять его приказание. Иосаф молча повиновался, глядя то на меня, то на полицмейстера.

— Позвольте мне по крайней мере лучше отвести господина Ферапонтова! — сказал я.

— Нет-с, так от губернатора приказано, — отвечал полицмейстер. — Отправляйся! — крикнул он на жандарма, и не успел я опомниться, как тот пошел.

Иосаф и лошадь последовали за ним.

— Зачем же это так приказано? — спросил было я; но полицмейстер не удостоил даже ответом меня и, сев на свои пролетки, уехал.

Я невольно оглянулся вдаль: там смутно мелькали фигуры Ферапонтова, жандарма и лошади. «Господи! Хоть бы он убежал», — подумал я и с помутившейся почти головой от того, что видел и что предстояло еще видеть, уехал домой.

XIII

По делу Ферапонтова, под председательством полицмейстера была составлена целая комиссия: я, стряпчий и жандармский офицер.

Часов в десять утра мы съехались в холодную и грязную полицейскую залу и уселись за длинным столом, покрытым черным сукном и с зеркалом на одном своем конце. Занявши свое председательское место, полицмейстер стал просматривать дело. Выражение лица его было еще ужаснее, чем вчера.

Стряпчий, молодой еще человек, беспрестанно покашливал каким-то желудочным кашлем и при этом каждый раз закрывал рот рукою, желая, кажется, этим скрыть весьма заметно чувствуемый от него запах перегорелой водки. Жандармский офицер модничал. Я взглянул на некоторые бумаги — это были показания, отобранные полицмейстером в продолжение ночи от разных чиновников Приказа, которые единогласно писали, что Ферапонтов действительно в тот самый день, как принял деньги от бурмистра, внес и за Костыреву. Дело таким образом бедного подсудимого было почти вполнину уже кончено.

Через полчаса тяжелого и неприятного молчания рука в жандармской рукавице отворила одну из дверей, и в

нее вошел Иосаф, совсем уже склоченный и с опавшим, до худобы тупа, лицом.

Полицмейстер не обратил на него никакого внимания. Иосаф прямо подошел к столу.

— Все, что я-с вчера писал, неправда! — проговорил он заметно насильственным голосом.

— Будто? — спросил полицмейстер, не поднимая ни головы, ни глаз.

— Я денег за госпожу Костыреву не вносил, — продолжал Иосаф.

— Зачем же вы вчера это говорили?

— Я испугался-с.

— Кого же вы это испугались? Мы вас не пугали.

— Я сам испугался.

— Нехорошо быть таким трусливым! — проговорил полицмейстер и позевнул. — Куда ж вы, если так, бурмистровы-то деньги девали? — прибавил он.

— Я их потерял-с.

— Да, потеряли. Это другое дело! — произнес полицмейстер, как бы доверяя словам Иосафа. — Отойдите, однако, немножко в сторону! — заключил он и сам встал. Иосаф отошел и, не могши, кажется, твердо стоять на ногах, облокотился одним плечом об стену.

Полицмейстер подошел между тем к другим дверям.

— Пожалуйте! — сказал он, растворяя их.

В залу тихо вышла Костырева, в черном платье, в черной шляпке и под вуалью. По одному стану ее можно уже было догадаться, что это была прелестная женщина. Жандармский офицер поспешил пододвинуть ей стул, на который она, поблагодарив его легким кивком головы, тихо опустилась. Я взглянул на Иосафа; он стоял, низко потупив голову.

— Примите у них шляпку, — сказал полицмейстер жандармскому офицеру.

— Madame, permettez¹, — сказал тот Костыревой.

Она, как это даже видно было из-под вуаля, взглянула на него своими прекрасными глазами, потом развязала неторопливо ленты у шляпки и сняла ее. Скорее ребенка можно было подозревать в каком-нибудь уголовном преступлении, чем это ангельское личико!

¹ Позвольте, сударыня, (франц.).

— Какого вы звания и происхождения? — спросил полицеймейстер, кладя перед собой заготовленные уже заранее вопросы пункты.

— Я из Ковно, — отвечала Костырева.

— Я вас спрашиваю, — какого вы звания по отцу и матери? — повторил полицеймейстер.

Эмилия заметно сконфузилась.

— Я, право, и не знаю; мать моя занималась торговлей.

— То есть она содержала трактирное заведение?

— Я не знаю этого хорошенько; я была так еще млада.

— Как вы не знаете, когда вы сами за конторкой стояли?

Костырева только посмотрела на него: на глазах ее заискрились слезы.

— Я не стояла ни за какой конторкой, — проговорила она.

— Не стояли? — повторил полицеймейстер.

— К чему вы делаете подобные расспросы, которые к делу совершенно лишние? — вмешался я.

Полицеймейстер удостоил только на минуту кинуть на меня свой косой взгляд.

— Вы думаете? — произнес он своим обычным подлым тоном и потом сейчас же свистнул.

В залу, гремя шпорами и саблей, проворно предстал другой уж, а не вчерашний жандарм.

— Позови сюда малого того! — сказал полицеймейстер.

— Слушаю, ваше высококородие, — крикнул жандарм и крикнул так, что даже Иосаф вздрогнул и взглянул на него.

Через минуту был введен казачок — лакей Костыревой.

— Вот бывшая твоя барыня, когда была девицей, стояла ли в трактире за прилавком? — обратился к нему полицеймейстер.

У Костыревой загорелось лицо сначала с нижней части щек, потом пошло выше и выше и, наконец, до самого лба.

Малый тоже несколько позамялся.

— Так как тоже тем временем проживали мы с господином моим в номерах их, оне занимались этим, — отвечал он с запинкой.

— Как же вы говорите, что нет? — кротко спросил полицмейстер Костыреву.

— Господин полковник! Вы ставите меня на одну доску с моими лакеями, — проговорила она и закрыла глаза рукою.

— Зачем же вы отпустили его на волю? Вы думаете, что он из благодарности и скроет все. Ничего ведь не утаил: все рассказал! Пошел ты на свое место! — прибавил он малому.

Тот сконфуженным шагом вышел из залы.

Я нечаянно взглянул в это время на Иосафа. Он стоял, уже не понурив голову, а подняв ее и вперив пристальный и какой-то полудикий взгляд на Костыреву. Она же, в свою очередь, всего более, кажется, и опасалась, чтобы как-нибудь не взглянуть на него.

— А скажите, что за история у вас была по случаю вашего замужества за господина Костырева? — продолжал полицмейстер.

У Эмилии задрожали губки, щечки, брови и даже зрачки у глаз. Несколько минут она не могла ничего отвечать.

— Господин полковник! вы, кажется, хотите только оскорблять меня, и потому позвольте мне не отвечать вам.

Полицмейстер пожал только плечами.

— Хуже же ведь будет, если я опять стану расспрашивать при вас вашего лакея. Наконец, я уж и знаю все, и скажу вам, что вы и ваша матушка подавали на господина Костырева просьбу, что он соблазнил вас и что вы находитесь в известном неприятном для девушки положении. Его призвали в тамошнюю, как там называется, полицию, что ли? понапугали его; он дал вам расписку, а потом и исполнил ее. Так ли?

Костырева с вытянутыми судорожно руками, опустив головку и только по временам поднимая, как бы для вдоха, грудь, скорее похожа была на статую, чем на живую женщину.

— Так ведь? — повторил полицмейстер.

— Я говорила вам и повторяю еще раз, что не хочу и не буду отвечать вам.

— Еще только один маленький вопрос, — подхватил полицмейстер. — В каких отношениях вы проживали здесь с господином Бжестовским?

— Он был мой жених, — отвечала Костырева.

На этом месте я нарочно взглянул на Иосафа. Он по-прежнему стоял, не спуская с Костыревой совершенно как бы бессмысленных глаз.

— Отчего же вы выдавали его за брата? — продолжал полицмейстер.

— Я не хотела этого ранее говорить, так как жила с ним в одном доме и могла пройти худая молва.

— Да, конечно! худая молва для женщины хуже всего! — произнес полицмейстер. — Вы обвенчались, однако, с господином Бжестовским тотчас, как имение ваше было выкуплено.

— Да!

— Это, господин Ферापонтов, вы устроили их свадьбу, внося за них в Приказ! Настоящим их посаженным папенькой были, а то без этого господин Бжестовский, вероятно, и до сих пор оставался бы вашим братом! — говорил полицмейстер, обращаясь то к Иосафу, то к Костыревой.

— Я внесла свои деньги, — проговорила та тихо.

— Как свои-с? — отозвался вдруг Ферапонтов. — Как свои-с? — повторил он.

Полицмейстер не ошибся в расчете, расспрашивая при нем Эмилию об разных ее деяниях. Бедный, простодушный герой мой рассердился на нее, как ребенок, и, видимо, уже не хотел скрывать ее.

— У меня есть свои семьсот рублей. Я заплачу их бурмистру, остальные пусть он с них спрашивает! — прибавил он, обращаясь к полицмейстеру.

— Никаких я ваших денег не знаю и не видала, — проговорила Костырева.

— Не видали вы? — проговорил Иосаф, покачав головой. — Что же, разве я сумасшедший был, чтоб сделать это... Во сне не снилось, что вы не заплатите, а тут вдруг уехали... Я ни одной ночи после того не спал... писал... писал. Спрашивал, что же вы со мной делаете, так хоть бы слово написали.

— Что ж мне было отвечать на ваши странные письма? — проговорила Эмилия.

— Чем же странные!.. Ах, вы обманщица после того, коли так... В усадьбу потом как приехал, так и в ворота не пустили... потихоньку уж как-нибудь хотел пройти... тогда и не понял, а теперь, узнавши вас, все вижу: со-

баками было затравили — двух бульдогов выпустили, а за что все это...

На этом месте Иосафа прервал вошедший квартальный.

— Госпожу Бжестовскую к губернатору, ваше высококородие, требуют, чтобы их не спрашивали здесь, а к ним чтобы-с... — отрапортовал он полицмейстеру.

У того несколько раз подернуло лицо, и он быстро взглянул своим косым глазом на Эмилию. Она сидела, закусив губки, чтобы как-нибудь только удержаться от рыданий.

— Угодно ехать? — спросил ее полицмейстер, заметно уже более вежливым тоном.

Она, ни слова не ответив ему, взяла шляпку из рук жандармского офицера, опять поспешившего ей подать ее, торопливо пошла в прежние двери, из полурастворившейся половинки которой виднелась молодцеватая фигура Бжестовского. Он поспешил подать жене салоп, и оба они скрылись. Квартальный тоже последовал за ними.

Полицмейстер, видимо, остался сконфужен, как дикий зверь, у которого убегала из рук добыча.

— Вы подтверждаете ваше показание? — спросил он у Иосафа.

— Все-с, от слова до слова! — отвечал тот с лихорадочным блеском в глазах.

— Можете, значит, идти, — сказал полицмейстер и свистнул.

Опять явился жандарм.

— Отведи господина Ферাপонтова, откуда привел.

— Слушаю, ваше высококородие! — крикнул и на этот раз солдат.

Иосаф, ни на кого не взглянув, пошел.

— На сегодня довольно, — объявил нам полицмейстер и, собрав бумаги, взялся за каску.

Мы тоже взяли шляпы и разъехались.

XIV

На другой день я, зная, что с губернатором на словах и говорить было нечего, решил написать к нему рапорт... Все еще, видно, я молод тогда был и не совсем хорошо ведал тех людей, посреди которых жил и

действовал, и только уже теперь, отдалившись от них на целый почти десяток лет, я вижу их перед собою как бы живыми, во всем их страшном и безобразном значении. Я писал, что дело Феррапонтова нельзя производить таким казенным, полицейским образом, что он не вор и, видимо, что тут замешана или сильная страсть с его стороны, или вопиющий обман со стороны лиц, с ним участвующих. То и другое вызывает на милосердие к нему. Что можно, наконец, написать к графу Араксину, который, если только он хотя сколько-нибудь великодушный человек, не станет, вероятно, искать своих денег. Тут, однако, меня прервали и сказали, что ко мне жандарм пришел. Я велел его позвать к себе. Это был опять уже не вчерашний, а какой-то третьего сорта солдат, и совсем уж, кажется, дурак.

— Бумагу, ваше благородие, подписывать подьте в острог! — приказал он мне.

— Какую бумагу?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Да кто тебя послал сюда?

— Из острога, ваше благородие, господин полицмейстер послал.

— Что же, сам он там?

— Тамо-тко, ваше благородие. Сейчас пригнал туда.

— Верно, там что-нибудь случилось?

— Не могу знать, ваше благородие.

Я только махнул рукой и поспешил поехать. Тяжелое предчувствие сдавило мне сердце.

Приехавши в острог, я, прямо через караульную, прошел в дворянское отделение. Там перед одной из камор, у отворенных дверей, стояла целая толпа арестантов и с любопытством глазела туда. Пробравшись через них, я первое что увидел — это на самой почти середине довольно темноватой комнаты, на толстом крюке, висевшего Иосафа, с почернелым и несколько опущенным вниз лицом, с открытым ртом, с стиснутыми зубами, с судорожно скорченными руками и с искривленными как бы тоже в судорогах ногами. Повесился он на трех-четырёх покрывках простыни, из которых он свил веревку.

На столе перед свечкой сидел в шинеле и с своей ужасной физиономией полицмейстер и писал.

— Удавился! — сказал он мне совершенно спокойным тоном, показывая глазами на труп.

— Это вы его довели, — сказал я.

— Будто! — произнес обычную свою фразу полицмейстер. — Он сам пишет другое, — прибавил он и подал мне составленный им протокол, в котором, между прочим, я увидел белый лист бумаги, на которой четкой рукой Иосафа было написано: «Кладу сам на себя руки, не столько ради страха суда гражданского, сколько ради обманутой моей любви. Передайте ей о том».

— Снять покойника и стащить его в сторожку! Там потрошить-то будут! — распорядился полицмейстер.

Вошли служители с лестницей, из которых один придержал ее на себе, а другой влез на нее и без всякой осторожности перерезал ножом полотняную веревку. Труп с шумом грохнулся на землю. Солдат, державший лестницу, едва выскочил из-под него. Я поспешил уйти. Полицмейстер тоже вскоре появился за мной.

— Дело наше, значит, кончено, — сказал он.

— А как же Бжестовские? — спросил я.

У полицмейстера совсем уж скосились глаза.

— Они еще вчера уехали. Сам губернатор отпустил их! — отвечал он.

— Как отпустил?

— Так. Часа четыре она была у него на допросе. Видно, во всем оправдалась! — отвечал полицмейстер, улыбаясь перекошенным ртом.

Приехавши домой, я действительно нашел губернаторское предписание, которым мне давалось знать, что дело Ферапонтова, за смертью самого преступника, кончено, а потому я могу обратиться к другим занятиям.

Мне, признаться, сделалось не на шутку страшно даже за самого себя... Жить в таком обществе, где Ферапонтовы являются преступниками, Бжестовские людьми правыми и судьи вроде полицеймейстера, чтобы жить в этом обществе, как хотите, надобно иметь большой запас храбрости!

БАТЬКА

Рассказ

I

Я как теперь вижу перед собой нашу голубую деревенскую гостиную. На среднем столе горят две свечи. На одном конце его сидит матушка, всегда немного чопорная, в накрахмаленном чепце и воротничках и с чулком в руке. Отвортясь от нее, сидит на другом конце покойный отец. Он, видимо, в дурном расположении духа и беспрестанно закидывает в сторону, на печку, свои серые навывкате глаза. Я... мне всего лет двенадцать... забрался в углу на мягкое кресло и сижу погруженный в неведомые самому для меня мысли. Прямо против меня отворенная дверь в залу. Оттуда только и слышится, что ровное пощелкивание маятника стальных часов, и навевает на вас чем-то грустным и печальным. Вдруг раздался тихий скрип половиц. Не знаю, отчего у меня как-то болезненно замерло сердце. Это входил своей осторожной походкой наш, самый богатый из всей вотчины фомкинский мужик Михайло Евплов, старик самой почтенной наружности, всегда ходивший несколько брюхом вперед, с низко-низко опущенной пазухой, совсем уж седой, с густо нависшими бровями и с постоянно почти опущенными в землю глазами, всегда с расчесанной головой и бородой, всегда в чистом решменском кафтане и не в очень грязных сапогах. Даже руки у него были какие-то белые, нежные, покрытые только небольшими

веснушками, точно он никогда никакой черной работы и не работал. Будучи верст на тридцать единственным мясным торговцем, Михайло Евплов вряд ли в околотке был не известнее, чем мой покойный отец, так что тот иногда в шутку говаривал своим знакомым: «Честь имею рекомендоваться, я Михайла Евплова барин».

В нашем небогатом деревенском хозяйстве, сколько я теперь могу припомнить, Михайло был решительно благодетельным гением: случалась ли надобность отдать в работники пьянчужку-недоимщика, Михайло Евплов брал его к себе и уж выжимал из него коку с соком, приходила ли нужда в деньгах, прямо брали их взаймы у Михайла Евплова, нужно ли было отправить рекрутство, подать ревизские сказки, Михайло Евплов ехал, хлопотал, исполнял все это аккуратнейшим образом, не получая себе за то никакого возмездия, а напротив того, платя чуть ли еще не в полтора раза более против других оброка. На этот раз вслед за ним вошел сын его Тимка, совсем рабочий малый, лет двадцати двух, подслеповатый, нескладный, словно из какого-нибудь сучковатого дерева сделанный, и с год перед тем только что женившийся. Батька, говорят, лет еще с десяти начал заставляя его бить скотину и теперь постоянно мórмя-морил на работе. Войдя в комнату, Тимка прямо, не поднимая ни головы, ни глаз, как-то механически поклонился матушке в ноги. Та потупилась и повела только рукою, желая тем показать, чтобы он этого не делал. Тимофей перешел и поклонился отцу в ноги. Тот отвернулся от него и окончательно закинул глаза на потолок.

— Что, поучили? — спросил он несколько дрожащим голосом.

Тимофей ничего не отвечал, а молча отошел и встал несколько поодаль от батьки.

— Поучили, кажется, хорошо... Не знаю только, поймет ли то, — проговорил Михайло Евплов грустным тоном.

— Это за то тебе... — продолжал покойный батюшка (голос его не переставал дрожать), — за то, что не смей поднимать руки на отца. Не прав он, бог с него спросит, а не ты...

Михайло Евплов вздохнул на всю комнату.

— Мало они что-то это разумеют, в каждом пустяке только и ладят, что нельзя ли как отцу горло пере-

есть... — сказал он и еще грустнее склонил голову на сторону.

— Ну, Михайло Евплов! — вмешалась в разговор уж матушка, — трудно тоже, как и тебя посудить? старший сын у тебя охотой в солдаты пошел, второй спился да головой вершил, наконец и с третьим то же выходит?

На последних словах она развела в недоумении руками.

Лицо Михайла Евптова сделалось окончательно умиленным.

— Ай, матушка, Авдотья Алексеевна! — воскликнул он почти плачущим голосом, — на все тоже божья власть есть: кто в детях находит утешенье, а кто и печали... Вы сами имеете дитя: как знать, худ ли, хорош ли он супротив вас будет.

Матушка вспыхнула.

— Ну, моего дитя ты привел тут напрасно... совершенно напрасно! — сказала она и сердито понюхала табаку.

Михайло Евплов тоже сконфузился, видя, что, не думая и не желая того, он проврался.

— Это точно что-с... — проговорил он и переступил с ноги на ногу.

— Ежели ты опять то же будешь делать, опять тебе то же будет!.. — обратился покойный отец снова к парню, гораздо уже подобнее, но все еще, видно, желая втолковать ему, что он виноват.

Парень пораспустился.

— Мне бы, бачка Филат Гаврилыч, в раздел охота иди-с! — произнес он каким-то необыкновенно наивным голосом.

Все мускулы в лице отца подернуло. Я видел, что он страшно вспылил.

— Не позволят вам того! — больше прошипел он, чем проговорил, между тем как щеки и губы его дрожали, — казенным крестьянам велят делиться? велят? — спрашивал он, обращая на парня страшный взгляд.

Михайло Евплов грустно усмехнулся.

— Да прикажите, пускай попробуют... мякины-то отродясь не едали, а тут, может, и отведают... Теперь какой-нибудь овинишко в двадцать снопов с своей благоверной измолотят, лопать-то придут, в чашку валят, сколько только чрево стерпит.

— Что ж ты их куском уж хлеба попрекаешь? — вмешалась в разговор опять матушка.

Михайло Евплов сейчас же переменил тон.

— Не попрекаю я, сударыня, нет-с! — отвечал он кротко, — ни в чем им от меня запрету нет: ни в пище, ни в одежде, ни в гуляньях. Пусть скажут, в чем им, хоть сколько ни на есть, от меня возбранено.

— Ну да! В чем вам от него возбранено? — повторил за ним и отец.

Тимофей жалобно и стыдливо посмотрел на него.

— Не могу я, батка, про то сказывать-с! — отвечал он и как-то странно засеменил руками.

— Отчего не сказывать? — говори! — сказал отец настойчиво.

Михайло Евплов как будто бы слегка вспыхнул.

— Выдумать да наболтать, пожалуй, всяких пустяков можно... — произнес он.

Тимофей молчал.

Матушка на этом месте встала и вышла. Отцу тоже, видно, была не совсем легка эта сцена.

— Ну ступайте! — сказал он, закидывая, по обыкновению, глаза в сторону.

Михайло Евплов, однако, не трогался. Он, кажется, переждал, чтобы первый пошел сын. По лицу Тимки мне показалось, что он хотел что-то сказать, но не смел ли, или не хотел этого сделать, только круто повернулся и пошел.

— Вы уж, батюшка, сделайте милость, прикажите, чтоб и супружница его слушалась и не фыркала... — сказал Михайло Евплов.

— Чтоб и супружница слушалась — слышь! — повторил отец, грозя Тимке пальцем.

Но тот ничего не отвечал, и я слышал, что он сердито хлопнул в лакейской дверями.

Михайло Евплов постоял еще несколько времени, покачал в раздумье головой и проговорил:

— Такой этот нынче молодой народ стал, что срам только один с ним.

Но, видя, что отец ничего ему не отвечает, он тоже повернулся и пошел, — но залу стал проходить медленно, неторопливо и все точно к чему-то прислушиваясь.

Прошло времени недели с две. Мы ужинали. Отец (он все это время был заметно в дурном расположении духа и теперь кидающий то туда, то сюда свой беспокойный взгляд) вдруг побледнел и, проворно вставая, проговорил:

— Фомкино горит!

Мы взглянули по направлению его глаз: все наши окна были залиты заревом.

— Батюшка, может быть, это овин! — хотела было успокоить его матушка.

— Вся деревня, сударыня, в огне!.. Выдумала!.. лошадь мне! — кричал старик, проворно сбрасывая с себя халат.

Матушка сама стала ему подавать одеваться: горничная прислуга вся уж разбежалась по избам, чтобы поразузнать и поохать насчет пожару. В залу вошел наш приказчик Кирьян, со своей обычной, не совсем умной и озабоченной рожой, и теперь совсем опешивший от страху.

— В Фомкине несчастье-с! — проговорил он.

— Людей туда!.. Лошадь мне! — говорил батюшка, застегивая дрожащими руками свой полевой чепан.

Мне тоже захотелось съездить на пожар.

— Папаша, возьми меня! — запросился я.

— Перестань, паценок! — прикрикнул было на меня старик.

Но я не отставал:

— Папаша, возьми!

— Ах ты!.. Ну, поезжай!

Он вообще любил несколько геройские с моей стороны выходки; но матушка напротив.

— Алексей, что ты хочешь со мной делать?.. Пощади ты меня хоть сколько-нибудь! — сказала она в одно и то же время строгим и умоляющим голосом.

Но я уже почти не слышал ее: выбежав на улицу и видя, что поваренок Гришка вел оседланную лошадь, я отнял ее у него и сейчас же на нее взгромоздился. Со стороны от Фомкина слышался наносимый ветром беспорядочный звон набатного колокола. Через несколько минут привели и отцу беговые дрожки. Точно молоденький мальчик, он проворно, хоть и тяжело, опустил на них. Человек шесть дворовых людей было около нас верхами. На крыльце появилась матушка.

— Возьмите неопалимую купину, что вы, на кого надеетесь? — сказала она.

Кирьян подъехал к ней и, приняв у нее образ, положил его, перекрестясь, за пазуху. Пока мы съезжали со двора, матушка не переставала нас крестить вслед. Проехать нам надобно было версты две-три лесом. Ночь была осенняя, темная. Несмотря на колеи и рытвины, отец погнал свою лошадь что есть духу. Мы скакали за ним. По всем направлениям от нас раздавался топот наших лошадей и слышались шлепки летевшей из-под копыт их грязи. Рядом же с нами и нисколько не отставая, бежал вприпрыжку спешенный мною с лошади Гришка-поваренок и бежал, надобно сказать, сохраняя ужасно гордый вид, который был дан ему как бы от природы, вследствие покривленного в детстве позвоночного столба.

— Агу — агу его! — травил его кучер Петр, доставая в спину ветвиной.

— Это он на дымок бежит... поварская душонка: услышал, что гарью-то пахнет, — заметил ткач Семен.

По другую сторону дороги шел более солидный разговор.

— В сеннике у Евплова загорелось и пошло, братец ты мой, вить, боже ты мой! — говорил Кирьян.

— Ишь ты, поди, где греху-то быть! — отвечал ему на это басом и со вздохом другой голос.

Набат становился все слышнее и слышнее. Сколько ни печальное ожидало нас впереди зрелище, но при этом быстром скаканье на лошади, в глухую ночь, в лесу, при этом хлопанье воротец, которые кучер Петр на всем маху, не слезая с лошади, отворял и так же быстро отпускал их, мое детское сердце исполнилось какой-то злобной радостью: мне так и хотелось битв, опасностей и побед. При въезде в открытое поле — первое, что представилось нам, — это стоявшая несколько поодаль от селения, на совершенно темном фоне, белая церковь, освещенная пожаром до малейших архитектурных подробностей и с блистающими красноватым светом главами и крестами. Пламя выходило почти из половины деревни и, склоняемое ветром, уже зализывало огромными языками близстоящие к нему строения. Вверху над всем этим клубился сероватый дым, в котором летали чего-то огненные куски и кружились какие-то белые птицы. В самом селении перед пламенем мелькали черные фигуры му-

жиков и баб. Отовсюду слышался шум и гам, сливавшийся со звоном колокола. Сидевшие около вынесенных на середину улицы пожитков старухи и ребятишки выли и ревели. Выгнанная из хлевов скотина: коровы и лошади, все столпились в кучку и, заметно под влиянием какого-то непонятного для них страха, прижались к церковной ограде, — одни только дуры-овцы, тоже скучившиеся в одно стадо и кинувшиеся было сначала прямо на огонь, но шугнутые оттуда двумя-тремя взвизгнувшими бабенками, неслись теперь далеко-далеко в поле. Перед сгоревшим почти уже вполовину домом Михайла Евплова была целая толпа людей, и они не унимали пожара, а на что-то такое друг через дружку заглядывали, и несколько голосов говорило: «Полно!.. перестань!.. старый!» Посреди всего этого раздавалось: «Пустите!.. пустите!»

Мы быстро подъехали: это Михайло Евплов рвался из рук двух наших мужиков. Спокойной наружности в нем и следа не оставалось: он был в одной разорванной рубашке, босиком, с обезумевшими глазами и с опаленными, всклоченными волосами.

— Что такое? — спросил отец.

— В огонь рвется; сгореть хочет, — отвечал один из мужиков. — О дьявол, какой здоровый, — прибавил он, грабаздая снова старика за ворот, который тот было у него вырвал.

— Оттащите его подальше, в лес, — приказал отец.

— Батюшка, пусти!.. пусти!... — кричал Михайло Евплов.

Но мужики его потащили. Сделав еще раз тщетное усилие вырваться у них, он завопил, как дикий зверь, и вцепился зубами в собственную руку — кровь фонтаном брызнула из-под его рта и усов. Мужики отвели ему эту руку назад за спину и продолжали его тащить.

— Батюшки! У Матрены Лукояновны уж загорелось! — раздался пронзительный женский голос.

Все бросились туда.

Покойный отец тоже проворно соскочил с дрожек и потом — уж я не знаю, как это и случилось при его полноте — вдруг очутился на крыше этой самой избы.

— Снимайте кафтаны, мочите их и давайте сюда! — командовал он оттуда.

Первый бросился ему помогать самый бедный из всей

деревни мужик Спиридон, по фамилии Кутузов. Собственная изба его давно уже сгорела, и он, кажется, из нее и вынести ничего не успел, но, несмотря на то, несколько не потерявшись, начал он усерднейшим образом подавать воду, понукать и ругать других мужиков и особенно баб, что-нибудь не по-его или не проворно делавших.

Кирьян между тем достал из-за пазухи неопалимую купину и, взяв ее на руки, как обыкновенно носят иконы, стал с нею обходить еще незагоревшуюся часть селения. Вдруг пламя из косога направления приняло прямое, поколебалось несколько минут и снова склонилось, но уже в поле, в сторону, противоположную от деревни.

— Господи! полымя-то на лес пошло!.. царица небесная! — заголосили бабы.

Мужики только молча перекрестились. Отец, молодецато и скрестивши руки, стоял на крыше. Я же и Кутузов бог уж знает для чего, ухвативши — он с одного конца багром, а я с другого кочергой, тащили горящее бревно. Оно, наконец, рухнуло и жестоко ударило одну бабу по боку, так что она кувыркнулась и не преминула нам объяснить: «Ой, дьяволы, лешие экие!» Бревно порядком задело и меня, так что я едва выцарапал из-под него ноги. Правая штанина у меня загорелась, и, только уж плюя на нее и обжегши все себе руки, я успел ее потушить. Все это видевший с крыши отец побледнел.

— Ступай, глупой мальчишка, домой! — закричал он, заскрежетав зубами.

Я было вздумал отпрашиваться.

— Мать беспокоится, а он тут... Петр, отведи его домой! — говорил старик, выходя из себя и грозя мне кулаками.

— Поедемте, судырь! Что тут барчику делать! — посоветовал мне и Петр.

Я, делать нечего, взмогился на своего коня и отправился. Петр последовал за мной. Я всегда любил бывать с этим человеком за его веселый и разговорчивый характер.

— Что, Михайло Евплов плачет еще? — спросил я его.

— Поуняли маненько, поукачали... раза три в огонь-то врывался: все хотелось кубышку-то с деньгами выцарапать.

— А много денег у него было?

— Много, черт его дери, накопил... тысяч десять, говорят, было...

— А сын его Тимка — тоже плачет?

— Да, тут тоже присутствует, — отвечал Петр, — только слез-то не больно что-то видать у него, — прибавил он как бы в некотором размышлении.

Я дал шпоры лошади и поскакал марш-марш.

— Тише, тише, барин! Право, маменьке скажу! — говорил Петр.

Но я знал, что он не скажет.

Матушка нас встретила только что не на крыльце.

— И не стыдно тебе, не грех так меня мучить? — сказала она.

Я поспешил поцеловать у ней руку и стал ей представлять почти в лицах, как огонь горел, как Михайло Евплов плакал.

— Ну, не говори... будет! — произнесла она, махая мне рукой и сама готовая почти разрыдаться.

Видневшееся из наших окон пламя все становилось меньше и меньше. Через час после того приехал и отец. Загрязненный, залитый почти с ног до головы водой и чем-то, должно быть, еще более раздраженный, он шумно вошел в залу. Вслед за ним поваренок Гришка, вспотевший, как мокрая мышь, и с закоптелым лицом Кирьян ввели под руки Михайла Евплова. Он был в чем-то чужом полушубчике, весь дрожал; рука и лицо его были в крови.

— Посадите его тут! — сказал отец.

— Его надобно напоить чаем или мятой: он весь продрог! — сказала матушка.

Несчастный старик замотал головой.

— Нет, матушка: водочки дай! дай водочки! — говорил он.

Матушка поспешно пошла и сама принесла ему целый стакан.

Михайло Евплов выпил его дрожащими губами из ее рук. Она после того хотела было подать ему кусок пирога, но он молча отвел его руками.

— Сведите его в людскую, да чтобы он не сделал там чего-нибудь над собой — я с тебя спрошу, — сказал отец Кирьяну.

Тот с Гришкой хотел было поднять Михайла, но он не дался им и повалился отцу в ноги.

— Батюшки, благодетели мои! не оставьте меня, несчастного! — стонал он.

— О старый дурак! Сказано, что не оставят — бога только гневит, — вспылил отец, между тем как у него у самого текли по щекам слезы.

— И ее, злодейку, накажите, и ее! — бормотал Михайло Евплов, ползая по полу и хватая отца за ноги.

— И ее накажут! Отведите его! — говорил тот, едва сдерживая себя.

Гришка и Кирьян подняли, наконец, бедного старика и увели.

Меня вскоре после этого послали спать, но я долго еще слышал из своей маленькой комнаты, что отец и мать разговаривали.

— Поджог! — говорил тот своим отрывистым тоном.

— Господи помилуй! — восклицала на это матушка.

— Невестушка... сынок... — повторял несколько раз отец.

— Боже ты мой, царица небесная! — говорила матушка.

III

Проснувшись на другой день поутру, я услышал по всему дому какое-то шушуканье и торопливую хлопотню. Гришка-поваренок, между прочею своею службою обязанный меня одевать, пришел, по обыкновению, с сапогами в руках и с глупо форсистой рожей остановился у косяка.

— Что там такое шумят? — спросил я его.

— Папенька ваш в город уехали-с, — отвечал он, почему-то еще гордее поднимая голову.

Я всегда был очень доволен, когда отец куда-нибудь уезжал: его суровость, его желчное и постоянно раздраженное состояние духа, готовое каждую минуту вспыхнуть, пугали меня, а потому и на этот раз, исполнившись мгновенно овладевшим мною восторгом, я начал перевертываться на постеле на спину, на грудь и задрыгал ногами, приговаривая:

— Зачем он уехал, зачем?

— Не знаю-с, — отвечал Гришка и, наскучив, вероятно, стоять передо мной, сдернул с меня одеяло и урезонивал меня:

— Перестаньте баловать-то!.. Надевайте сапожки-то!.. Мне стряпать пора.

— Я сегодня приду к тебе в кухню, приду... приду... — напевал я.

— Я сегодня не в кухне стряпаю, а у бабушки Афимьи, — отвечал Гришка и самолюбиво закинул свое рыло в сторону.

— А вот врешь, врешь, — перебил я его, думая, что он хочет только от меня отделаться.

— Право-с! — повторил Гришка. — В кухню-то Тимофея с хозяйкой под караул посадили, — прибавил он уже мрачным голосом.

— За что?

— Папенька приказали-с...

Последнее слово Гришка протянул.

— А Михайло Евплов где?

— В людской лежит... стонет таково на всю избу.

У меня вдруг пропала вся моя веселость; я молча оделся, молча и тихо вышел. В девичьей сидела наша старуха ключница Афимья и старательно-старательно пряла. Это было всегда признаком, что она до бесконечности злилась.

— Афимья! за что Тимофея с женой под караул посадили? — спросил я ее таинственно.

— Не знаю, судырь! — отвечала она явно укоризненным тоном.

— Ну вот; не может быть, скажи!

— Не знаю, батюшка... папенькина воля! — повторила она и вздохнула.

Семья Михайла Евплова приходилась ей сродни.

Я отправился на улицу. День был ясный, светлый, осеннее солнце грело точно средь лета; вновь подросшая на красном дворе после недавнего дождя трава свежо зеленела; в воздухе быстро и весело летали ласточки; более десятка сытых и лоснящихся на солнце лошадей гуляли на ободворке. Тимка с женой не выходили у меня из головы. Я решил подсмотреть, что они делают, и потихоньку вошел в кухонные сени, но там на дверях я увидел огромный замок: оставалось одно средство — заглянуть с улицы в окно, но я почему-то совестился это

сделать и придумал такого рода хитрость, что взмогился на близстоящие около кухни дроги, с которых все было видно, что происходило во внутренности избы: Тимка сидел у стола и смотрел в землю — в лице его, кроме обычной мрачности, ничего не выражалось. На другой лавке лежало что-то наглухо закутанное кафтаном. Я догадался, что это была жена его Марья. Мне сделалось страшно и почему-то показалось, что она умерла и что это был уже только труп ее. Я по крайней мере раз пять влезал на дроги, и в последний раз, наконец, скрылся и Тимка, и только по видневшимся его лаптям я понял, что и он тоже лег, но только вглубь, в куть избы. Между тем Марья не переменила своего положения, и это окончательно меня убедило, что она умерла. В страхе и не зная, с кем бы им поделиться, я несколько времени ходил по двору: людей, как всегда это бывало в летнее время, не было почти никого дома, все были на работе, и только из Афимьиной избы слышно было, что Гришка отчаянно рубил котлеты или начинку в пирог, выбивая ножами складно трепака. Я подошел к окну, которое было полурастворено и из которого валил дым и жар.

— Григорий, а Григорий? — повторил я несколько раз.

— Чего вам-с? — отозвался он, наконец, гордо высывая свою морду в окно.

— Там в кухне Марья лежит: не умерла ли уж она?

— Да с чего ей умереть?

— А что же она все лежит?

— Спит, чай, — отвечал он мне и самолюбивейшим образом повернулся и отошел от окна.

Я простоял на своем месте несколько времени, как опешенный, и за обедом решил, наконец, свое беспокойство сообщить матери.

— Маменька, Тимофея с женой под караул посадили: ну, как они там умрут? — сказал я.

Мать сначала посмотрела мне в лицо и потом, проговоря: «Какие ты глупости говоришь», сама вздохнула.

Тотчас же после стола я опять отправился на дроги и — не могу описать вам моего восторга — Марья больше уж не лежала, а сидела; красивое лицо ее было не столько печально, сколько измято, платок на голове несколько сбит, и рубашка на груди расстегнута.

«А что, Михайло Евплов жив ли?» — подумал я и прямо с дрог пошел в людскую. Изба эта, так как в ней

пеклись людские хлебы и варилось для дворовых варево, была самая жарко натопленная и постоянно почти пустая: в этот раз я в ней только и нашел, что десятка три мух, ползавших по столу и подъедавших оставшиеся тут крохи хлеба и квасные пятна. Я заглянул за перегородку. Там в зыбке лежал один-одинехонек полугодовалый сынишко стряпухи с поднятой почти до самого горла рубашонкой. Только что перед тем, вероятно, распеленанный, он с величайшим, кажется, наслаждением смотрел себе на кулачки и сгибал и разгибал свои ноженки. По веселому личику его тоже ползла муха, и он от этого только слегка поморщивался. Я согнал ему эту муху; он еще больше улыбнулся. По стоявшей на голбце кваснице я сообразил, что больной, должно быть, лежит на печке. Встав на нижнюю ступеньку, я потихоньку заглянул туда, но по темноте ничего не мог рассмотреть, и только оттуда сильно пахнуло квашней. Я поспешил слезть и уйти. Целый день я ходил как шальной, не зная, за что бы приняться и что бы начать делать. К вечеру моя детская фантазия еще более разыгралась, и когда меня уложили в постельку и оставили одного в комнате, мне стало и жаль арестантов, и в то же время я боялся их. «Они целый день ничего не ели, и теперь они лежат и им тошно!» — думал я, а потом мне вдруг представлялось, что Тимка непременно выломает окно, вылезет, возьмет топор и зарубит меня и маменьку. Страх этот во мне дошел до того, что я прислушивался к каждому, довольно отдаленному от меня хлопанью дверьми в девичьей, к малейшему шуму в лакейской, наконец, когда явно услышал, что в зале кто-то ходит, я не утерпел, вскочил и выглянул туда.

— Кто это? — произнес я почти обмирающим от ужаса голосом.

— Я это, батюшка, — отвечал мне голос.

Оказалось, что это Афимья пришла в зал молиться.

Я несколько поуспокоился и опять улегся...

IV

Часу во втором ночи тот же Гришка меня разбудил.

— Ступайте в теменькую комнату ночевать-с, — сказал он.

— Что... зачем? — спросил я спросонья и в испуге.

— Исправника тут положат — приехал.

Не поняв хорошенько, в чем дело, я, однако, встал и босиком, в одной рубашонке, завернувшись в одеяльце, прошел по довольно холодному коридору и, укладываясь на новое свое место, разгулялся: в гостиной я слышал, что отец с исправником ужинали. Отец что-то такое вполголоса и, по обыкновению своему, отрывисто рассказывал ему, на что исправник громко хохотал, вслед за тем кашлял, харкал. Остававшееся праздным моевоображение начало представлять себе исправника огромным мужчиной с огромным животом. Но это оказалось не совсем так: когда я на другой день вышел к чаю, то увидел, что с отцом раскланивался небольшого роста мужчина, с сутуловатым бычачьим шиворотком, широкий в плечах и с широкою львиною грудью.

— Итак, я иду, — говорил он.

— Сделайте одолжение, — отвечал отец рассеянно.

Матушка, разливавшая чай, держала глаза потупленными.

Исправник пошел. Я перебежал в девичью, чтобы оттуда из окна наблюдать за ним. На крыльце его встретил с бляхой на груди и падогом в руке сотский и снял шапку. Исправник сделал усилие приподнять несколько свою сутуловатую голову. Сидевшие на колоде наши мужики-погорельцы при виде его тоже встали и сняли шапки. Исправник сделал еще более усилия приподнять свою голову. Сотский в некотором отдалении и не надевая шапки следовал за ним. Они прошли в кухню. Вскоре после того в кухонные сени вышел Тимофей и сотский, и оба флегматически остановились в дверях на улицу — один у одного косяка, а другой — у другого, и оба ни слова не говорили между собою. Мужиков пять из погорельцев, один за другим, слезли с колоды и разлеглись по траве: пригретые солнцем, они вскоре тут заснули. Тимофея, наконец, увели в кухню, и вместо его сотский вывел Марью. Она уселась на рундучке и пригорюнилась. Сотский с убийственным равнодушием глядел ей в спину. Я перешел в залу. Там отец ходил взад и вперед, закидывая глаза вправо и влево, разводил руками и что-то такое нашептывал. Мать затворилась в своей комнате и, должно быть, молилась. Ключница Афимья, с явными уже слезами, текшими по ее морщинистому лицу, приготавлила закуску.

Не зная, куда от тоски и скуки деваться в доме, я вышел на улицу. Марья уже не было на крыльце, и стоял один только сотский, куря из коротенькой, но в медной оправе трубочки и сплевывая по временам сквозь зубы тонкой струей слюну. Я осмелился подойти и заговорить с ним.

— Что там делают? — спросил я его, указывая на кухню.

— Допрашивают-с... — отвечал он мне, осматривая меня с ног до головы.

— Что же допрашивают?

— По делу-с, по поджогу... вы сынок, что ли, здешнего-то барина?

— Сын.

— Похожи маненько на папеньку-то, — заключил сотский и своей зачерствелой рукой погладил меня по голове.

В это время Гришка, в совсем уж дурацкой, с высочайшими воротничками манишке и в сюртуке, далеко сшитом не на его рост, форсисто пронес в кухню закуску с графином водки и с двумя бутылками наливки.

— Вы в горницу взойдите и завтракать ступайте в людскую... — сказал он, проворно проходя и кивая сотскому головой.

Тот стыдливо пошел в девичью, и когда возвратился оттуда, то самодовольно обтирал рукавом усы: видимо, что он получил приличную порцию. Проходя в людскую мимо спящих мужиков и заметно повеселев, он ткнул одного из них своим падожком и проговорил:

— Что ты тут, черт, дрыхнешь?

Мужик приподнял немного голову, взмахнул на него глаза и опять улегся.

Невдолге после того Гришка вынес из кухни закуску обратно, с выпитым почти до дна графином и с объедками пирога и колбасы. Две бутылки наливки остались еще там. Затем сцены на дворе значительно оживились: сначала в сени выбежал длинноносый чиновник, вероятно, писарь исправника, и, видя, что никого тут нет, и проговоря: «Никогда его, шельмы, нет на месте!..», крикнул погорельцам: «Эй, вы, пошлите сюда сотского и приказчика!»

Из лежавших на траве мужиков хоть бы один пошевелился, и только тот же деятельный Спиридон Кутузов,

все время сидевший на колоде и что-то такое с жаром толковавший другому мужику, при этом возгласе вскочил и побежал в людскую. Оттуда выскочили и проворно пробежали в кухню наш Кирьян с своей озабоченной рожей и сотский, только что начинавший было багроветь от получаемого им за щами удовольствия. Кирьян, впрочем, вскоре снова показался и начал еще более беспокойными и отупевшими глазами оглядываться. Заметив возвращавшегося на свое место Кутузова, он подкликнул его и что-то такое сказал ему.

— Да где? — спросил тот скороговоркой.

— Да хоть в саду! — отвечал ему Кирьян тоже скороговоркой.

Кутузов побежал.

Кирьян остался на месте и заметно поджидал его. Спиридон, наконец, возвратился с пучком прутьев в руках.

— О черт, мало! — воскликнул Кирьян, сердито вырывая у него прутья.

— Я еще сбегаяю! — подхватил с готовностью Спиридон и опять побежал.

Кирьян стал прутья развязывать на пучки.

— Неровных каких, дьявол, наломал, — говорил он, обшмыгивая и обдергивая их.

Спиридон недолге принес еще большой пучок, и потом они, что-то такое переговорив между собою, скрылись в кухонных сенях, войдя в которые, дверь с улицы приотворили.

Я осмелился приблизиться на некоторое расстояние к кухне. Оттуда слышались голос и харканье исправника. Наконец, на крыльце показался прежний длинноносый чиновник.

— Пошлите нашего кучера!.. — крикнул он.

Продолжавший сидеть на колоде мужик, кажется, и не понял его.

— Кучера пошли! — повторил ему письмоводитель.

Мужик нѣхотя встал и пошел на сеновал, с которого вскоре и сошел действительно кучер, с заспанной рожей и с набившимся в всклокоченные волоса сеном, в поношенной казинетовой поддевке без рукавов, в вытертых плисовых штанах и только в новых, сильно смазанных дегтем сапогах. Неторопливой и спокойной походкой, как человек привыкший к тому, к чему его звали, прошел он

В кухню; я догадался, наконец, в чем дело. Ужас овладел мною окончательно: я убежал в свою комнату, упал на постель, закрыл глаза и зажал себе уши!!!

Обедать у нас подали, чего прежде никогда не бывало, часам к четырем, и, когда я вышел в залу, там все уже сидели за столом: исправник, присмакивая и даже как-то присвистывая, жадно ел щи. Матушка сама разливавшая горячее, грустно и молча указала мне на место подле себя. Письмоводитель исправнический тоже сидел за столом, уткнувши свой длинный нос в тарелку, и точно смотрел в нее не глазами, а этим органом. Отец был в прежнем раздраженном состоянии.

— Этакие злодеи, варвары!.. — говорил он, тряся руками и головой.

Исправник хохотнул слегка.

— Красного петушка это по-ихнему называется пустить... Четвертое дело у меня этакое вот на этом году, — говорил он, едва прожевывая огромные кусищи говядины и хлеба, которые засовывал себе в рот.

— Пятое-с, — поправил его письмоводитель.

— И все бабенки эти?.. бабенки?.. — спросил отец, продолжая трястись от бешенства.

— Бабенки, да! — отвечал исправник.

Письмоводитель слегка кашлянул себе в руку.

— Одна, по ревности, весь свадебный поезд было выжгла, трема колами дверь приперла... мужики топорами уж простенок выломали и повыскакали, — проговорил он.

— Самих бы разбойников эдаких на огонь!.. самих бы! — говорил отец, и глаза его, ни на чем уже не оставиваясь, продолжали бегать из стороны в сторону.

Исправник захохотал полным смехом.

— На огне?.. В подозренье только оставили! — воскликнул он, устремляя на отца насмешливый взгляд. — У нас вор и разбойник запирайся только — всегда прав будет! — прибавил он и глотнул, как устрицу, огромную галушку.

— Уездный суд еще на нас представление делал, — заметил попрежнему скромно, но с ядовитой улыбкой письмоводитель, — зачем мы поезжан под присягой спрашивали: они, говорит, лица, к делу прикосновенные.

Отец несколько раз повернулся на стуле.

— По Кузьмищеву лучше было! — подхватил исправник и в видах, вероятно, вящего внушения взял уж его за борт сюртука; — есть там Николая Гаврилыча Кабанцова мужичонки — плут и мошенник народишко... приступили они к нему, — дай он им лесу. Тот говорит: погодите, у вас избы еще не пристоялись... они взяли спокойнейшим манером, вынесли все свои пожитки в поле, выстроили там себе шалашики, а деревню и запалили, как огнище.

Отец от волнения и гнева ничего не в состоянии был и говорить, а только глядел во все глаза.

— Приезжаю я на место, — продолжал исправник, — ну и, разумеется, сейчас же все и сознались... Николай Гаврилыч прискакал ко мне, как сумасшедший... «Батюшка, говорит, пощади; ведь я лишуюсь пятидесяти душ, все на каторгу идут». Так и покрыли разбойников — показали, что деревня от власти божией сгорела.

— Что же, и наша женщина созналась? — спросила матушка, каждую минуту трепетавшая за отца и желавшая на что-нибудь только да переменить разговор.

— Как же-с, совершенно во всем как есть... — отвечал ей исправник с заметною любезностью.

— И муж с ней участвовал?

— Совершенно-с! И труту ей приготовил, и лучины нащипал, и стражем стоял, чтобы кто не подсмотрел их деяний.

— Но что же за причина? — спросила матушка.

— Причина!.. — произнес отец и начал растирать себе грудь рукою.

Исправник пожал плечами.

— Спросим ужо об этом... порасспросим, — отвечал он.

— Сам старик, говорят, тут виноват, — пробурчал больше себе под нос письмоводитель.

Отца точно кто кольнул.

— Как старик? — сказал он, кидая на приказного свирепый взгляд; но в это время встали из-за стола.

Исправник расшаркался перед матушкой, поцеловал у нее руку и отправился спать. Письмоводитель тоже пошел уснуть, но только на сеновал, где спал и кучер ихний.

Я вышел на крыльцо и уселся на нем. Ко мне подошла наша дворовая собака Лапка. Я обнял ее: «Лапушка, друг мой, что такое у нас делается?» — говорил

я, целуя ее в морду. Она в ответ на это лизнула мне щеку, потом вдруг, завилыв хвостом, побежала от меня к садовой калитке, из которой выходил ее прокормитель и воспитатель по части хождения за утками, тетеревами и белками, наш старый садовник Илья Мосеич, в своем заскорблом от старости сюртуке и в сапогах, изорванных по всевозможным местам и шлепавших теперь от мокроты. Лицо Мосеич имел несколько французское — с заостренным птичьим носом, с довольно тонкими очертаниями и с небольшими клочками висевших по щекам бакенбард. Он только что сейчас возвратился с рыбной ловли, ради которой, не докладывая даже господам, на собственные свои деньги нанимал у займовских мужиков тони по четвертаку за штуку, имея в этом случае в виду, что прорвало пятковскую мельницу, — и действительно: в три раза было вытащено четыре пуда щук, которые он уже своими руками выпотрошил и посолил на погребе, а в Филиппов пост и объявит матушке, что у него рыбы есть и чтобы она не беспокоилась. Теперь он шел за грибами, и тоже больше для господского продовольствия. Я стал просить его взять меня с собой. Илья Мосеич насмешливо посмотрел на меня.

— Что в лесу хорошего взять?.. пенья, коренья надо перелезать, нагибаться... Господа любят только грибки кушать за столом, — проговорил он с ядовитою улыбкою. Я, однако, продолжал проситься и почти насильно пошел за ним. Лапка тоже побежала за нами.

Илья Мосеич мог быть назван бесценным человеком для отца и матери: кроме уж поставления рыбы и дичи к столу, он овладевал для них и другими благами природы. Наш огромный сад, который давал до пяти тысяч огурцов, до ста арбузов, до ста дынь, ягод разных на несколько пудов варенья, был решительно его трудами создан и поддерживаем. Мало того, он получал еще за него гоненье, особенно когда весной поупросит или понастрашает и заставит дворовых женщин полоть несколько гряд.

— Ты, старая кочерга, все в свое заведение у меня народ отводишь!.. — закричит, бывало, на него отец.

Илья Мосеич обыкновенно в этом случае и не оправдывался, а махнет только рукой и уйдет там у себя за какой-нибудь куст или засядет в грядку.

В торжественные дни, когда Илья Мосеич призывался быть лакеем, и когда вместо заскорбленной хламиды

надевал свой более новый вердепомовый сюртук, сшитый еще по той моде, когда наши входили в Париж, он с особенною важностию, как будто бы это была его собственность, подавал, во-первых, ерофеич, настаиваемый травами его произрастения, потом квас, который всегда заваривал он, а не поваренок, и, наконец, соленье и особенно зелень. Весьма часто, уставляя закуску, он вдруг, сколько бы тут ни было гостей, указывая на редиску, замечал с внушительною миной: «Двадцать пятого апреля снята!»

При таком, повидимому, страстном усердии к господам Илья Мосеич в то же время не любил их и ни сколько уж не уважал, считая себя безусловно умнее их, даже образованнее, так как они хоть и грамоте поучены, но читают в книгах все пустяки, а он читал всё книги умные, как, например: о лечении домашних животных купоросом, об уходе за пчелами, о разведении свекловицы. Вступая в разговор с каким-нибудь барином или священником, он никогда почти не говорил прямо, а по большей части рассказывал при этом случае какой-нибудь анекдот или давно случившееся происшествие, из которого уже и выводил, что было ему нужно. Своего брата он тоже больше презирал и не чужд был посудить о нем, и тоже больше все притчей.

— Фомкино у нас выгорело, — говорил я, едва поспевая за ним идти.

— Д-да, Фомкино выгорело, Бычиха горела, Климцово... Солдатово... и много и долго еще будут гореть русские деревеньки, — произнес Илья Мосеич каким-то пророческим тоном.

После того мы все поле прошли с ним молча.

— Прежде народ лучше был... умнее... мудрецов много было!.. — заговорил он, снова обращая ко мне свое вопросительное лицо.

— Какие же? — сказал я.

— Да вот был царь Соломон, — отвечал он, как бы открывая мне новую Америку, — раз приходят к нему две женщины, две бабы дуры! (Мосеич, не совсем счастливый в семейной жизни и более преданный любви к природе, постоянно отзывался о женщинах с не совсем выгодной для них стороны.) Одна из них, по нечаянности, ребенка своего ночью и заспала, а как дело пришло к утру — мать и чужая про живого ребенка говорят:

«Это мой ребенок». Царь Соломон берет сейчас свой меч: «Хорошо, говорит, коли так, я разрублю вам его на двое...» Мать-то настоящая сейчас и откликнулась: «Ай нет, нет! говорит, это ее ребенок». — «Нет, — говорит ей царь Соломон, — он твой: ты его жизнь пощадил...» Ей сейчас отдает младенца, а другую велел посадить в острог и на поселенье... Ну, так ведь тоже не все господа цари Соломоны!.. — заключил вдруг старик и внушительно качнул мне головой.

Попавшийся на пути нам сосняк переменял течение его мыслей.

— Забежать тут надо, отварушечек для папеньки к ужину набрать! — проговорил он и скрылся от меня.

Я пошел по окраине леса. Мосеич пропал надолго: он забрался, вероятно, в самую глушь; каждая благушка, каждая спорхнувшая птичка обыкновенно занимали его внимание. Я начал, наконец, аукаться и выкликать его и только уж через полчаса сошелся с ним на небольшой открытой поляне. У него была почти полна корзинка грибов, а я всего нашел три или четыре гриба.

— Только-то?.. мало же, — сказал он, кидая их с пренебрежением в свое лукошко, — кабы вы не барчик были, а дворовой мальчишка, вас бы за это наказали... и больно... да еще сказали бы, что вы где-нибудь в поле, под кустом, припрятали для батьки и матки.

Я слушал его, далеко еще не понимая, сколь ядовито он для меня говорил.

— Господа говорят, — продолжал Мосеич более уже серьезным тоном (он вообще любил со мной поговорить и несколько уж не церемонился), — говорят, что мы другого рода — Хамова, а они — от Авеля. Это так, положим! Но ведь иногда и комар лишает жизни льва — все приставать к нему будет, над ухом звенеть, а убить-то тот его не может!.. мал очень... увертывается... лев терпел-терпел и, наконец, сам себя от гнева загрыз; и это не то, что выдумка какая, а настоящее было.

— Это басня, — возразил было я.

— Нет, настоящее! — повторил настойчиво Мосеич, — в Абаховском приходе теперь жил помещик по фамилии Хитрецов, еще маненько и сродственник вашему дедушке. Как вот в сказках сказывается о могучем Змее-Горыниче или вепре диком, так и он, пожалуй, был, а после того попался же из-за нашего брата...

На последних словах у Ильи заметно появилась в лице какая-то насмешливая радость; я же с своей стороны окончательно переставал понимать, что такое и к чему он все это говорит.

— Или теперича, господи ты боже мой! — продолжал он, пожимая уж плечами и пришедши, видимо, в экстаз своего мышления, — иностранцы вон к нам разные, венгерцы ходят с духами и лекарствами: «Русска, говорит, человек глуп, не может ничего делать». — «Как, говорю, постой, брат мусью», и сейчас нарвал самых простых цветиков и поднес ему к носу. «На-ка, говорю, сделай мне такие духи; а как ты-то носишь, так и я сделаю; да не хочу, потому что и землю и хлеб имею, а ты к нам с голуду пришел: мы к вам не ходим, как незачем».

Мосеич, при всем своем несколько мизантропическом взгляде на вещи, был постоянно большой патриот.

Мне между тем хотелось уж чаю. Я сказал ему о том.

— Пойдемте! — отвечал он мне несколько насмешливо. — Баре-то, подумаешь, — начал он после короткого молчания, — поутру чай пьют, кофей, обедают... потом опять чай, ужинают; а мы-то, грешные, едим когда попало и что ни попало.

Дорога, ведущая обратно в усадьбу, открылась перед нами, извиваясь лентой по зеленевшему озимову полю. Лапка, тоже откуда-то появившаяся и только что, вероятно, перед тем придавившая какого-нибудь зазевавшегося зайчонка, была с окровавленным рылом и весело начала прыгать около Мосеича, подскакивать к его руке, лизать ее.

— Вон она, тварь бесчувственная! — сказал он, показывая мне ласково на нее, — а если теперь ладно к птице подошла, прибей ее, поколоти тут, другой раз она все дело испортит: и вертеться станет, и бояться, тревожиться... Человек же и подавно: без вины его наказать — не на хорошее, а больше на худое направит — другой с отчаянности бог знает что накуролесит, как и Машка наша теперь!

— А Марью разве наказывали? — спросил я, обрадованный, что разговор, наконец, склонился на понятный для меня предмет.

— Н-ну! — произнес Илья Мосеич протяжно, — ране еще вам все знать... молоденьки вы! — прибавил он полусутливо и полунаставнически.

С небольшого пригорка, на который мы вскоре взошли, нам кинулось в глаза довольно уже низко стоявшее солнце. Кверху оно бросало, точно стрелы, золотые лучи, а внизу освещало сзади деревья нашей березовой рощи, которые в весьма заметной перспективе, отделяясь одно от другого, трепетали в воздухе своими зелеными листочками.

Илья Мосеич несколько времени стоял в умилении перед этой картиной.

— Батюшка — наше солнышко! — заговорил он, качая головой, — всем оно одинаково светит, и большому дереву и малому, и худой траве и хорошей, — а господа так нет, ой, как нет! Только и любят и уважают, что богатых своих подчиненных: они у них умные, и честные, и добрые, а спросил бы, что такое значит богатый мужик. Наипервая бестия изо всех; потому что где мужику взять: он и барину подай, и в казну, и в мир. А руки-то всего две — значит, когда хочешь богатеть, — плутуй! И если теперь наш брат разбогател, разве доброе и хорошее он творить станет, — жди того, как же, пить да жрать, да... В священном писании именно про мужиков, должно быть, сказано, что легче борову свиному пройти в игольные уши, чем богатому в царство небесное, потому что он, аки сатана, со всеми смертными грехами путами спутан.

Сказав это, Илья вдруг остановился. Мы были почти у самого тына нашего сада.

— Вы ступайте дорóгой, а я вот туда посеCRETней проберусь, а то папенька, пожалуй, увидит: «В эдакое, скажет, время, бестия, за грибами ходишь».

Проговоря это, он юркнул в нарочно и, вероятно, издавна уже сделанную лазейку, глухо-глухо заросшую всякого рода зеленью, а потом стал пробираться по самой темной аллее, нагибаясь и прячась за деревья.

«Что это папенька, зачем бранит Илью, — он такой славный», — подумал я, обходя сад кругом.

В воротах усадьбы я увидел, что со двора съезжал исправник в легоньком тарантасе, на тройке с расписной дугой, с колокольцами и бубенцами, с ухарски развязанными на троках пристяжными, которые своими обозленными мордами только что не хватали земли. Я оробел и поклонился ему.

— Прощайте, душенька! — проговорил он, делая мне рукой.

Сидевший рядом с ним письмоводитель тоже слегка приподнял фуражку и поклонился, но только не глядя на меня. Вслед за тарантасом ехал на крестьянской лошади и в навозной телеге Спиридон Кутузов, еле-еле примостившийся на кое-как сделанной в передке беседочке, на которой, заняв гораздо большее пространство, помещался также и сотский, оборотясь лицом к задку. В самой телеге сидели, и вряд ли не привязанные к ней, Марья, покрытая, как повитая невеста, с головы до ног в какую-то крашенину, и Тимофей тоже с потупленной вниз головой и в нахлобученной почти на самые глаза шапке. В усадьбе было совершенно пусто, и только перед растворенной уж кухней Гришка огромным топором рубил дрова, закусив язык на правую сторону и каждый раз прикряхтывая, видимо, желая тем показать, что он мастер и молодец на это дело. Я прошел через заднее крыльцо в дом и застал там страшную сцену: отец, с пеной у рта, ходил по комнате.

— Меня обмануть? Меня?.. Меня? — кричал он, закидывая голову назад и как бы вопрошая самый воздух.

Матушка, сидевшая тут же в гостиной и при всех его вспышках всегда старавшаяся сохранить присутствие духа, на этот раз едва владела собой.

— Я удивляюсь, как ты этого не знал... я давно это знала, — проговорила было она.

— А, ты знала! ты знала! — вскричал отец, подбегая уж к ней. — Отчего ж ты мне не сказала? Отчего? — прибавил он, отступая от нее на несколько шагов и выпрямляясь, точно готовый сейчас же произнести ей смертный приговор. — А ты госпожа, помещица здешняя! Ты все можешь знать и всем располагать; а я нищий... голыш, приведенный сюда так... Христа ради! Врете! Я господин всем вам: и тебе и твоей челяди!

Матушка пожала плечами, и на глазах ее навернулись слезы: это оскорбление было самое горькое и обидное для нее.

— Из чего ты беснуешься, я понять не могу, — сказала она.

— Ты не понимаешь — да! Не понимаешь, что я, может, и двух его первых сношенок погубил... и этих несчастных наказывал; всегда держал его руку... на эшафот их теперь возвел... Какими молитвами отмолить мне у бога эти мои прегрешения?.. Какими?..

— Но ведь ты сам говоришь, что не знал этого.

— Что же, я и теперь не знаю!.. Я сам, своими глазами, видел ее показанья... он ей проходу не давал — все адресовался, а что она «нет», так бил ее и сына. Мне и идти теперь благодарить его! благодарю, батюшка Михайло Евплыч, покорно, что вы развратили всю вашу семью и мне случай в том поспособствовать вам дали.

— Его и без тебя уж бог покарал, потом накажут и по закону, по суду! — заметила кротко матушка.

— А, да! по закону, по суду, — вот что! — воскликнул старик с ожесточенным смехом. — А ты слышала, что исправник говорил? Слышала? Есть у тебя уши? Так нет же! Врете, я его накажу! Я!.. Кирьяна мне!.. Кирьяна...

Последние слова он едва уже выговаривал.

Припадок гнева в этот раз так был силен в нем, что даже матушка встала и ушла от него.

— Пошлите к барину Кирьяна, — сказала она, проходя девичью и сколько только могла спокойно, горничным девушкам.

Те побежали.

Я, все время тихонько сидевший в зале, плача и обмирая от страха, решительно не знал, что мне с собой делать.

— Кирьяна... Кирьяна! — продолжал между тем шептать отец, скрежеща зубами и сжимая кулаки.

Через несколько минут Кирьян, позеленевший от страха, стоял перед ним.

Отец так и впился в него глазами.

— Возьми сейчас, — заговорил он прерывающимся голосом, — этого Евплова... стащи его за волосы с печи... кинь его в телегу и вези за исправником... скажи, чтоб его на поселенье взял... Не надобно мне его... Писать я теперь не могу, после все напишу... после...

Кирьян хотел было поскорей убраться.

— Но если же ты его не довезешь, если не отдашь там, я тебя самого убью и растерзаю, — закричал уж на него безумный старик и побежал было за ним.

— Помилуйте-с! Сейчас все исполню, — отвечал тот, едва успевая затворить перед ним за собой дверь, и потом действительно никто уж и не видал, как он собирался, захватил с собой Михайла и уехал.

Отец между тем возвратился в гостиную и, тяжело

дыша, опустился на диван. Несчастные припадки гнева всегда кончались для него ужасно: его обыкновенно оставляли одного в комнате, притворяли в ней дверь и подавали ему только холодной воды. Все это повторилось и теперь. Мать пересела к дверям гостиной, чтоб прислушиваться, что там будет происходить. Я поместился около ее колен и стал целовать ее руки.

— Для тебя только, друг мой, и желаю я жить на свете, — проговорила она, поцеловав меня в голову и отерев катившиеся по ее щекам слезы.

Я разрыдался окончательно, так что она едва утешила и успокоила меня.

К вечеру по дому распространился новый ужас: исправник не принял Михайла Евплова, говоря, что он стар идти на поселенье.

— Батюшки! Отцы мои! Что теперь будет? — проворила даже старуха Афимья, более всех привычная к гневу барина и всегда с каким-то стоическим спокойствием его переносившая.

Кирьян, привезя Михайла Евплова назад, не распрягая лошади, убежал в лес, говоря, что он и не придет, пока барин гневаться будет. Сказать отцу о решении исправника осмелилась, разумеется, одна только матушка, но я видел, чего ей это стоило: вся взволнованная и беспрестанно обращая взор на образ, она несколько раз подходила к гостиним дверям и, наконец, уже вошла. Я бросился за ней и приложил глаз к замочной скважине. Что она там сказала, я не слышал, но только отец вдруг поднялся.

— Хорошо, я сам его упрятаю, — сказал он по наружности спокойным, но в самом деле еще более раздраженным голосом, — велите коляску мне заложить, а мерзавца этого — скажите, чтобы везли за мной в полустерте.

Матушка беспрекословно исполнила его приказание. Часов в двенадцать ночи он уехал. Два дня, пока его не было, она была на себя не похожа, беспрестанно тревожилась и все чего-то ожидала. Наконец, отец возвратился и был совсем уж больной. Его прямо привели в его комнату. Он тосковал и стонал на весь дом.

— Что, папаша чем болен? — спросил я мать.

— Обыкновенно, как и всегда, мучится и терзается... **сам** наказал, а теперь и жалест всех... — отвечала она.

С детской души моей, как перестали на нее действовать неприятные впечатления, сейчас же все и слетело: на другой день я уже спокойнейшим манером пахал сохою собственной работы на Гришке грядку в саду, и, что всего удивительнее, — этот малый, лет почти восемнадцати, с величайшим наслаждением играл со мной в эту игру, непременно требуя, чтоб я его взнуздал, и чем глубже я упирал соху в землю, тем старательнее и рьянее он вез ее. К нам подошел Мосеич с лейкою в руке.

— Землю пахать самое приятное для бога занятие, — сказал он.

— Приятное? — переспросил я, очень довольный, что он хвалит мою выдумку.

— Да!.. и если бы вот даже этот дурак Евплов не мытарничал, а кормился бы больше, как следует мужичку, землицей, не был бы там, куда угораздился.

— А куда его, дядюшка, барин увез? Далече ль? — спросил уж Гришка.

— Далече, в место хорошее, — сказал Илья и скрылся за одной из куртин.

V

Начинало темнеть, когда я в нынешнем году подъезжал к Фомкину. Рядом со мной в коляске сидел приказчик мой Семен, ужасно конфузясь, ежась, отодвигаясь от меня и боясь, кажется, прикоснуться одной точкой своего кафтана ко мне. Измученные извозчицы лошади легонькой рысцой тащили нас в гору.

Я оглядывал окрестность; все было очень знакомо: при въезде в село покачнувшаяся на сторону и точно от сотворения мира тут стоявшая толчая, а подалее небольшая площадь, на которой собирался по праздникам народ; в стороне от нее дом священника, несколько побольше и покрасивей других, на погосте деревянные кресты и единственный каменный памятник на могиле моего деда и, наконец, сама белая церковь. С какой-то болью врывались мне в сердце воспоминания: мы... мне лет восемнадцать... у прихода... день такой, кажется, восхитительный; толпа народа кипит перед храмовыми воротами. Она тоже в церкви... это можно догадаться по уродливому экипажу и по тройке вятских лошадок, стоявших

у дома отца-диакона. Я иду в церковь. Сердце мое так и рванулось от правого клироса, около которого я встал, к левому; накуренный ладан кажется мне величайшим благовонием, иконостас великолепным, а она, в белом платье и белой шляпке, превышает всех красот земных. Но между тем что было во всем этом: и в ней, и в самом народе?.. Ничего, кроме моей молодости!.. Хоть бы один день, один час того счастья, с которым изживались прежде целые недели, месяцы, и за это возьмите все, что впереди, где только и мелькают, как фурии, ниспосланные вас терзать, — недуги тела, труды и скорби наболевшей души вашей и целое море житейских нужд и забот.

— А что, — обратился я к Семену, — будет у нас в Фомкине по пяти десятин на душу?

— Будет, кажись! После одного снохача теперь земли-с пустой стоит тягол на пять.

— Какого это снохача? — спросил я, смутно припоминая все, что сейчас рассказал.

— Крестьянин ваш бывший, — отвечал Семен, — папенька ваш тогда разгневался на него и продал его. Всего за десять рублей ассигнациями и уступил-с.

— За десять?

— Да-с, — отвечал Семен и потом с обычной своей скромностью слегка польстил мне: — Ведь не так, как вы-с: покойник, бывало, рассердится, так точно рассудку лишался, а после все у них отойдет это.

— Отойдет?

— Все-с! И чем уж они тут человека ублажить не желают: тогда за Михайла Евплова-то сноху и сына при мне-с... мальчиком я ездил с ним... давали исправнику тысячу рублей, чтобы их освободить от поселенья. Ну, да тот тоже не взялся. «Я губернатору уж, говорит, описал о том».

— А Михайло Евплов кому был продан? — любопытствовал я.

— Да так тут в Зеленцине был дворянинишко самый бедный; почесть, что ни самому, ни прислуге есть было нечего: Михайла Евплова стал уж в пастухи отдавать... в семьдесят-то лет за телятами бегать... Папенька ваш жалел тогда старика: «Откуплю, говорит, его назад: хоть пятисот рублей на то не пожалею», ну да тот помер тоже невдолге.

— А за что отец так рассердился на него? — спросил я.

Семен несколько смешался.

— Глупости разные у себя в семействе заводил-с... — отвечал он с расстановкой. — Младшая-то сношенка попалась женщина честная, не захотела того.

— А здесь это в заведении? — заметил я.

— Есть-с! — отвечал Семен таинственно.

— Да как же они это делают?

— Да кто ж им может в том воспрепятствовать! — возразил он мне с некоторым даже одушевлением: — *батько, родитель* — одно слово, и который особенно теперь побогачей, так в дому-то словно медведь корежит: и на работу посылает, сколько ему надо, и бьет, особенно этих женщин и малолетних, чем ни попало... Ужасные злодеи и тираны-с!

Мы въехали в усадьбу. Несколько человек дворовых, и все больше старики, встретили меня. Совсем сгорбленный и почти уже слепой Кирьян высадил, однако, меня из коляски под руку. Две женщины, тоже старухи, проговорили: «Ну, вот, батюшка, дождались мы и вас!» Я прошел в дом и, увидя отворенный балкон, не утерпел и вышел на него посмотреть на сад — он точно весь почернел и совершенно заглох по всем некогда прозрачным и зеленым аллеям. На куртинах и на лугах росла такая дичь-трава, что и взглянуть было неприятно. Все это некогда обряжавший и приводивший в порядок Илья Моσειч давно уже умер и, вероятно, сам составлял какую-нибудь часть той природы, которую так любил. Сойдя с балкона, я прошелся по гостиной, где сердился отец, заглянул в спальню, где скучала и молилась мать, и, наконец, в свою темненькую комнату.

Чтобы оторваться от этих, хоть и дорогих, но все-таки тяжелых воспоминаний, я велел себе постелю приготовить в зале, как самой пустой комнате и более похожей на сарай, чем на жилое место; но заснул только уже утром, чувствуя, что руки и ноги у меня холодеют, а на лбу выступила холодная испарина. «О, если бы забыть прошедшее и не понимать будущего!» — мерещилось мне в тревожном сне.

РУССКИЕ ЛГУНЫ

Очерки

Люди, названные мною в заголовке, вероятно, знакомы читателю. Когда я встречался с ними в жизни, они производили на меня скуку, тоску и озлобление; но теперь, отодвинутые от меня временем и обстоятельствами, они стали дороги моему сердцу. В них я вижу столько национального, близкого, родного мне... Начав с простейших элементов, мне, вероятно, придется перейти и к гораздо более высшим типам. Поле мое, таким образом, широко. Я только робею за свои силы, чтобы все эти фигуры отлить из достойного металла, с искусством и точностью, достойными самого предмета, и в этом случае наперед прошу читателя обращать внимание не столько на тех добрых людей, про которых мне придется рассказывать, как на те мотивы, на которые они лгали.

Выдумывая, всякий человек, разумеется, старается выдумать и приписать себе самое лучшее, и это лучшее, по большей части, берет из того, что и в обществе считается за лучшее. Лгуны времен Екатерины лгали совсем по другой моде, чем лгут в наше время. Прислушиваясь со вниманием к тем темам, на которые известная страна в известную эпоху лжет и фантазирует, почти безошибочно можно определить степень умственного, нравственного и даже политического развития этой страны. В этом смысле мы придаем некоторое значение и нашему труду. Начинаем:

КОНКУРЕНТ

Помнит ли читатель одного из моих действующих лиц, Антона Федотыча Ступицына? ¹ Я позволяю себе другой раз говорить печатно об этом лице единственно потому, что, начав слово о врялях, решительно нет никакой возможности пройти молчанием Антона Федотыча. В прежнем рассказе моем я его представил в период полного падения, когда его никто уже не слушал, когда он лгал о самых обыкновенных вещах; но для него существовало и другое время: состояние его тогда было далеко еще не в таком расстроенном виде; носимый им довольно странный чин «штык-юнкера в отставке» вовсе, по духу времени, не служил ему таким позором, каким служил впоследствии; врал он во всевозможные стороны самым свободным образом и только еще начинал замечать, что слушатели от него как-то стушевываются.

Антон Федотыч в собрании. Он проходит из буфета в залу, с удовольствием втягивая в себя запах накуреного одеколона. Публики еще никого нет, и только у колонны стоит молодой человек, Петруша Коробов, закинув голову назад и вообще в довольно отчаянной позе. Антон Федотыч, находя в нем удобную для себя жертву, начинает к нему приближаться, но не вдруг, а исподволь, как обходят обыкновенно охотники дрофу. Сначала он сделал довольно большой полукруг около него, потом поменьше, наконец, в третьем стал уж лицом к лицу с ним.

— Я, кажется, имею удовольствие видеть Петрушу Коробова? — отнесся он к нему, как бы совершенно еще к мальчику.

Антону Федотычу и в голову не приходило принять в соображение, что сей юный птенец тринадцати лет бежал без позволения родителей из корпуса, прожил затем в Петербурге девять лет без копейки денег и даже без бумаг для свободного проживания, а потому знал жизнь и мог понимать людей.

— Точно так-с! — отвечал молодой человек совершенно развязно.

¹ Повесть «Брак по страсти». (Прим. автора.)

— Еще маменьки вашей пользовался расположением!..

— Ах да! Очень рад.

Антон Федотыч на всякий случай взял легонько за руку своего нового знакомого.

— Не угодно ли? — сказал он, показывая ему другой рукой на стоявшие два стула.

Молодой человек повиновался, и оба они уселись.

— Хорошенькое зальцо!.. — начал Антон Федотыч, недоумевая еще, в которую сторону ему хватить.

— Да, но паркет нехорош! — заметил молодой человек.

— Очень нехорош! — подхватил радостно Антон Федотыч: слова эти прямо навели его на тему. — А все ведь, ей-богу, дворянство наше! Я предлагал им мой дом, ничего бы с них не взял — ездите, танцуйте; ну, а паркет у меня такой, что и в московском дворянском собрании, пожалуй, такого нет.

— Это ваш дом на Ивановской-то? — заметил ему насмешливо его собеседник.

— Да, на Ивановской! — отвечал Антон Федотыч с замечательным хладнокровием.

— Зачем же там паркет? И дом-то весь развалился.

— Случай!.. — отвечал Антон Федотыч, делая вид, что как бы не слышал последнего замечания, — приехал я раз в Москву, и так как у меня всегда есть свободные деньги, я люблю, знаете, шляться по разным этим аукционам (Антон Федотыч в жизнь свою не бывал ни на одном аукционе и даже хорошенько не знал, как это там делается), только раз вдруг объявляют *паркет*: там дал кто-то какую-то цену, я дал рубль больше, третий сказал еще рубль, я говорю два — за мной и остался. Черт знает, зачем и для чего купил паркет!.. Ведут меня показывать; вижу: целая комната завалена какими-то деревянными кусочками. Делать, однако, нечего: вселел я своему человеку купить ящиков, собрали мы с ним всю эту дрянь, повезли восвояси... Дом у меня тогда только еще отстраивался. Дай-ка, думаю, не будет ли чего-нибудь из моего паркета? Призываю я мастера. «Можешь ли, говорю, братец, собрать все это?» — «Могу-с!» — говорит... «Ну, начинай с богом!» Только вижу, он работает день, другой... Меня любопытство взяло; иду к нему. «Что же, говорю, братец?» — «Да, батюшка, говорит, из-

вольте посмотреть, какая штука выходит!» Смотрю я: все это уж у него разложено, и как бы на самой превосходнейшей картине изображено *бородинское сражение*... Лица всех известных генералов как живые; все это, знаете, выделано из дерева. «Батюшка, — говорит паркетник, — мне за такой паркет рядной цены взять нельзя». — «Да бери, говорю, братец, что хочешь, только увечью ты мне это сокровище».

— До сих пор так с генералами и стоит? — спросил Коробов, нисколько, повидимому, не удивленный рассказом Антона Федотыча.

— До сих пор с генералами! — отвечал тот.

— Так как же по генеральским-то лицам танцевать и ходить ногами — неловко!

— Очень неловко! — засмеялся Антон Федотыч.

Молодой человек между тем придал как бы мыслящее выражение своему лицу, потом тряхнул кудрями и начал:

— У меня в Петербурге тоже были всегда свободные деньги, и я раз тоже на аукционе купил для маменьки часы; оказалось потом, что они с будильником...

— Бывает, с такой, знаете, особенной машиной! — подтвердил Антон Федотыч и показал даже рукою как бы некоторое подобие машины.

— Да дело не в машине, а в том, что часы будили в восемь часов, именно когда маменька привыкла вставать.

— Скажите! — произнес Антон Федотыч с некоторой дозой внимания.

— И это ничего! Но они будили не шумом, как будят обыкновенные часы, а выкрикивали человеческим голосом: «Вставайте!.. вставайте!..»

— Скажите! — произнес опять Антон Федотыч, возвысив на значительное число нот свое внимание и даже показывая некоторое удивление.

— И это еще ничего! — доколачивал его молодой человек, — будильник прибавлял: «Вставайте, Клеопатра Григорьевна!» — имя мамы выговаривал.

— Да, это приятно! — заметил Антон Федотыч, как-то насильственно улыбаясь.

Он поставлен был в странное положение. Весь его ум и соображение как бы подернулись каким-то туманом,

В молодом человеке он видел точно двойника своего, который мог совершенно то же делать, что и он делал.

— Вы вот справедливо сказали, — начал он после некоторого раздумья, — дом у меня точно что здесь стар. Неприятна, знаете, ветхость эта, а потому я гораздо больше люблю жить в усадьбе своей.

— А у вас хорошая усадьба? — спросил Коробов.

— Превосходная-с! Насчет угодий расскажу вам только одно. Раз, летом, погода этакая прекрасная стояла; сижу я с семейством у себя на балконе; вдруг слышу колокольчик. «Кто такой?» — думаю. Оказывается, становой приехал. Ну, очень рад. «Антон Федотыч, говорит, к вам архиерей сейчас приедет. Услыхал, что вы поблизости: «Везите, везите, говорит, меня к нему»; я нарочно прискакал вас предупредить...» И точно, что я со всеми этими высокими духовными особами всегда был дружен, потому что и в молодости и до сих пор люблю заниматься этой богословией; только дело в том, что мы с семейством по слабости наших комплекций всегда едим скоромное... (Читатель, может быть, не забыл, каким слабым здоровьем и малым аппетитом пользовался сам Антон Федотыч и все его семейство.) Но ведь это — монахи; по званию своему они не могут этого делать. Призываю я управляющего. «Скажи, говорю, братец, в город, плати там сколько хочешь, только доставай нам рыбы». — «Ничего-с, говорит, и около дома найдем». — «Как около дома?» — «Да так уж, говорит, не извольте беспокоиться». Ну, я знаю, что он действительно человек расторопный, поуспокоился. Приехал архиерей... сидим мы... тары-бары распускаем, а меня между тем все червячок гложет: «Ну как, думаю, не найдут рыбы?» Вдруг этот самый управляющий меня вызывает. «Пожалуйста, говорит, на пруд да и его-то преосвященство попросите». Возвращаюсь я к гостям моим. «Вот, говорю, ваше преосвященство, дурак мой управляющий меня и вас на пруд выйти просит — там что-то такое необыкновенное случилось». — «Хорошо, говорит, я очень рад попройтись, а то все сидел». Выходим, и так-таки прямо нам в глаза, на берегу пруда — пуда в два осетр!..

— Бывает это! — подтвердил его слушатель. — Раз мы с мамашей тоже сидим на балконе, только слышим вдруг колокольчик... Это чиновники из города едут к нам, а между тем среда... Мы с матушкой, по слабости нашего

здоровья, едим скоромное, а чиновники, по их сану, всегда соблюдают посты... (Повеса на этот раз не счел даже за нужное менять фраз Антона Федотыча.) Только я призываю к себе управляющего: «Скажи, говорю, плати что хочешь за рыбу». — «Достанем, говорит, и дома, да еще и с дичью». Я сначала и поверил ему, но потом, когда чиновники приехали, меня, как и вас, стал тоже червячок поглаживать; однако управляющий вскоре же вбегает. «Пожалуйте, говорит, бога ради с гостями на пруд да и винтовку уж захватите с собой». — «Зачем винтовку?» — «Нужно», говорит... Бежим мы за ним. На берегу реки человек сорок мужиков тянут бредень... в него попал медведь, а белуга ему в ногу впилась!

Антон Федотыч даже уж и не усмехнулся на это; но тотчас же встал и отошел от своего собеседника и целый вечер был как опущенный в воду. Он полагал, что занимает своими разговорами молодого человека, а тот только смеялся над ним — обидно!

II

БОГАТЫЕ ЛГУНЫ И БЕДНЫЙ

Наклонность полгать — в каких она иногда кротких душах живет! Я знал в В...е мещанина Петра Вакорина — чрезвычайно кроткого малого, обремененного огромным семейством, не способного ничего другого делать, как сходить за охотой, за грибами, рыбки поудить. Существовал он решительно благодеянием одного подгороднего помещика, Саврасова, честолюбивейшего и надменнейшего человека и в то же время псового и ружейного охотника, который собственно и благодетельствовал Вакорину за то, что он выслеживал ему иногда места, удобные для охоты, хоть тот по большей части и навирал в этом случае. Слабость поприхватить в Вакорине, как в существе загнанном, так умеренно проявлялась, что ее почти никто и не замечал, а в то же время она была, и очень была: придет иногда и расскажет жене, что видел орла с орлятами, да улетели — канальство. А между тем никаких орлят не было, да и быть не могло. А то отправится в соседний монастырь к обедне и там, будто случайно, расскажет казначею: «Какую, ваше преподобие, я

на мельнице вашей щуку видел; пуда в два, надо полагать; вся седая ходит, мохом уж, значит, поросла!..» Разгорятся жадностью казначейские очи, велит он спустить омут — хоть бы пискарь! Начнут бранить Вакорина, непременно тут присутствующего; крестится, божится, что видел, тогда как сам очень хорошо знает, что видел нечто гораздо более похожее на палку, чем на щуку.

Раз его благодетель Саврасов на одной из своих осенних охот убил лисицу с черным хвостом. Можете себе представить, как это подействовало на его гордую и самлюбивую душу! Со шкурой этой лисицы он стал по всем ездить, всем ее показывать. «Видали ли вы это?» — говорил он, повертывая свой трофей перед носом почти каждого, и всякий благоразумный человек, разумеется, придавал удивленное выражение своему лицу и говорил: «Да, да».

Случилось, что около того же времени Вакорин зашел к исправнику, с которым он состоял в близких отношениях уже по случаю рыбной ловли, так как всегда доставлял ему отличных для удочки червяков, а когда сам ходил с ним зимою удить, так держал и отогревал этих червяков у себя во рту.

Смирненно поклонясь хозяину и гостям его (у исправника в это утро было человек несколько из дворянства), Вакорин в своем длиннополом сюртуке уселся в уголку и, положив руки на колени, стал улыбаться своей доброй улыбкой всякому, кто только на него взглядывал. Хозяин, наконец, заметил его одинокое положение и обратился к нему:

— Петруша, что ты там все сидишь? Поди выпей водочки!

Вакорин скромно встал, подошел к закуске, несмелой рукой стал наливать себе рюмку. В это время двери с шумом растворились, и в гостиную вошел Саврасов с лисьей шкурой в руках.

— Как вы это находите? — обратился он прямо к хозяину и ни с кем почти не кланяясь.

— И слов уж не нахожу, как это выразить! — отвечал тот, раболепно склоняя голову перед гостем.

— Во всем европейском ружейном мире в десять лет один такой выстрел бывает! — сказал Саврасов.

На этот разговор их Вакорин, не допив еще рюмки,

отвел от нее свои кроткие глаза и проговорил довольно громко:

— Каждый год по три таких штуки бью!

Хозяин уставил на дерзкого удивленные глаза, а Саврасов сначала только попятился назад.

— Как, ты бьешь каждый год по три? — проговорил он, не могши еще прийти в себя.

— Бью-с! — отвечал, покраснев, Вакорин.

— Бьешь? — проговорил опять Саврасов.

— Бью-с! — повторил еще раз Вакорин.

— Бьешь? — заревел уже с вспыхнувшим как зарево лицом оскорбленный честолобец и схватил Вакорина за шивороток.

Хозяин и гости подбежали к ним.

— Ну, полноте, бросьте его! — унимали они Саврасова.

— Дурак! Ну, где ты бьешь? — увещевал Вакорина исправник.

— Бью, батюшка, — повторил он и тому.

— Господа! возьмите его у меня; иначе я его задушю! — сказал Саврасов, отбрасывая от себя Вакорина.

— Что хотите, то и извольте делать, а что бивал, — не унимался бедняк, утирая с лица катившийся пот.

— Ну, так пошел же вон! — крикнул на него уж и хозяин, выведенный из терпения такою ложью.

— Я уйду, сударь, уйду! — говорил Вакорин и пошел.

— Я тебе теперь, каналья, кости оглоданной не дам, — вскричал Саврасов, выбегая вслед за ним.

— И я тоже, и я! — повторял хозяин.

Вакорин бледнел, делал из лица препечальнейшую мину.

В лакейской его стал было даже лакей уговаривать:

— Полноте, Петр Гаврилыч, потешьте господ; скажите, что неправду сказали.

— Что мне тешить-то? бивал сколько раз! — отвечал ему Вакорин.

Лакей на это не стерпел и плюнул.

— Фу ты, господи боже мой! — проговорил он.

Господа между тем рассуждали о наглom лжеце в гостиной.

— Каков каналья? а? каков? — кричал Саврасов на весь дом.

Его мелкое самолюбьишко было страшно оскорблено.

Недели через две он по наружности как бы и простил Вакорина, стал даже принимать его к себе в дом, но в душе питал против него злобу. Раз... это уж было у самого Саврасова, тоже собралось дворянство, в том числе два брата Брыкины. Еще покойный отец этих господ рассказывал, что поехал он однажды ночью через Галичское озеро — вдруг трах, провалился в прорубь; дыханье, разумеется, захватило; глаза помутились; только через несколько секунд дышать легче — глядит, тройка его выскочила в другую прорубь — и полнехоньки сани рыбы зачерпнулись в озере. Другой раз заговорили о храме Петра в Риме. «Что это такое за важность этот храм! — воскликнул Брыкин. — Говорят, велик он очень! Вздор! Велик сравнительно, потому что вся-то Италия с нашу губернию. Ну, а как наша матушка Россия раскинулась, так что ни построй, все мало. Вот у нас приход или, лучше сказать, приходишко; выстроили церковь — так псаломщик за всенощной с клироса на клирос на жеребенке верхом ездил.

— Батюшка! — воскликнул при этом укоризненно даже один из сыновей.

— А длина церкви велика ли? — спросил кто-то из слушателей.

— Длина? — отвечал несколько опешенный замечанием сына старик, — длина сажени три.

Так он врал, и все его слушали и даже почти верили ему, потому что тысяча душ была у него. Сынки тоже пошли по нем. В настоящее собрание один из них рассказывал: «Стали, говорит, мы спускаться с Свиныйинской горы, — ведь вы знаете, это стена, а не гора... что-то одна из лошадей плохо спускала — понесли. Заднее колесо заторможено было — однако, пи, пи, пи! — ничего не помогает; я, делать нечего, говорю брату — мы с ним сидели на передней лавочке, а жены наши на задней: «Давай, говорю, тормозить передние колеса»; нагнулись: я на одну сторону — он на другую, взяли колеса в наши лапки — на один камень колесо наскочит, на другой — в рытвину сухую попадет; смотрим, лошади наши уж не несут, а везут коляску».

— И я заторможу колесо, — отозвался вдруг черт знает с чего и для чего Вакорин, тоже тут присутствовавший.

Глаза хозяина загорелись бешенством.

— Ты затормозишь? — спросил он.

— Я-с.

— Да ты, каналья, не только коляску, а одну лошадь на беговых дрожках обеими твоими скверными руками и ногами не остановишь! — прошипел он.

— И так остановлю-с.

— Остановишь? Люди! — Саврасов хлопнул в ладоши.

Вбежали люди.

— Сейчас заложить серого в беговые дрожки. Останавливай! — обратился он к Вакорину.

Тот только уже улыбался.

Лошадь была заложена и приведена к крыльцу. Все гости и хозяин вышли туда.

— Посмотрим, посмотрим! — говорили самолюбиво братья Брыкины.

Вакорин, как обреченный на казнь, шел впереди всех.

— Как же ты остановишь? — спрашивали его некоторые из гостей, которые были подобнее.

— А вот как, — отвечал Вакорин, ложась грудью на дрожки и сам, кажется, не зная хорошенько, что он делает, — вот руки сюда засуну, а ноги сюда! — сказал он и в самом деле руки засунул в передние колеса, а ноги в задние.

— Отпускай! — крикнул он каким-то отчаянным голосом державшему лошадь кучеру.

Тот отпустил. Лошадь бросилась, колеса завертелись; Вакорин как-то одну ногу и руку успел вытащить, дрожки свернулись набок, лошадь уж совсем понесла, так что посланный за нею верховой едва успел ее остановить.

Вакорин лежал под дрожками.

— Вставайте! — сказал подъехавший к нему верховой.

— Немного, проклятая, наскაკала — остановил же! — сказал Вакорин и хотел было подняться, но не мог: у него переломлена была нога.

Лет десять тому назад я встретил его в В... совсем уже стариком, хромым и почти нищим. Он сидел на тротуаре и, макая в пустую воду сухую корку хлеба, ел ее. Невдалеке от него стоял босоногий мальчишка и, видимо, поддразнивал его: «Лисичий охотник, лисичий охотник!» —

повторял он беспрестанно. Это было прозвище, которое Вакорину дали в городе после первого несчастного с ним случая по поводу лисьей шкуры. Старик только по временам злобно взглядывал на шалуна. Я подошел к нему.

— Что это, Петр Гаврилыч, до чего это ты дошел? — спросил я его.

— Что делать, сударь? Стар стал уж!.. А добрых господ, как прежде было, нынче совсем нет! — отвечал он, и слезы навернулись у него на глазах.

Кого он под «добрыми господами» разумел — богу известно!

III

КАВАЛЕР ОРДЕНА ПУР-ЛЕ-МЕРИТ¹

Прелестное июльское утро светит в окна нашей длинной залы; по переднему углу ее стоят местные иконы, принесенные из ближайшего прихода. Священник, усталый и запыленный, сидит невдалеке от них и с заметным нетерпением дожидается, чтобы его заставили поскорее отслужить всенощную, а там, вероятно, и водку подадут. Матушка, впрочем, еще не вставала, а отец ушел в поле к рабочим. Я (очень маленький) стою и смотрю в окно. Из поля и из саду тянет восхитительной свежестью. Тут же по зале ходит ночевавший у нас сосед, Евграф Петрович Хариков, мужчина чрезвычайно маленького роста, но с густыми черными волосами, густыми бровями и вообще с лицом неумным, но выразительным; с шести часов утра он уже в полной своей форме: брючках, жилетике, сюртучке и *пур-ле-мерите*. Орден сей Евграф Петрович получил за то, что в чине армейского поручика удостоился великого счастья содержать почетный караул при короле прусском в бытность того в Москве. Раздражающее свойство утра заметно действует на Евграфа Петровича; он проворно ходит, подшаркивает ножкою, делает в лице особенную мину. Евграф Петрович — чистейший холерик; его маленькой мысли беспрестанно надо работать, фантазировать и выражать самое себя. В настоящую минуту он не выдерживает, наконец, молчания и останавливается перед священником.

¹ За заслуги (франц.).

— Вы дядю моего Николая Степаныча знавали?

Священник поднимает на него глаза и бороду.

— Нет-с! — отвечает он с убийственным равнодушием.

— Как же, гвардейского корпуса командиром был, — продолжал Хариков опять как бы случайно, да вы знаете, что такое корпусный командир?

— Нет-с! — отвечает и на это священник и, в то же время вытянув из своей бороды два волоска, начинает их внимательно рассматривать.

— Войско наше разделяется на роту, батальон, полк, дивизию и корпус — поняли?

Священник вытянул целую прядь волос.

— Понял-с, — произнес он.

— Ну, а слышали ли вы, — продолжал Хариков чисто уже наставническим тоном, — что покойный государь Александр Павлович великих князей Николая Павловича и Михаила Павловича держал строгонько?

Священник отрицательно покачал головой.

— Ну, так это было! — произнес Хариков полутаинственно и полупшепотом. — И что значит военная-то дисциплина... — продолжал было он, прищуривая глаза, но в это время в комнату вошел покойный отец, по обыкновению мрачный и серьезный, и сел тут на стул.

Евграф Петрович употребил над собою все усилие, чтобы продолжать разговор в прежнем тоне.

— И так как великий князь был бригадным, дядя корпусным, я — адъютантом...

— У кого это адъютантом? — перебил его отец.

— У дяди Николая Степановича, — отвечал ему скороговоркой и не повернувшись даже в его сторону Хариков.

— А!.. — произнес отец.

Все очень хорошо знали, что Хариков никогда и ни у какого своего дяди адъютантом не бывал, и сам он очень хорошо знал, что все это знали, но останавливаться было уже поздно.

— Великий князь обыкновенно каждую неделю являлся к дяде с рапортом, — говорит он, стараясь скрыть волнение в голосе, — я, как адъютант, докладываю... Дядя выйдет и хоть бы бровью моргнул... Великий князь два пальца под козырек и рапортует: «Ваше высокопревосходительство, то-то и то-то!..» Дядя иногда

скажет: «Хорошо, благодарю, ваше высочество!», а иногда и распеканье. Так не поверите вы, — продолжал Евграф Петрович, обращаясь уж более, кажется, к иконам, чем к своим слушателям, — идет великий князь назад через залу... Я его, разумеется, провожаю... он возьмет меня за руку, крепко, крепко сожмет ее. «Тяжело, говорит, братец Хариков, жить так на свете».

Эти слова священника даже пробрали; он повернулся на стуле и почесал у себя за ухом. В лице отца появляется какая-то злобная радость.

— А как вы с ним кутить ездили? — спросил он хоть бы с малейшим следом улыбки на лице.

— Ездили! — отвечал Хариков, слегка вспыхнув. — С Николаем Павловичем, впрочем, не часто, а все с Михаилом Павловичем... тот любил это.. Пишет, бывало, записку: «Хариков, есть у тебя деньги?» Ну, разумеется, пишу: есть, и отправимся, иногда и Николай Павлович с нами...

— А как вас в часть-то было взяли? — спросил отец с дьявольским спокойствием.

— Да, да! — отвечал Хариков, засмеявшись самым добродушным смехом. — Ну, разумеется, молодые люди раз как-то на островах перешаляли немного!.. трах!.. Полиция и накрыла. «Бога ради, говорят, не говорите, что мы великие князья, и скажите, что просто офицеры». Как, думаю, сказать: просто офицеры, ведь кварталный их потянет; а дядя, я знаю, только и говорит: «Попадись уж, говорит, этот великий князь в чем-нибудь, я его два года с гауптвахты не выпущу...» Делать нечего, отозвал кварталного в сторону... «Дурак, говорю, ведь это великие князья...» Он как стоял, так и присел на корточки и, разумеется, сейчас же скрылся... я деньги там, какие нужно было, заплатил, и уехали.

— Как вы ехали назад: сухим путем или водою? — спросил отец, как бы не думая ничего особенного этим сказать.

— До Дворцового моста на извозчике доехали, а тут встали, до дворца-то пешком дошли, — отвечал Хариков, как бы не поняв насмешки. — И какая, господи! у государя память была... в последний приезд свой к нам... Ну, разумеется, мы все, дворяне, собрались в зале... Впереди вся эта знать наша... губернатор, председатель, предводитель... я, какой-нибудь ничтожный депутатишко

от дворянства, стою там где-то в углу... Он идет, только вдруг этак далеко, но прямо против меня останавливается. «Хариков, говорит, это ты?» — «Я, говорю, ваше величество», а у самого слезы так и льются. Вижу, у него на правом глазу слезинка показалась. «Очень рад, говорит, братец, тебя видеть, только смотри, не болтай много...» — «Ваше величество...» — говорю.

— Это и я слышал! — подхватил вдруг отец.

— Ну да, вот и вы, кажется, тут были! — обратился к нему Хариков, видимо удивленный этой поддержкой.

— Еще тогда государь поотошел немного, — продолжал серьезно отец, — да и говорит дворянству: «Вы, господа, пожалуйста, не верьте ни в чем Харикову: он ужасный лгунишка и непременно вам на меня что-нибудь налжет».

— О, вздор какой! — произнес со смехом Хариков. — Станет государь говорить.

— Как не вздор! — возразил ему отец. — Я дал тебе три короба нагородить, а ты мне маленький кузовочек не хочешь позволить.

К счастью Евграфа Петровича, в то время вошла матушка. Он поспешил перед ней модно расшаркаться, поцеловал у ней ручку и осведомился об ее здоровье.

Во время всенощной он заметно молился на старинный офицерский манер, то есть клал небольшой крестик и едва склонял голову, затем почему-то с особенным чувством пропел: «От юности моя мнози борят мя страсти!» Но когда начали «Взбранной воеводе», он подперся рукою в бок, как будто бы держась за шарф, откуда бас у него взялся, пропел целый псалом, ни в одной ноте не сорвавшись, и, кончив, проговорил со вздохом: «Любимая стихера государя!»

Мне всего еще раз удалось видеть, уже на смертном одре, этого невинного человека в его маленькой усадьбе, маленьком домике и в маленькой спальне, в которой не было никаких следов здорового человека, всюду был душливый воздух, везде стояли баночки с лекарством, и только на столике у кровати лежал пур-ле-мерит на совершенно свежей ленте.

Когда я сел около Евграфа Петровича, он крепко сжал мне руку.

— Вы, вероятно, будете у меня на похоронах? — проговорил он довольно спокойным голосом. — Прикажите, пожалуйста, чтобы крест этот несли перед моим гробом: я заслужил его кровью моею.

Евграф Петрович во всю жизнь свою капли не проливал ни своей, ни чужой крови.

Через неделю он помер. Я долгом себе поставил исполнить его предсмертное желание и даже сам нес крест на малиновой подушке, которую покойник задолго еще до смерти поспешил для себя приготовить.

«О судьба! — думал я, — для чего ты не дала этому человеку звезду... Любопытно бы было видеть ту степень нежности, с какою бы он относился к этой высокой награде служебных заслуг».

IV

ДРУГ ЦАРСТВУЮЩЕГО ДОМА

Честолюбие так же свойственно женским сердцам, как и мужским. Тетка моя, Мавра Исаевна Исаева, была как бы живым олицетворением этого женерозного¹ чувства. Признаюсь, и по самой наружности я не видывал величественнее, громаднее и могучее этой дамы, или, точнее сказать, девицы: прямой греческий нос, открытый лоб, строгие глаза, презрительная улыбка, густые серебристые в пуклях волосы, полный, но не обрюзглый еще стан, походка грудью вперед; словом, как будто бы господь бог все ей дал для выражения ее главного душевного свойства.

Мавра Исаевна, как можно судить по ее здоровой комплекции, чувствовала большую склонность к замужеству; но единственно по своему самолюбию осталась в самом строгом смысле девственницею и ни разу не снизошла до вульгарной любви к какому-нибудь своему брату дворянину, единственною страстью ее был и остался покойный государь Александр Павлович. Когда после 12-го года он объезжал Россию, она видела его в маленьком уездном городке из окон своей квартиры.

¹ Благородного (франц.).

— Он проехал в коляске, блистающий красотой и милосердием, и судьба сердца моего была решена навек, — говорила она прямо и откровенно всем.

В двадцать четвертых и двадцать пятых годах Мавре Исаевне случилось быть по делам в Петербурге. Она видела петербургский потоп, видела государя, задумчиво и в грусти стоявшего на балконе Зимнего дворца. Она сама жила в это время на Васильевском острове, потеряв все свое маленькое имущество. Из особенно устроенной комиссии ей было предложено вспомоществование.

— Позвольте узнать, из каких это сумм? — спросила она раздававшего чиновника.

— Из сумм государственного казначейства, — отвечал тот.

Мавра Исаевна сделала гримасу презрения.

— Я подаяние могу принимать только от моего бога и государя, — проговорила она и не взяла денег.

Видела Мавра Исаевна и 14 декабря; на ее глазах (она жила тогда уже в Семеновском полку) солдаты вышли из казарм и возвратились туда. В тот же день вечером (поутру она немножко притрухивала выходить из квартиры) она встретила Орлова, проехавшего с своими кавалергардами. Около этого же времени Мавра Исаевна по просьбе одной своей знакомой ездила к ее дочери в Смольный монастырь. Начальница его, оказавшаяся землячкой Мавры Исаевны, очень ласково приняла ее и, видя, что эта бедная провинциалка все расспрашивает о царской фамилии, пригласила ее на одно из торжественных посещений Марьи Федоровны. Чтобы лучше было видеть, она поставила Мавру Исаевну около главного входа, через который императрица должна была проходить. Мавра Исаевна поклонилась государыне глубоко, но с достоинством; та, по обычной своей любезности, отвечала ей доброй улыбкой и легким наклоном головы.

Все эти случаи, не особенно знаменательные, действовали, однако, странным образом на воображение пятидесятилетней девицы: она стала считать себя окончательно связанною с царствующим домом и, проживая потом лет тридцать в деревне, постоянно держала около себя воспитанниц, которых единственною обязанностью было выслушивать различные ее фантазии на эту тему; но эти *неблагодарные твари*, как обыкновенно Мавра Исаевна называла их, когда прогоняла от себя, обнару-

живали в этом случае довольно однообразное свойство: вначале они как будто бы и принимали все ее слова с должным удовольствием, но потом на лицах их заметно стала обнаруживаться скука, и, наконец, они начинали делать своей благодетельнице такие грубости, что она поневоле должна была расставаться с ними. В последние годы жизни Мавры Исаевны пошло еще хуже. Из соседних дворянок, приказничих, мещанок жить к ней никто даже и не шел.

Она принуждена была входить в переписку с начальницами разных монастырей, приютов, ездить к ним, подличать перед ними, делать им подарки, чтобы они уделили ей хоть какой-нибудь отросток из своего богатого питомника; но и тут счастья не было: первый взятый ею отпрыск вдруг оказался в таком положении, что Мавра Исаевна, спасая уже свою собственную честь, поспешила ее отправить поскорее обратно в заведение.

Последней приживалкой Мавры Исаевны была из дворян богомолка Фелисата Ивановна. Мавра Исаевна сама про нее говорила, что эту девицу ей бог послал. На глазах автора Фелисата Ивановна в глухую полночь, в тридцать градусов мороза, бегала для своей благодетельницы в погреб за квасом; и подобная привязанность оказалась потом непрочною: чрез какой-нибудь год стало заметно, что между Маврой Исаевной и Фелисатой Ивановной пошло как-то нехорошо.

Раз мы ужинали. Тетушка с своей обыкновенною позой, я — всегда ее немножко притрухивающий, и Фелисата Ивановна. Последняя сидела с крепко сжатыми губами и с неподвижно сложенными руками; есть она давно уже ничего не ела ни за обедом, ни за ужином.

— Славный хрусталь! — имел я неосторожность сказать.

— Да, это хрусталь петербургский! — отвечала Мавра Исаевна, кинув почему-то взор презрения на Фелисату Ивановну. Слова *Петербург, петербургский* всегда поднимали в ней самолюбие и как будто бы давали шпоры этому ее чувству.

— У меня бы его было человек на сто, как бы не эта госпожа, — прибавила она, указывая уже прямо глазами на Фелисату Ивановну.

Тонкие губы той еще более сжались.

— Я, кажется, у вас еще ничего не разбила! — возразила она тихо, шипящим голосом.

— Ты разбила у меня то, что дороже было для меня всего в жизни, — стакан, который подарила мне императрица Мария Федоровна.

— Какой уж это стакан императрицы — стаканишко какой-то!

Мавра Исаевна вся побагровела.

— Молчать! — крикнула она.

Фелисата Ивановна действительно разбила какой-то стаканишко, на котором была отлита буква М и который Мавре Исаевне вдруг почему-то вздумалось окрестить в подарок императрицы.

— Как то случилось, — продолжала она, обращаясь с некоторою нежностью ко мне, — тогда я познакомилась в Петербурге с генеральшей Костиной. «Марья Ивановна, говорю, на что это похожи нынешние девицы? Где у них бог?.. Где у них манеры? Где уважение к старшим?» — «Душенька, говорит, Мавра Исаевна, позвольте мне слова ваши передать императрице». — «Говорите», — говорю. Только вдруг после этого курьер ко мне, другой, третий: «Императрица, говорят, желает, чтобы вы представились ей...» Я еду к Костиной. «Марья Ивановна, говорю, я слишком высоко ставлю и уважаю моих государей, чтобы в этом скудном платье (Мавра Исаевна при этом взяла и с пренебрежением тряхнула юбкою своего платья) явиться перед их взоры!» Но так как Костина знала весь этот придворный этикет, «Мавра Исаевна, говорит, вы не имеете права отказаться, вам платье пришлют и пришлют даже форменное». — «А, форменное — это другое дело!»

Я нарочно закашлял, чтобы скрыть свои мысли.

— Какое же это форменное? — спросил я.

Мавра Исаевна прищурила глаза.

— Очень простенькое, — отвечала она, — черное гласе, на правом плече шифр, на рукавах буфы, спереди наотмашь лопасти, а сзади шлейф... Генеральша Костина тоже в гласе... на левой стороне звезда, на правой лента через плечо... Императрица приняла нас в тронной зале, стоя, опершись одной рукой на кресло, другой на свод законов. «Вы девица Исаева?» — «Точно так, говорю, ваше величество». Она этак несколько с печальной миной улыбнулась. «Скажите, говорит, за что вы порицаете

моих детей?» (Она ведь всех воспитанниц своих заведений называла детьми, и точно что была им больше чем мать...) «Ваше величество, говорю, правила моей нравственности вот в чем, вот в чем, вот в чем состоят». Императрица пожала плечами. «Но как же, говорит, скажите, как вы могли так хорошо узнать моих девиц?» — «Ваше величество, говорю, мне нельзя этого не знать, я имею тут дочь... Мне, как матери и другу моей дочери, нельзя этого не знать».

— Какой дочери? — воскликнул я.

У Фелисаты Ивановны ее тонкий рот раскрылся почти до ушей.

— Да, дочери, — отвечала Мавра Исаевна спокойно.

— Кто же отец вашей дочери? — спросил я.

— Странно спрашивать, — отвечала Мавра Исаевна.

На этом месте Фелисата с умыслом или в самом деле не могла удержаться, но только фыркнула на всю комнату.

Мавра Исаевна направила на нее медленный, но в то же время страшный взор.

— Чему ты смеешься? — спросила она ее каким-то гробовым тоном.

Фелисата Ивановна молчала.

— Чему ты смеешься? — повторила Мавра Исаевна тем же тоном.

— Да как же, матушка, какая у вас дочь! — отвечала, наконец, Фелисата Ивановна.

— А такая же... костяная, а не лычная, — отвечала Мавра Исаевна попрежнему тихо, но видно было, что в ее громадной груди бушевало целое море злобы. — Я моих детей не раскидала по мужикам, как сделала это ты!

Фелисата Ивановна покраснела. Намек был слишком ядовит, она действительно в жизнь свою одного маленького ребеночка подкинула соседнему мужичку.

— Не было, сударыня, у меня никаких детей, — возразила она, — и у вас их не было... Вы барышня... Вам стыдно это на себя говорить.

— А вот и было же!.. На вот тебе! — сказала Мавра Исаевна и показала Фелисате Ивановне кукиш.

— Где ж ваша дочь теперь? — спросил я, желая испытать, до какой степени может дойти фантазия Мавры Исаевны.

— Не беспокойтесь, она умерла, — отвечала она с заметною ядовитостью, — а если б и жива была, не лишила бы вас наследства. У ее отца слишком было много, чем ее обеспечить... О мой маленький кроткий ангел! — воскликнула нежным и страстным голосом старушка. — Как теперь на тебя гляжу, как лежала ты в своем маленьком гробике, вся усыпанная цветами, я стояла около тебя и не плакала. Его не было... Ему нельзя было приехать...

На этих словах Мавра Исаевна вдруг вскочила из-за стола, встала перед образом и всплеснула руками.

— Господи, упокой его душу и сердце и помяни его в сонме праведников своих!.. — зашептала она, устремляя почти страстный взор на иконы.

Мы с Фелисатой Ивановной тоже вскочили, пораженные и удивленные.

Старуха молилась по крайней мере с полчаса. Слезы лились у нее по щекам, она колотила себя в грудь, воздевала руки и все повторяла: «Душу мою, душу мою тебе отдам!» Наконец, вдруг гордо обернулась к Фелисате Ивановне и проговорила: «Пойдем, иди за мной!» и мне, кивнув головой, прибавила: «Извини меня, я взволнована и хочу отдохнуть!» — и ушла.

Фелисата Ивановна последовала за ней с опущенными в землю глазами.

Я долго еще слышал сверху говор вниз и догадался, что это распекают Фелисату Ивановну, потом, наконец, заснул, но часов в семь утра меня разбудил шум, и ко мне вошла с встревоженным видом горничная.

— Пожалуйте к тетушке, несчастье у нас.

— Какое?

— Фелисата Ивановна потихоньку уехала к родителям своим.

Я пошел. Мавра Исаевна всею своей великолепной фигурой лежала еще в постели; лицо у нее было багровое, глаза горели гневом, голая ступня огромной, но красивой ноги выставялась из-под одеяла.

— Фелисатка-то мерзавка, слышал, убежала, — встретила она меня.

Я придал лицу моему выражение участия.

— Ведь седьмая от меня так бежит... Отчего это?

— Что же вам, тетушка, так очень уж гоняться за этими господами! Будет еще таких много.

— Разумеется! — проговорила Мавра Исаевна уже прежним своим гордым тоном.

— Вам гораздо лучше, — продолжал я, — взять в комнату вашу прежнюю ключницу Глафиру... (та была глуха на оба уха и при ней говори, что хочешь, — не покажет никакого ощущения) женщина она не глупая, честная.

— Честная! — повторила Мавра Исаевна.

— Потом к вам будет ездить Авдотья Никаноровна.

— Будет! — согласилась Мавра Исаевна.

Авдотья Никаноровна хоть и не была глуха на оба уха, но зато такая была дура, что ничего не понимала.

— Наконец, Эпаминонд Захарыч будет постоянный ваш гость.

— Да, Эпаминондка! Пьяница только он ужасный.

— Нельзя же, тетушка, чтобы человек был совершенно без недостатков.

Эпаминонд Захарыч, бедный сосед, в самом деле был такой пьяница, что никогда никакими посторонними предметами и не развлекался, а только и помышлял о том, как бы и где бы ему водки выпить.

— Все они будут бывать у вас, развлекать вас, — говорил я, помышляя уже о собственном спасении. Эта густая и непреоборимая атмосфера хоть и детской, но все-таки лжи, которою я дышал в продолжение нескольких дней, начинала меня душить невыносимо. — А теперь позвольте с вами проститься, — прибавил я нерешительным голосом.

— Прощай! Бог с тобой! — отвечала Мавра Исаевна. Ей в эту минуту было не до меня: ей нужна была Фелисатка, которую она растерзать на части готова была своими руками. Дома я нашел письмо от Фелисаты Ивановны, которым она хотела объяснить передо мной свой поступок. «Мне, батюшка Алексей Феофилактыч, — писала она мне в нем, — легче было, кажется, удавиться, чем слушать хвастанье и наставленья вашей тетиньки!»

Три остальные года своей жизни Мавра Исаевна, живя в совершенном одиночестве, посвятила на то, чтобы, никогда не умевши рисовать, при своих слабых, старческих глазах, вышивать мельчайшим пунктиром нерукотворный образ спасителя, который и послала в Петербург с такой надписью: *Брату моего покойного государя!* Все

потом ждала ответа, и так как ожидания ее не сбывались, то она со всеми своими знакомыми совещалась:

— Уж как бы отказать, так прямо бы отказали, а то, значит, дело в ходу.

— Конечно, в ходу, — отвечали ей те в утешение.

V

БЛЕСТЯЩИЙ ЛГУН

Во лжи, как и во всяком другом творчестве, есть своего рода опьянение, нега, сладострастие; а то откуда же она берет этот огонь, который зажигает у человека глаза, щеки, поднимает его грудь, делает голос более звучным?.. Некто N..., еще в двадцатых годах совершивший кругосветное путешествие, был именно одним из таких электризирующих себя и других услаждающих говорунов и лгунов своего времени. Маленький, проворный, живой, с красивыми руками и ногами и вообще своей наружностью напоминающий польского ксендза, имеющий привычку, когда говорит, закрывать глаза и вскрикивать в конце каждой фразы как бы затем, чтобы сильнее запечатлеть ее в ушах слушателей, N... почти целые две зимы был героем Москвы. Князь П... (да простит господь бог этому человеку его гордость, которая могла равняться одной только сатанинской гордости!), князь П... искал знакомства с N... Обстоятельство это, впрочем, надобно объяснить влиянием княгини, которое она всегда имела на мужа. При воспоминании об этой даме автор не может не прийти в некоторый восторг от мысли, что в России была такая умная и ученая дама. Целый день она, бывало, сидит в своей обитой штофом гостиной, вечно с книгой в руках; две ее дочери, стройные и прямые, как англичанки, тоже с книгами в руках. Положим, к княгине приезжает с визитом какая-нибудь m-me Маурова, очень молоденькая и ветреная женщина.

— Avez vous lu Chateaubriand? ¹ — спросит вдруг княгиня, показывая глазами на книгу, которую держит в руках.

¹ Читали ли вы Шатобриана? (франц.)

— Non¹, — отвечает та очень покойно.

— Non?.. — повторит княгиня почти ужасающим голосом.

— Mon mari n'est pas encore allé au magasin de Gother².

— Шатобриан вышел год тому назад! — скажет княгиня и, не ограничиваясь этим, обратится еще к одной из дочерей своих:

— Chère amie³, принеси мне les Métamorphoses d'Ovide⁴.

Она очень хорошо знает, что m-me Маурова и слов таких: *Метаморфозы Овидия* не слыхала, — а потому по необходимости должна растеряться и уехать.

Я привел этот маленький эпизод единственно затем, чтобы показать, какие люди интересовались N... и дали, наконец, ему торжественный обед, к которому все было предусмотрено: во-первых, был приглашен к обеду, как человек очень умный, профессор Марсов, учивший дочерей княгини греческому языку; из других мужчин были выбраны по большей части сановники — друзья князя; кроме того, на обед налетело больше десятка пестрых и прелестных, как бабочки, молодых дам.

N... входит; но мы ловим его не на его официальном поклоне хозяйке, не в то время, когда он почти дружески пожимал руку хозяина, не даже тогда, когда, сидя уже за столом по правую руку хозяйки, после съеденного супа он начинал ей запускать кое-что о супах-консервах, не в тот момент, когда князь, став на ноги, возвестил тост за здоровье N..., как за здоровье знаменитейшего путешественника, а княгиня, дружески пожимая ему руку, проговорила с ударением: «И я пью!» На все это N... ответил краткими и исполненными чувствами словами, но и только! Он знал, что минута его еще не настала, и был целомудренно скромнен. Она настала, когда он остался в прекрасном кабинете, освещенном по тогдашней моде восковыми свечами, в совершенно интимном кружку князя, княгини, профессора Марсова и двух-трех дам, самых искренних его почитательниц. N... сидел на

¹ Нет (франц.).

² Мой муж еще не был в магазине Готье (франц.).

³ Дорогой друг (франц.).

⁴ «Метаморфозы» Овидия (франц.).

покойном кресле; беспечная голова его была закинута назад, коротенькие ножки утопали в ковре; ощущая в желудке приятный вкус высокоценного рейнвейна, он по крайней мере с час описывал разницу между Европою и затропическими странами.

— Наконец, женщины затропические! — воскликнул он в заключение и поцеловал при этом кончики своих пальцев.

Княгиня на короткое мгновение переглянулась с прочими дамами.

— *Op dit... pardon, это — московские слухи... op dit, que vous avez été marié à une petite négresse*¹.

N... стыдливо потупляет глаза.

— *Non, на мавританке, — ответил он вполголоса. — Это — маленькое племя, живущее около Триполи, — продолжает он, вздохнув и как бы предавшись воспоминанию.*

— Вы были, значит, и в Африке? — спросил его с мрачным видом Марсов.

— Мой бог, я был в Африке везде, где только могла быть нога человеческая.

Говоря точнее, нога *N...* ни на одном камне Африки не была, и он только в зрительную трубку с корабля видел ее туманные берега.

— Я был, наконец, пленник: меня консул александрийский выменял на слона.

— Почему же александрийский консул? — вмешался в разговор князь. Он всегда интересовался дипломатическим корпусом и считал его почему-то близким себе.

— Очень просто! — отвечал *N...* и в творческой голове его создалась уже целая картина, — это случилось на пути моем к Тунису. Я ехал с маленьким караваном... ночью... по степи полнейшей... только и видно, как желтое море песку упирается в самое небо, на котором, как бы исполинскою рукою, выкинут светлый шар луны, дающий тень и от вас, и от вашего верблюда, и от вашего вьюка, — а там вдали мелькают оазисы с зеленеющими пальмами, которые перед вами скорее рисуются черными, чем зелеными очертаниями; воздух прозрачен, как стекло... Только вдруг на горизонте пыль. Проводники наши, как

¹ Говорят... извините... говорят, что вы были женаты на маленькой негритянке (*франц.*).

увидали это, сейчас поворотили лошадей в противоположную сторону и марш. «Что такое?» — спрашиваем мы. «Бедуины», — отвечает нам толмач, и представьте себе — мы без всякой защиты, в пустыне, которая малейшим эхом не ответит на самые ваши страшные предсмертные крики о помощи...

— Ужасно! — проговорила княгиня.

— Ужасно! — повторили и прочие дамы.

Н... продолжал:

— Пыль эта, разумеется, вскоре же превратилась в людей; люди эти нас нагнали. У меня были с собой золотые часы, около сотни червонцев. Спросили они меня через переводчика: кто я такой? Отвечаю: «Русский!» Совет они между собой какой-то сделали, после которого купцов ограбили и отпустили, а меня взяли в плен. Толмач, однако, мне говорит, что все дело в деньгах: стоит только написать какому-нибудь нашему консулу, чтобы он меня выкупил. «Но какой же, думаю, консул на африканском берегу? Самый ближайший из них александрийский». Кроме того, спрашиваю: «Как же я напишу ему?» — «Ваше письмо, говорят, или с нарочным пошлют, или просто по почте». Между всеми европейскими консулами и этими разбойничьими шайками установлено прямое сообщение.

Проговоря это, Н... несколько приостановился. «Ну как, — подумал он, — этого ничего нет, да и быть, вероятно, не может!»

— Впоследствии, впрочем, оказалось, — продолжал он, — что эти самые толмачи и наводят караваны на шайки, а после и делят с ними добычу...

Марсов при этих словах повернулся на стуле.

— Как же толмач может навести? Его дело — переводить с языка, а по дороге вести — дело проводника! — проговорил он своим точным языком.

— О, эти два ремесла всегда в одном лице соединены! — воскликнул Н...

— Да ведь вы сами же сказали, что проводники ваши ускакали, а толмач при вас остался.

— То не проводники, а военная стража — только! — возразил Н...

— То военная стража! — подтвердил и хозяин.

Марсов, незаметно для других, пожал плечами и замолчал.

— Что же, вас в плену держали в тюрьме, под надзором? Употребляли на какие-нибудь работы? — спросила княгиня с участием.

— О нет, напротив! — воскликнул N... (до какой степени он быстро творил в этом разговоре — удивляться надо). — Я жил в очень маленьком селеньице, состоящем из глиняных саклей — по загородам бананы растут, как наши огурцы; в какое-нибудь драгоценнейшее фиговое дерево — вы вдруг видите — для чего-то воткнуто железное орудие вроде нашей пещни, и на ней насажена мертвая баранья голова...

— Что же, к консулу вы писали? — перебил его князь.

— Писал... С одним купцом, дружественным этому селению, письмо мое было отправлено.

— Что ж он вам отвечал? — продолжал князь.

Он решительно во всем этом разговоре только и заинтересовался, что консулом и отчасти военною стражею, названною проводниками.

— Консул отвечал, — продолжал N..., — что он для выкупа пленных совершенно не имеет сумм; но в то же время, принимая там во внимание мое имя, как литератора и путешественника, и ценя высоко услуги, оказанные мною отечеству, и прочие там любезности, он не может оставаться равнодушным к моему положению и имеет для этого один способ: есть у него казенный слон, подаренный одним соседним беем. Слона этого ему предписано продать, и он уже отдал его купцу, привезшему мое письмо, а тот обещал за это меня выкупить. Так меня и обменяли... на слона!

— А когда же ваша женитьба состоялась? — спросила княгиня. В противоположность мужу, ее более интересовала поэтическая сторона плена N...

— А вот в этот промежуток времени, между моим пленом и освобождением.

— Однако позвольте! — возразила вдруг княгиня, прищуриив глаза, — тут для меня есть маленькое недоразумение. Вы говорите, что вас взяли в плен бедуины, а женились вы между тем на мавританке, тогда как одно племя кочующее, а другое — оседлое...

(Из этих слов читатель может видеть, до какой степени княгиня была учена.)

— О бог мой! — воскликнул ей на это N... — Это по географии ведь только так!.. На самом же деле, бог знает

какое племя, мавританское или бедуинское племя — только с теми же воинскими наклонностями, с тою же дикостью нравов.

Марсов при этом опять незаметно для других насмешливо улыбнулся; но княгиня осталась довольна этим объяснением.

— Подробности вашего брака? — спросила она уже несколько лукавым голосом.

— Подробности очень обыкновенны! — протянул N... (он в это время придумывал), — очень даже обыкновенны! — повторил он, — приходит ко мне раз с моим толмачом малый из туземцев, чрезвычайно красивый из себя, по обыкновению бритый, с чубом на голове, как у наших малороссиян. «Не желаешь ли, говорит, князь, жениться?» Я посмотрел на него. «У меня есть сестра красавица. Князь, можешь жениться на ней на месяц, на два, на год».

— И вы женились? — заметила княгиня укоризненно.

— Женился!

— На месяц, на два? — продолжала княгиня насмешливо.

— Нет, на два года.

— Не верю! — возразила княгиня, кивнув отрицательно головой.

— Уверяю вас! — сказал искренним голосом N... — Довольно странен обряд их венчания: если вы женитесь на полгода, вас обводят полкруга, на год — целый круг, на два — два круга.

— Кто же это венчает у них? — спросил почти озлобленным голосом Марсов.

— Мулла: они — магометане! Совершенно как у нас в Крыму: вы можете на татарке жениться на месяц, даже на неделю, — отвечал, не запнувшись, N... (Он собственно только и слышал, что нечто подобное в Крыму будто бы существует.)

— Скажите, вы вашу жену там на родине и оставили? — продолжала княгиня.

— Нет, я ее привез в Европу, и надобно было видеть восторг этого ребенка всему: и кораблю, и городам нашим, и дилижансам; на каждом почти шагу она вскрикивала, смеялась, хлопала в ладоши; в Париже перед каждым дамским магазином она решительно замирала и все мне говорила: «Как бы хорошо это украсть!»

— Как украсть? — воскликнули в один голос оставшиеся слушать N... дамы.

— А так украсть, — отвечал он им с лукавой улыбкою.

— Очень просто, я думаю, — разрешила княгиня, — воровство у них, вероятно, считается никак не пороком, а добродетелью.

— И очень большою... Старшины их обыкновенно говорят: «Я старшина, потому что украл сорок жеребцов и тридцать маток».

Лицо княгини между тем приняло опять серьезное, чтобы не сказать строгое, выражение.

— Где ж теперь жена ваша? — спросила она, уставляя на N... пристальный взгляд.

— В могиле! — отвечал он со вздохом и понурил голову. — В Лондоне мне надобно было долго пробыть для подробного описания начинающего там устроиваться пароходного завода; она не перенесла климата и умерла.

— Mais on dit, que vous aviez un enfant de cette femme? ¹ — продолжала княгиня тем же строгим голосом. Дамы, как известно, о всех хоть сколько-нибудь вольных предметах предпочитают говорить по-французски, будучи твердо уверены, что этот благородный язык способен облагородить все, даже неблагородное.

— Oui! ² — отвечал ей в тон по-французски N... — Но и ребенок вскоре вслед за матерью отправился, — прибавил он опять с печалью.

— Monsieur! — начала одна из оставшихся его слушать дам, покраснев до конца своих хорошеньких ушей и, видимо, сжигаемая с одной стороны любопытством, а с другой — стыдом, — dites moi, de quelle couleur était votre enfant? ³

— Café au lait! ⁴ — отвечал N... и при этом сам даже не мог удержаться и засмеялся.

Марсов этого уж не выдержал. Он встал, порывисто поклонился общим поклоном всему обществу и, проговорив лаконически: «Прощайте-с!» — вышел какой-то угрожающей походкой.

¹ Но говорят, что у вас был ребенок от этой женщины? (франц.)

² Да! (франц.)

³ Сударь... скажите, какого цвета был ваш ребенок? (франц.)

⁴ Кофе с молоком! (франц.)

Всю Поварскую и Никитскую он шел, погруженный в глубокую задумчивость, и все что-то шептал про себя; человек этот всю свою молодость воспитал в мудром уединении, и при этом, имея от природы слоновобразную наружность и густой, необразованный голос, он в обществе был молчалив и застенчив до дикости, но так как от природы был наделен сильной фантазией и живым воображением, то любил поговорить дома, особенно выпивши (несчастливая привычка, полученная им еще в бурсе: Марсов происходил из духовного звания), и поговорить по преимуществу в присутствии Гани, женщины из простого звания и хоть не освященной браком, но тем не менее верной и нежной его подруги. В глазах ее он как бы постоянно хотел казаться окруженным ореолом и метающим стрелы красноречия на диспутах, которые будто бы он имел с разными господами военными и статскими (уважение к диспутам в нем тоже осталось от семинарии: «Они изощряют ум, волнуют сердце благороднейшими страстями и укрепляют характер человека!» — говаривал он). Последний случай у князя, конечно, послужил обильнейшим источником для беседы на эту тему. Почтенный педагог, придя к себе в квартиру и едва переменяв свой синий фрак на покойный и засаленный халат, сейчас же воскликнул:

— Ганя, водки!

Его вульгарный желудок даже и не помнил о тех гастрономических сокровищах, которые он сейчас только проглотил, и вовсе не считал за святотатство отравить все это сивухой. Ганя (претолстое и предобродушнейшее существо), зная хорошо привычки своего патрона, немедленно поставила перед ним огромный графин водки, пирог с говядиной и луком и сама села тут же рядом чай пить.

— Выпил бы наперед чайку-то! — сказала она.

— Выпью! — отвечал профессор и вместо того выпил рюмку водки, закусил ее пирогом, потом еще рюмку и еще рюмку.

Впечатление лжи человеческой на этот раз очень сильно подействовало на Марсова: рот его перекосясь, или, как выражались хорошо знавшие своего наставника студенты, застегнулся на правое ухо, что всегда означало, что этот добрый человек находился в озлобленном и насмешливом расположении духа.

— Видел я, сударыня, путешественника знаменитого! — отнесся он к Гане, качнул затем головой и сделал такую мину, что Ганя сразу поняла, как держать себя в этом разговоре.

— Мало ли их, знаменитых! — сказала она с насмешкой.

— Именно... мало ли!.. — подхватил Марсов и захохотал громким каменным смехом, — знаешь, как трещотка: тр-тр-тр... А я — нет, погоди, барин, постой! И начал ему в колесо-то гвозди забивать — раз гвоздь, два, три...

Читатель видел, как почтенный педагог скромно и умеренно это делал. Но Ганя притворилась, что всему этому верит, и даже как будто бы обеспокоилась этим.

— Да тебе что за дело? Везде ввяжется?..

— И ввяжусь! — расхорохорился Марсов. — Я ему сказал, что он *лжец!* (Многоуважаемый педагог, может быть, думал это, но мысли его, как знаем, решительно не перешли в звуки.) Я диспутировать могу, — продолжал он, — ставь мне свое положение, я обстреливаю его со всех сторон. Я ставлю мое — стреляй и ты! А что это-то тр-тр-тр, так я их заторможу — стой!

— Вот этак ты и старшим-то тормозишь, и не дают до сих пор генерала! — возразила Ганя.

Гане и самому Марсову ужасно хотелось, чтобы он был генерал.

— И буду им тормозить: врут они! (В сущности Марсов никому из начальства слова грубого не сказал.) Теперь Михайло Смирнов генерал, а чья голова крепче — его или моя?

— Кто вас знает! — возразила Ганя, у обоих крепка, по штофу выпьете — ничего!

Старик улыбнулся.

— Дура! — сказал он протяжно, — речь Михайла Смирнова — ветер палящий, на воображение слушателей играющий, а мое слово — молот железный, по мозгу бьющий.

— Ой, да больней молотом-то, чем ветром.

— Зато прочней! — повторил несколько раз старик.

Ганя поспешила подавать ужинать, но ей долго еще пришлось послушать, как Марсов гвозди вбивал в рассказы путешественника.

Хороший был человек, справедливый, честный, а дома все-таки прихвастнуть любил.

VI

СЕНТИМЕНТАЛЫ

Чем человек может лгать?.. Тем же, чем и согрешать: словом, делом, помышлением — да, помышлением!.. Человек может думать, чувствовать не так, как свойственно его натуре. Карамзин, например, был прекрасный писатель, но привил к русскому человеку совершенно несродный ему элемент — сентиментальность!.. Из любви мы можем зарезать, зарезаться, застрелить, застрелиться, но ходить по берегу ручья с цветком в руке и вздыхать — не станем! У нас девушка, кинутая своим любовником, поет:

Изведу себя я не зельем и не снадобьем,
Изведу я горячьми слезми.

Другая, любовница разбойника, говорит, что ей в тюрьме быть:

А за то ль, про то ль,
Что пятнадцати лет на разбой пошла.
Я убила парня белокурова,
Из груди его сердце вынула,
На ноже сердце встрепенулося,
А я ж млада усмехнулася!

Совсем уж мы не сентиментальный народ: мы — или богатыри, или зубоскалы.

Но в нашем читающем обществе сентиментальность была. Сам ядовитый Вигель — читатель, конечно, прочел его умные записки — был, сколько можно заметить, не чужд этого фальшивого чувства. Прекрасным тогда все восторгались. Франты того времени обожали даже это прекрасное в себе подобных, и это обожание, положительно можно сказать, шло в нашем обществе рука об руку с сентиментальностью.

Выбранные мною экземпляры, кажется, довольно яркие и рельефны для выражения того, что я хочу сказать.

Матушка моя, не знаю почему, всегда очень любила, чтобы я знакомился с женщинами умными.

— Друг мой, — говорила она мне однажды с лукавой нежностью, — когда ты сделаешь для меня это одолжение и съездишь к Доминике Николаевне?

Доминика Николаевна, девица лет сорока шести, была большая любительница читать книги и жила у себя в усадьбе, по ее словам, как канарейка в клетке.

— Когда ты, помнишь, писал ко мне твое милое, длинное письмо, — продолжала матушка, — она была у меня, я при ней получила его и дала ей прочесть; читая его, она, без преувеличения, заливалась слезами. «Дайте, говорит, мне видеть эту руку, которая начертала эти смелые строки!»

Мне в это время было лет восемнадцать. Я был студент и действительно в этот год отмахал матушке длиннейшее письмо, в котором, между прочим, описывал Кремль и то, как царица Софья Алексеевна вывела перед бунтующим народом царевичей Иоанна и Петра и как Петр при этом повернул на голове корону и сказал: «Как повернул я эту корону, так поверну и стрельцов!» Относительно душевного моего настроения надо объяснить, что я в это время был влюблен в одну из жесточайших моих кузин и жаждал иметь друга-женщину, с которой мог бы поделиться своими печальными мыслями. Доминика Николаевна, по всем тем представлениям, которые я об ней составил, могла, казалось мне, быть таким другом. Она — девушка умная и по выражению лица моего поймет, что волнует и терзает мою душу, спросит меня о том, и я ей скажу все, скрываться мне нечего: чувства мои не преступны. Поехал я. Дорогою мечтательное мое настроение все больше и больше росло. Мне представлялось уже, что я лежу тяжело больной у Доминики Николаевны, и она тайком проводит ко мне жестокую кузину, которая становится на колени перед моей кроватью и умоляет меня возвратиться к жизни.

— Поздно, — говорю я ей слабым голосом, — это вы меня привели ко гробу.

Читатель, конечно, видит, что и в моих мечтаниях была значительная доля буколического.

Домик, или клетка, Доминики Николаевны начинался небольшим прирубным, полуразвалившимся крылечком. Я вошел по нем. В передней встретил меня старый лакей, с очками на носу и с чулком в руке.

— У себя Доминика Николаевна? — спросил я его с некоторою строгостью, как вообще спрашивают люди, когда приезжают туда, куда их ждут.

— Оне в поле вышли-с, сейчас придут, — отвечал лакей.

В зале мне первое бросилось в глаза крашеное дерево с жестяными крашеными листьями, по веткам которого

было рассажено огромное количество чучелок колибри. Дерево, как нарочно, стояло перед открытым окном, из которого виднелись настоящие деревья и светило летнее солнце. Сопоставление этой поддельной Австралии с живой природой меня неприятно поразило; так и хотелось это мертвое дерево с его мертвыми птичками вышвырнуть куда-нибудь. По самой длинной стене комнаты стояло открытое фортепьяно. На нем развернут был романс, из которого я теперь только и помню два стиха:

Что в сердце есть жестокие страдания,
И тем я с ранних лет безмолвно изнывал.

Мне захотелось сесть. Я прошел в гостиную. Там вышивался огромный ковер. Узор представлял поэтического Малек-Аделя, отбивающегося от двух рыцарей. Искусства и старания на вышивание было употреблено пропасть: брови и усы сарацина сверх шерстей были даже, кажется, тронуты краскою; красный плащ с левого плеча его спускался бесконечными складками; конь отличался яростию и бешенством, и особенно эффектно выставлялись две его, слегка красноватые ноздри. Рыцари замечательны были своими наклоненными позами к Малек-Аделю. По стенам гостиной развешаны были гравюры, изображающие пастушков и пастушек с пасущимися стадами; мебель была не новая, но довольно мягкая; на свечах висели абажуры — все это, если хотите, было довольно уютно, но чересчур уж как-то грязновато, и от всего точно пахло какой-то сухой травой.

Послышался, наконец, шелест женского платья и женский, несколько дребезжащий голос:

— Очень, очень рада!

Доминику Николаевну предупредили уже о моем приезде. Она вошла в гостиную, свернувши несколько голову набок; в костлявых руках ее, заключенных в шелковые à jour¹ перчатки, она держала зонтик; на голове у ней была полевая соломенная шляпка. Как бы в прямое противоречие этому летнему костюму, к щеке Доминики Николаевны была привязана ароматическая подушечка; кроме того, делая мне книксен, она махнула подолом платья и обнаружила при этом, что была в теплых шерстяных ботинках. Я, по тогдашней моде, подошел к ней

¹ Ажурные (франц.).

к руке. Она на это мне поспешно сдернула с руки перчатку à joug.

— Благодарю вашу матушку и вас! — сказала она, кидая на меня отчасти нежный и отчасти покровительственный взор.

— Усядемтесь, — прибавила она в заключение.

Уселись.

Доминика Николаевна несколько времени осматривала меня с головы до ног.

— Хорошо ли вы, во-первых, учитесь? — спросила она.

Я обиделся.

— Хорошо-с! — процедил я сквозь зубы.

Доминика Николаевна закатила глаза вверх.

— Я читала ваше письмо: перо превосходное, мысли возвышенные!

Я помирился несколько с ней.

— Вы застали меня, — продолжала Доминика Николаевна с глубоким вздохом, — убитую горем и болезнью...

Я молчал.

— Дмитрий Дмитрич... вы, конечно, его знаете?

— Знаю-с!

— Он получил еще новый удар от своих врагов: его опять хотели посадить в тюрьму.

В печальном выражении лица Доминики Николаевны была видна и насмешка и грустное презрение к людям.

— Но, вероятно, он как-нибудь избавится от этого, — произнес я.

— Друзья его, конечно, не допустили; я вот это мое имение заложила и внесла за него.

Дмитрий Дмитрич, как все это знали и чего она сама не скрывала, был друг ее сердца.

— Вот вам всем, молодым людям, — продолжала она, — этот человек образец, который имеет все достоинства.

Дмитрий Дмитрич в самом деле имел много достоинств: всегда безукоризненно и по моде одетый, с перетянутой, как у осы, талией, с тонкими каштановыми и уже с проседью усами и с множеством колец на художавых руках — Дмитрий Дмитрич был сын какого-то важного генерал-аншефа. Воспитывал его французский граф, эмигрант и передал впечатлительному мальчику все свои добродетели и пороки. Сначала Дмитрий Дмитрич

служил в гвардии, танцевал очень много на балах, потом гулял на Невском уже в штатской бекеше и, наконец, вдруг вследствие чего-то выслан из Петербурга с обязательством жить в своей губернии.

— По четырнадцатому декабрю замешан, — говорили сначала про него таинственно.

Сам Дмитрий Дмитрич по этому поводу больше или отмалчивался, или делал гримасу.

Все раскрывающее время, впрочем, дало и другого рода толкование сему обстоятельству, и впоследствии, когда кто-либо из приезжих спрашивал какого-нибудь туземца, за что Милин (фамилия Дмитрия Дмитрича) выслан из столиц:

— Выслан-с он... — отвечал туземец, и если при этом была жена в комнате, он говорил ей: «Видь, душа моя!» Та выходила, туземец что-то такое тихо говорил приезжему, тот делал знак удивления в лице.

— Неужели? — восклицал он.

— Говорят! — отвечал грустным голосом хозяин.

Дмитрий Дмитрич наследовал после отца хорошее состояние, но, к несчастью, имел два совершенно противоположные качества: проживать деньги он знал тысячи миллионов способов, но наживать их — ни одного; он даже в карты играл только с дамами, и то в бостон, и то всегда проигрывал; а между тем он любил принять ванну с дорогими духами, дом у него устроен был превосходными, почти редкими, растениями... Дмитрий Дмитрич был дамский, а с другой стороны, и совершенно, пожалуй, не дамский кавалер. Для поправления обстоятельств своих он мог только занимать деньги. Способ этот и навлек ему впоследствии столько врагов, о которых упоминала Доминика Николаевна.

— Он у меня будет сегодня, вы его не узнаете: несчастье сломило и этого могучего человека, — проговорила она.

Я очень хорошо понял, что с Доминикой Николаевной можно только говорить об ее собственных чувствах, а потому, отложив всякую надежду побеседовать с ней о кухне, стал невыносимо скучать и молил бога, чтобы по крайней мере поскорей явился Дмитрий Дмитрич. Часов в восемь он приехал, развалясь в коляске, на четверне каких-то кляч и тоже в соломенной шляпе и летнем пальто и башмаках.

Лицо Доминики Николаевны осветилось. Она пошла навстречу Дмитрию Дмитричу скорей какой-то торжественной, чем радостной походкой. Я не пошел за ней, но в зеркале видел их первую сцену свидания. Дмитрий Дмитрич взял и по крайней мере раз двадцать поцеловал руку Доминики Николаевны.

— Добрый друг, вы все для меня сделали! — проговорил он, наконец.

В голосе его как будто бы слышались слезы.

— И делается это для доброго друга, — отвечала Доминика Николаевна с какой-то знаменательностью, затем прежней торжественной походкой ввела Дмитрия Дмитрича в гостиную.

— *Bonjour!*¹ — проговорил он, мотнув мне головой, и сел.

Доминика Николаевна села против него.

— *A propos*², сейчас сюрприз, — начал Дмитрий Дмитрич и потом крикнул довольно громко: — *Chez Назар!*

На этот зов вошел в комнату красивый из себя лакей в казакине и перетянутый поясом, сплошь выложенным серебром с чернетью. Усы и волосы у него были совершенно черные, на руках было множество колец, а из-за борта казакина выставлялась толстая золотая цепочка.

— Поддай, знаешь, это!.. — проговорил Дмитрий Дмитрич.

Лакей вышел и, возвратясь, принес клетку, в которой сидели два кролика.

Доминика Николаевна вдруг вскочила и начала перед ними прыгать.

— Ах, как это мило, прелесть, прелесть!

— На шейке у них розовые ленточки! — проговорил лакей.

Доминика Николаевна вдруг переменила выражение в лице и посмотрела на него строго. Лакей, кажется, это заметил и с какой-то насмешливой улыбкой замолчал; а потом, постояв немного, совсем вышел из комнаты, не переставая усмехаться про себя. Доминика Николаевна все еще продолжала прыгать перед кроликами.

¹ Добрый день! (франц.).

² Кстати (франц.).

— Взамен этого я иду вам показать мои цветы! — сказала она Дмитрию Дмитричу. — Молодой человек, вы тоже должны за нами следовать, — прибавила она мне развязно.

Я пошел.

Садишко был обыкновенный, очень запущенный, цветы даже не прополоты; но главная сущность состояла в том, что Доминика Николаевна сорвала одну из роз и прикрепила ее в петлю Дмитрию Дмитричу.

Всю эту прогулку они совершили под руку. Моя юношеская брезгливость невольно возмущалась этим. «Все-таки этот господин, — думал я, — был человек светский, видал же он женщин красивых и, вероятно, сблизился с ними, каким же образом он мог так близко переносить около себя подобное безобразие».

Когда мы возвратились в комнаты, нас ожидал чай, или, как выразилась Доминика Николаевна, супе фруа ¹, состоящий из протухлой солонины и плохого масла. Дмитрий Дмитрич принялся с большой жадностью есть варенье. Для меня собственно Доминика Николаевна велела принести кринку превосходнейшего молока и при этом рассказала все высокие достоинства надоившей его коровы. Напрасно я с божбой и клятвой уверял ее, что терпеть не могу этого аркадского напитка, — меня заставили выпить стакан. Сама Доминика Николаевна и Дмитрий Дмитрич тоже выпили по стакану. Можно быть почти уверено, что они восхищались молоком единственно потому, что в их романических головах непременно соединялись вместе: деревня, молоко, ручеек, овечка, и, кроме того, так еще недавно французская королева держала у себя в Трианоне коров и сама снимала сливки. После чаю я сейчас же хотел ехать.

— Подождите четверть часа, поедемте вместе, — остановил меня Дмитрий Дмитрич.

— А вы не останетесь у меня? — спросила Доминика Николаевна, и как бы молния блеснула из ее глаз.

— Завтра у меня покос, молотьба... — отвечал Дмитрий Дмитрич несколько сконфуженным голосом.

Когда они говорили это, мы выходили уже на балкон. Доминика Николаевна села там на небольшой диванчик, а Дмитрий Дмитрич довольно далеко от нее на стул.

¹ Холодный ужин (франц.).

Я пошел бродить по саду. Долетавший до меня разговор между ними был довольно незначительный.

— Вы знаете, в прошлое воскресенье в Веденском ваш Назар опять был пьян! — говорила Доминика Николаевна.

— Может быть! — отвечал Дмитрий Дмитрич равнодушно.

— Вы говорите, что он пьет только красное вино; он напился просто водкой, — продолжала Доминика Николаевна насмешливо.

— Очень жаль, — отвечал Дмитрий Дмитрич тем же равнодушным голосом.

Далее я уже ничего не слыхал, но когда возвратился назад, то увидел, что Доминика Николаевна почему-то лежала в обмороке, и около нее хлопотал Дмитрий Дмитрич. Он поливал ей голову водой, уксусом. Пришел также и Назар и довольно близко остановился около дивана, на котором лежала Доминика Николаевна. При этом одна из ее ног сначала согнулась, а потом вдруг вытянулась и толкнула Назара так, что тот попятился и с прежней своей насмешливой улыбкой вышел из комнаты.

После этого Доминика Николаевна опять как бы впала в обморок, Дмитрий Дмитрич опустил на стул и в утомлении закрыл лицо руками. Несколько времени все мы молчали. Доминика Николаевна открыла, наконец, глаза.

— Где я? — проговорила она.

— У себя на балконе, — отвечал Дмитрий Дмитрич.

Доминика Николаевна начала подниматься, как поднимаются обыкновенно в театре актрисы после обморока. Дмитрию Дмитричу, кажется, сделалось совестно за нее; он отвернулся и не смотрел на нее. Чтобы не помешать разговору, который мог между ними начаться, я снова сошел в сад, и когда возвратился оттуда, Дмитрий Дмитрич стоял уже со шляпою в руках. Доминика Николаевна сидела, как разваренная в воде: волосы у нее спускались на лоб, голова была опущена, руки опущены.

Когда я с ней прощался, она с чувством взглянула на меня.

— Мой добрый привет вашей матушке, — проговорила она больным голосом.

Когда с ней прощался Дмитрий Дмитрич, она подала

ему, точно плеть, слабую руку и, кажется, не имела даже силы ответить ему поцелуем в щеку.

Мы вышли и сели в экипаж. Дмитрий Дмитрич упротил меня сесть с ним.

— Фу, — произнес он, как бы человек, вырвавшийся из тюрьмы на свежий воздух.

— Что такое с Доминикой Николаевной? — спросил я.

Дмитрий Дмитрич пожал плечами.

— Вы видели? — отвечал он мне больше вопросом, — подобные сцены, — продолжал он с расстановкой и грустно-насмешливым голосом, — она делает мне на бале, на рауте, при двухстах, трехстах человек...

— Зато какую она к вам искреннюю дружбу питает!

— Mais, mon cher! ¹ — воскликнул Дмитрий Дмитрич, — дружба, я полагаю, все-таки должна выражаться со стороны женщин скорей самоотвержением, чем тиранией. Она, наконец, хочет войти во весь порядок моей жизни, заставить там меня пить чай или нет, держать в доме таких людей, а не других; этого нельзя. Назар! — крикнул он затем сладким голосом, — дай мне сигару!

Назар, сидевший на козлах рядом с кучером, вынул из-за пазухи сигару, сам закурил ее и подал барину. Дмитрий Дмитрич взял и с наслаждением стал попыхивать из нее дымом.

— У человека вашего физиономия совсем не русская! — заметил я ему.

— Да, il est... je ne sais pas pour sûr... ² армянин, или грузин, или черкес — не знаю... но превосходный человек... чудо... это мой эконо́м, нянька, мамка моя! — И затем Дмитрий Дмитрич опять стал с наслаждением попыхивать.

— Encore un mot об Доминике Николаевне, — начал он, — tout le monde dit, que je suis son amant... ³

Я улыбнулся.

— Mais ce n'est pas vrai ⁴. Я люблю изящное в природе, в картине, в поэзии, в мужчине, в женщине. Но Доминика Николаевна каким образом может быть отнесена к изящному?

¹ Но, мой дорогой! (франц.)

² Он... я не знаю точно... (франц.)

³ Еще одно слово... Все говорят, что я ее любовник... (франц.)

⁴ Но это неверно (франц.).

— Какое же собственно ваше чувство к ней? — спросил я. По молодости моих лет я любил тогда потолковать о психологической стороне человека и полагал, что люди так сейчас и скажут в этом случае правду.

— Чувство простого уважения, — отвечал Дмитрий Дмитрич, — которое я имею ко всякой женщине, равной мне по воспитанию и по положению в обществе; это — результат моих привычек. Я — человек, порядочно воспитанный, и чувство вежливости всосал с молоком моей матери.

На этих словах мы уже подъезжали к перекрестку, на котором должны были разъехаться; я попросил остановиться и выпустить меня.

— Adieu, chér ami ¹, — сказал Дмитрий Дмитрич, пожимая мне с нежностью руку. — Назар, пересядь ко мне в экипаж! — крикнул он потом.

Назар пересел, и я видел, что Дмитрий Дмитрич прилег ему на плечо, как бы желая вздремнуть. Поехали. Утро между тем совершенно уж наступило. Пара моих лошадей после поворота, узнав дорогу домой, побежали быстрее, на меня подуло свежим ветром; с реки подымался густой туман росы; выкатившееся на горизонте солнце было такое чистое, на деревьях, на траве блестели крупные капли росы — все это было как-то молодо, здорово и полно силы, и как вся эта простая природа показалась мне лучше изломанных людишек, с их изломанными, исковерканными страстишками!

Когда я дописывал эти последние строчки, мне сказали, что приехал старик кокинский исправник ² и желает меня видеть.

— Боже мой, — воскликнул я в восторге, — его-то мне и надо! — и пошел навстречу гостю.

Старик очень постарел, сделался совсем плешивый, глаза у него стали какие-то слезливые, но говорун, как видно, оставался попрежнему большой.

— Скажите, пожалуйста, — начал я, усаживая его, — живы ли ваши соседи, Доминика Николаевна и знаменитый Дмитрий Дмитрич?

— Он помер, а она еще жива.

— Что ж, страсть их все продолжалась?

¹ Прощайте, дорогой друг (франц.).

² Рассказ «Леший». (Прим. автора.)

— Как же-с, до самой смерти его все путались, ссорились и мирились, видались и не видались.

— Он, однако, мне сам говорил, что не был ее любовником.

— Нет-с, не был; людишки вот ихние часто тоже бегали к нам и сказывали, что она, как они выражаются, одной этой сухой любовью его любила... он ведь в этом отношении, вы слышали, я думаю...

— Ну да, из-за чего же он-то?

— Из-за денег больше, надо полагать, говорил и делал ей эти разные комплименты. После ссоры, бывало, помирятся, он станет перед ней на колени, жесты этакие руками делает, прощенья в чем-то просит — умора! Неглупые были оба люди, а уж какие комедианты и притворщики, боже упаси!.. Перед смертью Дмитрия Дмитрича, любимый камердинер его обокрал, все, какие там были у него деньжонки, перстеньки, часы, ковры, меха — украл и бежал, так что уж он и не разыскивал. Доминика Николавна перевезла его к себе, на ее руках он и помер; пишет мне: «Помогите, говорит, похоронить моего друга!» Приехал я к ней, сидит она на диване, глаза представляет как у помешанной, и все точно вздрагивает: «Сама, говорит, смерти хочу!» — а форточки, заметьте, не позволяет отворить: простуды боится. Покойник промеж тем лежит в зале; я скорей, чтобы его в церковь стащить; только мы, сударь, подняли гроб, она и вылетает. «Куда вы, говорит, моего ангела уносите? Не пуцу, не пуцу!» — и сама уцепилась за гроб и повисла. «Ах ты!» — думаю. «Хорошо, говорю, ребята, оставьте!» Оставили ей гроб, а сам ушел. Посидела она этак, целый день, однако, высидела, но видит — шевтерпеж, опять шлет за мной.

— Унесите, — говорит, — теперь — можно.

VII

ИСТОРИЯ О ПЕТУХЕ

— Вот мы с вами вчера насчет комедиантов говорили, — начал старик Шамаев, пришедши на другой день ко мне обедать. — Становой у меня был, такой тоже актер, что какую, кажется, роль только хотите, он может разы-

грать перед вами: родом он был из хохлов, по фамилии Карпенко, и все это, знаете, в каждом слове, в каждом шаге своем делал лицемерство. Определяясь на службу, в стан приехал в самый храмовой праздник, народу собралось почти что со всего уезда. Не заходя никуда, господин Карпенко прямо в церковь и тихим голосом подзывает к себе церковного старосту. «В какую, говорит, икону народ больше веры имеет?» — «Феодоровской престол-то», — отвечает ему: мужик. Он сейчас помолится перед этой иконой и первый ей свечку поставил. После обедни зашел в другое наше собрание — в кабак; пьяных там, как поленьев, по углам валяется. Вместо того чтобы велеть их подобрать, еще ободрил: «Пейте, говорит, православные: рабочему человеку выпить надо!» По лавкам потом пошел, к каждому торговцу с поклоном и приговором: «В честь и в деньги торговать!..» — и так дальше пошло: тихо, смиренно, ласково, только никто что-то этому не верит. Ни одного безмена у торговцев не оставил, чтобы не оглядеть, клейменный ли он, да еще подсылы делает, верно ли продают. Где мертвое тело поднимут, точно стопудовая гиря свалится на селенье; сидит-сидит, пока пятидесяти, ста рублей не сдерет с мужиков; да потом их же соберет в сборную, прямо поднимет у них перед глазами с полу соринку: «Вот, говорит, мне чего вашего не надо». Те после и говорят: «Что, наши деньги-то он хуже соринки, что ли, полагает?» Слышу я все это, вызываю его к себе, говорю ему, вдруг он заплакал: «Слезы, говорит, мой ответ!» — «Ах, боже ты мой, думаю, мужчина, в кресте военном, плачет, что такое это?» В другой раз губернатор на него на ревизии напустился: «Почему, говорит, вас все не любят?» — «Мнителен, говорит, ваше превосходительство, я очень по службе!.. и себя мучу и другим не угрождаю!» А губернатор, заметьте, сам был премнительный человек, и поверил ему... Это вот, изволите видеть, он — тихий, а то и строгим, крикуном иногда прикидывался. Едет он раз мимо одного села богатого, тысячи две душ... и только еще, знаете, в околицу-то въехал, закричал, загайкал... Сотские были народ наметанный, сбегаются, видят: *сердит приехал!* Прямо входит он в сборную и обращается к одному из них:

— Какое, — говорит, — было в селенье происшествие?

— Никакого, — говорит, — ваше благородие!

— Как никакого? Ах ты, — говорит, — земская полиция! — Трах его по зубам.

К другому сотскому — тот этак из рыжих, плутоватый случился.

— Какое? — говорит.

— Было, ваше благородие, Иван Петров там у Николая Михайлова, что ли, петуха зарезал!

— Позвать, — говорит, — Николая Михайлова!

Приходит мужик.

— Здравствуйте, — говорит, — батюшка!

— Здравствуй, — говорит, — братец; все ли у тебя в доме благополучно?

— Все, батюшка, кажись, слава богу.

— Погляди-ка на образ!

Смотрит мужик.

— И не совестно тебе и не стыдно? Не отворачивай глаз-то, нечего!..

— Да что мне, сударь, отворачивать!

— Как что, а черный-то петух где?

Мужик, знаете, и рассмеялся.

— Подлец Ванька, — говорит, — надругатель, зарезал!

— А объявил ты о том земской полиции?

— Что, сударь-с, — говорит, — объявлять!..

— Как что?.. У тебя сына зарежут, ты скажешь: что объявлять!..

— Батюшка! — говорит мужик удивленный, — разве сын и петух все одно и то же?

— Одно и то же! Прочтите, — говорит он это писарю уж своему, — статью, где сказано, что совершивший преступление и покрывший его подвергаются равному наказанию!

Прочитали мужику; стоит он разиня рот. Сотские между тем шепчут ему:

— Видишь, — говорят, — сердит приехал; поклонись ему червонцем!

Поклонился мужик — освободили.

— Ну, теперь, говорят, убийцу давайте.

Приводят мужика; бойкий такой был, и прямо к руке господина станового.

— Прочь! — крикнул тот на него, — от тебя, говорит, кровью пахнет!

Отошел мужик.

— Как, — говорит, — ты смеешь производить дневной грабеж с разбоем?

— Я, — говорит, — сударь, никого не грабил!

— Как никого? а петух Николая Михайлова где?

— Николая Михайлова петуху, — говорит мужик, — я всегда голову сверну — он у меня все подсолнечники перепортил!

— Ну так, — говорит ему Карпенко, возвысив уже голос, — я тебе прежде голову сверну. Эй! колодки!

Струсил и тот парень; сотские и ему шепчут:

— Видишь, — говорят, — сердит; поклонись красенькой!

Стал мужик кланяться, так еще не берет господин становой. Он в ноги ему повалился: «Возьми, батюшко, только!» Принял.

Я после услышал это; приезжаю, спрашиваю мужиков:

— За что, — говорю, — дураки, вы деньги ему давали?

— Да что, батюшка, — говорят, — сами видим, что одно только его надругательство над нами было, только то, что горячиться он очень изволил, как бы и настоящее дело шло... Думаешь: прах его возьми, лучше отступить!

Слушая Шамаева, я предавался довольно странным мыслям: мне казалось, что и он все это лжет и выдумывает для моей потехи. «Да, старичок, — думалось мне, — и ты сумеешь разыграть сцену, какую только захочешь...» Наконец, сам-то я... автор? Правду ли я все говорю, описывая даже этих самых лгунов?

VIII

КРАСАВЕЦ

Народы дикие более всего ценят в человеке силу, ловкость и красоту физическую; народы образованные... нет, впрочем... и народы образованные очень ценят это: кто не помнит того времени у нас, когда высокий рост, тонкая талия и твердый носок делали человеку карьеру? Даже в высокопросвещенной Европе Леотар любим и

почитаем женщинами. Весьма многие дамы, старые и молодые, до сих пор твердо убеждены, что у красивого и статного мужчины непременно и душа прекрасная, несколько не подозревая в своем детском простосердечии, что человек своим телом так же может лгать, как и словом, и что весьма часто под приятною наружностью скрываются самые грубые чувственные наклонности и самые низкие душевные свойства.

На эту тему нам придется рассказать очень печальный случай.

Наступали уже сумерки... В воздухе раздавался величественный звон к вечерне; но была еще масленица, и вокруг спасовходского монастыря, в губернском городе П..., происходило катанье. В насмешке над уродливостью провинциальных экипажей столько моих собратьев притупило свои остроумные перья, что я считаю себя вправе пройти молчанием этот слишком уж опозоренный предмет и скажу только, что во всем катании самые лучшие лошади и сани были председателя казенной палаты (питейная часть, как известно, переносящая всегда на своих жрецов самые благодетельные дары, была тогда еще в прямом и непосредственном заведывании председателей казенных палат). В санях этих сидели две молодые дамы: одна в прекрасной шляпке и куньем салопе, с лицом, напоминающим мурильевских мадонн, в котором выражалось много ума и чувства; другая была гораздо хуже одета, с физиономией несколько загнанной, по которой сейчас можно было заключить, что она гораздо более привыкла слушать, чем сама говорить. Первая была молоденькая жена председателя, а вторая — ее компаньонка. Хорошенькие глаза хорошенькой председательши беспрестанно направлялись в одну из боковых улиц.

— Александр Иваныч выехал не оттуда-с! — проговорила, наконец, ее компаньонка.

Председательша сейчас же перекинула взгляд на ее сторону. К ним подъезжал верхом на карабахском жеребце высокий, статный мужчина, и хоть был в шляпе и статской бекеше, но благородством своей фигуры, ей-богу, напоминал рыцаря. Конь не уступал седоку: около красивого рта его, как бы от злости, была целая масса

белой пены; он беспрестанно вздрагивал своим нежным телом... Ему, казалось, хотелось бы и взвиться на дыбы и полететь, и только опытная, смелая рука, его сдерживавшая, заставляла его идти мелкой и игривой рысью.

Господин этот назывался Александр Иванович Имшин. Он подъехал к нашим дамам.

— Хорошо, хорошо — так поздно!.. — говорила председательша в одно и то же время ласковым и укоряющим голосом.

— Я объезжал в поле Абрека; он ужасно у меня сегодня шалил, — отвечал Имшин и ударил коня по шее; тот еще заметнее вздрогнул телом своим и еще ниже понурил голову. — Что ваш муж? — спросил Имшин.

— Спит! — отвечала председательша.

Она уже с красивого наездника не спускала глаз.

— Стало быть, покоен? — продолжал тот.

— Он еще ничего не знает. Я буду кататься до самых поздних сумерек и заеду к вам!

Имшин, в знак согласия, мотнул головой; затем, сделав лансаду ¹, повернул лошадь так, что поехал не по направлению катанья, а навстречу ему, и через несколько минут очутился в самом заднем ряду. Там, между прочим, ехала отличнейшая пара лошадей в простых пошевнях, в которых сидела толстая женщина в ковровом платке с красно-багровым лицом и девочка лет тринадцати — четырнадцати, прехорошенькая собой.

— Выехали? — спросил их Имшин ласково.

— Да-с! — отвечала толстая женщина.

— А тебе, Маша, весело? — спросил он девочку.

— Весело-с! — отвечала та с вспыхнувшим лицом.

Имшин дал шпоры лошади и опять стал нагонять председательские сани.

— Уж темнеет! — сказал он.

— Да, теперь можно! — отвечала председательша и не совсем твердым голосом сказала кучеру: — Выезжай!

Кучер выехал и, зная, вероятно, куда ехать, не ожидал дальнейших приказаний и поехал в ту сторону, в которую при начале катанья госпожа его беспрестанно смотрела. Лошади побежали самой полной рысью; Имшин поскакал за ними. Молодой человек этот, будь он немножко не то, далеко бы ушел: еще в корпусе, при

¹ прыжок (франц.).

весьма ограниченных способностях, он единственно за свою красоту предназначен был к выпуску в гвардию; но в самом последнем классе, в самое последнее время, у него вышла, тоже по случаю его счастливой наружности, история с одним мужем, который хотел его вышвырнуть в окно, а Имшин его вышвырнул, и как молодым юнкером ни дорожили на службе, однако послали на Кавказ; здесь он тоже, говорят, опять по решительному влиянию жены полкового командира на мужа, получил солдатского георгия, офицерский чин, шпагу за храбрость и вышел в отставку. Как большая часть красивых людей, Имшин говорил мало, а больше своею наружностью и позами, к нему идущими, старался себя запечатлеть в душе каждого. Губернские дамы принялись в него влюбляться, как мухи мрут осенью, одна за другой, непрерывно. Молоденькая жена председателя, Марья Николаевна Корбиева, прелестнейшее существо, в первое же отсутствие мужа в Петербург впала с ним в преступную связь. Искания со стороны Имшина в этом случае были довольно непродолжительны; он несколько балов потанцевал с этой милой женщиной исключительно, а потом, в один из безумно шумных вольных маскарадов, они как-то очутились вдвоем в довольно отдаленном углу. У Имшина случайно поднялся рукав фрака, и оказалось, что на руке у него был надет браслет.

— Это у вас браслет? — спросила председательша, сгораемая каким-то внутренним огнем.

— Браслет.

— Женщины?

— Да.

— И дорог вам по воспоминанию?

— Очень.

Председательша надулась.

— Хотите, я его сниму для вас?.. — несколько протянул Имшин.

— Для меня?

— Да! Если только вы полюбите меня за это.

Имшин был очень смел с женщинами.

— Ну, снимите! — ответили ему.

Имшин снял браслет и подал его председательше.

— Я не имею на него права, — сказала она, отстраняя от себя браслет рукою.

— В таком случае я его выброшу в окно...

И Имшин встал, отворил форточку у окна и выбросил в нее браслет.

Внутренний огонь председательши выступил у ней на личико, осветил ее глазки, которые горели, как два черные агата.

— Когда ж доказательства вашей любви? — спросил Имшин.

— Когда хотите.

— Сегодня я могу к вам заехать?

— Нет, это слишком будет заметно для людей.

— Ну, так завтра?

— Хорошо.

Имшин встал и отошел от председательши. Через полчаса она уехала из маскарада. От переживаемых ощущений с ней сделалась такая лихорадка, что она едва имела силы сесть в карету.

Последнее время страсть ее к своему избранному возросла до размеров громадных: она, кажется, только и желала одного, чтобы как-нибудь сесть около него рядом, быть с ним в одной комнате; на вечерах у них, когда его не было, она то и дело взглядывала на входную дверь; когда же он являлся, она обыкновенно сейчас же забывала всех остальных своих гостей.

— Entrez! ¹ — говорил Имшин, ловко соскакивая с лошади и обращаясь к дамам, когда они подъехали к крыльцу его.

Те вышли из саней и стали взбираться по лестнице.

— Лестница моя крута, как Давалагири, — говорил он, следуя за ними.

Внутренность квартиры молодого человека была чисто убрана на военную ногу. В зале стояла цель для стрельбы, в середине которой вставлена даже бритва острием вперед. В гостиной, по одной из самых больших стен, на дорогом персидском ковре, развешаны шашки, винтовки, пистолеты, кинжалы, оправленные в золото и в серебро с чернью.

Имшин, как вошел, сейчас же оставил своих гостей, прошел в кабинет, переоделся там и возвратился в черкеске с патронами и галунами. В наряде этом он еще стал красивее. Между тем компаньонка осталась ходить по зале, а председательша вошла и села в гостиной.

¹ Войдите! (франц.)

Когда она сняла салоп, то очень стало видно, что прелестное лицо ее истощено, а стан, напротив, полон. Имшин осмотрел ее, и во взгляде его отразилось беспокойство.

— Он ничего не замечает еще? — спросил он.

— Нет, — отвечала председательша. — Я нарочно захала к тебе: научи меня, что мне делать.

Имшин пожал плечами. Склад красивого рта его принял какое-то кислое выражение.

— Что делать? — повторил он; но в это время в лакейской раздалось чье-то кашлянье.

Имшин проворно вышел туда. Там стояла катавшаяся пожилая женщина с той же молоденькой девочкой.

— Ступайте туда, на нижнюю половину, — проговорил Имшин торопливо.

Старуха на это повернулась, отворила боковую дверь и вместе с девочкой стала спускаться по темной лестнице вниз.

Имшин снова возвратился к председательше.

— Делать одно самое лучшее, — заговорил он, — ехать тебе к отцу твоему или матери, остановиться вместо того в Москве; там есть женщины, у которых ты получишь приют.

— Прекрасно! — возразила председательша, — но муж может спросить отца и мать — у них ли я.

— Неужели же они не сделают для тебя этого?

— Ни за что, особенно отец. Он скорее убьет меня, чем покроет подобную вещь. Я решилась на одно: скрываться — это только тянуть время; в первый раз, как он обнаружит подозрение, я ему скажу все откровенно. Он меня, конечно, прогонит, и я тогда приду к тебе.

— Разумеется, приходи! — проговорил Имшин каким-то странным голосом и хотел, кажется, еще что-то прибавить, но в это время в лакейской опять послышался шум. Имшин вышел; там стоял гайдук в ливрее.

— Барин прислали за барыней; узнали, что оне здесь, — проговорил он нахальным лакейским тоном.

Имшин немного изменился в лице.

— Муж за вами прислал! — сказал он, входя в гостиную.

Председательше в это время человек подавал чай, и взятая ею чашка сильно задрожала у ней в руке.

— Что ж? Ничего; я скажу, что озябла и заезжала к тебе. Я ему говорила, что была у тебя без него в гостях, — проговорила она притворно смелым голосом.

— Да, пожалуйста, как-нибудь без решительных объяснений.

— Не знаю, как уж выйдет.

Из залы вошла компаньонка.

— Николай говорит, что Петр Антипыч очень сердится и приказал, чтобы вы сейчас же ехали домой.

— Подождет, ничего! — отвечала председательша, однако сама встала и начала надевать шляпу.

— Ну, прощай! — проговорила она Имшину и, перегнув головку, поцеловала его. — До скорого, может быть, свидания, — прибавила она.

— Прощай!.. — отвечал Имшин и сам страстно поцеловал ее.

Свидетельница этой сцены, компаньонка, немного тупилась и краснела. Наконец, дамы уехали.

Имшин остался в заметном волнении. В поданный ему чай он подлил по крайней мере полстакана рому, скоро выпил и спросил себе еще чаю, подлил в него опять столько же рому и это выпил. Красивое лицо его вдруг стало принимать какое-то зверское выражение: глаза налились кровью, усы как-то оцетинились. Он кликнул человека.

— Федоровна там? — спросил он лакея.

— Там.

— И с Машей?

— С Машей.

— Ступай на свое место!

Лакей ушел.

Имшин подошел к одному из шкафов, вынул сначала из него пачку денег, потом из нижнего ящика несколько горстей конфет и положил их в карман. Подойдя к стене, он снял один из пистолетов и его тоже положил в карман, и начал спускаться по знакомой уж нам темной лестнице. В комнатах не осталось никого.

В тусклом свете поставленных на столе двух свечей было что-то зловещее. Через час по крайней мере двери из низу с шумом отворились, и в комнату вбежал Имшин, бледный, растрепанный; глаза у него были налиты, как у тигра, кровью; рот искривился. Он подбежал опять к тому же шкафу, вынул из него еще пачку денег, огляделся

каким-то боязливым и суетливым взглядом и снова спустился вниз по лестнице. Вслед за тем в сарае и в конюшне, в совершенной темноте, послышалось тихое, но торопливое закладывание лошади; вскоре после того со двора выехали сани и понеслись в сторону, где город уж кончался, на так называемое Прибрежное поле.

На другой день по городу разнесся довольно странный и любопытный слух, что молоденькая председательша бросила мужа и убежала от него к Имшину на квартиру, мимо которой некоторые из любопытствующих нарочно даже проезжали и действительно видели в одном из окон хорошенькую головку председательши.

В мире так устроено, что, когда один сановник заболевает, другой сановник приезжает навещать его: к нашему председателю приехал сам губернатор. Добродушный старик этот был в некоторой зависимости от председателя по тем любезностям, которые, по влиянию председателя, делал ему откуп. Говорим мы это не в обличение начальника губернии, а единственно затем, чтоб объяснить те отношения, в которых находились между собой эти два почтенные лица.

Председатель по наружности был мужчина ужасно похожий на осиновый кряж. В жизни своей он все сам себе приобрел: учился на медные деньги, перенес потом страшные служебные труды, страшное подличание перед начальством, и, наконец, всем этим достиг достояния, почета и женился на самой хорошенькой девушке в губернии. Двух вещей только он никак не мог побороть, это — своей хорошенькой жены, которая выезжала, танцевала, наряжалась, веселилась, плакала, сердилась совершенно безо всякого с его стороны разрешения. Другое обстоятельство, затруднявшее председателя, было то, что когда он стал занимать довольно видные места, то ему ужасно хотелось представить из себя, что он во всех случаях жизни своей поступает и говорит, как человек образованный.

Перед последним несчастьем он, проснувшись после обеда, спросил горничную, подававшую ему воду:

— Где барыня?

— Оне на катанье сначала были, а потом, я их видела, оне к Имшину проехали, — доложила та.

В горничной этой председатель еще и прежде находил для себя всегда некоторое утешение и развлечение во всем претерпенном от жены, и она еще с самого приезда объяснила ему, что у них часто-часто бывал без него Имшин.

— Ну, поди же пошли человека и скажи, чтобы она сейчас же, сию минуту ехала домой, — сказал он.

Горничная пошла и сказала лакею:

— Поди сейчас за барыней к Имшину, чтобы она ехала домой: барин очень сердится.

Когда председательша возвратилась, муж спросил ее:

— С какой стати вы поехали к Имшину?

— А с такой, что я люблю его, — отвечала безумная женщина.

Дорогой она еще больше рассердилась за то, что ее требуют от ее ангела-Имшина к чурбану-мужу.

Председатель, как человек высокой практической мудрости, почти признавал необходимость, чтобы жена его изменила ему, и он только желал одного, чтобы это вышло, как выходит между образованными людьми.

— Вы любите? — повторил он более насмешливым, чем угрожающим голосом.

— Даже больше того: я беременна от него! — объявила Марья Николаевна.

Первым движением председателя было поколотить жену; но он удержался.

— В таком случае я засажу вас в вашей комнате и запру там! — проговорил он и взял в самом деле жену за руку, привел ее в комнату, запер за ней дверь и ключ положил к себе в карман; но, придя в кабинет свой, рассудил, что уж, конечно, он поступает в этом случае, как самый необразованный человек: жен запирали только в старину!

Он пошел и опять отпер двери.

— Я вас выпускаю, но только из дому вы шагу не смеее делать, а Имшину велю отказывать — слышите!

— Я готова повиноваться во всем вашей воле, — проговорила притворно покорным голосом жена; но когда, на другой день, председатель уехал в свою палату, она сама надела на себя салоп, сапоги, сама отворила себе дверь, вышла, с полверсты по крайней мере своими

хорошенькими ножками шла по глубокому сумету, наконец подкликнула извозчика и велела везти себя к Имшину.

Узнав о побеге жены, председатель до приезда губернатора решительно недоумевал, что ему делать.

— Что такое, скажите мне на милость? — говорил тот, еще входя.

Председатель придал мрачную мину своему лицу.

— Что, я теперь вызывать его на дуэль, что ли, должен? — больше спросил он, чем обнаружил собственное свое мнение.

— Ни, ни, ни! Ни, ни, ни! — воскликнул губернатор, — во-первых, он — мальчишка, вы — человек пожилой; он — военный, вы — штатский. Это значит смешить собой общество!

Губернатор, родом из польских жидов, чувствовал какое-то органическое отвращение к дуэлям и вообще в этом случае хлопотал, чтобы все-таки во вверенном ему крае не произошло комеражу. Председатель с своей стороны хоть и считал губернатора за очень недалекого человека, но в понятия его, как понятия светского господина, верил.

— В этом случае самое лучшее — презрение! — продолжал губернатор, — все мы — я, вы, Кузьма, Сидор — все мы рогоносцы.

Председатель, пожалуй, готов бы был на презрение; но дело в том, что в душе у него против Имшина и жены бушевала страшная злоба, которую ему как-нибудь да хотелось же на них выместить.

— И этот господин очень странный, — говорил губернатор, ветрено постукивая своей саблей: — сегодня... одна женщина... какая-то, должно быть, нищая... подала мне на него прошение... что он убил там ее дочь... девочку... четырнадцати лет... из пистолета, что ли, как-то застрелил.

— Девочку убил? — спросил председатель, и лицо его мгновенно просияло, как бы смазали его маслом.

— Убил!.. Я велел там следствие полицмейстеру произвести.

— Этакие дела, я полагаю, нельзя так пропускать... тут кровь вопиет на небо, — проговорил председатель чувствительным и в то же время внушающим губернатору голосом. Тот, кажется, несколько это понял.

— Я велел произвести самое строгое исследование, беспощадное!..

— Что он дворянин, так, пожалуй, откупится и отвертится! — продолжал подзадоривать губернатора председатель.

— Нет, у меня не отвертится, не бывает у меня этого! — петушился губернатор, и так как всегда чувствовал не совсем приятные ощущения, когда председатель, человек характера строгого, укорял его за слабость по службе, потому поспешил сократить свой визит.

— Ну, а вы пока до свидания, поуспокойтесь немного, — говорил он, вставая и надевая перчатки.

— Я успокоюсь! — сказал председатель в самом деле совершенно покойным голосом.

Зимнее солнце светило в окна гостиной Имшина; его кавказское оружие ярко блестело своим серебром и золотом. На турецком диване, стоящем под этим оружием, сидел сам Имшин в шелковом, стеганом и выложенном позументом архалуке. Марья Николаевна лежала у него на плече своей хорошенькой головкой; худоба ее в лице и полнота в стане стала еще заметнее.

Вошел лакей.

— Солдаты из полиции к вам пришли! — сказал он барину.

Имшин заметно встревожился; он сейчас же встал и вышел. Председательша последовала за ним беспокойным взглядом.

В дверях из передней в залу стояли полицейский солдат и жандарм.

— Что вам надо? — спросил их строго Имшин.

— В часть вас, ваше благородие, взять велено! — отвечал полицейский солдат глупым голосом.

— Как, в часть? — переспросил Имшин, более уже обращаясь к жандарму.

— Приказано-с! — ответил тот.

— Ну, ступайте, я сейчас приеду, — сказал Имшин не совсем уверенным голосом.

— Я, ваше благородие, на запятки, теперь выходит, стану к вам, — начал полицейский солдат тем же своим голосом, — пристав так и говорил: «Не отпускай, говорит, его от себя!..»

— Убирайся ты к черту с своим приставом! Пошел вон!.. — крикнул Имшин, наступая на солдата, и хотел его вытолкнуть за двери.

Тот стал упираться своим неуклюжим телом.

— Пошел и ты! — прибавил он жандарму. — На тебе рубль серебром, убирайтесь оба! Вот вам по рублю!

И он дал обоим солдатам по рублю.

Те ушли.

Имшин возвратился в гостиную; лицо его из бледного сделалось багровым.

— Что такое? — спрашивала председательша. — Тебя в часть? Зачем?

— Не знаю, черт их знает! — отвечал Имшин с невниманием и торопливо стал переменять архалук на сюртук.

— Лошадь живете запрягать! — крикнул он.

Председательша подавала ему шляпу, палку, бумажник, но он как будто бы и не видел ее и, не простясь даже с ней, пошел и сел в сани.

Солдаты, получившие по рублю, сошли только вниз, от подъезда не отходили, и, когда Имшин понесся на своем рысаке, жандарм поскакал на лошади за ним, а бедный полицейский солдат побежал было пешком, но своими кривыми ногами зацепился на тротуаре за столбик, полетел головою вниз, потом перевернулся рожею вверх и лежит.

Марья Николаевна, видевшая всю эту сцену, несмотря на то, что была сильно встревожена, не утерпела и улыбнулась. Она ждала Имшина час, два; наконец, и лошадь его возвратилась. Марья Николаевна сошла задним крыльцом, в одном платье, к кучеру и спросила:

— Где барин — а?

— В части остался.

— Когда же он приедет?

— Неизвестно-с, ничего не сказал.

Марья Николаевна постояла немного, потеряла себе лоб, потом велела подать салоп.

— Вези меня туда, в часть! — сказала она, садясь в сани, когда кучер только что было хотел откладывать лошадь.

Кучер неохотно стал опять на облучок и стал неторопливо поворачивать.

— Скорей, пожалуйста! — воскликнула она.

В части, в первой же комнате, Марья Николаевна увидела знакомого ей полицейского солдата, приходившего к ним поутру. На этот раз он был уже не в своей военной

броне, а просто сидел в рубашке и ел щи, которые распространяли около себя вкуснейший запах.

— Где Имшин, барин, за которым ты приходил? — спросила она его.

— В каземат, ваше благородие, посажен.

— За что?

— Не знаю, ваше благородие. Он тоже говорил: «По-есть, говорит, мне надо... ступай в трактир, принеси!» Я говорю: «Ваше благородие, мне тоже далеко идти нельзя. Вон вахмистр, говорю, у нас щи тоже варит и студень теперь продает... Разе тут, говорю, взять... У нас тоже содержался барин, все его пищу ел». — «Ну, говорит, давай мне студень одного».

— Пусти меня, проводи к нему!

— Нельзя, ваше благородие.

— Я тебе десять рублей дам!

— Помилуйте! Теперь квартальный господин скоро придет, невозможно-с!

— Ну, хоть записочку передай!

— Записочку давайте, ваше благородие. Он тоже просил было, чтобы водки... «Ваше благородие, хлещут, говорю, за это! Вот, бог даст, пообживетесь... господин квартальный и сам, может, то позволит».

Выслушав солдата, Марья Николаевна и сама, кажется, не знала, что ей делать; в голове ее все перемешалось... Имшина отняли у нее... посадили в каземат... на студень... Что же это такое? Она села в сани и велела везти себя к мужу.

Председатель только что встал из-за стола и проходил в свой кабинет. Горничная едва успела вбежать к нему и сказать:

— Барыня наша приехала-с!

Председатель проворно сел в свои вольтеровские кресла и принял несколько судейскую позу. Марья Николаевна вошла к мужу совершенно смело.

— Имшин посажен в часть, — начала она, — это ваши штучки, и, если вы хоть сколько-нибудь благородный человек, вы должны сказать, за что?

Председатель улыбнулся.

— Я вашего Имшина ни собственного желания и никакого права по закону не имел сажать, — проговорил он.

— Кто ж его посадил?

— Это уж вы постарайтесь сами узнать: я этим предметом нисколько не интересуюсь.

— Его мог посадить один только губернатор. Я поеду к губернатору.

Председатель молчал, как молчат обыкновенно люди, когда желают показать, что решительно не принимают никакого участия в том, что им говорят.

— О, какие вы все гадкие! — воскликнула бедная женщина, всплеснув своими хорошенькими ручками, и, закрыв ими лицо свое, пошла.

— Ваш гардероб, вы сами за ним пришлете или мне прикажете прислать его вам? — сказал ей вслед муж.

Марья Николаевна ничего ему на это не ответила.

Председатель остался совершенно доволен собой. Он сам очень хорошо понимал, и с этим, вероятно, согласится и читатель, что во всей этой сцене вел себя как самый образованный человек; он ни на одну ноту не возвысил голоса, а между тем каждое слово его дышало ядом.

Марья Николаевна между тем села в сани и вслегла себя везти к губернатору. Кучер было обернулся к ней:

— Лошадь, сударыня, очень устала! Барин после гневаться будет.

— Вези! — вскрикнула она, и в ее нежном голосе слышалось столько повелительности, что даже с полулошадиной натурой кучер немножко струсил и поехал.

Губернатор еще не кушал, когда она к нему приехала. Дежурный чиновник, увидев председательшу, бросился со всех ног докладывать об ней губернатору. Тот, в свою очередь, тоже бросился к зеркалу причесываться: старый повеса в этом посещении ожидал кой-чего романического для себя.

— Pardon, madame...¹ позвольте вам предложить кресла.

Марья Николаевна села.

— Говорят, вы посадили Имшина, — вы знаете мои отношения к этому человеку; скажите, за что он посажен?

— Не могу, madame!

— Почему ж не можете?

Губернатор был в странном положении — сказать даме о такой вещи, которая, по его понятию, должна была убить ее; он решился лучше успокоить ее:

¹ Извините, сударыня... (франц.)

— Сказать вам этого я не могу, тем более что все это, может быть, пустяки, которые пустяками и кончатся, а между тем нам всем очень дорого ваше спокойствие; мы вполне симпатизируем вашему положению, как женщины и как прелестнейшей дамы.

— Не знаю, что вы со мной все делаете! Ах, несчастная, несчастная я! — воскликнула председательша и пошла, шатаясь, из кабинета.

Губернатор последовал за ней до самых саней с каким-то священным благоговением.

Дома она написала записку к Имшину:

«Я везде была и ни у кого ничего не узнала; напиши хоть ты, за что ты страдаешь, мучат тебя... Твоя».

На это она получила ответ:

«Все вздор, моя милая Машенька, проделки одних мерзавцев; посылаю тебе сто рублей на расход. Прикажи, чтобы хорошенько смотрели за лошадьми... Твой».

Никакое страстное письмо не могло бы так утешить бедную голубку, как эта холодная записка.

«Он спокоен; значит, в самом деле все вздор», — подумала она, покушала потом немножко и заснула.

К подъезду между тем подъехала ее компаньонка Эмилия, с огромным возом гардероба Марьи Николаевны. Со свойственным ее чухонскому темпераменту равнодушием, она принялась вещи выносить и расставлять их. Шум этот разбудил Марию Николаевну.

— Кто там? — окликнула она.

Эмилия вошла к ней.

— Платья ваши Петр Александрыч прислал и мне не приказал больше жить у них.

— Ну, и прекрасно; оставайся здесь у меня.

Эмилия в церемонной позе уселась на одном из стульев.

— Ты слышала, Александра Иваныча в часть посадили?

— Да-с!

— Скажи, что про это муж говорит или кто-нибудь у него говорил; ты, вероятно, слышала.

— Девочку, что ли, он убил как-то!

— Какую девочку, за что?

— Мещанка там одна, нищенки дочь.

Марья Николаевна побледнела.

— Да за что же и каким образом?

— Играл с ней и убил.

— Что такое, играл с ней?.. Ты дура какая-то... врешь что-то такое...

Эмилия обиделась.

— Ничего я не вру-с... все говорят.

— Как, не вру!.. Убил девочку — за что?

Эмилия некоторое время колебалась.

— На любовь его, говорят, не склонилась, — проговорила она как бы больше в шутку и отвортила лицо свое в сторону.

Марья Николаевна взялась за голову и сделалась совсем как мертвая.

— В этот самый вечер это и случилось, как мы были у него с катанья, — продолжала Эмилия, — мужики на другой день ехали в город с дровами и нашли девочку на подгородном поле зарытою в снег и привезли в часть, а matka девочки и приходит искать ее. Она два дня уж от нее пропала, и видит, что она застрелена...

— Почему же девочку эту застрелил Александр Иванович?.. — спросила Марья Николаевна.

— Солдаты полицейские тут тоже рассказали: она, говорят, каталась на Имшиных лошадях со старухой, и прямо к нему они и проехали с катанья.

Молоденькое лицо Марьи Николаевны как бы в одну минуту возмужало лет на пять; по лбу прошли две складки; милая улыбка превратилась в серьезную мину. Она встала и начала ходить по комнате.

— Мужчина может это сделать совершенно не любя и любя другую женщину! — проговорила она насмешливым голосом и останавливаясь перед Эмилией.

— Он, говорят, совершенно пьяный был, — подтвердила та. — Человека его также захватили, тот показывает: три бутылки одного рому он в тот вечер выпил.

— Каким же образом он ее убил?

Личико Марьи Николаевны при этом сделалось еще серьезнее.

— Сегодня полицмейстер рассказывал Петру Александровичу, что Александр Иванович говорит, что она сама шалила пистолетом и выстрелила в себя; а человек этот опять показывает — их врознь держат, не сводят, — что

он ее стал пугать пистолетом, а когда она вырвалась и побежала от него, он и выстрелил ей вслед.

Дальнейшие ощущения моей героини я предоставляю читательницам самим судить.

У входа в домовую церковь тюремного замка стоял священник в теплой шапке и муфте и дьячок в калмыцком тулупе. Они дожидались, пока дежурный солдат отпирал дверь. Войдя в церковь, дьячок шаркнул спичкой и стал зажигать свечи. Вслед же за ними вошла дама вся в черном. Это была наша председательша. Священник, как кажется, хорошо ее знал. Она подошла к нему под благословение.

— Холодно? — сказал он.

— Ужасно! Я вся дрожу, — отвечала она.

— Не на лошади?

— Нет, пешком... У меня нет лошади.

— А Александра Иваныча кони где? Все, видно, проданы и в одну яму пошли.

— Все в одну! — отвечала Марья Николаевна грустно-насмешливым голосом, — но досаднее всего обман: каждый почти из них образ передо мной снимал и клялся: «Не знаем, говорят, что будет выше, а что в палате мы его оправдаем».

— Ну, да губернатора тоже поиспугались.

— Да что же губернатору-то?

— А губернатор супруга вашего побоялся: еще больше, говорят, за последнее время ему в лапки попал.

— Ну да, вот это так... но это вздор — это я разоблачу... — проговорила Марья Николаевна, и глаза ее разгорелись.

— На каторгу приговорили?

— На каторгу, на десять лет, и смотрите, сколько тут несправедливости: человек обвиняется или при собственном сознании, или при показании двух свидетелей; Александр Иваныч сам не сознается; говорит, что она шалила и застрелила себя, — а свидетели какие ж? Лакей и Федоровна! Они сами прикосновенны к делу. А если мать ее доносит, так она ничего не видала, и говорит все это она, разумеется, как женщина огорченная...

— В поле он мертвую-то свез... Зачем? Для чего?

— Прекрасно-с!.. Но ведь он человек: мог перепутаться; подозрение прямо могло пасть на него, тем более

что от другой матери было уж на него прошение в этом роде, и он там помирился только как-то с нею — значит, просто растерялся, и, наконец, пьян был совершенно... Они вывезли в поле труп и не спрятали его хорошенько, а бросили около дороги — ну, за это и суди его как за нечаянный проступок, за неосторожность; но за это не каторга же!.. Судить надобно по законам, а не так, как нам хочется.

Любовь сделала бедную женщину даже юристкою.

— Это все я раскрою, — продолжала она все более и более с возрастающим жаром, — у меня дядя член государственного совета; я поеду по всем сенаторам, прямо им скажу, что я жена такого-то господина председателя, полюбила этого человека, убежала к нему, вот они и мстят ему — весь этот чиновничий собор ихний!

— Дай бог, дай бог!.. — произнес священник со вздохом, — вас-то очень жаль...

— О себе, отец Василий, я уж и думать забыла; я тут все положила: и молодость и здоровье... У меня вон ребенок есть; и к тому, кажется, ничего не чувствую по милости этого ужасного дела...

Священник грустно и про себя улыбнулся, а потом, поклонившись Имшихе (так звали Марью Николаевну в остроге), ушел в алтарь.

Она отошла и стала на женскую половину. Богомольцев почти никого не было: две-три старушонки, какой-то оборванный чиновник, двое парней из соседней артели.

Дежурный солдат стал отпирать и с шумом отодвигать ставни, закрывающие решетку, которая отделяла церковь от тюремных камер. Вскоре после того по дальним коридорам раздались шаги. Это шли арестанты к решетке. К левой стороне подошли женщины, а к правой мужчины. Молодцеватая фигура Имшина, в красной рубашке и бархатной поддевке, вырисовалась первая. Марья Николаевна, как устала на него глаза, так уж больше и не спускала их во всю службу. Он тоже беспрестанно взглядывал к ней и улыбался: в остроге он даже потолстел, или по крайней мере красивое лицо его как-то отекло.

Когда заутрения кончилась, Имшин первый повернулся и пошел. За ним последовали и другие арестанты. Марья Николаевна долго еще глядела им вслед и прислушивалась к шуму их шагов. Выйдя из церкви, она не пошла к выходу, а повернула в один из коридоров. Здесь она

встретила мужчину с толстым брюхом, с красным носом и в вицмундире с красным воротником — это был смотритель замка. Марья Николаевна раскланялась с ним самым раболепным образом.

— Я прошу вас сказать Александру Иванычу, — начала она заискивающим голосом, — что я сегодня выезжаю в Петербург; мне пишут оттуда, что через месяц будет доклад по его делу в сенате; ну, я недели две тоже проеду, а недели две надобно обходить всех, рассказать всем все...

Смотритель на все это только кивал с важностью головой.

— Тут вот я ему в узелочке икры принесла и груздей соленых — он любит соленое, — продолжала она прежним раболепным тоном, подавая смотрителю узелок.

— Пьянствует он только, сударыня, очень и буянит, — проговорил тот, принимая узелок. — Этта на прошлой неделе вышел в общую арестантскую, так двух арестантов избил; я уж хотел было доносить, ей-богу!

— Вы ему, главное дело, водки много не давайте, — совсем нельзя ему не пить — он привык, а скажите, что много нельзя; я не приказала: вредно ему это.

— Нет-с, какое вредно — здоров очень! — возразил простодушно смотритель, так что Марья Николаевна немножко даже покраснела.

— Так, пожалуйста, не давайте ему много пить, — прибавила она еще раз и пошла.

На углу, на первом же повороте, на нее подул такой ветер, что она едва устояла; хорошенькие глазки ее от холода наполнились слезами, красивая ножка нетвердо ступала по замерзшему тротуару; но она все-таки шла, и уж, конечно, не физические силы ей помогали в этом случае, а нравственные.

19 мая 184... было довольно памятно для города П... В этот день красавца Имшина лишали прав состояния. Сама губернаторша и несколько дам выпросили в доме у головы позволение занять балкон, мимо которого должна была пройти процессия. В окнах всех прочих домов везде видны были головы женщин, детей и мужчин; на тротуарах валила целая масса народу, а с нижней части города, из-под горы, бежала еще целая толпа зевак.

На квартире прокурора, тоже находящейся на этой улице, сидели сам он — мужчина, как следует жрецу Фемиды, очень худощавый, и какой-то очень уж толстый помещик.

— Она при мне была у министра, — говорил тот, — так отчеканивает все дело...

Прокурор усмехнулся.

— У сенаторов, говорят, по несколько часов у подъезда дожидалась, чтобы только попросить.

— Любовь! — произнес прокурор, еще более усмехаясь.

— Но как хотите, — продолжал помещик, — просить женщине за отца, брата, мужа, но за любовника...

— Да... — произнес протяжно и многозначительно прокурор.

— Тем более, говорят, я не знаю этого хорошенько, но что он не застрелил девочку, а пристрелил ее потом.

— Да, в деле было такое показание... — начал было прокурор, но в это время раздался барабанный стук. — Едут, — сказал он с каким-то удовольствием.

Из ворот тюремного замка действительно показалась черная колесница. Имшин сидел на лавочке в той же красной рубахе, плисовой поддевке и плисовых штанах. Лицо его, вследствие, вероятно, все-таки перенесенных душевных страданий, от окончательно решенной участи, опять значительно похудело и как бы осмыслилось и одухотворилось; на груди его рисовалась черная дощечка с белою надписью: *Убийца...*

Из одного очень высокого дома, из окна упал к нему венок. Это была дама, которую он первую любил в П... С ней после того сейчас же сделалось дурно, и ее положили на диван. На краю колесницы, спустивши ноги, сидел палач, тоже в красной рубахе, синей суконной поддевке и больше с глупым, чем с зверским лицом.

В толпе народа, вместе с прочими, беспокойной походкой шла и Марья Николаевна; тело ее стало совершенно воздушное, и только одни глаза горели и не утратили, кажется, нисколько своей силы. Ей встретился один ее знакомый.

— Марья Николаевна, вы-то зачем здесь?.. Как вам не грех? Вы только растревожитесь.

— Нет, ничего! С ним, может быть, дурно там делается!

— Да там есть и врачи и всё... И отчего ж дурно с ним будет?

Дурно с преступником в самом деле не было. Приговор он выслушал с опущенными в землю глазами, и только когда палач переломил над его головой шпагу и стал потом не совсем деликатно срывать с него платье и надевать арестантский кафтан, он только поморщивался и делал насмешливую гримасу, а затем, не обращая уже больше никакого внимания, преспокойно уселся снова на лавочку. На обратном пути, от колесницы все больше и больше стало отставать зрителей, и когда она стала приближаться к тюремному замку, то на тротуаре оставалась одна только Марья Николаевна.

— Я уж лошадь наняла, и как там тебя завтра или послезавтра вышлют, я и буду ехать за тобой! — проговорила она скороговоркой, подбегая к колеснице, когда та въезжала в ворота.

— Хорошо! — отвечал ей довольно равнодушным голосом Имшин.

Оставшись одна, Марья Николаевна стыдливо обдернула свое платье, из-под которого выставлялся совершенно худой ее башмак: ей некогда было, да, пожалуй, и не на что купить новых башмаков.

В теплый июльский вечер по большой дороге, между березок, шла партия арестантов. Впереди, как водится, шли два солдата с ружьями, за ними два арестанта, скованные друг с другом руками: женщина, должно быть, ссыльная, только с котомкой через плечо, и Имшин. По самой же дороге ехала небольшая кибиточка, и в ней сидела Марья Николаевна с своим грудным ребенком. Дорога шла в гору. Марья Николаевна с чувством взглянула на Имшина, потом бережно положила с рук спящего ребенка на подушку и соскочила с телеги.

— Ты посмотри, чтобы он не упал, — сказала она ехавшему с ней кучером мужику.

— Посмотрю, не вывалится, — отвечал тот грубо.

Марья Николаевна подошла к арестантам.

— Ты позволь Александру Иванычу поехать: он устал, — сказала она старшему солдату.

— А если кто из бар наедет да донесут, — засудят!.. — отвечал тот.

— Если барин встретится, тот никогда не донесет — всякий поймет, что дворянину идти трудно.

— И они вон тоже ведь часто ябедничают! — прибавил солдат, мотнув головой на других арестантов.

— И они не скажут. Ведь вы не скажете? — сказала Марья Николаевна, обращаясь ласковым голосом к арестантам.

— Что нам говорить, пускай едет! — отвечали мужчины в один голос, а ссыльная баба только улыбнулась при этом.

Имшин ловко перескочил небольшую канавку, отделяющую березки от дороги, подошел к повозке и сел в нее; цепи его при этом сильно зазвенели.

Марья Николаевна проворно и не совсем осторожно взяла ребенка себе на руки, чтобы освободить подушку Имшину, он тотчас же улегся на нее, отвернулся головой к стене кибитки и заснул. Малютка между тем расплакался. Марья Николаевна принялась его укачивать и стращать, чтобы он замолчал и не разбудил отца.

Когда совсем начало темнеть, Имшин проснулся и зевнул.

— Маша, милая, спроси у солдата, есть ли на этапе водка?

— Сейчас; на, поддержи ребенка, — прибавила она и, подав Имшину дитя, пошла к солдату.

— На этапе мы найдем Александру Иванычу водки? — спросила она.

— Нет, барыня, не найдем; коли так, так здесь надо взять; вон кабак-то, — сказал солдат.

Партия в это время проходила довольно большим селом.

— Ну, так на вот, сходи!

— Нам, барыня, нельзя; сама сходи.

— Ну, я сама схожу, — сказала Марья Николаевна весело и в самом деле вошла в кабак. Через несколько минут она вышла. Целовальник нес за ней полштофа.

— Что за глупости — так мало... каждый раз останавливаться и брать... дай полведра! — крикнул Имшин целовальнику.

Марья Николаевна немножко изменилась в лице.

Целовальник вынес полведра, и вместе с Имшиным они бережно устали его в передок повозки.

— Зачем ты сама ходила в кабак? Разве не могла послать этого скота? — сказал довольно грубо Имшин Марье Николаевне, показывая головой на кучера.

— А я и забыла об нем совершенно, не сообразила!.. — отвечала она кротко.

Печаль слишком видна была на ее лице.

Этап находился в сарае, нанятом у одного богатого мужика.

— В этапе вам, барыня, нельзя ночевать; мы запираемся тоже... — сказал Марье Николаевне солдат, когда они подошли к этапному дому. — Тут, у мужичка, изба почесть подле самого сарая: попроситесь у него.

Марья Николаевна попросилась у мужика, тот ее пустил.

— Там барин один идет, дворянин, так что бы поесть ему! — сказала она хозяину.

— Отнесут; солдаты уж знают, говорили моей хозяйке.

Марья Николаевна, сама уставшая донельзя, уложила ребенка на подушку, легла около него и начала дремать, как вдруг ей послышалось, что в сарае все более и более усиливается говор, наконец раздается пение, потом опять говор, как бы вроде брани; через несколько времени двери избы растворились, и вошел один из солдат.

— Барыня, сделайте милость, уймите вашего барина!

— Что такое? — спросила Марья Николаевна, с беспокойством вставая.

— Помилуйте, с Танькой все балует... Она, проклятая, понесет теперь и покажет, что на здешнем этапе, — что тогда будет?

Марья Николаевна, кажется, не расслышала или не поняла последних слов солдата и пошла за ним. Там ей представилась странная сцена: сарай был освещен весьма слабо ночником. На соломе, облокотившись на деревянный обрубок, полулежал Имшин, совсем пьяный, а около него лежала, обнявши его, арестантка-баба.

Марья Николаевна прямо подошла к ней.

— Как ты смеешь, мерзавка, быть тут? Солдаты, оттащите ее! — прибавила она повелительным голосом.

Солдаты повиновались ей и оттащили бабу в сторону.

— А ты такая же, как и я — да! — бормотала та.

— И вы извольте спать сию же минуту, — прибавила она тем же повелительным голосом Имшину; лицо ее горело при этом, ноздри раздувались, большая артерия на шейке заметно билась. — Сию же секунду! — прибавила она и начала своею слабою ручкою тереть его за плечо, как бы затем, чтобы сделать ему больно.

— Поди, отвяжись! навязалась! — проговорил он пьяным голосом.

— Я вам навязалась, я? — говорила Марья Николаевна — терпения ее уж больше не хватало. — Низкий вы, подлый человек после этого!

— Я бью по роже, кто мне так говорит, — воскликнул Имшин и толкнул бедную женщину в грудь.

Марья Николаевна хоть бы бровью в эту минуту пошевелила.

— Ничего; теперь все уж кончено. Я вас больше не люблю, а презираю, — проговорила она, вышла из этапа и в своей повозочке уехала обратно в город.

История моя кончена. Имшина, как рассказывали впоследствии, там уж в Сибири сами товарищи-арестанты, за его буйный характер, бросили живым в саловаренный котел. Марья же Николаевна... но я был бы сочинителем самых лживых повестей, если б сказал, что она умерла от своей несчастной любви; напротив, натура ее была гораздо лучшего закалу: она даже полюбила впоследствии другого человека, гораздо более достойного, и полюбила с тем же пылом страсти.

— Господи, что мне нравилось в этом Имшине — решительно не знаю!.. — часто восклицала она.

— Стало быть, и героиня ваша лгунья? — заметят мне, может быть, читательницы.

Когда она любила, она не лгала, и ей честь делает, что не скрывала потом и того презрения, которое питала к тому же человеку. За будущее никто не может поручиться: смеем вас заверить, что сам пламенный Ромео покраснел бы до конца ушей своих или взбесился бы донельзя, если б ему напомнили, буква в букву, те слова, которые он расточал своей божественной Юлии, стоя перед ее балконом, особенно если бы жестокие родители не разлучили их, а женили!

УЖЕ ОТЦВЕТШИЕ ЦВЕТКИ¹

I

КАПИТАН РУХНЕВ

Это было лет двадцать пять назад. Я служил чиновником особых поручений при м—м военном губернаторе. Однажды я получил от него повестку немедленно явиться к нему. Я поехал и застал губернатора в сильно раздраженном состоянии.

— Поезжайте сейчас в острог, — начал он сердитым голосом, — там содержится отставной капитан Рухнев, скажите ему от моего имени, что если он еще раз позволит себе шутки в сношениях с начальствующими лицами, так я посажу его в одиночное заключение!

И с этими словами губернатор подал мне данное капитаном Рухневым местному полицмейстеру объяснение, которое было такого рода: «На предъявленное мне вашим высокородием взыскание имею честь объяснить, что оное взыскание я признаю вполне законным; но удовлетворить его затрудняюсь, потому что, как известно это и вашему высокородию, имею единственное только благоприобретенное состояние — 4-й номер в м—м тюремном замке, который, если ваше высокородие найдете это законным, предоставляю продать с аукциона для уплаты моего долга или предоставить оный и без торгов во владение

¹ Это ряд рассказов из жизни и типов 40—50-х годов. (Прим. автора.)

г. кредитора, каковый номер он может занять, когда только пожелает!»

— Пугните его хорошенько и напомните ему, что я острот в службе не люблю! — заключил губернатор.

Я поехал. Мне давно хотелось посмотреть на Рухнева и побеседовать с ним. По слухам, он был человек умный, большой говорун и ни перед законом, ни перед своей совестью страха не ведавший. Караульный унтер-офицер провел меня к нему в номер. При входе моем Рухнев, окинув меня с некоторым удивлением глазами, вежливо поклонился мне. Я сказал ему свое звание и фамилию. На губах Рухнева пробежало что-то вроде усмешки. Я объяснил ему, в чем состояло мое поручение. Тут Рухнев явно уже усмехнулся и, пригласив меня сесть, сам тоже опустил на свое кресло. Видимо, что он пообжился и пообзавелся в своем номере: у него был письменный стол, на котором стояли чернильница, счеты, лежала засаленная колода карт, а около постели лежала огромная датская собака. Рухнев, заметив, что я осматриваю его номер, поспешил сказать:

— Я надеюсь, что вы нашему свирепому начальнику губернии не опишете подробно моего помещения: для заключенного в этом только и отрада!

— Нет, не опишу, — отвечал я.

Рухнев взял меня за руку и крепко пожал ее. Повидимому, ему было лет около сорока. Одежда на нем была не арестантская и состояла из нанкового казакина, на котором висел даже какой-то крестик, и из широких черных, с красным кантом, шаровар. Он был полноват, небольшого роста, с выдвинутыми, как у рака, вперед глазами, которые он закрывал очками; волосы и усы имел подстриженными и вообще в лице своем являл более дерзкое, чем умное выражение.

— Вы изволите говорить, что начальник губернии велел мне напомнить, что он не любит в службе шуток, — заговорил он, — помню-с это, очень хорошо помню, потому что он выгнал даже меня из службы за мою шутливость.

— За одну только шутливость? — спросил я.

— Да-с!.. — подтвердил Рухнев и, заметив во мне любопытство, он продолжал, — дело происходило таким манером: я служил исправником и не по выборам, а по личному назначению самого начальника губернии; сверх того,

за мою распорядительность мне, опять-таки лично им же, поручено было смотреть за благочинием и благоустройством присутственных мест. Смотрю я за всем этим: только раз зимой в сени присутственных мест затесалась ворона и, вероятно, перепугавшись и удивившись, где она очутилась, начала метаться по окнам и перебила все стекла. Что тут прикажете делать?.. Медлить нельзя было, снежищу наваливало каждое утро в сени по колена!.. Я велел стекла вставить и доношу губернскому правлению, которое тогда заведывало строительною частью, что, к великому прискорбию, в здание присутственных мест влетела ворона и, по глупому своему птичьему разуму, перебила все стекла, каковые мною уже заменены новыми, и вместе с тем просил распоряжения о возврате мне израсходованной мною на сей предмет суммы. Губернское правление, получив этот рапорт, вошло в такого рода рассуждение, что так как влетение и разбитие стекол вороною показывает явную небрежность со стороны лиц, смотрению которых непосредственно подлежат присутственные места, то израсходованную сумму возложить на виновных, то есть, значит, прямо на мой счет... Мне показалось это несправедливым. В ответ на такое распоряжение я пишу, что, по строгим соображениям настоящего дела, виновною в разбитии стекол оказывается одна только ворона; но что для взыскания с нее мне неизвестно ни места жительства вороны, а равно имущества и капиталов, ей принадлежащих, — в ведомстве моем не состоит, а потому покорнейше прошу о разыскании того и другого учинить должную публикацию; приметы же вороны обыкновенные: мала, черна, глупа!..

Я невольно захохотал.

— Вы вот смеетесь, и я думал, что посмеются только; ан вышло не то-с! — слегка воскликнул Рухнев. — Начальнику губернии подшепнул ли кто, или самому ему поместилось, что будто я под последними словами моего рапорта разумел его супругу, которая действительно была черна, глупа и мала; и он мне, рабу божью, предложил через одно лицо подать в отставку, угрожая в противном случае уволить меня по третьему пункту без прошения, — хорошо?

— Хорошо, — согласился и я, но вслед за тем прибавил: — Неужели же это одно только и было причиной вашей отставки?

— Конечно, не одно!... — воскликнул откровенно Рухнев. — Я как теперь понимаю, главная моя ошибка была, что я с духовенством и дворянством не умел ладить. Должность исправника прежде всего дипломатическая: с мужика он хоть шкуру дери — это ничего, — похвалят еще; но попа и дворянина за дело даже не трогай, а по головке его гладь. И, как вот наблюдал я над этим нашим сельским духовенством, так который поп еще пьет, из таких бывают честные и добрые; но которые совершенно трезвые — спаси бог от них всякого; всем они завидуют, против всех злобствуют, и если уж кому крупца от них перепала, — они тебе во всю жизнь этого не забудут. Какой случай у меня был с двумя попами: один из них, с виду этакой степенный, осанистый, всякое дело начинал с крестом да с молитвою, а сам между тем лошадьми торговал, как цыган какой-нибудь: расплодит, знаете, жеребят и начинает их кормить собранным с приходу печеным хлебом, и лошади выходили у него хорошие, так что в околотке их называли особым именем: *поповские выкормки!*.. Мне тоже тогда... только что я еще определился в исправники... — коренная понадобилась. Присмотрел я у этого попа одного меринка. «Продайте, говорю, святой отец!» — «Купите!» — говорит. — «А что цена?» — «Четыреста рублей!» Меня как варом обдало. «Святой отец, говорю, я исправник! с меня можно и подешевле взять... если вы пастырь духовный, и блюдете вашу паству от греха, так я, говорю, храню вас от конокрадов». — «Не меня, говорит, одного вы храните, а весь уезд... что ж мне за всех откупаться!..» и ни копейки не спустил. Как хотите, это обидно... Я не даром у него просил выкормка: возьми с меня цену, но только человеческую, а не поповскую... Думаю про себя: «Ну, смотрите, святой отец, не попадитесь мне сами... Тогда и я запрошу с вас мзду не малую», — и точно что очень скоро вышел случай к тому: еду я раз мимо села этого священника в день преображенья... идет служба... я в церковь и, по обыкновению, прямо направился в алтарь, где и встал в уголок... В успеньки, как вы знаете, наши деревенские бабы целыми селеньями причащают своих детей маленьких: мрет тех очень много в эту пору. Ягод они, конечно, наедаются и животишки себе расстраиывают... Только-с, когда святой иерей наш — и скуфьеносец он был, заметьте, — вышел со святыми дарами и стал совершать прича-

щение, слышу, что такое это?.. Рев, визг и плач раздался по церкви неописанный!.. Я испугался даже; выглянул из-за северных врат, смотрю: другого уж мальчика лет трех подносят к причащению, веселенький этакой, улыбается, а как причастили — заплачет, заорет, а который поменьше, так матери, видно, и унять никак не могут, корчится и кричит младенец почти до черноты... А тут как нарочно, когда я обернулся опять в алтарь, смотрю: около самого меня на окне стоит бутылка с красным вином, употребляемым для причастия, и не закупоренная даже... Я, по невольному любопытству, хлебнул из нее и чуть сам не заревел, как младенцы те. Вместо кагора, как предписано еще регламентом Петра великого, оказался чихирь последнего кабацкого свойства, так что ни один пьяный приказный за деньги пить не станет. Хотел было тут же начать дело, но, думаю, в храме божием, во время священнодействия, заводить уголовщину — грех! Промолчал-с! Но тем не менее на той же неделе постарался захватить в заштатный городок Дыбки, где есть ренской погребок, из которого, я знаю, для всего околотка в церкви берут вино. Я прямо в этот погребок: дурака тут какого-то сидельца краснорожего, над всем надзирающего, послал шампанского мне заморозить, а сам немедля к приходо-расходной книге и на четвертой же странице встречаю расписку отца Николая Магдалинского, этого самого скуфьеносца и лошадиного барышника, в заборе красного вина по рублю серебром за ведро, тогда как настоящего кагора меньше десяти рублей серебром не купишь, — разница, значит, значительная! Я этот листок выдрал и в карман, а в первое же воскресенье опять к обедне в село и только уж не в сюртучке штатском — а в вицмундире и при всех своих крестах и регалиях. В алтарь тоже на этот раз не пошел, а стал направо на дворянской стороне. Опять идет причащение-с, опять мальчишки плачут, так что и утешить их ничем не могут. Наконец, отец Николай выходит с крестом... Я подхожу и говорю ему: «Отец протоиерей, я желаю с вами объясниться по одному делу!» Он, надо полагать, сметил, что что-то неладное для него выходит, засеменил, заюлил и в гости меня к себе зовет. Я пошел к нему и прямо начал с того, что вот, посещая нередко в успенский пост церковь его, я заметил, что при причащении младенцев, особенно грудных, они очень сильно кричат и плачут,

а потому нашел нужным исследовать причины тому, каковая и оказалась в дурном качестве вина! Смутился попенка. «У меня, говорит, вино хорошее покупается!» — «Хорошим, я говорю, оно никак не может быть, потому что вы платите по рублю серебром за ведро, а кагор стоит десять рублей!» — «Как же, говорит, ваше высокородие, вы это знаете?» — «Да я, говорю, видел вашу расписку в книге в погребке и листок этот выдрал». Смутился поп сильно.

— Чего ж он мог смутиться! — невольно перебил я Рухнева. — Дети плакали вовсе не от вина, а что их поражала вся эта церемония!

— Знаю-с это я! — подхватил он, лукаво подмигнув. — И поп это понимал, но заноза тут, чего он испугался, была не в том-с, а что, покупая красное вино по рублю серебром, он ставил его, может быть, в отчете церковном пять или десять рублей, вот главным образом в какую жилу я бил и, кажется, попал в нее, потому что отец скуфьеносец попустил с себя немного важности. «Что ж, — спрашивает он меня, — вы можете мне этим листом сделать?» Я говорю: «Я не знаю; я представлю его губернатору при объяснительном рапорте, а тот, вероятно, препроводит его к архиерею, который, чего доброго, передаст дело в консисторию». Ну, а для всякого попа, знаете, попасть в лапы консистории все равно, что очутиться на дороге между разбойниками — оберут наголо! «Вы, говорит, совсем уж, видно, очернить меня хотите!..» — «Я, говорю, чернить вас вовсе не желаю, а исполняю свой долг!..» — «Нет, говорит, вы не долг свой исполняете, а потому что вы злобу против меня имеете за выкормка... так извольте, говорит, я вам его подарю». — «Подарков, говорю, я не принимаю, а купить — куплю». — «Прошу вас о том!» — «Что же цена?» — «Что дадите». Я подумал: купить у него совсем дешево — подло. «Сто целковых, говорю, дам!» — «Берите-с», говорит, и таким печальным голосом; а на поверку вышло, что выкормок этот никуда не годная лошадь, только что толст, а ленивый, сырой, так что сто целковых цена красная за него была; но попу, по жадности лоповской, казалось, что я чуть его не разорил, и принялся он кричать по уезду, что я с него ни за что, ни про что взял выкормка даром! «Ах ты, лживая душа», — думаю, и вся внутренность во мне, знаете, перевернулась от злости за

такую клевету... Я дал себе слово во что бы ни стало поднять опять дело об чихире; прямо мне это не удалось, но косвенно по крайней мере: был-с у отца Магдалинского брат родной, тоже священник в маленьком, бедном приходе... Был он вдов-с и работницу держал молодую, что по правилам церковным воспрещается, и однажды, когда мне как-то случилось быть в его приходе на весьма продолжительном следствии, слышу я тут, что работница попа беременна-с! Ну, и бог, значит, с ней!.. Потом говорят, что работница родила... опять, значит, слава богу — царю прибыль, кантонист новый... Далее меня извещают, что работница эта бегаёт по селу и плачется, что младенец у нее занедужил, а там и помер, — и это, думаю, возможно; однако все-таки поручил становому узнать: из какой именно деревни работница попа. Дознано-с. Я опять поручаю становому донести, нет ли в этой деревне у кого-либо из крестьян подкидышей... «Есть», — говорят. «У кого?» — «У старика Фадея». — «А как этому Фадею приходится работница попа?» — «Дочерью!» Дело, значит, ясное. У нас обыкновенно все солдатки, коли родят мальчика, так, чтобы избавить его от солдатства, подкидывают отцам своим, матерям, дядям, сестрам, у кого кто есть. Но тут меня заинтересовало другое обстоятельство: все говорят, что ребенок у работницы помер; значит, он и похоронен. Еду я в это село и спрашиваю священника, что действительно ли проживающая у него в работницах солдатка родила, что ребенок у ней будто бы помер и похоронен при его церкви? «Действительно-с», — говорит. — «Но каким же образом, — возражаю я ему, — до меня дошли довольно достоверные слухи, что ребенок этот жив и подкинут к деду?» Поп, как рак вареной, покраснел. «Нет-с, говорит, как это возможно, — помилуйте!» — «Миловать я, говорю, тут не вправе, а вы извольте мне объяснить: какого именно числа работница родила, когда у ней умер ребенок, а также покажите мне и его могилку». Поп совсем растерялся, завилал: «Я не знаю, я не помню!» Тогда я работницу его за бока; та тоже мялась-мялась, наконец, показала могилку. Я распорядился могилку эту разрыть; однако говорят, что поп не пускает, запер даже калитку и ворота ограды, и что на защиту его прибыл даже благочинный. Ну что ж, милости просим! Вижусь я на другой день с этим благочинным, начинается между нами спор. «На каком основании, —

говорит мне он, — вы хотите произвести кощунство на церковном погосте, не пригласив даже депутата с духовной стороны?» — «Да вот извольте, говорю, я вас приглашаю, — благо вы прибыли, — я начинаю дознание по рапорту станового пристава!» Благочинный видит, что меня не напугаешь; а потому, содрав с попа многие динарии, уехал к себе восвояси, как бы ничего тут не зная и не ведая. Я, однако, могилку раскопал при понятых, вынул оттуда гробок, раскрыл его, и оказалось, что в нем похоронен был не младенец, а кошка мертвая, и, знаете, не просто, а в этакой тряпке, как бы в саване.

— Почему же они не пустой гробик похоронили? — невольно перебил я Рухнева.

— Точно такой же вопрос и я сделал работнице. Она, конечно, разревелась и говорит, что пустой гробик ей показалось грешно похоронить, а у них тем временем кошечка ее любимая околела, она ее и похоронила! А?.. Умница какая! Пустой гробик хоронить, по ее, грех, а с кошкой — ничего!.. Я вам говорю — все эти наши русские бабы дура на дуре, свинья на свинье.

— Но священник знал, кого он хоронит? — спросил я.

— Конечно, знал!.. Из его же дома увезли ребенка подкидывать, да вряд ли не сам он это дело и творил, но он, без сомнения, заперся, а также и работница на него не показала. Тем не менее, однако, я обо всем этом деле донес губернатору, так как тут уж действительно производится кощунство; а кроме того, чинится укрывательство слуг царя, должествующих поступать в кантонисты; а также кстати присоединил и об беспорядках братца родного этого священника, торгующего лошадьми и покупающего вместо кагора чихирь астраханский.

— Поблагодарили они, я думаю, вас за это, — заметил я.

— Благодарить-то, к несчастью, не за что было, — воскликнул злобно Рухнев; — их пальцем никто не тронул, потому что черномазая супруга губернатора... — я надеюсь, что вы не передадите ничего из моих слов губернатору, хотя, впрочем, и передайте, пожалуй, мне все равно!.. — супруга губернатора, как всем известно, ханжа великая, водится с архиереями, попами и в то же время держит мужа под башмаком... и можете судить, что для меня из всего этого произошло.

— Но вы упомянули, что и с дворянством тоже не ладили? — спросил я.

— Как вам сказать: с дворянством средней руки — ничего, я не ссорился особенно и даже хлебосольничал им: всегда уж, кто из них в город приезжал, прямо ко мне: обедает, днюет, а другой и ночует у меня; но вот высшему дворянству, этим, как их там называют, нашим козырным тузам, пришлось не по вкусу, и главным образом наскочил я тут на некоего князя Архарина, самого богатого здешнего помещика и весьма важной особы в Петербурге, благодетеля, по наружности, всех чиновников; им еще издавна предписано было его вотчинному начальству преподносить к рождеству и перед пасхой всей земской полиции праздничные деньги, отводить чинам оной при наезде их удобные квартиры, поставлять содержание и лошадей; но меня, конечно, этим не умаслишь: дружба дружбой, а служба службой! Вышел такой казус: назначен был ко мне в уезд на стоянку полк, — а надобно сказать, что все мужики боятся таких стоянок пуще черта, потому что солдаты, что я знаю уж по своей военной службе, объедают мужиков, да еще вдобавок развращают ихних баб и девок всплошью... Что хотите мужики каждой деревни готовы дать, чтобы не было полковых стоянок, а это зависит главным образом от исправников... Сижу я раз у городничего и играю с ним в преферанс, вдруг вижу, что его вызвали в переднюю к кварташке... Потолковали они там между собою, и городничий опять возвратился играть, — дрянь этакой был, размазня. «Что такое, спрашиваю, не случилось ли чего-нибудь?..» — «Да говорят, — зашамкал он, — что бурмистр князя Архарина другой день здесь в городе пьянствует, буянит, колотит в трактире посуду, стекла!» — «Что ж, говорю, велите его посадить в кутузку», — и тут вдруг, по моей полицейской сметке, пришло мне в голову: бурмистр княжеский кутит и не на свои, разумеется, деньги, а на княжеские, между тем идет разверстка по солдатскому постою, — не на этот ли предмет он учинил сбор с крестьян и пропивает его? «Вы, однако, — говорю городничему, — прикажите попридержать этого пьяницу в полиции, потому что я нюхом чувствую, что тут что-то нечисто». И так меня стала моя мысль подмывать, что я, не кончив даже пульки, уехал домой, сел в тарантас и отправился в село Зиньково — главный пункт всех княжеских

имений; спрашиваю: «Где бурмистр?..» — «В отлучке», — говорят... Я велел сотским, которые были половчее, разведать, не происходило ли чего особенного в вотчинной конторе князя, и оказалось, что там случилось точь-в-точь, что я предполагал: была в недавнее время мирская сходка мужиков и собрана с них значительная сумма на откуп от солдатского постоя; сверх того: сбор этот был произведен на мое имя... Тут уж я не па шутку взбесился: послал двух сотских в уездный город и велел им, по бумаге от меня, взять у городничего бурмистра, привезти его ко мне живого или мертвого, связанным или несвязанным. Понутру доставили мне моего голубчика... Рожа у него, я вам говорю, была на облик человеческий непохожа: оплывшая, вся в синяках, исцарапана, в крови... Видно, его самого тоже тузили в трактире не жалеючи. «Где деньги, которые ты собирал на мое имя?» — спрашиваю его прежде всего. Он мне в ноги. «Виноват, говорит, деньги одни прогулял, а другие украли у меня». — «Врет», — думаю и велел его раздеть догола... Денег не оказалось... успел уж каналья передать их кому-либо из своих!.. Имея все это в виду, я посек его и не очень сильно, и спрашиваю вас теперь, сделал я в этом случае что-нибудь противузаконное?

— Сделали, — сказал я ему откровенно.

Рухнев гордо и с удивлением выпучил на меня через очки свои глаза.

— Вы должны были бы не сечь бурмистра, а произвести формальное следствие об его поступках, — добавил я.

— О хо, хо, хо! — воскликнул Рухнев. — Вы поэтому не понимаете полицейской службы. Как нам заводить письменные дела о плутнях всяких старост, так и бумаги не достанет. И что хуже всего: князь, казалось бы, стоявший на таком высоком посту, так же понял это и вместо того, чтоб поблагодарить меня и сменить своего бурмистра, он написал гневное письмо против меня губернатору, изложив не то, что от меня узнал, а что донес ему сам бурмистр, что будто бы я это заставлял его делать сбор и что, когда он послушался меня, я отпорол его не на живот, а на смерть!.. Хороша логика тут: человек меня послушался, а я его наказал за это!.. Но, как говорится, княжеская голова: пусто, видно, в ней, звенит!.. Словом-с: все точно нарочно слилось в одно, чтобы погубить меня

совершенно, так как я, скажу уж это с гордостью, каким поступил нищим на службу, таким нищим вышел из нее.

Проговоря это, Рухнев знаменательно мотнул головой и замолк.

Не было сомнения, что он вышел из службы без копейки, но никак уж не от бескорыстия, а оттого, что, по своей размашистой натуре, все мгновенно проживал, что наживал. Таких типов было и будет всегда много, и Рухнев разве только превосходил их тем, что ему решительно уж ничего внутри не мешало измышлять и приводить в исполнение всякого рода плутни и мошенничества, доходя иногда до глупости, до дурачеств!

— А за что вы сюда попали? — пожелал я узнать, хотя отчасти и слышал об этом.

Рухнев захохотал.

— Да опять, — воскликнул он, — та же почти старая песня, что была у меня с попами и бурмистром, повторилась: здешние начальствующие лица как ненавидели меня на службе, так ненавидят и до сих пор... Я хотел-с, по долгу каждого дворянина, открыть им уголовное преступление, а они меня самого повернули в преступника!.. Дело это любопытное... Сначала я сердился, а теперь уж смеюсь, потому что оправдаться я оправдаюсь; но нельзя же так надругаться над человеком, как они надругались надо мной и как еще, кажется, намерены надругаться. Началось с того: еду я однажды ночью на легковом извозчике, на котором и прежде, во дни моего богатства и славы, ездил и платил ему хорошо. Разговорился я с ним о том о сем... Он был выпивши порядочно и только вдруг обертывается ко мне и спрашивает меня: «Как ты думаешь, барин, почту обокрасть можно?» Я, по своей привычке шутить всегда, отвечаю: «Отчего ж не можно — можно! умным людям только, а не дуракам!..» Он помолчал немного. «То-то, говорит, удалых из нас много, а умных нет!» Тут у меня мелькнула другая мысль: «Черт их знает, умных они, пожалуй, и приищут!» — «Что ж, говорю, если между вами удалых много, так умным я могу быть у вас!» — «А разве ты пойдешь на это дело?» — спрашивает он меня. — «Отчего ж, говорю, не пойти? Чем топиться в реке от голоду, лучше малую толику заработать!» И пошло тут между нами по этому предмету каляканье. «Много ли по почте возят денег? Правда ли, что тысяч по двадцати?» — спрашивает он. «Какое, говорю,

и по двести возят». — «То-то, говорит, тоже надо набрать народу человек десять, ружьев испкупить, пороху, пуль!» — «Достанет на всех и на все!» — ободряю я его; а сам на другой день отправился к жандармскому полковнику, повествую ему, что вот так и так...

Рассказывая это, Рухнев вовсе и не подозревал, до какой степени он сам являлся омерзителен, и продолжал далее:

— Выслушал меня господин полковник внимательно, но в толк, вижу, ничего не взял и, вместо того чтобы к малейшему слуху держать ухо остро, только хлопает, как филин, глазами. «Хорошо-с, говорит, назовите этих заговорщиков, мы их сейчас переловим!» — «Переловить их, — толкую я ему, — никакой пользы не будет!.. Заговор у них еще не созрел!.. Вы, говорю, дайте мне первоначально на раскрытие этого дела триста рублей серебром, — я всю их шайку окончательно выщупаю, соберу их всех к себе и живьем вам выдам в руки!..» Опять явилось затруднение по случаю требования моего, чтобы мне прежде всего было выдано триста рублей. «У нас, говорит, нет на это сумм!» — «А когда нет, так прощайте, без денег мне ничего тут не сделать!» — «Но постойте, говорит, я должен по крайней мере прежде всего посоветываться с начальником губернии!» — «Это, говорю, сколько угодно вам, советуйтесь; но сущность дела от этого не изменится: своих денег у меня нет, а поэтому я и сделать ничего не могу!..» Крутит мой полковник свой ус и отпустил, наконец, меня; советывался он с губернатором дня два и на третий приглашает меня к себе, выдают мне триста рублей и читают такую рацею, что если я ничего не открою, так они распорядятся со мною по всей строгости российских законов!.. Открыть мне, конечно, очень легко было: я в один зимний вечер рассадил в моей квартире под полом жандармов, созвал всю извозчищью шаварду, начинаю с ними говорить по душе. Они, как водится, выболтали все, как и когда думают ограбить почту, потом, конечно, жандармы арестовали всех нас. Сначала я думал, что меня собственно берут для виду только, но когда началось формальное следствие, то оказалось, что я такой же арестант, как и извозчики, и что я в чем-то заподозреваем. Следствие поручено было полицмейстеру — злейшему моему врагу по разным моим столкновениям с полицией, и он вывел так, что ограбление почты выдумали

не извозчики, а я их на то подговаривал!.. Понимаете, слова-то мои, которые говорил я для шутки, для выпытывания, господин полицмейстер, а вместе с ним и губернское правление, поняли так, что я говорил все это взаправду... Я, конечно, в своих показаниях и на всевозможных очных ставках старался опровергнуть подобную бессмыслицу и теперь вот посмотрю, как уголовная палата взглянет на это дело... Смешно-с, ей-богу, смешно!

Я сидел молча и потупившись, чувствуя невыносимое озлобление на Рухнева за его бесстыдство, наглость и лживость.

Он это заметил и проговорил:

— Вы мне тоже, может быть, не верите?

— Не верю! — ответил я ему строго.

Рухнев усмехнулся.

— А верите ли тому, что я буду оправдан?

— Этому верю!

— Почему?

— Потому что Фемида вообще, а у нас в особенности, слепа.

— Это так, так!.. — весело подхватил Рухнев.

На том наше свидание и кончилось.

Прошло лет десять. Я жил уже в Петербурге и, идя раз по Невскому, встречаю Рухнева в толстом, английского покроя, внушительном пальто, в сапогах на пробковой подошве, в кашне из настоящего индийского кашемира, в туго надетых перчатках, в шиказной круглой шляпе, — и при этом самодовольство светилось во всем его лице. Узнав меня, Рухнев протянул мне почти дружески руку, которую я, делать нечего, пожал.

— Зайдемте к Палкину позавтракать... Отличнейший там делают салат из ершей! — пригласил он меня сразу же.

Я отказался.

— Вы знаете: я с этими господами, которые, помните, упрятали меня в острог, порасквитался немного: одного, милостию божией, причислили к запасным войскам, а господина полицмейстера и совсем по шапке турнули... Он, полячишка, чересчур уж не скрывал своей любви к родине, — тараторил Рухнев.

— И все это вы устроили? — спросил я.

— Отчасти! — отвечал он хвастливо. — Я в подобных случаях ни у кого еще в долгу не оставался!..

— А сами вы оправданы судом? — кольнул я его.

— Оправдан, если хотите, — отвечал Рухнев уж скороговоркой, — но подвергнут там... этому нашему великому мудрому изречению: *Оставить в подозрении*.

— На службу поэтому вы поступить не можете! — продолжал я язвить его.

— Разумеется, — воскликнул он, — но я об этом ни сколько и не жалею: нынче столько открылось частных и общественных деятельностей, что всякий неглупый человек может не бояться, что он умрет с голоду!.. Я в новых учреждениях имею даже не одно, а несколько мест...

В это время густо шедшая толпа разделила нас, и я видел только, что Рухнев, приветливо кивнув мне головой, завернул в палкинский трактир, я же невольно подумал про себя: «Ну, не поздравляю эти общественные и частные деятельности, которые приняли господина Рухнева в лоно свое».

Опасение мое оправдалось впоследствии: Рухнев оказался одним из первых в многочисленном списке обворовавших свои учреждения, и увы! — приговора своего он не дождался и отравился в тюрьме, очень испугавшись, как меня уверяли, нового суда: отписываться и отговариваться он умел, но явиться и оправдываться перед глазами целой публики — сробел!

ПРИМЕЧАНИЯ

КОМИК

Впервые — в «Москвитянине» за 1851 год (№ 21, ноябрь).

К работе над этим рассказом Писемский приступил, осенью 1850 года. 26 декабря 1850 года он упоминает о нем в письме А. Н. Островскому: «Есть у меня в начатке рассказ «Комик», но я его ранее половины или конца февраля не могу окончить» (Письма, 31). В феврале 1851 года «Комик» был включен в число тех произведений, которые Писемский обязался по договору с Погодиным «доставить... в продолжение 1851 года» для «Москвитянина» (Письма, 592—593). Рассказ был закончен в апреле — мае 1851 года. «Комик» вчерне готов, — сообщал Писемский Погодину 10 апреля 1851 года, — стоит только переписать и немного исправить» (Письма, 525). 25 мая рассказ был отправлен А. Н. Майкову для передачи Погодину. В издании Ф. Стелловского «Комик» датирован 18 апреля 1851 года.

В одной из своих автобиографий Писемский указывал, что в «Комике» «...выведено положение истинного, но сбившегося художника в нашем провинциальном обществе». Таким образом, противоречие между художником-реалистом и окружавшим его дворянским обществом является основой содержания «Комика».

Именно за остроту постановки этой проблемы «Комик» был отрицательно оценен А. В. Дружининым, утверждавшим, что в рассказе явно чувствуется «дидактический колорит», а герой — «пьяный актер Рымов, говорит ни дать ни взять как критик, лет десять занимавшийся библиографией».

Без каких-либо существенных изменений «Комик» был перепечатан в третьей части изданных Погодиным «Повестей и рассказов» Писемского. Некоторые изменения в текст «Комика» были внесены при подготовке его для издания Ф. Стелловского.

Так, например, во второй главе после слов: «...трезвый тоскую, а пьяный глупости творю» (стр. 18) — в тексте «Москвитянина» следовало: «...а было для меня и иное время!.. был театр... подмостки... декорации; я сам все это уставлял... Как теперь помню: начали играть; ну, тогда думали, что всех убьет Сергеев — не вывезло ему, канальство. Я боялся, крепко боялся... тут был строгий судья, великий судья: Михайло Семеныч... Кончился первый акт, вдруг он на сцену, у меня так и замерло сердце — и что же? Гений-то этот подошел ко мне, пожал мне руку: благодарю вас, говорит, вы растолковали мне роль, которую я прежде не понимал. А?.. он не понимал! Черт бы драл эти дьявольские воспоминания; придет вот старуха да разревется, что ты думал не об ней... нечего тут: думай-ка о своей старухе. Она одна тебя на свете любит; что театр? — глупости».

Там же после слов: «...а привык, удивительно привык!» — в тексте «Москвитянина» было: «Весь этот монолог, конечно, Рымов передумал, но не говорил его и только в некоторых местах восклицал и разводил руками».

Эти признания Рымова, вносящие некоторые дополнительные штрихи в характеристику прошлого героя рассказа, были удалены из текста, видимо, потому, что замедляли развитие действия.

В образе Рымова-артиста, по свидетельству самого писателя, отражены некоторые черты сценического таланта Писемского. На это писатель указывал в автобиографии. Упомянув о своем успехе в роли Подколесина, он писал: «Упех этот описан мною отчасти в рассказе моем «Комик».

Стр. 9. *Полоний* — действующее лицо из трагедии В. Шекспира «Гамлет».

Стр. 10. *Оседлаю коня* — первая строка песни на слова А. В. Кольцова («Песня старика»).

Стр. 11. *Мочалов* — см. т. 1, стр. 342.

Стр. 20. *Умереть!.. уснуть!..* — слова из монолога Гамлета из трагедии В. Шекспира «Гамлет».

Стр. 23. *Мельпомена* — муза трагедии (*греч. миф.*).

Стр. 30. *Дульцинея* — имя воображаемой возлюбленной Дон Кихота — героя одноименного романа великого испанского писателя Сервантеса.

Стр. 32. *Катенин Павел Александрович* (1792—1853) — поэт, драматург и критик, был также известен как один из лучших декламаторов своего времени.

Стр. 34. *Живокини Василий Игнатьевич* (1808—1874) — известный комический актер Московского Малого театра.

Стр. 36. *Шаховской* Александр Александрович (1777—1846) — драматург и режиссер.

Стр. 37. *Мольер* (1622—1673) — великий французский драматург.

Стр. 43. ...*метода самого Ланкастера* — имеется в виду система взаимного обучения, введенная английским педагогом Дж. Ланкастером (1771—1838), по которой сильные ученики в качестве помощников преподавателя обучали более слабых.

Стр. 56. *Талия* — муза комедии (*греч. миф.*).

Стр. 57. «*Калиф Багдадский*» — опера французского композитора Франсуа Адриен Буальдьё (1775—1834).

...*увертюру из «Русалки»* — опера Давыдова С. И. (1777—1825) и Кауэра Ф. (1751—1831).

Стр. 67. *Уши хоть дерут, но хмельного в рот не берут!* — неточная цитата из басни И. А. Крылова «Музыканты»:

Они немножечко дерут;

Зато уж в рот хмельного не берут...

Стр. 72. *Асандри* — итальянская певица, гастролировавшая в России в середине сороковых годов.

Стр. 76. *Тальма* — см. т. 1, стр. 541.

Стр. 77. *Михайло Семеныч* — М. С. Щепкин — см. т. 1, стр. 535.

ПИТЕРЩИК

Впервые — в «Москвитянине» за 1852 год (№ 23, декабрь) с подзаголовком: «Очерк».

Рассказ написан в сентябре 1852 года. 22 сентября 1852 года Писемский сообщал Погодину: «Вторую статейку для «Москвитянина» готовлю: «Питерщик», т. е. мужик, промысляющий по мастерству в Питере» (Письма, 546). В издании Стелловского «Питерщик» датирован 30 сентября 1852 года.

Рассказы Писемского из крестьянской жизни: «Питерщик» и следовавшие за ним «Леший» и «Плотничья артель» — вызвали в критике пятидесятых годов оживленную полемику, которая с наибольшей силой развернулась после выхода в свет в 1856 году книги Писемского «Очерки из крестьянского быта». Передовые писатели и критики приветствовали Писемского как достойного соратника Тургенева и Григоровича. Н. А. Некрасов считал рассказы из народного быта лучшими среди всех произведений Писемского. «Подобные рассказы особенно удаются автору, — писал он, — и после мастерских очерков гг. Даля, Тургенева и Григоровича народные очерки г. Писемского, конечно, лучшие в русской литературе. Рассказ г. Писемского «Питерщик» донныне остается лучшим его произведением» (Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч., т. IX, М. 1950, стр. 314).

Критики либерально-дворянского лагеря, проповедники теории «чистого» искусства, пытались противопоставить Писемского, автора рассказов из крестьянской жизни, Тургеневу, Григоровичу и другим писателям гоголевской школы. Один из этих критиков — П. В. Анненков — в статье «Романы и рассказы из русского простонародного быта в 1853 году», осудив писателей, воспроизводивших крестьянскую жизнь с целью возбуждения ненависти к крепостничеству, противопоставил им Писемского, в рассказах которого (Анненков имел в виду «Питерщика» и «Лешего») якобы «нечего искать современной истины», то есть подлинной картины крепостных отношений.

Критик уверял читателя, что автор рассказа интересовался «вечным» вопросом о свойствах любовной страсти: «...автор старался показать, — писал Анненков, — что огненная, слепая страсть, приходящая без ведома человека и наперекор его рассудку, так же способна завладеть и простолюдином, как и человеком высшего развития, и что в сущности она производит явления одинаковые в обоих, за исключением, разумеется, только внешней формы» (П. В. Анненков, Воспоминания и критические очерки, т. II, СПб. 1879, стр. 66).

Те же мысли повторил в своей статье об «Очерках из крестьянского быта» А. Дружинин, отнеся Писемского к числу представителей «школы чистого и независимого творчества», «примиряющего» читателя с действительностью.

Против этого истолкования рассказов Писемского выступил Н. Г. Чернышевский. В статье об «Очерках из крестьянского быта» он доказал бессмысленность противопоставления Писемского Тургеневу и Григоровичу. Великий критик видел в «Питерщике», «Лешем» и «Плотничьей артели» прежде всего правдивую, неприкрашенную картину крепостной деревни — картину «беззакония и разврата, преступлений и плутней» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 568—569).

Комплименты и похвалы, которыми были уснащены статьи Анненкова, Дружинина и Дудышкина, видимо, не могли не оказать своего воздействия на Писемского. Однако сущность оценки его крестьянских рассказов этими критиками для него была неприемлема. О статье П. Анненкова он отзывался так: «...статья Анненкова... по поводу романов и рассказов из простонародной жизни, очень остроумная, если хочешь; но разве она критическая? Вместо того, чтобы вдуматься в то, что он разбирает, он приступил с наперед заданной себе мыслию, что простонародный быт не может быть возведен в перл создания, по выражению Гоголя, да и давай гнуть под это все. На его разбор моего «Питерщика» я бы мог его зарезать, потому что он совершенно не понял того, что писал я, но так как я дал себе слово — не вступать печатно ни в какие критические словопрения, то

я молчу» (Письма, 71). Это отрицательное отношение писателя к оценкам Анненкова, Дружинина и Дудышкина выразилось в изменениях, внесенных в текст рассказов при подготовке их для издания Стелловского. Писемский по возможности удалил из рассказов прежде всего те места, которые могли произвести «примиряющее» впечатление.

Приводим некоторые из такого рода изменений в тексте «Питерщика».

Во второй главе после слов: «...кажись, такими пустыми словами, как рассуждать со стороны, так малого ребенка провести нельзя, а тут всему веру давал» (стр. 102) — в тексте «Москвитянина» и «Очерков» была фраза, которую можно было истолковать как подтверждение слов Анненкова и которую Писемский из текста в издании Стелловского удалил: «У господ справедливая поговорка есть, что любовь слепа: коли она овладела человеком, так он ничего не видит и не понимает как следует, а может быть, и то — вы, конечно, этому не поверите, — а может быть, они и привороту какого-нибудь мне дали, — прах их знает».

В конце этой же главы после слов: «Я весь дрожу, слезы у меня в три ручья так и текут по щекам» (стр. 109) — в тексте «Москвитянина» и «Очерков» была фраза, также удаленная из текста Стелловского: «И вот, сударь, какая доброта нашего господина: он вместе со мной прослезился и, забывши то самое, как я себя вел, не поминаючи того, что я за целый год ни подушной, ни оброку не выслал, только мне и сказал...»

ЛЕШИИ

Впервые — в «Современнике» за 1853 год (№ 11, ноябрь).

К работе над рассказом Писемский приступил осенью 1851 года. 21 декабря 1851 года он уже сообщал Погодину: «Насчет заглавий моих дальнейших произведений напечатайте, что будет помещен: *«Леший»* — повесть из народного быта или скромнее: повесть, она у меня уже вполовину написана, и я хочу ее поместить преимущественно в «Москвитянине» (Письма, 534). Но в 1852 году рассказ не был закончен. Проектируя трехтомное издание «Повестей и рассказов» Писемского, Погодин намеревался включить в него и «Лешего», однако ему не удалось выполнить этого намерения (Письма, 599). В 1853 году, когда Погодин готовил к печати это издание, Писемский прекратил свое сотрудничество в «Москвитянине». «Леший» дописывался уже в 1853 году. В «Современнике» и в издании Стелловского рассказ датирован 22 августа 1853 года.

Текст «Лешего», подобно тексту «Питерщика», перерабатывался с учетом отзывов критики. Некоторые примеры этой переработки приводятся ниже.

Под влиянием отзыва Чернышевского о деятельности кокинского исправника Писемский внес в текст первой главы рассказа такое изменение: после слов: «А суд как же?» (стр. 112) — в «Современнике» и в «Очерках» было: «В суде у меня хорошо-с. На всякое дело, доложу вам, надобно знать сноровку... Я завел такую манеру: недели две, например, езжу по уезду, сам работаю, станowych понукаю, а тут и в город, да и в суд; дня в три, в четыре обревизую все. Хорошо, так и спасибо, а нет, так и распеканье товарищам замечу, а приказную братью эту запру в суде, да и не выпускаю до тех пор, пока не приведут всего в порядок. И поняли, что оттягивать нечего: рано ли, поздно ли, сделать придется. Главное, объясню вам, чтобы сам начальник не зевал, а подчиненных заставить делать можно-с!» Эта тирада была в издании Стелловского заменена противоположным по смыслу признанием исправника.

Во второй главе после слов: «Я только, знаете, пожал плечами...» (стр. 141) — в тексте «Современника» было: «...впрочем, тут же вспомнил сочинение Пушкина... вероятно, и вы знаете... «Полтава» — прекрасное сочинение: там тоже молодая девушка влюбилась в старика Мазепу. Когда я еще читал это, так думал: «Правда ли это, не фантазия ли одна, и бывает ли на белом свете?» — а тут и сам на практике вижу. Овладело мной больше любопытство...» Это рассуждение в тексте «Очерков» и в тексте издания Стелловского заменено фразой: «...вот, думаю, по пословице, понравится сатана лучше ясного сокола...» Таким образом, было удалено из текста народных рассказов еще одно место, на которое можно было бы сослаться для подтверждения слов Анненкова об «огненной страсти».

В третьей главе после слов: «...в книге видим одно, а делаем другое» (стр. 150) — в тексте «Современника» и «Очерков» было: «—Его, вот видите, — продолжал Иван Семеныч, обращаясь опять ко мне, — сменили с его должности совершенно безвинно, и это его так огорчило, что с ним апоплексический удар сделался... Что ты, с год или больше не владел рукой-то?

— Больше, сударь: года с полтора наберется; поначалу думал и не встать, да творец небесный, по милосердию своему, видно покаяния ждет и даст пожить еще на белом свете. Тогда, по слабости человеческой, барский гнев очень к сердцу принял». Эта «примиряющая» сцена была удалена из текста рассказа.

В конце этой главы после слов: «...мы с ним вышли и тотчас же выехали» (стр. 152) — в тексте «Современника» и «Очерков» было: «Два совершенно противоположные чувствования овладели мною: я и был рад унижению, которым наказан Егор Парменов, и вместе с тем, как человека, жаль его было. Иван Семеныч тоже был мрачен. Я откровенно высказал ему свои мысли.

— Я сам то же чувствую-с, — отвечал он, — да что прикажете делать! на крапиву надобен мороз; проморгать одному худому человеку, так он сотне хороших людей сделает зло». В своей статье об «Очерках из крестьянского быта» Чернышевский назвал это сочувствие преступным. Надо полагать, не без влияния этого отзыва вся сцена была вычеркнута Писемским из текста издания Стелловского.

ФАНФАРОН

Впервые — в «Современнике» за 1854 год (№ 8, август) с подзаголовком: «Один из наших снобсов. Рассказ исправника».

12 марта 1854 года Писемский извещал Н. А. Некрасова: «...написал еще рассказ исправника «Матушкин сынок»...» Месяцем позднее он уже отправил этот рассказ издателю «Современника». «Посылаю к Вам, — сообщал он Некрасову, — по письму Вашему «Матушкина сынка», переименованного мною в «Фанфарона». К нему прилагаю на всякой случай два окончания: одно, пришитое к тетради, где герою дается место чиновника особых поручений, и я желал бы, чтобы оно было напечатано (этот вариант был напечатан в журнале. — М. Е.), но если, паче чаяния, встретятся затруднения со стороны цензора, так как тут касается несколько службы, то делать нечего, тисните другое (что, впрочем, мне чрезвычайно бы не жалелось), что для меня почти все равно. Как вам понравится «Фанфарон», уведоьте меня. Я его написал и никому не читал еще» (Письма, 66). В издании Стелловского рассказ датирован 17 марта 1854 года.

По замыслу Писемского «Фанфарон» должен был открыть серию рассказов о русских снобах. Об этом Писемский писал в специальном примечании к «Фанфарону», напечатанном в «Современнике»: «Меткость сатиры и поучительная сила очерков Теккеря «Снобсы» дали автору мысль написать настоящую статью. Под общим названием: «Наши снобсы» — он предполагает привести несколько биографических очерков. Предчувствуя обвинения в смелости, и сам сознаюсь в своей немоги идти вслед великому юмористу, но все-таки решаюсь». Однако замысел этот не был осуществлен. В связи с этим в издании Стелловского первый подзаголовок — «Один из наших снобсов» — был снят. Второй подзаголовок «Фанфарона» в этом издании был несколько изменен: вместо «Рассказ исправника» — «Еще рассказ исправника», так как во втором томе издания Стелловского предшествовавший «Фанфарону» рассказ «Леший» также имел подзаголовок: «Рассказ исправника».

В текст «Фанфарона» при подготовке его для издания Стелловского были внесены исправления главным образом стилистического

характера. Существенно было переделано заключение рассказа — снят абзац: «Я посмотрел на него и подумал: «Это делает семьянин, у которого на руках трое, без всякого присмотра и, может быть, полуголодных в эту минуту, детей, слепая мать, — семьянин, которому только что отказали в месте, почти единственной его надежде для существования, — делает не по особенному удовольствию, а потому только, чтобы не отстать от других». Текст «Современника» кончился словами: «Фанфарон! Фанфарон!» — повторил я мысленно слова Ивана Семеныча». Следующая фраза, от слов: «По известиям, дошедшим до меня...» до «...и спасет его» (стр. 211), появилась только в издании Стелловского.

Успех «Фанфарона» свидетельствовал не только о возросшем мастерстве Писемского-рассказчика, но, главное, о злободневности самой темы рассказа. Это с удовлетворением отметил и сам автор. Вот что писал он Некрасову 7 октября 1854 года: «О том, что мой «Фанфарон» уже напечатан, я... узнал недавно, потому что с июльской книжки не получаю «Современника»... Очень рад, что этот очерк понравился в Петербурге, и вместе с этим могу вам сообщить не ради авторского самолюбия, а ради правды, что в нашей провинциальной читающей публике он получил, кажется, исключительный перед всеми другими моими сочинениями успех — его прочитали даже все положительные люди, давно не читающие никаких повестей, потому что в «Фанфароне» тронута самая живая, самая интересная для них струна в жизни: безрасчетливость и неблагоприятное хозяйство» (Письма, 78—79).

Стр. 166. *...поступает в Демидовское — училище правоведения в Ярославле.*

ВИНОВАТА ЛИ ОНА?

Впервые — в «Современнике» за 1855 год (№ 2, февраль).

В издании Стелловского повесть датирована 3 января 1855 года. Своим названием эта повесть связана с запрещенным в 1848 году цензурой первым романом Писемского «Виновата ли она?», напечатанным лишь в 1858 году в «Библиотеке для чтения» под заглавием «Борящина».

Некоторые исправления, внесенные Писемским в текст повести при включении ее в издание Стелловского, существенно изменяли характеристики основных персонажей произведения.

Конец одиннадцатой главы после слов: «Ночь была лунная» (стр. 282) — в «Современнике» читался иначе, чем в тексте Стелловского: «Леонид стоял на коленях и молился. Я с полчаса наблюдал

его, он все молился, что меня удивило. Я знал, что он богомолен, но чтобы молиться ночью, скрытно от меня — этого никогда не бывало!»

Для издания Стелловского были значительно переработаны также и заключительные строки повести. После слов: «...разве не за меня он помер...» (стр. 291) — в «Современнике» было: «...и разве я не любила Курдюмова и не люблю до сих пор, и, может быть, в последнее время только твое строгое присутствие, мой добрый друг, спасло меня, что я не пала совершенно и могу еще, чтобы про меня ни говорили, просить тебя не презирать меня вместе с другими, и только тень брата, ставшая между нами, дала мне силы отторгнуться от этого человека... припомни, как много и как долго обманывала я всех вас, а ты еще пишешь, что я не виновата. Быть женой твоей я не могу и не стою, моя добрая мать теперь простила меня и позволила быть при ней, она больна, я буду за ней ходить, и приведи бог хоть этим искупить мои проступки...»

Дальше мне говорить, полагаю, нечего, рассказ мой, насколько было в нем задачи, кончен. Лида сама над собой произнесла суд и обвинение, но в заключение я все-таки хочу обратиться к тебе, мой беспристрастный читатель, к тебе, которому искренно, не утаив ничего, рассказал эту простую повесть, реши и скажи, положив руку на сердце: *виновата ли она?*»

Стр. 247. *Доппелькюмель* — род водки.

Стр. 289. *Лафарж* — Мария Капель Лафарж, обвиненная в отравлении своего мужа, была осуждена на пожизненную каторгу.

ПЛОТНИЧЬЯ АРТЕЛЬ

Впервые — в «Отечественных записках» за 1855 год (№ 9, сентябрь) с подзаголовком: «Деревенские записки».

По первоначальному замыслу «Плотничья артель» имела другое заглавие — «Порченный». В письме к А. Н. Майкову от 12 марта 1854 года автор «Тюфяка» сообщал: «...заготавливаю очерк из простонародного быта «Порченный», где выведется остряк — Пешняк. Хочется потягаться нашим северным юмором с хохлацким, авось не поддадимся!» (Письма, 63). Таким образом, наряду с Петром, главной причиной несчастий которого деревенские жители суеверно считали «порчу», в «Плотничьей артели» на первой стадии работы над ней значительное место должен был занимать остряк — Пешняк, с которым и связывалась юмористическая струя рассказа. В окончательном тексте «Плотничьей артели» место Пешняка занял старик Сергеич — замечательный мастер народной образной речи.

Перепечатывая «Плотничью артель» в издании Стелловского, Писемский не внес в ее текст сколько-нибудь существенных изменений. Им сделано только несколько сокращений, одно из которых приводим ниже:

После слов: «— Горяч уж больно, кричать такой здоровый, — заметил Петр» (стр. 323) — в «Отечественных записках» было: «— Горяченек-то — горяченек, — подтвердил Сергеич, — зато уж тем, батюшка, наш господин хорош, — прибавил он, обращаясь ко мне, — что не памятозлобен. Оборвать, значит, оборвет, а через две минуты спять с тобой и разговаривает, как словно ничего не бывало».

Стр. 341. «Вечный жид» — роман французского писателя Эжен Сю (1804—1857).

СТАРАЯ БАРЫНЯ

Впервые — в «Библиотеке для чтения» за 1857 год (№ 2, февраль).

В журнале рассказ «Старая барыня» датирован 1 января 1857 года. Но начат он Писемским задолго до этой даты. В конце 1855 или во всяком случае не позднее января 1856 года — то есть до отъезда в Астрахань — Писемский условился с издателем «Библиотеки для чтения» В. П. Печаткиным представить для его журнала рассказ с уже определенным названием — «Старая барыня». Об этой своей договоренности Писемский сообщил А. В. Дружинину из Астрахани в письме от 17 мая 1856 года: «...по условию моему с Печаткиным я должен доставить в «Библиотеку» рассказ «Старая барыня», которого несколько у меня уже и написано, но в нынешнем году я вряд ли что-нибудь еще в состоянии сделать; принятое мною на себя путешествие если не отнимает у меня всего времени, то по крайней мере занимает и беспокоит настолько, что другим заниматься почти невозможно; и ко всему этому и здоровье мое очень плохо, жду не дождусь, когда кончу это мое поручение и возвращусь в Петербург, а дела еще здесь очень много, как и когда бог приведет мне управиться с этим, не знаю» (Письма, 97). Судя по этому письму, рассказ дописывался осенью 1856 года, после возвращения Писемского из Астрахани.

В издании Стелловского с небольшими поправками воспроизведен текст журнальной публикации. «Старая барыня» — одно из самых популярных произведений Писемского. Н. Г. Чернышевский назвал этот рассказ прекрасным. В своем отзыве об этом произведении великий критик подчеркнул прежде всего его антикрепостнический смысл. Отметив некоторые художественные недостатки рассказа (неясность обрисовки отношений Топоркова и Якова Ивановича, недостаточную мотивировку вмешательства в разговор Грачихи), Чернышев-

ский в целом оценил его как большую художественную удачу Писемского. «Как хороша гоф-интендантша, — писал он, — как хорош верный слуга Яков Иванов и в каком эффектном свете является он девяностосемилетним стариком, слепым, но совершенно крепким душою, «каменного сердца человеком», с одним старым чувством — фамильной гордостью родового слуги своею госпожою, — это фанатик челядинства; как хороша его жена, как эффектно его мужское владычество над бабою, — старость не смягчила суровости этого господства, как обыкновенно смягчает его в других супружествах простолюдинов, — она и не должна смягчить его: таков закаленный правилами госпожи характер этого человека. А какова правда в самом рассказе! Как соблюден характер старины и в языке и в понятиях! «Старая барыня» принадлежит к лучшим произведениям талантливого автора, а по художественной отделке... бесспорно, выше всего, что доселе издано г. Писемским» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 722).

Стр. 349. *Гусар, на саблю опираясь* — начальные слова стихотворения К. Батюшкова (1787—1855) «Разлука».

Стр. 377. *Торбан* — музыкальный инструмент, похожий на гитару.

Стр. 378. *Туманы седые* — строка из приписываемого А. С. Пушкину стихотворения «Вишня».

СТАРЧЕСКИЙ ГРЕХ

Впервые — в «Библиотеке для чтения» за 1861 год (№ 1, январь) с датой: «1860, ноября 23. Петербург».

Поправки и изменения, внесенные в текст «Старческого греха» при подготовке его для издания Стелловского, носили чисто стилистический характер.

Стр. 385. *Экзигетика, герменевтика* — здесь: богословские дисциплины, в которых рассматривались правила и приемы толкования текстов так называемого священного писания.

Стр. 386. *Фемида* — богиня правосудия (*греч. миф.*).

Стр. 391. *Кантонисты* — в XIX веке дети, отданные на воспитание в военные казармы или военные поселения и обязанные служить в армии солдатами.

Стр. 396. *«Фрегат «Надежда»* — повесть А. Бестужева-Марлинского (1797—1837).

Стр. 404. *...этот паук, скорпион...* — имеется в виду издатель реакционной газеты «Северная пчела» Ф. В. Булгарин, преследовавший Пушкина в газетных статьях и писавший на него доносы в тайную полицию.

Занд Карл — немецкий студент, убивший в 1819 году реакционного писателя и политического деятеля А. Коцебу, за что был казнен 20 мая 1820 года.

Стр. 412. «Отечественные записки» — журнал, издававшийся с 1839 по 1884 год А. А. Краевским. В сороковые годы, о которых здесь идет речь, идейным руководителем этого журнала был В. Г. Белинский.

Стр. 413. *Среди долины ровныя* — песня на слова А. Ф. Мерзлякова (1778—1830).

Стр. 416. *Боскетная* — комната, уставленная растениями.

Стр. 419. *Церера* — богиня плодородия (*римск. миф.*).

Стр. 442. *Мурильо* Бартоломе Эстебан (1618—1682) — выдающийся испанский художник.

Корреджо — настоящее имя Антонио Аллегри (1494—1534) — крупнейший итальянский живописец.

БАТЬКА

Впервые — в журнале «Русское слово» за 1862 год (кн. 1, январь) с датой: «27 октября 1861 г. С.-Петербург».

Рассказ был перепечатан в четвертом томе издания Стелловского с небольшими поправками. Отметим лишь одно существенное исправление: в конце третьей главы после слов: «Я несколько успокоился и опять улегся...» (стр. 483) — в тексте «Русского слова» была фраза, не вошедшая в текст издания Стелловского: «Зарождающийся ипохондрик, видно, и тогда уже во мне начинал наклеиваться».

Рассказ был опубликован в самый разгар скандала, вызванного фельетонами Никиты Безрылова, и поэтому не был отмечен критикой тех лет.

Стр. 472. *Ревизские сказки* — списки, составлявшиеся во время переписи (ревизии), лиц, подлежащих обложению подушной податью; в данном случае — списки крепостных мужского пола.

Стр. 490. *Вердепомовый* — светлозеленый (буквально — цвета зеленого яблока).

«...когда наши входили в Париж...» — после разгрома наполеоновских армий в России русские войска продолжали преследовать войска Наполеона. В 1814 году русская армия вошла в Париж.

РУССКИЕ ЛГУНЫ

Впервые — в «Отечественных записках» за 1865 год (№№ 1, 2, 4, январь, февраль, апрель).

Работа над рассказами данного цикла начата в 1864 году. Первоначальный замысел «Русских лгунов» был изложен Писемским издателю «Отечественных записок» — А. Краевскому в письме от

25 августа 1864 года: «...пишутся у меня очерки под названием «Русские лгуны» — выведен будет целый ряд типов вроде снобсов Теккерей. Теперь окончена мною первая серия: *Невинные вралы* — то есть которые лгали насчет охоты, силы, близости к царской фамилии, насчет чудес, испытываемых ими во время путешествий; далее будут: *Сентименталы и сентименталки*, порожденные Карамзиным и Жуковским. Далее: *Марлинщина*. Далее: *Байронисты росейские*, далее: *тонкие эстетика*, далее: *Народолюбцы*. Далее: *Герценисты* и в заключение *Катковисты*...

Теперь у меня написано листа на два печатных, а печатать я желал бы начать с генваря. Уведомьте, пригоден вам этот труд мой или нет; если не пригоден, не стесняйтесь и пишите прямо» (Письма, 170).

Как можно судить на основании этого высказывания, Писемский рассматривал «Русских лгунов» как продолжение начатой «Фанфароном» серии рассказов под общим заглавием «Наши снобсы». Об этом свидетельствует также и то, что в «Русских лгунах» (рассказы «Сентименталы» и «История о петухе») снова появляется образ кокинского исправника Ивана Семеновича Шамаева, который фигурировал и в «Фанфароне».

Но план «Русских лгунов», несомненно связанный с возникшим еще в начале пятидесятых годов замыслом «Наших снобсов», отражал также настроения и тенденции, которые стали преобладать в творчестве Писемского после выхода в свет «Взбаламученного моря». Судя по этому плану, в задуманном цикле рассказов писатель намеревался направить удары как против сторонников «чистого» искусства и катковистов — самых крайних реакционеров того времени, — так и против революционеров — сторонников Чернышевского и Герцена. 21 сентября 1864 года Писемский сообщил Краевскому о завершении первой серии «Русских лгунов»: «Вместе с этим письмом я высылаю Вам 1-ю серию «Лгунов» — это пока все еще невинные вралы — дальнейшую программу я писал уже Вам. Всех очерков, я полагаю, хватит листов на семь или на восемь печатных... Следующую серию я непременно надеюсь изготовить к генварю и много к февралю» (Письма, 174—175).

Однако первоначальный замысел «Русских лгунов» в процессе его осуществления скоро изменился. Уже к январю 1865 года Писемский, повидимому, отказался от намерения выполнить полностью тот план, который он изложил в письме к Краевскому от 25 августа 1864 года. 24 января 1865 года, посылая Краевскому рассказы из второй серии «Русских лгунов», Писемский сообщал: «...Ко 2 февр. или 1 мартовской (книжке. — М. Е.) я вам вышлю еще два рассказа, один будет называться: «Лживой красавец» (первоначальное заглавие рассказа «Красавец» — М. Е.), опишется мужчина, у которого уже

тело лжет: он прелестной наружности, но подлец душой; и второй — называемой: «Все лгут», где опишется, что все лгут, чиновники, артисты, хозяева, барышни, и никто того не замечает» (Письма, 181). Рассказ «Все лгут», который, как показывает уже и само его название, должен был, вероятно, иметь итоговый характер, не был написан, и предшествовавший ему «Красавец» оказался последним рассказом цикла.

Таким образом, было написано только восемь рассказов, охватывающих лишь первые три серии изложенного в письме к Краевскому плана: 1. «Невинные вралы», рассказы — «Конкурент», «Богатые лгуны и бедный», «Кавалер ордена Пур-ле-мерит», «Друг царствующего дома» и «Блестящий лгун»; 2. «Сентименталы и сентименталки» — рассказ «Сентименталы»; 3. «Марлинщина» — рассказ «Красавец». Рассказ «История о петухе», включенный Писемским во вторую серию «Русских лгунов», был напечатан в журнале после «Сентименталов», хотя в герое «Истории о петухе» едва ли можно отыскать какие-либо признаки сентиментальности.

Основной причиной изменения первоначального плана «Русских лгунов» были цензурные препятствия. Уже при посылке первой серии рассказов Писемский высказал опасение насчет цензуры. «С цензурой, бога ради, употребите все усилия, — писал он Краевскому. — Если она будет ставить препятствия в рассказах о *кавалере ордена Пур-ле-мерит* и о *друге царствующего дома*, то объясните им, что если эти люди хвастаются своею близостью к царям, то это показывает только любовь народную, — в предисловии у меня прямо сказано, что лгуны стараются обыкновенно приписать себе то, что «в самом общественном мнении считается за лучшее», а если очень станут упираться, то, не давая им марать, напишите мне, что их особенно устрашает» (Письма, 174).

Опасения Писемского оправдались: цензор запретил два рассказа: «Кавалер ордена Пур-ле-мерит» и «Друг царствующего дома». Получив от Краевского сообщение об этом, Писемский настаивал на том, чтобы хлопоты о разрешении по крайней мере одного из этих рассказов не прекращались. С этой целью он даже советовал обратиться за содействием к фаворитке министра двора — Мине Бурковой. «Думал я, думал, — писал он Краевскому 24 октября 1864 года, — по получении Вашего письма и вот что придумал: к министру двора вы пошлите только один рассказ: «Друг царствующего дома» и уж хлопочите, бога ради, чтобы его пропустили — этот рассказ может быть напечатан: в нем тронута все так легко. Нельзя ли попросить покровительства в этом случае Мины. Мне как-то в Петербурге говорили, что она благоволит ко мне, как к автору. «Кавалер ордена

Пур-ле-мерит», вероятно, никак не пропустят, а потому я переделаю, вероятно, невдолге и к вам вышлю» (Письма, 175).

«Друг царствующего дома» был послан министру двора под измененным заглавием: «Старуха Исаева». Не надеясь на то, что министр двора разрешит этот рассказ, Писемский советовал Краевскому напечатать его без цензуры: «Есть нынче правило... что редакция, если цензор чего не пропускает, печатает с личной своей ответственностью и штрафу за это подвергается 50 руб. сер. Ваши «Отеч. записки», вероятно, еще ни разу не подпадали штрафу этому, а потому, если старуху Исаеву Адлерберг не пропускает (благо его, говорят, снимают), то печатайте без цензуры, я эти 50 руб. плачу из собственного кармана. Как вы об этом думаете, уведомяте меня, пожалуйста, не поленитесь и черкните, меня это очень беспокоит» (Письма, 178). В конце ноября 1864 года председатель С.-Петербургского цензурного комитета М. Н. Турунов получил решение министерства двора: «Вследствие отношения Вашего превосходительства от 19-го сего ноября за № 838 имею честь Вас, милостивый государь, уведомить, что препровожденная при оном и у сего возвращаемая статья под заглавием «Русские лгуны» была представлена господину министру императорского двора, и его сиятельство изволил отозваться, что он полагал бы отклонить напечатание означенной статьи, так как некоторые из приведенных в ней случаев относятся к высочайшим особам, а между тем рассказ, как и самое заглавие свидетельствует, заключает в себе лишь грубый вымысел и вообще не имеет никакого интереса» (Письма, 657).

Сохранилась и раздраженная резолюция министра Адлерберга: «Не понимаю, с какой стати эта статья посылается на мой просмотр... Если рассказ о лжи Исаевой не выдумка, то этот рассказ вовсе не интересен; если же это выдумка, то надобно признаться, что выдумка чрезвычайно глупа» (Письма, 657).

Краевский отказался напечатать рассказ «Друг царствующего дома» в его первоначальном виде без цензурного разрешения. Писемский вынужден был радикально переделать его. «Письмо ваше крепко поогорчило меня, — жаловался он Краевскому, — тем более что оно застало меня после тяжелой болезни: был болен жабой и чуть не умер. Старуху Исаеву на будущей неделе, то есть числу к 15, я переделаю, она выйдет не менее забавна...» (Письма, 179). 9 декабря 1864 года новый вариант рассказа был послан Краевскому. Этот вариант под заглавием «Фантазерка» и был опубликован в «Отечественных записках». В четвертом томе сочинений Писемского, изданных Стелювским, был опубликован журнальный текст этого рассказа, поскольку, повидимому, цензурный запрет сохранял еще свою силу.

Таким образом, оба эти рассказа: «Кавалер ордена Пур-ле-мерит» и «Друг царствующего дома» — при жизни Писемского печатались в переработанном под давлением цензуры виде и поэтому не отражали подлинных замыслов автора. Только в первом посмертном собрании сочинений Писемского, изданном М. О. Вольфом, эти рассказы были напечатаны в их первоначальном доцензурном виде (т. V, СПб. 1884).

В настоящем издании «Кавалер ордена Пур-ле-мерит» и «Друг царствующего дома» печатаются по тексту первого посмертного собрания сочинений. Подцензурные варианты этих рассказов, ввиду их самостоятельной художественной ценности, ниже приводятся полностью.

Кавалер ордена Пур-ле-мерит

Прелестное июльское утро светит в окна нашей длинной залы; по переднему углу ее стоят местные иконы, принесенные из ближайшего прихода. Священник, усталый и запыленный, сидит невдалеке от них и с заметным нетерпением дожидается, чтобы его заставили поскорее отслужить всенощную, а там, вероятно, и водку подадут. Матушка, впрочем, еще не вставала, а отец ушел в поле к рабочим. Я (очень маленький) стою и смотрю в окно. Из поля и из саду тянет восхитительной свежестью: мне так хочется молиться и богу и природе! Тут же, по зале, ходит ночевавший у нас сосед, Евграф Петрович Хариков, мужчина чрезвычайно маленького роста, но с густыми черными волосами, густыми бровями и вообще с лицом неумным, но выразительным; с шести часов утра он уже в полной своей форме: брючках, жилетике, сюртучке и *пур-ле-мерите*. Раздражающее свойство утра заметно действует на него: он проворно ходит, подшаркивает ножкою, делает в лице особенную мину. Евграф Петрович — чистейший холерик; его маленькой мысли беспрестанно надо работать, фантазировать и выражать самое себя. В настоящую минуту он не выдерживает молчания и останавливается перед священником.

— Вы дядю моего, Николая Степаныча, знавали? — спрашивает он как бы случайно.

Священник поднимает на него глаза и бороду.

— Нет-с! — отвечал он с убийственным равнодушием.

— Храбрый был генерал, храбрый!..

Священник продолжает молчать.

— Я собственно служил в кавалерии! — говорил Хариков.

Он собственно служил офицером в комиссариате.

— И под Глагау, господи!.. двинули нас сбить неприятельскую позицию по правую, этак, сторону от города.. Пошли мы сначала на рысях, палаши наголо.. Глядим, пехота — раз, два — выстроились в каре. Вы знаете, что такое каре?

— Нет-с! — отвечал и на это священник и, вытянув из бороды два волоска, начал внимательно их рассматривать.

— Отличная штука! Четырехугольник из людей — ни больше, ни меньше; штыки вперед, задняя шеренга: «Пиф! паф!» — совершенная щетина, с пульками только, которые летают около вас, как шмели, никакая кавалерия не возьмет — надо с разу... Командир наш командует: «Марш назад!» — потом: «Налево кругом, марш, марш!» Летим!.. Мне как-то, уж это именно бог! между двух ружей удалось проскакать. Тут стоит только одному прорваться, и, конечно: весь полк за мной; направо саблей!.. налево саблей!.. лошади ногами топчут!

Евграф Петрович стал было даже своими маленькими ручками и ножками представлять все это в лицах и особенно живо, как лошади топчут неприятеля ногами; но в это время вошел покойный отец, по обыкновению мрачный и суровый, и сел тут же в зале.

— Что это он тебе расписывает? — спросил он священника, указывая глазами на Евграфа Петровича.

— Про войну рассказывает-с, — отвечал тот.

— Про дело при Глагау припоминаю, — подхватил Хариков.

Он знал, что в присутствии отца продолжать разговора в прежнем тоне ему не было никакой возможности, но и замолчать сразу было неловко: он решился выбрать средину.

— В тот день, — продолжал он далеко уже не с такой самоуверенностью, — послали меня с известием...

— К кому? — перебил его отец каким-то бесстрастным голосом.

— Не помню к кому... — почти пискнул Евграф Петрович.

— О чем?

— Кажется, что, сколько теперь помню, что... Витгенштейн наступает или отступает...

— А!.. — протянул отец.

— Только поехал я с... Лошадь у меня была отличная, — продолжал Хариков, голос его заметно дрожал, — только вдруг, вижу я, от неприятельского авангарда отделился польский уланчик и за мной... Я как бы дальше от него, а он ко мне все ближе; вижу, и копьцо от меня недалеко — я хвать из седла пистолет; бац — осечка! Копьцо уж и гораздо ближе ко мне: я другой раз бац — осечка! Копьцо уж почти у хвоста моей лошади... делать нечего, перекрестился (Евграф Петрович закусил при этом злобно губы), перехватил пистолет дулом в руку и пустил его на волю божию и прямо угадал молодцу в висок... закачался он на седле — и головку закинул назад.

— Это случилось не в двенадцатом году... — перебил его отец.

— Как не в двенадцатом? — спросил Хариков.

— И не при Глагау, и не с тобой, а в польскую кампанию действительно один наш кирасир убил польского улана холодным пистолетом, и это я тебе даже и рассказывал...

— С кирасиром, может быть, случилось само по себе, а со мной само по себе! — затараторил Хариков.

— С тобой случилось другое, — ответил отец, — ты убежал из провиантского магазина от сорока мышей.

Евграф Петрович сильно покраснел.

— Вот вздор какой! Я бежал не от крыс, а от неприятеля: на меня кинулись два французские карабинера; я схватил одного за шивороток, другого за шивороток, треснул их головами и ушел от них.

— Ты сидел в магазине, — продолжал отец тем же бесстрастным голосом, — и считал там казенные мешки с хлебом; в это время из одного амбара в другой переходило стадо крыс; ты испугался и убежал от них.

— Говорить все можно! — произнес Хариков обиженным голосом. — Если я убежал от крыс, за что же мне пур-ле-мерит дали?

— Не знаю, за что! — отвечал отец оскорбительнейшим образом.

Собственно говоря, Евграф Петрович и сам хорошенько не знал, за что ему дали этот крест. За какие-то успешные распоряжения нашего интендантства при Глагау или где-то прислано было от прусского правительства десятка два пур-ле-меритов, и один из них упал на благородную грудь моего героя.

— Вот он мне за что дан! — воскликнул он и, проворно отмахнув рукав сюртука, показал довольно большой рубец.

— Э, брат, нет! знаем! Это нарочно травленный! — воскликнул, в свою очередь, отец. — Боздерман сказывал нам, как ты просил его травить тебе руку и непременно, чтоб рубец остался.

Евграф Петрович развел только на это руками. Выражение его лица как бы говорило, что клевета человеческая дальше идти не может. Чем бы этот разговор кончился — неизвестно, но вошла матушка. Евграф Петрович поспешил перед ней модно расшаркаться, поцеловал у нее руку и осведомился об ее здоровье.

Во время всенощной он заметно молился на старинный офицерский манер, то есть клал небольшие крестики и едва склонял голову. Затем почему-то с особенным чувством пропел «От юности моя мнози борют мя страсти», но когда начали «Взбранной воеводе», он подперся рукою в бок, как бы держась за шарф; откуда бас у него взялся, пропел целый псалом, ни в одной ноте не сорвавшись, и, кончив, проговорил: «Прекрасная стихера! Теперь бы духовенство сзади; в воздухе знамена; барабанщики и кларнетисты вперед — прелесть!»

Мне всего раз еще удалось, уже на смертном одре, видеть этого маленького храбреца в его маленькой усадьбе, в маленьком домике и маленькой спальне, в которой не было уже никаких следов здорового человека: всюду был удушливый воздух, везде стояли баночки с лекарством, и только на столике у кровати лежал пур-ле-мерит на совершенно свежей ленте. Когда я сел около Евграфа Петровича, он крепко сжал мне руку.

— Вы, вероятно, будете у меня на похоронах, — проговорил он совершенно спокойным голосом, — прикажите, пожалуйста, чтоб крест этот несли перед моим гробом, я заслужил его кровью моею!

Читатель знает, какую он его кровью заслужил.

Через неделю он умер. Я долгом себе поставил исполнить его предсмертное желание, и даже сам нес крест на малиновой подушке, которую покойник, задолго еще до смерти, поспешил для себя приготовить.

Слава великого Суворова, еще свежо тогда витавшая над всем нашим войском, задела своим обаятельным крылом и душу Евграфа Петровича; во всех своих мечтаниях он воображал себя и храбрецом, и генералом, и увешанным крестами. «Отчего, — думал я, — судьба не дала этому человеку вместо какого-то темного и не для всех понятного пур-ле-мерита георгия или какую-нибудь звезду? Любопытно было бы видеть ту степень нежности, с какою он относился бы к этим высоким наградам воинских доблестей!»

Ф а н т а з е р к а

Гордость так же свойственна женским сердцам, как и мужским. Тетка моя, Мавра Исаевна Исаева, была как бы живым олицетворением этого грандиозного чувства. Признаюсь, и по самой наружности я не видал величественнее, громаднее и могучее этой дамы, или, точнее сказать, девицы: прямой греческий нос, открытый лоб, строгие глаза, презрительная улыбка, густые серебристые в пучках волосы, полный, но необрюзглый еще стан, походка грудью вперед — словом, как будто господь бог все ей тело дал для выражения главного ее душевного свойства. Мавра Исаевна, как можно это судить по ее здоровой комплекции, чувствовала сильную склонность к замужеству; но, единственно по своему самолюбию, считая всех мужчин недостойными себя, осталась в самом строгом смысле девственницей. Сердце ее всего один раз было пленено: сын губернатора Лампе, камер-юнкер и большой повеса (это было еще до двенадцатого года), танцевал с ней на бале у отца мазурку и вдруг выкинул какую-то ухорскую штуку — Мавра Исаевна на это только еще гордее подняла голову и пошла уж совсем грудью вперед. Камер-юнкер стал по-польски

что есть силы стучать ногами — Мавра Исаевна прижала одну руку в бок и начала тоже по-польски довольно сильно выкидывать ноги. Камер-юнкер перевернулся вверх ногами — Мавра Исаевна сделала движение рукой и пошла от него в сторону. Камер-юнкер, наконец, пропел петухом — Мавра Исаевна представила, что как будто бы закудахтала курочкой. «Русскую!» — грянул камер-юнкер и в мундире (тогда на балы ездили в мундирах, чулках и башмаках) пошел вприсядку — Мавра Исаевна сейчас, как следует в русской пляске, стала поводить плечами и бровями...

Все зрители были в восторге и хохотали до упаду.

Старик Лампе, впрочем, на другой же день положил предел этой начинавшейся страсти и отправил сына обратно в Петербург.

— Воли родителей не было на то, и мы повиновались... — объясняла Мавра Исаевна, с покорностью в голосе, всю жизнь свою этот случай.

Главным отличительным свойством Мавры Исаевны было то, что бы она ни делала, она полагала, что делает это лучше всех: грибы ли отварит — лучше всех, по делам ли станет хлопотать — тоже лучше всех. Ставила она со своего имения рекрута: Мишку поставила — затылок! Петьку — затылок.

— Наконец, — говорит она, — я сама иду в присутствие. Брейте, говорю, меня самое; мне больше ставить некого!..

— Как в присутствие? Ведь там стоят голые мужики? — воскликнули ее слушатели.

— А характер нам, женщинам, на что дан? — отвечала Мавра Исаевна.

Проживая лет около тридцати в деревне, она постоянно держала у себя воспитанниц, единственную обязанностью которых было выслушивать рассказы ее о самой себе; но эти *неблагодарные твари*, как обыкновенно называла их Мавра Исаевна, когда прогоняла от себя, обнаруживали в этом случае довольно однообразное свойство: вначале они как будто бы и принимали все ее слова с должным вниманием, но потом на лицах их заметно стала обнаруживаться скука, и они начинали или грубить, или дурить... Пробовала было Мавра Исаевна по этому предмету входить в сношения с начальницами разных монастырей, приютов, ездила к ним, ласкалась, делала им подарки, чтобы они уделили ей хоть какой-нибудь отросток из своего богатого питомника, но и тут счастья не было: первый же взятый ею отпрыск вдруг оберменел, так что Мавра Исаевна, спасая уж собственную честь, поспешила ее поскорее отправить обратно в заведение. Последней приживалкой Мавры Исаевны была из дворян девица Фелисата Ивановна, девушка богомольная и вначале обнаруживавшая к своей благодетельнице такое почтение, что мыть ее в бане ни-

кому не позволяла, кроме себя, и при этом еще объясняла, что у Мавры Исаевны такое тело, что как ткнешь в него пальцем, так он и уйдет весь туда.

Раз мы обедали: тетушка, с своей обычно-гордой позой, я, всегда ее немного притруживавший, и Фелисата Ивановна. Последняя была что-то грустна и молчалива. Мавра Исаевна, напротив, находилась в каком-то умиленном настроении.

— Когда я была в Петербурге, — начала она даже несколько заискивающим голосом, — познакомилась я с генеральшей Костиной. Муж ее, сенатор, вдруг заинтересовался мной... просто этим скотским чувством, как все вы, гадкие мужчины. «Генерал, — говорю я ему, — ни ваше звание, ни мое звание, ни ваши лета, ни мои лета не позволяют нам упасть в эту пропасть».

— Что ж, эти Костины были богатые люди, хорошо жили? — поспешил я спросить, чтоб как-нибудь не дать Мавре Исаевне разговариваться на любимейшую ее тему: оставаясь равнодушною к мужчинам, она любила рассказывать о победах над ними!

— Она была племянница светлейшего, только, не больше... — отвечала она мне влушительно, — каждую неделю бал со двором. Я говорю: «Я не могу у вас бывать; вы знаете мой туалет и мои платья — раз, два и обчелся». — «Да вы сделайте, — говорит мне Костина, — форменное платье, всякая дворянка имеет на это право!»

— Какое же это форменное? — спросил я.

Мавра Исаевна прищурила глаза.

— Очень простенькое! — начала она, — не знаю, как нынче, может быть, уже переменялось, а тогда — черное гласе, на правом плече шифр дворянский, на рукавах буфы, спереди, наотмашь, лопасти, а сзади — шлейф. Генеральша Костина тоже в гласе, на левой стороне звезда, на правой — шифр уже придворный... Три у них дочери были... очень милые девушки... танцуют... Тогда только еще эта ваша дурацкая французская кадриль начала входить в моду. Смотрю... что это такое? растопырят платья и ходят, как павы. Ни вкусу, ни манер — просто гадко видеть... чувствую, что внутри во мне все так и кипит, а старейший этот повеса, Костин, еще с любезностями вздумал адресоваться... глазками делает... «Подите, говорю, прочь; видеть вас не могу!» На другой день, только что еще проснулась и чувствую себя очень нехорошо, приезжает ко мне Костина. Тут уж я не вытерпела. «Марья Ивановна, — говорю я ей, — на что это нынешние девицы похожи? где у них манеры, где у них обращение, где эти умные разговоры?» — «Душенька, душенька, говорит, возьмите всех детей моих на воспитание...» Скороспелка этакая была, все бы ей сейчас сделать, не обдумавши... «Марья Ивановна, говорю, правила моей нравственности вот в чем состоят», и этак, знаете, серьезно поговорила.

Ну, разумеется, не понравилось. «Посудите, говорит, я — мать». — «Очень, говорю, сужу и знаю; я сама мать и имею тоже дочь».

— Как дочь? — воскликнули мы оба в один голос с Фелисатой Ивановной.

— Да, дочь! — отвечала Мавра Исаевна, слегка вспыхнув (она, кажется, и сама была не совсем довольна, что так далеко хватила).

— Кто ж отец вашей дочери? — спросил я.

— Мужчина!

Фелисата Ивановна на этих словах не выдержала и фыркнула на всю комнату. Мавра Исаевна направила на нее свой медленный взор.

— Чему ты смеешься? — спросила она ее каким-то гробовым голосом.

Фелисата Ивановна молчала.

— Чему ты смеешься? — повторила Мавра Исаевна тем же тоном.

— Да как же, матушка, какая у вас дочь? — отвечала Фелисата Ивановна.

— А такая же, костяная, а не лышная, — говорит Мавра Исаевна попрежнему тихо; но видно было, что в ее громадной груди бушевало целое море злобы, — я детей своих не раскидала по мужикам, как сделала это ты.

Фелисата Ивановна сконфузилась; намек был слишком ядовит: она действительно, в жизнь свою, одного маленького ребеночка подкинула соседнему мужичку.

— Не было у меня, сударыня, никаких детей, — возразила она, — и у вас их не было; вы — барышня, вам стыдно на себя это наговаривать.

— А вот же и было; на, вот тебе! — сказала Мавра Исаевна и показала Фелисате Ивановне кукиш.

— Где ж теперь ваша дочь? — спросил я, желая испытать, до какой степени может дойти фантазия Мавры Исаевны.

— Не беспокойтесь; она умерла и не лишит вас наследства!.. — отвечала она мне с заметной ядовитостию. — О мой миленький, кроткий ангел! — продолжала старушка, вскинув глаза к небу, — точно теперь на него гляжу, как лежала ты в своем атласном гробике, вся усыпанная цветами, а я, безумная, стояла около тебя и не плакала...

Что тут было говорить? Мы с Фелисатой Ивановной потупились и молчали.

Мавра Исаевна несколько раз моргала носом, поднимала глаза к небу и тяжело вздыхала, как бы желая показать, что удерживает накопившиеся в груди слезы.

После обеда я ушел к себе наверх, но часов в шесть, когда уже смерклось, услышал робкие шаги.

— Кто это? — окликнул я.

— Это я, бабушка! — отозвалась Фелисата Ивановна, — подите-ка посмотрите, что тетенька делает.

— Что такое?

— Извольте посмотреть! — и затем, сказав, чтобы я шел на цыпочках, подвела меня к двери в гостиную и приложила мой глаз к небольшой щели. Тетушка сидела на диване перед столом, на котором светло горели две калетовские свечи. Она говорила сама с собой. «Да, это конечно!» — бормотала она, делая движение рукой, как бы вгряя султаном на шляпе. Потом говорила гораздо уж более нежным голосом. «Но это невозможно, невозможно!» — повторяла она неоднократно. Затем щурила глаза, поднимала плечи, вряд ли не воображая, что на них были эполеты. (Она, должно быть, в этом случае представляла какого-нибудь военного.) «Ваша воля, ваша воля!» — говорила она.

— Бабушка, что это такое? Ведь это часто с ними бывает! — вопияла Фелисата Ивановна.

— Ничего, — успокаивал я ее, — пойдете; пусть она себе пофантазирует.

— Да я, бабушка, очень боюсь, — говорила она и в самом деле дрожала всем телом.

На другой день поутру в доме опять поднялся гвалт, и ко мне в комнату вбежала уж горничная.

— Пожалуйста к тетушке: несчастье у нас...

— Какое?

— Фелисата Ивановна потихоньку уехала-с к родителям своим-с.

Я пошел. Мавра Исаевна всю свою великолепной фигурой лежала еще на постели; лицо у ней было багровое, глаза горели гневом, голая ступня огромной, но красивой ноги выставлялась из-под одеяла.

— Фелисатка-то, мерзавка, слышал — убежала! — встретила она меня.

Я придал лицу своему выражение участия.

— Ведь седьмая от меня так бегают! Отчего это?

— Что ж вам, тетушка, так очень уж гоняться за этими господами! Будет еще таких много.

— Разумеется! — проговорила Мавра Исаевна уже прежним своим гордым тоном.

— Вам гораздо лучше, — продолжал я, — взять в комнату вашу прежнюю ключницу, Глафиру... (Та была глуха на оба уха, и при ней говори, что хочешь, — не покажет никакого ощущения.) Женщина она не глупая, честная.

- Честная! — повторила Мавра Исаевна.
- Потом к вам будет ездить Авдотья Никаноровна.
- Будет! — согласилась Мавра Исаевна.

Авдотья Никаноровна хоть и не была глуха на оба уха, но зато такая была дура, что ничего не понимала.

- Наконец, Эпаминонд Захарыч будет постоянный ваш гость.
- Да, Эпаминондка! Пьяница только он ужасный!
- Нельзя же, тетушка, чтобы человек был совершенно без недостатков.

Эпаминонд Захарыч, бедный сосед, в самом деле был такой пьяница, что никогда никакими посторонними предметами и не развлекался, а только и помышлял о том, как бы и где бы ему водки выпить.

— Все они будут бывать у вас, развлекать вас! — говорил я, помышляя уже о собственном спасении. Эта густая и непреборимая атмосфера хоть и детской, но все-таки лжи, которою я дышал в продолжение нескольких дней, начинала меня душить невыносимо.

— А теперь позвольте с вами проститься! — прибавил я нерешительным голосом.

- Прощай, бог с тобой! — отвечала Мавра Исаевна.

Ей в эту минуту было не до меня, ей нужна была Фелисатка, которую она растерзать на части готова была своими руками. Дома я нашел плачевное и извиняющееся письмо от Фелисаты Ивановны:

«Ваше высокородие, Алексей Филатыч! (писала она) хоша теперича, может, вы и ваша тетенька на меня, рабу вашу, гневаться изволите, но мне, батюшка Алексей Филатыч, было не жить при них — я сама девушка нездоровая и очень этого боюсь... Прoshлый год, Алексей Филатыч, когда господь бог сподобил нас быть у Феодосия тотемского чудотворца и когда тетенька ваша стала прикладываться к раке святого угодника, так они плакали и до того их корчило, что двое монахов едва имели силы держать их... Значит, он, окаявный, в них сидел, и трудно ему там было, а оне еще святой себя называют. «Праведница, говорит, я», это все его наущение; на этаккой грех он их наводит, и я так теперь понимаю, что быть при них не то что нам, грешникам великим, а какому разве священнику безместному, чтобы он мог отчитать их, когда враг ихний заберет их во всю свою поганую силу».

Фелисата Ивановна считала бедную старушку за одержимую бесом, тогда как все дело было в том, что могучая фантазия Мавры Исаевны и в сотой доле своей не удовлетворялась скудною действительностью.

Стр. 530. *Вигель* Филипп Филиппович (1796—1850) — чиновник, автор известных «Воспоминаний», в которых подробно описывался быт дворянского общества первой четверти XIX века.

Стр. 532. *Малек-Адель* — герой одного из романов французской писательницы Софи Коттен (1773—1807).

Стр. 543. *Леотар* Жюль — французский акробат, гастролировавший в Петербурге в 1861 году.

Стр. 547. *Давалагири* — одна из высочайших горных вершин на Гималаях.

УЖЕ ОТЦВЕТШИЕ ЦВЕТКИ

Капитан Рухнев

Впервые — в «Газете Гатцука» за 1879 год (№№ 2 и 3) с подстрочным примечанием к первому заглавию: «Это ряд рассказов из жизни и типов 40—50-х годов». О том, что «Капитан Рухнев» открывал серию рассказов из прошлого, Писемский сообщал и переводчику своих произведений на французский язык В. Дерели: «Рассказы такие по мере воспоминаний из моей прошлой и довольно уже длинной жизни я буду продолжать, и ради чего озаглавил их: «Уже отцветшие цветки» (Письма, 403).

Однако этот замысел не был выполнен. «Капитан Рухнев» остался единственным рассказом этого цикла.

СОДЕРЖАНИЕ

Комик. <i>Рассказ</i>	5
Питерщик. <i>Рассказ</i>	80
Леший. <i>Рассказ исправника</i>	111
Фанфарон. <i>Еще рассказ исправника</i>	154
Виновата ли она? <i>Записки</i>	211
Плотничья артель. <i>Рассказ</i>	292
Старая барыня. <i>Рассказ</i>	347
Старческий грех. <i>Совершенно романтическое при- ключение</i>	381
Батька. <i>Рассказ</i>	471
Русские лгуны. <i>Очерки</i>	
I. Конкурент	501
II. Богатые лгуны и бедный	505
III. Кавалер ордена Пур-ле-мерит	510
IV. Друг царствующего дома	514
V. Блестящий лгун	521
VI. Сентименталы	530
VII. История о петухе	540
VIII. Красавец	543
Уже отцветшие цветки	
I. Капитан Рухнев	567
Примечания	581

Алексей Феофилактович
ПИСЕМСКИЙ
Сочинения, т. 2

Редактор *М. Сергиевская*
Переплет и титул
художника *И. Николаевцева*
Художественный редактор *К. Буров*
Технический редактор *Ж. Примак*
Корректор *Т. Кузина*

Сдано в набор 20/VIII 1955 г.
Подписано к печати 17/XII 1955 г.
А-06200. Бум. 84×108¹/₃₂·38 печ. л. = 31,16
усл.-печ. л. 32,34 уч.-изд. л. Тираж 300 000.
Цена 10 р. 10 к. Заказ № 418.

Гослитиздат
Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19.

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической
промышленности. 2-я типография
„Печатный Двор“ имени А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.

Scan Kreyder - 07.02.2018 - STERLITAMAK

10 p. 10 u.

ГОСУДАРСТВ
1956